ФЕДОР ПАНФЕРОВ

БОРЬБА ЗА МИР



ЛЛандау

ФЕДОР ПАНФЕРОВ

БОРЬБА ЗА МИР

РОМАН В ДВУХ КНИГАХ

Советский Писатель
МОСКВА · 1952

Постановлением Совета Министров
Союза ССР
Панферову Федору Ивановичу
за роман «Борьба за мир»
присуждена Сталинская премия
второй степени за 1948 год

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Иван Кузьмич Замятин — человек с некоторыми особенностями: быстрый на ногу, он, однако, всегда ходит так, как бы кому не помешать, кого бы случайно не толкнуть, и страшно скуп на слово. Прежде чем ответить на тот или иной вопрос, он долго смотрит в левую ладонь, растирая ее большим пальцем правой руки, словно пробуя сухую краску, затем произносит такое, что запоминается надолго. За это иные называют его «долгодумом», иные — «политиком», а он — тем и другим:

— Язык человеку на то и дан, чтобы слово было как гвоздь: воткнул его в дерево, ударил молотком — и навеки.

Но сегодня он чем-то так взволновался, что стал просто неузнаваем. Ростом он мал и никогда не горевал по этому поводу, а тут, после вахты, идя по заводскому двору, он поднимался на носки, стараясь казаться выше других, и, отвешивая поклоны, намекая на что-то весьма необычайное, шаловливо покрикивал:

— Живем! Э-э! Живем! — и быстро шагал по асфальтированной дорожке, усаженной по обе стороны молодыми липами.

Под липами лениво шевелились густые, черные тени. Иван Кузьмич на какую-то секунду закрыл глаза, представив себе подмосковные леса и вот такие же густые, черные тени. Сердце у него захолонуло. Он закрутил головой и, таинственно улыбаясь, еще быстрее побежал к проходной будке.

Вскоре, выйдя из метро, он пересек площадь и

попал в рабочий городок. Здесь громоздились, теснясь и налезая друг на друга, корпуса домов. В узких двориках, за крашеными решетками, красовались цветы, а около, на кучках песка, играли дети. Иван Кузьмич на минутку задержался, намереваясь поговорить с ребятами, но, вспомнив о том, что́ так взволновало его, заспешил к своему подъезду.

— Вот весть какую несу: ахнут! — и он, чуть ли не вскачь, взбежал на четвертый этаж, а ворвавшись в квартиру, уверенный, что его встретят криками «ура», торжественно возвестил: — Грибы-ы! Боровики!

Из кухни выглянула Елена Ильинишна.

— А-а, отец! Пришел? — проговорила она, как всегда довольная его приходом, и протянула было руки, чтобы принять от него пиджак, но, увидав, что кончик носа у Кузьмича побелел, она, припомнив шум на лестнице, который сначала отнесла к беготне ребятишек, потемнела: — Я думала, это Петька носится. А это ты, выходит?

— Да ведь боровики пошли, — спадая, пробормотал он, став вдруг сморщенным, как повялый грибок.

— Ну и что же? Здесь, что ль, они растут? На четвертом этаже? Скачешь, как заяц.

В Иване Кузьмиче все закипело. Он хотя знал, что Елена Ильинишна обрезала его так только потому, что у него пошаливает сердце, но это чувство, задавленное досадой, ушло куда-то далеко, и он сам, повесив пиджачок, начал медленно разглаживать его.

— Висит ведь уж, — сказала Елена Ильинишна.

Иван Кузьмич круто повернулся, хотел было кинуть: «Знаю с твое», но Елена Ильинишна стояла перед ним, крупная, уверенная, и молча смеялась. Тогда он шагнул в сторону, обходя жену, как что-то такое, к чему совсем не хотел прикасаться.

«Вот я тебя сейчас носом суну», — решил он, войдя в столовую, ища, к чему бы придраться. Но тут полы были натерты, стол приготовлен к обеду, в буфете виднелся торт, а через тюлевые занавески било вечернее солнце, играя трепетными бликами... Не пришел еще сын Василий, инженер. Он вот-вот явится. Таков уж закон в семье Замятиных: в субботу обедать

всем вместе. Нет снохи Лели. Она, видимо, повела детей в зоологический сад. Барыня. «Нас, бывало, никуда не водили. Крыши — вот наш сад... и выросли... ничего», — в досаде думал Иван Кузьмич, хотя сам недавно настоял, чтобы детей каждую субботу водили в зоологический сад. Но ему надо было к чему-то придраться. «Конечно, в столовой она прибрала. Как же: это на глазах. А вон там посмотрю-ка», — и он заглянул в спальню Василия. Здесь тоже все было прибрано, а на подоконнике стояла новинка — электрический вентилятор. Он звонко жужжал и гнал прохладу. Иван Кузьмич перешел в свою комнату, уверенный, что именно здесь найдет то, что ему надо. Но и тут все было прибрано, да еще, как нарочно, высоко взбита постель, а подушки покрыты кружевными накидками. «Э-э-э. Загляну-ка я в детскую...»

В детскую надо было итти мимо кабинета Василия. Иван Кузьмич шагнул туда и невольно притих, увидав склоненные над столом широкие плечи сына.

«Эх, он уже здесь», — одобрительно-горделиво заметил он про себя и осторожно, стараясь даже не скрипнуть, кося ноги, как это делают ребята, пошел к столу.

Василий поднял голову и обернулся. Освещенное голубым светом настольной лампы лицо его казалось совсем юным, несмотря на хмуро сжатые вихреватые брови. Ивану Кузьмичу в сыне нравилось все: и эти вихреватые брови, и гладкий зачес на голове, и то, что он так «усидчив», и даже то, что любит работать днем при электрическом свете, опустив шторы.

— Здравствуй, отец, — сказал Василий, глядя еще отчужденными глазами, но глаза его вдруг потеплели. — Смотри, — заговорил он и взял со стола шестеренку, чем-то напоминающую головку подсолнуха. — Смотри, следом за кулачковым валиком и коленчатым валом мы смогли обработать и эту — самую сложную деталь.

Иван Кузьмич знал, что его сын и директор моторного завода, Николай Степанович Кораблев, года полтора тому назад увлеклись разработкой метода поверхностной закалки металла путем применения

токов высокой частоты, чтобы вытеснить варварский способ, называемый термическим. Знал он и о том, что идея обработки металла током высокой частоты одновременно возникла в Америке и в Советском Союзе, что над этой проблемой работают академики. Оставалось главное — провести ее в жизнь, что оказалось гораздо сложнее. Сын Василий и директор моторного завода совсем недавно вернулись из Америки, где с них только за применение токов высокой частоты к кулачковому валику запросили миллион долларов. Вернувшись в Москву, они добились того, что обработали и коленчатый вал и кулачковый валик, а вот теперь и самую сложную деталь — шестеренку.

Иван Кузьмич вертел в руках шестеренку с такой осторожностью, как будто она была из тончайшего хрусталя.

— В Америке, —заговорил Василий тихо, в веселом раздумье, — в Америке говорят, что термист на том свете обязательно попадает в рай, потому что он тут работает в аду. А мы вот хотим уничтожить эти адские условия: жару, сквозняки, копоть, грязь. Умело использовать эту гениальную теорию, и мы... — сын застенчиво улыбнулся. — И нас... Ну, что нам тогда скажут термисты?

— На руках по всей Москве пронесут, — взволнованно ответил отец и, гладя сына по плечу, добавил: — Ты только одно и постоянно помни, Вася: рабочему классу надо оплатить за то, что он перед тобой открыл двери в храм науки. Это всегда помни. Ты думаешь, я не хотел учиться? Ох, как хотел. Да... не... не... не... — Иван Кузьмич так и не досказал, но сын хорошо понял его и, обняв, еще более взволнованно сказал:

— Тебе не будет стыдно за меня, отец. Никогда...

— Иди умывайся, — послышался из кухни голос Елены Ильинишны.

В Иване Кузьмиче снова все закипело.

«К чему это я? Вот засмеяться сейчас, и все», — подумал он, но то обидное, что появилось вначале, оседлало его.

— Без тебя знаю, — буркнул он и, умываясь над

тазом, сердито фыркая, ворчал про себя: — Скачешь, как заяц... Какой я тебе заяц? Я мастер, а не заяц. И нечего... нечего ко мне подлизываться, — дулся он, отворачиваясь от Елены Ильинишны, которая с полотенцем в руке ходила около него, готовая уже служить только ему одному.

2

Однако досада у него прошла скоро... После обеда, не ложась отдыхать, как это он делал обычно, он отправился на кухню, достал из шкафа сплетенные им еще в марте месяце новые корзины и, подкинув одну из них — легкую, розоватую, поскрипывающую, как шелк, разом повеселел. К корзинам подбежали внуки — Коля восьми лет и Петя шести лет. Коля походил на мать Лелю — такой же большеглазый, осторожный и вяловатый. Он всегда, как и мать, что-нибудь жевал и до сих пор еще не умел самостоятельно надевать ботинки, всякий раз при этом канюча: «Ма-а. Одень». Иван Кузьмич не раз говорил: «Эх, парень, быть бы тебе девчонкой». Петя походил на Ивана Кузьмича — такой же расторопный, сообразительный и даже дерзкий. Этот всегда кричал, когда ему хотели помочь: «Я сам! Я сам!» Да и нос у него такой же, как у Ивана Кузьмича, — вздернутый. Хотя такой же нос и у Василия, отца Пети, но Иван Кузьмич на это не обращал внимания и твердил свое:

— Петька в меня.

И тут, на кухне, он поднял с внучатами такую возню, что соседи сверху чем-то постучали, а сосед снизу, Степан Яковлевич Петров, не замедлил прибыть вместе со своей женой Настей. Они остановились на пороге, перепуганные шумом, ожидавшие бог весть чего, но тут увидели самое простое: Иван Кузьмич на четвереньках, на голове у него корзина, к корзине привязана веревочка, за веревочку тянет Коля, а младший, Петя, сидя на спине Ивана Кузьмича, подгоняя его пятками, выкрикивает: «Но! Но! Что ты, неподкованная, что ль?»

Степан Яковлевич — высокий, костистый, с кадыком, как груша, с небольшой бородкой, которую он носил исключительно для того, чтобы прикрывать кадык, так захохотал, что Елена Ильинишна, ахнув, сказала:

— Батюшки! Да что ты глотку-то как дерешь, Степан Яковлевич?

— Мировое! Мировое дело! — грохотал Степан Яковлевич. — А я думал, он чего-то разбушевался — шум такой. А тут, вишь, что, — и почему-то с затаенной обидой посмотрел на свою маленькую седенькую, но весьма шуструю жену Настю. Затем спросил: — По грибы, значит?

Иван Кузьмич поднялся, стащил с головы корзину и не сразу ответил:

— По грибы.

— Все?

— Всем цехом... и Петька с Колькой.

— А куда?

Тут Иван Кузьмич, всегда откровенный со своим другом, потоптавшись на одном месте, как бы пробуя новую обувь, сказал:

— А кто его знает? Может, под Можайск, там, говорят, есть. Может, под Звенигород, там, говорят, есть.

— Крутишь? По Рязанскому тракту, на свои огороды метишь. Так, что ль?

— Да ведь это все равно, что по воде писано — где они, грибы-то, — увильнул Иван Кузьмич, хотя сегодня за обедом после долгих споров — как ехать, куда ехать — вся семья решила отправиться по Рязанскому тракту, на излюбленные места Ивана Кузьмича.

— Туда. По глазам вижу. И мы с вами, — решительно заявил Степан Яковлевич и двумя пальцами потрогал кадык, что всегда у него являлось признаком волнения.

— Рады будем! — неожиданно просто ответил Иван Кузьмич.

И в самом деле этому были все рады. Дети с криком запрыгали около Степана Яковлевича, а Елена Ильинишна, глядя на возню ребят, сказала Насте:

— Был бы Саня дома, совсем бы душа у меня на месте была.

— Любил по грибы ходить, — подчеркнул Иван Кузьмич как бы самое главное в сыне.

А мать свое:

— Давно ли в школу-то бегал. И давно ли за вихор-то я его драла.

— А теперь летчик. — Иван Кузьмич гордо вскинул глаза на Степана Яковлевича. И хотя об этом все уже знали, сказал, как новость: — Самолетом командует на западной границе.

А мать опять свое:

— Когда приехал в отпуск, я его сразу-то и не узнала: взрослый, военный, — она засмеялась добрым материнским смехом. — Взрослый, военный. Да только раз подошел ко мне и тихонько: «Мама, нет ли у тебя чего сладенького?»

И тут все они вспомнили о том, как, бывало, в субботние вечера собирались за столом и Саня читал «Литературные новинки». На эти читки непременно являлся и Степан Яковлевич вместе с Настей. Выставив крупный кадык, он слушал внимательно, посмеиваясь, временами незаметно роняя слезу, а то фыркал, говоря: «Дрянь. Это мировая дрянь». Кроме того, в доме все знали, что Саня сам тайно пишет стихи. Иван Кузьмич одобрял это в сыне и поутру, отправляясь с ним вместе на завод, говорил, показывая на новые, приготовленные к отправке моторы:

— Ты бы, Саня, про него написал: он ведь всему голова — мотор.

— Да ведь я, папа, только чужие стихи читаю, — отвечал Саня и краснел, как девушка, однако решительно, по-мужски забрасывал всей пятерней свалившиеся на лоб волосы.

«Ишь-ишь, — усмехаясь, думал отец, — не пишу, а прическа как у Пушкина».

И сейчас, рассказав об этом, Иван Кузьмич тихо засмеялся, его смех басовито подхватил Степан Яковлевич, а дети с еще большим звоном запрыгали около Елены Ильинишны, требуя сладенького.

На шум, на гвалт, в рубашке-косоворотке, гладко

причесанный, свежий, вышел Василий. Видя оживление, он всем улыбнулся и особенно тепло — матери.

— Ты что, Васенька? — хлопотливо спросила та.

— Да так вот. Слышу, шумите... а ты радостная, — люблю я это в тебе, мама.

— А-а! Ученый мозг! — здороваясь с ним, проговорил Степан Яковлевич, почему-то всегда обращаясь к Василию с полушуткой, в которой слышались и хорошая зависть к нему, и одобрение. — Ученый мозг, наше вам почтение, — еще раз сказал он и так тряхнул за руку Василия, что тот невольно поморщился, а Степан Яковлевич, не замечая этого, продолжал: — На вас надежда — мозги ученые. Ты гляди, чего сосед-то делает. Я это про германца. Всю Европу ведь заграбастал. Эдак он по жадности и на нас полезет. У нас в деревне был такой Евграф Горелов, — Степан Яковлевич любил ссылаться на примеры деревенской жизни. — Сначала землю заграбастал, потом леса, а потом что придумал: в голодный год выдал мужикам по красненькой, страховые листы собрал, да и поджег деревню. Все страховые, значит, себе. Судись! И этот по жадности и на нас полезет.

Василий хотел было что-то ответить. Иван Кузьмич, зная, что сейчас непременно разгорится спор на международную тему и затянется до утра, перебил:

— Ну что ж, поедешь, что ль, по грибы-то?

Степан Яковлевич остановился, как конь на скаку:

— Возьмете — так поедем.

Сноха Леля, маленькая, кругленькая, как точеная, с тонкими свежевыщипанными бровями, посасывая леденец, сказала что-то весьма неразумное:

— Что ж, поезд всех увезет.

Степан Яковлевич растерялся, не зная, что на это ответить, и, повернувшись к Василию, проговорил:

— Ну! А то как? Высочайшая-то наука — термический цех? Ведь это чудо — за шесть минут кулачковый валик обработать. Ну, ей же богу, чудо. Я бы не поверил, ежели бы Василий Иванович мне не показал, — начал он доказывать Ивану Кузьмичу. — Сам я, понимаешь, подошел, нажал кнопку, и через шесть

минут — на тебе! Валик готов. А-а? Ты как на это, Иван Кузьмич?

Иван Кузьмич загадочно прищурил глаза, будто то, о чем спрашивал Степан Яковлевич, дело исключительно его рук, и дерзко кинул:

— Опоздал ты на полстолетия: шестеренку уже обработали.

— Ну-у? — Степан Яковлевич что-то еще хотел спросить, но резкий дверной звонок перебил его.

По всему было видно, что звонил человек, не стесняясь нарушить квартирный покой: он позвонил и раз, и другой, и третий.

— Да кто же это в такой час и так бесцеремонно трезвонит? — строго проговорила Елена Ильинишна и, чуть засучив рукава, направилась к двери. Открыла, и вся вдруг стала другой — приветливой и нежной. — Батюшки! Николай Степанович! А я собиралась шугнуть!

Сам по себе крупный, Николай Кораблев в дверях показался особенно большим. Сняв черную с широкими полями шляпу, он стесненно прошептал:

— Простите, Елена Ильинишна... но у меня очень срочное дело. Мне бы Василия Ивановича.

3

Николай Кораблев — директор моторного завода — совсем недавно получил тревожное письмо от жены, Татьяны Половцевой. Татьяна вместе с годовалым сыном еще в мае уехала в Запорожскую область, на Кичкас, уговорившись, что туда же во второй половине июня, взяв отпуск, приедет и Николай Кораблев. Но за это время в его жизни произошли некоторые изменения: он был вызван в наркомат, и ему предложили поехать на Урал, в местечко Чиркуль, возглавить там строительство крупного моторного завода.

— Что ж, не ко двору пришелся? — спросил он, глядя в брусчатый розовый пол кабинета.

Нарком, вместе с Кораблевым окончивший институт имени Баумана, побарабанил толстоватыми

пальцами по столу, прошелся и вдруг заговорил так громко, как он когда-то в детстве, в Армении, перекликался в горах:

— Тех, кто не ко двору, выгоняем. А вам даем... даем большое строительство. Такой завод! В два года построить. Это такая честь! Ну, вы понимаете? — схватив стул и сев на него по-студенчески верхом, нарком резко переменил тон и заговорил дружески: — Чучело ты, Николай. Да разве бы я тебя отпустил из своего наркомата? Но на тебя показал сам Сталин. Слышь, только такой, как Кораблев, справится с этим делом! А ведь его слова для нас с тобой закон, — и легонько большим пальцем пырнул Кораблева в бок, затем поднялся со стула и вскинул руку вверх, как бы подпирая ею потолок. — Урал — это спящий богатырь. Его надо пробудить — тогда мы непобедимы.

Николай Кораблев понял, что нарком говорит не свои слова, а тот добавил:

— Тем более — ты ведь с Урала?

— Нет, с Волги, Илья.

— Ну, все равно, — и нарком беззвучно засмеялся, весь сотрясаясь, как бы радуясь своей оплошке. — Все равно... Урал ли, Памир ли, Волга ли, или Камчатка, — ты ведь Кораблев, ну и секи волны.

Николай Кораблев поднял на наркома большие карие глаза, в которых светилась тоска, какая бывает у художника, когда в разгар работы над картиной ему мешают каким-то посторонним делом.

— Значит, изыскание по закалке током высокой частоты прекратить?

— Ах, да! — нарком тоже тоскливо некоторое время смотрел в окно. — Сколько с тебя в Америке заломили за такое дело?

— Миллион долларов.

— Может, отдать?

— Да ведь они закалили только кулачковый валик. Это мы и без них сделали.

— Да ну? Чего же молчишь? Это на Совнарком надо...

— Зачем шуметь раньше срока? Мы сейчас приступили к шестерне. Овладеем — и покажем.

Нарком задумался.

— А с Урала разве руководить не сможешь? Кто на этом деле остается?

— Инженер Замятин.

— Замятин? Это что, родственник Ивану Кузьмичу?

— Сын.

Нарком снова несколько секунд молчал и чуть спустя проговорил:

— Ага... Знаю и того и другого... Удивительная вещь. Ведь, кажется, какая огромная разница между отцом и сыном. Отец просто рабочий..

— Ну, нет... не просто.

— Сын инженер, — как бы не слыша, продолжал нарком. — Но по культуре ума — не по культуре знаний книжных, а по культуре ума отец превосходит всех нас.

— Ты любишь преувеличивать, Илья.

— На-днях в Кремле было совещание по качеству продукции, — снова, как бы не слушая Николая Кораблева, заговорил нарком. —Мы, конечно, всю технику, все цифровые данные вытащили на стол. И говорили, говорили... долго... много... Нужное, конечно, говорили... и как-то забыли о человеке... Тут и поднялся Иван Кузьмич. Да как? Вихрем. Он ведь всегда степенный, сдержанный, а тут как будто взорвался... и давай стегать. «Что это вы? Все цифры да цифры, техника да техника, а о рабочем забыли. Всегда, — говорит, — надо помнить, что если рабочий начальника только боится, то он, конечно, выполнит что положено, а уж если любит, — скажи ему, чтобы гору свернуть, он две свернет». Говорил резко, грубовато. Мы сидели, поеживались. Да и неудобно было: Сталин тут с нами. Иван Кузьмич, видимо, почувствовал, что нам неудобно. Во время перерыва подошел к Сталину и говорит: «Не грубовато ли, Иосиф Виссарионович, я выступал?» А он ему: «Правда, Иван Кузьмич, никогда на золотой тарелочке не подается. Ее с боем несут вот такие люди, как вы. Спасибо вам». Нет, ты понимаешь, Николай? Понимаешь?

Николай Кораблев отвернулся, но, посмотрев на наркома и видя, что у того тоже на глазах слезы, проговорил:

— Эх, Илья! Еду. Нельзя не ехать.

Вот какие изменения произошли за эти дни в жизни Николая Кораблева. Он об этом еще не сообщил жене. Но в жизни, очевидно, существуют свои телеграфы, и Татьяна сама каким-то путем узнала о его назначении. Дня три тому назад она прислала ему письмо.

«Родной мой, — писала она крупным, разбросанным почерком. — И в какой это Чортокуль тебя посылают? Ведь всего только два года мы жили на одном месте. И вот опять. Или ты уж привык без меня, без нас? Да как же, родной мой, ты где-то в Чортокуле, а мы? ..» — Письмо было мягкое, теплое, но с упреком.

И Николай Кораблев, вполне понимая состояние жены, решил утром в воскресенье вылететь на Кичкас, чтобы к вечеру вернуться обратно в Москву. Но тут же вспомнил, что сын Ивана Кузьмича Василий несколько раз уже звонил ему, прося зайти, чтобы проверить последние опыты по закалке шестеренки и посоветоваться по ряду вопросов. Николай Кораблев, занятый заводом и переговорами с наркомом, все не находил времени, а теперь так забеспокоился, что, несмотря на поздний час, немедленно отправился на квартиру к Замятиным.

«Поздновато. Но, возможно, еще не спят», — думал он, нажимая кнопку звонка, а войдя в квартиру и видя, что никто не спит, в том числе и ребятишки, повеселел.

— Друзья мои! — заговорил он, обращаясь уже ко всем. — Пришел к вам. Завтра лечу в Кичкас к Татьяне Яковлевне, а в ближайшие дни отправляюсь на Урал.

То, что он летит к жене, порадовало всех, но сообщение об отъезде на Урал удивило. Наступила короткая пауза. Ее нарушил Степан Яковлевич:

— Это как же, на Урал-то? За медведями, что ль?

— Да. За очень крупным: завод моторный буду

строить. Местечко такое есть — Чиркуль, — и засмеялся. — Жена перепутала, вместо Чиркуль написала Чортокуль. Может, и правда Чортокуль какой-нибудь. Перед вылетом решил с вами поговорить, Василий Иванович. Да, — спохватился он, обращаясь к Ивану Кузьмичу, — нарком мне рассказал про то, что в Кремле-то было. Трогательно это. Очень. Со Сталиным.

Иван Кузьмич вспыхнул, посмотрел на жену, как бы говоря:

«Ну вот, а ты — «заяц»! Какой я тебе заяц?»

— Печально, — грустно проговорил Василий. — На Урал, значит?

— Ну ничего, оттуда буду помогать. Покажите-ка мне результаты последнего опыта.

И они скрылись в кабинете Василия.

Наступило томительное молчание.

— Эх, ты, — пробасил Степан Яковлевич. — Такого мы теперь и не дождемся директора.

Иван Кузьмич потер большим пальцем ладонь.

— Ну, народ богат умными людьми. Конечно, жалко с таким расставаться. Однако... — он не закончил, его перебила Леля:

— Удивительно красив. Но таких женщины не любят, — и она скосила глаза на дверь кабинета.

«Только и на уме у тебя», — хотел было обрезать ее Иван Кузьмич, но промолчал и отвернулся.

А Настя, поджав губы, утягивая Степана Яковлевича к двери, проговорила:

— Пойдем-ка.

4

Степан Яковлевич Петров — заместитель начальника цеха коробки скоростей — жил очень хорошо. Но одна беда страшно томила его. Женился он на Насте в подмосковной деревне. Настя тогда была румянощекая певунья, шустрая. Такой бы только рожать. А она не рожала. И Степан Яковлевич иногда, ложась в постель, настойчиво твердил:

— Ты бы собралась, что ль, с силами-то. Экая ты.

— Соберусь, соберусь, — щебетала она, переполненная этим желанием.

Так они и жили — двое, тихо, смирно, ухаживая за попугаем Мишкой, получив от соседей прозвище: «Гога и Магога».

На двадцать восьмой год после венца, то есть когда всякая надежда на появление своих детей пропала, они взяли из детского дома паренька — черноглазого, как цыганенок... И все пошло по-другому. Настя забегала по магазинам, покупая игрушки, то и дело выскакивала на балкон, перетряхивая постельку, которая и без того была чиста, просила соседей, чтобы те не шумели в час, «когда наш парень спит», да и Степан Яковлевич возвращался с завода совсем иным. Держа на виду арбуз или шоколад, он, встречаясь со знакомыми, оповещал:

— Ухач у меня растет. Мировой, Васька. Василий Степанович, вот кто.

И соседи про них сказали:

— Очнулись.

Но Вася вскоре простудился, заболел и умер... Тогда Петровы снова помрачнели, замкнулись, и у них стало тихо, как в музее.

В квартирке все было расставлено по своим местам — тумбочки, шкафчики, диванчики. стульчики под белыми чехлами, на стенах висели картины из времен Отечественной войны тысяча восемьсот двенадцатого года, портреты Степана Яковлевича, Насти. Настя каждое утро поднималась с постели раньше Степана Яковлевича, и он слышал, как она, шурша туфлями, перебегала из комнаты в комнату, перетирала, не сдвигая с места, вещички. Она — маленькая, стареющая, тихая и энергичная, как мышь. Да еще что-то нелепое выкрикивал попугай Мишка.

— О-хо-хо, — тяжко вздыхал Степан Яковлевич и смотрел на Васину кроватку.

А сегодня ему было особенно не по себе.

Вчера вечером, когда они вернулись от Замятиных, Настя сообщила, что на дачке за Кунцевым созрела первая ягода — клубника.

— Прямо вот такая, — частила она, показывая кулачок. — Прямо по голубиному яйцу.

— Ну, это другое, по голубиному. А то сморозила — по кулаку. — Но эта весть и поборола в нем страсть грибопоклонника, одновременно породив страшную тоску: созрела ягода, а Васи нет. — Эх-хе-хе! — протянул он, поднимаясь с постели. — Замятины-то, поди-ка, укатили?

— Чуть свет, — ответила Настя из соседней комнаты и опять куда-то побежала, шлепая туфлями.

Степан Яковлевич чуть подождал и намеренно громко, чтобы разогнать томящую тишину, пробасил:

— Поехали, что ль? На дачу-то!

Вскоре они покинули свою тихую квартирку, намереваясь сесть в метро и таким путем добраться до Киевского вокзала. Но, выйдя из дому, Степан Яковлевич перерешил: утро было такое тихое и солнечное, как улыбающийся ребенок, а Москва — вся сияющая.

— Пешком, — сказал он, поворачиваясь к Насте, пятерней расчесывая бородку, прикрывая кадык.

— Ну что же, — согласилась та.

И они зашагали так же, как когда-то в деревне. Степан Яковлевич — в сером костюме, с аккуратно повязанным галстуком, в сапогах, брюки навыпуск — впереди, а Настя — в лиловом широком платье — позади. Степан Яковлевич несколько раз пытался выбить из Насти эту привычку, говоря:

— Да иди ты рядом. Не в деревне живем — в Москве.

Настя твердила свое:

— Чай, куда иголка, туда и нитка, Степан Яковлевич.

И Степан Яковлевич махнул на это рукой.

Улица была чисто выметена, на ней лежало утреннее молодое солнце. Глядя на улицу, на дома, на пробегающие машины, Степан Яковлевич сказал:

— Умытая.

— Кто? Я-то? А как же, — ответила Настя.

— Да не ты, а Москва.

— Недослышала, Степан Яковлевич.

— Я так думаю, ни одной столицы на земле нет, как Москва.

— Конешно, — сказала Настя, но сказала так простенько и незначительно, что Степан Яковлевич даже приостановился.

— Суть уразуметь надо, тогда слово у тебя будет весомое. «Конешно». Что это «конешно»? Так себе. А понять надо то, что Москва это тебе не просто город — громадина. Москва — светоч есть в мировом масштабе. Вот она какая, Москва. В сердцах она всего мирового народа. Во сне снится... А мы с тобой в ней живем и, вот видишь, по улице шагаем. В точку я говорю? В точку.

— Говори, говори. Люблю я слушать-то тебя, — то и дело прерывала его Настя, улыбаясь всем встречным, как бы зовя всех послушать, что говорит ее Степан Яковлевич.

И он говорил басом, размахивая длинными руками, сам увлекаясь тем, что говорил... И, только попав на дачку, он сразу умолк, еще издали увидав грядки с клубникой.

Не дойдя до грядок метров пять-шесть, он замер: на черноземе, старательно устланном шелковистой соломой, красовались ковры зеленых до черноты листьев, а под листьями лежали крупные ягоды. Они лежали и так и эдак, показывая то свои беловатые мордочки, то ядренокрасные бока.

— Крас... Красота мировая!

Настя подошла к грядке и сорвала одну из самых крупных ягод, проделав это так спокойно, как она перетирала, не сдвигая с места, вещички в квартире. Степан Яковлевич закричал, будто провалился в яму:

— Эй! Эй! Чего это ты?

— А чего ж глядеть на нее? Есть ее надо, — кротко ответила Настя и, вынув из чемоданчика блюдце, принялась снимать ягоду.

— Постой-ка. Как это — есть? Красоту такую, — но, нагнувшись, он сам увлекся и начал с удовольствием снимать ягоду за ягодой, приговаривая: — Миллионеры. Ну, ей-богу, миллионеры.

Когда блюдце было наполнено, Настя поднялась и, держа его в обеих руках, глядя на ягоду горящими глазами, сказала:

— Вот бы продать, Степан Яковлевич!

— Ну-у? — Степан Яковлевич рывком выхватил у нее блюдце и, шагнув к забору, через который глазели ребятишки, протянул им ягоды и, надувая губы, сам стесняясь, грубовато-любовно сказал: — А ну... нате... лопайте, — и тут же к Насте: — Скупа ты становишься. Зря.

5

А Иван Кузьмич, как только прибыли на излюбленные места, тут же всех и расставил по всем правилам грибной науки, строго наказав — не рвать грибы, а срезать ножичком под корень. Дав каждому направление, условясь встретиться на станции часам к двенадцати дня, он, прихватив с собой внучат, ринулся на свои грибные «огороды».

Леса были уже по-летнему в силе: дубы распустили свои могучие рогатые листья, липа цвела, сосна — золотая стволом — почернела в иглах, а на траве лежала серебристая роса.

Ребята кинулись было в траву, оставляя после себя путаные следы. Иван Кузьмич серьезно предупредил их:

— В траве только букашки и дрянь всякая, цветочки, а грибы — они другое поприще любят. Идите-ка вот сюда, — и повел внучат в молодой дубовый лесок.

Иван Кузьмич был уверен, что вот здесь, в этом молодом лесочке, и стоят отрядами боровики, выбившись из-под корки прошлогоднего рыжеватого листа.

— Вот они! Вот они! — хотелось закричать ему так, как он иногда кричал во сне, но, войдя в лесочек, обшарив его, он грустно произнес: — Наврал. Наврал лесничий мне. Подшутил. Ну, отчаиваться не будем, — и, сделав круг километра в два, уже окончательно теряя всякую надежду, он попал в овраг,

заросший мелким березняком, сосенками, и тут натолкнулся на такую армию грибов, что прямо-таки присел, выставив вперед ладонями руки, как бы боясь спугнуть грибы.

Рыжеголовые, покрытые росинками, они стояли под кустиками — и рядами, и вразброс, и группами, будто о чем-то совещаясь, к чему-то готовясь — не то к бою, не то к дальнему походу, и, казалось, говорили: «Смотрите, какие мы молодцы». Конечно, неопытный человек сейчас же кинулся бы на них, начал бы жадно рвать, да и потоптал бы немало. Дудки! Иван Кузьмич не из таких. Подав команду внукам не трогаться с места, он срезал под корень первый гриб-боровик. Гриб был молодой, с жирной, золотистой шляпкой, а нижняя часть шляпки залита такой желтизной, что Ивану Кузьмичу показалось — она залита чудесным липовым медом.

— Медом облиты, — шопотом произнес он и подал гриб младшему внуку Пете.

Тот поверил и лизнул.

6

Николай Кораблев с аэродрома, недалеко от Кичкаса, позвонил своему хорошему знакомому, директору Днепровской электростанции:

— Пришли мне машину. Только прошу открытую: хочу посмотреть, что здесь изменилось без меня.

Всю дорогу, пока летел из Москвы, он думал «нагрянуть домой неожиданно», а тут как-то безотчетно позвонил Татьяне.

Она обрадованно и удивленно вскрикнула:

— Коля! Ты? Родной мой. Откуда ты? Где ты?

— На аэродроме. Скоро буду, — сдержанно ответил он, хотя ему в эту минуту хотелось сказать самое задушевное, но он постеснялся посторонних и вышел из здания, решив у ворот подождать машину. Справа от него, в крутых каменистых берегах, играл Днепр. На рыжих, рябоватых скалах шелушилось утреннее солнце. Николай Кораблев смотрел на скалы, но думал совсем о другом. Женщины порой в него влюбля-

лись, порой посмеивались над ним, называя его «пустым колосом». Под влиянием этих насмешек он иногда пробовал «связать свою судьбу», но из этого у него ничего не выходило, и он, сгорая от непонятного для него стыда, отступал.

И вот однажды, в раннее осеннее утро, на берегу Днепра он увидел девушку. Она пробегала, прыгая с одного камня на другой, держа подмышкой папку, а в левой руке небольшой, светлый, наглухо закрытый ящик. На ней была синяя в полоску юбочка, такая легкая, как крылья бабочки, и белая майка. Золотистые волосы, небрежно взбитые, развевались по ветру.

— Ох, ты! Кто это? — проговорил он и сразу почувствовал, как его неудержимо потянуло к ней. И он пошел, тоже легко прыгая с одного камня на другой, неотрывно следя за девушкой. Вот она выбежала из-за скалы, затем снова скрылась, и Николай Кораблев так же, как неожиданно увидел ее, неожиданно и потерял. Он кинулся в одну, в другую сторону, потом поднялся на скалу и отсюда глянул на каскады рыжих глыб, на противоположный берег, на пробегающие через плотину машины, на движущихся во все стороны людей, — и вдруг все это ему стало неинтересным, скучным. У него даже защемило сердце, как будто он потерял самое дорогое, что бывает только раз в жизни... И он пошел со скалы, скользя по ее крутизне туда, вниз, к Днепру, и, крупно шагая, чуть-чуть косолапя правой ногой, устремился вверх по течению. На пути попался длинный, окатанный камень. Николай Кораблев перепрыгнул через него и попятился: совсем недалеко на маленьком стульчике сидела девушка. Перед ней на подставке виднелось полотно, рядом со стульчиком на гальке стоял кувшин, в кувшине торчали кисточки. Девушка, вглядываясь в воды Днепра, ругала сама себя:

— Баба ты, баба. Ничего ты не умеешь. Ничего, — и быстро-быстро кидала кисточками краски на полотно. Казалось, она кидает краски как попало. Но вот на полотне уже несутся бурные воды Днепра. Они несутся, все смывающие на своем пути и такие синие,

притягательные. Девушка приостановилась и громко засмеялась, тряхнув по-мальчишески головой. — Ага, — одобрительно проговорила она, как иногда говорит учитель ученику, удачно решившему задачу. — А не поругай тебя, ты бы ничего не сделала.

— Да-а. Это... Это очень... очень хорошо, — невольно вырвалось у Николая Кораблева, и он спохватился, полагая, что девушка сию же секунду прикроет полотно и скажет: «А чего вы суетесь?» Но она медленно повернулась к нему, и тут он увидел ее глаза, и в этих настороженных глазах было такое страдание, как будто девушке было не восемнадцать — двадцать лет, а уже перевалило за сорок. — Простите меня, — начал он, но она перебила его:

— Это правда — то, что вы сказали? Нет. До этого. Правда?

Он растерялся и кивнул головой.

— Ну, очень рада, очень! У меня это уже одиннадцатый вариант. Вы думаете, это легко? — и она так громко засмеялась, показывая белые, чуть-чуть скошенные зубы, что Николай Кораблев невольно подхватил ее смех.

Тогда ей было девятнадцать. И вот они уже семь лет вместе. За это время они несколько раз разлучались, когда Николая Кораблева переводили с одного строительства на другое, а последние два года жили в Москве.

— В Чортокуль... как перепутала, — прошептал он и втянул голову в плечи, думая о том, как же сообщить ей о своем новом назначении. — И какой это Чиркуль? Бог его знает.

Из-за поворота, волоча хвост пыли, выскочила машина. Поблескивая радиатором, она неслась по дороге, все вырастая, увеличиваясь. Но Николай Кораблев собственно машины-то и не видел. Он видел только открытый, чуть-чуть в загаре лоб, над которым развевалась копна золотистых волос, серые горящие глаза, улыбку, обнажавшую белые крупные зубы, приветствующую руку.

Очутившись в машине рядом с Татьяной, он обнял ее, чувствуя, как ее рука обвила его шею.

— Таня! Танюша моя! — произнес он и начал целовать ее лоб, щеки, губы.

И Татьяна, очевидно, никого, кроме него, не видела в эту минуту. Но она первая пришла в себя и, оттолкнувшись от него, сказала:

— Коля! Мы же не одни, — и, вся вспыхнув, закусив губы, прижавшись в уголок машины, стала маленькой-маленькой.

Вскоре они, отпустив машину, поднимались по крутому берегу Днепра в городок Кичкас, к домику с большой стеклянной верандой. Они шли, улыбаясь друг другу, держа друг друга за руки, не стесняясь посторонних глаз. Татьяна, глянув на кудлатые волосы Николая Кораблева, на подбородок с резким разрезом, на свежесть щек, тихо, гордясь им, произнесла:

— Ты знаешь, судя по портретам, ты очень похож на Петра Великого.

— О-о-о! — полушутя воскликнул он и тут же серьезно, с той затаенной теплотой, какая бывает только наедине с любимым человеком: — А я думаю о другом. Что это такое? Это что-то такое неугасимое. Неугасимое, — подчеркнул он, как будто она не расслышала его. — Мне всегда хочется быть с тобой, говорить с тобой и молчать с тобой. Я не подберу слов... Ну, ну, у меня душа стонет. Вот-вот... стонет. Душа... — говорил он, огромный, ведя всю розовую, по плечо ему, Татьяну.

Ребенок лежал в голубой коляске, задрав пухлые ножонки. Руками и ногами он ловил подвешенный полосатый мяч. Ловил старательно, напряженно, кривя губы, готовый расплакаться, и настолько был сосредоточен, что совсем не заметил, как к нему подошли Николай Кораблев, Татьяна и ее мать, Мария Петровна.

— А ну! Хватай, хватай его, Виктор. Хватай! Так его! — и Николай Кораблев щелчком ударил по мячику.

Маленький Виктор, очень похожий на отца, такой же лобастый, кареглазый, на какую-то секунду замер, затем повернул голову и улыбнулся, а отцу даже показалось, что сын не только улыбнулся, но и весь

засиял — пухленькой шейкой, ножонками, оголенным животиком.

— Узнал! — сказала Татьяна, в представлении которой, как и каждой матери, ее годовалый сын был уже сознательным человеком. — Узнал, — еще раз проговорила она и хотела было взять его на руки, но Николай Кораблев выхватил сына из коляски и, прижимаясь к нему лицом, целуя его в животик, в самые мягкие места, выкрикивал:

— Ух! Богатырь ты мой! Богатырь!

А сынишка смеялся и все лепетал-лепетал на каком-то своем птичьем языке, будто что-то рассказывая отцу.

— Ты его послушай, послушай. Он все-все тебе расскажет, — сияющими глазами глядя то на мужа, то на сына, говорила Татьяна.

Николай Кораблев прислушался.

— Не понимаю. Ох! Нет, нет. Понимаю, друг ты мой. Все понимаю, — и снова принялся целовать его. Затем остановился, посмотрел на Татьяну: — А ты где?

— Я? Вот она я.

— Нет, а та? Знаешь ли, я был на выставке. Два раза. Больше не смог. Ну, конечно, пришел — и тут же искать твой «Сенокос». Хожу, смотрю, нет и нет. Меня, как говорит Степан Яковлевич Петров, аж затрясло всего. Думаю, неужели не выставили? — И Николай Кораблев заторопился, видя, как Татьяна побледнела. — Раз прошел, еще. Вижу — толпа. Я тоже невольно глянул вверх, куда все смотрели... и... Татьяна, молодец ты.

— А что? Что? — со страхом спросила она.

— Да смотрю вверх, а там твой «Сенокос»... И толпа около него.

Татьяна, стесняясь, глядя куда-то вкось, быстро проговорила:

— Мне та картина не нравится. Не нравится и не нравится.

— Да ведь от этого не зависит успех картины — нравится она или не нравится автору; народ имеет свои глаза и свой вкус. Ну, а где ты — та, еще не известная миру?

И они перешли на застекленную веранду. Они вошли сюда молча, сосредоточенные. Только Виктор все так же лепетал, хватая отца то за нос, то за ухо, то за губы.

Николай Кораблев еще издали увидел полотно во всю стену в простенькой раме. Это, по сути дела, была все та же картина, которую он видел лет семь тому назад. Но там все было маленькое, неопытное, в поисках, а тут широко неслись воды Днепра. Они неслись могучей лавиной, ударяясь о причудливые рыжие скалы. И от Днепра и от скал веяло чем-то далеким, древним. А вон на одной скале, уходя корешками в расщелину, растет сочная молодая лебеда, одна-одинокая нашла тут себе жизнь.

— Ну что? — еле слышно спросила Татьяна, хотя сама уже знала, что картина непременно понравится ему, но спросила, вся дрожа.

— Какая ты у меня умница, — чуть погодя, как бы про себя, произнес Николай Кораблев, не отрывая глаз от картины.

— Нет, не это, а вот это. — Татьяна вся вспыхнула, уже боясь, что картина ему не нравится и что он, оберегая ее, автора, перевел разговор на нее — человека, жену. И она невольно сказала, как бы оправдываясь: — Ко мне сюда приезжал художник Рогов. Ну, помнишь, он первый в газете написал о «Сенокосе». Знаешь ли, это крупный художник... и понимает, — у нее чуть не брызнули слезы.

Николай Кораблев не видел ни смущения Татьяны, ни навернувшихся слез: он смотрел на картину и, не желая подчиняться мнению художника Рогова, быстро заговорил:

— Видишь ли, у вас ведь все — краски, тени, переливы, тона, а я ведь обыватель в этих делах... и могу только одно сказать: мне хочется быть там, на этом берегу Днепра. Да, да. И еще я вижу другое: при всех условиях надо выбиваться и жить. Мне об этом говорит вот эта лебеда. Ты смотри, — с задором начал он убеждать Татьяну, не видя, как в радости загорелось ее лицо. — Ты смотри, откуда-то ветром принесло в эту расщелину зерно... и зерно дало жизнь. Жизнь

тут, на этой жесткой, как чугун, скале. Нет, ты у меня умница. Право же. — Он обнял ее за плечи и только тут увидел, как она вся сжалась. — Что ж ты... такая?

Татьяна еле слышно проговорила:

— Когда нас ругают, хочется прямо-таки драться, а когда хвалят, то как-то неловко. А ты что потускнел?

— Завидую тебе, — не сразу ответил он.

— Завидуешь?

— По-хорошему: вот ты написала одну картину «Сенокос», и тебя уже знают, говорят — это Татьяна Половцева. Теперь ты закончила вторую — «Днепр» и станешь известна всей стране.

Татьяна некоторое время думала, затем встряхнула головой и засмеялась так громко, так заразительно, что засмеялись все, в том числе и Виктор. А Татьяна, оборвав смех, сказала:

— Но ведь и ты пишешь. Да еще как! Мои картины, пройдет время, истлеют, а твои нет.

— Не понимаю.

— Ты построил два завода — ведь это такие картины, каких еще никто не писал. То есть их писали Круппы и Форды.

— Здорово писали. Нам бы поучиться.

— Учиться — это надо. Но не всему. Они ведь все-таки писали не так, как ты.

«Вот сейчас ей и сказать, что я действительно еду на Урал», — мелькнуло было у него, но он, посмотрев на ее счастливое лицо, боясь своим сообщением нарушить все это, сказал другое: — Какая ты у меня хорошая. И как мне хорошо с тобой.

Но тут решительно вмешалась Мария Петровна. Она была выше своей дочери, физически сильнее ее и даже, пожалуй, совсем непохожа на свою дочь: дочь вся какая-то золотистая, со слабыми, почти детскими плечиками, а мать высокая, мускулистая, с лицом иссера-черным и большими желтоватыми глазами. Мать почти никогда не улыбалась и смотрела на всех и все, в том числе и на Татьяну с Николаем Кораблевым, с высоты своего большого жизненного опыта:

она все свои молодые годы провела на далеком севере, прошла не одну тысячу километров пешком, голодала, болела цынгой и знала, что «все теперешние неполадки просто пыль на вазе».

— Хорошая-то хорошая, да по ночам не спит. Пожаловаться хочу вам, Николай Степанович.

— Что такое? — тревожно и вполне доверяя матери, спросил он.

— А Днепр, Днепр при луне, — неестественно громко и часто заговорила Татьяна, вся покраснев. — Днепр при луне. Разве можно спать, когда Днепр при луне? Мама! — умоляюще произнесла она и повернулась к матери.

Но Мария Петровна беспощадно топила ее.

— Днепр-то при луне виден вон в то окно, а она по целым часам торчит вот в этом окне и все на дорогу смотрит и все вздыхает: «Коля да Коля».

7

Иван Кузьмич с внуками подходил к железнодорожной станции. Они втроем несли огромную корзину, переполненную грибами-боровиками. Они шли дорогой, вдоль реки, берег которой был сплошь усыпан нагими загорелыми телами, да и сама река кишела такими же загорелыми, блестящими на солнце телами; люди ныряли, догоняя друг друга, бросали огромный мяч и ловили его, состязались в плавании или просто лежали на воде, как бревна. Иван Кузьмич, любуясь всем этим, невольно остановился. Тут к нему подбежали люди в трусиках, купальных костюмах и, глядя на грибы, охая, ахая, вскрикивая, как бы видя группу чудесных детей, стали расспрашивать, где и как Иван Кузьмич «набрал такого добра». Иван Кузьмич долго молчал, разглаживая ладонь большим пальцем, затем обстоятельно начал отвечать, где набрал такие грибы и как их надо собирать.

Друг его Степан Яковлевич в этот час сидел за небольшим столиком под дубом, пил чай с ягодой, философствуя:

— Как только вполне созреет, надо гостей пригласить и в первую голову Замятиных с ребятишками. А как же? Конечно, существенное есть для человека — хлеб. Ягода, дескать, это так себе. Нет, ягода есть украшение в мировом масштабе...

...Николай Кораблев и Татьяна, искупавшись в Днепре, шли вверх по течению на место первой встречи...

И вдруг все это рухнуло.

Иван Кузьмич Замятин в эту минуту был уже на станции. С такой же корзиной грибов, как и у него, к нему подошла Елена Ильинишна. Сын Василий и сноха Леля сидели на лавочке и поджидали их... и каждый уже начал было хвастаться грибами, как вдруг пронеслось это страшное слово:

— Война!

Елена Ильинишна закачалась, уронила корзину, просыпав грибы на платформу под ноги бегущих людей, и тут же присела, закинув голову, став землисто-черной.

— Саня! Санечка! Сыночек мой! — простонала она.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В первый день войны, двадцать второго июня 1941 года, Николай Кораблев, простившись с семьей, с большой тревогой на душе вылетел из Кичкаса в Москву. Тут наскоро сдав дела новому директору Макару Савельевичу Рукавишникову, он отправился в наркомат и вместе с наркомом в четыре часа утра был принят Вячеславом Михайловичем Молотовым.

Вячеслав Михайлович Молотов, как всегда бледноватый в лице, в конце беседы сказал:

— Мы вам, товарищ Кораблев, поручаем одно из самых важных строительств. В кратчайший срок вы должны построить моторный завод, чтобы он как

можно быстрее вступил в бой с агрессором. Мы вам даем право подбирать людей по своему усмотрению. И всячески... всячески будем вам помогать.

Николай Кораблев все это выслушал молча, спокойно, как будто дело шло о незначительном поручении, но как только вышел из Совнаркома, так вдруг сразу и почувствовал какую-то внутреннюю дрожь, чего с ним никогда не было. Он даже, задохнувшись, проговорил:

— Что это такое?

Идущий мимо него москвич остановился, предполагая, что вопрос к нему, и спросил:

— А что?

— Я... я не к вам, — ответил Николай Кораблев, все так же чувствуя, как у него внутри все дрожит.

Это было, конечно, и чувство гордости, что вот именно ему, молодому инженеру, поручено такое большое дело; но это было и чувство страха, — а справится ли он с таким огромным строительством? Но, вернее, это было то самое чувство, какое бывает у даровитых певцов, актеров, когда они выходят на сцену. Зная, что покорят публику, они все-таки волнуются, произнося про себя: «Я это сделаю хорошо. Я обязан это сделать хорошо». Вот такое, собственно, волнение овладело и Николаем Кораблевым, когда он вышел из Совнаркома. И он, так же, как и даровитый певец, актер, сказал:

— Я это сделаю хорошо. Я обязан это сделать хорошо. — С таким чувством он и отправился на вокзал, где уже был приготовлен особый вагон.

Первую телеграмму о выезде на Урал он послал Татьяне, а затем стал рассылать телеграммы, письма своим знакомым инженерам, техникам, прорабам, которых ценил по прежним стройкам. Он каждому писал, приглашая его в Чиркуль, расхваливая и место, и условия, и само строительство, хотя сам еще не знал ни места, ни условий. Он никому не писал о тех трудностях, какие придется испытать, потому что ему было известно — для настоящего строителя-романтика упоминание о трудностях так же оскорбительно, как оскорбительно для моряка упоминание о том, что

во время плавания может подняться буря. И люди хлынули к Николаю Кораблеву — с севера, с Волги, из Сибири, из Подмосковья. Но он-то сам был особо рад, когда, приехав в Чиркуль, застал на месте Ивана Ивановича Казаринова, инженера, коренного жителя Урала.

Иван Иванович Казаринов с огромной седеющей и свисающей на грудь головой, как будто она у него была налита чем-то тяжелым, по своему характеру был человек вспыльчивый, прямой и поэтому неуживчивый. Года два с половиной тому назад, закончив строительство авиазавода на Волге, Николай Кораблев, получив назначение на московский моторный завод, пригласил было с собой и Ивана Ивановича, но тот категорически отвел предложение:

— Благодарю. Я строитель и свою судьбу ни на что не променяю. — Так он остался в старом наркомате. Но вскоре со всеми перессорился, уехал на Урал и тут ушел на научную работу. Теперь, получив телеграмму от Кораблева, он немедленно же прибыл в Чиркуль и уже несколько дней поджидал своего «шефа», как он называл Кораблева.

— Явился, — сказал он, тепло здороваясь. — И не один. Прихватил еще инженера-металлурга Альтмана, — и, подняв голову, добавил: — Соскучился по вас. Очень.

— Обоюдно, Иван Иванович.

— Видите ли, мне вся эта местность известна, как своя квартира. Что будем строить? Вы ведь в телеграмме не указали.

— Разве? Простите, пожалуйста. Строить будем моторный завод. Значение такого завода, особенно теперь, в военное время, вы понимаете.

— Толково. Давно пора.

— Значит, как говорят, по рукам? Садитесь и начинайте творить то, что полагается главному инженеру, имея в виду, что у нас с вами есть разрешение строить завод, географическая точка и... никакого плана.

Иван Иванович снова свесил голову и уже не поднимал ее, боясь, что сейчас все разрушится.

— А наркомат? Они ведь меня предали остракизму.

— Это вам так кажется. А затем я имею полномочие подбирать людей по своему усмотрению.

В зеленоватых, прищуренных глазах Ивана Ивановича вспыхнули огоньки, но он тут же погасил их:

— А вы не накличете беды на себя?

— Беда всюду гуляет, но в данном случае она нарвется на мое упрямство.

— Вот за это я вас и люблю, за смелость, — чуть погодя проговорил Иван Иванович и отвернулся, чтобы скрыть увлажненные глаза.

В обширной, пахнущей свежей краской чиркульской гостинице Иван Иванович засел за разработку плана. Он работал и день и ночь, все подсчитывая, взвешивая, вызывая к себе инженеров, техников, прорабов, лесничих. Появлялся на людях он только во время завтрака, обеда и ужина. Но и тут мысли о строительстве не покидали его: обращаясь даже к случайному человеку, сидящему с ним за одним столом, он вдохновенно произносил:

— Четыре тысячи тонн только одного металла потребуется нам. Это, милый мой, двести сорок тысяч пудов. Ого! — И вскидывал вверх руку вместе с вилкой. — Вы понимаете, что это за поэма? Нам потребуется семь миллионов одного только кирпича. Это же, милый мой, целая гора. Два цементных завода будут работать только на нас. А знаете, сколько нам потребуется, например, электрического провода или тех же канализационных труб? Вы думаете, завод это только то, что вы видите глазом? О-о-о, нет! Под заводом, в земле, гигантское хозяйство, — и смолкал так же неожиданно, как начинал.

Все шло хорошо. Инженеры, прорабы, приехавшие со всех концов страны, живя в землянках, как исследователи-геологи, работали с большим подъемом, не отставая от Ивана Ивановича. Даже Альтман, не найдя пока себе применения как металлург, взялся за разведку грунтов на площадке и вел это дело блестяще. Однако все это был только штаб, штаб без войск — рабочих. Откуда-то — из Казахстана, Узбекистана, с Поволжья, Сибири — шли эшелоны с людьми,

и для них готовились обширные бараки. Но Николай Кораблев понимал, что без местного, коренного жителя, привычного к особым уральским климатическим условиям, вряд ли что сделаешь. А местные жители упорно не шли на строительство. Как ни уговаривали их вербовщики — писали договоры, давали задаток, — и договоры и задатки жители быстро возвращали, твердя одно:

— Своей работы по горло, хоть самим нанимай.

«Сорвут. Все сорвут!» — с тревогой подумал Николай Кораблев и, не доверяя вербовщикам, сам решил познакомиться с местными жителями.

2

Городок Чиркуль, расположенный в золотоносной долине, неподалеку от строительной площадки, внешне почти ничем не отличался от других городков Урала. Мощеный, украшенный новыми многоэтажными домами, центр резко отличался от деревянных окраин и жал, теснил их. Окраины лезли на горы, убегали во все стороны, но держались крепко: избы из толстых сосновых бревен лежали на земле весомо, уходя в нее каменными фундаментами; почерневшие ворота всюду были плотно пригнаны, как двери в кладовках; крыши домов заросли зеленым мхом и казались бородатыми.

Здесь жили главным образом старатели-золотоискатели, предки которых пришли сюда со всех сторон Руси лет двести тому назад. Они промывали пески, речные наносы, добывая крупинки золота, мечтая, конечно, нарваться на самородок, рассказывая вновь прибывшим о том, как в этой долине когда-то был найден кусок золота весом в два пуда.

Расхаживая по улицам, всматриваясь в крепко сколоченные избы, Николай Кораблев пытался заговаривать с жителями, но те или молча уходили от него, как бы не слыша его вопроса, или скрывались в калитках, запирая их за собой.

«Вот это народец», — в досаде подумал он и, уви-

дев в полуоткрытой калитке старика, направился к нему, говоря:

— Да что это вы как живете? Под замками?

Тот быстро скрылся, но тут же высунулся и сердито кинул:

— На воров не наживешься.

— Как на воров?

— А вот что я вам скажу, — все еще не показываясь весь из калитки, уже мягче продолжал старик: — В человеке есть искорка природная, а есть и подлость неуемная. Пожар, к примеру, он что? Его можно поджечь, а можно и не поджечь. Кто поджигает? Человек ведь, а не зверь? Тигра какая ни на есть лютая, а и та не подожжет. А человек, он пламя подбросит: в нем подлость лютая сидит. Слыхал, гитлеришка-то какой океан-море поджег?

«Загадками говорит, домашний философ», — решил Николай Кораблев и вошел в калитку.

Старик удивленно посторонился.

— Экий. Однако смел. Из каких будешь?

— Начальник строительства моторного завода, — ответил Николай Кораблев, рассматривая двор.

Двор был выстлан толстыми досками, огорожен высокими каменными стенами, а около стен, как в огромном сундуке, двухэтажные сарайчики, какие-то клетушки — подвесные и лежачие, погребицы, дровяники, конюшня, сенники.

— Из москалей? — все больше сторонясь, спросил старик.

— Нет, волгарь. С Волги.

И вдруг старик, расчесав пятерней бороду, заиграл искорками глаз:

— Прямо скажи — какой? Крути-верти, кидай денежки на ветер, или с умом?

— Считают, с умом. А что?

Старик внимательно посмотрел в карие глаза Николая Кораблева, и разом все лицо старика покрылось мелкими морщинками и все морщинки засмеялись.

— Не хвастаешь? Тогда шагай в хату. Праздник сегодня. Гость будешь. Шагай. Нечего клетушки-то рассматривать, — и сам шагнул, уже частя: — Человек,

я говорю, существо чудное — смолоду рвется на волю, живет себе, как птица небесная, а женился — давай клетушки строить. Строит и строит, как бобер. Весь в клетушках, аж носа не видать и душе тесно, а он все строит и строит, чтобы ему лопнуть. Мать! — крикнул старик, войдя в хату. — Видишь, гость пришел. Принимай.

За огромным столом сидело человек двенадцать. Тут были и малые и взрослые. Они все о чем-то громко разговаривали, не дотрагиваясь ни до жареной картошки с бараниной, ни до лепешек. При появлении старика все разом смолкли и поднялись. Из кухонки вышла пожилая, но белолицая и такая же маленькая, как старичок, женщина.

— Где же ты пропадал, отец? — упрекнула она старика и к Кораблеву: — Милости просим, мы хороших гостей любим. Милости просим, — и вскинула на стол огромный пузатый самовар.

— Говорят, незваный гость хуже татарина, — сказал Николай Кораблев, внимательно всматриваясь в людей, которые все еще стояли.

— Ну, сидеть! — скомандовал старик и заиграл словами, приглашая за стол гостя. — Нонче татары-то хорошие люди стали, даром что басурмане. Нате-ко вам, — он сел на свое излюбленное место. За ним села вся семья. Когда сел и Николай Кораблев, старик, показывая на домочадцев, вскрикнул: — Все мои! Плоть, кровь моя, окромя, конечно, снох. Коронов — звания моя. Почему Коронов? Какая такая корона может быть на мужицкой голове? А кто ее знает. Только с прадедов такое держится, и мы в обиду не даем. Вот они, мои соколики — три сына — Егор, Иван, Петр, — тыча пальцем по направлению к каждому, быстро перечислил он имена сыновей. — А это снохи — Варвара и Люба. — На последней он задержался, ласково похлопал ее по плечу. — Ну, Люба, скоро? Ты воина давай, — и к Николаю Кораблеву: — Скоро воина принесет нам в дом. Вот как. И ты, Варвара, нового закладывай. Род Короновых должен быть во всю улицу. Мать, а мать! По случаю гостя дай-ка мне фонарик.

Хозяйка вышла в сени и вскоре принесла оттуда и поставила на стол шахтерский фонарь.

— Рюмки! — приказал Коронов и, нагнув фонарь, начал из него по рюмкам разливать водку. — В шахте я работал. Ну, десятником. А в шахту водку таскать ни-ни: сам за это карал. А выпить хочется там — под землей глубокой. Вот мы и придумали, вроде с фонарем идешь, ан фонарь-то с водочкой...

Вся семья разразилась хохотом, и все взрослые потянулись к рюмкам, уже по-доброму поглядывая на Кораблева, как на виновника неожиданной выпивки. Старик же Коронов, выпив, потыкав в нос кусочком хлеба, крякнул и зачастил, как бы уже зная, чего от него хочет гость:

— Народ мы, старатели, скрытный, недоверчивый и даже вороватый. А как же? Сам подумай: ищет старатель золотце, день ищет, два ищет, неделю, месяц ищет, год ищет. Нету. Ну, напал на россыпь. Что ж — кричи, дескать, экое богатство нашел? Да тут, как мухи, налетят. Нет, молчи, сопи и тихонько золото выбирай. А и другое бывало, ведь на казенных промыслах работали. Рупь пятьдесят копеек за золотник платили. Кружки такие ставили — туда золото при десятнике засыплешь, а обратно — шалишь, брат. Обратно — надо замочек сорвать, печать сургучную сломать. Казна платит рупь пятьдесят копеек, а тут скупщики рыщут — три целковых, три с полтиной дают. Как быть? Эка! Ухитрись золото выгрести из кружки, да чтобы печать была цела, замочек цел. Ну и ухитрялись. Поймаешь жука, привяжешь его за ниточку, опустишь в кружку, вытащишь, с лапок золотце стряхнешь и опять туда. — Коронов так рассмеялся, что даже закашлялся. — Вот оно как. И потому мы народ вороватый. У-у-у, а убийств сколько было.

— А ныне как, тоже тащат золотишко-то? — задал вопрос Николай Кораблев, предполагая, что Коронов или не расслышит, или увильнет от ответа.

— Есть такое дело, — выпалил старик.

За столом все смолкли, а хозяйка повернулась к старику и сердито проговорила:

— Болтаешь, — и к Николаю Кораблеву: — У нас нет. Это он с вина на себя-то наговаривает.

— Нет, ай есть, — озорно закричал старик. — Кто отыщет? Оно, золото, не глина, сердцу мило.

Когда Коронов вышел во двор, чтобы проводить Николая Кораблева, тот ему сказал:

— Умный вы мужик... Да и вообще в улице, наверное, умных много, но вот на работу к нам почему-то не хотите итти.

Старик вскинул руки вверх, как бы защищаясь от удара, и скороговоркой выпалил:

— Не трожь! Гнезда нашего не трожь. Советская власть нам волюшку дала, и не трожь.

— Но ведь она вас и на работу зовет. Кто же завод-то будет строить?

Старик опустил руки, посмотрел куда-то в сторону и опять весь взъерошился:

— Это так... Но... волюшка.

— Неразумно думаешь. Вот скоро сыновей призовут врага бить. Чем врага бить будут? Волюшкой?

Коронов встрепенулся:

— А призовут?

— Нет, так и будут они за самоваром сидеть.

— Дай подумаю... Соглашусь — всех приведу.

«Обязательно приведет, — уверенно подумал Николай Кораблев, шагая по улице. — И какой интересный народ. Вот бы тебе, Танюша, посмотреть».

Расставаясь с Татьяной там, в Кичкасе, он ей сказал:

— Я думаю, мы скоро увидимся. Какой это Чиркуль? Я не знаю. Во всяком случае, это Урал... И тебе там будет неплохо. Я подыщу квартиру с верандой, чтобы тебе возможно было работать, и кого-нибудь пришлю за тобой.

— Нет. Не присылай, не одолжайся, сами доедем, — и, погрустнев, оглядываясь, боясь, как бы ее не услышала мать, Татьяна спросила: — Коля, а они сюда не доберутся, немцы?

— Ну что ты? Там, на границе, их и пристукнут.

В то утро 22 июня Николай Кораблев знал только одно: что немцы вероломно напали на его родину,

а то, что в то же утро русской армии на западной границе был нанесен жесточайший удар, он этого еще не знал и никак не предполагал, что немцы хлынут в Запорожье, займут Кичкас, перейдут Днепр. Этого Николай Кораблев никак не ожидал, поэтому и не спешил с вызовом Татьяны на Урал. Он только недавно понял и поверил, что происходит нечто страшное, и ужасная тревога овладела им, тревога за людей, оставшихся в тылу, за потерянные города, землю, за Татьяну, за сына Виктора и Марию Петровну. Вот почему он на-днях, несмотря на то, что квартира еще не была приготовлена, послал молнию: «Выезжайте немедленно», и никакого ответа от Татьяны не получил. И сейчас, идя от Коронова, рассматривая особенные избы, крыши, покрытые зеленым мхом, прочерневшие ворота и далекие, синеющие уральские горы, он снова вспомнил о Татьяне, и сердце у него болезненно заныло.

— Что ж, будем ждать, — сказал он и, сев в машину, уехал на строительную площадку.

3

Через несколько дней, ведя снох Любу и Варвару, в кабинет к Николаю Кораблеву вошел Евстигней Коронов. Низко поклонившись, он смиренно сказал:

— Сынков проводил. В армию. Полетели соколики мои. Ну и что ж? Оттуда ведь спросить могут — а ты, отец, там двор только стережешь? Могут так спросить? Могут. Ну и предоставляй нам пост, умный человек.

Николай Кораблев внимательно посмотрел на Коронова, щупая его глазами, думая:

«А какой же пост ему предоставить? Сторож? Хорош будет». — И неожиданно сказал: — Становитесь-ка, Евстигней Ильич, во главе лесорубов. Нам ведь очень много лесу понадобится. И снох своих прихватите туда в качестве стряпух.

Коронов тряхнул кудрявой головой.

— Это как — во главе?

Николай Кораблев встал из-за стола и, боясь, что Коронов откажется от предложения, настойчиво и почти сурово произнес:

— Вы ведь... вас ведь очень почитают в улице... старатели. Без них ни вы, ни мы ничего не сделаем. Соберите-ка их и втяните в это дело.

Коронов чуть подождал и низко поклонился:

— Кланяюсь за доверие большое, Николай Степанович. И вы благодарите, — обратился он к снохам.

Люба поклонилась, а Варвара гордо понесла свое красивое тело, но на пороге ее в плечо толкнул Коронов, и она, повернувшись, хмуро произнесла:

— Что ж. И мы то ж.

— Что «то ж»? Ты, гордыня!— прикрикнул он на нее.

Тогда Варвара, играя пухлыми плечами, стянула с головы косынку так, чтобы были видны ее розовые, в сережках, уши, и пропела, обращаясь к Николаю Кораблеву:

— Батюшка все учит меня деликатности, а какая она, не знаю. Ну и вот, — она вся вспыхнула, маня к себе женской призывной улыбкой, дразня старика, делая ему это назло.

— Вот чорты какие они у меня, — скрывая раздражение, засмеялся старик.

А Варвара вдруг тихонько охнула, повернулась было к двери и снова посмотрела на Николая Кораблева. И уже не в силах оторвать от него глаз, сказала серьезно и просто:

— Благодарю.

Это все заметили. Люба больно ущипнула Варвару, шепнув:

— Ох, псовка!

Коронов растерялся, пробормотал:

— Итти, что ль, нам, аль тут подождать? Ну, в самом деле, итти.

С этого часа он дневал и ночевал на строительной площадке, то пропадая на лесозаготовках, то руководя разгрузкой бревен на станции... и копошился заботливо, кропотливо, как воробей около гнезда, вовлекая в это дело и земляков своих, звонко покрикивая:

— Поддавай жару! Поддавай, братки! Запрягай Урал-батюшку. Запрягай, как на то зовет наш коренник, Николай Степанович!

И Николай Кораблев действительно «запрягал батюшку-Урал».

Строительная площадка находилась километрах в семи от города Чиркуль, рядом с маленькой станцией. Совсем недавно площадка была покрыта непроходимым сосновым бором. В бору, кроме белки, глухаря и лося, жили еще и пятнистые олени. За это время лес был снят, пни выкорчеваны, и на месте глухого бора уже росли основы моторного и литейного цехов, цеха коробки скоростей, строились бараки, жилые дома, столовые, клубы.

— А-ах-ах! — вскрикивал Коронов, взбираясь на гору земли, выкинутую экскаватором из котлована. — Лежала земля, как мертвец в гробу. Пришел человек, трах по крышке: «Вставай, земля, служи мне». Ух-ух! Братки! Какого короля нам Москва прислала. Нет, не король, а туз! Разрази меня на этом месте, туз! — кричал он, ни к кому не обращаясь, а просто радуясь, глядя на то, как со всех сторон, поднимая пыль, несутся грузовые машины, пыхтят паровозы, двигаются люди, как с высоты, растопыря когти, точно коршуны, падают деррики. — Давай, жару поддавай! Эх, вы-ы-ы, люди-человеки, — и Коронов крутил головой, хлопал в ладоши так, точно убивал комара. — Вон он. Вон он, наш туз-король, — и, завидя Николая Кораблева, он кидался к нему, тряс его руку и все так же торжественно и радостно выкрикивал: — Крой-валяй! Тащи в гору кладь эту со всю Русь. Тащи, Николай Степанович!

Вынув изо рта трубку, Николай Кораблев проверяюще спрашивал:

— Тащить?

— Тащи, чтобы у всех чертей глаза лопнули.

— Одному?

— Ну. Все, как единая скала, подпирать тебя будем.

И никто не знал, кроме Нади, девушки, потерявшей отца и мать где-то под Смоленском, как

мучительно жил Николай Кораблев вне строительной площадки. Обычно, возвращаясь поздно ночью, он заглядывал в комнату Нади и виновато просил:

— Надюша, прости уж меня, но чайку бы мне.

— А он уже готов, чаек-то ваш, — и Надя, не стесняясь его, как дочь отца, выкидывала из-под одеяла босые, еще совсем детские ноги, надевала халатик, шла на кухоньку и несла оттуда горячий чай, малиновое варенье, сухари и сахар.

Варенье каждый раз подавалось к столу, несмотря на то, что Николай Кораблев не дотрагивался до него, а только посматривал, как оно красиво переливается при электрическом свете, и иногда даже советовал больше его не подавать. Но Надя протестовала:

— Знаю, что не кушаете, Николай Степанович, но так красивей, с вареньем. Смотрите, как оно блешщит, — и слово «блестит» она всегда произносила на своем родном белорусском языке.

— Ах, Надюша, — искренне восхищаясь ею, произносил Николай Кораблев, отхлебывая горячий, густой чай. — Спасибо тебе за ласку твою; не ты — я, наверное, совсем бы закис.

— Ну что вы! О вас Иван Иванович говорит, что вы человек с металлом в груди. Я, конечно, возражаю. Верно, смешно это — с металлом? Что у вас там, кастрюля, что ль, или сковородка? Правда, смешно? — и, наливая ему новый стакан чаю, Надя неизменно предлагала, зная, что ему это надо, иначе он не заснет: — Давайте карточки посмотрим, пока чай-то пьете? — И она бежала в соседнюю комнату, несла оттуда кипу фотокарточек и, выбрав одну — любимую, показывая ее Николаю Кораблеву, говорила: — А смотрите-ка, Витька (они оба Виктора звали Витькой) будто еще вырос.

— Пожалуй, пожалуй. Ну, конечно, вырос, — поддаваясь ей, говорил он. — Ему теперь ведь уже больше года.

— А Татьяна Яковлевна, как она вас любит!

— Да? Любит, Надюша?

— Очень. Вас ведь нельзя не любить. А Мария Петровна, смотрите, какая она гордая. Но я все равно

ее полюбила бы. Тяжело вам? — прерывала Надя, видя, как его лицо покрывалось глубокими морщинами.

— Да. Ведь они у меня такие хорошие... И это тяжело, знаешь... Ну вот, например, если бы ты любила. Впрочем, ты ведь еще ребенок и тебе этого не понять.

— Ну да, не понять, — резко произносила она, и уже командуя: — Посмотрели своих, а теперь спать, спать, — и уходила к себе, не ложась до тех пор, пока не засыпал он.

А утром, поднимаясь чуть свет, Николай Кораблев завтракал, закуривал трубку и шел на строительную площадку, неизменно такой же спокойный, уравновешенный, каким, очевидно, и полагается быть политику или хозяйственнику. Вне дома, заглушая тоску по семье, внутренне находясь в одном и том же состоянии, глубоко веря, что завод будет построен, что на это у народа сил хватит, он, однако, с каждым человеком вел себя по-разному: на иного прораба или начальника участка преувеличенно громко покрикивал, зная, что если на него не накричать, он ничего не сделает; иного прораба или начальника участка расхваливал, зная, что, если его не похвалить, он ничего не сделает; с иными был сердечен, добр, зная, что, если так с ними не поступить, у них «отвалятся руки». Он с каждым человеком вел себя по-разному, играя лицом, жестами, голосом, глазами, и бил в одну и ту же точку — ускорить строительство завода, наладить строительную машину так, чтобы она работала без задоринок... И никто не знал, кроме Нади и Ивана Ивановича, о душевных муках Николая Кораблева. Злые же языки, как всегда, говорили пакостное:

— Ну, ему что? У него под боком вон какая девочка — Надька!

4

Сегодня, как и всегда, вместе с Иваном Ивановичем (они жили в одном домике) Николай Кораблев пришел поздно и попросил Надю, чтобы та подала

ему чай. Но не успела она подать чайник и варенье, как раздался тревожный зов сирены и резкий телефонный звонок. Николай Кораблев кинулся к телефону и в дверях увидел встревоженного Ивана Ивановича.

— Беда! Прорвалась гора Ай-Тулак, — проговорил Николай Кораблев, кладя трубку, укоризненно глядя на Ивана Ивановича.

Иван Иванович смертельно побледнел. Он знал, что в небывало короткий срок все грунты на строительной площадке были исследованы. Исследование вел временно назначенный начальником геологической группы инженер-металлург Альтман, человек с остреньким, как у ежа, носиком, с большими серыми глазами и с непослушной прической, которую он то и дело обеими руками поправлял, как это делают женщины перед зеркалом. Иван Иванович знал Альтмана давно как смелого, умного, энергичного инженера и считал его своим учеником, чего не отрицал и сам Альтман. И вот совсем недавно Альтман сказал:

— Все мене-боле благополучно. Но там, где гора Ай-Тулак налезает, как наплыв, видимо, существует подземное озеро. Надо бы доисследовать. Потребуется недельки две-три.

В другое время Иван Иванович пожертвовал бы этими двумя-тремя недельками, а теперь «все кипело», да, по правде сказать, он и всегда-то не совсем доверял исследователям грунтов, называя их «копунами», тем более он не доверял Альтману, зная, что он металлург.

— У вас всё озера да болота, — сердито фыркнул он и, даже не сообщив об этом Николаю Кораблеву, посоветовал отдать распоряжение рыть под горой Ай-Тулак котлован для электростанции.

— Вода? — уже дрожа в коленях, переспросил он.

— Да, вода, — на ходу ответил Николай Кораблев и, накинув на плечи плащ, выскочил из домика, жалея, что не удалось попить крепкого чаю и побеседовать с Надей о семье.

Жалел он какую-то секунду. В следующую у него это вылетело: сирена выла, и на ее зов со всех концов строительной площадки бежали люди, вооруженные

топорами, ломами, лопатами, баграми. С ними вместе бежал и Коронов.

Налетев на Николая Кораблева, он остервенело, с визгом выкрикнул:

— Что-о? А говорил, с умом. Нет, не с умом, а такой — добро на ветер. Народ только, как волов, на работу тянешь, а чтоб обратиться к нему, этого нет. А мы бы тебе сказали, старики утверждают, было тут озеро... на вершине горы, да его затянуло под землю, — и еще что-то злое, оскорбительное прокричал Коронов.

Николай Кораблев даже не обиделся на него.

«Что ж, он прав: надо все проверять, и даже лучшим друзьям не следует верить на слово. Как это Ленин сказал? На слово-то верит кто? Ах, да, безнадежный идиот. Вот и я», — подумал Николай Кораблев и, теряя где-то запыхавшегося Ивана Ивановича, побежал к горе Ай-Тулак.

Заря уже овладела лесами, небом. Оно горело и, казалось, медленно опускалось на землю. При ярчайших лучах утреннего солнца было видно, как вода, прорвавшись через расщелину, затопила котлован вместе с экскаватором, хобот которого, будто захлебываясь и взывая о помощи, торчал из бурлящей пены. Вырвавшись на просторы, вода ринулась по строительной площадке, поднимая бревна, тес, бочки, унося все это прочь или нагромождая причудливые ярусы.

Тысячи людей с азартом кинулись на расщелину, забивая ее землей, глыбами, а вода все это смывала, как горсть песку, брошенную ребенком. Вот она опрокинула мост, выдрав его со сваями, и мост, по-чудному кувыркаясь, как будто ему страшно не хочется расставаться с насиженным местом, поплыл вниз.

Николай Кораблев, выслушав торопливые, сбивчивые объяснения Альтмана, приказал рыть отводные канавы. Но вода еще стремительнее хлынула из расщелины, расширяя ее, делая похожей на гигантскую пасть и затопляя канавы, угоняя людей прочь, метнулась на бараки, землянки, угрожая продовольственным складам. Тогда кто-то предложил забросать образовавшуюся пасть мешками с песком. И люди, в полной

уверенности, что вода сейчас же прекратит безобразничать, начали кидать мешки с песком. Они кидали, взяв мешок за углы, раскачиваясь, ухая, а пасть глотала мешки, как голодный пес кусочки мяса...

Так продолжалось час, два, три... Уже солнце перешло за полдень.

Вместе со всеми, по-стариковски кряхтя, бросал мешки с песком и Иван Иванович. Он как-то отупел, чувствуя свою вину, однако еще верил, что беда так или иначе будет устранена, и не видел, что надвигается катастрофа. Это и то, что люди уже вышли из повиновения, видел только Николай Кораблев. Они разбились на группы, и каждая группа делала то, что приходило ей на ум; часть людей убежала к баракам, землянкам спасать одежонку, а всякие советы, которые доходили до него, казались столь же нелепыми, как нелепы советы приостановить проливной дождь.

— А все шло так хорошо, — и Николай Кораблев с тоской посмотрел на строительную площадку.

Вода бурно неслась через шоссе, в ряде мест размыла полотно железной дороги, затопила некоторые котлованы и бараки, на крышах которых копошились люди, и, главное, — омертвила работы: уже не пыхтели умницы экскаваторы, не взвивались деррики, не мельтешили на лесах плотники и каменщики. Все замерло... И Николаем Кораблевым вдруг овладел ужас. Ему захотелось бежать отсюда, как бежит человек от чумного места.

«Это ужасно, ужасно, — думал он. — И никакого опыта у нас нет. И все, что мы делаем, делаем глупо... И неужели у местных жителей тоже никакого опыта нет?» — И он попросил, чтобы прислали к нему Евстигнея Коронова.

Коронов вскоре явился. Кудрявенький, разгоряченный и грязненький, он теперь походил на болотную кочку, заросшую травой-резучкой. Еще издали, неудержимо размахивая руками, он кричал:

— А я говорю — это надо. А Альтман — нет. А откуда знает кукушка, как вить гнезда? — и, подскочив к Николаю Кораблеву: — Али и ты из таких, кто на народное добро — плюнь да разотри?

Николай Кораблев недоуменно посмотрел на него, а тот еще громче выкрикнул:

— Не жалей деньжат, — тогда башку воде сорвем. Динамита есть, ай взрывчатка какая?

Альтман скривил губы:

— Выдумка. Фантазия.

— Давай динамиту, ай взрывчатку какую, — и, услыхав возражение Альтмана, Коронов весь сморщился и со слезой, со стоном: — Ай вам уральского добра не жалко? Гибель полную хотите после себя учинить. — И с этими словами он кинулся в толпу.

5

Люди, кому-то грозя, кого-то ругая, с шумом и гамом отхлынули от котлована, оставляя на гребне Ивана Ивановича. Он, как во сне, видел: огромная, колышущаяся толпа остановилась поодаль, а на возвышенности горы появились Николай Кораблев, Альтман, Коронов и группа рабочих. Они что-то пронесли. Потом что-то долго делали там, под уклоном. В это время кто-то подошел, взял под руку Ивана Ивановича и отвел в сторону.

Люди молчали. Если бы не рев прорвавшегося озера, то, наверное, слышно было бы тяжелое дыхание толпы: так высоко поднимались груди, а лица у всех были мрачные, как у охотников, которым не удалось «сломать» медведя и зверь уходит. Так они стояли и час и два... И вдруг скат горы, будто всем подмигнув, осел, затем раздался оглушительный взрыв. Шапка горы, рванувшись, взлетела вверх, застилая яркое голубое небо тучей пыли, а в котлован обрушились земля, камни, глыбы.

Вода еще злее закипела, и поток оборвался.

Раздались крики, приветствующие Коронова.

Иван Иванович только тут пришел в себя и, узнав, в чем дело, обозлился:

«Как же это я? Как же? Я ведь уралец и знаю, что только так можно было задушить озеро. Поистине кто-то лишил меня разума». — Скрывая глаза,

чувствуя свою двойную уже вину, он вихляющей походкой подошел к Николаю Кораблеву и, чтобы отвести разговор от своей ошибки, сказал:

— Ах, как работали! Народ. Я про народ. Ведь целый день без пищи.

Николай Кораблев, сдерживая бешенство, не глядя на Ивана Ивановича, походка которого в эту минуту казалась ему противной, проговорил:

— Четыре дня за вами. Нет, шесть. День мы потратили на это, — он показал на котлован, — и дней пять придется убирать всю эту дрянь. Смотрите, как все залило.

Иван Иванович склонил голову, затем поднял ее и большими чистыми глазами посмотрел на своего начальника. Посмотрел так, что у Кораблева внутри дрогнуло.

— Извините, — проговорил Иван Иванович.

Но это «извините» снова взвинтило Николая Кораблева, и он, чего с ним никогда не было, шагнул, подняв руку, как бы намереваясь одним ударом сбить Ивана Ивановича с ног.

— К чорту! Никаких «извините». Этим дело не поправишь. Надо наверстать шесть дней. Мы не имеем права терять и одного дня. Фронт ждет.

— Хорошо, я сейчас пойду. Я пересмотрю сроки строительства и, наверное, найду.

— Не сейчас, а передохните, на вас лица нет, — сурово одернул его Николай Кораблев. — На фронте за такое расстреливают. И вас бы следовало... только... только у меня нет такого инженера, как вы, которого я бы так любил, чорт бы вас побрал, — и накинулся на подошедшего Альтмана: — А вы почему не проявили настойчивости?

Альтман заговорил с остановками, как бы пробуя каждое слово на зуб:

— Да ведь... ведь он... Иван Иванович для меня авторитет.

— Авторитет? В таких делах авторитеты существуют только для дураков. А вы умный инженер. Чего зря болтаете? — и, увидав Коронова, Николай Кораблев тепло улыбнулся, сказал: — Ну, Евстигней

Ильич, не знаю уж, как и отблагодарить вас. Будут награждать нас орденами — первому попрошу орден вам.

— Сочту за благодарность большую, — явно гордясь своим успехом, ответил Коронов и, посмотрев на Варвару, сказал уже напыщенно, зная — в этом отказа не будет: — Варвара настоятельно просит меня обратиться к вам, Николай Степанович, чтобы ее, как у нее малое дите — двухлетка, с лесозаготовок перевести сюда, в столовую. Работать будет, как и полагается.

Варвара стояла рядом с Короновым и, как бы напоказ выставив свое красивое тело, горячими глазами смотрела на Николая Кораблева.

— Да-а... Малое дите, — тоненьким голоском нарочито пропищала Люба и передернула плечами.

«Ух, как это некстати, — подумал Николай Кораблев, отворачиваясь от Варвары. — Еще подумают, шашни какие-то», — но тут же снова посмотрел на Варвару сурово и деловито и, давая всем понять, что ее поведение вовсе не трогает его, проговорил: — Что ж, это можно. Завтра пусть и переходит.

Надя, увязая в иле, перепрыгивая через канавки, подбежала к Николаю Кораблеву и, вынимая из кармашка пиджачка письмо, сказала:

— Радость-то какая, Николай Степанович. От Татьяны Яковлевны.

Письмо действительно было от Татьяны. Оно, потрепанное, надорванное в ряде мест, бродило где-то очень долго и только вот теперь, на сороковой день, попало в руки адресата.

«Коля, — писала Татьяна. — Я, мама и Виктор уходим. Я смогла с собой захватить только картину «Днепр». Ох! А от тебя давно нет писем. И как хотела бы я сейчас получить от тебя хоть строчку. Навсегда, навсегда, навсегда твоя Татьяна».

И то, что письмо где-то так долго бродило, и то, что в нем было сказано «уходим», так потрясло Николая Кораблева, что он, утопая в иле, пошел от котлована покачиваясь. А войдя в квартиру, не раздеваясь, повалился на диван и, задыхаясь, прошептал:

— Вот такой же страшный поток прорвался и в

жизни. Война — страшный поток. Ах, Таня! Сколько тебе теперь придется перестрадать! Уже сороковой день ты где-то. Где ты? .. Где ты? — на этом его мысль оборвалась. Почти теряя сознание, он собрал все силы, упираясь руками в диван, поднялся, но так застонал, что из соседней комнаты выбежала Надя.

— Батюшки! — вскрикнула она. — Да у вас жилка на виске лопнет. Я сбегаю за доктором.

— Не надо! — хрипло кинул он. — Сейчас некогда страдать и лечиться: вся площадка у нас затоплена грязью. Приду поздно, — и, все так же пошатываясь, он вышел из квартиры.

Надя выбежала за ним, взяла его за руку, по-детски заглядывая ему в лицо, умоляя глазами, чтобы он остался дома. Он погладил ее по голове и жестко произнес:

— Страдания свои и ненависть свою, Надюша, мы ныне должны вкладывать в снаряды.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Степь звенела тонко, пронзительно, постоянно и захватывающе. И солнце лилось на обширнейшие просторы, а небо было глубокое, свежее. Казалось, ничто в мире не изменилось: все так же звенит степь, все так же греет солнце, все так же, поднявшись в вышину, заливается какая-то пичуга.

Но степь была изранена, степь истекала кровью: то тут, то там виднелись изуродованные, разорванные на части коровы, лошади, овцы; то тут, то там лежали как попало — одиночками, группами — люди, сраженные пулями, фугасными бомбами, а по дороге и около вразброс стояли подбитые грузовики, телеги, увязшие тракторы, в канавах валялись узелки с одежонкой, мятые самовары, сундучки, а вон лежит, кидая от себя ярчайший отблеск солнца, зеркало с причудли-

выми завитушками на раме... И идут люди, уставшие, запыленные, тоскующими глазами глядя куда-то вперед...

В таком людском сером потоке оказалась и Татьяна. Она шла уже второй день и вторую ночь, неся на руках маленького Виктора, а за спиной тяжелый сверток картины «Днепр». За ними шагала мать, вся увешанная узелками, сумочками. Мария Петровна, как и большинство беженцев, смотрела только вперед или себе под ноги: по сторонам было страшно смотреть. И идя так, она иногда слышала, как произносила Татьяна:

— Мама. Да что же это? Это ведь ужасно, мама. Это ведь люди — в канавах.

Мария Петровна не оглядывалась, хотя и слышала стоны, вопли, предсмертные крики: «Да вы хоть убейте!» И только один раз она оглянулась, когда Татьяна остановилась, произнося совсем тихо:

— Ма-ма... ребе-нок.

В канаве лежала женщина с раздробленной головой. По ней ползал ребенок, отыскивая грудь.

— Иди, Таня, иди, — резко, грубо проговорила Мария Петровна. — Иди, — и подтолкнула ее. — Я бы своими руками задушила тех, кто затеял такое. Но ведь я бессильна. И ты бессильна. Знаю, чего думаешь, — взять ребенка. А своего куда?

И в это время где-то в стороне, нарушая звонкие напевы степей, загудели самолеты. Один, другой, третий, четвертый... туча самолетов загудела в глубоком, чистом, как зеркало, небе. Они, вынырнув откуда-то из-за перелеска, взвились, сделали круг и стремительней птиц понеслись на потоки беженцев. И люди пали на окровавленную землю, прикрывая собою детей, раненных, искалеченных, крепко вцепившись руками в желтеющие травы, как будто это могло спасти их. А самолеты снизились так, что видны были головы фашистских летчиков... И тогда степь огласилась стонами, воплями, душераздирающими криками. Люди вдруг, как ужаленные, переворачивались или мучительно изгибались, вскидывая вверх руки, и застывали.

Проходила минута, вторая, третья... десятая, и тогда снова начинала звенеть степь, снова взвивалась в голубое небо какая-нибудь пичуга, снова пробегал живительный ветерок. И снова налетали самолеты. Так на дню пять-шесть раз... А люди все шли, шли и шли. День, другой, третий, четвертый — шли, побросав все, что не в силах были нести, растеряв родных, детей, стариков, старух, думая уже в каком-то отупении только о себе, только о том, как бы не подкосились ноги.

На пятый или на шестой день Татьяна попала на вокзал, переполненный такими же беженцами. Их посадили в теплушки, дали хлеба, воды. И поезд тронулся куда-то на север.

Вначале, когда Татьяна и Мария Петровна вышли из Кичкаса, Виктору было все интересно, он впервые видел и такие степи, и такое солнце, и такое множество людей. Показывая пальцем на корову, он произносил:

— Му-у.

Видя лежащую в канаве женщину, он старательно выговаривал:

— Те-етя-я, — и все что-то лепетал-лепетал, но чаще всего твердил «папа». Потом, очевидно, и до его детского сознания дошло что-то страшное: он присмирел, забился под шаль матери, выглядывая оттуда, как маленький сурок... И на какой-то станции, между Орлом и Брянском, он заболел. В течение одной ночи он как-то повзрослел; глазами взрослого человека он подолгу смотрел на мать, как бы говоря: «Мама, зачем все это? Зачем меня-то мучают, мама?»

И им пришлось покинуть вагон. Они сошли ночью на маленькой станции. В здании только у кассира в комнате горела лампочка. Поставив в уголок сверток картины «Днепр», положив узелок с вещицами Виктора, они присели на оставленный кем-то ящик. В здании было пусто, сыро и пахло кислятиной. Только иногда из своей комнаты выходила кассирша, женщина довольно грузная, с прической под мальчика, в пенсне и валеных сапогах. Выйдя, она некоторое

время смотрела в темный угол, как бы рассматривая Татьяну, Марию Петровну и Виктора. Постояв так, она снова уходила к себе в комнату.

— Может, мы на ее ящике сидим, — прошептала Мария Петровна и к кассирше: — Ящичек ваш, видно, мы занимаем.

Та тряхнула маленькой, подстриженной под мальчика головкой:

— Нет, я люблю...

И было непонятно: то ли она кого любит, то ли любит вот так рассматривать в темном углу людей, то ли любит просто выходить из своей комнаты. Сказав так, она скрылась в комнате, затем погасила лампу и вышла на перрон. В здании стало еще темней, еще глуше. Мария Петровна, прислонясь к дочери, прикорнула, а Татьяна, глядя широко открытыми глазами в тьму, ярко представляла себе Кичкас — зеленый городок, Днепр с его игривыми водами и красивейшей плотиной, южное небо, просторы. Вот она уже сама бежит по берегу Днепра, садится у скалы, раскладывает краски и быстро начинает бросать их кисточками на полотно.

— Это... это очень хорошо, — слышит она и поворачивается.

Недалеко, за рыжей глыбой, стоит человек без фуражки... На высокий, белый лоб падают кудлатые волосы.

— Коля! Ты такой, как тогда, впервые...

И снова — звенит степное солнце, катятся воды Днепра.

И вдруг взрыв. В голубое украинское небо летит красавица днепровская плотина. Стоны, плач. И кто-то безумно кричит:

— Все! Все!

2

Так они просидели до утра. Окно стало молочное. Вышел старичок в фартуке, с метелкой, сказал:

— Запылю. Шли бы на вольный ветерок.

Они вышли. Присели под могучей ветлой. Тут их

окружили местные жители. Люди, узнав, откуда они, заохали, заахали и стали давать разные советы. Одни советовали остаться здесь, на станции, другие — отправиться в село Егормыш, там есть и доктор. Кто-то сказал, что до Егормыша всего двенадцать километров, но его перебили, заявив, что вовсе не двенадцать, а восемнадцать. И люди заспорили. У Татьяны сдавило горло: она знала, что ни у нее, ни у матери нет денег, нет лишних вещей, значит им придется теперь просить, унижаться. И она впервые зарыдала, громко, как обиженный ребенок. Толпа еще больше заохала, заахала, а какая-то тетка, готовая расплакаться, сказала:

— А ты не реви. Поднимайся и ступай в Егормыш.

В эту минуту толпу раздвинул седоватый человек в чесучовом поношенном пиджаке и парусиновых чистых разглаженных брюках. Сняв с головы фуражку, он поклонился Марии Петровне, затем надел фуражку и, не спрашивая согласия, взял узелок.

— Идите-ка за мной, — мягко, но властно проговорил он. — Дочка, что ль, ваша? — он кивнул на Татьяну. — И ее ведите. Помогите-ка ей подняться: видите, ребенок у нее больной, — обратился он к толпе.

Люди подхватили под руки Татьяну и повели за Марией Петровной мимо палисадника, из которого так и таращились ветки желтеющей акации. Усадив Татьяну и Марию Петровну в шарабан какого-то допотопного устройства, запряженный парой сытых серых рысаков, седоватый человек сказал кучеру:

— Савелий! Отвези-ка их ко мне. Прямо на квартиру. Анастасии Григорьевне скажи, чтобы приняла хорошо. Хорошо, мол, чтобы приняла. Да доктора немедленно... да баньку. Сам баньку-то приготовь... Настоящую приготовь.

— Слушаюсь, Егор Панкратьевич, — ответил Савелий — мужик бородатый и такой широкий в плечах, что, казалось, ему трудно их поворачивать. — Слушаюсь, Егор Панкратьевич, — еще раз сказал он и подмигнул, давая этим знать: и как, дескать,

ты меня учишь — уж я-то по банным делам весь мир перешибу.

— Ну, трогай. Я догоню вас, – сказал Егор Панкратьевич.

И Савелий тронул рысаков.

А Татьяна снова заплакала, но не громко, а чуть-чуть всхлипывая, то и дело поворачивая голову в сторону Егора Панкратьевича, как бы боясь, что с ним больше и не встретится. Тот стоял у палисадника и махал фуражкой.

Мария Петровна проговорила:

— Ну вот и нашелся сердечный человек.

3

Отъехав от станции тихим шагом, выбравшись на степные просторы, Савелий весь преобразился, глянул на своих седоков, почему-то подмигнул им и, вдруг резко-звонко крикнув:

— А ну! С ветерком, лихие! — натянул ременные вожжи.

Сытые кони взяли сразу и понеслись, понеслись, развевая густыми гривами, побрякивая шлеями, колечками. Кони неслись сдруженно, в один шаг, как бы договорясь между собой, ровно, только чуть-чуть вздрагивая спинами. А шарабан, поскрипывая, покачиваясь туда-сюда, иногда почему-то воя, метался на глубоких колеях, и казалось, вот-вот он рассыплется. Мария Петровна, крепко вцепившись руками в ободину шарабана, временами вскрикивала:

— А, батюшки! А, матушки! Да не выкинет он нас? А, батюшки!

— А ну, э-э-э-й! Сторонись! Эй! — почти пел Савелий, весь срастаясь с конями, превращаясь в единое с ними. И, несмотря на то, что на дороге никого не было, он, однако, продолжал звонко: — Эй! Эй! А ну, сторонись! Эй! — И было ясно, что так вскрикивает он только для того, чтобы все — и его седоки, и весь мир — обратили внимание на него, на его коней и удивленно сказали бы: «Ай да Савелий!» — А ну!

Эй-эй! Сторонись! Эй! — гикал он, все крепче натягивая ременные вожжи, и кони неслись, уже извиваясь, искоса бросая взгляд на Савелия, как бы одобряя его.

Татьяне от такой езды стало хорошо. Она тихо засмеялась и какими-то особенными глазами посмотрела на все — и на мчавшихся коней, и на Савелия, и на поля, усыпанные скирдами ржи, пшеницы, золотистого проса и кудрявого овса.

«Ведь это наши поля, наши хлеба... наша земля... и этот чудесный Савелий, и тот, Егор Панкратьевич. Все — все это наше. Наша родина, — кричала она про себя и расширенными глазами, как бы впервые все это видя, смотрела на поля, на хлеба, на коней, на Савелия. — Боже, как мы красиво живем. И я еду... я к тебе еду, Коля. Колюша мой... Родной мой... Ро-о-дно-о-о-ой», — посылала она через просторы полей, через горы — туда, на Урал, где находился Николай Кораблев.

Мария Петровна, глядя на свою дочь, видя ее сияющие глаза, сама в страхе крепко держась за ободину шарабана, совсем не понимала, чему радуется ее дочь.

— Как бы он не выкинул нас... Из кошелки этой, — сказала она.

Но Савелий сидел на козлах, как влитой. Выбросив вперед руки, натянув вожжи, он, гордо свалив голову на правое плечо, гикал:

— А ну! Ай-ай-ай! Лихие! Соколики, сердечные мои!

И Татьяна верила ему, этому чудесному бородатому Савелию, верила коням, серым, сытым, сдруженным, верила полям, этому солнцу, этому буйному ветру, рвущему с нее косынку, с коней их густые гривы. Верила и чувствовала, что она на родине, на своей земле, среди своих добросердечных, гостеприимных земляков.

— Мама! Мама! — вскрикнула она, стараясь перекричать скрип и вой шарабана, гулкий стук копыт, свист ветра. — Мама-а!

И мать поняла — ее дочь чему-то крепко рада.

Оторвав руку от ободины шарабана и заглянув под шаль, в лицо Виктора, она сказала:

— Уснул. Мужик-то наш, — этого никто не слышал, но мать совсем и не заботилась об этом.

4

Кони, промчавшись равнинами, выскочили в гору, и тут только Савелий отпустил вожжи. Кони, резко сбавив шаг, пошли вразвалку, роняя с себя клочья пены, грызя удила, все чаще и чаще скашивая глаза на Савелия, как бы ожидая похвалы от него. И Савелий похвалил:

— Молодцы! Одно могу сказать, молодцы вы, соколики, — и, опустившись на козлах, повернулся к своим седокам: — Каково?

Мария Петровна тоже села свободней, вздохнув, сказала:

— Ну, умеете вы управлять лошадками.

— Люблю, — отрезал Савелий и тут же, заглядывая в лицо Виктора: — Хворает малый-то? — И, не дожидаясь ответа, уверенно произнес: — У нас поправится. У нас в Ливнях место такое, здоровое. Да и Егор Панкратьевич мужик — я те дам. Егор Панкратьевич по всему округу первый директор; четырнадцать лет мы с ним на одном месте. Вот как, — и Савелий замотал головой, смеясь. — Чуда-дива. И как это его не выдвинули, ай не задвинули. У нас ведь так: хорошо работает, выдвинуть его, плохо — задвинуть, — повторил он чьи-то чужие слова. — Дива-чуда. — Выехав в гору, заросшую густыми сосновыми лесами, пройдя по песчаной дороге пешком, Савелий снова сел на козлы и натянул вожжи. Кони рванулись, все так же дружно отбивая шаг.

Через несколько минут, словно увидя Москву, Савелий торжественно сообщил:

— Вот она, наша Ливня. И-их! Красота неописуемая.

В долине, разрезанной рекой и огромным прудом, лежало село Ливня. По обе стороны села тянулись

горы, заросшие сосновыми лесами, а почти рядом с селом, уходя в зелень бора побеленными, каменными, с колоннами зданиями, виднелось крупное хозяйство.

— Вон он где живет, Егор Панкратьевич. Совхоз. — Савелий отпустил вожжи, и кони снова пошли вразвалку. — А то вон мой дом. Во-о-он, с новой крышей, на второй улице. Егор Панкратьевич помог. Сказал: «Ну, Савелий, скворец, и тот свое жилье имеет, и ты приспособляйся». Вот он какой, Егор Панкратьевич. — Въехав в село, Савелий так натянул вожжи, что кони рванулись с места ураганом. Сам же Савелий весь приподнялся на козлах и, покрикивая: — Эй-эй, сторонись! Ротозей! — чортом, как говорят, промчался длинной улицей и вдруг со всего разбегу круто остановил коней у дома со старинными колоннами. Остановил и сказал: — Тута, — и вдруг, глянув в подъезд дома, отшатнулся, удивленно произнеся: — Эх! Здесь уж он. И как это его угораздило? Видно, машину вызвал. У-у-у! Мы лесной дорогой, а он в крюк — степной.

Из каменного дома с колоннами выбежал Егор Панкратьевич, уже одетый в серенький выглаженный пиджачок, и его жена Анастасия Григорьевна, женщина довольно полная, седоватая, но весьма расторопная. Она, несмотря на свою полноту, первая подбежала к шарабану и, протягивая руки к Виктору, проговорила:

— Сходите, сходите, родименькие. Сходите. Дай-ка мне младенца-то, дай-ка, матушка моя... Егорушка мне уже все рассказал. — И, приняв на руки Виктора, который, к удивлению Татьяны, охотно на это пошел, Анастасия Григорьевна подошла к мужу, по-стариковски поцеловала его прямо в губы, сказала: — Хороший ты у меня, Егорушка. Помоги-ка им выбраться. Самовар-то уж кипит. Пускай умываются, да и за стол. А ты, Савелий Петрович, коней-то поставишь, да баньку. Золотую, смотри. Не серебряную, а золотую, умеешь ты это — золотую, — и пошла в дом, что-то напевая маленькому Виктору.

Татьяна, выбираясь из шарабана, услышала, как Виктор где-то там, на лестнице, засмеялся...

5

После самовара, после завтрака, после того как побывала у них «докторша», после баньки, горячо натопленной, пахнущей уксусом и березовыми вениками, — после всего этого, свободно вздохнув, Татьяна послала Николаю Кораблеву телеграмму:

«Живы. Здоровы. Помогли хорошие люди. Скоро увидимся. Целуем тебя все. Навсегда, навсегда твоя Татьяна».

И телеграмма эта шла очень долго. Она попала на строительную площадку к вечеру шестнадцатого октября, когда Николай Кораблев и Иван Иванович сидели в домике за столом и обсуждали очень тревожную сводку с фронта. В сводке было сообщено, что немцы прорвали линию обороны под Вязьмой, Ярцевым, что пал Орел, что под ударом находится Брянск и что все это вместе угрожает и Москве.

— Да-а, — тянул Иван Иванович, роняя голову на грудь. — Москва может, конечно, пасть. Но Москва еще не страна. Но... но... отступление, это, знаете ли, сворачивается ковер... он обязательно развернется. Так еще сказал Клаузевиц: ковер сворачивается — страна накапливает силы, накопила — ковер развернется и хлестнет врага по лицу.

— Лучше бы он не сворачивался, — с тоской проговорил Николай Кораблев и в это время увидел всю сияющую Надю.

Надя, подавая ему телеграмму, сказала:

— Смотрите-ка, не зря я сегодня во сне видела голубей.

Прочитав телеграмму, Николай Кораблев выскочил из-за стола и, огромный, косолапя, забегал по комнате:

— Приедет. Ну, надо все прибрать. Нет, нет, тут хорошо, — ответил он на недоуменный взгляд Нади. — Но надо еще лучше. Может, цветы достанем, Иван Иванович. Комнату для Витьки. Мы с Таней вот в этой будем жить. А там Витька с бабушкой. Нет, нет, — заторопился он, видя, как Надя побледнела. — Ты будешь с нами. Ты учиться будешь. Хочешь ведь

учиться? Ну, вот. Татьяна Яковлевна поможет тебе. И вы сдружитесь. Обязательно.

— Откуда телеграмма-то? — Иван Иванович взял телеграмму, вынул из бокового кармана очки — он был дальнозоркий, — прочитал и, запинаясь, проговорил: — Но ведь Ливня... это — я знаю — за Орлом.

— За Орлом? — тоже запинаясь и тяжело опускаясь на диван, спросил Николай Кораблев. — Это значит?..

— Значит? Орел-то ведь пал. Но, может быть, они успели... И, наверное, успели, — начал успокаивать Иван Иванович, уже не веря в свои слова...

6

Татьяна с сыном и матерью поселились у директора совхоза Егора Панкратьевича Елова, в большой пустой квартире. Здесь аккуратно стояли кровати, кресла, стулья, трюмо, разбитое в уголке, шкафчики, гардеробы. Но было пусто, потому что два сына Егора Панкратьевича, Федя и Коля, были призваны в армию... Тут за Виктором ухаживали все — и «докторша», и Анастасия Григорьевна, и Егор Панкратьевич, и тем более Мария Петровна... И он стал поправляться. Вечерами — тихими, осенними — все, когда Виктор уже засыпал, собирались за длинным столом. Анастасия Григорьевна неизменно садилась по правую руку Егора Панкратьевича, около самовара, и, разливая чай, поглядывая в комнатку Виктора, чтобы не разбудить его, тихо говорила:

— Война — ужасная... Мы, матери, знаем, какая она ужасная. Ужасная. — Всякий раз говоря о войне, она никак не могла подобрать другого слова и говорила только «ужасная», «ужасная». И все ее понимали. — Вот у меня двое ушли. Дети. Дети ведь еще.

Егор Панкратьевич считал своих сыновей тоже еще детьми, но, чтобы успокоить жену, намеренно опровергал:

— Какие там, мать, дети? Я в их годы уж с тобой под венцом был.

— Дети, — настойчиво отбивалась Анастасия Григорьевна: — Для меня они дети. И ты не от сердца говоришь, Егорушка. И не пускать бы их на войну-то...

И вскоре нежданно Егора Панкратьевича письменно известили, что один из его сыновей, Федя, «геройски пал в бою». Получив такое извещение, он дня четыре бродил мрачный, ни с кем не разговаривая, потерял сон и так похудел, что нос у него заострился, как у мертвеца. На расспросы Анастасии Григорьевны, что с ним, он отвечал, что-де плохо идут дела в поле, но чаще отвечал совсем невпопад, и Анастасия Григорьевна сердцем почуяла непоправимую беду. Раз ночью, лежа в своей кровати, она услышала, как застонал Егор Панкратьевич. Тогда она включила свет, опустилась на колени перед кроватью мужа и, тихо плача, проговорила:

— Егорушка. Аль на тридцать пятом году жизни с тобой я веру у тебя потеряла?

Егор Панкратьевич, очнувшись, увидев перед собой жену с заплаканным лицом, вскрикнул:

— Мать! Уйди! Уйди, мать. Дай уж, эту беду я на себе понесу, — и зарыдал, весь сотрясаясь...

И мать все поняла,

Она охнула:

— Который?

— Фе-Фе... Ф... — Егор Панкратьевич задохнулся, не в силах произнести «Федя», а мать еще громче охнула и грузно упала на пол...

Через несколько дней ее хоронили всем селом, и в телегу, превращенную Савелием в катафалк, были запряжены всё те же серые кони. После похорон Егор Панкратьевич неожиданно полысел: за несколько дней волосы на его голове выпали и показался желтоватый, восковой череп. На людях Егор Панкратьевич всем улыбался, со всеми разговаривал, а дома у себя ходил по комнате из угла в угол, о чем-то глубоко думая, и вдруг, забывшись, произносил:

— Мать! А мать! Чай пить, что ль, будем?

Вот когда во все комнаты ворвалась мертвая

тишина. Эту тишину иногда только нарушал маленький Виктор, громко, по-скворчиному распевая свои песни.

Вскоре слег и Егор Панкратьевич.

— Сердце зашалило, — говорил он, лежа в постели, грустно улыбаясь. — А вы бы, Мария Петровна, не хлопотали так около меня. Ничего. Я поднимусь скоро. — А иногда по вечерам Татьяна слышала, как он горестно говорит Марии Петровне: — Тридцать пять лет, ведь тридцать пять вместе... И за несколько дней ее не стало. Нет, война — это ужасное... ужасное... ужасное, — повторял он слова покойницы.

7

За несколько дней перед тем, как Николай Кораблев получил телеграмму от Татьяны, в Ливню ворвались два немецких танка, везя на своих бронированных боках вооруженных с ног до головы немцев. Ливня помрачнела. Притихли деревянные хаты, притих и белый каменный с колоннами дом, где жили Егор Панкратьевич, Татьяна, Мария Петровна и маленький Виктор... Они заперлись изнутри. Савелий закрыл ставни и всю ночь бродил под окнами... На заре раздался грубый стук. Стук повторился настойчивее и грубее. Затем послышались голоса, и кто-то на немецком языке потребовал открыть дверь. Открыть дверь? Если бы это были воры, тогда можно бы закричать, позвать на помощь. А эти хуже воров. И дверь надо, надо открывать.

Татьяна подошла к двери, открыла ее и увидела перед собой немцев. Их вел подчеркнуто подтянутый офицер, с лилово-желтоватыми следами от фурункулов на лице. Отстранив Татьяну, он крикнул:

— Где тут этот большевик? — И протопал в комнату Егора Панкратьевича. Глянув на больного, он приказал солдатам немедленно «вытащить его из постели».

Татьяна, прекрасно зная немецкий язык, сказала:

— Ведь у него температура.

Офицер повернулся к ней, прищелкнул каблуками и спросил, кто она такая.

Татьяна никогда не говорила неправды, но тут ей, очевидно, подсказал инстинкт матери, и она проговорила:

— Я преподавательница немецкого языка.

— О-о-о! Вы будете наш переводчик. Это очень хорошо, — офицер, говоря на своем языке, протянул ей руку: — Ганс Кох, — и косо улыбнулся, кивая на Егора Панкратьевича. — А он? На виселице и с температурой можно висеть. Не выскочит. А выскочит, снова повесим, — и засмеялся, мелко подкашливая, затем, оборвав, нагнулся к Татьяне: — А у вас документы есть?

Татьяна, оробев, смешалась и сказала первое, что пришло на ум:

— Но ведь я пришла из тыла... А вдруг по дороге обыск? Преподавательница немецкого языка и к фронту идет. Шутка сказать, — пробормотала она, видя, как недоверчиво смотрит на нее Ганс Кох. — Шутка сказать, — пробормотала она еще раз.

— А-а-а! Тогда вы наша пленница, — полушутя, но не доверяя ей, сказал Ганс Кох, поощрительно глядя на то, как мимо него тащат Егора Панкратьевича.

Егор Панкратьевич непонимающими глазами посмотрел на всех и почему-то поправил простыню, прикрывая босые ноги. Таким его и вынесли из квартиры. Мария Петровна и Татьяна вышли следом за немцами на крыльцо, все еще не веря словам Ганса Коха. Но тут с крыльца они увидели, как неподалеку от базарной пустой площади солдаты воздвигали виселицу из свежих золотистых сосновых бревен... И к этой виселице солдаты тащат Егора Панкратьевича.

Ганс Кох остановился и, испытующе глядя Татьяне в глаза, заговорил, показывая на виселицу:

— Вы не хотели бы быть там? Там покачиваться? Не хотели бы? Веревка у нас есть, — и на ломаном русском, смеясь: — Мила нет. Ну и без мыла, — добавил уже на немецком языке, взглядом палача окинув ее. — Если вы лжете, вы будете там же, — и пошел за солдатами, насвистывая что-то, похожее на фокстрот.

Как только он скрылся, Татьяна припала к плечу матери и еле слышно проговорила:

— Мама, мамочка моя, что нам с тобой предстоит испытать? — и смолкла, видя, как из-за угла вышел, лениво почесываясь, Савелий.

— Что ж, потащили сердечного-то человека? — произнес он, подчеркивая «сердечного-то». — На палочку потащили? .. А мы шкурки свои спасать будем. Конешно... — загадочно проговорил он, сонно посматривая на Татьяну. — Конешно, мы по-ихнему болтать не умеем. Однако на нас шкурка тоже некупленая.

Татьяне кровь ударила в лицо.

«Он понял так, будто я изменила», — мелькнуло у нее, и она, желая разубедить его, позвала: — Савелий, Савелий Петрович! Подите-ка сюда... Ко мне... К нам вот, с матерью.

— Нет уж, нонче нет Петровича. Я Савелька. Вот кто, — и Савелий, круто повернувшись, все так же почесываясь, скрылся за углом дома.

8

Два танка, ворвавшись в Ливню, привезли с собой Ганса Коха, восемнадцать солдат и одного русского с довольно странным лицом. Губы у него толстые, выпяченные, будто он ими все время что-то сосал, нос на конце широкий, с вывороченными ноздрями, глаза суетливые, пакостные, как у крысы. Немцы не называли его по фамилии Завитухин, а кричали:

— Петр! — и звучало это так же, как кличка бездомной собаки.

Ганс Кох в первое же утро повесил на базарной площади Егора Панкратьевича Елова, председателя сельсовета и еще человека со стороны, которого не знали ни жители села, ни немцы. Когда к виселице подтащили Егора Панкратьевича, откуда-то вынырнул Савелий. Борода у него была сбита набок, глаза горели, губы тряслись. Кинувшись к немцам, он истошно завыл:

— Вот-ота-а старатели! Во-ота-а — хозяева зем-

ли! — и затянул тоненьким скрипучим голоском: — Христос воскресе, Христос воскресе...

Ни немецкие солдаты, ни Ганс Кох не понимали его. Тогда Петр Завитухин, вытянув толстые губы, пояснил:

— Наш. Досконально. На цепь привяжи, все одно плясать будет.

— О-о-о! Христос! О-о-о! — воскликнул Ганс Кох и, показывая на повешенных, сказал так громко, как будто площадь была заполнена народом: — Со всяким так будет. Ого!

Повешенные дня четыре покачивались на свежей березовой перекладине. По улице потянулся тошнотворный смрад. Тогда фашисты стащили казненных за село, сбросили в канаву, еле присыпав землей. Через несколько часов собака, косматая овчарка, всюду следовавшая за немцами, пронесла, держа в зубах, седую голову Егора Панкратьевича. Собака пробежала улицей, пересекла плотину, поднялась в гору и скрылась во дворе совхоза, где в белом каменном с колоннами доме жил Ганс Кох.

Вскоре на селе был поставлен староста. Выбор пал на Митьку Мамина — отпрыска закоренелых старинных прасолов. В Ливне знали, что когда-то отец на потеху гостям шестилетнего Митьку поил водкой. Пьяный Митька шел по улице, покачивался, падал, матерясь, как взрослый, а за ним двигалась толпа гуляк во главе с самим прасолом Маминым и хохотала. Потом Митька так втянулся в выпивку, что однажды пьяный подошел к мосту и, решив похвастаться, взялся руками за железную перекладину, вскинул ноги, видимо намереваясь показать «свечу», сорвался и головой ударился о дно реки. Его вытащили. Ребра у него смялись, как мехи гармошки, шея скривилась. Все решили: «Митька подохнет», — а он выжил. Промотав все, что осталось от отца, он переправился на конец улицы в маленькую, сгорбленную избушку, взяв себе в жены случайно подвернувшуюся нищенку — бабу толстую и такую же придурковатую, как и он сам. Сначала для потехи он бил ее тройным ременным кнутом. Жена орала так, что поднимала на ноги всю улицу. Митьке сказали:

— Эй! Забыл, при какой власти живешь. Дура она, дура, как и ты, да все одно, тебя за это не похвалят — сошлют.

— Ну? Их ты, тетеря-метеря, — и он переметнулся на другое: поставя перед собой полбутылки водки, привязав нитку к ножке стола, другим концом он обхватывал жирную ногу жены и грозил:

— Сиди. Оборвешь нитку, башку отрублю, — и пил, дразня: — Вот как я тебя мучить буду — по-барски.

За это его и прозвали Крученым барином.

Такого Ганс Кох и поставил старостой на селе.

— Мне, тетеря-метеря, — ответил Митька, — все едино. Было бы что туды, — и показывал пальцем себе в рот. — А какая власть — мне все едино, тетеря-метеря.

Танки вскоре ушли в неизвестном направлении, с ними вместе отправился и Петр Завитухин. Немецкие же солдаты разместились по двое в хатах, выбрав себе самые лучшие. Сам Ганс Кох поселился в квартире Егора Панкратьевича, сказав Татьяне:

— Мы так... семьей. Вы, конечно, ничего против не имеете?

Что на это могла ответить Татьяна? Она опустила глаза, затем, переборов отвращение, подняла их — чистые, детские — и, улыбаясь, сказала:

— О, да.

— А кто отец вашего сына? — спросил однажды Ганс Кох.

Татьяне хотелось гордо ответить, что отец — Николай Кораблев, но тут ей, очевидно, снова подсказал инстинкт матери; она опустила глаза и через секунду подняла их:

— Плод любви несчастной.

— О! Хорошо. Значит, вы не имели взаимной любви? Я тоже не имел взаимной любви. Но я надеюсь. Вы надеетесь?

— А как же? — все так же открыто глядя в лицо, усыпанное следами фурункулов, ответила она, вполне понимая, на что он намекает. И пусть, пусть намекает, лишь бы не касался Виктора.

А Ганс Кох, вскочив с кровати, сказал:

— Покажите мне его.

Татьяна почувствовала, как в ней все застыло. Пересилив себя, она еле слышно произнесла:

— Он же... он же больной, у него скарлатина. Вы можете заразиться.

— О-о-о! — Ганс Кох отшатнулся, затем в упор посмотрел на нее: — А вы подходите к нему?

— Нет. Там моя мама.

— Это хорошо. Плод любви несчастной. — Ганс Кох, довольный и успокоенный, засмеялся.

«Подлец — тупой и трусливый по-фашистски», — подумала Татьяна и с этой минуты уже не поднимала на него глаз, улыбаясь ему только губами.

На селе же все шло своим чередом.

Сначала отобрали коров, потом овец, потом стали отбирать коз, ловить гусей на пруду, кур под сараями, — все это грузилось на машины, отправлялось в Германию или пожиралось солдатами.

Ермолай Агапов, старик мощного роста, умница, стиснув зубы, шепнул односельчанам:

— Плевать. Еще наживем своим трудом великим. Только бы нас самих не казнили. А придет час, первому башку открутим Гансику и его же собаке бросим: собаки быстро привыкают!

9

Ганс Кох делал свои дела.

Однажды утром было объявлено, чтобы все трудоспособные мужчины, какие остались на селе, явились на базарную площадь. А когда те собрались, их окружили вооруженные немцы и погнали из села, следом за Митькой Маминым. На селе поднялся плач. С каланчи послышалась пулеметная очередь... И все смолкло. А через несколько дней явился пьяный Митька Мамин и с крыльца школьного здания возвестил:

— Семь марок. Марочек. Бумажненьких. По семь марок каждого продали, как кутят. Согнали всех в

бараки, господа фабриканты наехали и брали по семь марок за персону. Взяли и к себе на работу погнали. Вот как. Будет. Пошалили, — закончил он с визгом.

— Вон чего. Человек так дешево стоит — семь марок, — с горечью заключил старик Ермолай Агапов, у которого немцы угнали племянника. — Ну что ж, больше кишок потребуем для расплаты, — и с этого часа стал тайно связываться с партизанами.

А Ганс Кох вечером вызвал к себе Татьяну. Сидя на кровати, попивая мелкими глотками ром, он пригласил Татьяну отведать. Та стояла в дверях, глядя в сторону и отрицательно качая головой.

— Не бойтесь, — успокаивал Ганс Кох. — Мы теперь одни. Что такое на селе женщина или старик? Это не страшно. Ого, — язык у него чуть заплетался. Встав с кровати, потянувшись, он прошелся, затем остановился, хвастаясь: — Что есть военный? Я окончил гуманитарный университет, но биль. . .

Из соседней комнаты раздался плач. Плакал Виктор. Вышла вся посиневшая, исхудавшая Мария Петровна, которая все больше молчала, будто потеряв дар речи. Татьяна шагнула ей навстречу, остановилась в дверях и, повернувшись к Гансу Коху, сказала:

— Разрешите, я утешу сына. . . Хотя бы издали.

— Утешу? . . А меня утешить не хотите?

Татьяна вцепилась пальцами в косяк двери, затем оторвала руку, чувствуя, как зябкая дрожь от пальцев пошла по всему телу.

«Ударить. Вот так — со всего размаху. А Виктор? А мама?» — мелькнуло у нее, и она хотела было улыбнуться губами, но губы не послушались ее, а глаза сами вскинулись на Ганса Коха, и она сухо произнесла:

— Вы. . . вы потеряли понятие о том, что такое пошлость. . . и поэтому я принуждена покинуть этот дом, — это было рискованно, она уже понимала, но, начав, она не могла не закончить, и еще резче сказала: — Я напишу бургомистру, чтобы мне разрешили выехать в город, где я принесу больше пользы и где не буду подвергаться оскорблениям, как здесь.

Он растерянно замигал, как мигает азартный картежник, поняв, что он окончательно проиграл:

— Вы не так меня поняли, уверяю вас. Я не знаю хорошо русского языка, и поэтому вы не так меня поняли.

Она секунду молчала.

— Нет, вы говорили со мной на своем языке, — и покинула комнату.

10

Мария Петровна перевертывала Виктора. Татьяна опустилась на колени перед кроваткой и, вся содрогаясь, произнесла:

— Мама, мама! Какая мерзость!

— Бежать надо, дочка. Бежать. И село на тебя в обиде: все думают, качнулась ты к этим, — как всегда грубовато проговорила Мария Петровна и погладила дочь по голове.

Татьяна, которую и в детстве очень редко ласкала мать, не отнимая головы от ее руки, сказала:

— Ой, нет. Нет, мама. Есть один человек, который все знает.

— Савелий, что ль?

— Нет, я потом тебе скажу.

Несколько дней тому назад Татьяна увидела за плотиной жену повешенного Гансом Кохом председателя сельсовета. Та, обессиленная, никак не могла взобраться на горку. Татьяна подошла к ней, обняла ее за плечи, поцеловала и помогла ей. Затем некоторое время смотрела ей вслед и пошла через плотину. Тут она и столкнулась с Ермолаем Агаповым, который видел, как она помогала женщине. Он стоял на плотине, расставя ноги, крепко упираясь ими, и как только Татьяна поровнялась с ним, он в упор посмотрел ей в глаза, и глаза их заговорили.

— Верьте мне, дедушка, — сказала она глазами.

Ермолай Агапов отвернулся и тут же снова глянул в глубину ее глаз, затем тихо произнес:

— Много я прожил годков, дочка... и обманывали

меня многие, но не с такими глазами, как твои, — и сурово добавил: — До падения только не доводи себя, хитрость надо вести до грани, а через грань хитрость тебя перетянула — пропадать тебе, — и тут же совсем тихо: — В одном доме с ним живешь? Ну и сверши святое дело.

— А что? Что я могу? — она беспомощно протянула к нему руки.

— Убей.

— Я?

— Да. Только, чур, когда знак дам, — и, подняв согнутый, загрубевший палец, погрозил: — Мыслю эту так глубоко закопай, что, если на костре будут жечь, чтобы не откопали, — пошел в гору, все так же растопыркой ставя ноги.

Татьяна долго смотрела ему в спину, с завистью думая:

«Какой он сильный. Как он идет: земля принадлежит ему. «Убей!» — Это я-то? Да как же я смогу? Вот этими руками?»

А Ермолай Агапов, точно подслушав ее мысли, круто повернулся и вплотную подошел к ней:

— Я за всю свою жизнь человека пальцем не тронул: человека, — раздельно произнес он. — А тут — убью, и ты убей.

— Да ведь сын у меня, — почти со стоном произнесла она.

— Сын? А у нас кто? Галчата, что ль? Птенца воробьиного из гнезда выбросить жалко... а сына... дочку... Вон внучка у меня, Нинка. Жалко, действительно. Да ведь потому и убивают бешеных собак, чтобы детей они не перепятнали.

Вспомнив этот разговор, Татьяна сказала матери:

— Нет, нет, мама. Знают меня на селе.

— И все равно надо бежать, — уже совсем грубо отрезала мать.

— Куда? Ведь он еще больной, Виктор, — и Татьяна подняла глаза на мать, и глаза ее сияли. — Помнишь, как я перепутала Чиркуль на Чортокуль? Ах, мама, в Чортокуль бы этот. И как он, Коля, теперь страдает по нас. Ведь он мучается?

— А как же.

— Неужели я его никогда, никогда больше не увижу? Ни-ко-гда-а, мама?

— Ну, вот еще выдумала, — но глаза у матери наполнились тоской, и она сама прошептала: — Чортокуль, Чортокуль.

— Да. В Чортокуль бы, — мечтательно проговорила Татьяна, и вдруг глаза у нее вспыхнули такой ненавистью, что мать перепугалась, а дочь, кутаясь в шаль, сказала: — Я скоро приду, мама... Если этот пес спросит, скажи — ушла гулять, да не груби ему. Потерпим уж.

Она перебежала через плотину и свернула на опушку леса. Там, в густых соснах, на пне сидел Ермолай Агапов. Он поднялся ей навстречу, добрыми, большими глазами посмотрел на нее, кинул:

— Ну что, дочка?

Татьяна, сев рядом с ним на пень, чувствуя себя действительно дочкой, рассказала ему все, что ей говорил Ганс Кох, как он вел себя. Выслушав, Ермолай Агапов сказал:

— Чуешь? Этот еще только щенок, а какую пакость имеет. А те — псы настоящие: обдерут нас — это мало, да ведь еще в душу залезут и там напоганят. Хорошо ты это так-то с ним. Припугнула. Ну, а что слушала? Ты каждый день слушай.

Татьяна ежедневно, как только уходил из дому Ганс Кох, слушала радиопередачи. Она слушала и немецкую, хвастливую, но чаще ловила передачу из Москвы. И все, что она слышала, было страшно. Сегодня она узнала о том, что фронт прорван у Вязьмы... и немцы двинулись на Москву. А немцы кичливо кричали, что они вот-вот займут столицу, войдут в Кремль и на Красной площади будут праздновать победу... что москвичи из столицы бегут.

Передав все это, она пугливо посмотрела на Ермолая, уверенная, что на него ее рассказ произведет страшное впечатление. Ермолай Агапов поднял голову:

— Значит, убралась Москва-то. Это хорошо: детям и женщинам не надобно быть под огнем. А то, что

немцы болтают, — брехня. Он им, Сталин, покажет Москву — пятки засверкают.

Все это Ермолай Агапов произнес так, что у Татьяны разом пропал ужас, и она, еще внимательнее посмотрев на старика, произнесла:

— Какая у вас вера большая.

— А как же? Я ведь много лет прожил на земле, и всякое у меня было: жене не верил, детям не верил, друзьям не верил, а в народ всегда верил.

— А вот теперь? Ведь они боятся немцев.

— Это не боязнь, дочка, — Ермолай Агапов смолк, еле слышно похрустывая мерзлым снегом под ногой.

В этот миг из кустарника выскочил заяц. Как ошалелый, он кинулся сначала в одну, потом в другую сторону и со всего скока сел почти рядом с Ермолаем. Сел и выпученными, как горошины, глазами глянул в кустарник. Из кустарника показалась тонкая, длинная лисья голова. Заяц шарахнулся.

— Ух ты! — крикнул ему вдогонку Ермолай, и чуть погодя: — Видала? Заяц и то как жить хочет: от лисы-то к нам сиганул... А честный человек, который своим трудом хлеб добывает, ой, как жить хочет. Жулик, прохвост — тому жизнь ломаный грош. А мы сладко жили, с достоинством; мужик впервые стал гражданином. Понятно тебе это? Ну вот и копай тут. Полюбил мужик жизнь, а ему смерть несут. Нежданно, негаданно.

— А не будет так, как с Савелием Раковым?

Ермолай Агапов чуть подумал:

— Осудить человека — дело легкое. Понять — дело трудное... Давно я его знаю: одногодки мы и друзья были большие. А вот теперь. Ты приглядись к нему. Бац-бац человека по голове — легко. А может, у него линия. У меня своя линия, у него своя, у тебя своя, это капельки. А дождь тоже ведь капельками падает, а какие потоки бывают. — Дед помолчал и вдруг настойчиво потребовал: — Ты вот что, у пса тогда выпроси мне разрешение — на богомолье я хочу сходить. — Глаза у него загорелись искорками ребяческого озорства, и он тише добавил: — На бого-

молье... В Брянские леса, к партизанам... что ему, псу, не полагается знать.

— Ох, как мне это трудно — улыбаться, просить.

— Трудно? Еще бы. Но ведь хуже—прямо-то в лоб бить, когда еще рука коротка: по воздуху кулаком шарахнешь — и все. Потому хитрить надо до тех пор, пока рука до лба не дотянется. Дотянется — тут и шарахни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Горы иногда рушатся сразу — в один час, в один миг...

В тот день, к вечеру, когда вся семья Замятиных вернулась домой, Елена Ильинишна — она всю дорогу молча плакала — сняла со стены календарь и сорвала двадцать первое июня.

— А двадцать второе не трогайте — это память о Санечке.

— И чего ты выдумала? Ну-ка я его сожгу, численник твой, — прорвался Иван Кузьмич, всю дорогу ласково утешавший жену.

Но Елена Ильинишна посмотрела на него так, как будто он делал что-то самое пакостное, и, собрав вещи Сани, словно провожая его куда-то, сложила их в уголке, рядом со своей кроватью.

Леля вмешалась, решив поддержать Ивана Кузьмича.

— Какие глупости, мамаша: все равно так моль съест.

Иван Кузьмич круто повернулся к Василию и, глядя на сноху, крикнул:

— Уйми!

На следующий день, поздно вечером, когда дети уже спали, призвали в армию и Василия. Мать снова заплакала. Она посадила сына рядом с собой, склонила его голову на колени и, разбирая волосы, тихо проговорила:

— Васенька! И взрослый ты — знаю, свои дети у тебя. Да ведь для моего сердца ты все равно маленький. Побереги себя, родной мой. Не трусости от тебя требую. Нет. Храбро побереги.

Иван Кузьмич хотел было молча расцеловаться с Василием, но, поцеловав, сказал:

— Ступай! И везде помни, какая власть инженера тебе дала. О ребятишках не думай — сберегу.

Сын посмотрел глубоко в глаза отцу, думая о чем-то очень далеком.

— Детей сбережешь — уверен. Но и то сбереги, что ждут термисты.

— Зря печалишься, — и отец легонько подтолкнул сына, как бы говоря: «Иди».

Леля завыла, повисла на шее мужа:

— Приезжай скорее, скучать буду.

А час спустя, когда в квартире все еще молчали, не зная, к чему и как приступить, раздался телефонный звонок и одновременно вошел Степан Яковлевич. По телефону звонил Едренкин, контролер из наркомата. Раза два встретившись с Иваном Кузьмичом в наркомате, он настойчиво лез к нему в дружбу, чего вовсе не хотел Иван Кузьмич. И вот теперь звонил.

— Разумный вы человек, — говорил он по телефону, — и я, как другу, хочу вам дать совет — запасайтесь, запасайтесь и еще раз запасайтесь.

— Чего? Не пойму что-то.

— Запасайтесь. Стыдно вам не запасаться, пока магазины полны товаров: у вас семья.

У Ивана Кузьмича трубка задрожала в руке, даже закачалась голова, и он остервенело зашипел, что бывало с ним очень редко:

— Ну, вы... это... того... не сколачивайте меня на дрянь великую. Что? Есть ли деньги? Есть. Но я и копейки не дам, — и, весь клокоча, сел за стол.

— Остынь, — посоветовал Степан Яковлевич.

— Да как же? Такое над страной нависло, а он — скупай. Сожрут! Такие крокодилы все государство сожрут.

— Не кипятись. И на хорошем теле паразит случается. — Степан Яковлевич чуть подождал, потрогал

двумя пальцами кадык, вдавливая его. — Вот оно как разразилось. Ну, ты как, политик?

— Как? Давай чай пить. — Иван Кузьмич хотел было позвать Елену Ильинишну, но, посмотрев на дверь своей комнаты, покачал головой и сам включил электрический чайник, достал посуду, сахар.

— Матерям тяжело, — все поняв, проговорил Степан Яковлевич.

— А отцам?

— Отцы тоже, конечно, — и, чуть погодя, глядя на дверь комнаты Василия: — Мечты ведь рушатся. Запечатать придется, дело такое большое. И у многих ведь так. Я вот, к примеру, хотел сад рассадить — мечта хотя маленькая, однако дорогая мне. И у каждого ведь чего-нибудь да было, у одних большое, у других малое, но все одно — дорогое.

Чайник вскипел. Иван Кузьмич проговорил:

— Крепкий любишь? Пей! — и подвинул стакан с чаем.

— Говорят, — Степан Яковлевич потренькал ложечкой в стакане, — воровски напали: свои самолеты в нашу краску перекрасили. Летят, будто наши, а он — враг. Своих молодчиков в нашу милицейскую форму одели и к нам в тыл. Да-а. Теперь нам придется выше рукава засучить.

— Не привыкать: мы не Едренкины, — и Иван Кузьмич прислушался к тому, как в комнате вдруг застонала Елена Ильинишна.

2

Немцы, захватив Ярцево, прорвали фронт под Вязьмой, ими занят Орел. Сообщение это принес Степан Яковлевич. Он вернулся с завода позже Ивана Кузьмича и нашел его дежурившим на крыше. Ночь была темная, ветреная. Иван Кузьмич сидел за трубой, ожидая сигнала тревоги. Поскрипывая молодым, только что выпавшим первым снегом, к нему подошел Степан Яковлевич и, присев, сказал:

— Ну как, Иван Кузьмич?

— Жду. Может, будет. А может, не будет. Ребятишки скучают.

— Чего это?

— Да ведь они какие. Игру из беды устроили, спорт. Как только посыплются зажигалки, так они сломя голову да в драку за ними. А днем подсчитывают, кто сколько набрал, и хвастаются.

— Да-а, — протянул Степан Яковлевич, прячась от ветра за трубу. — Слыхал, весть какая? У Вязьмы прорвали, Орел заняли. Небольшой прыжок до Москвы.

Иван Кузьмич весь день был занят домашними делами, готовился к отправке семьи в Сибирь и поэтому не смог прослушать «последних известий».

— Ну-у-у? — только и проговорил он.

Засвистал ветер, поднимая в темной ночи снежную пыльцу. Москва, белая в крышах, тонула в какой-то гигантской черной яме: ни огонька, ни резких автомобильных фар, ни широкоспинных автобусов, которые обычно таращатся во все стороны своими яркими глазами. Только где-то далеко иногда разрывались вспышки на трамвайной линии, и по этим вспышкам можно было судить, что Москва живет.

— Живет она, Москва-то. Все равно не сдадим, — решительно кинул в тьму Иван Кузьмич.

— Не сдадим? А иные говорят, что, может быть, ее придется оставить, как при Кутузове.

Иван Кузьмич степенно, но резко сказал:

— Дурь. Как при Кутузове. Кто это тебе такое в голову вбил? Немцы хотят Москву забрать, а ты — сдать.

— Да что ты на меня-то кинулся? Я готов хоть сейчас за винтовку взяться и палить. Только, думаю, хватит ли на нас на всех винтовок-то?

— Кирпичами драться будем. Стены домов разберем и — кирпичами, а Москву не сдадим.

Легкий ветерок дунул по крыше, серебря ее.

Степан Яковлевич уже по-дружески сказал:

— Ты бы привязал себя веревкой к трубе, не то волной может смахнуть.

— А как же тогда с зажигалками? Привяжу себя

веревкой к трубе, как чурбак, а зажигалки — гори?

— Ты ее подлиннее, веревку-то, и бегай. А то, сказывали мне, недавно разорвалась бомба и четырех воздушной волной с крыши смахнула. К чему это зря-то погибать? Ты приноравливайся — позору в этом нет. Позор — зря погибать, — и, чуть подождав, Степан Яковлевич спросил: — Как твои-то, собираются?

— В Барнаул. Припоздали малость. Вот теперь и кати такую даль. А ехать, пожалуй, надо: ребятишки у нас.

— Да и с харчей Москвы долой, — добавил Степан Яковлевич. — Настю, может, прихватите?

— Что ж, не помешает, женщина она хорошая. — Иван Кузьмич хотел еще что-то сказать, но в эту минуту где-то на стороне, и, казалось, очень далеко, в темном лакированном небе начали рваться вспышки зениток. — Ползут, мерзавцы. Ребята! Эй! Готовься! — закричал он.

3

В эту ночь не было тревоги. Где-то на окраине Москвы появилось несколько вражеских самолетов, и те, покружившись, скрылись.

— Видно, готовятся к крупной пакости, — часа в четыре утра проговорил Иван Кузьмич. — Пойдем-ка, Степан Яковлевич, спать. Теперь он не полетит: жулик боится света.

Они разошлись по квартирам. Но спали недолго. Несмотря на то, что на завод им надо было к двенадцати дня, в семь утра они уже вышли из подъезда дома, гонимые какой-то смутной и страшной тревогой.

Выбравшись из переулка на Садовое кольцо — на эту широченную, асфальтированную улицу, — они увидели что-то необычайное: почти во всех окнах были открыты форточки, будто вся Москва проветривалась от угара; в ряде окон небрежно откинуты шторы и свет огней бил на улицу, — это было прямое нарушение всех правил, но тут же ходили милиционеры и не обращали на это внимания.

— Что же это такое может быть? — оба враз произнесли они и направились к метро.

Оно оказалось закрытым. Тогда они пошли к трамвайной остановке. Тут была настоящая давка. Люди с боя брали трамваи, лезли на подножки, на боковины.

— Не пробьемся, — сказал Иван Кузьмич. — Пойдем-ка пешком. Через полчаса и на заводе будем. Я ходил.

Пока они шли, совсем рассвело. А как только рассвело, они увидели, что почти вся улица усыпана жженой бумагой. Жженая бумага вылетала из труб и сыпалась, будто черный снег. На некоторых же домах дворники тщательно счищали плакаты, воззвания.

— Это чорт-те что, — прогрохотал Степан Яковлевич. — Чего-то жгут, чего-то счищают. Да где власти-то? Комендант, что ль, есть? Безобразие какое!

— Видно, мы с тобой чего-то не знаем, — тихо проговорил Иван Кузьмич. — Просидели на крыше-то. Давай-ка скорее на завод.

Около завода, на огромной площади, колыхалась толпа. В воротах стояли рабочие, и один из них, взобравшись на забор, размахивая винтовкой, увещевал:

— Товарищи! Ну, мы-то бы вас с нашим почтением, но дисциплина: не велено — и баста.

Иван Кузьмич и Степан Яковлевич пробились через толпу и тут узнали того, кто, сидя на заборе, кричал: «Товарищи, дисциплина же!» Это был Петр Завитухин из цеха коробки скоростей, только что вернувшийся из своей орловской деревни. Вытянув толстые губы, он снова было затянул плачущим голосом:

— Не велено, ну, а вы ломитесь.

— Постой-ка ты, Завитухин, — обрушился на него своим могучим басом Степан Яковлевич. — Как это не велено? Да что, разбойники, что ль, пришли? Пришел сознательный рабочий класс, а его к своему кровному делу не подпускают. Открывай!

— Да ведь ключей-то у нас нет, — с визгом ответил Петр Завитухин и засмеялся. — Мы тут такие же власти, Степан Яковлевич, как воробьи на морозе.

— Тогда мы с Иваном Кузьмичом через забор пе-

рекинемся. И все на это согласны. Согласны, товарищи? — повернувшись к рабочим, спросил Степан Яковлевич.

Рабочие ответили гулом пяти тысяч голосов.

4

Иван Кузьмич и Степан Яковлевич шагали по усаженному молодыми липами заводскому двору. Было странно смотреть и на этот, всегда шумный, теперь пустой двор, и на то, как с молодых лип, еще не сбросивших листву, лениво хлопьями падал теплый первый снег, и на то, как кое-где на крышах цехов расхаживали, задирая головы в небо, вооруженные рабочие. Молча, ничего не понимая, Иван Кузьмич и Степан Яковлевич подошли к зданию заводоуправления, по мраморным ступенькам поднялись на второй этаж, заглянули в приемную директора — обширную, устланную коврами комнату — и, не видя обычной дежурной секретарши, открыли дверь в кабинет.

За столом сидел Макар Рукавишников. Он поднял с рук голову, но руки остались на столе, готовые снова принять голову. Красными от бессонницы глазами посмотрев на вошедших, он прохрипел:

— Вас-то зачем притащило?

— Да как же, Макар Савельевич, — начал первым Иван Кузьмич, предварительно дернув за рукав Степана Яковлевича, шепнув: «Давай уж я, а то ты горяч и сломаешь все враз». — Как же, Макар Савельевич, рабочие-то у ворот волнуются.

— А я что? В карман их посажу, пять тысяч?

Иван Кузьмич растерялся, не зная, что на такое ответить.

— Оно, конечно, в карман где посадить. Пять тысяч, действительно, — заговорил было он, подыскивая резонные слова, но Степан Яковлевич так громко кашлянул, что задребезжало надтреснутое стекло, и прорвался:

— Да как же это, в карман? Кто это от тебя требует, чтобы ты рабочий коллектив в карман? Ишь,

карманник какой нашелся! Ты директор. Тебя высокая власть к нам поставила, и давай ответ, что творится. Ну! А то ведь так трахнем, последние волосенки с головы слетят.

Макар Рукавишников потрогал остатки волос на голове, искусно прикрывающих лысину, и, криво улыбаясь, протянул руку Степану Яковлевичу.

— Вот это по-рабочему. Люблю, — и, подталкивая к креслу Степана Яковлевича, зачастил: — А ну-ка, садись на мое место и дай решительное слово.

— Да иди ты! Чего клоуна корчишь? Цирк, что ль, тебе?

— А-а. Цирк! Ну, вот тебе не цирк — такое мое мнение: уволить рабочих, выдать им за два-три месяца вперед.

Иван Кузьмич, снова рванув за рукав Степана Яковлевича, спросил:

— Ну, а потом что?

— Ясно — катись кто куда.

— Это как же — катись? А завод? — даже Иван Кузьмич повысил голос, совсем не ожидая такого ответа от Макара Рукавишникова.

— А так же. Война, ну и самоопределяйтесь.

— Дурь! Дурь! Мировая дурь! — никак не в силах сдержать себя, несмотря на то, что Иван Кузьмич непрестанно уже рвал его за рукав, загрохотал Степан Яковлевич. — Дурь! Мировая! И тот, кто тебе такое всучил, — чужой.

Макар Рукавишников тихой, вкрадчивой походкой пошел на него.

— Ну, и язычок же у тебя. А ну, повтори. Повтори, говорю.

— И повторю: дурь мировая, — с этими словами Степан Яковлевич круто повернулся и пошел из кабинета, кидая с порога: — Я тебе покажу, как рабочего без завода оставлять, — и, разъяренный, прыгая через несколько ступенек, вылетев из здания, помчался к рабочим. Тут, взобравшись на забор, смахнув с головы кепи, подражая Ивану Кузьмичу, степенно заявил: — Дурь! Мировая! Рабочих хочет без завода оставить.

И я это отменю, — спрыгнув с забора, он зашагал по направлению к своему наркомату.

— Ну вот, горяч! Да, горяч Степан Яковлевич, — проговорил Иван Кузьмич, чтобы замять все это неприятное, и посмотрел на Макара Рукавишникова, который вдруг стал совсем простым, таким же, каким он и был несколько месяцев тому назад, работая в термическом цеху в качестве начальника.

Работал тогда Макар Рукавишников хорошо. Его все, в том числе и Николай Кораблев, ценили, награждали и хвалили. А когда встал вопрос, кому должен сдать Николай Кораблев обязанности по заводу, большинство в наркомате выдвинуло Макара Рукавишникова, опытного мастера, заслуженного рабочего. Это возвысило Макара Рукавишникова, но от этого он и растерялся. И особенно растерялся в дни, когда над столицей нависла страшная угроза. Он знал больше, чем рабочие. Но вот, что делать с ними — с рабочими — ему, Рукавишникову? Распустить ли их, оставить ли при заводе, или томить у ворот? Вот и теперь, привычно разбирая и укладывая на лысине остатки волос, он, тоскующими глазами глядя на Ивана Кузьмича, проговорил:

— Ответ? Какой я могу дать ответ? Сам посуди! И я знаю, как тяжело рабочему оставаться без завода. Сам рабочий. Ну вот, сижу и жду, что скажут. Садись. Посидим вместе. Подождем, — и еще теплей, сочувственно: — Так-то вот, Иван Кузьмич. . . и опыты наши козе под хвост: Василий-то Ивановича, слыхал я, в армию призвали. А ведь большое это они дело начинали для нас, термистов.

Макар Рукавишников, утомленный тревожными днями, никак не мог прямо держать голову: она то и дело валилась на приготовленные руки. Раздался резкий звонок. Макар Рукавишников дрогнул, схватил трубку, и лицо у него все расцвело. Выслушав, положив трубку, он потряс за плечи Ивана Кузьмича и к его удивлению сказал:

— По-моему вышло, — рабочие поедут вместе с заводом. На Урал нас всех отправляют. Нарком звонил.

5

Иван Кузьмич шагал по пустому, необычайно гулкому заводскому двору.

— Ну вот и свершилось, — шептал он. Ему было радостно, что завод эвакуируется вместе с рабочими, но в то же время и очень тяжело: завод снимается со своего насиженного места. — Что ж... перетерпим... перетерпим, — шептал он.

А выйдя за ворота, где рабочих уже не было, он вдруг увидел что-то страшное: люди, нагруженные узелками, чемоданчиками, ведя за руки детей, двигались во все концы столицы, сбиваясь на перекрестках, с боем захватывая трамваи, грузовые машины.

Иван Кузьмич, поняв все, дрогнул.

— Ох, надо своих-то скорее отправлять, — проговорил он и побежал домой.

Около дома его встретил летчик. Одежда на нем была местами порвана, местами прогорела, как будто он только что вернулся с пожара, лицо в кровоподтеках, брови подпалены. Казалось, ему лет тридцать пять, но вот он улыбнулся и стал совсем иным.

— Не узнаете меня, Иван Кузьмич, — заговорил он часто-часто и чуть картавя. — А я у вас был. Помните, с Саней, —и, сказав это, он присел на скамеечке, выставляя перед Иваном Кузьмичом свое лицо, чтобы тот хорошенько распознал его.

— Ты что? Ты что, голубчик? — уже узнав его, вспомнив, как тогда, во время отпуска, они, одногодки, вместе с Саней заходили к Замятиным — веселые, молодые, жизнерадостные, и теперь, узнав его, Иван Кузьмич, сам почему-то чуть-чуть картавя, заговорил: — Ты что? Ты что, голубчик?

Летчик, глядя куда-то стеклянными глазами, напрягся, как это делают оглохшие люди.

— Гибнем, — и, помолчав, еще более картавя: — На бреющем сбрасываем на немцев груз и... горим. На дачном приехал... И опять сегодня полечу. Каждый день с новыми. А сегодня, наверное, моя оче-

редь: нельзя ведь четвертый раз вырываться из огня. Но надо, надо, надо... Саня, он хорошо — он сразу...

У Ивана Кузьмича одеревенели ноги. Это одеревенение пошло с пяток, потом перешло на поясницу, на грудь, и вот он уже задыхается, словно на него хлынула волна ядовитого газа.

— Ну, я пойду, — летчик сделал было движение, чтобы встать, но снова присел и, глядя на свои полуобожженные пальцы, стесняясь: — А у меня тоже есть мать. Как же. В Кимрах. Мы Кукушкины. Так вы ей, матери-то, как-нибудь тихонько. Очень прошу вас. Со мной ведь брат был, Валя... Так он тоже, ну там же. Так вы ей как-нибудь, прошу вас, потихоньку. Что ж, мол, война. Потихоньку, слабенькая она у нас,— посмотрев на пальцы, он тряхнул рукой, как бы что-то сбрасывая. — А отец тоже под поезд попал, два года уж. Ну что ж, несчастный случай. Это другим легко сказать — несчастный случай, а ей вроде поезд по сердцу проехал. Совсем затомилась она. И так-то маленькая, — летчик тихо засмеялся. — Бывало, отец, выпивши, возьмет ее на руки, шагает по улице и кричит: «Вот она, богатырша моя: двух сыновей мне принесла». Мы ведь близнецы с Валей. Да-а. А теперь и его нет, Вали. — Летчик встал и пошел.

Иван Кузьмич удержал его и почти одними губами спросил:

— Когда? Саня-то?

— А-а! Тогда же. В тот же день, первый, утром. Солнышко уже высоко было... Пулей в голову.

Иван Кузьмич весь опустился, будто его чем-то тяжелым ударили сверху.

«Мать. Сердце матери почуяло», — вспомнил он, как на станции в то утро упала Елена Ильинишна. — Ну, ты ступай, — сердито заговорил он. — Ступай. Не ходи уж к нам-то. Ступай. Дай-ка я тебя поцелую. — Ивану Кузьмичу казалось, что он целует своего сына Саню, такого молодого, жизнерадостного и еще совсем наивного в своих жизненных порывах. А поднимаясь к себе на четвертый этаж, почувствовал другое, как он разом постарел: ноги цепляются за ступеньки,

спина согнулась, руки повисли и стали вялые, совсем не цепкие. Поднявшись на площадку четвертого этажа, он закачался. — Ну вот, и к нам в семью война пришла, — прошептал он. — Война. И я несу весть эту. И как она уедет с вестью такой? — Он вошел в квартиру и, видя связанные узлы, заколоченные ящики, ободранные шторы, занавески, ткнулся в угол дивана, как бы намереваясь спрятаться от чего-то страшного и неотвратимого.

Семья готовилась к выезду из Москвы в город Барнаул. Коля и Петя, видимо, предстоящим путешествием были довольны; они деятельно собирали свои игрушки, помогали матери и бабушке перевязывать узлы и все щебетали, щебетали, особенно Петя.

— Мама, — кричал он, — а там что — в Барнауле?

— О-хо-хо, — послышался вздох Елены Ильиничны из соседней комнаты. — Барнаул, Барнаул. Говорят, там пески сплошные.

— Оставьте, мамаша, — оборвала ее Леля. — Там арбузы растут, — и, как всегда, показалось Ивану Кузьмичу, что сноха сказала что-то весьма неразумное, а та даже стала покрикивать: — Глупость говорите, мамаша. Арбузы очень полезны детям.

— Арбузы, арбузы. Да хоть бы они сроду не росли, — и Елена Ильинишна вошла в ту комнатку, где на запыленном диване сидел Иван Кузьмич. — А, батюшки! Ты тут, оказывается? Что ж тихо так? Дверь-то у нас не заперта была, — посмотрев на узелки, заколоченные ящики, она с тоской добавила: — Ну вот, Ваня, тридцать два года мы с тобой прожили, дня не разлучались... А теперь... свидимся ли?

Иван Кузьмич вскочил с дивана — маленький, невзрачный перед крупной Еленой Ильинишной — и, взъерошившись, как петушок, забегал по комнате, затем, сдержав себя, ласково сказал:

— Ну вот еще выдумала: свидимся ли? Временно, говорю, временно. Езжай-ка ты, — и снова опустился в угол дивана, горестно думая: «А я уж один всю тяжесть на сердце понесу. Ах, Саня, Саня!»

6

Казалось, пароход просто стоял на месте: он напряженно пыхтел, хлопал колесами, как подбитая птица крыльями, и весь наискось скрипел, будто его кто переламывал. Он гудел человеческим говором, плачем детей.

Потом, к вечеру, люди расселись, и гомон стих, только пароход все так же напряженно пыхтел, стучал колесами и медленно плыл по реке. Он тихо прошлепал мимо Кремля, как бы рассматривая его и прощаясь с ним, затем медленно вышел из гранитных берегов реки и за Москвой, на равнинах, начал петлять среди лугов, усыпанных копнами пахучего сена.

Иван Кузьмич сидел на корме, хотя в кармане у него лежал билет первого класса. Ему и Степану Яковлевичу билеты на пароход в каюту первого класса всучил все тот же Едренкин, контролер из наркомата, взяв у них взамен два билета третьего класса на поезд, который сегодня же вечером отправлялся на Урал... Белолицый, с черной бородой, с большими красивыми, располагающими к доверию глазами, Едренкин, встретив их в наркомате, напал на них, как сокол на куропаток.

— Вам же там же, на пароходе же, будет куда лучше. Вольготней — раз, чистый воздух — два, плывете вы по великой русской реке — три, продукты на любой пристани — четыре, доплывете до Перми, садитесь на приготовленный поезд и на месте — пять, — и он так нажал, что Иван Кузьмич и Степан Яковлевич, сами удивляясь этому, вышли из наркомата, уже держа в руках билеты на пароход...

Пробившись через толпу на верхнюю палубу, они заглянули в свою каюту и, увидав, что она до отказа забита женщинами, детьми, оба попятились, как пятятся люди из комнаты, боясь там кого-то разбудить. Что было на душе в эту минуту у Степана Яковлевича, Иван Кузьмич не знал. Но у него самого появилось такое же чувство, какое бывает у доброго хозяина, когда к нему нагрянули гости и гостей этих на ночь надо приютить, а «сами-то уж как-нибудь». И они

оба пошли по палубе, заглядывая в каюты. Каюты были все переполнены, как переполнена была и палуба. На самом углу, ближе к носу парохода, какой-то свирепый человек смастерил из кульков, мешков и ящиков целый этаж. Женщина, веснущатая, рыжая, похожая на кукушку, видимо его жена, все время истерически выкрикивала:

— Это же мои вещи-и! Зачем ногами? Милиция! Я позову милицию!

А свирепый человек со шрамом на подбородке и с поломанными ушами, похожий на циркового борца, молча щипал за ноги людей. Его с озлоблением пинали в бока, в спину, в мягкое место, но он, как бы не чувствуя ударов, продолжал щипать людей.

— Ох! Даже срамно смотреть, — проговорил Иван Кузьмич. — Пойдем-ка вниз. Найдем какое-нибудь местечко, — пригласил он Степана Яковлевича.

Но Степан Яковлевич выхватил из кармана билет и показал его Ивану Кузьмичу.

— Билет-то у меня есть. Имею я право или не имею? Что это в самом деле, нахальство какое... в мировом масштабе, — и, увидав свободное местечко на палубе, он кинул мешок и присел на него.

А Иван Кузьмич очутился на корме.

Тут было так же тесно, но еще и холодно: дул пронизывающий ветер, предшественник зимы. Иван Кузьмич, кутаясь в пальто, все время вздергивая плюшевый воротничок, сидел на корме и раскаивался, что покинул верхнюю палубу.

— Вот и дрожи, — и загоревал так, как будто вся тяжесть и заключалась именно в этом. Тяжесть же заключалась совсем в другом, в гораздо большем, что он гнал от себя прочь, понимая, что если поддаться ему, оно раздавит его. — О-хо-хо! Уснуть хотя бы, что ль... Ведь беду тоской не поправишь, — шептал он иногда, глядя на разбросанные стога сена, стараясь думать совсем о другом — и о том, почему холодной осенью такая густая, непривлекательная вода в реке, и сколько дней они прошлепают на этом пароходе до Перми... Но о чем бы ни думал, он все время возвращался к самому больному — к своей семье.

«Да, да, семья — Елена Ильинишна, сноха Леля, внучата Коля и Петя несколько дней тому назад выехали в Сибирь, в какой-то неведомый Барнаул. Старшего сына, инженера Василия, призвали в армию... а младший, Саня... Ах, Саня, Саня! Мальчишка ты мой! В голову. Пулей». — И Ивану Кузьмичу стало так тоскливо, что он уже не мог сидеть один, ему надо было двигаться, ходить, быть на людях. Он поднялся и, несмотря на то, что дул резкий, обжигающий ветер, прошелся, переступая через чьи-то мешки, ящики, ближе к лесенке, ведущей на верхнюю палубу, намереваясь подняться туда и разыскать Степана Яковлевича. Он взялся было за железные поручни, но пароход хрипло загудел, стукнулся бортом о что-то скрипучее, шершавое и причалил к пристани. Иван Кузьмич оторвал руки от поручней, предполагая, что сейчас поднимется кутерьма: пассажиры кинутся на берег за продуктами. Но на пароходе было тихо. Устав от дневных тревог и суеты, люди крепко спали, а через решетку перегнулся сам Степан Яковлевич.

— Иван Кузьмич! Стоишь?

— Стою, сижу. А что?

— Да та-а-к, — неопределенно протянул Степан Яковлевич и чуть погодя: — Пристань-то знакома. По рязанскому направлению шлепаем.

— Эх, и грибное место, скажу тебе, — охотно было заговорил Иван Кузьмич, но Степан Яковлевич громко откашлялся:

— Ждал ты, что вот так поползем?

— Ну где!

— Мирно жили, чего говорить, — как бы кого-то упрекая, натягивая на плечи шаль, проговорил Степан Яковлевич и повернулся в сторону Москвы.

Над Москвой кучились густые сумерки, переходящие в ночь. Сумерки были грязные, тоскливые и молчаливые... И вдруг в густых сумерках, еще сгущая их, стали вспыхивать огоньки. Они рвались, гасли, затем снова вспыхивали. И вспышки эти были такие мирные, такие красивые, как фейерверк. Казалось, что Москва справляет какое-то торжество.

— Как в немом кино, — проговорил Иван Кузьмич,

тут же спохватившись, понимая, что сказал что-то глупое, как иногда говорит сноха Леля. — Опять налет, — добавил он. — Зенитки бьют.

И они снова смолкли, представляя себе Москву и то, как жители этого огромнейшего города при сообщении «Граждане, воздушная тревога!» хлынули кто в убежище, кто в метро, кто на крыши домов гасить зажигалки. И вот уже разорвалась первая бомба, отваливая угол многоэтажного дома... И им обоим, несмотря на весь ужас бомбежки, захотелось быть не тут, на пароходе, а там, в столице, вместе с москвичами.

— Эх! Никогда бы я не покинул ее, ежели бы не завод, — вырвалось у Ивана Кузьмича.

— Ежели бы пореже по грибы-то ходил...

Иван Кузьмич резко кинул:

— Ты меня не кори. А то и у меня слова такие найдутся, с ног сшибу. У меня сын... — он оборвал, не пожелав сказать другу о своей самой тягостной беде.

Но Степан Яковлевич, видимо, почувствовал то, что хотел сказать Иван Кузьмич, и мягче добавил:

— Да я и не корю. Сам еще в марте месяце корзинки для грибов смастерил. Да только — боль-то уж очень велика. И какому это подлецу мысль в башку пришла — нарушить наш мирный труд? Что за зверь он есть? И зверь-то ведь разный бывает. Возьми ты, к примеру, лось, или там заяц, или там птица какая — утка. Честно живут. А волк — тому воровать и пакостить. — Степан Яковлевич еще что-то прокричал, но пароход хрипло загудел, затрясся, захлопал колесами, и Степана Яковлевича уже не было слышно.

7

Сумерки быстро перешли в ночь. Ветер, холодный, пронизывающий, засвистал на корме. Над Москвой, в темной ночи, ярче стали вспышки зениток. Иван Кузьмич прошептал:

— Прощай, Москва! Прощай! — и по щекам у него впервые за эти дни покатились слезы.

Он сел на свое старое место, кутаясь в пальто, подтягивая вверх плюшевый воротничок. Так он просидел несколько минут, ни о чем не думая, чувствуя только одно: как смертельная тоска душит его.

С верхней палубы, таща за собой мешок, по лесенке спустился Степан Яковлевич. Бросив мешок рядом с Иваном Кузьмичом, он присел и сказал:

— Тошно там, одному-то.

— Как одному? Народу сколько.

— Рассвирепел народ: каждый только о себе, как при морском крушении.

— Да-а. Дурное в человеке мигом можно поднять, как тину в болоте, — согласился Иван Кузьмич. — Хорошее — оно годами, а то и веками воспитывается.

— В точку... — Степан Яковлевич долго возился, усаживаясь, затем сказал, глядя во тьму. — Чиркуль — окончательное нам направление. На Урал. Слыхал я, там Николай Степанович Кораблев. Может, его нам вернут, а то с этим, с Рукавишниковым, полетит все вверх тормашками.

— Зря ты на него. Хороший он парень. Только в кресло его уж очень большое посадили, вот и неудобно ему, все равно, что один во всем театре, — Иван Кузьмич усмехнулся своему сравнению. — Спектакль идет, а человек один во всем театре сидит, — ну и страшно.

— Добрый ты, всех тебе хочется приласкать. Вот с тем же Едренкиным.

— Всучил он нам билетики-то. Подходящая фамилия, — и Иван Кузьмич ковырнул: — Ты это согласился.

— А ты?

— Я хотел было отвергнуть, да, видишь ли, мне как-то стыдно становится, когда нахал на меня напирает.

И они оба прислушались к тому, как скрипит пароход.

Степан Яковлевич, укрывая концом шали Ивана Кузьмича, прогудел:

— Давай плотнее, так теплей, да и на душе полегче, — и, подождав: — Думаю, в Рязани нам отсюда надо прочь — и на поезд. Может, свой эшелон

с оборудованием встретим. Не то год прошлепаем на корабле этом, — затем, пощупав свертки диаграмм, таблиц, лежащие рядом с Иваном Кузьмичом, спросил: — Везешь? Разум Василия Ивановича?

— Везу.

— А куда денешь?

— Беречь буду.

— И я с тобой: это надо беречь.

О семьях они не говорили: об этом говорить было так же страшно, как страшно шагнуть за борт парохода во тьму.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Только на восемнадцатый день эшелон, перехваченный ими в Рязани, прибыл на маленькую станцию, вблизи строительной площадки, где уже стояли десятки таких же эшелонов.

Иван Кузьмич за эти дни, как и все, кто сопровождал станки, прочернел, обжегся холодными ветрами, стал походить на переспелый подсолнух: ударь — и полетят во все стороны зерна. Лицо у него стало совсем маленькое, тревожные глаза выкатились, в походке появилось что-то медлительное, задумчивое; ступая по земле, он как будто ждал: вот-вот она ему что-то скажет. Друг его, Степан Яковлевич, еще больше высох: теперь кадык у него (он сбрил бородку) еще больше выпячивался, нос непомерно вырос, покраснел, а голос задребезжал старческой хрипотой.

— Фу ты, пес, новость какая пришла, — откашливаясь в ладошку, проговорил он, сойдя с платформы. И, глядя на горы заповедника «Нетронутый Урал», добавил: — Красота-то какая! Мировая, Иван Кузьмич.

Иван Кузьмич тоже посмотрел в сторону гор. И горы, усыпанные зелеными до черноты соснами, и небо, глубокое, голубое, и обрывы, как оскалы гигантской пасти, — все это было необычайно, и особенно

необычайными казались молодые ели, растущие на окраине. Они густо распустили ветви, касаясь ими земли, раскрылились, напоминая токующих глухарей.

«А грибов тут, наверное!» — подумал Иван Кузьмич.

— Красота! А? — еще раз произнес Степан Яковлевич.

У Ивана Кузьмича загорелись было глаза, но он тут же нахмурился и резко произнес:

— Не до нее. Давай злобу ковать. И айда — пошел, — и тронулся следом за группой рабочих.

Около вокзального здания рабочих встретили два директора — один бывший, ныне начальник строительства Николай Кораблев, другой новый, Макар Рукавишников. Они стояли рядом, оба крупные. Только один в синем плаще и курил трубку, другой — в кожаном, потертом, пегом пальто и грыз ногти, искоса посматривая на всех, как делает ястреб, когда что-нибудь клюет и боится, что добычу у него могут отнять.

Что с ним происходило, с Макаром Рукавишниковым, вряд ли он осознавал. Однажды в детстве отец увез его на несколько дней из Москвы в деревню. Тогда Макару было всего восемь лет. Отправившись с ребятами за деревню, он там увидел, как его сверстники, встав на лыжи, стремительно скатывались с горы. Макар впервые узнал, что такое лыжи. А когда ему предложили прокатиться, он, набравшись детского задора, встал на лыжи и понесся под гору. И вдруг на повороте одна лыжа у него задралась, глаза заплыли слезами, и в следующий миг он уже торчал головой вниз в сугробе, откуда его потом с криками извлекли ребята. Что-то подобное происходило с ним и теперь, несмотря на то, что ему было уже не восемь, а сорок шесть лет. По существу он был очень приятный человек, даже весельчак за столом и хороший работник. Разве забыли, как он работал в термическом цеху? Да нет же, этого никак нельзя забыть. Но вот тут, когда он брался за дела директора крупнейшего моторного завода, губы у него набухали, а глаза наполнялись страхом... И он начинал грызть ногти, говорить преувеличенно громко, подозрительно

вглядываясь в каждого, боясь, что тот увидит его страх и скажет: «А ты ведь, Макар, не на своем стуле сидишь».

Но рабочие совсем не обратили внимания на душевное состояние Макара Рукавишникова. Увидев Николая Кораблева, они хлынули к нему и безо всякого намерения оттерли Макара Рукавишникова. Тогда тот, возясь плечами в кожаном пальто, раздвинул толпу и, наступая, как слепая лошадь, на Николая Кораблева, с визгом выкрикнул:

— Трубочку только покуриваете, а о рабочих ни мур-мур. Где бараки? Что вам рабочие — бараны? — Сказано было все это несусветно грубо и глупо, что почувствовал и сам Макар Рукавишников, но он уже не мог удержаться, как не может удержаться конь, идущий с возом под гору, когда обрываются тяжи, и закричал еще визгливей: — Сами-то в особнячке, а рабочих, как собак.

Николай Кораблев с недоумением посмотрел на него и сунул погасшую трубку в карман.

«Да Макар ли это? — подумал он. — Саранча на рабочем поле», — и вдруг в нем все так закипело, навернулись такие жестокие слова, что, произнеси он их, и немедленно уничтожил бы Макара Рукавишникова. «Стой! Стой!» — удержал он сам себя, до боли прикусив нижнюю губу: ведь он поддержал кандидатуру Рукавишникова на пост директора моторного завода. Верно, все это происходило в страшной спешке: началась война, надо было срочно выезжать на Урал, лучших людей партия посылала в армию, на фронт, на самые ответственные места; да ведь и Макар Рукавишников был хороший начальник цеха, и при выдвижении его на пост директора завода все в один голос сказали: «Ничего. Парень он хороший. Неопытный? Ну что, будем помогать». Помогать? Но как вот такому помогать? Стукнуть его так, чтобы от него мокренько осталось! А завод? Завод-то надо восстанавливать, — ведь это главное сейчас.

Он провел рукой по лицу, чтобы рабочие не видели, как оно горит, и намеренно мягко произнес:

— Что с вами, Макар Савельевич? Рабочие-то

ведь поймут, что нельзя за двадцать пять дней построить бараки на пять тысяч человек. Нам-то ведь стало известно всего двадцать пять дней тому назад, что сюда эвакуируется завод вместе с коллективом.

— Думать надо было: война. А вы тут... — и Макар Рукавишников завязал такой мат, что все дрогнули, как при неожиданном выстреле.

«Какой хам!» — хотел было сказать Николай Кораблев, но сказал другое: — Это у вас что, основной довод — мат?

— Сейчас некогда разбираться в словесах — война. — Макар Рукавишников шагнул в сторону и пошел вдоль эшелона. Ему думалось, что он шагает деловито, как и полагается директору крупнейшего завода, но всем, кто смотрел ему вслед, на его квадратную спину, на его широкий, не мужской зад, казалось, что это шагает неуклюжая, ожиревшая баба.

— Ну и задок у нашего директора, — сказал кто-то из толпы.

Николаю Кораблеву от этих слов стало больно, будто смеялись над его родным братом.

— Не надо так: вам с ним жить, —проговорил он. — Ума ему своего прибавьте.

За несколько минут перед этим к толпе подошли Иван Кузьмич и Степан Яковлевич. Степан Яковлевич, поблескивая улыбкой, шепнул другу:

— Ну что, политик? Видал, какой он гусь?

Иван Кузьмич сердито отмахнулся и подал руку Николаю Кораблеву, встав от него на почтительное расстояние. Но тот, увидав своего любимого мастера, притянул его к себе, обнял, расцеловал, повернул кругом и рассмеялся.

— Эх, эх, Иван Кузьмич! Оплошал малость.

— Оплошал. Факт неопровержимый: душа нарывала. А и дружище мой оплошал — поглядите-ка. Степан Яковлевич, что ты там, как невеста, стоишь?

Степан Яковлевич прокашлялся и через плечо Ивана Кузьмича протянул руку:

— Вот где встретились, Николай Степанович. За две тысячи километров от столицы.

Николай Кораблев хотел было и Степана Яковлевича обнять, но сдержался, зная, что это совсем другой человек, не такой добродушный, как Иван Кузьмич, и, поздоровавшись с ним за руку, тепло заговорил:

— А Настя? Анастасия Петровна где?

— В Барнаул укатила. Вон куда. А у вас как семья-то? Нонче ведь все разлетелись, — сочувственно пробасил Степан Яковлевич.

Николай Кораблев прикусил нижнюю губу, как бы на что-то досадуя, и, не отвечая на вопрос Степана Яковлевича, продолжал, вынув из кармана трубку и закуривая:

— В Барнаул? Ох, далеко. Ну, ничего. Обстроимся, всех перевезем сюда. А Мишка? — вспомнил он попугая Мишку. — Неужели в Москве остался?

— Ну, нет. И его увезла. Ведь он чему научился. Поднимется чуть свет и орет: «Граждане, воздушная тревога!» Да ведь прямо в точности, как по радио. Вскочишь с постели, глядишь, ничего нет. «Ах, чтобы, мол, тебя разорвало». А он тебе в ответ: «Ах, чтобы тебя разорвало». Вот шутки какие стал откалывать.

Все весело засмеялись над «шутками» попугая. Но у некоторых рабочих еще кипела обида на Макара Рукавишникова, и кто-то из толпы зло, под общий хохот, кинул:

— А нам тоже дали попугайчика, да только шуткито он откалывает больно злые.

Николай Кораблев неприязненно поморщился:

— Не надо, не надо, товарищи. Завод ведь придется налаживать, а при таком отношении к директору это немыслимо. — И, увидав, как отрицательно закачал головой Степан Яковлевич, добавил: — Ну, что вы? Лошадь обучают, а он человек. . .

— Нет уж, — Степан Яковлевич нажал двумя пальцами кадык. — Лошадь — ее плясать можно научить, а пустого человека — чему? Он ведь какой было фортель хотел выкинуть в Москве — всех рабочих уволить. Нарком вмешался, сказал: «Как так? Рабочих без завода оставить? Да ведь это топор на

шею!» Так что, — продолжал Степан Яковлевич, — не пойдет у нас с ним дело, и точка. Не пойдет.

Рабочие одобрительно загудели.

Из всего этого Николай Кораблев понял, что между Макаром Рукавишниковым и рабочим коллективом легла пропасть, через которую ему вряд ли перепрыгнуть. Но он знал и другое, основное, что завод надо срочно восстанавливать, и поэтому решил сегодня же связаться с наркомом и «уломать» его, чтобы главным инженером на завод назначили Альтмана. С этой мыслью, распростившись с рабочими, он направился было в контору, как вдруг увидел Надю и Варвару. Несмотря на холод, на Варваре был белый халат с открытой грудью. Она шла рядом с Надей, обняв ее, явно заискивающе, чего Надя по своей наивности не понимала. Подойдя к Николаю Кораблеву, Надя сказала:

— Николай Степанович, Иван Иванович ждет. Завтрак остынет.

— Жалуется Надюшка-то на вас, — пропела Варвара и потупила глаза, затем вскинула их. — Как вы без семьи тут, мы уже обе хотим поухаживать за вами... Не кушаете, не спите.

— Мне и одной хватит, Надюши, — сердито проговорил Николай Кораблев и повернулся к Ивану Кузьмичу: — Что ж, Иван Кузьмич, посмотрите городок. Народ тут любопытный. Да и давайте запрягать батюшку-Урал, — а придя к себе на квартиру, сел за стол и, поджидая Ивана Ивановича, который что-то замешкался у себя в комнате, подумал: «А может, я зря так с Варварой-то. Может, у нее ничего, кроме заботы, простой и человеческой, ко мне и нет? А я уж...» — и он спросил вошедшую Надю: — Чего Варвара сюда лезет?

Надя по-простецки сказала:

— Говорит, любит, что ли, она вас.

— Ну вот еще новость какая. Ты ее не пускай. В квартиру не пускай. И скажи, чтобы она больше... ну скажи... — он не договорил, в нем вспыхнуло мужское чувство гордости. «Какая... любит... красивая женщина. Очень красивая и... и даже очень», —

проговорил он про себя и тут же увидел, как где-то за плечом Варвары появились глаза Татьяны. Они укоризненно смотрели на него, и ему стало пакостно. — Знаешь что, Надюша, — заторопился он. — Ты гони... гони ее... Скажи, это, мол, у тебя, бабочка, с жиру. С жиру бесишься. Так и скажи, — и снова с тоской подумал: «А тут еще этот Макар. Нет, нет. Позавтракаю, и надо связаться с Ильей, сказать: «Нарком, ошиблись мы».

2

Ивана Кузьмича, как и всех рабочих моторного завода, поразили своим видом окраины городка Чиркуль.

— Ого! Да тут живут я те дам, — говорил он, переходя из двора во двор, раскланиваясь с жителями, расспрашивая, нет ли уголка.

Дома почти всюду были переполнены жильцами — строителями завода. Войдя в один двор, небольшой, но с каменными стенами вместо забора, как и соседние, он столкнулся с тонким, вытянутым, как одинокая березка в сосновом лесу, человеком. На нем были широкие, но короткие, как у грузчика, шаровары из брезента, лицо давно небритое, волосы нечесаные и рыжеватые. На вопрос Ивана Кузьмича: «Нет ли уголка?» — он почему-то зло, с кашлем закричал:

— Не отвяжешься! Есть уж, есть! Лезьте, а я вон под сараем жить буду, ай уйду в лес, вырою землянку. Пес с вами.

«Обозлен чем-то», — подумал, глядя на него, Иван Кузьмич, но от уголка не отказался, решив про себя: «Смягчится», — тем более, что хозяйка оказалась в противоположность хозяину очень любезной, гостеприимной, расторопной и моложавой, несмотря на свои сорок пять лет.

Был уже вечер. Хозяйка поставила самовар, а когда самовар вскипел, она подала его на огромный стол, затем принесла кислое молоко, теплые лепешки,

картошку в большой чугунной кастрюле и, пригласив Ивана Кузьмича за стол, сама села около самовара. Против нее сел ее муж. Тут за столом он показался еще более тощим, и оттого, что он был так высок и так тощ, нечесаная его голова казалась очень маленькой, будто заварной чайник. Первую чашку хозяйка налила мужу и украдкой глянула на Ивана Кузьмича. Хозяин большими глотками пил чай, отламывал огромные куски лепешки и тискал их в рот. Взял вилку и принялся за картошку. Ел один долго и, только под конец заметив, что гость ни к чему не притрагивается, сунул вилкой в картошку, скупо сказал:

— Ешь. Чего уж там.

Иван Кузьмич, с удовольствием выпив стакан крепкого чаю, взял вилку и, вглядываясь в морщинистое лицо хозяина, робко сказал:

— Что ты, братец, какой суровый? Обидел, что ль, кто тебя или болит что?

Хозяин, хрустнув длинными тонкими пальцами, буркнул:

— Супротивник я. Ну вот, хошь казни, хошь милуй. Фамилию мою хочешь знать? Звенкин я. Все одно жисть кончается.

— Во-он чего, — в тон ему произнес Иван Кузьмич и, как ни старался, так ничего путного и не добился в этот вечер.

Каждое утро они поднимались чуть свет, наскоро завтракали, выходили во двор, и тут Звенкин настойчиво предлагал:

— Отойди-ка в сторонку.

Иван Кузьмич отходил за угол избы, предполагая, что Звенкину потребовалось «по малой надобности», но однажды он невольно подглядел, как тот вытащил из завалинки огромный, длиной с полметра, заржавленный ключ, открыл им калитку, снова спрятал, сказал:

— Потопали.

Иван Кузьмич удивленно произнес:

— Ох, ты-ы, ключ-то, братец, у тебя какой, быка вполне можно свалить.

— И свалишь.

— А зачем?

— А воры?

— Воры? Они и через забор могут перемахнуть. Ты бы пожертвовал его в фонд обороны: железа-то сколько.

— Пожертвуешь еще, — и Звенкин зашагал — высокий, размашистый, будто из жердей.

Так он шагал каждое утро, не замечая, что Иван Кузьмич отстает, что ему вообще такое путешествие (семь километров на строительную площадку и семь обратно) тяжко. Звенкин на это не обращал внимания и шагал, шагал, шагал, что-то мурлыча себе под нос, часто откашливаясь, хрипло и натужно, как простуженная корова.

«Что за человек? Жестокий какой», — думал о нем Иван Кузьмич.

И однажды поздно ночью хозяйка увидела, как Иван Кузьмич, входя в избу, еле поднимая отекшие ноги, споткнулся о порог и чуть не упал, — тогда она гневно крикнула на мужа:

Ты чего же это? Эй! Зенки-то у тебя где? Не видишь, гость-то закоченел? — Она кинулась к печке, достала горячую воду, налила ее в корыто. Несмотря на протесты Ивана Кузьмича, сняла с него сапоги и отпарила ноги, как мать ребенку.

В этот миг и глаза Звенкина, всегда пустые, похожие на гороховый кисель, дрогнули. Он засуетился, раздувая самовар, поглядывая на Ивана Кузьмича, бормоча:

— Низвини уж меня! А и то — глаза-то у меня не на затылке, не вижу ведь. А шагать привык. Мы ее измерили, землю-то, ух сколько, — а когда Иван Кузьмич сел за стол, он сам налил ему чаю, поближе подвинул кастрюлю с картошкой, все так же удивленно произнося: — Эх, ты-ы. Ешь! Еще! Это пользительно. Мне дедушка всегда говорил: «Мнучек, всякую болезнь надо ёдой забивать». И ты ёдой выколачивай ее, шут ее дери-то. И думаю я так: в барак переправимся. Там жить, а в воскресенье к Зине, она отогревать нас будет.

3

После этого они переселились в барак, построенный на скорую руку человек на двести. Иван Кузьмич, Степан Яковлевич, Звенкин и татарин из Сибири, бригадир монтажников Ахметдинов, отбили себе уголок. Ахметдинов, коротенький, широкий в плечах, угрюмый, перепугал Звенкина.

— Жулики они, татары-то, — шепнул он Ивану Кузьмичу. — Зачем его в наш угол?

— Ну, что ты? И татары люди хорошие. Тебе все мерещится, — ответил ему Иван Кузьмич, но тут его отвел в сторону Степан Яковлевич и тоже шепнул, показывая на Звенкина:

— Что это за дылда с тобой? Упрет еще остальное барахло у нас.

— Ну вот, новое дело. Он человек хороший. Впрочем, супротивник. А какой — не говорит.

Не успели они закончить этот разговор, как к ним подошел Петр Завитухин, человек довольно странный и даже, по уверению врачей, душевнобольной. С ним все время происходили какие-то истории. Года три назад он в Москве, на моторном заводе добился было того, что его поставили бригадиром в цехе коробки скоростей, но потом неожиданно захандрил, начал плакать и вдруг стал ярым защитником собак. Целыми ночами он бегал по улицам Москвы, ведя отчаянную борьбу с теми, кто собирал бездомных собак и отправлял их за город.

— Убивают. Ведь убивают, — заливаясь слезами, кричал наутро в цеху Петр Завитухин. — И я напишу... Я в Совнарком напишу!

В первые же дни войны он, достав справку от врачей, что является душевнобольным, отправился к себе в деревню куда-то за Орел, а с наступлением немцев будто бы сбежал оттуда и вместе с заводом прибыл на Урал, определившись в бригаду Ахметдинова.

Петру Завитухину было лет сорок пять, пальцы на правой руке отсутствовали (оторвало на распиловке леса), но, главное, у него было какое-то чудно́е лицо: яйцевидный лоб заканчивался на макушке, от одного

уха к другому тянулась бороздка из жестких волос, ноздри широкие, как у лошади. Лицо вообще казалось умным. Но стоило только Петру Завитухину выпятить губы и пожевать ими, как все лицо становилось глуповатым и даже преступным; вот почему, встретившись с Петром Завитухиным в селе Ливня, Татьяна запомнила это лицо на всю жизнь.

Сейчас, подойдя к Ивану Кузьмичу, Завитухин развязно потребовал:

— И меня примите, в уголок-то.

Иван Кузьмич с холодком ответил:

— Да ведь некуда.

— Ну-у? Чай, как-нибудь втиснусь, — и тут же, посмотрев на Ахметдинова, произнес.— Чай, я не татарин гололобый. Чай, я свой, московский.

— Ну, ты вот что, Петр, — Степан Яковлевич весь затрясся: — валяй-ка вон туда. Вон, видишь, есть место. Нечего тут околачиваться.

Петр Завитухин отошел, занял место, на которое показал ему Степан Яковлевич, и, выхватив из кармана бумагу, карандаш, начал что-то писать.

Ахметдинов ел хлеб, макая его в ведро, поднял голову, посмотрел на Петра Завитухина:

— Петра, чего писал и зачем писал?

— Про хлеб... и руки у тебя, ой, — ответил тот, с жадностью поглядывая на хлеб. — Я ведь какой? Я ведь все досконально знать хочу. Вот руки у тебя! Ну и сила, как у льва, впрочем, чего я никогда не видал.

— Рука и у тебя есть, а голова нет.

Петр Завитухин вытянул губы и, сделав лицо глупым, кинул:

— А у тебя есть голова? Эко, голова! Была бы голова, не заставила бы тебя горб гнуть... за хлеб такой.

Ахметдинов не нашелся что ответить. Человек он был вспыльчивый, и когда в нем все начинало клокотать, он терял слова: он что-то гудел на своем родном языке, весь собравшись в комок, сжимая большие, угловатые кулаки. И тут, сверкнув раскосыми глазами, что-то прогудев, он вдруг выпалил:

— Моя голова знает, что делать, а твоя голова — горшок. Твоя голова надо крутить и вместо рукомойника ставить, тогда шалтай-болтай не будешь, — и поднялся, все так же не разжимая кулаки.

«Пес гололобый, жамкает еще», — с дрожью во всем теле подумал Петр Завитухин и, криво улыбаясь, забормотал: — Да нет. Что ты? Шутю я, шутю. А так, знамо, интерес большой. Понимаем мы, как сознательные... и даже с песней можем... и ходили, в Москве, на Красной, вон где. Хошь, я тебе спою, а?

— Тебе надо в лес бежать, с волком петь, — сквозь зубы процедил Ахметдинов и крупным шагом, прогибая половицы, вышел из барака.

— За что человека обидел, Завитухин? — откашливаясь в ладошку, вступился Степан Яковлевич.

— Совесть, что ль, окончательно растерял? — упрекнул Иван Кузьмич.

Петр Завитухин вскочил. Лицо у него было хотя и перекошено, но умное.

— А я что? Между двумя огнями повертись-ка, — бессознательно кинул он и мертвеющими глазами уставился в угол, со страхом вспомнив первое свое падение. Оно случилось лет десять тому назад и с каждым годом все наворачивалось, как снежный ком. Петр Завитухин боялся прямо и открыто сказать о своем падении, как сифилитик, живущий в общежитии, боится открыть свою болезнь: его немедленно выгонят из общежития. И во время войны Завитухин было убежал к тем, кто заразил его «душевным сифилисом». Он заявился к ним и нахально стал бахвалиться «своей преданностью» им, а те, посмотрев на него, как на бездомную собаку, посадили на танк и заставили показывать дорогу в села, а в селах людей, которых потом вешали. Так он побывал и в селе Ливне. Потом немцы предложили ему вернуться на завод и заняться «диверсиями». «А что я сделаю? Что? Когда на тебя со всех сторон смотрят тысячи глаз. Сами бы попробовали... чортовы колбасники», — со злобой подумал он и сейчас, но, глянув на Ивана Кузьмича, на Степана Яковлевича, боясь, что они могут увидеть его «душевный сифилис», немедленно встряхнулся,

вытянул губы, пожевал ими, затем скособочась, как бы кого-то дразня, крикнул:

— А что? Лошадь не покорми, и та взбесится. Вот ведь чего, — причмокнув толстыми губами, он ринулся из барака следом за Ахметдиновым.

Так они четверо и зажили в углу барака. Поднимались чуть свет, бежали в столовую, становились в длинную, никому не нужную и бестолковую очередь. Но столовая, к которой они были прикреплены, вскоре сгорела (ее поджег Петр Завитухин), и им завтракать, обедать и ужинать пришлось на месте. Это было еще хуже, потому что, кроме холодной воды и хлеба, они ничего не имели.

— Образуется. Все образуется. Помнишь, Степан Яковлевич, у Льва Николаевича Толстого слово такое есть «образуется». И тут все образуется, — утешал Иван Кузьмич.

— Да ведь, говорят, Москва не сразу строилась, — отвечал Степан Яковлевич, кашляя все с большей хрипотой. — А мы куда приехали — не в гости? И то удивительно, сколько тут сделано за какие-нибудь пять-шесть месяцев. Нет, Николай Степанович прямо чудеса творит. Конечно, чучело наш все это опоганит.

— Как власть человека испортила. Я тоже про Макара Савельевича, — тихо и спокойно проговорил Иван Кузьмич. — Человек-то был какой чудесный, когда в термическом цеху работал. Заходил ведь он к нам, к Василию, по поводу обработки металла электричеством, — и чуть погодя, что-то припоминая, добавил: — Я где-то читал, что ежели ангелу дать власть, у него рога вырастут. Выходит, правда?

— Это если ангел дурак. А умный, тот поймет: кто власть вручает, тот и отобрать ее может, — сказал Степан Яковлевич и громко захохотал.

4

Поднялись свирепые уральские бураны. Они неслись с гор Чиркульской долиной, сотрясали крыши бараков, хлестали, будто огромными сухими метлами,

по их бокам и выли, крутились у дверей, намереваясь ворваться вовнутрь, чтобы приморозить там все живое... И не хотелось подниматься с постели, согретой теплотой собственного тела, а так — лежать бы и лежать, пока не утихнет злая метелица и не проглянет горячее солнце.

Первым высунул голову из-под одеяла Иван Кузьмич. Он спал в пальто с плюшевым воротничком, валеных сапогах и даже в шапке, но все равно, высунув голову, он сразу почувствовал, как по всему телу побежали ледяные мурашки. Повернувшись к Степану Яковлевичу, покашливая, сказал:

— Эй! Пролетарий! Вставай-поднимайся!

Тот, не открывая головы, ответил:

— Сейчас. Эхе! Бывало, все жаловался я на тюфяк. Тюфяк Настя купила, а он попался с каким-то таким, знаешь ли, ребром. Я ей — выброси, мол, ты эту пакость, а новый купи. Вот теперь бы этот тюфяк с ребром.

«Ах, да, да. А из-за чего я тогда, в субботу, перед тем страшным днем, поссорился с Ильинишной? Ах, да. Я узнал от лесника, что пошли боровики, прибежал домой, а Ильинишна на меня обрушилась: «Скачешь, как заяц». — «Какой я тебе заяц? Я мастер, а не заяц», — припомнил Иван Кузьмич, и ему стало как-то горестно оттого, что тратили лучшее время на ссоры из-за таких пустяков. — А вот теперь все рассыпалось... и от Василия давно писем нет. — Иван Кузьмич пощупал сверток чертежей, крепко зашитый в брезент, лежащий в изголовье. — Ничего, Вася... разум твой сохраню, а нарушителей прогоним и твое дело в ход пойдет», — и тут в Иване Кузьмиче поднялась такая остервенелая злоба на тех, кто нарушил «большую человеческую мечту», что он привскочил с постели и выкрикнул:

— Вставайте, вставайте! Станки надо сгружать!

Степан Яковлевич еще некоторое время нежился в постели, высовывая то одну, то другую руку, а Звенкин сбросил с себя полушубок, босой прошел к умывальнику, стукнул обеими ладонями по крантику, удивленно произнес:

— Эх, замерзла!

И барак начал пробуждаться со стоном, с кряхтеньем, с руганью и песнями...

Вместе со всеми рабочими Иван Кузьмич, Степан Яковлевич, Ахметдинов и Звенкин пробивались сквозь буран к станции. Они шли наощупь, наугад, видя перед собой только белесые тени. Шли, задыхаясь, отворачиваясь то в одну, то в другую сторону, иногда слыша, как выкрикивает Звенкин:

— А ну-у, балуй у меня!

Придя на станцию, они все охнули: станки на платформах покрылись такой морозной сединой, что казались накаленными электрическим током и к ним было боязно притрагиваться. Степан Яковлевич первый вскочил на платформу, пнул ногой станок. Со станка посыпалась обильная серебристая искра.

— А ну-ка, поворачивайся... довольно тебе отдыхать, — сгоряча Степан Яковлевич голой рукой ухватился за станок и тут же пронзительно вскрикнул: на ладони сразу выступил кровавый след, будто рука прикоснулась к раскаленному железу.

— Ты полой, полой, — посоветовал ему Звенкин.

И вот, несмотря на то, что станки заиндевели, несмотря на то, что люди были плохо одеты, что вместо варежек у большинства на руках были потрепанные чулки, тряпки, несмотря на все это, люди кинулись на станки. Стряхивая с них морозную седину, стаскивая их с платформ, люди клали станки на бревна и волоком тащили в здание еще без крыши, ставя их на приготовленные фундаменты.

А буран бушевал, потешался, кидая в лица охапки колючего, словно битое стекло, снега. Люди стонали, падали, будто подбитые морозом воробьи, снова вскакивали и снова кидались на станки, еще громче стеная, скрежеща зубами. В этом бушующем буране, собственно, ничего не было видно — ни людей, ни станков, ни тем более самодельных, из бревен, саней. Только иногда из белесой пурги выныривало что-то огромное, черное, облепленное живыми фигурками, и снова над всем бушевала свирепая уральская метель. Иногда из метели, перекрывая ее завывания, вырыва-

лась «Дубинушка», но буран своим воем глушил песню и крутил, выл, свистел, потешаясь надо всеми... И трудно было понять, что руководило в эти дни полуголодными, уставшими от бессонных ночей, полураздетыми людьми — только ли высокие патриотические цели или еще и русская удаль: «Эх ты, буран, крутишь, а мы все равно тебя победим».

Однажды утром, пробиваясь сквозь бушующую метель, на станцию прибыл Макар Рукавишников. Он явился все в том же пегом кожаном пальто, без пояса, похожий со спины на толстую бабу. Перебегая от одной группы рабочих к другой, он подбадривал:

— А ну давай, давай, ребятки! Родина нам отплатит!

Слова его были хорошие, но то, что именно он произносил эти слова, и то, что именно он прибыл сюда, вместо того чтобы там, на заводе, налаживать питание, раздражало людей. А он этого совсем не чувствовал. Разгорячившись, он даже сам впрягся, как коренник, в сани, на которых лежал тяжелый станок, и поволок вместе со всеми.

Кто-то из рабочих сказал, как всегда, дипломатически-тонко, не то ругая, не то похваливая:

— А ну, директор, давай, давай. Хорошая у тебя спина — шире мостовой...

— Вот это директор!

— Бык! Прямо бык!

— В цирк бы вам, железо на вас гнуть...

— Я ведь не такой, как те, кто в кабинетиках-то сидит. Я со всеми рабочими в тяжелую минуту — айда-пошел, — ответил на это Макар Рукавишников, не поняв издевки.

И было стыдно. Особенно Ивану Кузьмичу и Степану Яковлевичу, старым мастерам. Им было так же стыдно, как если бы их любимый сын выкинул какую-то глупую штуку при народе.

Серым вечером промерзшие, уставшие, голодные рабочие расходились по баракам, по землянкам, с тоской думая о том, что́ сегодня они будут есть, когда даже костра невозможно развести. С ними вместе шел

и Макар Рукавишников. Он шел, чувствуя, как ноги у него отстают, и срамно стал бахвалиться:

— Что-то зад отяжелел у меня.

— Им думаешь, — кинул Степан Яковлевич.

Макар Рукавишников не расслышал и намеренно, чтобы восстановить рабочих против Николая Кораблева, произнес:

— Ничего. Сейчас чайку мне заварят... кусочек жареной баранины и, конечно, рюмочку, мы и отогреемся с Васькой. Кот у меня есть Васька. Ну и смышленый: как зачует запах жареной баранины, так и хвост трубой.

Все знали, что у Рукавишникова никакой баранины нет, однако Иван Кузьмич сказал:

— О баранине-то можно бы и помолчать: голодные ведь мы.

— Ага! Допекло? — обрадованно вцепился Макар Рукавишников. — А кто столовую не дает? Ваш любимец, Николай Степаныч Кораблев. Кораблев, да без руля. Уж больно ты его чтишь, Иван Кузьмич.

— Да ведь, — Иван Кузьмич замялся и вдруг резко сказал: — Да ведь не заставишь себя каждого чтить. Одного чтишь, а другого и к козе под хвост пошлешь.

5

Буран приостановил все, срывал с лесов людей, леденил на земле, загонял в землянки, бараки, преграждал путь огромными сугробами паровозам, автомобилям и выл, крутил, кидая во все стороны охапки колючего снега.

— Чорт-те что, чорт-те что, — сквозь зубы произносил Николай Кораблев, шагая по кабинету, кого-то поджидая и мрачно всматриваясь в Ивана Ивановича.

Иван Иванович сидел в уголке дивана и тихо покачивался, будто перед ним теплился камин. По его лицу блуждала улыбка; зеленоватые глаза то и дело широко открывались, вспыхивали; даже голову, кото-

рая почти всегда сваливалась на грудь, он теперь держал прямо.

«Мечтает, — с досадой подумал Николай Кораблев, глядя на него. — Чудесный человек, замечательный инженер, а ведь вот неделю буран крутит — неделю мечтать будет», — он остановился и в упор спросил: — Что же будем делать, Иван Иванович?

— Да ничего. Буран оборвать невозможно. Он может безобразничать и день, и два, и неделю. Тут так: как заладит, так и пошел стегать.

— Вы что же, считаете положение безвыходным?

— Абсолютно.

— Чепуха. Таких положений не существует.

— Безвыходных?

— Да.

Иван Иванович скосил зеленоватые глаза и, сдерживая злорадный смех, сказал:

— Прыгните на луну.

— Я не про луну, а про землю. А придет время — и на луну прыгнем.

— Вы уж!

— Что «вы уж»? А вы уж? — глаза их сцепились; тогда Николай Кораблев шагнул к Ивану Ивановичу и с тоской произнес: — А ведь там нас ждут. Ох, как ждут.

Иван Иванович, предполагая, что тот говорит о своей семье, весь встрепенулся, сочувственно-ласково произнес:

— Ах, да, да, конечно, ждут. Да еще как!

«Столкнул, — радостно подумал Николай Кораблев. — Но сейчас я его просто за шиворот возьму», — и вслух: — Вы же знаете, что мы в первые месяцы войны потеряли огромное количество танков, самолетов, артиллерии. Мы в этом отношении остались почти нищими. И нас ждут. Наших моторов ждут, Иван Иванович. А у нас что? Буран? Вот сегодня или завтра позвонят из Москвы. Что ответить? Буран? Это же смешно, — лицо Николая Кораблева вдруг как-то подобрело. — Ах, да, — спохватился он. — Есть выход. Вы же сократили план строительства на двадцать четыре дня... Это спасение. А вы говорите — нет выхода.

— Ничего не понимаю. — Иван Иванович пожал плечами и фыркнул.

— Спишем ваши денечки на буран.

Удар попал в цель.

— Ну, нет! Это вам не пройдет, — резко заявил Иван Иванович, поднимаясь с дивана. — Я и минуты не дам. Уйду. У меня есть свой домик, есть жена — очень приятная женщина. Уйду и займусь научной работой

— Так. Уйдете? А потом вас страна спросит, что вы делали во время войны?

— А мне все равно.

Такого ответа Николай Кораблев никак не ждал... и осекся.

«Да неужели это гниль? Да не может быть! Сколько лет я его знаю», — подумал он и так сжал кулаки, что пальцы хрустнули. — Вы это серьезно, Иван Иванович?

Иван Иванович какую-то секунду колебался:

— Ерунда! Вспылил. Я ведь тоже за стол победы хочу прийти с победой. Но что делать? Вы намереваетесь приостановить буран? Это ведь только Иисус Навин из библии крикнул: «Остановись, солнце!» и продолжал бить врага. Вы же не Иисус Навин.

— Я не Иисус Навин, но я знаю, что сильнее человека никого и ничего на земле нет... Для этого его, человека, надо умело организовать и вооружить.

Иван Иванович рассмеялся:

— Чорт вас знает, что вы за люди — большевики. Ну как вы устраните буран? Как, я вас спрашиваю?

— Очень просто. Все, что есть у нас на складах — пальто, шинели, телогрейки, теплое белье, одеяла, валенки, варежки, шапки, — все немедленно же раздать рабочим. Все. И не жалеть. Пожалеем тут — значит, погубим людей там, на фронте. Затем хорошенько накормить людей — сверх того, что мы им выдаем обычно. — Николай Кораблев посмотрел на Ивана Ивановича и, видя на его лице скептическую усмешку, чувствуя, как у самого поднимается злость, продолжал: — И дать водки, по сто граммов хотя бы. Это что, достаточно — сто граммов? Или двести?

— Нет, уж лучше пол-литра на нос. А то с двухсот

граммов просто скучновато будет. Пол-литра выдайте, глядишь, и разгуляются, а потом вещички продадут и на свои деньжата водки купят. Я предлагаю подождать. Утихнет буран — наверстаем.

— Ждать самое легкое дело.

В кабинет вошел человек небольшого роста, щупленький, запорошенный снегом.

— Простите, что вот так, — сказал он, стряхивая с себя снег, и шагнул к столу, падая всем телом вперед, будто неся на себе большую тяжесть.

Глаза у него были большие, синие, бегающие туда-сюда, как маятник часов. На нем шинель без погон, но вся крепко пригнанная, и шапка-ушанка с вмятиной на том месте, где, видимо, совсем недавно была красноармейская звезда.

«Из армии, — подумал, глядя на него, Николай Кораблев. — Только что́ это у него глаза-то... бегают как!»

— Здравствуйте, — сказал вошедший. — Лукин я. Послан к вам на работу... от... от... — он смешался и, положив пакет на стол, добавил: — Вот. Прочитайте, пожалуйста.

Николай Кораблев разорвал пакет, прочитал и, снова осмотрев Лукина с ног до головы, спросил:

— Вы что, из армии?

— Да. Но я там недолго был... в ополченцах... Отозвали — и к вам.

— Давно мы парторга ждали, — и в это время Николай Кораблев подумал: «Какой-то окажется...» — и опять к Лукину: — Очень хорошо. Кстати, вы сразу попали в дело. У нас тут буран приостановил все работы. Я... предлагаю одеть людей, накормить сверх положенного, дать водки... и... и... — сбитый до этого резким отпором Ивана Ивановича, он замялся. — И... я думаю, люди сломят буран. Как вы на это смотрите?

Лукин, пристально вглядываясь в Ивана Ивановича, ответил не сразу.

— Я? Как смотрю? Пока я без возражения подчиняюсь вам, я новичок здесь. Но... но, думаю, забота о человеке еще никогда даром не пропадала.

«Дипломатничает... или... или... Впрочем, с человеком надо съесть два пуда соли, чтобы узнать его», — подумал Николай Кораблев и повернулся, показывая на Ивана Ивановича: — Вы познакомьтесь-ка. Это наш главный инженер. Иван Иванович Казаринов.

Иван Иванович весь взъерошился. Седеющие, круто обрубленные усы у него ощетинились, а сам он, косо подав руку Лукину, сел к нему боком. Он и вообще-то ко всем вновь прибывшим, незнакомым ему людям относился со скрытой ревностью, боясь, что они «ототрут» его от Николая Степановича, а тут (он это хорошо понимал) прибыл парторг Центрального Комитета партии, значит — «правая рука директора». «Ну, меня-то ему трудненько будет отсадить... я главный инженер, а не говорунок». Николай Кораблев, разыскивая по телефону Макара Рукавишникова, видел, как Лукин о чем-то заговорил с Иваном Ивановичем, но тот притворился глуховатым: сначала будто не расслышал, затем приложил ладошку к уху и стал слушать. Улыбнулся, но быстро подавил улыбку, стал столь же безучастным, скучным и даже недовольным: «Чего, дескать, лезете ко мне? Мухи!» Но улыбка помимо его воли снова появилась на его лице... и вот он уже, весь сияя, трясет руку Лукина.

«Покорил, — подумал Николай Кораблев. — Значит, не дурак. Хорошо там думают о нас: умного мужика прислали», — и прокричал в трубку:

— Рукавишникова мне!

Секретарша хотя и знала, что директор ушел на станцию, однако, как и ее директор, она была в оппозиции к Николаю Кораблеву, поэтому грубовато ответила:

— Я не знаю, где он. Не знаю и не знаю, и не обязана для вас знать.

— А где Альтман?

— У него есть свой секретарь, — и секретарша положила трубку.

Пока Николай Кораблев разыскивал Альтмана, Иван Иванович и Лукин совсем подружились. Как только он кончил разговаривать по телефону, Иван

Иванович, помолодев, подбежал к столу и громко, будто об этом надо было сообщить множеству людей, проговорил:

— Ученик мой! Видали? И ученик покорил учителя. Знаете, что он мне сказал: «Уверенность в победе — самое большое оружие». Это он мне из моей же книги «Богатство Урала», — и, повернувшись к Лукину: — Ну да, но там я еще говорю и другое.

— Совершенно верно, Иван Иванович, — мягко согласился Лукин. — Кроме уверенности, должно быть знание.

— Вот именно! А я ведь вначале вас не узнал А знаете, тут и Альтман, главный инженер моторного завода.

— Ну-у? Старые мы с ним друзья. Ох, как я рад, что попал к вам.

— А скажите-ка... и уж если глупый вопрос задаю, простите... У вас с глазами-то и тогда так было?

По лицу Лукина пробежала нервная дрожь, он дернулся. Еще раз дернулся. И еще. Затем, овладев собой, сказал:

— Вот, как вспомню, так и начинается. Нет, с глазами это у меня там. Контузило. Всего землей завалило. После этого и с глазами. В госпитале лежал, а оттуда к вам.

— А-а-а! Значит, вы уже видели ее — костлявую! — И Иван Иванович, нахмурясь, заторопился: — Только вы вот что: в мои дела нос не суйте. Я об этом при Николае Степановиче говорю. А то ведь вы какие? Сразу фр-фр, марксизм, диалектика, а в технике у вас вот, — и показал кончик мизинца. — Не командуйте.

— Да что вы? Что вы, Иван Иванович! Я не на то прислан, чтобы командовать. Я ученик ваш и тут вам буду помогать и учиться у вас.

— Ну, то-то. — Иван Иванович, как все стареющие люди, раз заговорил о самом для него дорогом, уже не мог остановиться. Его прервал вошедший Альтман.

Отряхнувшись от снега, Альтман вскрикнул:

— Такого бурана и чорт Гоголя не состряпает, — и, увидав Лукина, протянул: — Э-э-э!

И тот тоже в ответ протянул:

— Э-э-э!

Затем Альтман, согнув руки в локтях, поднял их ладонями вверх. То же проделал Лукин... И они оба захохотали. Альтман пояснил Николаю Кораблеву и Ивану Ивановичу:

— Это когда мы студентами были, то кружок организовали имени Серафима Саровского: выпьем и руки вот так, как Серафим Саровский на камушке.

Вскоре они все четверо включились в дело... и сразу заспорили, особенно Иван Иванович. Альтман потребовал, чтобы наряду с рабочими-строителями были одеты, обуты, накормлены и рабочие моторного завода. Иван Иванович яро протестовал:

— Это не наше дело. Кормите и поите вы сами там с Рукавишниковым.

Его убедили. Но тут же возникло новое затруднение. В силу того, что одна столовая сгорела, тысячи полторы рабочих моторного завода получили на руки сухой паек, а на улице бушевал буран, и они не имели возможности даже разжечь костры. Лукин предложил приготовить им ужин и разнести по баракам. Потребовались дополнительные баки, кастрюли. В наличии таких не оказалось. Значит, надо было их срочно делать, — это поручили Ивану Ивановичу. Лукин и Альтман отправились в город тормошить городские организации, а Иван Иванович, взъерошив волосы, сел за телефон. Первым он вызвал Коронова. Тот явился незамедлительно. Вкравшись в кабинет, он хлопнул в ладоши и пошел играть словами.

— Лошадку не покорми, и та взбесится, справедливо говорят, — повторил он слова Петра Завитухина. — А человек, он хитрее лошади. Лошадь что? Лягнуть хочет — спутай ее. А человека не спутаешь: ноги ему свяжешь, он рукой хватает, руки свяжешь, он словом так долбанет, что все разлетится. И давай крути в этом месте. Что? Жести надо? Найдем. Жестянщиков надо? Найдем. Крути, поднимай бурю! Меня в улице-то Бураном зовут. Буран я и есть.

Нехватало то белой жести на баки, то жестянщиков, то картошки, то хлеба, то подвод... И люди из кабинета Николая Степановича звонили повсюду — по заводам, по торговым организациям, часто выезжая туда сами. И все откуда-то шло, стягивалось. Появилось железо, жестянщики, картошка, водка на пятнадцать тысяч человек. Все это откуда-то прибывало, и чем больше всего этого прибывало, тем больше росла боязнь у Николая Кораблева.

— Справимся ли, Иван Иванович? — говорил он. — Надо ведь сегодня. Понимаете, сегодня, а не завтра эту радость дать рабочим...

— Радость-то мы дадим, а вот сломят ли они буран, — в этом я сомневаюсь, — решительно заявил Иван Иванович.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

В студеные, буранные сумерки рабочие группами расходились по своим углам. Иван Кузьмич, Степан Яковлевич, Звенкин и татарин Ахметдинов, когда подошли к своему бараку, то не смогли узнать его: буран так его заметал, что он просто казался горой из снега.

— Эко, леший, как наозоровал, — произнес Звенкин и длинными ногами принялся отгребать сугроб от двери.

А войдя в барак, они при тусклом свете электрической лампочки увидели, что стены его поседели, точно обросли сивой бородой, с потолка свисали мелкие сосульки, как в пещере, а под нарами, согнанные сюда бураном, визжали крысы.

— Война дворцам, мир, стало быть, хижинам, — сказал Петр Завитухин и пожевал губами, делая лицо глупым. — Война дворцам, мир хижинам, говорю я, — громче выкрикнул он.

— Ни-и-чего. Будет и мир хижинам. Но тебе

местечка там нет, Петра,— ответил Ахметдинов, сверкнув раскосыми глазами.

— А мне оно и не нужно. — Петр Завитухин сел на нары, вынул из кармана промерзший кусок хлеба, сунул его в ведро с холодной водой. — Оттаю, сожру и на боковую. Вот какая моя хижина.

За ним последовали все, по очереди оттаивая хлеб в воде, но хлеб от этого делался как замазка... И невольно каждый вспомнил свою семью.

Иван Кузьмич лег на койку, и ему представилась уютная квартирка в Москве, тихие субботние вечера. За столом Саня читает «Литературные новинки», а Елена Ильинишна, подавая стакан крепкого чаю, тихо произносит: «Отец. Не силен ли чай-то? Доктора что говорят? Вредно тебе такой». Иван Кузьмич, улыбаясь ей, отвечает так же тихо: «Ну, мало ли что они болтают? А сами-то коньяк хлещут — давай только». Он хлебнул горячий, густой, вкусный, внакладку, чай (как же, Елена Ильинишна не пожалела положить два куска сахару!). Хлебнул и открыл глаза. Да-а. Он в бараке. И барачные жители лежат на своих местах, — одни свернувшись калачиком, чтобы сохранить собственное тепло, другие бочком, вздрагивая, что-то бормоча, третьи вытянулись, сложили руки на груди, как мертвецы. Степан Яковлевич тоже лежит вверх лицом, задрав голову, выпятив огромный кадык, и почему-то шевелит губами, как бы что-то ловя. Но вот он повернул лицо в сторону Ивана Кузьмича и, встретившись с ним глазами, произнес:

— Не спишь, друг? И я тоже. Кости наломали, а сон не шагает. Настю вспомнил. В Барнауле она — вон где, — сказал он так, как будто Иван Кузьмич не знал, где находится его Настя. — На-днях письмо прислала, пишет то и се, а не нравится ей — пески там. Вон что не нравится — пески. А если бы ее вот в такой барак? — он раза два перевернулся и снова очутился в том же положении. — Вертись не вертись, а дальше своей лежанки не ускачешь.

— Терпением надо запастись, — сказал Иван Кузьмич.

— Терпение что? Терпение — это у Завитухина. Не

терпение, обязательно бы засверкал пятками. А у нас с тобой, я думаю, другое — костер ненависти в душе распалился. Ты знаешь, чем труднее мне, тем костер ненависти горячее. Сволочи! Что мы им, мешали?

— А как же? Мы ведь миру великую чистоту несем... и зовем человека не к грабежу и убийству, а к жизни.

На нарах поднялся Петр Завитухин. Он вскинул голые по локоть руки, пожевал губами, и при тусклом свете лампочки лицо его стало еще страшней. Так он стоял несколько секунд, напрягаясь, видимо желая что-то сказать, и вдруг истошно завыл:

— Ко-оостер! К-оо-остер! Ка-кой чо-орт костер! Все мы тут подохнем! Крысы нас сожрут! А-а-а! Вот она — хвостище-то, — и метнулся на людей, все так же завывая: — Кры-с-саа-а! Во-о-от она-а-а! Крысища-а-а!

Людей в бараке будто подбросило вихрем: все вскочили, крича, ругаясь, плача, сбрасывая с себя не то чью-то шапку, не то в самом деле крысу. Это что-то перелетало из одного угла в другой, падало на людей, и люди, уже видя, что это только порванная варежка, все-таки отбрасывали ее остервенело, так же зло завывая, как и Петр Завитухин... Затем все разом оборвалось, и кто-то чуть спустя сказал:

— Дурак. Крысы боится. Да ее в Китае едят; конечно, в жареном виде.

Ахметдинов пригрозил:

— Петра, спи. А то кулак мой хочет тебе шею гладить.

Петр Завитухин лег, свернулся клубочком и задрожал, как щенок зимой на крылечке теплой хаты.

Наступила тишина. Но никто уже спать не мог.

Звенкин перекинул полушубок на Ивана Кузьмича, сказал:

— Ужарел я, Иван Кузьмич. Ты уж погрейся, — и чуть погодя: — Заяц, когда буран неделю, — неделю не жрет, а живет. Вот хитрющий, пес, — и смолк, сам, видимо, еще не понимая, для чего такое сказал.

И снова наступила тишина. В этой тишине кто-то

тихонько, украдкой всхлипывал, кто-то стучал от холода зубами, да визжали в подполье крысы... и еще кто-то отчетливо сказал:

— А наш дурак пошел чай пить.

2

Раздался стук в дверь — громкий, настойчивый. И все повернулись, недоуменно всматриваясь в закоптелое, черное пятно двери. Даже Петр Завитухин, и тот перестал скулить. Стук повторился. Снаружи послышался женский ласковый окрик:

— Эй, дьяволы! А ну-ка, кто там? Откройте-ка.

Дверь открылась, впустив вместе с морозом двух румянощеких, в халатах на полушубках, женщин — Любу и Варвару Короновых. Поставив огромный новый светлый бак, из которого валил пар, как из самовара, они сбросили с плеч мешки и высыпали на стол гору хлеба, затем выскочили из барака и тут же внесли второй бак, из которого тоже валил пар. Все смотрели на них, ничего не понимая. Тогда Варвара улыбнулась женской призывной улыбкой:

— Ешьте! Вы, мученики! Это вот вам картошка, рыба, а тут хлеб — по куску на каждого.

— Ешьте, миленькие, ешьте, касатики, — заговорила Люба. — Чего вы на нас уставились? Ай впервые видите?

Дверь снова распахнулась. В барак не вошел, а как-то нырнул, весь запорошенный снегом, Коронов. Поставив на стол два ведра, он заиграл:

— А ну, соколики ясны, крылышки подморожены, сердечки горячи. Вот. Во-та. По сто грамм «за дам»! Ешьте, пейте в честь и славу нашего хозяина, — и они все трое так же быстро, как и вошли, скрылись из барака.

Рабочие еще несколько секунд сидели молча, переглядываясь, видимо не зная, как начинать. Тогда поднялся татарин Ахметдинов. Подойдя к столу, он взял кусок хлеба и, подавая его ближнему от себя, сказал на весь барак:

— Я делю. Я.

И все сгрудились у стола.

Картошка! Ах, какая она чудесная, эта картошка в мундире! Вот она — лопнула, рассыпалась, развалилась. Бери ее. Бери, чорт дернул бы тебя за ухо! Бери, да не обожгись. Ого! Вспомнил деревню, синее, раннее зимнее утро... через промерзшее окно видно, как в русской печке пылает огонь... и кто-то большим ухватом подает в печь чугунок с картошкой. А это что? Хлеб. Ух, как он вкусно пахнет! А это вот чудо из чудес — водка... И люди заговорили, зашумели, раскраснелись, посыпались шутки, остроты... Татарин Ахметдинов, выпив кружку водки, закусив черным хлебом и картошкой, сбросив с себя ватник, крикнул:

— Где она? Гармошка!

Гармонист вытащил из-под нар полузамерзшую гармошку, дунул на нее теплым дыханием, протер мехи:

— А ну, удалая!

И Ахметдинов, поблескивая чуть раскосыми глазами, расправя плечи, кинул слова песни:

Е-сть за Волгой село,
На-а-а крутом берегу-у-у, —

и с этого «у» жители барака подхватили песнь, широко, раздольно, величаво, как Волга:

Та-ам отец мой живет
И-и-и родима-а-а мне мать, —

и барак заплакал, застонал, затосковал по родным местам, по исхоженным в юности тропам, по старикам, по женам, по детям. Барак застонал, заплакал, и больше всех стонал и плакал залихватский дискант Ахметдинова:

Я-я-я поеду к отцу,
Поклонюся ему-у-у! —

и опять с этого «у» жители барака подхватили и рванули песнь, как бы намереваясь сорвать прокопченный, потный потолок барака и забросить слова

песни туда — к родным, к знакомым, через Уральские горы, в Сибирь, Казахстан, Узбекистан, через уральские степи, туда — в Поволжье, Московию, на Украину, в Белоруссию.

Барак стонал, тосковал, гордился; было в этой песне все — и тоска по родным местам, и плач по близким, любимым, и гордость за свой народ, за свою всепобеждающую удаль. Иногда из песни вырывался голос Ахметдинова и хлестал, хлестал над головами, под низким, прокопченным потолком, затем вдруг куда-то падал, а на его место выплывал густой, оглушающий, как колокол, бас Степана Яковлевича.

И снова отворилась дверь, и снова в барак ворвался Коронов. Он был уже без шапки, подвыпивший, с него текли потоки растаявшего снега. Поставив на стол два новых ведра с водкой, он крикнул, разгоняя песнь:

— Ище! Пей, гуляй, да ума не пропивай. Валяй! Валяй, ребята! Валяй и хозяина встречай. Идет. Своими ножками топает. А первую чарку за такое мне, — под общий крик одобрения он зачерпнул кружкой водку и тоненько, маленькими глоточками, опорожнил кружку, затем крякнул, сплюнул и кинулся к двери. — Идут. Встречай! — возвестил он, впуская в барак Николая Кораблева и Лукина.

Все ахнули. И десятки кружек, наполненных водкой, потянулись к вошедшим. Николай Кораблев выбрал одну, сказал:

— Я не умею пить, друзья. Но с вами за наш завод, за нашу страну и против бурана я бы и керосин выпил.

Опорожненные кружки полетели вверх, а с нар сорвались плясуны, и под гармошку затопали ноги. В грохоте, в криках Коронов, плача, смеясь и приплясывая, заиграл словами:

— Вот он у нас какой! Вот он какой кареглазый, сизый голубь — и плясать при нем легко и в пучину морскую легко.

Все ухало, гремело, охало, топало, орало. . .

Николай Кораблев одной рукой обнял Ивана Кузь-

мича, вторую положил на колено Степану Яковлевичу, спросил:

— Устали, друзья мои?

— Не без этого, — ответил Степан Яковлевич.

— А как же? — сказал и Иван Кузьмич. — Тяжка жизнь такая. Но вы это хорошо — насчет пищи и питья, а самое хорошее — пришли сюда.

— Скоро будет лучше, — уверил Лукин.

А рядом с ними все гремело, ухало... и взлетел, подбрасываемый на руках, Коронов...

3

Наутро пятнадцать тысяч человек, одетые в пестрые пальто, серые шинели, окутанные мешками, одеялами, высыпали из землянок, бараков и ринулись на эшелоны с заводским оборудованием, на леса, в котлованы. Весь огромный состав грузовых машин вышел из гаражей... Запыхтели паровозы. Ничего этого не было видно — ни людей, ни машин, ни паровозов: казалось, вся земля, весь мир в эти дни были подчинены свирепому бурану. Но из пурги то тут, то там выныривали Николай Кораблев, Иван Иванович, Альтман и Лукин. Они то спускались в котлован, то взбирались на леса. Видя, как всюду копошатся люди, Николай Кораблев хотел крикнуть:

«Товарищи! Побеждайте! Вы отсюда сегодня со всей силой бьете врага». Но кричать было бесполезно: буран рвал людей с лесов, сталкивал с боковин котлована и выл, заглушая и гудки паровозов, и удары топоров, и говор, шум всего пятнадцатитысячного коллектива.

Так в течение шести дней. На седьмой день буран неожиданно стих. Засверкало такое яркое солнце, что казалось, вот-вот прилетят грачи. Только иногда, как бы желая еще поозорничать, ветер пробегал по сугробам и, будто кот хвостом, поднимал серебристую пыльцу...

Под вечер Николай Кораблев, усталый и довольный, шел к себе на квартиру. Он чувствовал себя,

пожалуй, так же, как чувствует себя человек, состязавшийся в беге: ноги болят, спину ломит, но на душе хорошо — он победил.

«Хорошо! Да! Да! Победили буран. Ведь так же, наверное, хорошо и рабочим. А зачем — наверное? Конечно, так... даже тот же Макар Рукавишников. Как он сегодня был рад, что разгрузил станки». — Николай Кораблев усмехнулся, щурясь от яркого, сверкающего под лучами солнца снега.

В эту секунду к нему подошел рассыльный и, торопясь, словно все горело, сообщил:

— Срочно вас требуют на заседание в кабинет Макара Савельевича: приехала большая комиссия из Москвы.

— Вот тебе на, — только и проговорил Николай Кораблев, и сердце у него защемило, как от угара.

4

С Макаром Рукавишниковым, пожалуй, происходило то же самое, что происходит с человеком, больным раком: несмотря на все старания врачей, больной, даже не чувствуя иногда боли, как, например, при легочном раке, все больше и больше худеет, желтеет, и под конец организм расшатывается — ткани распадаются, и человек погибает. Нечто похожее происходило и с Макаром Рукавишниковым. Ему стремились помочь все: и инженеры, и партийная организация, и передовые рабочие, и Альтман — главный инженер завода, и нарком, и даже Николай Кораблев, но из этого ровно ничего не получалось. Не в силах понять всю сложную механику завода, Макар Рукавишников всякую помощь, всякий совет воспринимал как личную обиду, — это окончательно разъединило его с заводским коллективом. И передовые рабочие, мастера, инженеры потянулись к Николаю Кораблеву. Они ловили его на строительстве, шли к нему в кабинет, а иногда и на квартиру, жалуясь на Макара Рукавишникова, на его грубость, на его нелепые, вредные распоряжения.

Николай Кораблев морщился, пробовал их уговаривать и под конец сам отправился к Макару Рукавишникову.

«Люди почти всегда начинают ссору из-за каких-то мелочей... и раздуют... раздуют, — думал он, идя к Рукавишникову. — Вот поговорю с ним, скажу, чтобы больше прислушивался к инженерам, особенно к Альтману, учился, чтобы не давал опрометчивых распоряжений... чтобы...»

Макар Рукавишников встретил его, не выходя из-за стола, с нескрываемым высокомерием и холодком.

— Прошу садиться, бывший мой учитель, как-никак, — сказал он, оттопыривая губы. — Ох, как меняются времена. То вы начальствовали надо мной, а теперь, выходит, я над вами: вы ведь мой поставщик, а я заказчик. Хочу — приму заказ, хочу — нет.

Николай Кораблев посмотрел Макару Рукавишникову в лицо, и на душе у него появилось то страшное, что бывает у отца, когда он убеждается, что сын останется на всю жизнь горбатым.

«Да. Да. Горбат. И в этом целиком виноваты мы: посадили ребенка на козлы, дали в руки вожжи, кони шарахнулись, ребенок слетел с козел и сломал хребет», — с болью подумал он и, еще раз посмотрев в лицо Макару Рукавишникову, пустил в ход последнее средство: — Перед отъездом сюда я был у Молотова, Вячеслава Михайловича. Он мне сказал, что завод должен... должен как можно быстрее... вступить в бой с агрессором, то есть с фашистами... Поэтому надо все напрячь, чтобы...

Макар Рукавишников высокомерно перебил:

— Действительно. Разумные слова. — Но как только Николай Кораблев покинул кабинет, он сказал своим подчиненным, а те Альтману, Альтман же все это передал Николаю Кораблеву. — Хвастается, что у Молотова был.

— Ну и ну, — только и промолвил Николай Кораблев и, несмотря на свою крайнюю занятость, стал через Альтмана руководить заводом.

— Ага! Одна тут бражка, — узнав об этом, решил Макар Рукавишников и, закрывшись в кабинете,

залпом выпил чайный стакан водки. Выпил, опустил голову на ладони и замер. Так он сидел долго, тупо глядя в пол. Затем тяжело поднял голову и поманил своего любимого кота. Кот жил в углу, за огромной кадкой с фикусом. Серый, лохматый, нечесаный, он вяло выбрался из своего убежища и медленно, будто кокетничая, пошел по коврику и вдруг со всего скока прыгнул на колени к директору, а директор, почесывая пальцем за ухом кота, пожаловался:

— Подводят нас с тобой, Васька. Ой, подводят рабочий класс. Ах! Да ведь и мы с тобой не соломой крыты: зубы имеем и будем создавать свои кадры.

Первым он вызвал к себе в кабинет инженера Лалыкина — начальника термического цеха. Когда-то, в Москве, они работали вместе — Макар Рукавишников начальником цеха, Лалыкин его помощником. Лалыкин, только что окончивший институт, относился к Макару Рукавишникову с большим уважением, учился у него практическому знанию термического дела. Ведь Макар Рукавишников по одному взгляду, как и его отец, тоже термист, мог узнавать температуру в печах, что являлось делом сложным и тонким.

— Макар Савельевич у нас просто волшебник. Пока я вожусь с приборами, определяя тот или иной технологический процесс, он подойдет и просто скажет: «Это вот так, а это — вот так», — рассказывал всем Лалыкин.

Теперь Лалыкин видел, что директорская ноша не под силу Рукавишникову. Однажды встретившись с ним во дворе, он открыто, желая добра своему бывшему начальнику, сказал:

— Макар Савельевич. Поверь в мою искренность — не за то ты дело взялся... ну, просто сил у тебя нет, знаний... и пока не поздно, уходи обратно в термический цех. Я с охотой уступлю тебе место и снова стану помощником.

— Угу, — только и ответил Макар Рукавишников.

И вот теперь первым вызвал к себе в кабинет Лалыкина. Поднявшись ему навстречу, он усадил его в кресло против себя и печально сказал:

— Что ж, дорогой мой, интересы завода выше наших переживаний? Выше. А как же? Мы же с тобой сознательные...

Лалыкин подумал:

«Ага. Значит, мои слова дошли до него. Вот хорошо: себя он еще не потерял», — и вслух:

— Правильно. Правильно, Макар Савельевич: интересы завода выше всех личных переживаний.

— Точно. И ты не обижайся: раз тебе цех не по плечу — уходи.

Поворот для Лалыкина был настолько неожиданным, что он растерялся, и еще больше растерялся, когда увидел, как по лицу Макара Рукавишникова в два ручья хлынули слезы. А тот, назначив на место Лалыкина Степана Яковлевича, стал говорить всем:

— Мы с ним не в ладах, с Петровым. Да, да. Знаю. Но для меня главное — интересы завода, а не личные переживания, как у некоторых карьеристов. А Лалыкин — дерзкий на язык, ленив на работу.

Николай Кораблев знал Лалыкина как прекрасного инженера, и когда ему сообщили, что тот Рукавишниковым снят с работы, он возмущенно произнес:

— Ну, это уже слишком, — и написал наркому письмо, настойчиво советуя освободить Макара Рукавишникова от обязанностей директора моторного завода.

Узнав об этом, Макар Рукавишников, протянув: «Тю-ю», сам написал наркому, жалуясь, что Николай Кораблев «подкапывается» под его авторитет. Несколько дней тому назад, получив телеграмму о том, что из наркомата выехала комиссия, он снова заперся в кабинете и, выпив залпом стакан водки, сказал:

— А те бюрократики пускай хорохорятся, — и полез в стол за «аргументами». Затем тихо рассмеялся тому, что скрыл телеграмму, ничего не сказав о ней Николаю Кораблеву. — Вот этому умнику комиссия и свалится, как гора на плечи, тогда он и повертится, как карась на сковородке. — И вдруг ему самому

стало так же страшно, как бывает страшно человеку, который, не рассчитав своих сил, далеко уплыл в открытое море и тут, почувствовав, что силы покидают его, перевернулся, лег на спину, видя над собой только голубое небо, а вокруг себя — всепоглощающее море.

5

Все были в сборе. Все. Заместители Рукавишникова, инженеры, мастера, в том числе Иван Кузьмич и Степан Яковлевич. Сегодня все пришли без опоздания, а иные даже раньше назначенного времени: одни шли, как на необычайное зрелище, другие с тоской — чем все это кончится.

Вскоре вошла и комиссия во главе с инженером Александровым, человеком лет под шестьдесят, таким высоким, сгибающимся в талии, как складной нож. Поклонившись всем, он сел в уголок дивана и зоркими серыми глазами начал всматриваться в каждого и особенно в Николая Кораблева и Ивана Ивановича. В Ивана Ивановича он всматривался как-то по-особенному тепло, словно говоря: «Я рад видеть вас».

Второй член комиссии по фамилии Сосновский, прихрамывающий на правую ногу, с приятной улыбкой, обнажающей крупные белые зубы, переходил с места на место, поскрипывая протезом и посматривая на всех любопытными глазами, тоже как бы говорил: «Экие милые вы тут стали».

Третий член комиссии был Едренкин, тот самый Едренкин, который всучил Ивану Кузьмичу и Степану Яковлевичу билеты на пароход. Он сидел так, как будто кто его подкалывал снизу, и совершенно не признавал ни Ивана Кузьмича, ни Степана Яковлевича. С лица он был бел, будто кремовое пирожное; черная холеная борода оттеняла эту белизну особенно резко, выделяя крупные серые глаза, прямой красивый лоб. «Как похож на ассирийца», — глядя на него, подумал Николай Кораблев.

Ёдренкин сидел, вертелся, кого-то отыскивал и, казалось, был страшно заинтересован порученным ему делом. Но никто из присутствующих не знал, в какой печали находился Едренкин. Дело в том, что он из Москвы привез шесть пар резиновых галош, шестнадцать кусков мыла («детское» было выведено на кусках), восемь килограммов чайной соды и три костюма, намереваясь все это здесь «спустить» на крупу, муку, масло, сало. И сегодня, рано утром, переодевшись в старенькое пальто, он вышел на местную толкучку, поменял довольно выгодно галоши, «детское» мыло и соду, но на костюмы не оказалось покупателей. Был только один — такой чернявенький, который предлагал сделку не настолько уже выгодную, но во всяком случае подходящую. Едренкин заупрямился. Заупрямился и теперь страшно раскаивался: костюмы никто не брал, а чернявенький человек куда-то скрылся. Едренкин уже несколько раз бегал на толкучку, и вот теперь, рассматривая людей в кабинете, он отыскивал своими крупными бычьими глазами того чернявенького человека, которому готов был сейчас же сказать:

— Ну, родной мой, возьми... костюмы-то. Невыгодно, да не везти же мне их обратно в Москву, вроде дрова в лес.

Четвертый член комиссии был некто Увалов — человек с крошечной головой, но с растущим животиком, похожий на раздутого лесного клеща. Он прибыл недели на три раньше, как бы ревизор. Но, побыв один день на заводе и строительстве, удалился в городок Чиркуль, связался с местными охотниками и все время пропадал в лесах. Теперь, сидя на диване рядом с Альтманом, он что-то тихим, еле слышным, срывающимся голоском напевал, как бы боясь, что его голосок услышат и оштрафуют за нарушение общественного порядка. И еще что-то жевал, часто-часто, потом останавливался, видимо не в силах проглотить, и снова принимался жевать. Жевал он так называемую серку — березовую смолу. Осмотрев людей, он застыл на диване, так и не проронив ни одного слова до утра. Впрочем, иногда только будто пробуждался и,

наклоняясь к Альтману, таинственно и деловито, будто дело шло о заводе, шептал:

— Козлика пристукнул. Ох, и козлик! Крупный! Еще собираюсь. Компанию составить не хотите? — и снова замирал, часто-часто пережевывая серку.

Заседание открыл своей речью Макар Рукавишников. Он потрогал рукой толстую папку, на лицевой стороне которой было крупно написано «Аргументы», и посмотрел на собравшихся. Вначале в глазах его мелькнул страх, какой бывает у человека, неожиданно очутившегося перед пропастью, но тут же глаза загорелись дерзостью, и он заговорил напыщенно, громко, глядя то в потолок, то на папку.

Говорил он долго, выкладывая «аргументы» — надуманные, вымышленные, веря во все это так же, как и в то, что вот он, Макар Рукавишников, живет, существует. Все эти «аргументы» сводились к тому, чтобы доказать, что «Николай Степанович Кораблев и вся его братия» подкапываются под авторитет Макара Рукавишникова и как «нелепо, недостойно вмешиваться в заводские дела».

— Столовую построили. Столовую, товарищ Александров. Построили такую столовую, что она вмиг сгорела.

— Господи! Да что же вам, бронированную, что ль, строить, — не выдержав, бросил реплику Иван Иванович, у которого от табачного дыма начала «разламываться» голова.

— Ну, это верно: раз столовая сгорела, надо новую построить. Ну и что же? — вмешался Александров, все так же всматриваясь в каждого, иногда почему-то неприязненно кидая взгляд то на Едренкина, то на Увалова, который все так же сидел в уголке рядом с Альтманом, подремывал, мелко-мелко пережевывая серку. — А вот почему вы с программой отстаете? — спросил Александров.

— С какой программой? — осекся Макар Рукавишников. — Мы ведь моторы еще не выпускаем.

— Но ведь должны уже выпускать?

— Должны. Ясно, как светлый день. — Рукавишников чуть растерялся и, глянув на папку, вдруг снова

закричал: — Точно. Действительно. Но вот тоже столовая. Как могут работать рабочие, когда одна столовая сгорела. А они что, вот тот же мой сосед Николай Степанович? Столовую построили такую, что она сгорела, а потом что? Потом без моего ведома моих рабочих ужином кормит. Вот, дескать, какой я, Николай Степанович Кораблев, кормилец и все прочее. Как это называется, не подрыв авторитета?

Александров на это еле-еле заметно улыбнулся, а Николай Кораблев возмущенно задрожал.

«А не подменил ли кто его? Да ведь он был рад, что рабочие накормлены, что они побороли буран. Лучшее чувство пакостить! Страшно!» — И Николай Кораблев даже зажмурился, чтобы не видеть того, что происходило, а когда открыл глаза, ему вдруг стало невыносимо тоскливо и скучно, и все члены комиссии, в том числе и Александров, показались людьми пустыми и бездельниками. Он хотел было сказать, что ему некогда выслушивать тут всю эту дребедень, хотел подняться и уйти, но в эту минуту Макар Рукавишников неожиданно начал топить сам себя:

— Я работаю, — закричал он со слезой в голосе. — Ночи не сплю. Я сам вместе с рабочими таскал станки. Я сам...

Лукин удивленно перебил:

— Сам? Станки?

Макар Рукавишников, обрадованный, что нашел союзника, весь качнулся к Лукину и с еще большей слезой произнес:

— Да. До сих пор плечи зудят.

Лукин все так же удивленно и сочувственно:

— Это же понять надо, товарищи... директор вместе с рабочими таскает станки. Да ведь за это надо медалью награждать.

Все притихли, а Лукин, чуть подождав, неожиданно добавил:

— Пуда на три весом... и на одной стороне выбить: «За глупость», а на другой: «Носи, дурак».

В кабинете стояла минутная тишина... и вдруг

все грохнули таким хохотом, что кот выскочил из кадки и заметался во все стороны, будто кто его колотил веником.

А когда хохот смолк, поднялся с дивана Александров. Он разгладил на голове взъерошенные, непослушные седоватые волосы, которые и после этого так и остались взъерошенными.

— Есть правило, закон — строители завода не имеют права вмешиваться в заводские дела, — заговорил он тихо, но все его услышали. — Строители контролируются заводом, а не наоборот.

— Вот именно. Вот именно, — обрадованно воскликнул Макар Рукавишников и победоносно посмотрел на всех.

— Но, — Александров еле заметно улыбнулся, — но мы так воспитаны, — если идешь по заводскому двору и видишь брошенную деталь, то непременно ее поднимешь... хотя это и не твоя прямая обязанность. А тут... брошен целый завод. — Он глянул на перепуганного Рукавишникова и заторопился: — У меня еще нет достаточных данных, чтобы судить о вашей работе. Меня только удивляет, почему программа не выполняется — то ли в самом деле вам кто-то мешает, то ли вы сами себе мешаете, — с этими словами он неожиданно всем поклонился и пошел к выходу.

Увалов пробудился, перестав жевать серку, кинулся за Александровым, за ним кинулся и Едренкин. Приперев у двери Александрова, они что-то горячо начали нашептывать ему, кидая косые взгляды на Николая Кораблева и ласковые на Макара Рукавишникова. Выслушав, Александров неприязненно отмахнулся от них и, подхватив под руку Николая Кораблева, выходя с ним из кабинета, тихо проговорил:

— Людей сейчас мало, Николай Степанович. Вы ведь на его место не пойдете?

— Нет, — решительно ответил тот.

— Ну, вот видите... До войны мы бились над кадрами, а теперь фронт. Сколько туда ушло лучших людей! Кстати, Сосновский остается тут, на заводе, как уполномоченный наркома для выправления линии Рукавишникова.

— Да, да, — углубляясь все дальше на строительную площадку, говорил инженер Александров. — И вы, Николай Степанович, помогите уж нам. — И болезненно улыбаясь, он обратился к Ивану Ивановичу: — Вас я тоже знаю. И по батюшке вашему — знатоку богатств Урала, и по вашей работе, — проговорил он так, будто чем оделил Ивана Ивановича.

Николай Кораблев, у которого все больше нарастало неприязненное чувство к Александрову и за его тон говорить «от власти» и за его манеру прихрамывать на обе ноги (Кораблев не знал, что у Александрова ревматизм), зло сказал:

— Чепуха это — нет людей. Плохо вы там ищете, в наркомате. Нам надо на монтаж электростанции, — он чуть подумал и из вежливости пригласил Александрова: — Не хотите ли пройтись с нами?

Тот пожался, но глаза у него тут же вспыхнули.

— Я ведь не видел еще вашей стройки. С удовольствием! А вот и Едренкин.

Едренкин выскочил откуда-то из-за угла, держа в руках блокнот в сафьяновом переплете.

— Мучительно! Честное слово, мучительно! — заговорил он, поеживаясь не то от холода, не то от волнения.

— А в чем дело? — не останавливаясь и не глядя на него, спросил Николай Кораблев, думая: «Вот еще один! Галки! Прилетят, поболтают и улетят».

— Наркоматовская газета поручила мне написать о вашем строительстве... мне не хочется обижать вас... но в то же время я не могу пойти против своей совести, в конце концов совести журналиста.

— Мы готовы вас выслушать, — сдержанно-спокойно сказал Николай Кораблев.

— Тишина-а-а. Это не строительство, а какая-то вата, — оскорбительно произнес Едренкин, мигая выпуклыми глазами. — Где у вас тут энтузиазм? Где подъем? Где?

Иван Иванович, разъяренный, кинулся к Едренкину. Николай Кораблев преградил ему путь, успокаивая:

— Что вы, Иван Иванович?

Но Иван Иванович уже прорвался:

— Пустую ему бочку надо: гремит, грохочет. Вот прискачет такой и давай чирикать. Чорт знает что!

И в самом деле казалось, что на строительной площадке вовсе никакой работы не ведется: редко были видны люди, подводы; только по шоссейным дорогам, пересекающим всю площадку, то и дело мчались грузовые машины, везя цементированные балки, переплеты, карнизы цехов, кирпич, камень, цемент, железо. Везут, казалось, неизвестно куда и зачем. Одним словом, неопытный человек так бы и подумал, что тут строительство законсервировано, и никак не поверил бы, что на этом строительстве в этот час работало больше десяти тысяч человек.

Но инженер Александров внимательно смотрел на строительную площадку, и лицо у него постепенно разглаживалось. Даже по мелким деталям он видел образцовый порядок на строительстве. То, что нигде не валялись лишние доски, бревна, кирпичи, то, что не было той суетни, какая обычно бывает на крупных стройках, то, что по шоссейным дорогам то и дело мчатся со строительными материалами грузовики, — все это говорило инженеру Александрову о хорошо налаженной машине, которая работает без шума, но четко и уверенно. Инженер Александров понимал, что где-то на стороне готовятся балки, переплеты крыш, окна, боковые стены для цехов. Все это привозится сюда на грузовиках и тут собирается. Собирается, как часы, из деталей. Вон нарыты ямы для столбов. И тут же около ям лежат цементные балки, переплеты для крыш, стенки, рамы. Это цех в лежачем положении. Пройдет несколько дней — и цех «поднимется на ноги». Все это видел инженер Александров. Обняв одной рукой Ивана Ивановича, другой Николая Кораблева, он чуточку притянул их обоих к себе и успокаивающе заговорил:

— Не надо шуметь: хорошее дело никогда не шумит, оно идет упорно. Вот за это я вас обоих и люблю... Вот за это... И вы молоды... Молоды вы.

Николай Кораблев опустил глаза, подумал:

«А ведь он хороший. Зря я на него так», — и проговорил: — Есть такая замечательная поговорка: «Не

будь настолько кислым, чтобы на тебя плюнули, но не будь и настолько сладким, чтобы тебя скушали». Мы с Иваном Ивановичем живем по этой поговорке.

— И это хорошо! — подхватил инженер Александров. — А на ветер не стоит обращать внимания: он и по дороге носится и в трубе воет...

Едренкин, поняв, что это последнее произнесено по его адресу, решительно сказал:

— Да. Но все это американизм. И во всей стройке нет русского духа.

Тут вдруг рассвирепел Николай Кораблев:

— Какого чорта ты болтаешь о русском духе? Что ты в нем понимаешь? В тебе самом и капли русского нет. Капли! Пылинки!

— Э-э-э!.. — протянул было Едренкин, намереваясь что-то сказать, но из-за угла выскочил чернявенький человек. Рукой — тощенькой, маленькой и сморщенной — он поманил к себе Едренкина. Едренкин сразу кинулся к нему, крича: — А я-то вас искал!

— Ну и ершистые вы оба, — чуть погодя сказал Александров.

— Да уж не дадим себе на ногу встать. А это такой нахал: тебе на ногу встанет да еще милиционера позовет. — Николай Кораблев весело подмигнул Ивану Ивановичу: — Зубастые мы, верно, Иван Иванович?

7

Здание электростанции, куда они направились, было уже выведено под крышу, хотя леса еще не успели снять. Тут, как и всюду, все было прибрано — ни лишней доски, ни лишнего кирпича, даже дорожки, и те посыпаны желтым песком.

Николай Кораблев сердито сказал:

— Ну, это уж лишнее, Иван Иванович, дорожки-то песком. Как у канарейки в клетке.

— Лишнее? Чистота никогда лишней не бывает: никто на такую дорожку не осмелится бросить бревно или доску, а на грязную набросают и будут через этот хлам лазить, чертыхаться.

Около здания работал экскаватор, готовя место

для котла второй очереди. Он работал легко, налаженно, отфыркиваясь, то и дело выбрасывая из своей пасти огромные груды земли в грузовую машину. Поблизости люди готовили леса для опалубки, закладывая арматуру, заливая ее цементом. Все работали налаженно, но, как всегда на заре, чуточку вяловато. Увидав Николая Кораблева, Ивана Ивановича и еще неизвестного им человека, рабочие разом ожили, глаза у всех посветлели, и кто-то закричал:

— С добрым утречком, товарищи начальники.

Николай Кораблев оглянулся и увидел на лесах Коронова, недавно по собственному желанию переведенного с лесозаготовок на опалубку.

— Доброе утро, Евстигней Ильич! — ответил Николай Кораблев и, сняв шапку, потряс ею. — Как бригада? Подходявы ли людишки? — употребил он любимое слово Коронова.

— Подходявы. Подходявы, Николай Степанович, — ответил тот. — Шуруют ладно.

— Кто это? — заинтересовался Александров.

— Наш. Уральский, — с гордостью ответил Иван Иванович.

— Очень интересный. Очень, — заговорил и Николай Кораблев, уже мило посматривая на Александрова, раскаиваясь в своем неприязненном чувстве, которое у него появилось было к нему, и видя теперь в Александрове только все хорошее. — Очень интересный человек, — и еще проще добавил: — Ну вот, Степан Николаевич... так ведь, кажется, ваше имя и отчество? Так вот, Степан Николаевич, это работают люди-строители, то есть люди в нашей системе, а теперь давайте посмотрим тех, кто работает в системе завода. Посмотрите. У вас глаз острый и опытный, чему я очень рад...

Здание, где монтировался котел мощностью на сто тысяч киловатт, было высотой метров на шестьдесят. Тут работала бригада Ахметдинова. Люди разбросались всюду — одни подтягивали огромные стальные балки, другие, забравшись на самую высоту, прицепясь, как пауки, занимались электросваркой, третьи клепали рубашку котла, а вон на высоте шестидесяти

метров, почти под самой крышей, появился Ахметдинов. Он пробежал по балке.

— Ух ты, какой бесстрашный, — проговорил Иван Иванович, задирая голову. — Смотрите-ка, опять бежит. Зачем это ему так?

Рабочий, находящийся тут же, неподалеку от них, сказал:

— Это наш бригадир, Ахметдинов. Он у нас, как кошка. Впрочем, головой куда умнее ног своих. Молодец, честное же словушко.

— А вы с ним давно работаете? — спросил Иван Иванович.

— С самого того дня, как война случилась. Мы уральские. Из Златоуста. Ух, который мы уже котел монтируем, как орехи грызем, — и, сказав «орехи», рабочий икнул, как бы чем-то подавясь, затем погладил рукой горло, потом грудь и, бледнея, проговорил: — Есть хочется... Вот ведь как хочется, — и, еще более бледнея, не желая этого, жалко улыбаясь, присел на пол, бормоча: — Вот ведь сила-то какая в ей — в голодухе, — и так заикал, как будто из него вытягивали все внутренности.

— Эй! Кто там есть! — позвал Иван Иванович, кидаясь к нему.

Откуда-то со стороны выскочил Петр Завитухин. Как бы радуясь тому, что случилось, он закричал на всю котельню:

— Во! Во! Лошадь не покорми — и та взбесится! Во!

Рабочие-монтажники ссыпались со всех сторон, сами такие же бледные, изможденные, сурово посматривая на своего товарища... И кто-то из них сказал:

— Ну, Сергей, — опять заикал. Ты продержись малость. На всех на нас позор наводишь. Не ты один жрать-то хочешь.

А Петр Завитухин, налезая на Николая Кораблева, вытянув губы, пожевывая ими и держа в руке тяжелый молоток, выпалил:

— Что? Сами-то, поди-ка, жарено-парено жрете? А-а-а? Не слышите, лошадь, говорю, не покорми — и та взбесится.

— Ну! Ну! — вдруг закричали на него рабочие-монтажники. — Мы не лошади. Эй! Ты! Пустое-то не мели.

Сверху сбежал Ахметдинов. Идя к Николаю Кораблеву, он скособочился, выставив вперед квадратное плечо, так, как будто собирался пойти в бой.

— Здравствуйте, — неожиданно мягко заговорил он. — Здравствуйте. Помогайте нам, пожалуйста. Ребята мои такие — все могут. Да-а. В Сибири мы монтаж строили. Ой, как строили. Весело. А тут — кушать нет, спать нет. День покушал, два не покушал. Воздух глотай, как лягушка. Да-а? — и болезненно засмеялся.

Все три инженера переглянулись.

Николай Кораблев, обращаясь к Ивану Ивановичу, сказал:

— Нам надо от Рукавишникова забрать монтаж.

— Ну вот еще! Монтаж котла отобрать, потом придется нам и станки расставлять, моторы выпускать, а Рукавишников снова демагогию будет разводить, как сегодня. — Иван Иванович гневно посмотрел на Кораблева. — Милостивый вы уж очень.

— Вы подумайте, Иван Иванович, к сроку котел не будет смонтирован, и мы с вами останемся без электроэнергии, так что уж лучше Рукавишников с демагогией, а мы с электроэнергией.

— Разве мы плохой народ? Да-а? Иван Иванович. Разве мы забыли, как надо работать? Да-а? Иван Иванович. — Ахметдинов говорил, и сильные пальцы на его руках дрожали. — Почему ваши рабочие кушают, наши не кушают? Кто дал такое распоряжение? Никто не дал такое распоряжение.

Совсем в стороне от них стоял человек. Шея у него была закутана пестрыми тряпками, на руках вместо варежек порванные чулки, на ногах стоптанные валенки. Он стоял чуть в стороне, стыдясь подойти к инженерам. Первый на него обратил внимание Александров. Он долго всматривался в него, и человек под его взглядом все горбился. Александров, обращаясь к Ахметдинову, тихо проговорил:

— Простите, не ошибаюсь ли я? Это ведь инженер Лалыкин?

— Совершенно верно, — ответил Ахметдинов.

Тогда Александров, раскинув руки, пошел к человеку, говоря:

— Александр Александрович! Вы ли? Милый, да что с вами? Родной мой! Что же это вы?

Лалыкин поднял голову и посмотрел на Александрова слезящимися глазами:

— Не нахожу слов. Мне все кажется: то, что происходит со мной, происходит во сне.

— Да что с вами? Что вы так опустились?

— Сбили. Из круга выбили. Рукавишников. И вот я, как рядовой, работаю тут. — Лалыкин жалко улыбнулся. — Ах, если бы меня вытряхнули на чужом заводе, ну хотя бы у Форда, Круппа, я сцепил бы зубы и стал бы драться. А тут? На своем заводе...

Инженер Александров резко повернулся и, подойдя к Николаю Кораблеву и к Ивану Ивановичу, глухо проговорил:

— Все надо перевести. Все. Так я думаю. Вы — как хотите. Но я буду это защищать в наркомате, — вдруг с визгом выкрикнул он. — И если понадобится, дойду до Совнаркома. Надо все передать в ваши руки, — и обнял Лалыкина. — Ну, ничего. Ничего, голубчик. Поправимся. Все поправится, — и по доброте своего сердца сказал то, что не следовало бы говорить: — Конечно, вам жену надо выписать: вас ведь теперь надо отпаривать. Она у вас где? В Москве?

Лалыкин еще больше осунулся:

— Там... жена... По ту сторону... с дочкой. Может, и в живых уже нет.

«А у него то же, что и у меня», — подумал Николай Кораблев, и с этой минуты Лалыкин стал ему както еще родней.

8

Николай Кораблев все время находился в состоянии мучительного ожидания. Когда он шел с работы на квартиру, то ощутимо представлял себе, что там, на столе, лежит телеграмма или письмо от Татьяны... и, подходя к домику, он начинал радостно улыбаться,

затем крупным шагом вбегал в комнату, смотрел... и сразу, непомерно устав, садился в кресло.

— Нету. Нету, — зная, что он ищет глазами на столе, говорила Надя, и губы у нее дрожали.

Вот и сегодня, распростившись с Александровым, непомерно устав за эти дни, он направился к себе на квартиру, намереваясь хоть часок отдохнуть... и то же чувство радостной надежды снова вспыхнуло в нем. И он, не желая спугнуть это радостное ожидание, шел к домику намеренно медленным шагом. А подойдя к крыльцу, взял в уголке березовый веник и стал так же медленно сбивать с бурок сухой, серебристый на солнце снег. Ударив раз, он остановился, забыв, о чем думал, и тут же вспомнил:

«Ах, да-да. Этот Александров... В сущности, он чудесный человек. Но ему поручили в наркомате: «Не вмешиваться, а выяснить». Вот он и не вмешивается, а выясняет. А ведь как хорошо-то — буран победили! Да. Да. Этот Рукавишников... Удивительно! Ведь был же доволен, что станки разгрузили, рабочих накормили, одели... а тут, на заседании, нате-ка вам!» Он еще раз ударил веником по бурке и через согнутую руку посмотрел вдаль на гору Ай-Тулак. Она вся серебрилась на солнце — могучая, сильная, уходя высокой верхушкой в голубое небо. — «Чем виноват Рукавишников? Ему поручили завод, а завод для него тяжел, как вот эта гора... А как все-таки чудесно жить на земле. И эта война... Если бы не она, как бы мы замечательно жили!» Николай Кораблев махнул веником по второй бурке и тут же почувствовал, как кто-то чем-то тупым ударил его по голове. Падая, совсем еще не понимая, почему его руки воткнулись в сугроб, он вскинул было правую руку, вцепился в доску крыльца, но рука непослушно скользнула и снова сунулась в снег. И только тут, как-то туманно, он что-то понял. Понял и вскрикнул:

— Таня! Танюша! Да помоги же!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Приближалась весна...

Снега в полях посинели, зарозовели леса, наливаясь жизненными соками. Но зима еще держалась крепко: прилетели было первые птицы весны — грачи, но, пошатавшись несколько дней по унавоженным дорогам, вдруг поднялись и улетели куда-то южней.

После их отлета в Ливне стало еще тоскливей: грачи принесли с собой какую-то надежду. Какую? Жители даже сами не знали. Но то, что грачи заковыляли по дорогам, кланяясь на обе стороны, обрадовало ливнянцев, а тут снова всеми овладело чувство бездомности... Странно это было. Ведь в Ливне как будто ничего не изменилось. Ганс Кох даже не разогнал колхоз, не тронул и сельский совет, только во главе совета поставил старосту Митьку Мамина. Он ничего не тронул. Даже не сменил директора школы, однорукого учителя Чебурашкина. Одно только существенное сделал Ганс Кох — отобрал у всех коров, овец, свиней, вырвал из семей трудоспособных... И люди за двести граммов хлеба с утра и до позднего вечера долбили мерзлую землю, обнося село противотанковым рвом.

— Сатанинская линия: большую могилку роют, — загадочно произносил Ермолай Агапов и вместе со всеми долбил мерзлую землю.

С «богомолья» он вернулся совсем недавно. Встретившись с Татьяной на опушке леса, он рассказал ей о том, как ему удалось пробраться в Брянские леса и как там живут партизаны.

— Настоящие войска... и генералы есть. Сила. Те, у кого струна терпения лопнула, пробились туда. Этих по жилкам тяни — не пикнут. А под Москвой-то, слыхала, как врага стукнули? Ну, это еще только мизинцем, а вот Сталин кулак соберет, да прямо по сопатке паршивой, да со всего размаху, чтобы в мокрое место превратить морду бандитскую, да и другим наказ дать — не лезь на советский народ.

Переполненный такой верой, он теперь ходил по улицам, гордо неся голову, и при встрече с Гансом Кохом еле заметно кивал, как будто тот был не завоеватель, а просто навязчивый знакомый, с которым хочется порвать знакомство, но еще нет случая. И только однажды, истощенный голодовкой, он, подумав, сказал Татьяне:

— Стар уж я. Душой молодой, да тело не слушается, особо сердце. Могу споткнуться... тогда ты держись учителя Чебурашкина. Одно скажи ему: «На опушку за ягодами, мол, приходи». И придет. Ну как, листовочки-то принесла?

Татьяна по заказу Ермолая Агапова готовила маленькие листовки, и он всякий раз поправлял ее.

— Слова должны быть как острый топор, а у тебя — нежности.

— Да ведь так очень грубо, — возражала Татьяна.

— Грубо? Разве когда гадину убивают, нежные слова ищут?

2

— Вот они где все у меня, — притопывая кованым каблуком сапога, хвастался перед Татьяной Ганс Кох. — И уверяю вас, мы с вами скоро будем в Баку. Ах, Баку! Это есть океан нефти. Может быть, мне после окончательной победы взять промысел? Ох, нет, нет! Я открою в Берлине ювелирный магазин. Вы представляете? Самый чистый, самый доходный. Я стою за прилавком. Я торгую. Со всех сторон сыплются деньги. Деньги, деньги, деньги! Они сыплются, как дождь, как Ниагарский водопад. — Он смолкал и хо-

дил по комнате, как будто что-то взвешивая внутри себя, затем произносил: — Я окончил гуманитарный университет. А когда окончил, спросил: «Ну, что я теперь буду делать?» Мне ответили: «Ты, Ганс, будешь торговать на углу кипяченой водой». — «Нет, — ответил я. — Я стану музыкантом». Но тут пришел Гитлер и сказал: «Ерунда. Самая большая музыка, Ганс, это всадить нож в тело врага и вертеть, вертеть... Ты, Ганс, должен стать военным, и ты завоюешь весь мир, и ты будешь богат». — «О-о, — я сказал, — это верно». И стал военный.

Татьяна бледнела, как бледнеет человек, неожиданно натолкнувшись в лесу на волка, и в ужасе думала:

«Вот так возьмут они моего Виктора и скажут: «Самая большая музыка — нож». Долой все — науку, искусство. «Самая большая музыка — нож».

А Ганс Кох, увлеченный, продолжал:

— Нет. Нож — еще не музыка. Золото — музыка. За золото можно убивать. Можно, — резким движением он выдвигал ящики большого старинного письменного стола и, подняв руки, как бы обнимая весь мир, вскрикивал: — Смотрите. Это золото! Это платина! Это есть музыка!

Татьяна стояла как застывшая, и только одним глазом видела: в ящиках, аккуратно разобранные, лежали золотые, платиновые коронки зубов, кольца и часы всех видов, — и в ней поднималась тошнота такая же, как если бы она видела отрубленные человеческие пальцы. А Ганс Кох вдохновенно хвастался, пересыпая в ладонях коронки:

— Это музыка. Двадцать восемь таких посылок я отправил под Берлин своей маме...

Татьяна еле держалась на ногах.

«Да. Да, — думала она. — Насвистывая фокс-марш, он повесил Егора Панкратьевича, а потом снял с его зубов платиновые коронки... под фокс-марш он вешает, убивает... во имя... во имя зубных коронок. Так вот кто пришел в Европу. Но что же делать? Что? Что? Что? Убить? Мне его убить? — она невольно выставляла свою тонкую, с сильными пальцами руку и,

глянув на нее, содрогалась. — Вот этой рукой... убить?»

А Гансу Коху казалось, что она взволнована его словами, и он, налив себе стакан рому, умиленно ловя ее взгляд, произносил:

— За нашу единую цель?

— Да. За нашу единую цель, — еле слышно отвечала она, не глядя на него, вкладывая в эти слова совсем другой смысл, вспоминая при этом Ермолая Агапова, и уходила в комнату сына.

Тут Мария Петровна встречала ее суровым взглядом.

— Ах, мама, мама, — только и произносила Татьяна, упрекая ее за такие глаза, и склонялась над кроваткой сына.

Виктор снова болел. Он хорошо кушал, спал, но, несмотря на это, весь вытянулся, похудел и, глядя на всех, казалось, говорил:

— Да что же это вы безобразничаете?

Ходить он начал сразу. Как-то на-днях Мария Петровна поставила его на ножонки и, отпустив, протянув к нему руки, сказала:

— А ну, топ-топ, сыночек.

И он пошел, косо ступая пятками, а у дивана со всего ходу сел и снова потянулся, улыбаясь, как бы говоря:

— «Вот я какой герой».

3

Все у Ганса Коха шло блестяще...

Но вот кто-то в лунную, холодную ночь убил Митьку Мамина. Убил топором в затылок, привязал к столбу виселицы, на которой когда-то Ганс Кох повесил Егора Панкратьевича Елова. На грудь Митьке пришпилили кусок бересты с надписью: «Полюбуйтесь-ка на своего кутенка, проклятые»...

Однажды в Ливню зимним вечером забежал бешеный волк. Весть об этом молниеносно разнеслась по селу и подняла всех на ноги. Люди выскакивали из

изб, слыша, как то в одном, то в другом конце раздавались крики: «Батюшки! Спасите-е-е!» И мужики, вооружившись вилами, топорами, решили убить зверя. Но волк в темноте шел тихо. Из тьмы ночи он кидался и на тех, кто был вооружен. Только на заре он был убит.

Как радостно тогда вздохнуло село...

Такой же радостный вздох пронесся по всему селу сегодня утром, когда ливнянцы узнали, что убит Митька Мамин. Но тогда все вышли, чтобы посмотреть на убитого зверя. Теперь же люди забились в хаты... и только один человек, Савелий Раков, топтался около виселицы. Он вообще стал каким-то другим: отрастил длинные волосы, ходил грязный, заявляя: «В святые хочу попасть». Вот такой растрепанный, похожий на сумасшедшего, он топтался около виселицы и кричал на все село:

— А-а-а! Что натворили? А-а-а! Богом избранную власть рушили!

Ганс Кох сразу почернел.

Поворачивая ногой Митьку Мамина, как дохлую собаку, он опытными глазами определил, что тот убит одним сильным ударом. Так убить не сможет ни женщина, ни тем более старик. На селе же остались только женщины да старики. Тогда кто же убил? Партизаны? Но не могли же они сами вот так просто явиться в село и убить... И лиловые следы фурункулов на лице Ганса Коха стали совсем медными, около губ легли резкие складки, глаза тревожно забегали, как у уголовника, которого ведут на казнь.

— Боже! Боже! — прошептал он, как бы сожалея о Митьке, но в сущности у него в эту минуту явилось одно томительное желание: как можно скорее удрать в Германию. Да. Да. Хотя бы пешком. Удрать в Германию, в Берлин, открыть ювелирный магазин и увезти Татьяну.

Он не мог поступить с Татьяной так же грубо, как он поступал со всеми русскими женщинами, считая их «солдатской добычей» и «низшей расой». С тех пор как Татьяна пригрозила покинуть дом, он стал ее побаиваться, и в то же время у него появилось то самое

чувство, какое бывает у собственника, когда он зарится на какую-нибудь вещь, страстно желая приобрести ее в вечное пользование. Татьяна была красива, и Гансу Коху захотелось «иметь такую жену». Но она может покинуть дом, уйти к «высшему начальству» и тогда:

«Достанется другому, опять чином выше. Все достается только им», — с ненавистью думал он и шептал: — Нет. Она сама придет. Сама. Ведь я ей показал такое богатство. Какая женщина откажется от такого богатства? Двадцать восемь посылок. И еще сколько можно послать! Ведь война не кончена. А тут?

Ганс Кох сел на рыжий камень, глядя на труп Митьки Мамина, напряженно думая о том, кто же держит связь с партизанами. И ни на ком остановиться не мсг. Ведь все они при встрече с ним улыбаются ему, приветствуют его этим «чудесным русским обычаем», снимая шапки, кланяясь. Все! И особенно Савелий Раков. Этот всякий раз низко-низко, почти до земли, сгибается и умоляюще просит:

— Да переходите, ваше благородие, на жительство ко мне: спокой вам полный обеспечу. Я жену-то выселил к родне, и весь дом — вам. А то там, на отшибето, может что и стрястись.

— Кароший! Кароший! — отвечал ему Ганс Кох и не переходил к нему в дом только потому, что не был уверен, пойдет ли туда Татьяна.

И вот кто-то ворвался и нарушил все благополучие.

«Нет. Надо каждого испытать, как паука: если паука долго дразнить соломинкой, он обозлится», — решил Ганс Кох и, прихватив с собой двух солдат, остальным приказав быть начеку, пошел из хаты в хату.

4

И начал он с конца улицы — тщательно и педантично. Вызвав жителей хаты в переднюю комнату, он ставил их на колени — стариков, старух, ребятишек, калек — и пускал в ход свой излюбленный прием. Если

человек был конопат, он начинал издеваться над его веснушками; если у человека был велик нос или толстоваты губы, он начинал издеваться над этим, сравнивая человека или с верблюдом или со свиньей. Но вскоре Ганс Кох понял, что этим жителей не пронять. Тогда он перекинулся на другое — стал поносить Красную Армию. И люди каменели, опустив головы.

Ганс Кох вскакивал с табуретки, подлетал к людям, ударяя каждого кулаком под подбородок:

— Смотри мне прямо. Смотри!

Тогда человек чугунным, уничтожающим взглядом смотрел прямо в его с рыжими точками глаза.

— Ага! Партизан? — свирепо цедил Ганс Кох и отдавал солдатам приказание.

Солдаты выволакивали человека из хаты, затем, притащив к виселице, вздергивали его за руки, на той самой перекладине, где когда-то погиб Егор Панкратьевич. Подвешенный, ощущая невыносимую боль, некоторое время, сцепив зубы, молчал... Но боль перебарывала терпение, и человек, будь то старик, старуха или калека, прорывался пронзительными воплями. Так «преступники» висели час, два. Их снимали, а на их место вздергивали других...

В таком свирепом состоянии Ганс Кох и попал в хату к Ермолаю Агапову. Сын Ермолая Агапова находился в рядах Красной Армии, племянника угнали в Германию, в доме остались сноха Груша и тринадцатилетняя ее дочка Нина. Все это знал Ганс Кох. Знал он и о том, что старик при встрече с ним даже не улыбается, а так, поздоровавшись, гордо несет свою голову.

Сев на табуретку в передней комнате, он позвал старика. Тот слез с печки и, шлепая босыми ногами по чисто выструганным половицам, подошел, спросил:

— Всех, поди-ка, надо звать? — и сам позвал: — Груша! Нина! Идите-ка. Сейчас спектакль начнется! — И когда те вошли и встали в уголке, Ермолай Агапов, чуть-чуть склонив огромную облысевшую голову, сказал: — Ну! Завоеванные все налицо.

Ганс Кох некоторое время раскачивался на табуретке, не отрывая взгляда от больших глаз Ермолая

Агапова. И все было бы ничего — упади тот на колени или даже с ненавистью посмотри на немца, но в глазах у Ермолая Агапова блеснула насмешка победителя. Ганс Кох дрогнул. Дрожь прошла с головы до пят. И так же, как иногда вор, убегая от преследователей, кидается с обрыва, лишь бы не попасть в их руки, — так же кинулся к выходу Ганс Кох; страх гнал его куда-то прочь. Но тут же, боясь, что Ермолай Агапов настигнет его, он круто повернулся и со всего размаху ударил кулаком старика по лицу.

Нина пронзительно вскрикнула, метнулась на Ганса Коха и слабенькими пальцами впилась ему в шею. Тот оттолкнул ее, хотел было тоже ударить по лицу, но она отскочила и, забившись в угол, держа сжатые кулачонки на груди, затопала ногами:

— Не трогай! Дедуню не трогай! Пес!

Ермолай Агапов поощрительно глянул на свою внучку, спокойно вытер кровь на губах и грубовато сказал:

— Нинка! Цыц! — и повернулся к Гансу Коху. — Полагается человеку знать, за что бьешь? Али у тебя уж рука к тому привыкла? — и та же самая насмешка победителя мелькнула в его глазах. Эта насмешка вдруг подняла его над Гансом Кохом, вызвав в том смертельную дрожь. Чтобы скрыть эту смертельную дрожь, тот закричал:

— На колени-и-и!

Старик так же спокойно ответил:

— Зря стараешься: на колени меня сроду никто не ставил, хотя охотников было много.

Ганс Кох что-то тихо, но настойчиво сказал солдатам. Те моментально повалили старика на пол, запрокинули голову... Ни Ермолай Агапов, ни сноха Груша, ни, тем более, тоненькая и слабенькая Нина — никто из них не ждал того страшного, что случилось в ту же минуту. Старик думал, они хотят его так же, как и многих, подвесить на перекладине. Это будет больно, он знал.

«Но лучше перетерпеть виселицу, чем кланяться палачу», — подумал он и покорно, даже не сопротивляясь, подставил руки солдатам.

И в этот миг один из солдат выхватил нож-финку, другой разжал зубы Ермолаю ручкой револьвера, а первый солдат вытянул изо рта старика язык и чиркнул по нему финкой...

И все жители села видели, как по улице, обливаясь кровью, захлебываясь, взмахивая одной рукой, а другой держась за лицо, что-то мыча, пробежал Ермолай Агапов. Добежав до базарной площади, он упал на почерневшую от навоза дорогу. Несколько раз дернулся огромным телом... и застыл...

Село ахнуло, застонало. Люди попрятались по погребам, по ригам, в подполья, в подвалы, иные наточили топоры, вилы. Село как бы вымерло... и только ночью люди выходили из своих укрытий и, глядя в темное, бездонное небо, обращаясь в сторону Москвы, мысленно кричали:

«Да где же вы — наши воины, наши командиры?»

5

Татьяна перебежала через плотину в улицу, где посредине мерзлой, унавоженной дороги, распластавшись, лежал Ермолай Агапов. Она забыла обо всем — и о том, что к Ермолаю Агапову запрещено подходить, и о том, что теперь Ганс Кох за такое самовольство обрушится на нее, и о том, что она выдает себя с головой: она в этот час вела себя так же, как ведет мать, узнав, что сын ее врагами убит и брошен.

— Деда! Деда! — еле слышно проговорила она, давясь от слез, опускаясь на землю, больно ударяясь коленкой о мерзлую кочку.

Ермолай Агапов лежал вверх лицом, раскинув руки. Самотканная рубашка с расстегнутым воротом, кисти рук, лицо — все было залито кровью. Недалеко от него на виселице, подвешенные за руки, кричали три старухи. В крике одной слышалось волжское — окающее, напоминающее Николая Кораблева.

«Ох! Что тут с нами делают, Коля», — мелькнуло у Татьяны, и она, достав блокнот, черный карандаш, вглядываясь в лицо Ермолая Агапова, занесла было

руку над бумагой, но рука бессильно опустилась: Татьяне показалось, что зарисовать вот сейчас Ермолая Агапова — такое же кощунство, как рисовать человека в тот момент, когда его вздергивают на виселицу. И она зарыдала, приговаривая: — Ах, деда, деда!

Грубый окрик солдата остановил ее. Она дрогнула, поднялась, выпрямилась и пошла, сопровождаемая солдатом. Она видела, как в окнах хат мелькали глаза, с любопытством и страхом глядящие на нее, и еще она чувствовала, что идет, так же твердо ступая по земле, как ходил Ермолай Агапов.

«Он свою силу и веру передал мне», — с радостью подумала она и остановилась на плотине.

Солдат ее подтолкнул, ударив прикладом в плечо, и она снова пошла, уже видя, как через окно каменного дома на нее смотрит Ганс Кох.

Ганс Кох смотрел на нее, заложив руки за поясницу, намереваясь, как только она войдет в комнату, так сразу же и свалить ее ударом кулака.

— Эти русские... эти русские, — цедил он сквозь зубы. — Я ее буду бить, бить, бить, а потом я ее буду иметь, как проститутку, — и он шагнул навстречу грохоту солдатских сапог.

Татьяна вошла. Солдат вытянулся, намереваясь доложить о ее поступке. Ганс Кох, не вынимая рук из-за спины, шагнул к ней. Она побледнела.

«Да, сейчас конец», — решила она, и смертельный ужас охватил ее всю. Но она вдруг неожиданно улыбнулась, затем лицо ее перекосилось в гневе, и она, прежде чем Ганс Кох успел вымолвить хотя бы слово, строго произнесла: — Почему? Почему ваш солдат не дает мне зарисовать того, кто лежит там на дороге? Разве я, доступная бывать в вашей комнате, недоступная бывать там? — и тут же подумала: «Что за нелепое слово я произношу — «доступная»?

Тогда Ганс Кох всю свою злобу обрушил на солдата:

— Ведь ты знаешь, что она живет здесь... она... А ну, пошел вон, — и, взяв Татьяну под руку, он подвел ее к столу, говоря: — Это поощряется. Это, на-

оборот, поощряется. Вы рисуйте, а потом это продадим... Берлин. Большие марки. Я вам могу показать целый капиталь, — он пошарил в кармане, достал ключи, нанизанные на серебряное колечко, затем подошел к чемоданам. Чемоданы стояли в углу, один на другом — горкой. Сняв верхний, он осторожно поставил его, затем снял второй, третий, четвертый; пятый чемодан он открыл и вынул оттуда альбом, аккуратно завернутый в пергаментную бумагу. Развернув и положив альбом на стол, он, весь расцветая, как торгаш старинными вещами, проговорил, путая русские и немецкие слова: — Подивитесь, тут целый капиталь.

На первой странице были изображены виселицы и люди, повешенные на перекладинах. Это были не просто случайные снимки. Нет. Тут был заснят весь процесс. Вот человеку объявляют, что он будет повешен. Вот связывают ему руки. Вот его подвели к виселице. Вот его вздернули.

Ганс Кох уверенно произносил, тыча пальцем в ту или иную фотокарточку:

— Триста марок. Наверняка. Четыреста марок. Наверняка. Но это не уникум. Вот тут есть уникум, — дрожащими пальцами он перелистал альбом и показал «уникум»: женщину отрывают от детей, вот ее ведут на допрос, вот она идет с допроса, вот два солдата стаскивают с нее кофточку... и вот она уже лежит с вырезанной правой грудью... Закинув голову, она широко открыла рот, и по всему этому видно, как страшно она кричит... — Это... это... это уникум — редкость, — захлебываясь, произносит Ганс Кох. — Это уникум... Это десять — двадцать тысяч марок. Ого! И это вот есть уникум. Этот нож, — он вынул из стола финку и, показывая ее Татьяне, продолжал: — Этим ножом вырезали язык старику. Ого!

«Убить! Убить! Убить!» — стучало в голове у Татьяны, и она, улыбаясь губами, боясь, что улыбка у нее фальшивая и выдает ее, торопливо проговорила: — Знаете что, я на вашем месте не подвешивала бы людей за руки. Это ни к чему хорошему не приведет:

население обозлится на вас. Ведь собаку вашу уже отравили. И вы прекратите это... и надо тоньше.

— Это верно. Благодарю. Надо тоньше, — неожиданно согласился он.

— А хотите, я вам помогу, — и Татьяна снова побледнела, глядя в расширенные, вопросительные глаза Ганса Коха. — Я узнаю, кто против вас, кто убил вашего старосту. Я все узнаю. Только не мешайте мне.

— О-о-о! — воскликнул он, понимая, что она идет к нему, и в знак согласия отвесил большой поклон.

А Татьяна заспешила:

— Только еще... еще... дайте мне этот нож: ведь я не вооружена... и на меня могут напасть.

Ганс Кох, взяв в руки нож и глядя на него, несколько секунд колебался. Татьяне показалось, что он догадывается, зачем она просит нож... и она даже отступила на шаг от стола. Ганс Кох еще несколько секунд вертел в руках нож.

— Если бы видели... если бы были свидетели, тогда этот нож был бы невероятный уникум. Но свидетелей не было, — как бы рассуждая о ценности ножа, проговорил Ганс Кох и, подавая его Татьяне, добавил: — Возьмите... в знак нашей дружбы, — и крикнул: — Пауль!

В комнату вошел Пауль Леблан — рыжий, веснущатый и губастый парень. Этот рыжий губастый парень появился на селе почти в тот самый день, когда вернулся от партизан Ермолай Агапов. И теперь он выполнял при Гансе Кохе роль денщика: убирал за ним постель, чистил сапоги, подавал обед и всегда ходил за своим начальником — вялый, медлительный, похожий на дворовую собачонку, которая всегда кусает молча.

— Пауль, — сказал Ганс Кох. — Мы прекращаем музыку... и поди скажи солдату Генриху, чтобы он неотлучно следил за хатой Ермолая Агапова.

А к вечеру, увидав опущенные глаза ливнянцев, Ганс Кох свел всех солдат в избу Савелия Ракова, назначив последнего старостой, на что тот сразу согласился.

Поселившись в домике Савелия, выставив в дверях два пулемета, солдаты потребовали «водька». И Савелий, этот бородатый, сильный старик, стал то и дело с мешком бегать на склад, таская водку, мясо, откармливая немцев, как на убой. Когда он, возбужденный и потный, перебегал улицу, неся что-нибудь в мешке, то все, кто встречался с ним, отворачивались, и только один — учитель Чебурашкин, его крестник, всякий раз говорил:

— Служишь?

— А чего же? — дерзко отвечал тот. — Всяк свою шкуру спасает.

— Так ты сегодня рюмочкой помяни Митьку Мамина.

— Помяну. Помяну, крестничек, — так же дерзко кидал Савелий.

Убедившись в том, что Савелий окончательно предался немцам, учитель Чебурашкин шепнул односельчанам:

— Точите топоры... за Ермолая Агапова, — и сам приготовил топор на своего крестного Савелия Ракова.

6

Нинка — маленькая, хрупкая — заболела. Она по ночам то и дело звала «дедуню», а днем сидела на сундуке, не отвечая на вопросы матери, не принимая пищи. Мать Груша, по совету учителя Чебурашкина, решила отпаивать ее молоком. Но молока достать было очень трудно. На селе осталось всего шесть коров, и те находились или во дворе совхоза, в распоряжении Ганса Коха, или у солдат — во дворе Савелия Ракова, и мать Груша умоляла:

— Доченька, крошечка моя. Да ты хоть капустки поешь. Поешь, миленькая. Я вот когда тобой ходила, так капустки хотела... и ела ее — капустку. И ты поешь, родненькая моя.

И однажды, ранним утром, Груша нашла на завалинке своей хаты бутылку, наполненную молоком.

Сегодня она, как и каждое утро, но только чуточку пораньше, вышла из хаты и тут неожиданно столкнулась с женщиной, закутанной в шаль. Женщина кинула было бутылку на завалинку и побежала. Но Груша схватила ее за рукав и, сдавленно плача, вскрикнула:

— Родная! Родная моя!

Женщина остановилась, смахнула с головы шаль. При бледном утреннем свете Груша увидела красивое лицо, серые глаза, высокий лоб. Она даже отшатнулась, затем снова прильнула к женщине, не зная, что ей сказать. И Татьяна, сама вся дрожа, сказала:

— Поите ее молоком... Да вот еще, — и, достав что-то из кармана, подала Груше. — Это порошки. По два порошка в день давайте Ниночке, — и в горле у нее заклокотало. Переборов слезы, она тихо произнесла: — Не обижайтесь на меня и не думайте обо мне плохо. А про это, — показала она на бутылочку, — никому не говорите. Одно скажите всем — я такая же, как и вы: у меня мать и сын.

И они обе — две матери — долго стояли друг перед другом, не зная, что еще сказать. Татьяна пошла, снова кутаясь в шаль. Груша рванулась к ней, остановила, посмотрела ей в лицо и почему-то с хрипотой произнесла:

— Дай-ка... Давай-ка... Поцелуемся, родная моя...

После этого, сразу поверив Груше, Татьяна, оглядываясь по сторонам, шепнула:

— Будьте осторожны: за вами следят. И еще — прошу передать учителю Чебурашкину, чтобы приходил сегодня на опушку за ягодами, — и, увидав недоуменный взгляд Груши, добавила: — Да. Да. Так и скажите — и только ему одному.

На опушке леса, у старого пня, она просидела больше часа, дрожа от холодного ветра, поджидая учителя Чебурашкина. И он пришел. Он долго молча всматривался в нее — однорукий, худенький, затем вдруг неожиданно быстро и громко заговорил:

— Обезглавили нас, ума опытного лишили. Теперь

мы как пароходишко без руля: замотает нас буря по океану.

И Татьяна поняла, что это совсем другой человек, не то, что Ермолай Агапов. Поняв это, она уверенно сказала:

— Народ — не пароходишко, а океан. Кохи разные — пароходишки.

— Сладко сказано, — все так же быстро, внятно, будто на уроке в классе, выпалил Чебурашкин и похлопал себя по боку отнятой по локоть рукой. — Сладко сказано, как в сказке. Впрочем, я в это верю и сболтнул для испытания. — И тут же: — Ну, а что будем делать?

Татьяна, подумав, сказала:

— От нас ушел тот, кто знал путь к партизанам. Нам надо это восстановить и готовить людей. Да. Готовить, — решительно подчеркнула она. — Не то людей могут измотать, обессилить... Он... тот... — она кивнула в сторону дома, где жил Ганс Кох, — все и делает для того, чтобы люди обессилели: в каждой хате хочет поставить гроб... С кем вы связаны?

Чебурашкин тоже подумал: «Сказать ли?» — и не сразу:

— Вот так же... одиночки, — сказал он, еще не доверяя Татьяне. — Но узлы крепко завязаны в каждой улице, будьте уверены, и дорожка к партизанам известна мне, — добавил он, чтобы Татьяна не «пала духом», и снова, чуть подумав: — А вы зачем живете в том доме?

«Сказать? Нет. Подожду», — решила Татьяна и проговорила тихо: — Задание имею от Ермолая Агапова.

— Угу. Не буду донимать. Но... но, значит, об этом передать узлам?

— И... и не думайте, — Татьяна даже перепугалась.

— Тогда имейте в виду, народ вас ненавидит, как, например, и Савелия Ракова; я бы сам ему отрубил башку, несмотря на то, что он мой крестный.

Татьяна болезненно искривила губы:

— Незаслуженно это — ненависть ко мне, но придется все равно до поры до времени молчать: потом народ мне простит, — и с тоской подумала: «А как я выполню то, что поручил мне Ермолай?» — и охнула так, что Чебурашкин, все поняв, перестал ее донимать.

7

Нина стала поправляться. Но тут ею овладела вдруг мысль:

— Напишу папе письмо, — то и дело говорила она.

— Я те напишу, — резко, перейдя от ласки к грубости, пригрозила мать. — Я те голову-то оторву. Вишь чего придумала. А ну-ка, он перехватит? Что будет? Да и куда ты пошлешь?

Но Нине просто хотелось поговорить с отцом. Она встала ночью, украдкой от матери, прихватила с собой коптилку, бумагу, карандаш, забралась в темный угол конюшни, пристроившись у пустой колоды, начала писать письмо отцу.

«Папенька, — писала она. — Ты и знать не можешь, как искалечили нашу жизнь. Дедуне нашему язык отрезали, и он помер. Лежит на улице вот уж который день, и немцы не дают его нам».

В темноте через ее плечо к письму протянулась рука с толстыми волосатыми пальцами. Нина повернулась и в ужасе застыла: перед ней стоял вооруженный солдат Генрих. Он вытащил ее из конюшни и, бьющуюся, поволок через село к Гансу Коху. За ним, в ночной тьме, бежала мать Груша и молила:

— Да ведь ребенок! По глупости она! Ребенок ведь еще!

Ганс Кох вместе с солдатами спустился в подвал, в тот самый, где совсем недавно Егор Панкратьевич и Савелий Раков сберегали в зимнее время цветы. Теперь подвал превратился в камеру пыток: стены

были забрызганы кровью, изрешечены пулями, банки с редкими цветами разбросаны, потоптаны, разбиты.

Еле разобрав письмо Нины, Ганс Кох обрадованно воскликнул:

— Ого! Партизаны? И где есть партизан? — он тяжело посмотрел в синие глаза Нины, затем медленно подошел к ней и рывком ущипнул за щеку.

Нина кинулась в сторону и налетела на немецкого солдата. Тот отбросил ее к Гансу Коху, как мяч. Ганс Кох засмеялся... и это парализовало Нину.

Ее щипали, били, выпытывая у нее о партизанах. Но она ничего не знала и только вскрикивала:

— Мама! Мамочка! Мама!

Ганс Кох приказал ее раздеть. Она еще совсем не походила на женщину. И когда она увидела, что на нее со всех сторон смотрят масляно-липкие глаза с незнакомым, непонятным ей, пугающим ее выражением, она не только ужаснулась, но и смутилась. Смутилась и, невольно прикрывая руками свои еле пробивающиеся груди, защищаясь от этих пакостных глаз, присела на пол.

Ганс Кох сказал:

— Пауль Леблан. Ты сегодня имеешь счастье обладать этой девочкой. Нет, не здесь. Здесь бы кто не согласился. А там. На площади.

Пауль Леблан по-солдатски вытянулся и покраснел, затем просительно заговорил о том, что он готов служить Гансу Коху, но у него нет опыта, а вот солдат Генрих уже не первый раз свершает такое и он заслужил.

— Ах, да, да, — воскликнул Ганс Кох. — Солдат Генрих заслужил — это его награда. Надо быть справедливым.

Солдат Генрих стоял тут же. Он походил на откормленного, глупого вола.

А у дверей подвала билась Груша, обессиленным голосом выкрикивая одно и то же:

— Ребенок ведь! По глупости она! Ребенок ведь!

8

К вечеру все жители села были согнаны на базарную площадь, где стояла виселица и где на прочерневшей от навоза дороге все еще лежал старик Ермолай Агапов. Рядом с виселицей было построено нечто похожее на лобное место. И когда всех жителей села — стариков, старух, калек, женщин с грудными детьми — согнали на площадь, из подвала вышли Ганс Кох и несколько солдат. Солдаты несли кого-то, завернутого в одеяло. Рассекая толпу, они все прошли на лобное место. Ганс Кох подал команду. Солдаты, вооруженные автоматами, выкатили на лобное место два пулемета, а Савелий Раков по приказанию Ганса Коха крикнул:

— Сказано, не расходиться. Кто будет удирать, в того из пулемета. Вот что... — и запнулся, как бы чем-то подавясь.

— А-а-а! — тихо вырвалось из толпы. — Ежа бы тебе в глотку поганую втиснуть.

Ганс Кох снова что-то сказал своим солдатам. Те быстро развернули одеяло. Из одеяла выскользнула, как рыбка, в сереньком платьице Нина. Она села на нестроганные доски лобного места, протерла глаза тонкими пальцами, недоуменно посмотрела на все стороны, еще ничего не понимая, и вдруг вскочила, прикрывая лицо руками.

— Ага! Птишка, — усмехнулся Ганс Кох и что-то настойчиво предложил Савелию Ракову.

Тот, давясь, хватаясь рукой за горло, весь красный, будто вымазанный кровью, обращаясь к своим односельчанам, промямлил:

— Наказание... Значит, как наказание значит. Это... ну, вот это... Значит. Солдат Генрих, значит.

Четко отбивая шаг, на подмостки вышел грузный, похожий на откормленного и глупого вола солдат Генрих... Нина закричала пронзительно, тоненько:

— Мама-а-а! Мамочка-а-а! Где ты-ы?

— Тут я. Тут, Нинок, — ответила мать из толпы и запрыгала на одной ноге, как бы собираясь вспорхнуть и куда-то улететь.

А люди, уже не боясь пулеметов, хлынули во все стороны, унося детей своих от звериного бесчинства...

Ганс Кох выстрелил — прямо в лицо Ниночки.

9

Все это видела Татьяна. Она через окно большого каменного старинного дома видела всю площадь, людей, лобное место. Иногда она забывалась, как забывается человек в тяжелой болезни, и ей казалось, что все это страшный кошмар, возврат куда-то в далекое, дикое... А когда приходила в себя, то ей хотелось вскочить на подоконник и кричать, кричать:

— Люди! Да что же вы? Вас так много. Да как же это вы допускаете? Да вы же можете растерзать их — этих зверей с чужой земли, — но она знала, что если она так крикнет, то сейчас же застрочат пулеметы, тупо глядящие своими дулами на людей. И вся сжималась, шепча: «Но что же это? Вот какой шквал надвигается на нашу страну! На нашу страну! На нашу страну! Но где она, наша страна? Разве это она? И Савелий Раков. Сколько раз он бывал у своих односельчан и, наверное, не раз сидел с ними за одним столом, называл их своими братьями... Да что же случилось? Как же это Савелий стал служить тем — чужим? Все уничтожается. Все. Честность, братство. И все это делают они — вот эти вооруженные звери. И оставаться с ними? Выполнять то, что приказывают они? Ах, «ювелирный магазин», «любезный Татьян». Проклятие! Проклятие! Нет! Не ждать! Ни единой минуты не ждать», — она посмотрела вдаль. Далеко за сосновым бором уже по-весеннему закатывалось багровое солнце. Лучи солнца скользили по верхушкам деревьев и, вонзаясь в небо, заливали его такими лиловыми яркими красками, что от них невозможно было оторвать глаз. — Мир живет. Мир принадлежит человеку, — проговорила Татьяна и вдруг почувствовала, что в ней родилось что-то такое, что руководило теми, кто шел на каторгу, на виселицу, под расстрел за лучшие человеческие мечты. — Да,

да, — проговорила она. — Вот когда я должна свершить то — большое, человеческое, — она шагнула к кровати, вынула из-под ковра нож-финку.

Осмотрев нож, она снова спрятала его и вошла в другую комнату, где у кровати Виктора сидела Мария Петровна, теперь еще более молчаливая. Склонившись над сыном, Татьяна поцеловала его и, не глядя на мать, сказала твердо, требующе:

— Мама. Ты можешь для меня сделать одно дело?

— А что тебе?

— Мама, — продолжала, уже бледнея, Татьяна. — Я больше не могу. Не могу-у. И ты уходи. Ты возьми Виктора и ступай вон туда — к лесу. Ступай и жди меня. И если я не приду к тебе сегодня ночью, значит ты меня не жди. А ступай. Иди и иди. Иди в другие села. Скажи, что ты крестьянка. И донеси... мама, я тебя прошу... донеси Виктора до Николая...

Мать по тону дочери поняла, что та решилась на что-то неотвратимое, от чего ее отговорить нельзя, и тихо произнесла:

— Хорошо! Уйду! И буду ждать. Уходить надо из этого вертепа. Может, тебе помочь?

— Да! Да! Дай мне халат!

Мать принесла халат. Татьяна сбросила с себя жакет и, морщась, надела халат, собрала волосы в пучок, как перед сном, затем вошла в комнату Егора Панкратьевича и легла в постель, где постоянно спал Ганс Кох.

— Ложусь, как в гроб, — и, чуть погодя: — Я очень хочу жить, мама. Очень, — и снова, чуть погодя, о чем-то думая: — И ты картину мою «Днепр» возьми, мама. А мне... мне дай там в моей комнате под ковром нож. Дай, мама.

Мать, тоже бледнея, трясущимися руками достала из-под ковра нож-финку и протянула его дочери. Но та слабо сказала:

— Под голову, мама, — и еще тише добавила: — Ну вот. Зажги свет. Все лампочки зажги, — и, глянув во двор, видя, как из-под горы, освещенный фо-

нарем, идет Ганс Кох, она заторопилась: — Ну. Ну. Мама. Ступай! Поцелуй меня и ступай.

Мария Петровна поцеловала ее сухими, горячими губами и вышла.

Татьяна слышала, как мать защелкала выключателями в комнатах, потом она что-то проговорила, уже неся на руках закутанного Виктора. Подойдя к Татьяне, она, еще раз поцеловав ее, шепнула:

— Его поцелуй... Смотри не разбуди.

А когда Татьяна поцеловала Виктора, мать сказала:

— Дочка моя... Доченька... Я жду тебя, — и скрылась.

10

В квартиру вместе с Паулем Лебланом вошел Ганс Кох. Увидев всюду зажженный свет, он, возбужденный еще событиями дня, воскликнул:

— О-о-о! Какой иллюминаций. Торжество есть! Так и должно быть: победителя следует встречать как победителя. Это извечно, — крупным шагом он прошел в комнату Егора Панкратьевича и, увидя в постели Татьяну, стих, чуть попятился, пробормотал изумленно-довольно:

— О-о-о! Благодарю вас, — затем на каблуках повернулся к Паулю Леблану, что-то шепнул ему, тот быстро скрылся, а Ганс Кох пружинистой походкой, как бы боясь спугнуть Татьяну, прошел в угол, сбросил с себя одежду и, шлепая босыми ногами, направился к постели.

Он только и успел сказать:

— О-о-о! Королева моя!

Татьяна, увидав очень близко от себя широко расставленные, блудливо горящие глаза, вся изогнулась и, молниеносно выхватив из-под подушки нож, ударила Ганса Коха в шею. Ударила, повернула, чувствуя только одно: как нож вошел во что-то липкое, как мокрый торф.

Ганс Кох вскрикнул и, хватаясь обеими руками за шею, упал на Татьяну, обливая ее кровью. С силой

она оттолкнула его, и он, падая, стукнулся головой об пол. Татьяна вскочила, намереваясь еще и еще раз ударить его ножом, но тут на голову Ганса Коха опустился тяжелый, дубовый бельевой валек. Татьяна дрогнула. Повернулась. Рядом с ней стояла Мария Петровна. Мать тихо сказала:

— Сбрасывай. Халат-то с себя сбрасывай... да и вытрись им.

11

На лестнице послышались тяжелые шаги. Обе женщины кинулись в свою комнату, к кроватке Виктора, и застыли. Тяжелые шаги поднялись выше. Уже слышно, как хрустят о каменные плиты подковки. Дверь скрипнула. Вошел, держа наготове браунинг, Пауль Леблан. Он мрачно посмотрел на женщин, затем перевел взгляд на спальню... и шагнул туда. Тут на полу, залитый кровью, с зияющей раной в шее и раздробленной головой, широко разбросив жирные в икрах ноги, лежал Ганс Кох. Пауль Леблан спрятал браунинг в кобуру и крупным, четким шагом, как бы выполняя задание, вышел из квартиры.

Две женщины несколько секунд стояли молча. Они друг другу говорили только глазами. Глаза Татьяны упрекали мать:

— Ну вот, ты не ушла, и теперь мы все погибли.

Глаза матери ответили:

— Дочка моя, да разве я могу тебя оставить одну?

В коридоре раздался стук жести, как будто кто-то ударил самоварной трубой о стенку. Затем дверь снова открылась, и на пороге появился все тот же Пауль Леблан. Две женщины было шагнули навстречу ему — молча, упрямо. Одна держала в руке нож-финку, другая — бельевой окровавленный валек. Пауль Леблан остановился, выставил вперед бидон и недоуменно посмотрел на них. Затем болезненно улыбнулся и шагнул в спальню. И обе женщины от порога видели, как он начал из бидона плескать ке-

росином на стены, на постель, на Ганса Коха. Потом отыскал в кармане зажигалку, чиркнул, поднес огонек к керосину... Все вспыхнуло — густо, дымно. Пауль Леблан выскочил из спальни, схватив руку Татьяны, целуя ее, произнес:

— Я убил бы его и вас, если бы вы пошли к нему. Вы не пошли, и я целую вашу руку, как руку своей матери.

— А-а, будь проклята и ваша мать! — Татьяна вскинула нож, намереваясь им ударить и этого губастого рыжего парня.

Он отскочил... и вдруг раздельно, окая, выкрикнул:

— Постойте, — и смутился, весь сжался, уже говоря по-немецки. — Я ведь по крови француз. Я из Эльзас-Лотарингии, — как-то виновато закончил он и заторопился: — Собирайтесь. Нам надо бежать, пока солдаты пьяны. Они перепились у Савелия Ракова. Пойдемте... И прошу вас, больше меня ни о чем не расспрашивайте.

12

Татьяна взяла сверток картины «Днепр», мать — сонного Виктора, Пауль Леблан — узелки с одежонкой. И они втроем, видя, как из спальни валит густой, черный дым, выбежали из дома.

Перебегая через плотину, они все трое невольно обернулись, глядя на белый старинный, с колоннами, дом. Он, залитый светом, казалось, дремал, как дремлет при электрическом свете птица в клетке. Но они знали, что внутри дома бушует пламя, и заспешили, намереваясь пересечь село, чтобы скрыться в сосновом бору. Дойдя до конца плотины, они резко остановились: на конце улицы, совсем недалеко от совхоза, в небо вырвалось клокочущее пламя. Пламя, осветив темное небо, сделало его глубоким, багряным и тревожным. Затем послышались крики. И по всем улицам побежали люди, вооруженные топорами, вилами, лопатами.

Горела хата Савелия Ракова. И люди бежали со

всех концов села, чтобы тушить пожар, но тут они увидели что-то непонятное и странное: окна хаты были снаружи приперты дубовыми кольями, как и дверь, а на крыше стоял залитый пламенем Савелий Раков. Высокий, с всклокоченной бородой, вздымая вверх руки, он раскланивался во все стороны и кричал натужно, изо всех сил:

— Народ! Прости! Прости за окаянные поклоны. Злость свою несусветную поклонами прикрывал. Прости меня, народ, за лжу такую. А за убиение Митьки Мамина прощения не прошу: из мертвых поднимусь — опять таких убивать буду.

Пламя затрещало, крыша рухнула, и огонь поглотил бородатого мужика, Савелия Петровича Ракова, бывшего кучера Егора Панкратьевича Елова.

— Вечная память тебе, святой ты человек, — крикнул из толпы старичок Елкин, и тогда последняя струна терпения у жителей Ливни лопнула.

— Красного петуха подо все село, — скомандовал Чебурашкин и сам первый кинулся к пожарищу, выхватил огромную, пылающую головню и подпалил свой домик с причудливыми завитушками на карнизе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Жителям Ливни казалось, что самое страшное произошло именно у них, что в других селах люди живут, как и полагается им жить, — там ведь нет такого зверя, как Ганс Кох. Так думали все, хотя однорукий учитель Чебурашкин предупредил:

— Путь будем держать на Брянские леса.

Вначале, когда они вышли из своего села, охваченного со всех сторон пламенем, так и решили — тронуться за Чебурашкиным в какие угодно леса, но когда начали уставать, да и пожарище осталось где-то позади, всеми овладела тоска по своим насиженным местам, по родным тропам, огородам, полям, а от

неведомых Брянских лесов повеяло жутью, как от непроглядной темной ночи. Тут каждый про себя сказал:

«Ты, учитель, конечно, с образованием, не то, что мы. Однако ступай себе в Брянские леса, а мы уж как-нибудь здесь поблизости переждем. У знакомых, родных. Найдутся, чай».

Так они и шли, хлюпая ногами в весенней грязи, зная, что село покинули все — старики, старухи, дети, женщины с грудными младенцами и что в их среде теперь только свои, сродненные одной бедой и одним желанием уйти из-под ненавистного гитлеровского гнета. Но как только чуть рассвело, они вдруг обнаружили чужого губастого парня Леблана. Сначала перепуганные, они шарахнулись от него, как от змеи, но тут же, не договариваясь, оставляя в стороне детей, престарелых, хватая по пути палки, комья земли, камни, двинулись на него, издавая гудение, похожее на приближение градовой тучи.

Татьяна, прижимая к себе сынишку, решительно выступила, загораживая Леблана:

— Разве вы можете убить меня? — тихо, с укором произнесла она.

Люди приостановились: перед ними стояла русская женщина, та самая, которую когда-то приютил у себя Егор Панкратьевич Елов и которая последнее время жила в доме вместе с тем — Гансом Кохом... Замешательство длилось несколько секунд. Несколько секунд Татьяна смотрела на людей, видя их серые, измученные лица, ненависть в глазах и готовность сейчас же растерзать ее вместе с сыном за те мучения, издевки и унижения, какие они испытали при Гансе Кохе.

«Умереть от них... вот от этих родных рук?» — и она начала отыскивать в толпе Чебурашкина, тут же вспомнив, что он еще затемно ушел, чтобы проверить мост через реку. — «Но ведь есть еще Груша Агапова», — и Татьяна нашла ее — та стояла рядом с какой-то женщиной и подпрыгивала, как бы собираясь куда-то улететь. — «Да ведь она с ума сошла», — в смертельном ужасе подумала Татьяна и, вся

скованная этим чувством, отклонилась, наталкиваясь на Леблана.

Из толпы выскочил старичок Елкин — желтенький, пухленький, словно только что появившийся на свет утенок.

— А кто ты есть, чтобы тебя не убивать? Кто? Ну?

— Я? Я жила в квартире Егора Панкратьевича Елова, — проговорила Татьяна, спохватываясь, что именно этого и не следовало бы говорить: толпа глухо загудела, а Елкин взвизгнул:

— Ага! С теми — с собаками? Мало с собаками жила, теперь еще кобеля за собой ведешь?

— Но ведь я убила Ганса Коха, — необычно звонким голосом крикнула Татьяна.

Елкин вскинул палку, метя в лицо Татьяне. — Бей! Чего там!

Между ними встала Мария Петровна. Сильная, немного выше старичка Елкина, она отмахнулась от него, как от осы:

— Кш ты, безумец. Она убила немца-то. А вот этот парень поджег. Ну? Чего же тебе еще?

— Стервятники! Истинный бог, стервятники. Бей в мою голову! — И Елкин замахнулся палкой уже на Марию Петровну.

Руку старика отвел подбежавший Чебурашкин:

— Постой-ка. Бить-то легко, да ведь надо разобраться, — и повернулся ко всем. — Слыхали вы, покойный Ермолай Агапов сказывал: «Женщина эта чистой души»? Не слыхали? А я слыхал и подтверждаю: немца она сегодня ночью убила, а этот парень облил его керосином и поджег.

Люди опустили руки, отбрасывая прочь палки, комья, камни, и все уставились на Татьяну, и та вдруг выросла в их глазах: стала даже как-то больше, выше и родней. Кто-то тихо проговорил:

— Главного пса угробила.

— Ну, спасибо тебе и от нас и от детей наших. — Васена, огромная женщина, жена Савелия Ракова, подошла к Татьяне и положила сверху обе руки на ее плечи. — А мой-то умер... Накануне забежал ко мне,

сказал: «Васена, не кори меня: может, сегодня, а то после народ по мне слезу прольет». А я и не чуяла, чего он задумал, — и Васена тихо заплакала.

Старик Елкин тоже опустил палку, затем тихонечко выронил ее и, обращаясь к Чебурашкину, показывая на Пауля Леблана, неуверенно произнес:

— Оплошку не свершашь, учитель? Не собачья ли кровь в нем: кто свистнет, к тому и бежит, — и Елкин снова было закипел.

Но глаза у людей уже повлажнели. Васена подошла к Леблану и, трогая его, как предмет, заговорила с ним на ломаном русском языке, думая, что он так скорее ее поймет:

— Матка у тебя е? Матка — мамаша? А-а? Такая вот — у-у-у. В зыбке тебя, чорта, качала. А-а?

Леблан, как бы ничего не понимая, будто глухонемой, улыбнулся и, глядя на Татьяну, которая перевела ему слова Васены, торопливо и обрадованно ответил:

— Матка? О-о-о! Е.

— Ну вот, милый, — постукивая его в грудь пальцем, поучительно подхватил Елкин. — Думает она, поди-ка, куда загнали моего парня. Гитлеришка ваш, поди-ка, об этом не думает, а мать думает. Непременно.

Леблан что-то зло выкрикнул. Татьяна сказала:

— Он говорит, что Красная Армия скоро выпустит Гитлеру кишки.

— Вот те на! — Елкин хлопнул ладошами и ко всем: — Гитлеришка завоевал местность нашу, а его вояка кричит: «Гитлеру скорю кишки долой!» — и, повернувшись к Леблану, намеренно сердито топая на него: — Да как же ты, сукин сын, можешь слова такие? А-а-а?

Татьяна снова перевела слова Леблана:

— Он из Эльзас-Лотарингии. Сын крестьянина и любит так же землю, как любите вы ее.

— Ух ты, сукин кот! — удивленно и восхищенно воскликнул Елкин и, покрутив головой, повел Леблана, показывая на поля, местами уже совсем освобожденные от снега. — Это есть наша с тобой, милый мой,

жизня вечная — земля. Что бы мы с тобой без земли? Трубочисты. А кто ее топчет? Кто ее кровью поливает? Кто Ермолаю Агапову язык вырезал? Ведь Ермолай Агапов — это был чистый, как слеза младенца. Ай тот же Савелий, — Елкин круто повернулся и, тыча обеими руками в грудь Леблана, закричал:

— Что есть Савелий Раков? Ни одного человека за границей нет в таком переплете. Такого только русская земля могла сродить, — и со слезой, с дрожью, обращаясь уже ко всем: — Свято за нас пострадал. Свято: дескать, не они немцев-то убили, а я — Савелий... и сгорю в огне, а вам, собакам, в руки не дамся... ищи меня в пепле. Это ведь, родные мои, и есть высшее величие души.

2

Солнце уже палило по-весеннему, играя переливами в потоках на синеватом снегу, разжиженном и пыхтящем, как тесто в квашне. И освобождалась земля от зимнего покрова, развалясь под горячим весенним солнцем, как крепкая, румянощекая мать.

Земля пела свои песни и звала к себе пахаря, обещая ему за его тяжелый труд великий урожай... и назрели почки на деревьях... и где-то на проталинах уже курлыкали тетерева, созывая сереньких самок... Казалось, ничто в мире не изменилось: все так же обнажались от снега бугры, возвышенности, все так же раскисали дороги. Все так же, как и в прошлом году, как много-много лет тому назад. Только на сердце у людей было другое: в их жизнь ворвался зверь, и зверь растоптал все, что было добыто мирным, честным трудом, зверь кинулся на родину.

Родина!

Вот отец берет тебя на руки, еще маленького, голопузого, и, подбрасывая, говорит:

— Какой мужик растет!

Вот мать берет тебя на руки и, прижимая к себе, любовно сдавливая пальцами твой розовый ротик, говорит:

— Какая девка растет!

И растут миллионы по городам, по селам — сыны и дочери своей родины.

Как будешь ты теперь расти, и как будет тебя на руках подбрасывать отец-раб, и как будет тебя прижимать к себе мать-рабыня?

Родина-мать!

Вот они, обширнейшие поля чернозема. Эти поля когда-то были порезаны полосками... и сколько вражды, сколько слез было пролито на этих полосках. Это ведь мы, первые в мире, свели полоски в обширные поля и навсегда стерли вражду между собой. А разве можно забыть, какие песни распевались? Ведь ты слышишь... слышишь ты — откуда-то из-за опушки несется победный напев комбайна и где-то на бугорке урчит трактор. Ведь и трактор и комбайн тебе прислал рабочий с одной мыслью — украсить твою жизнь... и какие длинные обозы золотистого зерна ты отправил в город рабочему: «На! Я добрый за твою доброту».

И вот это рухнуло: неметчина, и ты ее раб.

И люди шли перелесками, вдоль разлившейся реки, по направлению к селу Воскресенскому, уверяя себя, что там их примут, приласкают и вместе с ними поплачут над их горем.

Вон уже показались семь дубков — «Семь братьев». Там, за этими «Семью братьями», в долине лежит базарное село Воскресенское. Там оно. Там это красивое село... И каждый стал припоминать, кто из знакомых, из родни живет в этом селе. И у каждого такие находились.

Вот и «Семь братьев» — могучие богатыри. Сколько раз, возвращаясь с базара в Ливню, под тенью этих дубков отдыхали люди. И сейчас хорошо было бы под ними отдохнуть. Но отяжелевшие ноги все двигаются, двигаются.

Перевалили через бугор. Перешли дубки... и все разом замерли: в долине, где когда-то красовалось базарное село Воскресенское, торчали полуразрушенные трубы печей, обгорелые стволы берез, поблескивали на солнце развалины кирпича, камня... да еще гулял вольный ветер, вздымая легкую золу.

Люди несколько минут стояли молча, не понимая, где они, куда попали.

— Вот оно, — нарушая мертвую тишину, сказал старичок Елкин. — Село-то, Воскресенское-то, — и смолк.

Молчали люди. Они долго, напряженно вглядывались в развалины села, отыскивая места, где жили их знакомые, родные, затем перевели взгляд на Чебурашкина, с него на пройденный путь и снова на развалины села. И тут все увидели, как из березовой рощи пролетели три скворца, серенькие, еще тощие от дальнего пути. Скворцы ведь всегда летят с юга на свои насиженные, постоянные места. Вот и эти пронеслись над жителями села Ливня, опустились низко к земле и сели на обгорелый ствол березы. Сели и недоуменно повели головками. Где-то тут их постоянные, насиженные места — скворешни, так заботливо построенные руками ребят.

— И-и-и-их, ты-ы-ы! — по-женски завопил Елкин. — Скворцам, и то негде жить.

Следом за Елкиным заплакала какая-то женщина, потом еще, еще и вдруг вся толпа зарыдала, будто на нее неожиданно хлынул горячий поток. Скворцы, вспугнутые плачем, сорвались с обгорелого ствола березы, взвились и скрылись далеко за рощей.

Татьяна посмотрела на свою мать, в самую глубину ее больших, умных глаз, глаз крестьянки из Кичкаса, хата которой тоже, очевидно, предана огню, и, поняв всю скорбь матери своей, она, повернувшись к Леблану, сказала:

— Вы видите, Пауль? Вы крестьянский сын и хорошо понимаете, что значит для крестьянина хата.

Леблан тоже плакал. Губы у него еще больше распухли, отвисли. Потрясая кулаком, он прокричал:

— Душить надо!

Люди оборвали плач, услышав чужой и столь противный уже для них говор, повернулись к Леблану, и глаза у всех загорелись злой ненавистью. Елкин кинулся к нему, размахивая перед его толстыми губами старческим, сморщенным кулачком:

— Чего ты кричишь? А-а? Клади на ладонь. Сей же минут клади на ладонь.

— Он крикнул: «Душить надо», — ответила Татьяна.

Елкин даже подпрыгнул, наскакивая на Леблана.

— Кого душить? Кого, сатанинская кровь? Вот этих душить? Их уж нету. В могилке они. В земле сырой.

Его оттащили, а он все выл:

— Двух сыновей моих задушили. Я их кормил, поил, растил. Одного агрономом вывел — гордость моя. Другого слесарем — гордость моя. А их задушили. Хари. Мерзкие хари. Гитлеришка твой.

Леблан, размазывая слезы на лице, показывая вдаль, все что-то говорил и говорил, убеждая Елкина. Тогда Татьяна снова перевела:

— Он уверяет, что там дальше, по реке, все так же выжжено, все села, города, поэтому надо направляться в Брянские леса, к партизанам. Он обещает провести нас. А тут по реке и немцев нет и никого нет. Пустыня.

3

И они все повернули к Брянским лесам.

— До самого Сталина, Иосифа Виссарионовича, дойдем — нате-ка вам, — ободрял Елкин, перебегая от одной группы односельчан к другой. — Дойдем, и все страдания наши, как из мешка, перед ним высыплем. Гляди, вождь наш дорогой, до чего умаяли нас фашисты — здорового пятнышка на душе не осталось.

Потом разговор обрывался, и люди шли молча. Они шли и день и два, бросая по дороге сковородки, ухваты, самовары, лишнюю одежонку, оставляя при себе только необходимое, но это как будто не облегчало, а отяжеляло их: ведь каждая брошенная вещь была добыта трудом — чистым и благородным, каждая вещь была своя, родная, к ней привыкли, и казалась она живой. Люди шли, впав в тяжелое уныние... Тогда снова выступил Елкин. Перебегая от

группы к группе, взмахивая ручками, он, сам уже бессильный, натужно выкрикивал:

— И дойдем! Нате-ка вам. И нам скажут: герои вы. Мужик-крестьянин — он что? Он на лапте море переплывет. Нате-ка вам!

Вначале это утешало, но потом слова Елкина перестали действовать. Он переметнулся на другое, затянул было одну, потом другую песенку. Но песни не подхватывали. На третий день пути глаза у людей запали, ноги одеревенели, дети плакали все чаще, матери стали раздраженней, старики совсем согнулись. Чебурашкин, сам весь измотанный, опасался одного, что люди на каком-нибудь перевале присядут, да так и не встанут. И они шли по растворожевным весенними потоками дорогам, часто переправляясь вброд через холодные, жгучие ручьи. Они прошли уже километров девяносто, не встречая на своем пути ни деревень, ни сел, ни хуторов... только пожарища и поля, перелески. И все понимали, что дальше так не выдержат, особенно старики, дети, — ведь они не имеют возможности даже разжечь костер, чтобы согреться, просушиться: разжечь костры — это значит привлечь немцев.

Только на четвертый день, рано утром, они у края леса увидели небольшое село. Встретить! Кого-нибудь бы из своих, живых встретить — такая мысль билась у каждого... И они встретили: посредине улицы стояла виселица из свежих берез, а на ней покачивались подвешенные за руки четыре женщины. Были они разные. Одна совсем еще молодая, другая старуха с распущенными седыми волосами, третья тоже старая, с сережками в ушах, а четвертая — девчушка.

— О господи, — вскрикнул кто-то, и люди рассыпались по хатам.

В хатах жителей не оказалось, но двери были не заперты, да и домашние вещи лежали по своим местам: на вешалках висела одежонка — шапки, полушубки, пиджаки, шали, картузы, в печах еще тлели угли, на шестках стояла посуда, а на некоторых столах — весьма скудная пища. Все говорило о том, что

жители в какой-то спешке выбежали из хат и не вернулись. На все это было смотреть так же страшно, как на гроб, внесенный и неизвестно зачем поставленный на стол. С селом произошла какая-то загадочная история, но людям, прошедшим такой дальний и тяжелый путь, было совсем не до того, чтобы узнавать историю села: они набросились на остатки скудной пищи, раздули угли в печах и, раздевшись, повеся одежонку сушиться, как кто где прилег, так и заснули.

4

Татьяна, Виктор, Мария Петровна, Леблан, Чебурашкин, Васена, жена Савелия Ракова, и еще несколько человек очутились в чистом доме. Дом этот, судя по предметам домашнего обихода и по небольшой библиотечке, видимо принадлежал местному агроному. Здесь так же, как и в каждой хате, все было на своих местах, а на столе — плошка с картошкой в мундире, соль, ломти черного хлеба, а в краюхе торчал нож.

Мария Петровна сказала:

— В могилку вроде влезли, — и, сбросив с себя мокрое пальто, она тут же растопила печку, нагрела горячей воды, поставила самовар и, выйдя из кухни, сказала, ни к кому не обращаясь: — Хозяева на нас не обидятся, если узнают, что мы тут домовничали. Дай-ка мне Витюшку-то.

Мария Петровна за эти дни вся вытянулась, а глаза ее с желтоватым блеском стали еще больше... и Виктор, не узнав ее, к ней не пошел. Он прижался к матери и впервые сказал:

— В квакатку.

Это обрадовало и Татьяну и Марию Петровну. Мария Петровна всплеснула руками, нагнулась над ним.

— Ох ты, милый мой, заговорил. В кроватку захотел. Миленький ты мой.

Напившись кипятку, наевшись картошки и черного с примесью суррогата хлеба, все повеселели,

Чебурашкин оказался забавным рассказчиком. Сбросив с себя пеструю куртку, сидя за столом в одной синей рубашке, он походил на деревенского парня.

— А то еще, — говорил он, взмахивая обрубком левой руки, точно гусь поломанным крылом, — как, например, меня родные обучали выбиваться в люди. В четырнадцатом году я наперекор отцу и матери поступил в учительскую семинарию. До этого работал у одного купца и зашибал восемнадцать рублей в месяц. Это были деньги, скажу я вам. А тут — в семинарию. Ясно — отцу, матери досадно. Ну, поступил. И вдруг призыв на военную службу. Еду прощаться с родными. Крестная моя, — сказав это, он посмотрел в угол хаты, где, привалясь к сундуку, спала Васена, — обругала меня, конечно: «Вот, проболтался где-то два года, это по восемнадцати целковых в месяц — сколько потерял». Мать напекла блинов, отец достал где-то выпить. Собрались родные. Выпили, поели, потом еще выпили, поели... и начался разговор. Крестная моя вот как вытерла губы рукой и ко мне:

— Мишка, пойдешь в солдаты, норови в денщики пробиться.

Я улыбнулся.

Она на меня:

— Ты морду-то не гни. Вон у Елены Коляжихиной сын денщиком в Сибири, намеднись матери трешницу прислал. Оно, конечно, там нелегко: иной раз офицерик тебя по морде смажет, да тебе что — первый раз, что ль, тебя бьют, утрись и все. Зато он жрет помаленьку, офицерик, ты после него с тарелок-то лям-лям — и сыт.

За столом грохнул хохот. Смеялись все, в том числе и Леблан. Он смеялся так, будто все понимал. И Татьяна, порою вглядываясь в него, думала:

— Видимо, есть что-то такое родное между людьми: не зная языка, они понимают друг друга, — и снова смотрела только на Чебурашкина.

А Чебурашкин, вместе со всеми насмеявшись, продолжал:

— Тут же за столом сидел и мой дядя Ермолай. Он даже весь затрясся и — к моему отцу:

— Ваня, я твово сына люблю. Сноровный парень. А только враз ведь можно кальеру его сломать. Эко что присоветовала — в денщики.

Крестная кинулась на него, он на нее, перешиб и мне выложил:

— Нет уж, Мишка, если хочешь пробиваться в люди, так норови в жандармы. Вон у нас на станции жандарм какой. Пузо во-о, шея во-о. Оденет белы перчатки и ходит. Как увидит безбилетника, цоп его, мешок себе, ему по затылку. За день-то мешков десять наберет. А она — в денщики, лям-лям.

И снова за столом грохнул хохот.

— Да-а, — продолжал Чебурашкин. — И пошло. Крестная кинулась на дядю Ермолая, доказывая свое, тот свое. Но тут вмешался Савелий — двоюродный брат моего отца. Высокий, сильный, светловолосый.

— Что там денщик? — кричал он, перебивая всех. — Что там жандарм? Нет уж, ежели по этому пути шагать, то надо пробиваться в тюремные надзиратели — вот куда. Да постойте вы. Дайте мне свой присовет высказать. Мишка! Держи ухо востро. Что есть надзиратель тюремный? В тюрьме, допустим, сидит пятьсот человек. Пятьсот посылок в неделю есть? Есть. Так? Посылка, допустим, десять фунтов. Надзиратель восемь себе, два арестанту. Жалуйся. Куда? Дом себе в городе построил надзиратель один, знаю. С мезонином. А они — денщик, жандарм. Кусочники!

За столом стоял уже неугомонный хохот, а учитель Чебурашкин почему-то погрустнел и, когда хохот смолк, проговорил:

— А мать подошла ко мне и проговорила: «Мишка, живым только вернись».

Последние слова приглушили смех, а Татьяна, глядя в черные, цыганские глаза Чебурашкина, спросила:

— Ну, и живы они — родные ваши?

Губы у Чебурашкина побледнели:

— Были живы. Да только недавно дяде Ермолаю звери язык вырезали, Савелий на крыше сгорел, а крестная — вон она, — Чебурашкин показал на Васену. — Хорошо, что спит, не то всыпала бы мне за такой рассказ: не любит, когда напоминаю.

— А я и не сплю, Мишка, — у Васены из закрытых глаз сквозь редкие ресницы лились слезы. — Жрать мы хотели, — с перерывом, глотая слезы, проговорила она. — Другой день поешь, а другой и так ляжешь. Ну, а денщик каждый день жрет, вот и завидно, — она еще что-то хотела сказать, но замолчала, как замолчали и все, повернув головы к окну — на грохот.

Грохот шел откуда-то со стороны и с каждой секундой нарастал, как будто мощный трактор наползал на крышу дома. Потом послышались лающие крики, потом выстрелы. Люди за столом еще не успели сообразить, в чем дело, как перед окнами остановился тупорылый, весь раскрашенный танк. Он остановился и стал поводить во все стороны стволом пушки, как слон хоботом. С танка ссыпались немцы... и тут же к ним подскакали верховые.

5

Когда ствол страшилища повернулся на дом, из танка выбрался немецкий офицер, увешанный крестами, и что-то крикнул солдатам. Солдаты мигом соскочили с коней, как будто их сдунуло сильным ветром, и побежали по улице, беспорядочно стреляя из автоматов в окна, в двери, вообще куда попало. Дав распоряжение солдатам, офицер забрался в танк, и танк снова начал поводить стволом пушки, готовый в любую секунду харкнуть металлом.

Как только раздался гул танка, ливнянцы повскакали и снова все попадали, услыхав выстрелы. То же самое произошло и в доме, где находилась Татьяна. Услыхав звон разбитого стекла, Васена полубасом заголосила. Татьяна, крепко прижимая к себе Виктора, тоже упала на пол и посмотрела на Леблана, который, скрываясь за углом печи, наблюдал оттуда за тем, что происходило на улице.

— Пауль, — проговорила Татьяна, — вот теперь вы должны доказать, что вы честный человек, иначе вам никто, в том числе и я, никогда не поверит.

— А что я обязан сделать?

— Идите и объявите, что вы приехали сюда за хлебом, я ваш переводчик, а Чебурашкин... запомните, Чебурашкин... — староста.

— Хорошо, — сказал он и, бледнея, вышел.

На его место встала Татьяна, сообщив всем:

— Я сказала ему, что если он честный человек, он спасет нас.

Из-за угла печки Татьяне было видно, как Леблан побежал через улицу. Вот он взял под козырек и, четко отбивая шаг, как на параде, стал приближаться к танку. Подошел, вытянулся, что-то крикнул. Открылся люк, и показалась голова офицера. Лицо офицера еще совсем молодое, черненькие усики вздернуты, как будто кто-то в шутку чиркнул ему под носом сажей. Офицер передернул усиками, затем махнул рукой, и Пауль Леблан заговорил тише, а поэтому и понятнее, извиняясь перед офицером, что не смог его встретить как подобает, потому что отправлял всех жителей села в поле собирать снопы прошлогоднего урожая. Офицер, выслушав, сразу повеселел, выбрался из танка, прошелся, разминая ноги, как это делает человек, долго просидевший в кресле. Усики у него вздернулись еще выше и стали походить на два черненьких собачьих ушка.

— Едем бить этих... партизан. Убили Ганса Коха и солдат. Немецких солдат. Если бы румын или итальяшек, тогда не стоило бы рисковать. А то немцев, — проговорил офицер.

— Тут их нет, партизан. Даже не было, — ответил Леблан, все еще не отнимая руки от козырька.

— Это очень хорошо, — и офицер потребовал, чтобы к нему привели старосту.

6

Татьяна предупреждала Чебурашкина:

— Кланяйтесь. Пожалуйста, кланяйтесь. Кланяйтесь гадине, чтобы ее обмануть, а потом убить.

Чебурашкин вышел за Паулем Лебланом, следом за ними вышла и Татьяна. Чебурашкин, как только

выбрался за калитку, так тут же и начал кланяться офицеру. Сначала редко, потом все чаще и чаще, а подойдя к танку, заговорил громко и даже визгливо:

— Все в порядке, ваше высокое... благородие.

Офицер, не понимая русского языка, брезгливо посмотрел на Чебурашкина, затем, глянув на Татьяну, прищелкнул каблуками и заулыбался. Татьяна перевела:

— Староста говорит, что все в порядке, и называет вас «ваше благородие». Это по-русски очень высоко.

— О-о-о! Молодец! А вы кто? — обратился офицер к Татьяне и, не выслушав ответа, кинулся к танку со словами: — Свиньи! Свиньи! Не люблю я их. Каждый русский — три партизана.

По улице солдаты, подталкивая автоматами, гнали жителей села Ливня. Люди шли с ревом, с плачем.

— Русский человек, — крикнул уже из люка, обращаясь к Татьяне, офицер. — Русские — это микробы: бьешь, бьешь, а они все появляются. И зачем столько людей в России?

— О да, — в тон ему ответила Татьяна. — И главное, сами бьют. Слыхали мы, — сдерживая внутреннюю дрожь, проговорила она, — убили Ганса Коха и солдат. Вот как.

— Да. Да, — печально подтвердил офицер и, подав знак солдатам, чтобы те следовали за ним, еле касаясь козырька, поклонился Татьяне.

Танк заворчал, круто развернулся и, грохоча, пополз вдоль улицы, разгоняя людей. За танком поскакали конники, разбрызгивая во все стороны весеннюю жидкую грязь.

— Грязь — грязь — грязь, — проговорила Татьяна с такой злостью, что Чебурашкин схватил ее за руку и шепнул:

— А вы тише.

7

И они снова тронулись в путь.

Они шли и день и два, уверенные, что офицер на танке, узнав о том, что село Ливня сожжено, обязательно кинется в погоню за ними... И они спешили,

уставали, иные из них падали, умирали. Первым умер, неожиданно свернувшись у перелеска, старичок Елкин. До этого он все перебегал от группы к группе и ободрял:

— Держись! Держись, миляги, родня моя. Фит им. Не возьмут они нас голенькими-то. Я вот их топором-то по башке, — и, судорожно схватившись за сердце, он свернулся, как опаленная пламенем пичужка. Умирая, сказал: «Ну вот, тут и умру. На русской земле и русскими руками похороненный, а не как собака, брошенный в канаву».

Его похоронили около опушки. Чебурашкин на березовой коре написал: «Лежит тут великий муж Севастьян Егорович Елкин, житель села Ливня, от роду ему семьдесят шесть лет».

Следом за ним умерла и Васена.

— Сил нет дальше итти. К нему пойду, к Савелию, — сказала она и, подозвав к себе Чебурашкина, добавила: — Запомни, сынок, учила я тебя в люди выбиваться. Тогда что? Вот теперь выбиваться-то надо. Выбивайся и неси на плечах думу нашу туда — в Москву. Неси. Придешь на Красную площадь, встань на самое высокое место и крикни: «Народ! Все можно перетерпеть — и холод, и голод, а фашиста — нет». А теперь дай-ка я тебя поцелую, — и поцеловала своего крестника уже холодеющими губами.

Потом умерли двое ребят — маленькие, грудные. Потом умерла Груша Агапова. Она все подпрыгивала, словно собираясь куда-то улететь. Да так вот подпрыгнула, упала в грязь лицом, а когда ее подняли, она была уже мертва. Ее похоронили под дубком, и тот же Чебурашкин на березовой коре написал: «Тут лежит настоящая крестьянка Груша Агапова. От роду ей сорок лет».

Так они и шли — эти люди, обожженные страданиями. Они шли молча, еле волоча окаменевшие ноги, и смотрели только в одну сторону — туда, к Москве, к Брянским лесам. Туда же, к Москве, к Брянским лесам, смотрели и дети: видимо, и им, детям, передалось настроение взрослых, видимо, и они, дети, устали так же, как и взрослые. Виктор часто высво-

баюкал руку из-под шали, трогал мать за подбородок, требуя, чтобы она с ним говорила, и она говорила с ним:

— Скоро, скоро, Витенька. Скоро мы придем в леса, там ты отдохнешь. Там я тебе сварю кашку. Хорошо? Только ты потерпи немного...

И был он тяжел, этот маленький, родной Виктор: руки у Татьяны отнимались, а спина наливалась мучительно-тянущей болью.

8

К вечеру, на какой-то день — потому что они потеряли счет дням, — они подступили к заветной цели. Это было еще только начало Брянского бора: степи сменились перелесками, болотами, иногда кулигами могучих сосен, но и это обрадовало людей, и все кинулись разжигать костры, готовить варево, сушить одежонку.

— Надо бы сначала соединиться с партизанами. Тут осталось не так далеко, — сказал Татьяне Леблан.

Татьяна посмотрела на него. За эти дни лицо у него обросло щетинистой бородой, глаза запали, и светилась в них усталая доверчивость.

— Двадцать — тридцать километров, — добавил он... и Татьяне показалось, что он все это произнес на русском языке. Она даже как-то вся встрепенулась:

— Что вы сказали?

Он виновато заморгал и, как заика, выдавил по-немецки:

— Я сказал — осталось каких-нибудь двадцать — тридцать километров.

«А-а. Это я так привыкла к нему, и мне иногда кажется, что он говорит по-русски», — подумала она и вслух: — Но ведь люди-то очень устали.

— Я это вижу. Очень устали. Я только боюсь, что карательный отряд следует за нами. Я пойду туда и, если что, дам выстрел, — и он скрылся в лесу.

Татьяна хотела было передать этот разговор Чебурашкину, но его нигде не оказалось, да и другое увидела она: что никакие предупреждения не оторвут людей от костров, от пищи, от отдыха, и сама принялась готовить кашицу, внимательно наблюдая за ливнянцами. Странно, ведь они потеряли все — хаты, поля, родных, еще не добрались до безопасного места, но вон уже вполголоса смеются, а кто-то уже затянул песенку, и песенку все подхватили вполголоса: еще нет сил рвануть песнь так, чтобы она прокатилась по всему лесу.

«Это в них Ермолай Агапов», — думала Татьяна, глядя на людей, слушая песенку, смех, говор.

Так продолжалось час-два-три. Люди поели, разгрудили золу костров, наложили на золу веток сосны и уснули на ветках богатырским сном. Уснули Мария Петровна и Виктор. Не спала только Татьяна, хотя ей тоже очень хотелось прилечь и уснуть. Она смотрела на людей, на леса, на закат солнца и все думала — думала о себе, о Викторе, о матери... и о Николае Кораблеве. Иногда она улыбалась, глядя на свое порванное, грязное платье, на свои загрубевшие руки, говоря про себя:

«Как бы ты был удивлен, Коля, увидав меня такой... Я верю, мы обязательно с тобой встретимся, — и вдруг ей приходила страшная мысль: — А что, если мы с тобой никогда-никогда не встретимся? Никогда. Коля, Колюша мой! Никогда! Ты будешь жить по ту сторону, а я по эту. И мы никогда не встретимся», — ее бросало в жар. Она чувствовала, как все ее тело горит, сердце сжимается. «Нет! Нет, — произносила она. — Все это пройдет. Но знаешь что, Коля, вот ты когда-то мне говорил: «Самое ужасное на земле — это эксплоатация человека, безработица». Нет. Самое ужасное — это фашисты».

Так она просидела очень долго. Ее неудержимо стало клонить ко сну, и она собиралась прилечь, как на поляну из лесу вышел Чебурашкин. Он посмотрел на спящих людей, покачал головой и, увидев Татьяну, направился к ней и, как в комнате, где спят, тихо проговорил:

— Устал народ. Да-а. Устал, — и чуть подождав: — Пробиваться дальше нам будет трудно: впереди болото. Тянется оно километров на десять, а может, и больше — чорт его знает. Если бы лед был крепкий, мы прямо бы через болото: оно неширокое, с километр. Я пробовал. Почти добрался до той стороны. А там — леса. Там мы дома. Обходить болото? Не знаю. Надо исследовать, чтобы не мучить народ... Да-а. Не осталось ли у вас что-нибудь поесть?

Татьяна пододвинула к нему котелок с остатками каши. Чебурашкин жадно кинулся на кашицу, бормоча:

— Экую власть желудок имеет над человеком: так захотелось есть, готов был кору глодать. А где Пауль?

— Ушел туда, — Татьяна показала на пройденный путь и, видя, как глаза у Чебурашкина удивленно дрогнули, заторопилась: — Нет. Нет. Ничего дурного о нем не думайте. Он обеспокоен тем, что карательный отряд идет по нашим следам. Пошел разведать и в случае чего даст выстрел.

Чебурашкин скреб кашу в котелке так, что котелок трещал. И, кидая кашу с ложки в рот, бормотал что-то такое, чего сначала Татьяна никак не понимала.

— Да я о нем и не беспокоюсь, — бормотал он, давясь кашей. — Я-то его, пожалуй, лучше вас знаю. Да. А известно ли вам, что немцы мерзавцы еще и потому, что они у нас подорвали доверие друг к другу.

— Не понимаю.

— А как же? Мы ведь до войны-то жили на полном доверии — открыто. А вот теперь — и сказал бы, да язык иногда не ворочается.

— Это верно. Я ведь тоже вам не сказала, что мне Ермолай поручил убить того... мерзавца.

— Вот именно. Вот именно. И я молчу. Только думаю, стыдно мне будет перед вами, как на ту сторону переберемся: откроется дело, вы на меня и посмотрите с законным упреком.

— Я чувствую, вы что-то больше меня знаете о Леблане?

Чебурашкин чуть подождал, потом выпалил:

— Действительно. Знаю. Из Покровска парень. Знаете, на Волге, против Саратова, есть городок Покровск. Прислан партизанами, чтобы убить Коха. Ага! — воскликнул он, видя, как Татьяна обрадованно потянулась к нему. — Что-о? Вот вам и немец. А? Молодец?

— Да ведь он артист! Как играет! А впрочем, я иногда слышала, что он говорит по-русски... но мне казалось... Послушайте, а вы правду мне говорите?

Но Чебурашкин как наклонился на бок, так и уснул...

Солнце было на закате. Где-то закурлыкали тетерева. Через полянку пролетело несколько сереньких тетерок. Аккуратные, красивые, они сели на осину, несколько секунд сидели, напряженно к чему-то прислушиваясь, затем, услыхав курлыканье самцов, сорвались и, хлопая крыльями, стремительно понеслись на призывные крики. Протявкала лиса. Во время токования тетеревов лисы охотятся на них. И теперь она шла на их курлыканье.

— Подлая, — проговорила Татьяна. — Ведь вот и в природе бывают такие подлые, как немцы, — она вся передернулась. — И еще называют себя социалистами! Мерзавцы. — И она повернула голову на скрип сучьев.

Из березняка, торопясь, шел Леблан. Лицо его было покрыто потом, грудь вздымалась тяжело, по брызгам грязи на шинели было видно, что он бежал.

«Какой он милый!.. Какой он чудесный!» — Татьяна поднялась и протянула руки навстречу ему, намереваясь крикнуть: «Ну! Ну! Француз из Покровска», — но тут же спохватилась: «А ведь Чебурашкин не дал мне права открывать это», — и поэтому, опустив руки, она даже сурово проговорила:

— Вы что, Пауль?

— Они уже близко. Я видел конных разведчиков и говорил с ними. Офицер разозлен, что мы так ловко обманули его.

Первого они разбудили Чебурашкина. Он долго бормотал что-то и, полупроснувшись, как маленький, попросил:

— Еще минутку... минутку.

— Немцы близко, — крикнула Татьяна, и он молниеносно вскочил на ноги.

Чебурашкин поднял народ и приказал всем, у кого есть топоры, рубить лес:

— Валом. Валом давайте, — кричал он, первый ударяя топором под корень толстую березу.

И люди — старики, женщины, сведя детей в середину поляны, оставя их на попечении старух, калек, топорами принялись валить лес, готовя преграду для танка.

9

Они еще не успели соорудить завал, как где-то совсем недалеко раздались выстрелы, а затем и сам танк загрохотал так, как будто он лез каждому на голову... и тогда Чебурашкин сказал:

— Видно, судьба — итти.

И они, их было не меньше трехсот человек, снялись и пошли через болото, как иногда уходят люди от грозящей им смерти через лесные пожарища. Перед тем как выступить, они дали клятвенное обещание Чебурашкину не кричать даже в том случае, если кто провалится и болото будет засасывать его. Они все прекрасно понимали, что Чебурашкин этого требует не ради себя, а ради них же — их детей, стариков. Он достал где-то светящиеся гнилушки, привязал их к своим плечам и сказал:

— Вот за ними и шагайте.

Гнилушки светились метров за тридцать — сорок, но и это уже было хорошо: что-то светилось впереди.

И люди выступили, пугая детей немцами, а малым — грудным — прикрывая лица, чтобы их безотчетный плач не дошел до слуха врага. Шли тихо, молча. Только было слышно, как хлюпает вода да похрустывает лед. Воды было много, она порой доходила до колен. Татьяна, держа на руках Виктора, шагнула

во тьму и, почувствовав, как вода обожгла ей ноги, охнув, прошептала:

— Коля, Колюша мой! Куда мы идем?

Так, тихо, хлюпая водой, охая, содрогаясь, они шли, может быть, минуту, может, две, может, десять... и вдруг где-то в темноте раздался крик, потом еще и еще. Люди кричали помимо воли, сцепив зубы, утопая, захлебываясь, обращаясь к жизни...

На крик раздались выстрелы... тогда началось всеобщее смятение. Пули били людей, и люди, женщины, держа на руках детей, старики, старухи падали, проваливая под собой лед... А остальные, безумными глазами глядя на светящиеся гнилушки, все шли и шли и шли. Иногда ноги становились на что-то мягкое, полуживое, еще барахтающееся, и люди вскрикивали, кидались вперед, не зная уже, где кто находится, думая только о себе...

Впереди что-то ухнуло и разорвалось миллионами огненных брызг, освещая суровое небо. А потом еще и еще.

Леблан сказал:

— Бьют из танка.

Он вел под руку Татьяну, сам весь мокрый, в болотной тине. Татьяна с каждым шагом чувствовала, что силы оставляют ее, что она вот-вот упадет, упадет вместе с Виктором, и тогда чьи-то ноги зашагают по ней, по маленькому Виктору, как шагала и она по чьим-то трупам. И она шла, шла, глядя только вперед на светящиеся гнилушки, привязанные к плечам Чебурашкина. Она смотрела на них, как на путеводные звезды. А звезды эти то скрывались, куда-то ныряя, то снова всплывали и звали, манили к себе... и Татьяна шла на них. Она уже давно потеряла Марию Петровну. Несколько раз она принималась звать ее, но в сутолоке, в смертельной суматохе, в криках, во взрывах снарядов не слышала даже сама себя. «Мама! Мама!» — кричала она и сама не слышала своего зова. И шла, то опускаясь по пояс в ледяную, жгучую, как кипяток, воду, то выкарабкиваясь на лед, на отмели, заросшие спутанным, сухим камышом... А кругом все ныло, стонало, выло, ухало, взрывалось. И терялись силы: зубы, стиснувшись, уже не

разжимались, глаза смотрели только в одну точку — на светящиеся гнилушки, голова набухла, будто по ней били чем-то мягким, но тяжелым. И только одна мысль неотвязно жила: надо итти — итти — итти; там, позади, еще хуже — лютая, унизительная смерть на виселице. И тут, на пути, — смерть, но тут она своя, тут ее еще можно преодолеть, побороть... Может быть, уже недалеко? Ведь они так давно идут — может, день, может, год... Ну, да близко: вот уже смолкли выстрелы, крики, только слышно, как назойливо хлюпает вода да пыхтит зловонное болото... и как ярко светятся гнилушки на плечах Чебурашкина! Ах! Как он замечательно рассказывал там... Где? Где? Где это было? Кто рассказывал... и Татьяна качнулась сначала в одну, потом в другую сторону, затем, сама не зная почему, вцепилась зубами в палец и закричала:

— Ма-м-а-а-а-а! Мамочка! — и, уже ничего не помня, она упала, выпустив из рук что-то самое дорогое, дороже жизни. Кто-то сильно ударил ее ногой в спину, потом чья-то торопливая нога наступила на голову, затем кто-то рванул ее и поволок, как волокут утопленника из воды.

Мария Петровна упала, сраженная пулей в плечо еще в начале пути. Падая, она совсем не почувствовала боли, а только ощутила, что сверток картины «Днепр» стал почему-то очень тяжелым, будто налился свинцом, и придавил ее.

— Да что это я? Что это он? Батюшки, — недоуменно проговорила она, силясь подняться, сбрасывая с себя сверток и тут же хватая его руками, боясь, что чужие ноги могут затоптать его. Но сверток еще более отяжелел, стал как чугунный. И Мария Петровна, силясь поднять его, вдруг поняла, что ей его не поднять. — Ох ты, ох! — охнула она. — Да как же это я без него перед Татьяной-то явлюсь? — и ей показалось, что это вовсе и не сверток, а сама Татьяна, и она еще крепче вцепилась в него, уже чувствуя, как чьи-то ноги бьют ее по спине, по голове, и она, все глубже погружаясь, закричала: — Люди-и-и-и! Батюшки-и-и! Люди-и-и!..

...Под утро, когда молодые весенние лучи солнца заиграли в кружевных заморозках, Татьяна открыла глаза и увидела рядом с собой на поляне Чебурашкина и Леблана. Она посмотрела на них — грязных, оборванных, посиневших.. и снова весь ужас ночи обрушился на нее.

— А где же? Где же? — она развела руками и тут же крепко прижала их к груди, как бы удерживая что-то такое, что можно вырвать у нее вместе с ее сердцем, и снова лишилась чувств.

10

Заслыша ночью крики, выстрелы на болоте, командир партизанского отряда Петр Хропов послал в разведку Яню Резанова — человека коренастого, с очень маленьким лицом, но с сильными руками, жителя волжских степей. Яня Резанов когда-то задушил руками степного волка и теперь нередко хвастался у костра:

— Мне только подвернись. Я хряп — и нет башки.

Партизаны хохотали, не верили ему. Яня Резанов, всегда очень спокойный, и тут спокойно утверждал:

— Эдак. Хряп — и нет башки. Ну, чего вы ржете?

Но однажды партизанский смех пронял его.

— А вот увидите, — и он ушел в темную ночь, а наутро приволок двух немцев с полным вооружением, но мертвых, с порванными связками на шее.

— Задушил? Экий чертолом! — удивился Пётр Хропов, высказывая всеобщее изумление.

А Яня Резанов спокойно, как будто он просто поймал двух окуней:

— Мне только подвернись. Я хряп — и нет башки. Волков душил, а эти ведь тож волки, да хилые.

Вот он и донес Петру Хропову, что через болото идут люди — старики, женщины, ребята, — что их обстреливают немцы из автоматов и танка.

— Штук сорок али пятьдесят, — говорил он, не называя немцев людьми, а штуками. — И притом — танк.

Выслушав его, Петр Хропов сказал:

— Вот до чего звери могут людей довести: готовы тиной захлебнуться, лишь бы вырваться из их лап. — Петру Хропову сейчас, освещенному костром, по бороде можно было дать лет пятьдесят, но глаза у него горели по-молодому, и эти молодые глаза вспыхнули. — Танк, значит, у них? Хорошо бы нам заиметь танкчоночек? Ребята!

Люди хмурые, тоже заросшие бородами, сидели около него молча, только один, отец Петра Хропова, Иван Хропов, сказал:

— Какую команду подашь, сын, то и выполнять будем. Святое это правило — закон.

— Стало быть, идем? — и Петр Хропов поднялся, став большим, высоким, как и его отец, и повеяло от него чем-то сильным, уверенным: молодые глаза посуровели, между бровей легла резкая складка. Отобрав человек двадцать партизан, он сказал: — Пожалуй, хватит на сорок штук или пятьдесят. А, Яня?

— Ясно. Хватит, — одобрил Яня Резанов.

— Ты, отец, конечно, останешься здесь.

— Воля твоя, Петруша, но ведь вы все хозяйство растеряете. Там, вишь ты, и автоматы и кони. Кто подбирать будет?

— Ну, пожалуй, пойдем...

И Петр Хропов тайными тропами, через подводные мосточки, повел своих людей. Они шли крадучись, иногда ползком, иногда по колено в воде. Шли и слышали крики, стоны людей, и каждому хотелось немедленно же кинуться на помощь, открыть огонь по немцам, указать своим людям тайные тропы. Этого же хотелось и Петру Хропову. Но указать тропы своим — значит открыть их и немцам... и Петр Хропов скрепя сердце передал по цепи:

— Ни одного выстрела без команды.

11

Часа через два партизаны переправились через болото и очутились в тылу у карательного отряда. Тут они залегли в ложбинке, покрытой хрупким, ночным

морозцем, слыша, как — то в одном, то в другом месте — немцы стреляют из автоматов. Молчал только танк. На слух Петр Хропов определил, где и какая группа немцев и даже сколько их. Оставя на месте отца, Яню Резанова и еще двух партизан, он скомандовал остальным ползти за ним. Вскоре, расставя партизан там, где надо, он вернулся — весь мокрый, в грязи, но возбужденный, как охотник, которому удалось обложить зверя.

Чуть рассвело. Заиграли тетерева. Прощелкал глухарь — один, потом второй, потом еще и еще.

Петр Хропов чуточку высунулся из ложбинки и совсем недалеко от себя увидел немцев. Их было шестеро. Приставя автоматы к животу, они временами пускали очереди куда попало. Кони стояли рядом и грызли ветки ветлянника.

— Ну-ка, отец, возьми вот того на прицел, ты, Яня, вот этого, вы двое... — обратился Петр Хропов к партизанам, — вот этого и вот этого, а я попробую враз двоих крайних. Стрелять по моей команде. Целься, — и сам прицелился. — Огонь! — шопотом воскликнул он и, выстрелив, тут же увидел, как все шесть немцев упали, будто кто их толкнул в лоб. — Ну, вот ладно, — проговорил Петр Хропов. — Автоматики-то сейчас заберем или потом, отец? Как думаешь?

Иван Хропов, мужик хозяйственный, обозлился:

— Потом, потом. Это как — потом? А вдруг какая птица сядет, автомат загадит... Да и кони без присмотру, — но, увидав, как у сына смеются глаза, сам улыбнулся. — Ну, конешно, заберу я... И коней при этом.

Петр Хропов серьезно добавил:

— Тебе, отец, оставаться тут. Кони на твои руки и автоматы на твои руки. Не высовывайся, а отсюда стереги. В случае, ежели кто из них появится, живым никак не отпускай, а то всю нашу хитрость откроешь. Ну, мы пошли дальше.

Сняв так же вторую группу немцев, Петр Хропов оставил на их месте четырех партизан и приказал им «палить из автоматов в белый свет, будто и в самом деле немцы». Сняв так еще три группы немцев,

поставив на их место партизан, Петр Хропов вместе с Яней Резановым подползли к сосновой роще, где на полянке стояло сизое чудовище — танк. Танк стоял молча, направив свой хобот на болото, как бы желая напиться. Около него ходил, нервно подрагивая ляжками, офицер с усиками кверху.

— Вильгельма проклятая, — усмехнулся Яня Резанов, показывая на офицера. — Стукнуть его?

— Я тебе стукну, — пригрозил Петр. — Эту птицу живьем надо взять и допросить.

Офицер, прислушиваясь к очереди автоматов, прищелкнул языком, затем кулаком постучал по броне танка. Люк открылся. Из люка показалась голова с перепуганными глазами. Офицер, показывая на болото, что-то сказал. Солдат рассмеялся.

— Эх, — Яня Резанов вздохнул, — не знаю их собачьего языка.

— И так понятно: вот, дескать, как загнали людей — стариков, детей, женщин — в болото. Вояка, сукин сын! Мне интересно его живым зацопать и посмотреть, как он будет воздух глотать. Только как бы это сделать? Яня, ты волков душил, а по-волчьи выть умеешь?

— А как же? Так затяну, волки удивятся.

— Ну-у? Тогда отбеги вон туда и затяни. А как я кинусь, прыгай за мной.

Яня Резанов отполз за куст. Чего-то долго копался там, затем сунул лицо вниз, завыл глухо, придавленно и вдруг, вскинув голову, перешел на такой высокий дискант, что даже у Петра Хропова, и то побежали мурашки по телу. Офицер дрогнул и, выставив руки вперед, как падающий в воду, ринулся на танк, колотя его броню ногами, царапая пальцами люк.

Петр Хропов в два-три прыжка очутился около танка. Плечом, как щенка, сбил офицера и крикнул Яне:

— Держи, но не души, — сам вскочил на танк, ручкой револьвера постучал в крышку люка. — Эй! Там подыхать будете? Или выпустить вас, стервецов?

Потом они всех убитых немцев снесли в кучу, вырыли яму, закопали. На этом настоял Иван Хропов:

— Чтобы воздух наш весенний не портился вонью, да и вообще — они уж не злые теперь.

Замаскировав танк на месте, потому что его в эти дни невозможно было переправить в лагерь, прихватив с собой офицера и двух солдат, коней — тридцать восемь голов, партизаны перешли на другую сторону болота и тут увидели самое страшное.

На небольшой поляне, пригреваемой утренним солнцем, лежали люди, мокрые, грязные, в порванной одежде, с исцарапанными руками, лицами. Они лежали вразброс, будто бежали от пожара и какая-то страшная сила настигла их и кинула на землю. Тут были и женщины, и старики, и дети. Около одной женщины полулежали, застыв, два человека. У одного из них по локоть нехватало руки, другой был в немецкой шинели. Вначале всем партизанам показалось, что люди на поляне уже мертвые, словно выброшенные прибоем из моря, где они потерпели крушение. Но по глубокому дыханию, по бормотаниям вскоре стало ясно, что люди еще живы, но не в силах пробудиться. И тут же партизаны увидели тех, кто не дошел до поляны. Эти лежали вниз лицами, утопая в вязкой тине. Вон женщина. По ее вытянутым рукам можно понять, с каким усилием она стремилась добраться до поляны. И не добралась, упала в трех-четырех метрах от берега, подмяв под себя девчушку. А вон лежит старик. Он протянул правую руку, вцепился ею в корешок камыша. А вон ребенок. Один. Маленький. Голенький. Весь в тине.

Старик Иван Хропов, обходя людей, брызгал им в лица разведенным спиртом, не замечая, как у самого потоками льются слезы, и приговаривал:

— Батюшки! Миленькие вы мои! Родненькие.

Партизаны стояли молча, держа в поводу коней, хмуро глядя себе в ноги. Петр Хропов сидел на пне, чуть в стороне. В нем все застыло. Бородатое лицо казалось высеченным из гранита. Только глаза...

только глаза перебегали с партизан на людей, лежащих на поляне, с людей — на немецких солдат и офицера. На офицере глаза задерживались дольше, жалили его. Офицер нервничал, дрыгал ногой, прищелкивая языком, но еще хорохорился. Петр Хропов знал, что такие «штукари», как он их звал, первые часы всегда храбрятся, но затем с них постепенно сходит спесь. И Петр Хропов, уже забыв о допросе, просто ждал, когда спадет спесь с этого «штукаря», и тогда он, Петр Хропов, подведет его к голенькому, мертвому, в тине, младенцу и скажет:

— Это миру несешь?

Офицер все надувался, как пузырь, и вдруг прикрикнул на своего солдата, и тот кинулся к нему, начал поправлять на нем шинель. Яня пнул ногой солдата, сказал:

— Ты! Эко как тебя приучили пятки лизать.

Это послужило сигналом — партизаны закричали, обращаясь к Петру Хропову:

— Кончать надо.

— С ума сведут смотрины такие.

Петр Хропов поднялся, подозвал к себе Яню Резанова.

— Отдели этих псов от офицерика и кокни вон там — в лесочке, чтобы офицерик видел.

Яня Резанов отвел солдат в сторону, смахнул с плеча автомат и пустил очередь. Сначала он одного солдата разрезал — развалил сверху донизу, потом второго, затем спокойным шагом подошел к Петру Хропову, доложил:

— Сделано.

— Зря.

— Жалко?

— Пули жалко. По одной на каждого бы хватило, — ответил Петр Хропов и глянул на офицера.

Офицер, прищурив глаза, посмотрел на трупы солдат и еле слышно прищелкнул языком.

В это время очнулся Леблан. Он по-солдатски вскочил, недоуменно, затуманенными глазами посмотрел во все стороны, как смотрит человек после дли-

тельной тяжелой болезни, еще никого не узнавая. Да его и самого невозможно было сразу узнать: рыжая щетина бороды у него походила на ламповый ерш, впалые щеки, как две вмятины. Весь он был в грязи, тине. Посмотрев вокруг затуманенными глазами, ничего не понимая, он принялся будить Чебурашкина, разыгрывая из себя немца.

— Чепурашкин! Чепурашкин!

Яня Резанов первый шагнул к нему. Он шагнул, выворачивая пятки длинных, в посконных штанах, ног... и вдруг, подхватив на руки, как ребенка, начал бросать его, кувыркая в воздухе, выкрикивая:

— Васька! Васька! Васенька-светик!

— Яня! Яня! — придя в себя, закричал и так называемый Леблан.

Партизаны было кинулись к нему, но Петр Хропов движением руки остановил всех. Сдерживая простую человеческую радость, он, подойдя, сказал:

— Здравствуй, Вася!

— Здравствуй, Петр Иванович, — ответил Вася.

— Это тот, Кох? — Петр Хропов кивнул на офицера.

— Нет. Тот убит. А этот — каратель.

— Значит, выполнил задание?

— Не я. А вот она, — Вася показал на Татьяну. — Она опередила меня. — Он чуть подождал и с тоской добавил: — Ермолай Агапов погиб: Кох вырезал ему язык. Погиб и Савелий Раков: поджег немцев в своей избе и сам сгорел.

— Жалко. Очень, — в тишине произнес Петр Хропов и, сняв шапку, поклонился земле. За ним последовали все партизаны. Петр Хропов надел шапку и снова к Васе: — А почему ты повел людей через это болото? Ведь ты его не знаешь?

— Повел не я, а нужда: нас толкнул в болото вот тот, — Вася показал на офицера и к Хропову: — А почему вы здесь, а не у Лебяжьего?

— Об этом потом. Яня, — обратился Петр Хропов к Яне Резанову, — срубите две-три березки, раскиньте на них вот это, — он смахнул с себя шинель и кинул

её на руки Яне, — и положите на нее эту женщину. Как ее звать?

— Татьяна Яковлевна, — ответил Вася.

Когда поднимали Татьяну, очнулся и Чебурашкин. Он подпрыгнул, как мяч, а увидав партизан, осипшим голосом заговорил:

— Э-э-э! Вон вы какие. А мы — вот мы какие. От смерти еле-еле удрали, да и то не все, — он говорил долго, путаясь, повторяясь, и походил на помешанного.

Петр Хропов обнял его.

— Отдохни, родной. Потом расскажешь, — и приказал подвести к себе офицера.

Тот подошел, презрительно посмотрел на Васю, на Татьяну, на Чебурашкина, признав их, и снова нервно задергал ляжками. Петр Хропов взял его за рукав шинели, подвел к ребенку — мертвому, в тине, сказал:

— Это миру несешь? Ты!

Офицер посмотрел на ребенка так же, как смотрит торговец драгоценностями, знаток искусства, на разбитый, вовсе никакой ценности не имеющий кувшин. Посмотрел, прищелкнул языком и даже пожал плечами.

— О-о-о! Да у него не сердце, а камень. Яня! Автомат!

Яня Резанов с готовностью подал автомат, но старик Иван Хропов опередил:

— Сын. Кровь моя, — заговорил он, обращаясь к Петру Хропову, — я дрова сорок восемь лет сам колол. И смотри, какой топор у Чебурашкина, — он выхватил из-за пояса Чебурашкина острый топор и, блеснув им на солнце, снова сказал: — Дай! Мне!

— Возьми, — и Петр Хропов отвернулся.

Старик мелкими шажками, неся над собой острый топор, подбежал к офицеру со спины. Ухнув, он вскинул топор еще выше и опустил. Офицер качнулся, вздернул руки и упал.

Затем партизаны извлекли из болота тех, кого могли отыскать. Вырыли братскую могилу и похоронили. Петр Хропов произнес короткую речь. Он под-

нялся на пень, долго смотрел на людей, лежащих на поляне, потом на братскую могилу, затем перевел взгляд на трупы немцев и сказал:

— Казнить будем. Казнить — топором по башке.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Николай Кораблев недели две ничего не говорил, почти не принимал пищи, только часто пил чай и подолгу смотрел в потолок, напряженно ловя в памяти, как полузабытое сновидение, какое-то странное, с вытянутыми губами лицо, похожее на святочную маску.

Следственные органы, в том числе и медицинские, определили, что удар в голову был произведен молотком, слабой рукой, иначе молоток размозжил бы черепную коробку выше уха, и тогда больной окончательно лишился бы речи. Врачи решили, что теперь, кроме покоя и домашнего лечения, больному ничего не надо, что вот, когда он немного поправится, к нему приставят учительницу-специалистку, и она восстановит речь. А кто ударил — этого никто не знал, хотя Петр Завитухин сам первый и уж слишком суетливо рассказывал рабочим о том, что «начальника кто-то тюкнул молотком по загривку... ну, истинный бог».

Больше всех в смятении и недоумении была Надя.

— Как же это, Иван Иванович? — шептала она, и губы у нее дрожали. — Ведь это все равно, как если бы вот вы ударили меня?

Иван Иванович беспомощно роняя голову на грудь, соглашаясь с Надей, а старик Коронов, присмиревший, словно на похоронах, неизменно твердил:

— Гнусу на земле много. Ой! Много! — и подозрительно смотрел на Варвару, которая как-то загадочно стихла.

— Видно, в самом деле втрескалась, шишига, — ворчал он, вначале обижаясь на нее за сына. Потом примирился, увидав, в каком тяжелом положении

находится Николай Кораблев. — Может, бабья ласка и спасет его, тогда не греховное это со стороны Варвары, — и сам настоял перед доктором, чтобы Варвару допустили дежурить на квартиру к Николаю Кораблеву.

Варвара дежурила по ночам. Ухаживая за больным, она часто шептала:

— Касатик! Родненький! Сил наберись... тебе не положено хворать. Такому соколу, и хворать?

В таком состоянии Николай Кораблев пролежал недели две-три, затем постепенно начал говорить, интересоваться строительством моторного завода, и вскоре его квартирка превратилась в штаб-квартиру, а Надя — в своеобразного домашнего секретаря, что ей очень понравилось. Одно как будто навсегда пропало у Николая Кораблева — улыбчивость. Теперь карие глаза его были всегда строги и часто неподвижны, как у змеи.

Так прошел месяц, другой. Врачи уже уверяли, что больной вот-вот поднимется с постели, что медицина победила все недуги, как однажды, поздним вечером, Николай Кораблев впал в глубокий обморок... и снова потерял речь.

Все всполошились, особенно врачи, а от наркома поступила строгая телеграмма с требованием немедленно отправить больного в лучший по тому времени госпиталь на озере Кисегач, куда вылетал из Москвы доктор-знаменитость.

2

Бывают дни, когда важные события следуют одно за другим. Сегодня как раз и был такой день. Во-первых, из Совнаркома пришел пакет совершенно секретный, адресованный на имя Николая Кораблева, который надо было немедленно доставить адресату. Во-вторых, доктор-знаменитость из госпиталя сообщил, что Николая Кораблева можно выписать. И, в-третьих, сегодня Ивану Ивановичу подали сводку по строительству моторного завода. Он и до этого

знал, что «дело идет хорошо», но ещё не верил в «победу», не имея под руками вот этих сухих цифр. Прочтя же сводку и раз, и другой, и третий, он воскликнул, обращаясь к Альтману:

— Поэма!

Альтман посмотрел сводку. Его большие серые, под густыми черными бровями глаза загорелись, и он, восхищенно глядя на Ивана Ивановича, сказал:

— Я горжусь своим учителем.

Вначале это польстило Ивану Ивановичу, и он вдруг почувствовал, что как-то вырос надо всеми, и где-то в глубине души у него даже мелькнуло: «Вот вам и беспартийный». Но тут же ему стало нехорошо, и он, повернувшись к Альтману, задыхаясь, крикнул:

— Глупость! И не подламывайте мою радость: это сделали мы все. Да! Да! И главным образом Николай Степанович!

— Он второй месяц в госпитале. Удивляюсь я, Иван Иванович, как вы любите свои лавры раздавать другим.

— Лавры? Какие лавры? Знаете что, у вас есть гаденькая черточка — ка́пать. Вы иногда капаете от полной души и не замечаете, что капаете яд. Да. Да. Яд. И ступайте, ступайте. Я пока не хочу с вами говорить. Ступайте.

Альтман, улыбаясь, уходя из кабинета, все-таки сказал:

— А лавры-то не отдавайте, учитель мой.

Но как только вышел Альтман, на душе Ивана Ивановича снова появилось что-то сладкое и липкое, как вишневый клей.

«А может, и правда, я дурак? Всю жизнь другим раздаю свои лавры. Ведь в самом деле, Николай Степанович больше месяца совсем не прикасался к делам строительства... Впрочем, тут еще работал Лукин. Ну и что же? Это же разговорчики», — Иван Иванович почувствовал, что он думает о Лукине неискренне. Верно, он не придавал особого значения работе Лукина. «Проживем и без них — пропагандистов: строительство требует дела, а не слов», — так он думал, но невольно во всем видел Лукина. Он этого не хотел признавать, как, например, больной, упрямо отрицающий

значение медицины, принимающий лекарство и выздоравливающий именно от этого лекарства, однако продолжает твердить: «Медицина. Ну, чепуха какая: это мой сильный организм выгоняет болезнь». Так и Иван Иванович. Он видел, что Лукин, всегда в чистой рубашке-косоворотке, опрятный и собранный, особенно близок рабочим: они идут к нему, советуются с ним, ловят его на строительстве и, попросту обращаясь к нему, говорят: «Григорий Иванович». И вот этот Григорий Иванович так овладел рабочими, что, пожалуй, если он скажет им, что строительный корабль надо повернуть в такую-то сторону, они и повернут. «Однако корабль-то — это мы, строители, а он... Вот те чорт... вот так Гриша», — невольно любуясь Лукиным, иногда думал Иван Иванович... и все-таки считал, что дело не в Лукине, а в них — строителях. А тут еще этот Альтман. Он знает, на что капнуть, — на раскаленную плиту бензин... и бензин вспыхнул. «Ну, конечно, это все сделал я... моя работа», — гордо сказал про себя Иван Иванович. Но сердце у него снова заныло, и ему стало так нехорошо, что у него, как это бывает у стариков, веки сразу покраснели. «Ведь я его люблю, Николая Степановича. А этот Альтман. Как все-таки он умеет капать. Нет, сие надо из него выбить... Да, выбить».

В эту минуту снова позвонил из госпиталя доктор-знаменитость.

— Я вам забыл сказать, — сердито бурчал он в трубку, — вы его не нагружайте. Да. Да. И не протестуйте. Знаю я вас. Нагрузочка, нагрузочка. Сто нагрузок — и посадили на человека слона.

Вот все это и слилось в такой сумбур, что Иван Иванович просто растерялся, особенно после предупреждения доктора-знаменитости.

— Ох, ох! Это уже политика, Надюша, — говорил он, свеся голову на грудь, не видя, что Надя радуется. — Политика. И тут мы с вами ни уха ни рыла. Ну-ка, я позвоню идейному человеку, — и позвонил Лукину, говоря: — Да. Да. Вам надо. Вы как партийное идейное руководство, или как там... парторг.

Лукин ответил, что никакого партийного руководства тут не требуется, но что он с удовольствием съездит за Николаем Кораблевым, и вскоре пришел к Ивану Ивановичу. Но, войдя в комнату, как всегда насупленный и мрачный, тут же заговорил о том, что надо бы побеседовать с новой группой рабочих, присланных из Казахстана.

— Но об этом Николаю Степановичу ни-ни. Понимаете, ни-ни, — Иван Иванович даже обиделся, боясь и того, что и Лукин начнет «молоть про лавры».

Лукин неожиданно тепло улыбнулся.

— Да ведь этим живем, Иван Иванович.

— Ну? Живете? Эх, ты. За это я, пожалуй, вас и полюблю, — Иван Иванович обнял Лукина, чувствуя под руками его худобу. — Вон вы какой, — одновременно думая и о худобе Лукина и о том, что тот живет строительством, проговорил он. — А впрочем, мы еще Альтмана с собой захватим. Он анекдоты мастер рассказывать. Вот и будем все втроем отвлекать Николая Степановича, — Иван Иванович даже озорно, по-мальчишески подмигнул.

3

На озеро Кисегач они ехали через горы, по лесной дороге. Можно было бы отправиться и другим путем, по шоссе, сделав крюк километров в шестьдесят. Но Альтман настоял, чтобы ехали через горы.

— Да посмотрите хоть раз на природу. Вы, Иван Иванович, любите природу только уничтожать: заявитесь, снимете лес, выкорчуете все до основания — и давай завод строить. Вы хоть раз посмотрите на природу как человек, — говорил он, уже сев рядом с шофером, показывая, куда надо ехать.

Дорога была красивая, но вся изрытая дождевыми потоками, и всюду торчали камни. Камни тянулись вдоль дороги или пересекали ее, и тогда машина подпрыгивала, будто взбираясь по ступенькам.

— Ну и дорожка, — мрачно говорил Лукин. — По такой только военнопленных возить.

— Здорово! Чудесно! — вскрикивал Альтман, глядя на все с точки зрения заядлого охотника. И когда тут или там с характерным треском вылетали тетерева, он даже подскакивал, ударяя локтем шофера. — Ах! Ах! Ружье не захватил. Вот дурак, — и, повернувшись к Лукину: — Нет, знаешь что, товарищ парторг, надо людям предоставлять отпуск. Ну, дать человеку один день в месяц и пускай хоть на луну воет, если это ему нравится. Честное слово-о-о, — подчеркнуто произносил он, как будто это и было основным доводом.

Иван Иванович молчал. Он сидел, глубоко забившись в угол машины, и, казалось, еще больше постарел. Сумбур, внесенный всеми обстоятельствами дня, сейчас еще больше давил его.

«Лавры, — думал он. — Какой там чорт лавры, когда дело идет о человеке. Но ведь в каждом человеке бес сидит. Во мне Альтман его потревожил. А Николай Степанович тоже человек. И как я ему скажу, что дела на стройке идут блестяще? «Это без меня-то блестяще?» — вдруг скажет он. Он, конечно, так открыто не скажет, но бес зашевелится. И как же ему сказать? И вот этот еще — пакет. Что в нем? А может быть, тут сообщают что-нибудь страшное о жене. Может, она погибла и Совнарком шлет ему соболезнование? Фу! Фу!» — так, ничего не придумав, он снова зафыркал.

Машина, скрипя, чуть не перевертываясь, наконец выбралась на поляну, и тут перед ними раскинулось озеро Кисегач. Усеянное круглыми каменистыми островками, оно лежало в горах и было такое спокойное, как бы залитое отшлифованным стеклом, отражающим в себе и голубое глубокое небо и крутые скалистые берега, заросшие высокими, ровными, будто вылитыми из воска соснами.

— Смотрите-ка, смотрите, Иван Иванович, — закричал Альтман. — Какая гладь. По такой хочется пешком пройтись.

— Вы вот что, — оборвал его Иван Иванович. — Думайте-ка не о том, что вам хочется, а что будем делать с Николаем Степановичем.

— А я уже придумал. Я повезу вас в такие места, где вы все на свете забудете. И анекдоты. Конечно, анекдоты, — заспешил Альтман, увидав, как сморщился Иван Иванович.

«Если бы они спасли дело, анекдоты твои», — неприязненно подумал Иван Иванович, первый открывая дверцу машины.

Из белого каменного дома, сопровождаемый доктором-знаменитостью и сестрами, вышел Николай Кораблев. Лицо его было покрыто той желтоватой бледностью, какая бывает у людей после длительной и тяжелой болезни, а на месте удара молотком светился седой клок волос.

Шагая к нему и не отрывая взгляда от его лица, Иван Иванович с болью в душе подумал:

«И как я ему скажу? Ведь он еще такой слабый», — и Ивану Ивановичу страшно захотелось обнять его и приласкать, как он сделал бы это со своим больным сыном. — Здравствуйте, дорогой мой шеф, — заговорил он дрожащим голосом.

Лукин тоже неотрывно смотрел на странно изменившееся лицо Николая Кораблева и, здороваясь, подумал:

«А не рано ли он выписывается?» — но чтобы поддержать настроение больного, сказал: — Хорошо выглядите, Николай Степанович.

Альтман выскочил из машины и, тряся обе руки Николая Кораблева, бросая игривый взгляд на сестер, воскликнул:

— Отлично! Отлично выглядите, Николай Степанович! Да разве при таких грациях можно болеть? — он кивнул на сестер, и те звонко рассмеялись, хором заявляя:

— Жалко, увозите его от нас.

— У нас редко бывают такие больные.

— Ну, ну! Вы еще скажете, почаще бы вам таких больных, — Альтман игриво подмигнул сестрам и открыл дверцу машины. — Прошу, Николай Степанович.

Николай Кораблев был рад, что за ним приехали его друзья, и хотел было улыбнуться им, но из этого

ничего не вышло, и он, еще больше косолапя, пошел к машине, сел рядом с шофером, повернулся к Ивану Ивановичу, намереваясь его о чем-то спросить, но того отвел в сторону доктор-знаменитость — человек низенький, кругленький, как нежинский огурчик. Приперев Ивана Ивановича к каменной стене подъезда, он что-то начал ему быстро нашептывать. Иван Иванович вдруг рассвирепел.

— Да что я вам нянька, что ль? — и пошел к машине, а за ним, как шарик, покатился доктор-знаменитость.

— Минутку! Минутку! Еще одну минутку, — говорил он, намереваясь снова отвести в сторону Ивана Ивановича.

Но в эту секунду Николай Кораблев, глядя в лицо Ивана Ивановича, как смотрит тяжело больной в лицо доктора, спросил:

— Как дела, Иван Иванович? Вся душа у меня тут изболелась. Вы ведь даже сводку мне не присылали. Или не знаете, что это жестоко? Жестоко.

Иван Иванович быстро повернулся к доктору-знаменитости и гневно развел руками, как бы говоря тому: «Видите, или вы, кроме медицины, ничего не понимаете?» Затем что-то промычал, откашлялся, сел в машину, полагая, что, пока шофер заводит мотор, пока в суматохе все усаживаются, Николай Кораблев забудет про свой вопрос. Но тот упрямо повторил:

— Дела как? Почему молчите?

«Да. Без вас было трудно, — решил было сказать Иван Иванович, но тут же обругал себя. — Чушь. Ложь. Скажу прямо. Пускай проснется в нем бес, а я тут, честное слово, ни при чем», — и, отвернувшись, сердито кинул:

— Хорошо. Отлично.

У Николая Кораблева в глубине потускневших глаз дрогнули искорки. Взяв за руку Ивана Ивановича, он притянул его к себе и от волнения почти шепотом сказал:

— Я очень рад, Иван Иванович. Очень. Думал, Иван Иванович умный, талантливый, опытный инженер, и если при нем дело не пойдет, значит вся наша

система на заводе ни к чорту. А тут, значит, пошло? Это очень хорошо.

Ивану Ивановичу стало стыдно за свои мысли, и он, позеленев, пробормотал:

— Извините уж меня. Поганенькие мыслишки забрались в голову, — и так свирепо посмотрел на Альтмана, что тот, не понимая, в чем дело, спросил:

— Что? Что такое?

— А то. Лавры. Ла-а-вры-ы.

Альтман вспыхнул и, боясь, что разговор о лаврах сейчас же дойдет до Николая Кораблева, намеренно громко рассмеялся.

— Все еще не забыто? А я ведь пошутил, честное слово-о-о.

Иван Иванович еще свирепей посмотрел на него, хотел было кинуть: «Экий вы неуловимый», но тут же, вспомнив, что Николая Кораблева надо отвлекать, улыбаясь, сказал:

— Ладно уж, ладно, и я шучу.

4

Они всю ночь провели на берегу озера Тургояк. По пути туда Альтман рассказал им целую историю про это озеро.

— Всякий, — говорил он, — будь то толстый, как овца, или тощий, как пересохшая палка, — всякий, утонувший в этом озере, уже не всплывет на поверхность.

— Ну да, скажете, — возразил было ему Иван Иванович, но Альтман как знаток перебил:

— Да. Не всплывет. Вы можете утопленника искать в любом месте, на любой доступной глубине и не найдете, потому что в озере есть холодные течения, возможно целые реки. Вот они, эти реки, бурные потоки, подхватывают утопленников и носят их на больших глубинах. Вы представляете себе, как утопленники один за другим, один за другим носятся по дну озера?

— И фантазия же у тебя, — мрачно проговорил Лукин. — Ты этим, бывало, и в институте отличался.

— Это не фантазия. Это факты. Вы знаете, что такое Тургояк? В переводе это звучит: «Не ступи моя нога». А впрочем, вы его сейчас сами увидите.

И в самом деле, через какую-то минуту машина, прорвавшись сквозь густые заросли кустарника, выскочила на возвышенность, и перед ними расхлестнулось озеро Тургояк. Оно, вытянувшись километров на восемь, лежало в котловине, стиснутое со всех сторон скалами. Оно лежало в горах, залитое ярчайшими лучами солнца, спокойное и улыбающееся, как здоровяк-ребенок в колыбели.

— Страху-то вы на нас нагнали, — проговорил Николай Кораблев и первый вышел из машины.

— Эдак. Страху, — глядя на спокойное озеро, сам улыбаясь ему, упрекнул Альтмана Иван Иванович.

— Ну и фантазер же ты. Поэтом бы тебе быть, — проговорил и Лукин, шагая к воде падающей походкой.

— Нет. Позвольте, — с обидой запротестовал Альтман. — А вы знаете, что такое чаруса? Это красивое местечко, покрытое такой зеленой, привлекательной травой, что хочется прилечь, но стоит только ступить, как весь увязнешь. И это озеро — чаруса. Видите, какое оно спокойное, прямо для детей... Ну, однако, вы позавтракайте, а я на короткий срок отлучусь, съезжу на тот вон островок. На «Чайку». Я ведь физкультурник. А потом анекдоты... Анекдоты, Иван Иванович, — выхватив из машины чемодан, он достал оттуда резиновую лодку и быстро накачал ее.

Шофер, вскинув на плечо ружье, тоже сказал:

— Ну, а я глухарей покушаю.

Они остались на поляне одни... И отсюда видели, как серенькая лодочка, оставляя после себя еле заметный след, понеслась к островку. Признаться, они ничего страшного в этом не видели. Наоборот, пожалели, что лодочка так мала, а то и они, вместе с Альтманом, отправились бы на островок.

— Жаль. Очень, — проговорил Иван Иванович и начал мастерить «самоходный стол»: постлал на траву салфетку, разложил на ней колбасу, хлеб, чеснок, консервы, затем бережно вынул из чемоданчика буты-

лочку с коньяком и, обгладив ее ладонью, осторожно, как свечу, поставил рядом с собой.

— Эге! — воскликнул Лукин. — Это действительно пир.

Иван Иванович налил всем по рюмке и резко остановился: на противоположном берегу ударил колокол. Иван Иванович вскочил, посмотрел в сторону колокола и произнес:

— Тревога.

— Бросьте. Пустяки. Очевидно, созывают рыбаков на обед, — сказал Николай Кораблев.

— Конечно, — авторитетно подтвердил Лукин, как знаток всех обычаев на этом озере, хотя сам был тут впервые.

— Мне, понимаете ли, за последнее время все кажется какая-то тревога: по ночам вскакиваю и слышу какой-то звон. Нервы шалят. — Иван Иванович смахнул под глазом выступивший горошком пот и снова сел.

Лукин пододвинул к нему рюмку с коньяком, сказал:

— Пейте.

Иван Иванович, думая о том, чем и как занять Николая Кораблева, проговорил:

— А вы свою уже глотнули? Э-э-э, милый мой, так коньяк не пьют. — Иван Иванович был вообще универсальный человек: он мог говорить о чем угодно — о винах, о порохе, о выделке свиной кожи, об атомах, о происхождении ядов, о любом чорте и о любом ангеле и говорил всегда интересно, возвышенно, со знанием дела... и вот теперь, чтобы чем-то занять Николая Кораблева, он заговорил о коньяке. — Так коньяк не пьют, сударь вы мой, — сказал он, приподнимая рюмку, внимательно глядя на то, как там еще кипит коньяк. — Смотрите, друзья мои, какими цветами переливается сие содержимое. Что это такое? А вот что — представьте себе, где-то на юге, под палящим солнцем, созревают кисти винограда. Сколько солнца забрали в себя эти кисти, чтобы насытиться чудотворными соками! И вот на заре зрелые кисти, еще обрызганные росой, снимают и пускают в

обработку. Их давят, мнут, из них отбирают самое лучшее. Потом это самое лучшее ставят бродить, потом из этого переброженного отбирают тоже самое лучшее... Проходят десятки лет, и из подвалов вам достают вот этот чудесный напиток-солнце... Разве его можно пить кружками? Его надо пить каплями, тогда вы поймете всю прелесть...

Иван Иванович рассказывал про коньяк, а колокол все бил и бил. Прислушиваясь к тревожному звону, Иван Иванович иногда непонимающе смотрел на Николая Кораблева, который глазами о чем-то настойчиво спрашивал его и под конец сказал:

— Иван Иванович, у вас ко мне ничего нет?

Тот смешался, старчески замигал, думая:

«Вот так и отдать ему пакет? Без подготовки? А вдруг там что-нибудь страшное?» — и, протерев глаза, будто в них попала пыль, он протянул: — Видите ли... Э-э-э. Как бы вам сказать... Есть, конечно... Сколько у меня к вам...

— Нет. От Надюши?

«Ага-а! Он все ждет от семьи», — догадался Иван Иванович и опять, чтобы не расстраивать Николая Кораблева, сказал:

— Она мне что-то говорила. Такая радостная была. Но видите ли, Николай Степанович, я так спешил... Я хотел было...

И вдруг из ущелья, неподалеку от них, сорвался, будто он где-то долго был на привязи, вихревой ветер. Он рванул салфетку на поляне, чуть не опрокинув бутылочку с коньяком. Лукин схватил бутылку, а салфетка взвилась, как чайка, и взметнулась вверх. Ветер кинул ее в озеро, как бы вызывая кого-то на бой, и закрутил, заиграл: гладь озера молниеносно вспенилась, заклубилась, покрываясь злыми беляками.

— О-о-о! — воскликнул Иван Иванович, глядя в сторону островка. — Альтман! Где Альтман?

Николай Кораблев и Лукин тоже глянули в сторону островка и ничего, кроме бурных брызг, там не увидали. Иван Иванович побежал было к машине, но, вспомнив, что шофер ушел за глухарями, снова оста-

новился, растерянно опустив руки. Такие растерянные и молчаливые, они стояли на берегу, может, десять — пятнадцать минут. Вокруг них все бурлило, как в котле: озеро бесилось брызгами так, что, казалось, оно вот-вот все вскинется в ясноголубое уральское небо; деревья стонали, нагнувшись в одну сторону; трава совсем припала к земле; откуда-то из мелкого кустарника вылетели галки и, как черные лоскутья, бессильные опуститься на землю, носились по ветру из стороны в сторону... и вдруг снова из ущелья потянул игривый ветерок. Озеро еще бушевало. Над ним еще вздымались столбы брызг, закрывая противоположный берег, островок «Чайка», а деревья уже мягко покачивали ветками, отряхиваясь от пыли, травы поднимались, галки побороли бурю и присели на кустарник... И вот как будто кто-то гигантской рукой ударил по озеру: волны мигом спали, оставляя после себя обильную шипящую пену... и озеро, так же неожиданно, как оно вскипело, стихло.

— Да-да, — удивленно произнес Николай Кораблев, — это действительно: «Не ступи моя нога».

— Ах, чорт бы побрал все. Не-ет. Я спущу озеро, а его достану, — и Иван Иванович забегал по берегу в таком же бессилии, в каком бегает человек перед пылающей хатой. — Он ведь у меня все забрал. Все! Все! — выкрикнул он.

— Что все? — спросил Лукин, поняв, что Альтман забрал у него какие-то вещи.

— Все. Весь мой тридцатилетний инженерский опыт... и погиб.

«Ужасно, ужасно, — подумал он. — За какие-то пятнадцать минут погиб человек... Да еще какой человек... Теперь дела без него на заводе пойдут совсем плохо», — и, разыскав рыбаков, сказал: — Найдите инженера Альтмана. Уплыл на резиновой лодочке туда, вон на тот островок.

— На «Чайку», что ль? — угрюмо спросил рыбак и безнадежно закончил: — Ну и ныряет где-нибудь на дне. В прошлом году тут эдаких-то восемнадцать человек опрокинулось из лодки... и плавают до сей поры.

5

Всю ночь летели утки, гуси, журавли. В темно-голубом небе их совсем не было видно, но они все время давали о себе знать утомленными призывными криками. И тем, кто сидел у костра на берегу озера, казалось, что птицы кружатся над ними, не находя себе пристанища. Только утром, когда рассвело, Иван Иванович, Лукин и Николай Кораблев увидели, что все небо было усеяно пиками, и пики эти стремительно неслись куда-то вдаль по своим небесным дорогам: неслись тяжелые кряквы, шустрые чирки, горделивые шилохвосты, величавые гуси, и выше всех реяли, отбивая зори пронзительными воплями, журавли. Иногда та или иная пика отрывалась от стремительного потока и падала на гладь озера. Тяжело дыша, пугливо осматриваясь, птица скрывалась в зарослях прошлогоднего камыша, очевидно найдя тут себе летнее пристанище. А остальные все тянули, тянули туда — через Уральский хребет, в далекую Сибирь, на север.

Так они втроем всю ночь просидели у костра.

Николай Кораблев, хотя и распорядился, чтобы рыбаки поискали Альтмана на островке «Чайка», но сам по сути дела даже не верил, что тот жив.

Иван Иванович, прострадав день, сейчас был тих и смиренен, будто около гроба друга. Он долго молча сидел перед костром и только потом почти шопотом заговорил:

— Вы, конечно, не верите в судьбу? Ну да, вы же из того поколения, которое, познав истину Маркса, начало все кувыркать — бога, судьбу, обряды, нравы, царей.

Вступился Лукин:

— Вы уж очень все в кучу. Что-нибудь отделите. Нравы, например...

— Ах, вы сейчас же — классовая борьба, — воспламеняясь, перебил его Иван Иванович. — Классовая борьба и прочее, прочее. А я не об этом. Я хочу говорить просто, по-человечески. Ну, например, я живу своим трудом. Мне больше ничего и не надо. Я люб-

лю творить. Вот я приезжаю на пустырь, на болота, в леса. Тут живут лоси, зайцы, волки, олени. Первый удар топора — ох, какой это запев. Проходит неделя, другая, год, второй, и пустырь превращается в чудесный город. Я это люблю. В этом моя судьба.

— Ну и любите, — с ребячьим задором произнес Лукин. — Разве вам это запрещают?

— Ага. Любите. Запрещают? Да, запрещают. В Гибралтарском проливе можно, например, построить такую гидростанцию, которая будет обслуживать всю Европу. Дорого? Не дороже той войны, какая сейчас кипит. Так я говорю: «Давайте строить гидростанцию». А мне отвечают: «Иван Иванович, берите-ка ружье и палите вон в того человека». Говорю: «Не хочу». Отвечают: «Тогда тебя убьют».

— Убьют, — мрачно вставил Лукин, видя, что Николай Кораблев тоже пытается что-то сказать, но всякий раз отступает, не желая мешать Ивану Ивановичу, слушая его с какой-то скрытой досадой.

— Да. Убьют, — все больше воспламеняясь, проговорил Иван Иванович. — Убьют. А разве я предлагаю что дурное для человека? Я бы мог соединить все европейские реки и на океанском пароходе приехать в Москву. Дорого? Ага. А вот мы с вами строим завод. Завод этот будет выпускать моторы. Куда они пойдут? В пасть войны. Это недорого? А сколько заводов у нас работает на войну? Да ведь не только наши заводы — заводы всего мира... весь мир, — приходя в ужас, воскликнул Иван Иванович. — Весь мир ведь работает на войну. Весь мир — на то, чтобы уничтожать друг друга. Ведь это же мир сумасшедших. — У Ивана Ивановича даже навернулись слезы, и он с тоской закончил: — Ужас. Просто ужас.

— Да́. Это ужасно, — вдруг согласился с ним Лукин, который еще только за пять минут до этого решил крепко поспорить с Иваном Ивановичем. — Это ужасно, — повторил он. — А сколько гибнет лучших людей — талантливых, даровитых, Пушкиных, Менделеевых, Павловых, Чайковских?

— Ну, вот видите, — Иван Иванович даже мягко тронул за руку Лукина. — А сколько слез... целые

озера материнских слез. Ведь что делается-то? — заговорил он с Лукиным уже как со своим единомышленником. — Была Германия. Вы же знаете, как мы уважали ее технику, ее великих людей — Гете, Шиллера, Гейне, Моцарта, Бетховена... Да мы с вами сотни таких насчитаем... И вот пришел какой-то хлюст — Гитлер и превратил всю страну в банду грабителей и убийц, — и, посмотрев на иссиня-бледное, перекошенное лицо Николая Кораблева, он спохватился: «Ох! Да и зачем я об этом говорю? Ведь он еще больной, а я, дурак, напоминаю ему о том, что у него семья там».

Николай Кораблев, пользуясь передышкой, сказал:

— Вот этих хлюстов, как выражаетесь вы, Иван Иванович, и надо убивать. Надо убивать, чтобы вам жить — это и есть классовая борьба, — жестко закончил он.

Иван Иванович подумал, посмотрел на Николая Кораблева и с грустью:

— Значит, убивать?

— Убивать.

— Иначе никак нельзя?

— Никак. Чтобы жить так, как предлагаете вы, надо всех людей превратить в таких, как вы. Вы любите строить, а те любят грабить. Вы их хотите уговорить, чтобы они этого не делали, а они, вооруженные первоклассной техникой, идут, убивают вас и грабят все, что вы построили.

— Значит, так мир построен и этому не будет конца? Грустно. Очень, — и Иван Иванович уронил голову на грудь, будто она у него разом отяжелела.

— Мир построен плохо, что и говорить, — чуть спустя мрачно сказал Лукин. — Но его надо по-иному построить. Я думаю, — это последняя война на земле.

— А вам сколько лет?

— Тридцать пять.

— Ага. А мне шестьдесят восемь. На моей памяти русско-японская война, русско-германская война, гражданская война, и вот теперь снова Отечественная война. Я уже не говорю о том, что мир почти беспре-

станно воюет. То тут, то там. И вы думаете, что каждый раз не говорили: это война последняя?

— Говорили, но не действовали, а мы — действуем. И будем жестоко убивать тех, кто нарушил наш мирный труд. Мы поднимем всенародную войну и покажем всему миру, что мы не только красивы, но и сильны — несокрушимы: мы знаем, за что и во имя чего мы бьемся, — упрямо произнес Николай Кораблев.

— А все-таки во имя чего?

Николай Кораблев чуть подумал и так же упрямо:

— Те зовут к грабежу, а мы к жизни.

Иван Иванович не унимался:

— Но ведь и Рузвельт и Черчилль зовут к тому же.

— Не будьте наивны, Иван Иванович... — Николай Кораблев внезапно умолк и прислушался.

Откуда-то из серой утренней дымки несся крик. Человек кричал так, как будто его душили... И тут же совсем близко раздались один за другим два выстрела. Следом за этим из мелкого кустарника вышел шофер. На боку у него висели три глухаря. Шофер сиял, как стеклышко на солнце. Подойдя к костру, он небрежно кинул глухарей и так же небрежно проговорил:

— Хотел было четвертого, чтобы на каждого по глухарю. Улетел. А тут, рядом с вами, спрятался, подлец.

В эту секунду снова раздался крик. И все поняли, что крик несется с островка «Чайка» и что это кричит Альтман.

— Ну-у, во-от, — произнес Иван Иванович, обессиленный опускаясь на траву...

Часа через два к ним на берег рыбаки доставили Альтмана. Оказалось, что буря его вчера застигла у берегов острова. А что с ним было потом, как он очутился на острове, — он совсем не помнил. Рассказав это, он впал в обморочное состояние.

Иван Иванович нагнулся, пощупал у него пульс, затем так расхохотался, что все с удивлением посмотрели на него, а он хохотал и выкрикивал:

— О-о-о! Вот так анекдот! Я ведь его пригласил,

Николай Степанович, чтобы он вам анекдоты рассказывал, чтобы отвлечь, — и осекся, журя себя за то, что выдал все, и уже серьезно: — Ну, пора его в больницу.

Но когда они уселись в машину, Иван Иванович вспомнил про срочный пакет, адресованный Совнаркомом на имя Николая Кораблева. Пощупав пакет в грудном кармане, он задумался, как его передать и передавать ли сейчас. Ведь, в сущности, Николай Кораблев совсем не был «отвлечен», как это советовал доктор-знаменитость, а, наоборот, еще более взволновался.

«Я ему там прямо на квартире отдам, — решил было Иван Иванович. — Ну, а если это что-нибудь такое, тревожное? Может, про жену? Фу! Фу!» — фыркал он.

Но Николай Кораблев сам выручил Ивана Ивановича. Не доезжая километра три до строительной площадки, у подножия горы Ай-Тулак, он проговорил:

— Может быть, мы пройдемся? А то я просто отучился ходить. Давайте через Ай-Тулак на площадку...

Они охотно согласились и, отпустив машину с Альтманом, тронулись извилистыми, заросшими, звериными тропами.

6

Солнце выкатилось из-за гор, хлестнуло лучами по деревьям, пало на землю, и все заиграло густыми красками. Леса показались могучими, переплетенными. Вон лиственница — кудрявая и стыдливая, как девушка. Вон сосны-богатыри перемешались с березами, с сережек которых падают капли росы. И все это — деревья, бугры, полянки, весенние озерки, — все это горит, переливается на ярчайшем солнце. А в оврагах, в размоинах, в складках гор то и дело попадаются то слюда, то бурый уголь, то рыжие камни — руда.

— Что вы на это скажете? — подняв рыжий камень, обратился к Лукину Иван Иванович. — Урал —

он богат. Его на тысячу лет хватит. Знаете ли, когда-то тут люди из платины лили дробь. Да. Дробь. Уток стрелять.

— Да не может быть? — Лукин даже остановился, с недоверием посматривая на Ивана Ивановича.

— Лили дробь и стреляли по уткам. А по правде сказать, и сейчас еще из платины льют дробь. — Иван Иванович почему-то обозлился, зеленоватые глаза потемнели, губы плотно сжались. Отбросив камень-руду прочь, он почти скомандовал: — Идите-ка за мной, — и сам первый тронулся по мягкой, пружинящей, как пробка, тропе. Он шел быстро, беря крутизны с разбегу, забыв о том, что Николай Кораблев еще болен, вскрикивая, подзадоривая их: — А ну! А ну! Э-э-э, — а когда выбрался на вершину, гладкую, как колено, тяжело дыша, вглядываясь вдаль, вдохновенно сказал: — Мы с вами на вершине Ай-Тулак. Я старше вас. И возможно, я раньше уйду с этой грешной земли. Вам жить. Смотрите отсюда на древние седины Урала. Смотрите и запомните эту минуту.

Они стояли на вершине горы Ай-Тулак. Отсюда было видно, как гряды гор, налезая друг на друга, почерневшие от лесов, уходили в даль Уральского хребта; то тут, то там, сжатые скалами, плескались на солнце озера; а надо всем этим возвышалась, синея далеко на горизонте, гордыня Урала — Еремель. Все это было пустынно и величаво.

— Красиво, — проговорил Лукин.

— Для нас, инженеров, красиво — богато. Урал богат. Наши политические деятели послали в этом году сюда киевлян, ленинградцев, москвичей, людей из Поволжья... и в этом году Урал по-настоящему встряхнули. Много умных людей приехало сюда... Но дробь из платины еще продолжают лить.

— Ну уж, — возразил Николай Кораблев. — Это у вас, Иван Иванович, сегодня настроение такое.

— Да. Да, — чуть не закричал Иван Иванович. — Льют. Будем прямы и честны на вершине этой горы. Льют. Рукавишникова назначили же директором крупнейшего моторного завода. Разве это не то же самое, что лить дробь из платины? Вот вы, — обра-

тился он к Лукину, — главный партийный человек у нас. Почему вверяют такой завод Рукавишникову?

Лукин пристально посмотрел на Николая Кораблева и загадочно ответил:

— Ничего, и на нашей улице будет праздник.

— Когда будет праздник, я не знаю. Но я с вас обоих хотел бы взять клятву, вот здесь, на вершине этой чудесной горы, что вы будете старательно охранять богатства Урала и превращать их вот в такое. — Он торопко побежал еще вверх и, перевалив через грань горы, показал рукой на другую сторону. — Вот в это.

Внизу, у подножья Ай-Тулак, раскинулась огромная долина, вся изрезанная шоссейными дорогами, усыпанная жилыми домами, постройками. По шоссейным дорогам мчались легковые, грузовые машины, по стальным рельсам — паровозы, дымили высокие трубы, и двигались люди во все стороны, как муравьи. А среди всего этого, сверкая на солнце стеклянными крышами, возвышались, как дворцы, цеха.

— Вот в это надо превращать седой Урал, — сказал Иван Иванович и, выхватив из кармана пакет со штампом Совнаркома, подавая его Николаю Кораблеву, добавил: — И что бы ни было в этом пакете — горе, удар, беда, радость ли, — пусть это ни на секунду не отрывает вас, Николай Степанович, от великой задачи — превращать Урал в красоту для человека.

Николай Кораблев быстро распечатал пакет, прочитал, хотел было улыбнуться, но только отвернулся от них обоих и сказал, уже шагая под гору:

— Как будто на нашей улице праздник.

7

Весть о назначении Николая Кораблева директором моторного завода разлетелась по всем цехам, по строительной площадке. И все ждали — в цехах и на строительной площадке, — что он вот-вот явится, чтобы с одними заново познакомиться, а с другими по-доб-

рому проститься. Но Николай Кораблев, решив избежать шумихи, направился не в цеха, а в кабинет Рукавишникова, чтобы принять дела по заводу. Рукавишникова в кабинете не оказалось, тогда Николай Кораблев зашел к себе в контору и срочно начал сдавать дела Ивану Ивановичу.

Иван Иванович не ожидал такого назначения и даже как-то не верил. Смахивая батистовым платком со лба пот, он, волнуясь, говорил:

— Николай Степанович, а это не шутка? Я ведь глубоко беспартийный.

— Разве Совнарком шутит?

Сдав дела, Николай Кораблев наутро отправился в кабинет Рукавишникова, уверенный в том, что встретит наконец его там, но еще по дороге узнал, что тот со своими «единоверцами» на машине укатил в лес.

«Не ждать же мне, когда он проветрится», — решил Николай Кораблев и вошел в приемную, сталкиваясь тут с весьма наивными препятствиями.

Секретарша с накрашенными губами кинула на стол ключи от кабинета.

— Нате, нате, нате! А я вам не слуга. Я мать ребенка и по закону могу не работать. — Сказав это, она, вся пылая, вылетела из приемной в своей розовой косыночке, синей кофточке, зеленоватых туфельках, кружевах и бантиках.

Николай Кораблев нахмурился, открыл кабинет и тут буквально был потрясен: стены кабинета посерели от пыли и паутины, пол был в ошметках грязи, забросан окурками, а из темного угла, по дырявой домотканной дорожке, вышел кот, лохматый, сибирский. Его, видимо, никогда не чесали: длинная шерсть, скатавшись, висела на нем шариками, хвост наполовину облез и пушился только на конце. Он шел и желтоватыми узкими глазами смотрел на Николая Кораблева так же неприязненно, как посмотрела на него и секретарша. Кот присел и даже сделал движение, готовясь к прыжку, но, раздумав, вяло повалился на бок и стал выбирать из себя блох.

«На хозяина похож. Очень», — и Николай Кораблев, пинком отбросив кота, сел за стол.

Кот недовольно заворчал, прыгнул в кадку с фикусом и начал что-то быстро проделывать задними ногами, все так же сердито глядя на Николая Кораблева узкими желтоватыми глазами.

В эту минуту и вошел в кабинет Сосновский. Он вошел, шумно посмеиваясь, улыбаясь, показывая ряды белых зубов, и, увидав кота, захохотал, боком падая на диван:

— Хозяйничает? А-а! Кот! Я Рукавишникову несколько раз говорил: изгони, мол, ты эту тварь. Нет, слышь, кот счастье принесет.

— Еще бы, уборную устроил под фикусом, — и Николай Кораблев позвонил к себе на квартиру: — Надюша! Забери-ка, пожалуйста, с собой что надо и помой тут. Да. Да. В новом кабинете. После этого будешь секретарствовать. Ну! Страшно? Ничего страшного нет, рядом со мной сидеть будешь. Скорее только. — И затем обратился к Сосновскому: — Что будем делать? Рукавишников куда-то укатил.

— Сел на своего коня — запил.

— Да-а? Он же не пьет?

— Что ты, батенька, не пьет. Рюмками не пьет, а чайными стаканами, только давай! Да еще хвастается: я, слышь, рабочий.

Николай Кораблев поморщился:

— А я думал, захворал болезнью непризнанного гения.

Сосновский, поняв, что Николай Кораблев поморщился именно потому, что Рукавишников пьет, еще более оживленно заговорил:

— Ну, что ты, батенька мой, ты еще многого не знаешь.

Николай Кораблев крепче поморщился, посмотрел в расплывчато-доброе, совершенно беззлобное лицо Сосновского.

— Прошу без панибратства, — резко произнес он, — мы с вами собираемся заводом управлять, а не в городки играть. Я вам не давал права называть меня на «ты» и «батенькой», как и вы мне такого не давали. Да и не надо.

Сосновский. При упоминании этого имени у моло-

дежи загораются глаза, а у старших глаза покрываются грустью. Девятнадцатилетним парнем он прямо со школьной скамьи попал в бурный круговорот событий. Было это в тысяча девятьсот семнадцатом году — в год великих социальных перемен. Вот тогда еще Сосновский выступил на митинге в поволжском уездном городке и так завоевал слушателей, что очутился на гребне событий. В городке тогда стояли запасные полки солдат, и Сосновский вместе с солдатскими комитетами еще в августе тысяча девятьсот семнадцатого года «объявил советскую власть». Потом он вместе с добровольческими отрядами, вместе с запасными полками ушел на фронт, где был избран членом революционного военного комитета, и прославил свое имя в борьбе с бандитами Юденича, Колчака, Деникина, в боях с немцами на Украине.

Кончилась гражданская война, и советский народ принялся за восстановление страны. Сверстники Сосновского пошли в учебные заведения, в известный по тому времени институт имени Баумана, в Сельскохозяйственную академию, на рабфаки и через несколько лет вышли с теми знаниями, которые так нужны были стране. Сосновский заявил:

— Меня достаточно наукам обучила жизнь. Ведь я же первый в Поволжье объявил советскую власть.

Вскоре после гражданской войны он был назначен председателем треста цементной промышленности. Вместо того чтобы вникнуть в дело, Сосновский начал рассказывать всем о том, как он «объявил советскую власть», как «воевал», не замечая, что все это у него превращается уже в какую-то болезнь: первый «объявил советскую власть», значит и здесь что-то должен сделать первым... и он стал «оригинальничать», «отыскивать новое, свое», а надо было работать — по-будничному, упорно, много. Его начали критиковать, сначала вежливо, тихо, потом все громче и громче. Вначале он на всякую критику улыбался, показывая белые зубы, заявляя:

— Вы сами поучитесь... у меня поучитесь... Ведь я... — и опять о своем прошлом, мягко и открыто улыбаясь. За что и получил кличку «улыбчивый».

Вскоре «для пользы дела» его перевели директором одного крупного курортного городка на Черном море. Но и там повторилось то же. И люди в Москве задумались: что делать с Сосновским? Почему прилипла к нему кличка «улыбчивый»? — Не ту работу ему даем, — решили люди в Москве и снова начали посылать его на «должности». Был он и уполномоченным ЦКК, был и редактором большой газеты, был и директором музея. Но куда бы его ни посылали, вся эта история повторялась... Но однажды Сосновского направили из Москвы, во главе юбилейной комиссии, приветствовать одну республику... и Сосновский выполнил это поручение. Он держался с вежливым достоинством, произносил зажигательные речи, и в республике были довольны им.

— Наконец-то нашли мы ему дело, — решили люди в Москве, радуясь за него, и с этого раза Сосновский превратился в постоянного «председателя комиссий». Но Сосновский ворчал:

— Завидуют. Неоперенная молодежь. Ничего, придет время, спохватятся.

В первые дни войны он обратился с просьбой отправить его на фронт. Но под благовидными предлогами его просьбу не удовлетворили. Он начал разыскивать своих бывших друзей по гражданской войне и нашел наркома, в ведении которого находился моторный завод, эвакуированный на Урал. Сосновский позвонил наркому, назвав его просто Илья и спросив, когда к нему можно «заглянуть».

— Да в любое время, — ответил нарком. — Рад буду тебя видеть.

Но когда нарком узнал, что нужно Сосновскому, он задумался. «Дать работу. Какую же я ему могу дать работу? — думал он, одновременно вспоминая вместе с Сосновским прошлое и то, каким героем тогда держался Сосновский. — Какую же работу я ему дам? Послать на место Макара Рукавишникова? А чем он лучше Рукавишникова? В комиссиях работал, говорят, хорошо».

— Знаешь что, Семен, езжай-ка от нас уполномоченным на завод. На Урал. Директор там у нас пло-

ховат, ты приглядись к нему, к делам и пиши мне, — а сам подумал: «Вмешиваться в дело ему не надо будет, а человек он честный».

«Уполномоченный наркома?! Это весомо», — подумал Сосновский, растрогавшись, и пожал руку своему другу по гражданской войне.

И вот теперь, когда так резко Николай Кораблев обрушился на него, он сморщился, перестал улыбаться и, заикаясь, сказал все то же:

— Я ведь... я ведь... вы, может быть, и не знаете, но я первый объявил советскую власть в Поволжье...

Николай Кораблев внимательно посмотрел на него и, проникаясь к нему уважением за прошлое, мягче добавил:

— Это очень хорошо... Это ваша большая заслуга. Но видите ли, я держусь того правила, что мы друг друга не имеем права похлопывать по плечу. Мы должны друг друга жестоко критиковать и не привязываться друг к другу, чтобы не прощать: ошибки растут, как грибы после дождя, когда их прощают. Вы должны все это понять. Вы вот посоветуйте, что нам делать со столом?

Сосновский облегченно вздохнул, снова заулыбался и, потрогав ящик стола, сказал:

— Да открывать надо.

В ящике стола бумаги лежали так, что их оттуда еле удалось извлечь. Казалось, их тискали в течение нескольких лет с одним намерением — больше и не доставать. Бумаг было много, с разных концов страны — из Казахстана, Поволжья, Сибири, Москвы, с фронта, из наркоматов, и даже отношение из Совнаркома о назначении Кораблева и об освобождении Рукавишникова находилось тут же. Большинство бумаг было не читано, на иных же корявым почерком Рукавишникова наложены резолюции: «К сведению».

— К сведению и в стол, — захохотал Сосновский, став уже опять тем же, прежним.

Николай Кораблев разбирал бумаги, смущенный так, как будто его самого застали за пакостным делом. Вот он натолкнулся на письмо Степана Яковле-

вича. Тот грубо писал Рукавишникову: «Эй! Директор. Когда я до тебя доберусь?.. Третье письмо посылаю. У нас в термическом цеху шесть рабочих заболели от истощения. Питание надо подбросить, не то круче пойдет дело». На уголке надпись Рукавишникова: «Врут. Работать, бездельники, не хотят. Симулируют».

Сосновский снова захохотал. Николай Кораблев побагровел, ненавидящими глазами посмотрел на него.

— Вы что ржете, как жеребец? Тут плакать надо. Шкуру надо с Рукавишникова спустить за такую резолюцию и за такие дела. Ведь друзья этих рабочих, наверное, написали семьям, как их отцов кормят на заводе, где директор Рукавишников, а уполномоченный наркома — Сосновский, а вы сидите и ржете. Чорт бы вас побрал!

Сосновский оборвал смех и тоже побагровел.

— Да я не над этим, а над резолюцией. Но ведь все равно, кормить-то нечем.

— Так? Нечем? Знаете ли вы, что лодырь от голода не умрет: он опилками прокормится. Умирает тот, кто работает. Значит, надо питание так распределить, чтобы оно попало тому, кто работает, а второе — потребовать от правительства добавочные фонды.

Сосновский тупо посмотрел в угол и, опять отыскивая оригинальное, свое, сказал:

— Не дадут.

— А вы пытались?

— И пытаться нечего: война.

— Вот и нелепо. Разыщите-ка мне сейчас же начальника снабжения.

Сосновский, видимо, такого вовсе не ожидал. Он глянул мимо карих глаз Николая Кораблева на его курчавую голову, на трубку, которую тот, дымя, держал в зубах, и с дрожью проговорил:

— Я ведь уполномоченный наркома, а не ваш личный секретарь.

— Будем подчиняться делу, а не чинам. Видите, я разбираю бумаги, а вы на диване ногами дрыгаете.

— В самом деле... в самом деле. Вот чепуха какая, — и, взяв трубку, Сосновский позвонил: — ОРС. Ершовича мне. Товарищ Ершович? А нуте-ка в кабинет директора. Да. Да. Кораблев. С делами? А уж это ваша воля.

8

Вскоре в кабинет вошла Надя с ведром, веником, тряпкой — маленькая, еще совсем похожая на девчушку; а следом за ней, отдуваясь, будто кузнечные меха, ввалился Ершович. Он вошел, еле поворачивая головой на залитой жиром шее, ступая толстыми ногами, как чурками. Посмотрев большими навыкате глазами сначала на Сосновского, потом на директора, он пошел к столу, отрекомендовываясь:

— Товарищ Ершович. Явился по вашему приказанию. Начальник ОРСа.

«Ну, этот не развалится от истощения», — подумал Николай Кораблев, глядя на Ершовича. — Где Рукавишников?

— Рукавиш... — Ершович пошлепал, будто пробуя патоку, кровянистыми губами, помялся. — Прямо сказать?

— А попробуйте криво.

Тогда Ершович, напрягаясь, прошептал:

— Десять литров. Десять. Доза лошадиная, скажу вам лично.

«Дал и сплетничает», — неприязненно подумал о нем Николай Кораблев и еще спросил: — Список сотрудников ОРСа при вас?

Ершович снова весь налился кровью и, изгибаясь, подал список. Николай Кораблев посмотрел, сказал:

— Наполовину сократить и послать на производство. Кого? Ступайте вместе с товарищем Сосновским в кабинет Альтмана и сократите. Ступайте, говорю, с товарищем Сосновским и сократите.

— Но это немыслимо — сократить. Уверяю вас. Вы ломаете весь мой аппарат, — возопил Ершович и умоляюще посмотрел на Сосновского.

— Лучше будет. По опыту знаю, — сказал Нико-

лай Кораблев. — На строительной площадке рабочих в два раза больше, а штат организации рабочего снабжения в три раза меньше.

Сосновский взял под руку Ершовича, подмигнул ему — дескать, не рипайся, — повел его из кабинета. И они пошли медленно, вяло, неохотно, как выходят люди из теплого помещения на холодный осенний дождь. Николай Кораблев посмотрел им вслед, покачал головой и тихо произнес:

— Ишь! Ишь!

В кабинет вошел Лукин. Мрачно поздоровавшись с Николаем Кораблевым, спросил, садясь на диван:

— Ну! Тут как?

— Вот как, — и директор протянул ему письмо Степана Яковлевича, адресованное на имя Рукавишникова.

Лукин прочитал, встревоженно произнес:

— Страшное письмо... А это как — широко... или?

— Вот сейчас проверим! — Николай Кораблев взял трубку и позвонил главному врачу завода. Положил трубку, сказал Лукину: — Это — питание рабочих — основа основ. Думаю, систему распределения продуктов на строительстве надо целиком перенести сюда. И в этом, главном, прошу вас помочь мне.

Главный врач, плоский, как горбыль-доска, в старом поношенном сюртуке, с серебряной цепочкой через всю грудь, явился немедленно же, как будто ждал вызова тут за дверью. Он вошел в кабинет, расшаркался, поискал близорукими глазами директора и, подавая ему руку, воскликнул:

— Наконец-то! Манна! Манна небесная нам с неба свалилась. Ведь что творится на заводе, вы и не поверите! Истощение идет полным ходом, — он порылся в карманах, вытащил кипу актов и бросил на стол. — Вот, полюбуйтесь. То есть чем же тут любоваться? Тут надо рыдать. Да. Рыдать!

Николай Кораблев стал просматривать акты, а Лукин резко спросил:

— Полным ходом?

— Да. Фурункулы и все прочее.

— Какой процент? — спросил Николай Кораблев.

— Один, два.

— Ну, это еще не полным ходом. Но может пойти и полным ходом. Что нужно, чтобы приостановить?

— Дополнительное питание и главным образом витамины.

— Да-а. Значит, нужен шиповник? А чем его можно заменить?

— Смородина, — начал быстро перечислять врач, — кедровник, хвоя ели. Знаете, такая молодая...

— Ага, — прервал его Николай Кораблев и посмотрел в окно, на горы, усыпанные молодой и старой елью. — Что ж, за елью нам в Москву посылать, что ли?

— Да нет, зачем же, — не поняв шутки, воскликнул врач. — У нас тут она под рукой. Я ведь говорил. Несколько раз.

— Хорошо, — снова остановил его Николай Кораблев. — Садитесь-ка вон там в уголке и составьте с товарищем Лукиным полный, предупреждающий акт об истощении. Для наркома. Что вы так смотрите на меня?

— А мне... простите нас... не того?

— За правду — не того, за ложь — того.

И тогда вторая комиссия засела в углу. А Николай Кораблев вызвал заведующего столовой и спросил его, почему рабочему на обед приходится тратить около трех часов. Заведующий столовой рассказал самые простые вещи: чтобы получить хлеб, рабочему приходится около часа стоять в очереди, затем в очереди за ложкой, затем в очереди за кушаньем.

— А за обедом-то он сидит всего каких-нибудь пятнадцать минут: его другие выживают.

— Сколько человек надо поставить, чтобы устранить очередь за хлебом?

— Семь, — быстро ответил заведующий столовой и, подумав: — А десять тем паче.

— Десять человек на пять тысяч рабочих? В очереди за хлебом рабочие теряют пять тысяч часов, в очереди за ложкой пять тысяч часов. Ведь это десять тысяч рабочих часов. Чорт знает что! Вы

ежедневно у завода воруете десять тысяч рабочих часов. Вы понимаете?

— Понимаю в точности, тем паче.

— Вот вам и тем паче. Пригласите-ка сюда одну из умных официанток.

— У нас есть такая. Профстаж шестнадцать лет.

— Мне нужен не профстаж, а умную. И еще — вызовите рабочего, который больше всех вас ругает.

— Есть такой. Есть-есть, — с радостью объявил заведующий столовой. — Петров Степан Яковлевич. Кадык у него — знаете, нет ли — вот такой, с кулак. На-днях меня чуть не побил. А еще начальник цеха, вроде интеллигенции.

— Вот и хорошо, — сказал Николай Кораблев, и заведующий столовой так и не понял, что хорошо: то ли, что Степан Яковлевич не побил его, то ли, что есть такой рабочий.

Надя с полчаса командовала в кабинете. Она смахнула паутину и пыль, все вымыла, и кабинет засветился. Сделав все это, она, глядя на растерянного кота, которому чистота в кабинете, видимо, показалась просто дикой, проговорила:

— А с этим что делать, Николай Степанович?

— Уволить, Надюша. Немедленно и без выходного пособия. А теперь садитесь (он тут решил ее называть на «вы»), садитесь там, в приемной, и помогайте мне. Ну, ну... Задрожало сердечко. Вы же комсомолка? Ну, вот и разыщите-ка мне вашего секретаря.

— Ванечку? — вся вспыхнув, спросила Надя, чувствуя, что ей вызвать Ванечку будет легко.

— Да. Да.

Ванечка, молодой, статный, «налитой парень», как о таких говорят, всегда держал себя серьезно: морщил лоб и даже отращивал усы. Ему страшно не нравилось, что его все зовут Ванечкой, и поэтому он подписывался так: «Иван Гаранин». Николай Кораблев, разбираясь в столе, видел уже несколько бумаг за подписью Ивана Гаранина... и теперь, когда вошел Ванечка, он посмотрел на него, на его не совсем натуральное поведение, подумал:

«И я такой же был. Ну, вот точь-в-точь: бороду

все отращивал, чтобы казаться старше», — и проговорил: — Мне не нравится, что вас все зовут Ванечкой. Какой вы Ванечка? Вы руководитель комсомола, а комсомольцев у нас на заводе, кажется, девятьсот человек?

Ванечка вспыхнул.

— Девятьсот четырнадцать. Шестьсот девяносто две девушки, остальные юноши.

— Иван... Иван...

— Никифорович, — ответил Ванечка.

— Иван Никифорович. Вы садитесь, пожалуйста. Знаете ли вы о том, что в институте имени Павлова делали такой опыт: несколько дней не давали собаке спать. Кормили ее искусственно, но спать не давали. И она на седьмой или восьмой день сдохла. Вы, вижу, хотите меня спросить — к чему это директор такое говорит? А вот к чему: у нас очень плохо спят рабочие. Как вы насчет этого?

— Везде плакаты висят.

— Это хорошо. Пусть их висят. Но вы койки наладьте. Шум около общежития устраните. Изучите, как живут рабочие, и завтра же мне, пожалуйста, доложите. Узбеки у нас есть? Казахи?

— Да. Странный народ.

— Такой же народ, как и мы с вами. А вот вы не пробовали кушать, сидя на полу? Удобно?

— Очень неудобно.

— Так вот, а им неудобно за столом, потому что они всю жизнь кушают на ковре. Уберите ваши столы, поставьте низенькие столики, и пусть они кушают, сидя на полу. И еще надо построить три-четыре чайханы. Понимаете? Пусть пьют вдосталь чай. Но не все, а кто заработает. Возглавьте это дело вы — комсомольцы.

— Очень хорошо, — уже не в силах сдержать себя, невольно распуская яркокрасные губы, проговорил Ванечка, собираясь уходить.

— Но это еще не все, Иван Никифорович, — снова задержал его Николай Кораблев. — Давайте прямо говорить: завод запакостили. Моторный завод должен быть чистый, светлый, чтобы на нем было радостно

работать. А сейчас он походит на помойную яму. Его надо вычистить. Два-три воскресника. Мы, конечно, вам дадим все — транспорт, людей. Но пусть это будет ваша честь, комсомольцев.

С Ванечки разом все ненатуральное слетело. Вскочив с дивана, взмахивая руками, которые вдруг вышли из его повиновения, он звонким голосом выпалил:

— Какой вы! Какой вы, Николай Степанович, умный... Вы и сами еще не знаете, какой вы умный!

— Ну, как сказать, — ответил Николай Кораблев, склонив голову и тоже став юношески задорным.

9

Перед Николаем Кораблевым возник новый и более сложный вопрос. Макар Рукавишников, стремясь создать «свои кадры», разогнал инженеров, назначив на их место опытных и умных рабочих. Николай Кораблев все это мог бы устранить очень просто — отдать приказ о возвращении инженеров на старые места. Но такой приказ вызвал бы ряд недоразумений, личных обид и дал бы материал для демагогов. Поэтому Николай Кораблев и решил провести это мероприятие не от себя, а от рабочих, с этой целью и пригласил к себе Ивана Кузьмича.

Иван Кузьмич вошел в кабинет скромно, робко, но, увидав Николая Кораблева, решительно направился к нему.

— С радостью поздравляю, Николай Степанович, и желаю успеха, — проговорил он.

— Очень хочется успеха, Иван Кузьмич. Очень, — открыто произнес Николай Кораблев, уводя его во вторую маленькую комнатку.

Тут уже кипел чай, приготовленный Надей. Налив себе и Ивану Кузьмичу, Николай Кораблев задумчиво сказал:

— Большое это дело — завод.

— Еще бы, — отхлебнув крепкого чаю, ответил Иван Кузьмич, внимательно прислушиваясь к директору.

— И вот посоветоваться с вами хочу, Иван Кузьмич. И вы помогите мне, как всегда, от полного, чистого сердца.

— Готов. Готов, — ответил Иван Кузьмич, еще с большим напряжением думая, зачем его пригласил директор.

Николай Кораблев хотел было начать издалека, привлекая к этому делу и сына Ивана Кузьмича, инженера Василия, работающего под Сталинградом на обороне. «Иван Кузьмич, — намеревался было он сказать, — вот если бы вашего сына поставили на место сапера, а сапера — опытного, умного, конечно, назначили бы начальником оборонных работ. Как бы вы посмотрели?» — Но ему стало как-то нехорошо, как было бы нехорошо, если он что-нибудь подобное стал бы говорить Татьяне. И он, глубоко вздохнув, сказал прямо: — Хочу, Иван Кузьмич, всех инженеров вернуть на старые места. Обиды не будет?

Иван Кузьмич допил стакан до конца, поставил его к чайнику, сказал:

— Налей-ка мне еще, — придвинул стакан с чаем к себе, помешал ложечкой, взял кусочек сахару, разломил его пальцами и поднял глаза на Николая Кораблева. — Не думайте, что я против. Нет. Учили ведь мы их, инженеров-то, а теперь выходит — они в сторонке. Вернуть. И я с вами согласен на все триста процентов.

— Вы-то, знаю, согласитесь, а как, например, Степан Яковлевич?

— Что ж, он мужик крутого нрава, да ведь он сознательный, — и, допив чай, Иван Кузьмич весь встряхнулся. — Я вот сам с ним поговорю, ежели разрешение от вас будет.

— А как же? Переговорите, пожалуйста, и, если надо, убедите и скажите, что я его уважаю, ценю так же, как и вас.

Иван Кузьмич всегда чувствовал себя в кабинете Николая Кораблева неловко, зная, что тому некогда; пошел было, но в дверях задержался, почему-то посмотрел на свои руки и, подняв лицо, глядя прямо в глаза директора, тихо сказал:

— А то... для термического цеха... как? Я все материалы захватил сюда.

— Захватили? Ну, спасибо. А впрочем, кому же я передаю спасибо: вы ведь так же заинтересованы в этом деле, как и я. Хорошо. Доберемся мы и до того дела. А материалы перенесите ко мне. Сохранятся лучше.

Иван Кузьмич снова помялся. Тогда Николай Кораблев спросил его:

— Вы еще что-то хотите сказать? Как у вас с семьей?

Иван Кузьмич, глядя в ладонь, растирая ее большим пальцем, мотнул головой.

— Нет. Не об этом. О человеке. Говорю, человек какой — хороший будто, а вывернулся — весь в изъянах... С шубой иногда так бывает: глядишь — хороша, а вывернул — чорт-те что... Я это про Рукавишникова.

— Ну, нет, — заторопился Николай Кораблев. — Он человек хороший. Только... только... Знаете что, вот если бы мне предложили сделать доклад... ну, по астрономии. Я бы, конечно, поотбивался, а потом прочитал бы ряд книг и выступил бы... перед вами. Ну, а если бы мне сказали — доклад-то надо делать перед академиками... и, конечно, я сразу бы поглупел. И тут...

— Об этом и я: трехпудовую гирю ему в руки дали и сказали: «Кидай. Показывай фокусы», — и, чуть подумав: — Вы его обратно в термический цех пошлите: там ему гиря по руке.

Тут помолчал в раздумьи Николай Кораблев.

— Нет, — под конец сказал он, — там его затрут: был директором, набезобразничал, теперь опять в термический. Нет. Я, пожалуй, назначу его своим заместителем по техническому снабжению.

— Милостивый вы, а он ведь вас так порочил.

— Не милостивый. Только не милостивый, Иван Кузьмич.

— А какой же? — и в глазах Ивана Кузьмича заиграли искорки.

Николай Кораблев снова подумал и, как бы рассуждая сам с собой, заговорил:

— Убить человека — плохо это. А ведь я, имея в руках такую власть, грубо выражаясь, могу его слопать. А во имя чего это? Никогда не следует превращать личную обиду в политику. Конечно, я его к себе на квартиру не пущу, за один стол с ним не сяду... но тут, на заводе, я обязан его поставить на ноги. Так ведь, Иван Кузьмич?

Иван Кузьмич с удивлением, как бы впервые видя его, посмотрел на Николая Кораблева и, отступив на шаг, сказал:

— Сразили вы меня.

10

Часа в два дня в кабинет вошел Альтман, забинтованный, перевязанный, в больничном халате, и остановился в дверях, как привидение. Николай Кораблев посмотрел на него и строго проговорил:

— Это что за маскарад?

— Услыхал о вашем назначении и не могу лежать. Ну их к чорту, докторов! — Но, увидев в углу врача, зажал рот.

— А вот и мы, — сказал Иван Кузьмич, войдя в кабинет вместе со Степаном Яковлевичем, так же счастливо улыбаясь, как улыбается мать, ведя первый раз сына в школу.

Степан Яковлевич, поздоровавшись с Николаем Кораблевым, прокашлялся и положил на стол листочек бумаги.

Николай Кораблев прочитал:

«Директору моторного завода Николаю Степановичу Кораблеву от начальника термического цеха Степана Яковлевича Петрова. Прошу во имя завода освободить меня от начальствования и вернуть инженера Лалыкина, а меня оставить заместителем, как я вполне справлюсь».

Прочитав, Николай Кораблев взволнованно подумал:

«Какое благородство! И как они все понимают! И какие дела с ними можно делать!» — Подумав так, он повернулся к Альтману: — Сбросьте халат. Пригласите к себе Ивана Кузьмича и Степана Яковлевича. Разберитесь во всех неполадках на заводе. Почему мы отстаем с программой? Знаю. Знаю, — быстро проговорил он, увидав, как Степан Яковлевич закачал головой. — Устранить неполадки вы не сможете, это наше дело, но указать на них вы сможете: вы их видите лучше нас.

Тут и поднялось что-то невообразимое.

Сосновский и Ершович еще не успели наметить, кого надо сократить из служащих ОРСа, как отовсюду послышались телефонные звонки. Первым позвонил председатель месткома и рекомендовал: «Не сокращать ОРСа». Потом по этому же вопросу позвонил кто-то из городка Чиркуль, потом из главного города Урала, потом звонили вообще какие-то люди, не называя своей фамилии, уже грозя Николаю Кораблеву.

— О-о-о! — воскликнул он. — Да тут целая корпорация. Дайте-ка список, — он еще раз посмотрел список служащих. — Сто восемьдесят два человека? Так. Оставьте восемьдесят человек. Хватит. И еще — всех мужчин, способных к физическому труду, перевести на производство и заменить их, кроме Ершовича и его помощников, женщинами — теми, у кого кто-то есть на фронте. Эти будут знать, на кого работают, — и снова углубился в дела, вызывая людей, с некоторыми открыто советуясь по тому или иному мероприятию, составляя приказы о перемещениях. И кабинет заполнился людьми: одни уходили, другие приходили и «заседали» где-нибудь на диване, в уголке, на подоконнике.

Но вот вошла Надя и, расширенными, перепуганными глазами глядя на Николая Кораблева, сказала:

— Толпа. Работники ОРСа.

— Скажите им — принять не могу, пусть напишет каждый, что он хочет.

Надя вышла. Через какие-нибудь двадцать—три-

дцать минут она положила на стол перед Николаем Кораблевым кипу заявлений и улыбнулась:

— Как плохие ученики: все у одного содрали.

Николай Кораблев посмотрел несколько заявлений. Работники ОРСа писали:

«Ввиду того что страна находится в войне против зверя-фашиста, исходя из патриотических идей, прошу меня оставить на работе в ОРСе бесплатно, то есть без жалованья».

— О-о-о! Жулики! — воскликнул Николай Кораблев. — Выгнать с завода.

— Совсем? — спросил Ершович, пуча, как рыба на берегу, глаза.

— Чтобы и духу не было... Да и не жалейте, а то самому придется плакать.

— Хорошо. Я подчиняюсь, — весь наливаясь кровью, заикаясь, проговорил Ершович. — Но... но это помимо моей воли.

— Я на то сюда и послан, чтобы диктовать вам волю. За откровенность спасибо... и всегда прошу быть таким: протестуйте, когда не согласны, но если уже мною принято решение, — выполняйте безоговорочно.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Прошло несколько месяцев. Завод стал неузнаваем: двор очищен от мусора (его в течение двух недель возили и сваливали в овраг), дороги, тротуары заново заасфальтированы, в цехах посветлело, в глазах у рабочих появилась задорная искорка... и завод задышал по-другому. Он напоминал собою человека, который после продолжительной и нелепой болезни вдруг выздоровел и, всем радостно улыбаясь, говорит: «А я уже одной ногой был в могиле. А теперь, ох, и силища же во мне».

— Ну и хватка у вас львиная, — сказал Иван Иванович, восхищаясь работой Николая Кораблева.

Николай Кораблев не сразу ответил. Похвала ему была приятна, но он задумался над этим: «львиная хватка».

— Львиная хватка, Иван Иванович, может быть у борца, — подумав, заговорил он. — Тому что? Схватил за шиворот — и через плечо... или у торгаша, капиталиста: цоп — и в карман. У нас ведь система-то другая.

— Очень тонкая и очень сложная.

— И новая, не имеющая столетнего опыта. Мне передавали, как однажды в Кремле на совещании Иван Кузьмич сказал: «Ежели рабочий только боится начальника, то он сделает, что полагается, но ежели он любит, скажи ему: сверни гору — две свернет». Понимаете? Ведь там, по ту сторону нашей системы, о любви рабочих к своему начальнику — хозяину — и речи не может быть. А у нас, в системе нашего производства, оказывается заложено и это — любовь. — Николай Кораблев рассмеялся. — Любовь и производство. Странное сочетание, не правда ли?

— Раздай им все — они и полюбят, — намеренно задирая, проговорил Иван Иванович, пряча глаза.

— Э-э-э, нет. В том и сила нашей системы, что не дадут растаскивать: вместо одного хозяина на заводе у нас их сотни, а то и тысячи.

Дверь приотворилась, вошла Надя. Она была в голубом платье, приобретенном год тому назад. Но тогда оно висело на ее еще полудетских плечах, теперь оно ее обтянуло, вырисовывая уже развитые бедра, грудь, плечи. По-домашнему тепло улыбаясь, она кивнула на дверь:

— Иван Кузьмич. Конечно, можно? — и скрылась.

— Вот один из больших хозяев завода, — сказал Николай Кораблев, вставая из-за стола, идя навстречу Ивану Кузьмичу.

На этот раз Иван Кузьмич был необычайно приодет. В сером отутюженном костюме, на голове бархатная кепка старинного покроя, называемая «семь листов и одна заклепка», на ногах широконосые с резинками на боках ботинки, а из-под полы пиджака

виднелись кисточки пояска. Поздоровавшись с Николаем Кораблевым и Иваном Ивановичем, он, видя, как недоуменно смотрит на его костюм директор, садясь на стул, сказал:

— Елена Ильинишна переслала с одним добрым человеком. И сама собирается сюда — всей бригадой. Да-а. Вот так-то. Слетаться начинаем. Первой, конечно, скачет жена Степана Яковлевича. Ну, этой легче, одна сорока. — Как всегда, он и теперь чувствовал себя в кабинете директора стесненным, зная, что у того каждая минута на счету, и поэтому заторопился. — По такому делу к вам, Николай Степанович: во-первых, квартиру надо.

— Иван Иванович отстраивает вам и Степану Яковлевичу отдельный домик — коттедж.

— Благодарю за заботу, — Иван Кузьмич, повернувшись к Ивану Ивановичу, легонько кивнул. — А во-вторых, как только устроимся, прошу на новоселье. И, в-третьих, зачем и пришел по существу, — тут Иван Кузьмич посмотрел в ладонь, растирая ее большим пальцем, и, приподняв голову, сказал: — Шел сюда, думал, начну так и эдак... а вот сейчас сердце требует — скажи прямо. Обида у меня — очень большая.

— Что такое? — встревоженно спросил Николай Кораблев и положил руку на плечо Ивана Кузьмича, который хотел было приподняться со стула.

— Слыхал, работу по закалке металла током высокой частоты посылаете на соискание государственной премии?

— Посылаем, — Николай Кораблев шагнул к несгораемому шкафу и достал папку в черном кожаном переплете.

— Это очень хорошо, — согласился Иван Кузьмич, но в его голосе послышалась жестокая обида. — Очень хорошо... надо послать... и правительство, конечно, одобрит... и премию первейшую выдаст.

— А в чем дело, Иван Кузьмич?

— Не существенна обида — растолкуйте, существенна — поправьте, — еще злее проговорил Иван Кузьмич. — Василия, слыхал я, нет?

— Как нет? Что вы! — Николай Кораблев развернул папку, открыл первую страницу и пододвинул к Ивану Кузьмичу.

Тот дрожащими руками вынул очки и прочитал в уголке на первой странице:

«Авторы: Василий Иванович Замятин,

Николай Петрович Лалыкин,

Николай Степанович Кораблев».

Иван Кузьмич еще раз прочитал, затем уж только «Василий Иванович Замятин». Поднял голову, снял очки и увлажненными глазами посмотрел на Николая Кораблева.

— Не забыли, значит? А мне сказали, что сына-то и нет. Вот и верь постороннему слуху. Ну... и все, — встал, пошел — и от двери: — Так прошу на новоселье.

Когда за ним закрылась дверь, Николай Кораблев не менее взволнованно, чем Иван Кузьмич, сказал:

— Законная тревога за сына. А у нас с вами такая же тревога должна быть не только за каждого рабочего, но и особенно за каждого инженера. — Он болезненно поморщился, трогая рукой седой клок волос на голове. — Есть, знаете ли, такой дурацкий взгляд: дескать, война и пусть все работают... в любых условиях... Это преступно. Люди приехали сюда из Москвы, Ленинграда, Киева, других городов. Там были и театры, и кино, и хорошие доклады, и журналы — ведь это для них, как соль к столу. А тут ничего этого нет. Ну, можно день без соли, два, месяц, мы ведь здесь уже почти год. И начинается. Что? Душевная цынга.

— Как? Как вы сказали? Цынга? Да, это страшная штука. И никаких витаминов не подыщешь.

— Нет, они есть: творчество, Иван Иванович. Мы направили всю техническую интеллигенцию на рационализацию производства, и такая поднялась волна, какой мы вовсе не ждали. Вон, посмотрите-ка, — Николай Кораблев показал на стол у окна, заваленный папками, тетрадями. — Это все предложения. Есть тут, конечно, и «умопомрачительные», но очень много полезного, даровитого. Например, у нас на заводе было до тысячи видов инструментов. Четыре инжене-

ра взялись за это и сократили до... просто страшно говорить... до двадцати девяти. Вы понимаете, какой это прыжок? Рабочему надо знать не тысячу, а только двадцать девять. Или по тому же термическому цеху. Есть у вас полчасика свободных? Сходим туда.

— С удовольствием. У меня у самого, Николай Степанович, душа малость покрылась ржавчиной: еще нет своего, домашнего рабочего стола.

2

Их встретила нежная уральская ночь... Откуда-то со стороны легкий ветер нес густые запахи гор. Запахи эти смешивались с дыханием завода — едкой гарью, нефтью. Иван Иванович повел носом, остановился, сказал тихо, как бы боясь что-то спугнуть:

— Чуете, Николай Степанович? Это вот горьковатое — сосна, а это вот, — он еще потянул носом, — дикий клевер... Ах, ах. А это вот богородская трава. И вам не хочется туда, в горы? — и спохватился: — Как у вас, родной мой? Давно я вас не спрашивал.

— Все жду. Иногда, знаете ли, просыпаюсь ночью и слышу, как она говорит: «Ага, спят. Где-то он тут?» Вскакиваю, бегу на крыльцо и вижу только ночь. Вы меня, пожалуйста, об этом не спрашивайте: уж очень тоскливо... Вы лучше вот... — и Николай Кораблев показал рукой на проезд.

Центральный проезд, как и боковые улицы завода, усаженные тополями, загудронированные, колыхался в море огней. Николай Кораблев подошел к одному чугунно-черному, с витиеватыми нарезами фонарному столбу и похлопал его ладошкой:

— Предлагали всякое на столбы — сосну, лиственницу, а мы выхлопотали, чтобы нам прислали их из Москвы. Эти когда-то стояли на Тверской. Красивые были. А потом на Тверской появились гиганты-дома, сама улица расширилась раза в три, и столбы эти стали смешны. А у нас они украшают: они приближают нас к Москве и к нашему чудесному моторному

заводу. Ах, какие липы мы там рассадили! И вы, Иван Иванович, вполне понимаете, что, строя коттеджи для рабочих, вы тоже приближаете их к Москве.

Иван Иванович насупился.

— Нет, сюда надо по крайней мере миллионов пятнадцать, вот тогда Урал скажет свое настоящее, веское слово. И, наоборот, я хочу сделать так, чтобы люди не стремились в Москву.

— Вы меня не так поняли: ведь чтобы люди не стремились в Москву, надо создать такие же условия и здесь: квартиры, школы, клубы, детские дома, площадки, театр, хорошие тротуары, дороги.

Они прошлись по центральному проезду, свернули влево. Тут строился новый главный сборочный цех: завод расширялся, чтобы из моторного превратиться в автомобильный. Около строящегося цеха не видно было ни лишней доски, ни лишнего кирпича, а дорожки были посыпаны желтым, золотистым песком.

— Не отступаете... от песочка, — проговорил Николай Кораблев.

— Нет. Это моя привычка, как утром умываться.

И вдруг все это — ритмическое дыхание завода, запахи гор, красивое, углубленное морем электрического огня небо, золотистый песочек, — вдруг все это куда-то рухнуло: они вошли в термический цех, и их обдало гарью, гулом, грохотом, скрежетом железа, визгом стальных прутьев. Из огромных печей рвалось бушующее пламя. Около печей мельтешили люди — грязные, изможденные, высушенные обильным потом и сквозняками.

— Ад! — сказал Иван Иванович. — И так ведь во всем мире, в любом термическом цеху.

— Вот эти адские условия мы и хотим уничтожить, — загораясь, проговорил Николай Кораблев.

— Звезды с неба собираетесь хватать, — осадил его Иван Иванович.

— А вы слышали про теорию — обработка металла током высокой частоты?

— Мало ли теорий существует на земле. Но это все равно, что заменить хлеб пилюльками. Балов-

ство! — неожиданно грубо проговорил Иван Иванович. — И Альтмана, поди-ка, втянули в это дело?

— Альтман сейчас почти директор завода... Я ему передал все производство, а сам занимаюсь вопросами рационализации и вот этим — термическим цехом, — смягчил Николай Кораблев, не сказав «обработкой металла токами высокой частоты», готовя Ивану Ивановичу «сюрприз». — Вы видите, это вот идет кулачковый валик. На него в общем тратится шестьдесят шесть часов. Это вот коленчатый вал. На него тратится еще больше. А это вот шестеренка — самая мучительная деталь в термическом цеху: ведь почти каждый зубчик надо закаливать по-иному.

— Вижу. И буду еще видеть до гробовой доски.

— А разве вы хотите через несколько минут покончить самоубийством?

— То есть как это?

— Идите сюда, — Николай Кораблев в порыве даже бесцеремонно дернул Ивана Ивановича за рукав и сам первый шагнул в дверь за стеклянную перегородку.

Тут все было чисто: брусчатые натертые полы, свежий, насыщенный запахами гор воздух, аккуратно расставленные колонки за светлым стеклом, и все это было залито голубоватым электрическим светом.

Где-то в старом цеху, в дыму и копоти, промелькнул инженер Лалыкин, такой же чумазый, как и все рабочие. Николай Кораблев через полуоткрытую дверь позвал его. Но тот виновато махнул рукой и скрылся.

— Даже не входит сюда в грязном костюме. Вот видите, — похвастался Николай Кораблев.

— Костюм-то легко поменять, а вот поменять дело — трудно... и невозможно. Невозможно. И я уверен, зря тратите время. — Иван Иванович недоверчиво подошел к одной колонке, у которой стояла девушка, и поцарапал колонку ногтем, что у него всегда являлось признаком большого недоверия. — Штучки, Николай Степанович. И всегда-то этими штучками грех заниматься, а теперь — особенно.

Девушка нажала кнопку. В колонке вспыхнул

свет, хлынули потоки воды. Два кулачковых валика стали подниматься все выше и выше, раскаляясь пояском и тут же охлаждаясь потоком воды. Иван Иванович посмотрел на часы, на девушку и снова остановил взгляд на кулачковых валиках. В эту минуту подошел уже переодетый в синий комбинезон инженер Лалыкин.

— Хорошо, Николай Степанович. Освоили не только коленчатый вал, но еще шестнадцать деталей, — мягко улыбаясь, прошептал он.

Николай Кораблев показал глазами на Ивана Ивановича.

— Не осрамитесь перед ним — строгий и знающий судья.

Лалыкин уверенно сказал:

— И строгий судья признает победу.

Иван Иванович покосился на него, затем снова глянул на часы, на колонку. Девушка запела было какую-то песенку, затем неожиданно смолкла. В колонке погас свет, поток воды оборвался. Девушка открыла дверку, вынула кулачковый валик. Он был уже прохладный и влажный. Подала его Ивану Ивановичу. Тот взял, почему-то понюхал и сказал:

— И это все? А не шутка? За шесть минут? И все?

— Все, — ответил Лалыкин.

— Ведите дальше, — потребовал Иван Иванович. — Да, да! Это же гениально, гениально, понимаете вы или нет? Гениально! — с расстановкой произнес он, наступая на Николая Кораблева. — И все это надо немедленно в производство. Немедленно.

— Да ведь не все соглашаются, — перебил его Николай Кораблев.

— А кто?

— И в наркомате... и тот же Сосновский. Вот он, кстати.

Сосновский, войдя, как-то еще сильнее заскрипел ногой-протезом и, как никогда резко, произнес:

— Я не против этого, Николай Степанович, но против того, что вы все производство на заводе передали Альтману.

— Но ведь завод-то работает, — Николай Кораблев отмахнулся, прислушиваясь к раздражающему скрипу ноги-протеза, которой как бы намеренно переступал Сосновский.

— Работает. Но может случиться такое, что вы потом сотни раз будете раскаиваться. И вы принудите меня, я этот вопрос поставлю в наркомате.

— Не пугайте. Я ведь не из тех, что боится критики. — Сказав это, Николай Кораблев отвернулся от Сосновского и, подхватив под руку Ивана Ивановича, повел его к колонке, где обрабатывалась шестерня.

Так они, не имея сил оторвать Ивана Ивановича, пробыли в цеху несколько часов и только под утро, когда уже взыграло солнце, вышли на волю.

Они шли вдоль небольшого озера. Николай Кораблев все время украдкой посматривал на Ивана Ивановича, ожидая, что тот скажет о том, что видел в цеху по обработке металла током высокой частоты. Иван Иванович молчал. Затем вдруг прорвался, схватил за руку Николая Кораблева:

— Нет, знаете ли, это чудо! Поверьте мне... это стоит десятка заводов. — И так, держа за руку Николая Кораблева, он замолк, глядя на берег.

На берегу, усыпанном мелкой, серебристо-чеканной галькой, метрах в ста от них, стояла нагая женщина. Она стояла к ним спиной, и солнце, падая на ее белую шею, на плечи, на широкие бедра, особенно четко на фоне голубой воды выделяло всю ее красивую, материнскую фигуру. Женщина, видимо, знала, что она красива, и намеренно не входила в воду, хотя и заметила позади себя двух мужчин. Она оглянулась на них еще и еще раз, и по улыбке они сразу узнали ее — это была Варвара Коронова.

«Озорует, — мелькнуло у Николая Кораблева. — Нарочно меня перехватила тут...»

Они повернулись, пошли в гору... и услышали всплеск воды, зовущий смех, и тут же Варвара запела сдавленным голосом:

Ох, Коля, грудь больно,
Любила... довольно.

«Как она дразнит. И зачем она меня дразнит? Ведь не деревянный я! Нет, ее надо отослать обратно на лесозаготовки, подальше отсюда», — решил Николай Кораблев.

— Красивая женщина. Очень, — проговорил Иван Иванович. — Таких нельзя не любить: это украшение земли.

— А вы что ж? Любите, что ль? — спросил Николай Кораблев, у которого вдруг как-то ревниво взыграло сердце.

— Она любит вас. Да. Она сейчас работает у меня на квартире. Как только я отделился от вас, так она ко мне: «Возьмите и возьмите». Ну что ж! Пожалуйста. Мне все равно: кто-нибудь нужен, чтобы приглядывать за квартиркой... чтобы ужин подавать, чай... Смотрю — да, красива. Ну, просто, безо всякой пошлости.

— И вы?

— Что ж, Гете влюбился, когда ему было за семьдесят, и в это время написал самые лучшие стихи о любви. И я бы на вашем месте...

Николай Кораблев резко перебил:

— Не ставьте себя на мое место: мне слишком мучительно... и не оскорбляйте моего большого чувства к Татьяне Яковлевне.

— Не понимаю.

— Вам кажется, мне легко пойти к этой женщине. Вот, дескать, какой вислоухий: убегает от счастья.

— Ну да. Ну да. Черпайте счастье. Серьезно. Смотрите на жизнь проще.

— Я бы мог на вас за такое рассердиться. Проще? И вор по-своему на жизнь смотрит «проще», и распутный человек по-своему на жизнь смотрит «проще»... и я на жизнь смотрю «проще»: береги свое чувство, как бережешь свой глаз, и требуй от человека, которого ты любишь и который тебя любит, чтобы и он так же берег свое чувство.

— Чепуха. Так можно беречь месяц, два... а вы ведь уже больше года. Зачем мучить себя? Вы посмотрите, — Иван Иванович повернулся, показывая на берег, на который вышла Варвара уже лицом к

ним. Теперь солнце падало на ее тугие груди, живот, на женственно-красивые ноги. — Разве ваши руки не хотят приласкать это чудесное тело?

— Я отрублю их, если они это сделают, — остервенело произнес Николай Кораблев и, косолапя, пошел прочь от берега.

— Ага! — еле поспевая за ним, выкрикнул Иван Иванович. — У Льва Толстого есть отец Сергий. Тот отрубил себе палец.

— При чем тут отец Сергий? Я не святоша, а мужчина.

— Вот-вот. Я и говорю: разве ваши руки не хотят приласкать это чудесное тело?

— Иначе бы я им не грозил, — Николай Кораблев пошел медленней, тихо говоря: — Человек может себя распустить... отсюда распутство... оно начинается всегда с маленького и, кажется, невинного: сначала пожать руку красивой женщине, потом во время танцев прижаться к ней... потом, потом... вы знаете, что потом.

— Вы ревнивый?

— Как и все смертные.

— А как смотрите на это чувство, — осуждаете, предлагаете выдернуть с корнем?

— Нет. Это чувство еще очень долго будет жить... но проявление его должно быть иным.

— Каким? — Иван Иванович приостановился и растянул: — Ка-аким?

— Она отходит от меня, значит я чем-то плох, значит мне надо себя в чем-то исправить и стать лучше. Обычно же, ревнуя, грызут друг друга: он поливает грязью ее, она — его.

— Ага! Ну, а если она просто хочет потанцевать с кем-то, по-женски пошалить немного?

— Зачем же шалить? Это, значит, плевать на лучшее человеческое чувство — любовь.

— В тупик вы меня загоняете. Однако я снова иду в бой. Но плоть, плоть? Ведь она требует.

— Плоть? Ее надо обуздать, подчинить высоким моральным законам и законы эти защищать не только с трибуны, но и в жизни, в быту. А если вы хотите,

чтобы плоть паслась, как жеребенок на лугу, — ваша воля. Для меня это скучно, — вдруг неожиданно для Ивана Ивановича произнес Николай Кораблев. — Не только скучно, но и паршиво: сегодня здесь, а завтра там.

— Да-а. Я представляю, как трудно вам: вы так любите Татьяну Яковлевну, что не хотите ей изменить ни словом, ни делом. Это трудно, очень тяжело.

— Да нет. Мне это очень приятно и радостно: я являюсь перед ней чистым.

— Как перед богом?

— При чем тут бог?

— Ну, она для вас бог.

— Называйте, как хотите, но мне радостно быть чистым.

В эту минуту где-то в стороне, в лесу, снова раздался грудной тоскующий голос Варвары. Она протяжно, как бы без перерыва, громко звала:

— Ау-у-ууу! А-у-у!

— Вас зовет, — чуть погодя, проговорил Иван Иванович. — И не устоять вам перед этой женщиной. Как только ляжете с ней в постель, так и полетят ко всем чертям все ваши теории.

— Нет. Если даже это случится, тогда «теории мои» останутся неизменными и по отношению к ней, но чтобы это случилось, я ее должен по-настоящему полюбить.

— Ах, любовь!.. Есть такая народная поговорка: «Любовь зла — полюбишь и козла».

— Ну, вы из другой оперы. Хотя мы и тут с вами могли бы поспорить. Однако пора нам за дело. — Сказав это, Николай Кораблев заспешил к себе в кабинет.

3

Сегодня рано утром... а утро было такое хорошее: небо бездонное, светлое, горы, леса яркие, будто кто их за ночь любовно вымыл... сегодня в осеннее утро в кабинет вошел Рукавишников. После непродолжи-

тельного «страдания непризнанного гения» он согласился работать в качестве заместителя директора по снабжению завода материалами. Вначале он подозревал Николая Кораблева в каком-то скрытом подвохе, но потом убедился, что никакого подвоха нет, и работал хорошо, то и дело разъезжая по городам Урала, Поволжья и Московии. Он даже поправился: краснота в глазах пропала, губы подтянулись и уже страдальчески-брезгливо не опускались, да и говорить он стал совсем по-другому — не напыщенно, без страха, что вот-вот ему скажут: «А ну, слезай со стула. Не по тебе ведь стул-то».

Сейчас, войдя в кабинет, он, даже не поздоровавшись, еще с порога, будто в чем-то виноват был Николай Кораблев, сердито крикнул:

— Беда!

Николай Кораблев оторвался от окна, через которое смотрел на это бездонное небо, на леса, на горы, будто почищенные за ночь, глянул на Рукавишникова, предполагая, что тот «выпил», и, видя, что лицо у того не пьяное, а, наоборот, серьезно-встревоженное, спросил:

— В чем дело, Макар Савельевич? Вы говорите так, будто кого-то убили.

— Хуже! — Макар Рукавишников сел на диван, сбросил с головы кепи, зачес свалился, оголяя восковую лысину.

— А что же? — уже тревожась, поторопил его Николай Кораблев.

— Цистерны с нефтью не пришли. Я обшарил все дороги. Вот, только накладные, — и кинул на стол накладные. — На базе горючего кот наплакал.

У Николая Кораблева так сжалось сердце, что он позеленел.

«Прохвост, — подумал он, сдерживая бешенство. — И зачем я его оставил на заводе? Ведь это так и должно быть: низкий человек всегда мстит в самую радостную минуту». Он поднялся из-за стола и, неподвижными глазами глядя на Макара Рукавишникова, процедил:

— А в тюрьму не желаете? Мы не посмотрим, что

вы рабочий. По злобе хотите выпустить из завода кровь?

Макар Рукавишников весь потянулся и, задыхаясь, еле слышно произнес:

— Да что вы? Для меня легче из себя кровь выпустить.

— Ее из вас выпустят. — И Николай Кораблев взял было трубку телефона, намереваясь позвонить в соответствующее учреждение, чтобы арестовали Рукавишникова, но в это время в трубке послышался голос инженера Лалыкина. Тот так же взволнованно, как и Рукавишников, сообщил:

— Николай Степанович, нам срывают график: приостановилась подача деталей.

И тут же его перебил Иван Кузьмич:

— Крышка! Нам, моторному, крышка: сосед не дает коробку скоростей.

Затем позвонили из цеха коробки скоростей: там тоже чего-то нехватало, потом с электростанции, из ремонтно-механического, из литейного... и со всех сторон посыпались такие тревожные звонки, как будто весь завод разом был охвачен пожаром.

В кабинет вошел Альтман. Всегда веселый, жизнерадостный, он теперь казался каким-то опухшим. На вопросительный взгляд Николая Кораблева он развел руками:

— Сели на якорь: Златоуст не подал металл.

Под Николаем Кораблевым закачался пол, стена перед ним куда-то поплыла, и он, упираясь руками в спинку кресла, сел.

А ведь только вчера спрашивали из Москвы, как дела с выполнением программы. Николай Кораблев спокойно и уверенно ответил:

— Хорошо. Выполним и дадим сверх программы четыреста моторов.

— Сверх программы четыреста моторов? Тогда с вами сейчас будет говорить товарищ Сталин, — и человек, говоривший по телефону с Николаем Кораблевым, передал трубку Сталину, и в трубке послышался глуховатый, тихий, но далеко слышимый голос:

— Вы, товарищ Кораблев, говорите, что дадите

сверх программы четыреста моторов? Это наверняка?

Николай Кораблев чуть замялся, сказал:

— Да. Наверняка.

— И без «наверно»?

— Да. Дадим, — уверенно ответил Николай Кораблев. — Трудно, но дадим.

— Нам еще трудней. Но мы надеемся на вас. А вы на кого?

— Я? Я на рабочих.

— Вот это хорошо. Передайте товарищам, что... я очень прошу помочь стране. Очень прошу. До свидания.

И вчера же по всем цехам, по всем общежитиям были проведены митинги, и всем рабочим были переданы слова Сталина... И все рабочие поклялись дать сверх программы четыреста моторов...

И вот — нет металла, нет деталей, нет нефти, угля, есть только рабочие, желание и обещание дать сверх программы четыреста моторов.

— Отвратительно, — заикаясь, проговорил Николай Кораблев, только тут поняв свою ошибку: внимательно следя за тем, что происходит на фронте, он не догадался, что отступление Красной Армии потребует от тыла больше угля, нефти, транспорта, вооружения, хлеба и посадит все заводы на голодную норму, поэтому о нефти, угле, металле, запасных частях надо было думать раньше, а не надеяться на самотек. — Ошиблись. Ой, как ошиблись, — тихо проговорил он и, глядя на растерянного Альтмана и Макара Рукавишникова, произнес, обращаясь к последнему: — А меня вы, Макар Савельевич, простите... за те... грубые слова... простите, — и уставился в окно, уже никого и ничего не слыша, ощущая только одно — как по всему телу пробегает мелкая-мелкая дрожь. — Отвратительно, — заикаясь, еще раз произнес он, вспомнив свое первое посещение Вячеслава Михайловича Молотова, его слова, что завод «должен как можно скорее вступить в бой с агрессором», разговор со Сталиным... и вдруг обильный пот выступил на висках Кораблева, а по тому месту, где виднелся седой клок волос, будто снова кто-то ударил молотком.

4

В кабинет шли люди. Они шли без вызова, стихийно, гонимые одной общей бедой, которая так неожиданно свалилась на их завод... Пришел Сосновский. Не улыбаясь, не показывая ряда крупных белых зубов, он тихо сел на диван. Следом за ним вбежал Ванечка. Этот еще с порога что-то хотел крикнуть, но осекся, видя, в каком состоянии находится Сосновский, и, присев рядом, безмолвно спросил глазами:

«Ну, как?»

И вскоре обширнейший кабинет был забит людьми — мастерами, начальниками цехов, инженерами. Пришли Иван Кузьмич, Степан Яковлевич и Лалыкин, теперь уже розоватый, при галстуке. Пришел почему-то и Звенкин. Он за последнее время сдружился с татарином Ахметдиновым, и теперь они оба стояли позади всех у дверей — Ахметдинов, низенький, квадратный, а Звенкин, сухой и высокий, как жирафа. Надя позвонила о беде Ивану Ивановичу, и он немедленно явился. Пробившись через толпу, он сел на стул, поданный Альтманом.

Поджидая директора, иные молчали, иные еле слышно перешептывались. И все думали, что вот сейчас войдет Николай Кораблев, сбитый, смятый неожиданно обрушившейся бедой. И что ему сказать? Как помочь? Казалось, это так же трудно, как трудно подыскать утешительные слова для матери, у которой умер сын в расцвете юношеских сил.

Николай Кораблев вошел. Он вошел не один, а с Лукиным, шумно, быстро. Встав за стол, он посмотрел на всех, и все увидели, что сегодня он какой-то особенный — подтянутый, свежий, налитой жизненной энергией.

— Знаете что, товарищи? — начал он, медленно, но уверенно бросая слова. — Рассказывали мне, что Владимир Ильич Ленин обладал и еще одним чудесным качеством — не падать духом при любой беде. Когда случалось что-нибудь такое, он весь загорался и, потирая руки, говорил: «Ну что ж, повоюем». Так

вот и мы, товарищи! Что ж? Повоюем или кряхтеть будем?

Люди некоторое время молчали.

— Повоевать-то мы готовы, но чем — вот вопрос? — пробасил Степан Яковлевич и этим как бы всех пробудил.

Все заговорили, зашумели, заволновались, отовсюду посыпались предложения. Кто-то обрушился на Златоуст, кто-то просто кричал, как будто этим мог помочь делу: «Позор, позор! Москве слово дали, а сели на мель!»

Николай Кораблев поднял руку, и все смолкли.

— Товарищ Лукин, — обратился он к Лукину. — Я вас очень прошу вместе с Рукавишниковым слетать в город и там через областной комитет партии и другие организации разыскать цистерны с нефтью. Вы понимаете, почему я прошу вас?

— Да, понимаю, — ответил тот, роняя вперед свое тело.

— И я... и я с ними! — выкрикнул Ванечка, готовый выполнить любое поручение.

— Нет. Что мы тут без вас будем делать? У вас армия комсомольцев. — Николай Кораблев посмотрел на Сосновского. Тот хмурился, видимо обиженный тем, что в главный город Урала директор посылает не его, а Лукина. — Товарищ Сосновский, я думаю, вам и Альтману надо немедленно отправиться в Златоуст на металлургический завод. Пристыдите их там! — закричал Николай Кораблев так, как будто через горы обращался к рабочим металлургического завода. — Как вам не стыдно? Срываете программу выпуска моторов. Ведь это позор на вашу голову ото всей страны.

Хмурь на лице Сосновского стала еще гуще.

«Как же это я не догадался сказать то, что сказал он? Ведь я знаю, что Ленин никогда не унывал при беде. И я мог бы это первый сказать», — думал он, кивая головой Николаю Кораблеву.

Ванечка, после замечания со стороны директора став серьезным, проговорил:

— А я вот что предлагаю. Когда мы убирали двор от мусора, мы столько лому свалили, браку...

Николай Кораблев прослушал то, что сказал Ванечка. Он смотрел на всех и, зная многих уже не один год, думал: «Как они все постарели за время войны. И я, вероятно, так же постарел. И вот теперь и на них и на меня свалилась новая тяжесть... Ах, да, да... Ванечка сказал что-то такое о ломе. Это, конечно, надо использовать, но на ломе далеко не уедешь... И справимся ли мы?» — и снова у него по всему телу побежала мелкая-мелкая дрожь.

5

Завод еще работал. Но он работал, как испорченные часы, которые то и дело надо было подводить или трясти. То вдруг начинала мигать электростанция, потом гасла, и все станки замирали. Где-то находили горючее. Станция вспыхивала, и станки снова оживали. То вдруг вхолостую шел конвейер или раздавались тревожные сигналы с электропечей: нехватало сырья. Комсомольские бригады под руководством Ванечки собирали по заводу лом, брак, все это подносили к электропечам, к вагранкам; но все собранное электропечи и вагранки слизывали, как корова языком горсть отрубей.

Но что ни делали комсомольцы, что ни делал весь коллектив рабочих, инженеров, что ни придумывал сам Николай Кораблев, завод все-таки работал, как испорченные часы... Он судорожно в течение двух дней цеплялся за жизнь и на третий стал, как его ни трясли, как ни подводили.

И все замерло. Перестали дымить трубы, остановились грузовые машины, паровозы, оборвался голос завода — посвистывание, постукивание, уханье молотов, пыхтенье.

А с фронта шли все более и более тревожные вести.

Красная Армия отступала. Немцы неудержимой лавиной двигались в глубь страны, захватывая города, села, все сжигая, уничтожая на своем пути. Пала Керчь, пал Харьков, Ростов, Краснодар, Новороссийск.

Немецкие полчища хлынули по степям Северного Кавказа, захватили Элисту, проникли под Астрахань, отрезав путь из Баку в центр страны... И снова на Урал потянулись беженцы. Теперь они шли не только из Поволжья, но и через Сибирь из Грозного, с Кавказа, из Баку.

Над родиной нависла смертельная угроза... Это чувствовали, понимали, переживали все, особенно такие люди, как Иван Кузьмич и Степан Яковлевич... А тут еще остановился завод, и поэтому тревога у них была настолько велика, что они даже не говорили о ней, а просто так, взглядами и вздохами давали знать друг другу о том, что творится у них в душах. Только вчера, поздно вечером, глубоко вздохнув, как будто у него внутри что-то оборвалось, Степан Яковлевич сказал:

— Поганая секира над головой занесена.

— Эх, секира, секира... — ответил Иван Кузьмич, кутаясь в одеяло, намереваясь заснуть.

Угрозу, нависшую над государством, Сосновский переживал так же, как и все. Но ему казалось, что именно он должен дать рабочим ответ на их частые и настойчивые вопросы... Почему враг очутился на Волге, приблизился к Каспийскому морю? Что — генералы ли плохи, плохо ли вооружена армия? Вместо того чтобы посоветоваться с Лукиным, с Кораблевым или вчитаться в статьи, опубликованные в центральной прессе, он опять-таки стал отыскивать «свое, пророчески-предсказывающее». И сегодня утром, зайдя в барачный клуб и увидав тут перед картой рабочих, возвестил:

— А-а, ерунда! Видали мы их на Северном Кавказе. Видали и бивали. Вот ногу-то там потерял, — привел он как самое главное доказательство и, видя, что это не убеждает, ринулся:

— Смотрите, какая у нас огромная страна, как она нависает надо всей Европой. Да разве такую страну можно победить? Никогда! А потом, знаете, что про нас говорил Бисмарк? Нет? А вот что: «Русские долго запрягают, да зато потом быстро скачут».

Звенкин по своей наивности туго выдавил:

— А это куда скакать-то?.. Как это там сказал Насморк-то?

— Не Насморк, а Бисмарк. Конечно, на врага, — ответил Сосновский и, чуть подождав, желая быть логичным, сказал то, в чем потом не раз раскаивался: — Так что он, пожалуй, прав. Бисмарк. Ну что ж, уйдем на Урал и отсюда вдарим, — и смертельно побледнел. Рабочие посмотрели на него так, как смотрят родственники на доктора, который, стоя над больным, бесцеремонно и во весь голос произносит: «Умрет. Уверяю вас».

Степан Яковлевич потрогал двумя пальцами кадык, что-то прогудел и глянул на Ивана Кузьмича, как бы говоря: «Ну, ты, политик, согласен или как? А то я долбану». Иван Кузьмич сунул руки в карманы, боясь, что они пойдут в ход, и с несусветной злобой кинул:

— Вояка! Ж... ты, а не вояка!

Рабочие зло засмеялись. Тогда Сосновский, чтобы «смять» Ивана Кузьмича, кривя губы, проговорил:

— У Рукавишникова, что ль, научился выражаться?

— Нет... А вот ты у кого дурь такую подслушал? — И все так же, не вынимая рук из карманов, круто повернулся и пошел от карты.

Следом за ним отошли и все, оставив у карты Сосновского. И только тут он окончательно понял, что сказал вредную чушь и что объяснение отступления Красной Армии надо искать в чем-то другом.

— Глупо! Эким утешителем заделался, — проговорил он, впервые решив посоветоваться по этому вопросу с Николаем Кораблевым. Но пойти к нему сейчас же не мог, во-первых, потому, что знал — Николай Кораблев «весь загружен делами завода», во-вторых, потому, что сам еще ничего путного не придумал, и, страшно расстроенный, ушел в партком.

Казалось, один человек не унывал в эти дни — это сам Николай Кораблев. Он иногда выбирался из кабинета, заглядывал в общежитие и, видя мрачных, насупленных рабочих, говорил:

— Ну, что вы носы-то повесили? Сделаем. Выполним программу. Вот увидите. Да разве из ваших рук что вырвется? Ну-ну, пустяки какие. Нет нефти, металла? Все это идет. Отдыхайте пока и веселитесь.

— Чудо-парень, — говорил Ивану Кузьмичу Степан Яковлевич. — Ведь на сердце-то у него скребет, а он вид такой сделал — веселитесь.

— Да-а. Большую на то надо иметь волю, чтобы себя-то так взнуздать, — соглашался Иван Кузьмич. — Но ведь до конца-то месяца осталось три дня. Четыре денька мы потеряли. Не знаю уж, как мы с программой-то! Да ведь и обещанные моторы надо дать.

— А может, нам это отложат — сверх-то?

Иван Кузьмич, хмурясь, покачал головой:

— Не такой он мужик, чтобы отступать.

6

Все было наготове. Пришли цистерны с нефтью. Лукин и Макар Рукавишников отыскали их в главном городе Урала на танковом заводе, куда их случайно или намеренно направила железная дорога... Лукин был мрачен, как всегда, а Рукавишников радостно всем рассказывал:

— Ну вот, а то я было совсем загнулся. Как же — по моей вине завод остановился!

Из Златоуста пригнали эшелон с металлом. Это сделали Альтман и Сосновский.

Наготове стояли рабочие — пять тысяч человек.

— Немыслимо. Ну, конечно, немыслимо в три дня выполнить программу за семь дней, да еще дать сверх программы четыреста моторов, — говорил Николай Кораблев, глядя на весь свой штаб. — Конечно, здраво рассуждая, — немыслимо. Но мыслимо ли, когда пять моряков под Севастополем, обвешав себя гранатами, бросаются под немецкий танк? А откуда мы с вами, товарищи, знаем силы и возможности наших рабочих? Конечно, все эти семьдесят два часа рабочие не должны и минуты покидать производство. Тут, в цехах, они должны и питаться. Питаться, как говорят,

на ходу. Для обслуживания рабочих нам нужно пятьсот человек. Мы наберем по столовым сто сорок. Иван Иванович, — обратился он к инженеру, который подремывал в уголке дивана, — дайте нам триста шестьдесят человек!

Иван Иванович поднял тяжелую голову, туманно посмотрел на Николая Кораблева.

— А где я возьму? Триста шестьдесят! Так просто говорите, как будто вам надо шесть человек.

Николай Кораблев засмеялся горловым смехом.

— Не шесть, а триста шестьдесят. Оторвите.

— Оторвать легко пуговицу, а триста шестьдесят человек оторвать — это не пуговица. Оторву, а потом вы же меня станете пилить — почему то к сроку не сделал, другое не сделал! Восемь бараков-то вы у меня не приняли.

— Да ведь они плоховаты.

— Такие же, какие мы с вами, бывало, заводу сдавали.

— Ну, тогда мы с вами были бедны, а теперь вы богаты. Так дадите людей?

— Вы за этим меня и вызвали? — Иван Иванович встал и решительно направился к двери, что-то ворча. У дверей остановился, сказал: — Дам, дам. Найдем как-нибудь.

— Так. Спасибо, Иван Иванович. Ершович здесь? Очень хорошо. Вы, товарищ Ершович, своей головой отвечаете за питание. Все наладить в цехах. И еще наладить буфеты... Премиальные: тот, кто выполнит задание, получает талон и ест сверх всего положенного.

— Есть, товарищ Кораблев! — хрипло выкрикнул Ершович. — Могу итти налаживать? — и грузно, будто из трюма, выбрался из среды сидящих, пошел к выходу.

— Теперь само производство. Иван Кузьмич прав, конвейер надо пустить на полную скорость. Обычно он работает у нас на второй скорости, пустим его на четвертую. Это опасно — может все разлететься. Альтман берется помочь.

Тут поднялся Лукин. Почему-то с опаской посматривая на Сосновского, он заговорил:

— Вот еще что. Ведь те матросы, которые, увешав

себя гранатами, кинулись под немецкие танки, были, наверное, в таком настроении, чтобы кинуться. Иначе — зачем же? И я думаю, нам надо сейчас же организовать на полчаса общезаводской митинг и зажечь людей.

— Верно, верно! — подхватил Сосновский, в досаде думая: «А почему это не предложил я? А ведь это так просто. Или я в самом деле старею?» Он, посмотрев на Ивана Кузьмича, вспомнил разговор о фронте, и ему стало невыносимо тяжело.

— На митинге должен выступить Сосновский, — сказал Лукин. — Он прекрасный оратор.

«Ага, все-таки признают», — мелькнуло у Сосновского, и та неприязнь, какая появилась у него к Лукину, пропала.

Николай Кораблев чуточку подумал, нажал кнопку. Вошла Надя:

— Надя, прошу вас распорядиться: сейчас же — общезаводской митинг.

Сосновскому, да не только ему одному, а и всем показалось, что теперь пора покинуть кабинет. Но Николай Кораблев движением руки задержал всех:

— Митинг — дело хорошее; надо в народе разбудить энтузиазм. Но с одним энтузиазмом можно только лес пилить да ямы рыть. Альтману еще раз все подсчитать, уточнить, проверить. Ванечка! Ага! Иван Никифорович, вы здесь? Прошу вас создать комсомольские сквозные бригады и аварийные. Видите ли, простоять семьдесят два часа у станка — это не шутка. Иной не выдержит, упадет. Значит, его хоть на час-два надо отводить от станка, от конвейера. Вот для этого нужны комсомольцы. Но будут ведь и такие рабочие, которые вообще свалятся, их надо заменить — тут пусть работают комсомольцы из аварийной бригады. Поняли, Иван Никифорович?

— В точности! — обрадованно выкрикнул Ванечка.

— И еще, — продолжал Николай Кораблев. — Те предложения по рационализации, которые выдвинули перед нами наши инженеры, надо немедленно же пустить в ход и в первую очередь по термическому цеху. Товарищ Лалыкин, как вы на это смотрите?

— Да я бы с радостью, но ведь наркомат еще не рассмотрел.

— Не будем дожидаться, беру ответственность на себя, — и снова мелкая-мелкая дрожь побежала по всему телу Николая Кораблева, и он опять подумал: «А справимся ли?»

7

И вспыхнуло электричество, и задымили высокие трубы, и загудел завод, и забегали во все стороны грузовые машины, и скрылись люди с улиц. На митинге выступил Сосновский. Он говорил минут пятнадцать, и слова эти были жгучие, пронизывали каждого до сердца... Да, да, Сосновский никогда не говорил так искренне, и с такой душой, и с таким волнением. Когда он говорил, то невольно встретился с глазами Ивана Кузьмича. Глаза Ивана Кузьмича сказали ему: «Хорошо, молодец! Но того не прощу, не могу простить».

— Товарищи! — кидал в толпу, взмахивая левой рукой, Сосновский. — Вы помните, как Суворов со своими солдатами переходил в Альпах через Сен-Готардский перевал? Вы видели это в кино. Так вот теперь перед нами еще более трудный перевал. А помните, как Суворов обратился к солдатам: «Братцы, возьмем эту гору». И все ответили ему: «Возьмем». Вот сейчас, товарищи, мы спрашиваем вас: «Возьмем ли эту гору?»

Рабочие затаенно молчали, как молчали и люди на трибуне — Николай Кораблев, Альтман, Лукин, начальники цехов. Затем раздались голоса то тут, то там:

— Возьмем! Возьмем!

Сосновский сжался и сердито крикнул:

— Нет, не возьмем. Если так отвечаете, — не возьмем.

И вдруг все пять тысяч человек в один голос кинули:

— Во-озьме-е-м!..

Завод работал безостановочно уже второй день. Временами он напоминал коня, увязшего с тяжелой кладью в грязи: конь напрягается, изгибает шею, но тащит, тащит, тащит. Так же напряженно работали и люди, закусывая, обедая на ходу, не отрываясь от станков.

Иван Кузьмич на конце конвейера принимал готовые моторы и тут же сдавал их. Он только иногда, оглядываясь на Звенкина, советовал ему:

— Друг ситный! Ты вскачь-то не пори. Исподволь давай. Вскачь-то еще придется. А то понесешься, а там и сковырнешься. Гляди! Гляди! Гляди! —кричал он, видя, как тот кивает головой.

К концу второго дня начали падать люди. Падали они как-то странно и все одинаково: взмахнет руками и, крикнув: «Э-э! Каюк!» — падает около станка или конвейера, вызывая со стороны других такой же смех, какой бывает на пароходе над заболевшим морской болезнью. К упавшему тут же подбегали комсомольцы из аварийной бригады Ванечки. Они выносили больного на волю, заменяя его у станка или передавая станок другому рабочему, соседу. Так Звенкин стал работать уже на трех станках. На второй день к вечеру он двигал только руками: ноги, спина, шея у него невыносимо ныли, а глаза выкатились и стали совсем походить на студень. У Ивана Кузьмича распухли ноги. Он об этом никому не говорил, а только, сцепив зубы, еле передвигая опухшими ногами, произносил:

— Что-то ботинки жмут. Ох, как жмут!

Иногда в цех вбегал Степан Яковлевич. Этого, казалось, ничто не брало. На лице у него появился румянец, кадык еще больше выпятился. Вбежав в цех, он еще издали гремел:

— Ну, Иван Кузьмич? Горяченькие подаем, коробки-то? Не задерживаем? Ноги твои как? — дружески спрашивал он.

— А ты молчи о ногах-то, — шипел на него Иван Кузьмич. — Вот еще, нашел о чем.

— Ну-у? А может, тебя заменить? Могу постоять часок.

Иван Кузьмич, благодарно улыбаясь, грозил кулаком:

— Я вот тебе заменю.

Часам к двенадцати ночи по конвейеру поплыл программный мотор. На боку мотора кто-то в самом начале конвейера мелом написал крупно и неуклюже: «Программный. Ура!» И это разнеслось по всем цехам, и всюду кричали «ура!», наддавая, гордясь собой, своим заводом. А в цеху моторов все внимание рабочих уже было сосредоточено на этом, программном, моторе. Его похлопывали по бокам, называя «именинником», «героем», «выручалой». А мотор все полз, все приближался к концу конвейера. И казался он самым красивым, самым большим и самым сильным... И не болели у людей уже так руки, как болели до этого, не ломило спины, не слипались глаза...

Иван Кузьмич тоже видел только этот мотор... Вон он... Раз, два, три, четыре — до него. Пятый — «программный». Верно, после него надо еще дать четыреста. Ну что ж, будет трудно, но главное-то уже пройдено. Главный-то вон он. Ого! Осталось до него только три... Еще только два. Вот он! Вот он совсем близко... И Иван Кузьмич тоже, как и все, не сходя с места, похлопал программный мотор.

И вдруг что-то стряслось... Кто-то в конце цеха во весь голос прокричал что-то страшное и непонятное... Потом крик подхватили ближние, и до Ивана Кузьмича донеслось:

— Нет коробки скоростей.

9

Весть о программном моторе разнеслась по всему заводу... Эта весть дошла и до Ершовича, и тот, радуясь, как и все, решил немного «угостить» рабочих. Вместе с колбасой, консервами, жареной рыбой, белым, только что выпеченным хлебом он послал в цех коробки скоростей несколько литров водки. И де-

вушки-комсомолки в белых халатах, разнося рабочим рыбу, консервы, колбасу, как на званом свадебном вечере, обносили каждого рабочего и стопкой водки. Это было почти торжественно, но через какие-нибудь десять минут рабочие посоловели, будто их выпарили в горячей угарной бане. Произошло это в тот момент, когда начальник цеха ушел к термистам, чтобы поторопить там с деталями, а Степан Яковлевич побежал к своему другу Ивану Кузьмичу, чтобы узнать, как дела с его больными ногами. Вернувшись к себе, они оба ахнули: рабочие, разбившись на группы, пили, ели, горланили песни, смеялись, кричали, сами не зная что. Степан Яковлевич кинулся к буфету и начал бить о пол бутылки с водкой, остервенело крича:

— Сволочи-и-и! Сволочи-и-и! И зачем вас мать родила!

Начальник цеха, чуть не плача, позвонил директору, сообщив, что Ершович прислал водку и что рабочие все охмелели.

Николай Кораблев, как сидел за столом без пиджака, в одной только верхней рубашке с засученными рукавами, так и выбежал. Он бежал по заводскому двору, никого не замечая, не слыша даже криков: «Что с вами, Николай Степанович?» И на повороте столкнулся с Ершовичем. Тот, отдуваясь, с радостными, навыкате глазами, нес в руках какие-то кульки. Первый завидя директора, он возвестил:

— Программный! Николай Степанович! Программный!

Николай Кораблев со всего разбегу остановился. Покачиваясь, как бы намереваясь ударить Ершовича, он, задыхаясь, процедил:

— Вы... вы, — он хотел было кинуть: «подлец!» — но, с силой сдержав себя, крикнул: — Вы... орса! Вы понимаете, что вы натворили? Ведь рабочие устали, да еще как... и одна рюмка водки свалит их с ног. Вы сорвали все!

У Ершовича глаза еще больше выкатились. Роняя кульки, он только и проговорил:

— Я хотел... Я хотел...

— Что вы хотели — не знаю, но отвечать будете

вы, — и Николай Кораблев еще быстрее побежал в цех коробки скоростей и тут застал ту же картину, какую застал и Степан Яковлевич: рабочие разбились на группы, кто сидел, кто еще стоял, покачиваясь, кто уже лежал на полу, и все что-то пели, что-то горланили.

Николай Кораблев взобрался на ящики из-под консервов и во всю силу легких крикнул:

— Вы! Эй! — Шум стих. Тогда Николай Кораблев раздельно, весь трясясь, как в лихорадке, проговорил: — Победа была рядом. И я вас всех хотел прижать к сердцу... А вы? Вас расстрелять надо. Всех до одного. Там, на фронте, льется кровь наших братьев, а мы тут! Говнюки-и!.. Ванечка! — обратился он к секретарю комсомольской организации. — Всех этих отсюда вытряхнуть и поставить на их место комсомольцев.

Рабочие сразу отрезвели.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Через окно виднелись Уральские горы. Своими причудливыми пиками они уходили в даль голубизны и манили, звали к себе. Казалось, это юг: так же, цепляясь за расщелины, на скалах растут сосны и такое же глубокое голубое небо.

Глядя на горы, Николай Кораблев вспомнил первый день встречи с Татьяной там, на Кичкасе, среди рыжих древних глыб Днепра... и затосковал.

Альтман, просматривая докладную записку в наркомат о выполнении программы, изредка бросал взгляд на директора, предполагая, что тот так смотрит в окно потому, что радуется успеху на заводе.

— Победа стала фактом, — проговорил он.

Николай Кораблев недоуменно повернулся.

— Ах, да, да, — согласился он, улавливая только конец фразы. — А впрочем, о чем вы?

— Я говорю, неужѐли вас не радуют успехи?

— Как не радуют? Но какой-то ученый, кажется Песталоцци, когда стал знаменитым, смастерил ремень с гвоздиками внутри: как кто начинал его хвалить, он ремень нажимал... это — чтобы не зазнаться.

— Ну, что вы? Похвала нужна: поди, работаем за честь, за славу.

— Это верно. Но между похвалой и лестью расстояние — тоненький волосок: не заметишь и влипнешь. Так что ну ее к богу, и похвалу! — Николай Кораблев прикусил нижнюю губу и, глядя на Альтмана неподвижными глазами, спросил: — А где Лукин? Он сегодня хотел быть.

— У Кузьмича. Изучает моторное искусство.

-- Вот скромный человек.

— У Маркса сказано: скромность — удел старичков.

— Вы только это и выудили у Маркса?

Вошла Надя.

— Москва, Николай Степанович.

Николай Кораблев поднял руку и взмахнул ею так, как бы говоря: «Ну, мы сейчас покажем», но, приложив трубку к уху, стих, прислушиваясь. — Да, да. Кораблев. Да. Сверх программы дали четыреста три мотора. Что у нас случилось? Да просто выпало четыре дня: не было нефти, не доставили металл. За три дня. Да, да. Работали, не покладая рук, Иосиф Виссарионович. Это ведь чудесный народ, рабочие. Ну-у, если бы не они, где бы нам? Что, что? Отдохнуть? Повеселить? Хорошо. Дадим выходной и повеселим. Не разучились ли? Ну, что вы! Веселиться тут умеют. Отдыхаю ли сам? Где ж? Вот война кончится — отдохну. — И он долго молчал, все крепче и крепче прижимая трубку к уху, то краснея, то бледнея, и под конец хриповатым голосом сказал: — Хорошо, хорошо, Иосиф Виссарионович. Хорошо. Что, что? Что передать рабочим? Спасибо от вас? И ото всей страны? От фронта? Хорошо. — Положив трубку, Николай Кораблев провел обеими ладонями по лицу: — Вот почему никогда не надо хвалиться. Похвалился я, что не отдыхаю, а он меня... и не похвалил, сказал:

«Разве для того мы вас воспитывали, чтобы вы в течение года-двух износились? Отдыхать надо».

Альтман настолько был взволнован разговором по телефону, что совсем не слышал того, что сказал ему Николай Кораблев. Подойдя к нему вплотную, он еле слышно произнес:

— Я поцелую вас, — и, не дожидаясь согласия, трижды поцеловал.

— Ну вот, стало быть, мы с вами родня, — скрывая волнение, полушутя, легонько отодвигая от себя Альтмана, чтобы все это не перешло в панибратство, проговорил Николай Кораблев. — А теперь надо выполнить волю вождя. Где Сосновский?

2

Сосновский за эти дни, как и все, очень устал, но радость покорила усталость, а это в свою очередь так натянуло нервы, что он не мог ни спать, ни быть долго на одном месте; он ходил по цехам, по заводу, на всех посматривал и всем улыбался детской улыбкой. Встретив Ивана Кузьмича, он ему тоже улыбнулся, но тот нахмурился, как бы говоря:

«Как ни улыбайся, все равно то не прощу. Не могу простить».

Это очень омрачило Сосновского, и он решил пойти и посоветоваться с Николаем Кораблевым о том, какое же надо давать объяснение рабочим по поводу отступления Красной Армии. Войдя в приемную, он спросил:

— Надек, а как он? В духе?

Надя была в синеньком платье, волосы, круто зачесанные, локонами спадали на плечи.

— Он всегда в духе, — скороговоркой выпалила она, разговаривая то по одному, то по другому, то по третьему телефону.

— Так я к нему, — и Сосновский шагнул в кабинет.

— Ага! Вот он. Легок на помине. — Николай Кораблев вышел из-за стола и протянул руку. — Я вам

еще не успел сказать, но ваша речь на митинге была просто блестяща. Знаете, правило такое есть: в каждую речь надо вкладывать капельку своей крови. В вашей речи эта капелька была.

— Спасибо, спасибо. Я очень дорожу вашим отзывом, Николай Степанович, — смущенно пробормотал Сосновский и тут же решил, что лучшей минуты, пожалуй, и не найти, чем сейчас, чтобы спросить, какое же объяснение надо давать рабочим по поводу отступления Красной Армии. Но Николай Кораблев снова заговорил:

— И еще... я этого вопроса не затрагивал, когда надо было все пустить на завод... а вот теперь... и всюду могу это сказать — вы тогда были правы: завод — существо сложное и не любит, чтобы с ним обращались на «ты»... и зыбывали о нем: подведет в любую минуту. Так что тогда была ваша победа.

— Лучше бы ее не было, — ответил Сосновский искренне, честно и, глядя на карту, добавил: — Я с вами, товарищи, хочу посоветоваться по очень серьезному делу. Что творится у нас на фронте?

Николай Кораблев повернулся к карте. Линия фронта, отмеченная красными флажками, тянулась с севера на Ленинград, потом подступала почти вплотную к Москве, шла на Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Сталинград, Элисту, Моздок, Новороссийск... а где-то за Орлом, на поселке Ливня, торчала сизая булавочка.

— Огромный кусок отторгнули, — с горечью проговорил Николай Кораблев, зная, что это были не просто города, села, а люди и промышленность, в которую за последнее десятилетие были вложены миллиарды рублей. — Огромный кусок отторгнули, — еще раз проговорил он, трогая седой клок волос на голове. — Положение на фронте очень сложное.

Сосновский с благодарностью посмотрел на директора:

— А знаете, что мне недавно Иван Кузьмич сказал? Ж... вы, говорит, а не вояки.

— Крепко! Молодец Кузьмич, — проговорил Николай Кораблев. — Только он, очевидно, это не про всех?

Сосновский вспыхнул и промолчал, а Альтман подхватил:

— Вот бы опубликовать, тогда, может быть, нашим генералам стало бы стыдно. Чорт знает что! Немцы какой-то Ржев держат второй год, а наши Ростов отдали без боя, врага на Кавказ пустили, на Волгу. Чорт знает что, — в словах Альтмана была какая-то правда, но в тоне его голоса, в том, как он это произнес, было что-то неприязненное, раздражающее, и Николай Кораблев, искоса посмотрев на него, сказал:

— Видите ли, в нашей стране есть в основном три мнения. Одно — очень безобразное, — он снова искоса посмотрел на Альтмана, — это требование трупами завалить дорогу перед немцами... трупами наших людей. Мне кажется, те, кто требуют такое, думают не о стране, а больше о своей шкуре.

Альтман виновато замигал, не зная, что сказать, а Сосновский выпрямился, кинул:

— Точно!

— Второе — не менее безобразное, — продолжал Николай Кораблев, — это такое рассуждение, что, дескать, страна у нас большая, нас победить нельзя. Ну, что ж, отступим на Урал и оттуда вдарим. Сволочи!

Николай Кораблев снова судорожно потрогал клок седых волос на голове, а Сосновский весь сжался, подумав: «Видно, Иван Кузьмич уже передал мой с ним разговор, и этот намеренно кинул «сволочи». Жестокий какой!»

— Третье мнение, — продолжал Николай Кораблев, глядя на карту, — по-моему, самое разумное. Да. Мы в первые же дни получили от врага страшнейший удар. Мы по-настоящему не были подготовлены к войне. Мы ошиблись, предполагая, что в стане врага есть и наши друзья; там их пока нет. Все, что было хорошего, — уничтожено, остальное развращено. Да. Положение на фронте очень тяжелое... смертельно тяжелое. Но мы победим. Почему? Потому, что мы — страна неиссякаемых резервов, страна нового строя, где судьба государства целиком и полностью связана с

судьбой любого честного человека, каких у нас абсолютное большинство. В чем основное? Основное в том, чтобы не пороть отсебятины, понять, что война идет не во сне, как кажется некоторым, а реальный факт, и все силы направить на разгром врага. Обычные слова? А какие еще должны быть? Красивые? Витиеватые? Нет. Это же страшные слова: война идет, враг, вооруженный с ног до головы, наступает, льется кровь наших лучших людей, уничтожаются города, села, наши фабрики, заводы... да за это им всем, захватчикам, надо поотоpвать башки. Как поотоpвать? Одним криком: «Ура, идем на врага!» — башку не оторвешь. Подсчитано учеными: при каждом солдате мы на современную войну должны отправить тонну металла.

— Да не может быть? — воскликнул Сосновский.

— А выходит так. Это если все — хлеб, нефть, обувь, вооружение, транспорт, танки, грузовики, — все в общем перевести в металл, то требуется тонна. А чтобы убить одного врага, знаете сколько надо?

— Пуля! Осколок! — знающе проговорил Альтман.

— Это чтобы его убить! Но ведь не каждая пуля и не каждый осколок убивает, даже не каждый снаряд и не каждая бомба. На каждого убитого врага в среднем тратится тринадцать тонн металла, это опять, если все — пушки, танки, хлеб, нефть и прочее перевести в металл.

— Тринадцать тонн! Батюшки вы мои! — Сосновский встал и взволнованно прошелся.

— Удивляться тут нечему, это факт. И факт этот надо донести до всех. Сказать: наша задача заключается в том, чтобы дать эти тринадцать тонн — хлебом, нефтью, грузовиками, танками, снарядами, аэропланами... моторами. Ясно?

— Очень, — искренне сказал Сосновский. — Только вот надо ли рабочим говорить о том, что положение на фронте очень тяжелое?

— А вы думаете, они без нас этого не знают? Они ведь видят, где находится враг... да и «похоронные» получают, то есть извещения о героической гибели сыновей, отцов, братьев на фронте. А я вот еще что думаю, только не знаю, примут ли нас: надо проявить

инициативу и подать мысль о создании Уральского добровольческого танкового корпуса. Добровольцы — люди закаленной души.

— А кто пойдет? — Сосновский даже побледнел.

— Меня пустят, я пойду! — вскрикнул Альтман.

— Кого пустят, тот и пойдет, — проговорил Николай Кораблев, мельком, недоверчиво глянув на Альтмана. — Конечно, это надо согласовать. Вот вы, товарищ Сосновский, и возьмитесь за это. А сейчас? Только что звонили из Москвы, — и он в точности передал разговор со Сталиным. — Давайте сегодня же и объявим выходной, повеселим народ. Идите. Действуйте. Это ведь по вашей части, — и Николай Кораблев так посмотрел на сизую, вогкнутую на селе Ливня булавку, что и Сосновский и Альтман поняли всю тяжесть его тоски.

3

Все спуталось в душе Сосновского — и радость от разговора Николая Кораблева со Сталиным, и чувство гордости за себя, за рабочий класс, и тревога, вызванная предложением создать танковый добровольческий корпус. Идя по чистому, усаженному молодыми тополями заводскому двору, он, глядя на рабочих, думал:

«Как это он может так просто создать корпус? Это значит, я должен подойти вон к тому рабочему и сказать: «А ну, айда добровольно на смерть». Добровольно на смерть? Мобилизация — это другое, это обязанность гражданина. А тут добровольно. В этом вопросе он плохо разбирается: хозяйственник. А человек — это не мотор. Штука сложная человек!» Думая так, он вошел в цех и еще издали, улыбаясь, крикнул:

— Здорово, Иван Кузьмич!

Иван Кузьмич, уставший, как и все, и радостный, как и все, водил по цеху Лукина.

Вчера поздно вечером Лукину позвонили из Центрального Комитета партии, предложив подыскать заместителя на строительстве, так как сам он скоро будет переведен парторгом на завод, — вот почему

Лукин и пришел сегодня утром к Ивану Кузьмичу. Смущаясь, не выпуская руки Ивана Кузьмича, он прошептал:

— Может, это и плохо, но я уж такой, Иван Кузьмич: раз чего не знаю — спрашиваю. И вас прошу, разъясните мне хоть немного... что он, мотор-то, и как вы тут его?

— Да это и есть хорошо. Не знаешь — спроси, — просто сказал Иван Кузьмич. — А то ведь иной придет и ходит, как индюк. Видать, ничего не понимает, а спросить, вишь ты, гонор не позволяет. А вы — это хорошо, то есть даже благородно. И я с удовольствием вам все расскажу, — и он водил Лукина по конвейеру, знакомя его с производством, с рабочими.

Увидав Сосновского, на которого у него за разговоры о войне еще кипело, он, зная, что Лукину известно, кто такой Сосновский, намеренно громко проговорил:

— А это, смею доложить, наш главнейший глаз: и ночью и днем дальше всех видит. Просвещает. А как же? — и, отвернувшись от Сосновского, повел Лукина к станкам, за которыми работал Звенкин со своим подручным.

Подручный был довольно сильный мужик, недавно прибывший на завод из Кустаная. Позавчера он не выдержал и упал около своих двух станков, поэтому Звенкину пришлось работать на пяти станках.

— Ну что, отошел? — ласково спросил его Иван Кузьмич.

— В голове какое-то помутнение произошло, — смущенно ответил тот. — А так бы где? Чай, мы привычны, колхозники, к тяжестям-то. А тут вот...

— Ну, ничего! Бывает! Ты не думай, что это плохо. Упал. Не нарочно ведь.

— И я... и я ведь тоже, — обрадованно подхватил кустанаец. — Мол, пускай Кузьмич не думает, что, мол...

— А я и не думал. Эх! — сверкнув глазами, вскрикнул Иван Кузьмич и обратился к Лукину: — Это ученик вот этого длинного, Звенкина, а Звенкин по гроб жизни мой.

— А чего вы отвернулись от Сосновского? — тихо спросил Лукин, видя, как Сосновский неотрывно смотрит на Ивана Кузьмича.

— Поцапались как-то на-днях. Вояки, прости господи! На Урал, слышь, уйдем, — намеренно громко проговорил Иван Кузьмич. — На Урал, а отсюда и вдарим. Вдаришь, вонючими-то штанами, — и к Звенкину: — Ну, друг мой ситный, как дела?

— Зина в обиде большущей, — туго выдавил из себя Звенкин. — Как же? Когда, слышь, ноги надо было отпаривать, — нужна я была. А теперь, слышь, как же?

— Ох, ты... Это ведь она права. Знаешь что, сегодня после смены давай-ка к ней.

— А я-то и есть — к ней. Блинов она, того... — Звенкин вытер руки о паклю, почему-то посмотрел на потолок, еще сказал: — И того, значит, как бы тебе передать, — он тяжело задышал: — Хочу этого Ахметдинова.

— Ну-у? Ведь они жулики, татары-то? — подшутил Иван Кузьмич. — Помнишь, сам говорил?

— Не-е. Оплошка была. Режим старый в голове.

— Ну и крестник у меня, — похвастался перед Лукиным Иван Кузьмич, стараясь не смотреть на Сосновского.

Но Сосновский не отступал, как не отступает человек, которым овладела навязчивая мысль. Подойдя почти вплотную к Ивану Кузьмичу, поздоровавшись с Лукиным и тоже почему-то глядя на высокий потолок, он тихо произнес:

— Насчет Урала-то... чушь, Иван Кузьмич. Чушь, глупость несусветная. Извини. Москвичи мы ведь с тобой.

Иван Кузьмич встрепенулся, будто отряхиваясь от пыли.

— Москвичи, это точно... И гордость такую должны иметь — на Сахалин нас забрось, все одно москвичами останемся. Только в словах своих отчет надо давать. Ты, товарищ Сосновский, к нам прислан от наркома и потому каждое слово свое должен сто раз взвесить. Ты бы одному мне такое бухнул: «На

Урал уйдем и вдарим». А ты ведь всем. А теперь что — извини? Ты вон пойди и всем скажи, кто, мол, такое думать будет — на Урал-то, на кол его посадим. Поди-ка и скажи. Поди, поди, правды бояться нечего.

Сосновский вздохнул полной грудью.

— Это я скажу. Обязательно. Чистосердечно признать свою ошибку — дело радостное.

— Но лучше ее и не делать.

— Истина. А вот еще что, — Сосновский решил испытать Ивана Кузьмича и одновременно проверить себя. — Надо бы нам такую идею поднять: всем Уралом создать добровольческий танковый корпус. — Сосновский даже зажмурился, ожидая, что Иван Кузьмич сейчас же на него обрушится со всей своей прямотой, но когда открыл глаза, то увидел, что тот как-то посуровел и, показывая на рабочих, проговорил:

— Позови. Меня позови, другого. Мы ведь ох как знаем, за что бой-то идет.

— И еще, Иван Кузьмич... Товарищ Сталин звонил. Просил передать рабочим спасибо... и повеселить. Я думаю, сегодня надо всем нам в лес направиться.

— Это толково. Только мы со Звенкиным сначала к Зине, а потом уж в лес.

4

Вечером, сев в автобус, Иван Кузьмич, Звенкин и татарин Ахметдинов катили в городок Чиркуль.

— Стал рабочим, друг ты мой ситный, читай, — говорил Иван Кузьмич. — Книжки читай. Знаешь, у Пушкина нашего, Александра Сергеевича, на весь мир поэта, есть такие места. Борис Годунов. Знаешь? Владетельный царь такой был. Увидел, как сын географию изучает, и говорит ему: «Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Что это значит? А вот что значит. Ты бы захотел арифметику придумывать. А зачем? Когда она придумана. А без арифметики жить нельзя, потому что ты не корова и не лошадь.

— А ба-а-а, — подхватил удивленно Звенкин.

— Читай много, больше, глаза будут такие — все увидишь, — подхватил Ахметдинов.

В хате их встретила Зина. На столе у нее уже бушевал самовар, потрескивали в горячем масле блины, пахло жареной картошкой.

— Ждала я вас, ух и ждала, — говорила она Ивану Кузьмичу, с недоверием посматривая на Ахметдинова. — Своему-то молчальнику то и дело напоминаю: да что ты мне его не привезешь, Ивана Кузьмича? Ай поссорился ты с ним?

— А вот и нет. А вот и нет, — туго выдавливал из себя Звенкин, став в комнате как-то еще выше и тоньше. Увидав, как посматривает Зина на Ахметдинова, он, усаживая его за стол, строго сказал: — А это — друг. Друг, значит. И люби его. Люби, значит. Люби, — добавил он. — Люби, значит.

Зина рассмеялась:

— Ну и ладно. Раз сказал — и ладно, любить буду.

Иван Кузьмич, сев за стол, расправил плечи и, глядя на впервые расчесанную голову Звенкина, произнес:

— А может, теперь скажешь, отчего ты и какой ты супротивник?

— Скажу, — неожиданно объявил Звенкин и поднялся, взмахнул длинными руками, чуть не касаясь ими потолка.

— Ой! — вскрикнула Зина и вся залилась румянцем. — Не надо-о-о!

— Не, — Звенкин отмахнулся. — Начал уж. Было это, стало быть, годков двадцать. Сказали мне, ежели я ночью в бане съем сороку, тогда воруй, никто не приметит.

— Ну, ну, — с каким-то страхом понукнул его Ахметдинов.

— Ну и съел. Пошел, стало быть, на базар. Гляжу, воз с пятериками муки. Я, знаешь, цоп мешок — и понес: думаю, сороку-то съел — не увидят. Ну, а меня увидели, и по шеям. С тех пор я и есть супротивник.

— Кому супротивник? — спросил Иван Кузьмич, пораженный рассказом Звенкина не менее, чем Ахметдинов.

— Власти.

— Власти? Позволь, ты мешок слямзил, а она тут при чем, власть? — серьезно запротестовал Иван Кузьмич.

— Приметы нарушила. При старом режиме, ежели съешь сороку — воруй во все просторы. А тут — примету власть нарушила.

Иван Кузьмич, отвалясь на спинку стула, вдруг прорвался хохотом:

— А ты ее в каком виде съел-то? В сыром или вареном?

— Ясно, в вареном.

— А надо бы в сыром, да с пером. Ах ты, дылдушка! — Иван Кузьмич оборвал хохот и серьезно проговорил: — Да зачем тебе воровать, коль у тебя руки золотые? Ты ведь мастером у станка за какое время стал? За пять месяцев?

Звенкин посмотрел на свои руки и, уже мягко улыбаясь, ответил:

— Ныне это понял, — он некоторое время молчал, затем повернулся к Ивану Кузьмичу. — Верю я тебе, Кузьмич, как крестному своему, и тебе, Ахметдинов, — как други, значит, вы мои. Еще бы один навоз с плеч моих, тогда и ключ свой хоть в фонд, ай куда. — И заторопился. — И ты, Зина, мне тут поперек горла не стой. — Он встал, шагнул в кухню, открыл подполье, нырнул туда и через несколько минут вынырнул, ставя на стол покрытые узорами плесени кожаные мешочки. — Вота, — тяжело дыша, выдавил он и посмотрел на Ивана Кузьмича, видимо ожидая, что тот заахает. Но Иван Кузьмич глядел на мешочки так же недоуменно, как и Ахметдинов. Тогда Звенкин развязал мешочек и высыпал на тарелку золотой песок. — Все поджилки мои в этих мешочках, — сказал он и сразу весь вспотел. — И хочу... их... мешочки... на корпус этот... танковый.

— Э-ге-ге-ге-ге, — протянул Ахметдинов, тоже потея.

— Убери, — Иван Кузьмич ткнул пальцем в тугой мешочек. — Нет, не в подпол, а вон туда, в уголок, и прикрой, а то еще какой-нибудь дурак войдет — и целая история: откуда, зачем, почему во-время не сдал? Эх, человеческая жизнь, она сложна. Дурак этого не видит. — А когда Звенкин с испугом убрал мешочки, продолжал: — А теперь налей, всем налей. Да дай-ка я сам, а то у тебя руки трясутся, — и, налив всем водки, он поднял рюмку, произнес: — За твое здоровье, дорогой мой друг, как брат... И пойми величие души своей: не всяк ведь способен стряхнуть с души пыль, как ты сейчас. Человек живет год, десять, двадцать, сорок, пятьдесят... Э-э-э-э! Сколько пыли на душе может накопить — лопатой греби. Правда ведь, Ахметдинов? А он стряхнул враз, и в этом величие его души. За твое здоровье, друг мой.

Все выпили. Потом еще выпили. Закусили блинами. И еще выпили... и заговорили наперебой. Зина вся расцвела.

— Ох! Ох! — выкрикивала она, все чокаясь с Иваном Кузьмичом. — И чего это я вас так полюбила, Иван Кузьмич? Вроде родня вы наша?

— Родня и есть, родня и есть! — выкрикивал Звенкин, весь уже пылая.

— Вот семейство бы ваше сюда... жену, сынков, — и Зина ласково посмотрела на Ивана Кузьмича.

Иван Кузьмич сначала нерешительно тронул ее за локоть, затем встал и поцеловал в щеку.

— Спасибо тебе, Зина... за ласку твою, — и, повернувшись, обнял Звенкина и его поцеловал, но не в щеку, а прямо в губы. — И тебе спасибо.

Звенкин растерялся, потом вскочил, раскинул длинные руки, как бы ловя Ивана Кузьмича.

— Ну... Ну, сроду такого не было, сроду. Слышь, Кузьмич? А уж ежели на то пошло, иду в корпус этот.

Зина побледнела, придавленно засмеялась. Тогда снова поднялся Иван Кузьмич и, посмотрев в просветлевшие глаза Звенкина, раздельно отчеканил.

— Зина, ты поперек дороги не стой. Меня пустят — пойду.

— И я! — вскрикнул Ахметдинов, потрясая кулаком. — Вот кулак. Дам, и нет в живых.

— Да ты и убьешь. Кулаком убьешь! Право, убьешь, — умиленно поглядывая на его кулак, заговорил Звенкин.

Ахметдинов обнял его и затянул:

Урал-гора, большой вершина-а-а...

— Стоп, — остановил Иван Кузьмич, — я думаю, споем мы там — у себя, на общем празднике. Поедемте-ка к рабочим. И ты, Зина.

Зина вспыхнула, вся сгорая от радости, но тут же вяловато опустилась на табуретку, тревожно посматривая на сундуки, шкатулки, на вешалку, где висела одежонка, на мешочки с золотым песком.

Звенкин с одного взгляда понял ее и, тыча длинным пальцем себе в грудь, выдавил:

— Вот этого не своруют. Вот этого — никто не своирует, оно дано ноне на всю жизнь. Пойдем.

— Ой! — только и вскрикнула Зина, кинувшись к сундуку, вытаскивая оттуда почти новый, но старого покроя серый костюм.

5

У подножья Ай-Тулака, среди шатровых сосен, могучих берез полыхали костры. Они пылали и тут и там, опоясывая низину горы гирляндой искр, золотя темноголубое небо. Казалось, небо опрокинулось только над этой долиной; дальше виднелась густая, вязкая тьма... И гремели оркестры и оглашались леса песнями, смехом, криками — так справлял свой праздник пятитысячный коллектив моторного завода. Были тут все — русские, украинцы, белорусы, казахи, узбеки, сибиряки и коренные жители Урала, и пели, плясали, говорили они свое — родное и буйное.

Под сосной, на полянке у костра сидели Николай Кораблев, Альтман, Сосновский, Ванечка, Лукин, Иван Иванович, начальники цехов. Они сидели за разостланными скатертями, заставленными закусками, и

отсюда с пригорка видели, как люди у костров пели, плясали, взмахивая руками, и всех тянуло туда — к другим кострам, кроме Сосновского, которому хотелось быть здесь и повеселить штаб своим баском. Он несколько раз пробовал затягивать песенки, но из этого ничего не выходило. Может быть, это случилось потому, что сначала затянул он довольно сложное: «Жил-был король когда-то», да и запел довольно фальшиво... и, уже перейдя на простые песенки, он почувствовал, что из этого ничего не выйдет... Даже чувствуя это, он не отступал: его сначала поддерживали, а потом он один, взмахивая рукой, как бы руководя хором, заканчивал песни.

Николай Кораблев с грустью смотрел на Сосновского, думал:

«Какая страшная судьба у человека: сгнил на корню и только потому, что заболел манией величия, комчванством... Весь в прошлом», — и вслух: — Ну, певец вы такой — голос большой, а слух Шаляпин забрал. Разрешите-ка мне, товарищи, на полчасика отлучиться. Хочется побыть среди народа, — и он первый поднялся и пошел к кострам.

Он шел стороной, прячась за деревья, как бы кого-то отыскивая, выслеживая, и в эти минуты совсем забыл о том, что он директор моторного завода. Смех, игра на гармошках, вальсы оркестров, трепетные языки костров — все это на него подействовало так, что он сам вдруг стал юным, тем самым парнем, который среди множества девушек видит только одну — свою, и он крался, прячась за деревья, ища кого-то.

Вот огромный костер. На разостланных газетах — колбаса, консервы, хлеб. Кругом сидят люди — мужчины, женщины, девушки, юноши. Пламя костра падает на их наряды, на их лица — застывшие и серьезные. Ах, вон что тут: на коленях стоит Степан Яковлевич и, высоко держа стакан, ораторствует:

— Всему свое время. Точка. Накачались вы в цеху — головы долой. Долой в мировом масштабе, — он нажал кадык двумя пальцами и загремел: — Исправились, на ноги тут же поднялись, подмогу комсомоль-

скую не приняли — слава вам в мировом масштабе. Точка. Это по-рабочему. Впрочем, я не умею. Это бы Ивана Кузьмича, он бы вас пробрал до печенок.

И тут же откуда-то вынырнул Коронов, маленький, беленький, завитой, как березовый пенечек. Он выпорхнул, будто из куста, и сразу овладел всеми, выкрикивая:

— Сталин про нас проведал, вот тебе на! И ура, стало быть, ему, хозяину нашему. Ура! И набирайте силенок, чтобы крепче батюшку-Урал запрячь. Что мы тут без вас жили? Небо коптили, добро земли-матушки топтали. А она богата — земля наша уральская, ой, богата! И силой запасайся... Запасайся-я-я!

А вот группа молодежи. Юноши и девушки со смехом, выкриками носятся около костров, прыгают через трепетное пламя. Ярчайшие искры с треском осыпают их... А вон поют, и какая-то женщина в пестром лапчатом платье смеется заразительно громко, видимо наслаждаясь своим смехом... И узбеки, как вылитые из бронзы, сидят в кругу, поджав под себя ноги, поднося к губам разноцветные пиалы с крепким чаем... И казахи, сидя в кругу, тянутся пальцами к своему национальному кушанью биш-бармак... И волжане во всю силу легких громят воздух песнями.

Лучше в Волге мне быть утопленному,
Чем на свете мне жить разлюбленному, —

вырываются слова и несутся, несутся, эхом перекатываясь по ущельям, забираясь в глубь гор.

Николай Кораблев ходил от костра к костру. И чем дальше, тем больше им овладевало чувство одиночества. Да. Все это были родные ему люди. Почти каждого он знал по фамилии, по имени, знал и жизнь и быт, и каждый, конечно, с радостью приютил бы его у своего костра. Но, несмотря на все это, а может быть, именно поэтому Николаем Кораблевым овладело чувство одиночества. Он шагнул в сторону заповедника «Нетронутый Урал» и еле слышно произнес:

«Таня! Танюша моя! Неужели ты не чувствуешь, как больно мне?»

6

В горах заповедника гуляла молодая осень. Оранжевые, красные, будто огненные языки, серо-лиловые, черные листья крутились по упругим, как пробка, лесным тропам, по когда-то наезженным, но теперь глухим, заросшим дорогам, по полянам, у подножья белобокой березы. Казалось, земля вспыхивала, рвалась разноцветными, буйными кострами, кидая огненные языки на деревья, на кустарник. Земля горела, торжествуя, неся в себе зачатки весны.

«Батюшки! — воскликнул Николай Кораблев, зачарованный всем этим. — Да ведь такое я видел только во сне. Ну да, ну да! Вот такие же краски, такие травы, такие листья, такое солнце. Ох, Таня! Танюша моя! Ведь это все твои краски, твоя красота. А тебя нет. Нет, и я не знаю, где ты, что с тобой», — и, втянув голову в плечи, весь подчиняясь нахлынувшему чувству, он зашагал в низину по вытоптанной зверем тропе.

На тропе виднелись следы лося, диких коз, лис, зайца, а по боковине тянулась узорчатая, как кружева, стежка — это были следы тетерева, глухаря. Николай Кораблев шел, втянув голову в плечи, почти ничего не замечая. Но вдруг он отшатнулся.

Впереди что-то блеснуло. Ему сначала показалось, что это открытая, залитая солнцем поляна. Но, пройдя несколько метров, он увидел небольшое, круглое горное озеро. Стиснутое скалами, обросшее дремучими лесами, оно было такое чистое, как детские глаза. Только в ряде мест у берегов оно было покрыто листьями лилий. Остроконечные листья лежали плотно, припав к воде. Но вот дунул ветерок, и они приподнялись, напоминая собою уши какого-то причудливого зверя. Затем снова все смолкло, только жгучее солнце лилось на камыши, на травы, и по всему озеру шел такой шорох, будто лучи солнца шептались с камышом, с лилиями, с сухими травами.

«Природа сама с собой», — еле слышно прошептал Кораблев, и в эту минуту ему особенно захотелось побыть с Татьяной, именно тут, на берегу этого горного

озера: ему даже показалось, что она здесь, в этом шорохе трав, во всплесках листьев лилий, в этом обильном солнце, в каменистых берегах — во всем... во всем он видел ее. И он застыл, привалившись к скале, как бы прячась, боясь своим движением спугнуть и всю эту красоту и свои чувства. Так он стоял несколько минут, слыша и видя сразу все — и шорох трав, и бульканье горного ручья, где-то запрятанного в чаще кустарника, и игру солнечных лучей, и дрему скалистых берегов. Природа жила для него, жила по-своему, как-то растворив, рассеяв в себе Татьяну...

«Гурлын-гурлын-гурлын», — пронеслось звонко по лесу, и над окрайком озера, широко расправя крылья, почти не двигая ими, проплыл горный орел. Он плыл над озером, медленно поворачивая голову то направо, то налево, как бы любуясь своим отражением в воде.

«Какой он! Какой он могучий!» — вырвалось у Николая Кораблева, и он снова глянул на озеро.

По озеру все так же пробегал игривый ветер, задирая листья лилий, все так же в лучах солнца шуршали травы, все так же дремали береговые скалы, но озеро стало уже не тем. И Николай Кораблев, жалея о том, пропавшем озере, зашагал прочь, спугивая рябчиков, тетеревов. Он шел, поднимаясь на вершины или спускаясь в овраги, покрытые густым малинником, перепутанные ежевикой. Он шел, страстно желая, чтобы вернулось то большое, огромное, что целиком овладело им там, на озере, но оно, спугнутое клекотом орла, уже не возвращалось, хотя кругом было так же красиво, по-первобытному дико. Вот поляна, заросшая редкими, но могучими и стыдливыми лиственницами. Через их верхушки на поляну падает огромными лапами солнце. Оно такое тихое, как будто навсегда застыло тут, как застывает расплавленная сталь.

— Да, да. И это красиво, — проговорил он и с грустью закончил: — Но ее нет, нет. Ее нет! — и снова зашагал, еще более косолапя.

Вскоре он попал в бурелом и полез через него, обдирая руки, лицо. Вначале ему показалось, что бурелом вот-вот кончится. Но чем дальше он лез, тем бурелом становился более перепутанным, темным.

Иногда откуда-то сверху светило солнце, и тогда Николай Кораблев видел, как на камнях, греясь на припеках, свернувшись клубками, лежали змеи — золотистые, пестрые, черные.

— Ох, ох! — вскрикивал он. — Вот это забрался. Ох, ох! — с него уже катил градом пот, а конца бурелому еще не было видно.

Наконец он выбрался на поляну и, почти обессиленный, упал на пожелтевшую траву. Сердце у него колотилось, ободранные руки саднило... Отерев кровь платком, он посмотрел на солнце, намереваясь определить, куда идти к строительной площадке. Но когда он уходил от костров, была еще совсем ранняя заря, и теперь он по солнцу ничего определить не мог. В висках у него стучало. Конечно, он может тут питаться ягодами — брусникой, малиной, ежевикой. Но так его ведь ненадолго хватит. И никого нет. Он прислушался. В верхушках густых сосен прощался игривый ветер, где-то журчал на разные лады горный ручей.

— Надо все-таки итти, — проговорил Николай Кораблев и, криво усмехаясь, добавил: — Вот, Танюша, я и затерялся. Ты затерялась где-то... а я в лесу. Но ведь это глупо — затеряться в лесу, — он даже рассердился и крупно зашагал, куда повели ноги.

Он шагал, ломая сухие, перегнившие сучья, временами чувствуя, что за ним кто-то следит; иногда он слышал посторонний шорох, гул падающего камня, треск сучьев. Не медведь ли? Зверь весьма любопытный. Однако любопытство его совсем некстати. Интересовался бы другим, например диким медом. Подсмеиваясь над собой, угомоняя этим страх, Николай Кораблев поднялся на облысевшую, как череп престарелого деда, вершину.

И отсюда с лысой вершины перед ним открылось все величие Урала: дали, окутанные синей дымкой, тянулись в глубь хребта, и ничего не было видно, кроме этих горных озер, сжатых скалами, кроме этих пиков и густых до черноты лесов. Ничего не было видно — ни жилья, ни железной дороги, ни шахт, — только леса, леса, горные озера, причудливые вершины и полное безлюдье.

«Пропаду я тут», — со всей ясностью пришла ему мысль, и он вспомнил рассказ о том, как совсем недавно чиркульский делопроизводитель, заядлый охотник, один отправился в уральские леса... и заблудился. Его нашли на шестнадцатый день. Он, мертвый, лежал у камня. На груди была приколота записка: «Блуждаю одиннадцатый день. Ел сырую дичь. Нет спичек. Больше не могу».

«А кстати, есть ли у меня спички? — Николай Кораблев пошарил по карманам и, пока шарил, отыскивая коробку, весь покрылся потом, а найдя, облегченно вздохнул и снова: — Ну, а чем я буду убивать? Ножа даже нет. Пропаду», — еще раз проговорил он и дрогнул.

Откуда-то со стороны раздался трубный зов. Властный, торжествующий, он прокатился по ущельям, вырвался на долину и понесся над вершинами гор. Оборвался. И снова катился, как бы вызывая кого-то на смертельный бой.

— Что это такое? — Николай Кораблев прислонился к дереву, готовясь к защите.

— А это лось трубит, самец. Самку зовет к себе; у них осенью свадьба, — из-за скалы показалась седенькая курчавая, как березовый пенечек, голова, затем выпрыгнул, отряхиваясь, как зайчонок, и сам Коронов. Выпрыгнул, встряхнулся и заиграл словами:

— Ах, сокол ясный, поднебесный, синя птица ты моя. Да рази ты не слыхал, сколько люду так загибло в лесах этих уральских? Скажи Надюше спасибо, мигнула она мне. Ох, ты лютый, Николай Степанович. По следам иду за тобой, думаю, ай, не догадается, что не в ту сторону шагает, а в самую глухмень. Нет, прется. На-ка вот, покушай, — и подал замасленный картуз с переспелой лесной малиной. — Покушай, и айда — пошел в обратную. Дело-то ведь уж к вечеру. Будет, нагулялся. И вот это поешь, — он достал из кармана кусок хлеба, подал его Николаю Кораблеву. — Айда! Вон там, у ручья, поешь. Эх, здорово еда идет у ручья. Обмакнешь его, хлеб-то, в воду студену, и вроде баранина. Ну, истинный бог, баранина, и та дома не такая вкусная, как тут хлеб.

И побежал, прыгая через расщелины, рытвины, перебираясь через острые глыбы, обходя буреломы так, будто он тут уже десятки раз бывал. А подбежав к ручью, стремительно выбивающемуся из-под высокой заросшей мхами скалы, присел и снова заиграл словами.

— Ах! Ты гляди, какими слезами земля человека угощает. Слеза! Кристальная, — и, вынув из кармана второй кусок хлеба, он обмакнул его в воду. Мелко пережевывая, он долго говорил что-то такое про ручей, про реки, про леса, делая вид, будто не замечает, что Николай Кораблев вовсе не слушает его. Доев свою порцию хлеба, бережно собрав и кинув в рот крошки, старик сказал: — Раньше толковали, хлеб сорить грех, потому что он есть тело христово. Вишь ты, чего придумали. А и верно, сорить грех: хлеб труда большого стоит. Из-за ево миллионы погибают. На-днях я встретил одного такого. Спрашиваю: «Ну, трибунный человек, выкладывай мне сразу, из-за чего война?» Слышь, то да се. Усмехнулся я, потому что я в точку понимаю — из-за хлеба война на земле: доставать его трудно, хлеб, а ну-ка я его мечом завоюю. Чуешь? Немчушки, они что — они сроду так: изо рта кусок бы вырвать, — он чуточку помолчал, глядя на верхушку сосны, затем весь собрался и, тронув Николая Кораблева за колено, мягко произнес: — Что? Сокол ясный, поднебесный, тижело тебе?

Николай Кораблев кивнул головой.

— Чую, знаю, тижело. И не оттого тижело, что дела у тебя — беда. Дела-то у тебя на заводе золотом неувядаемым покрыты, да в квартире пусто. Бабенку бы тебе заиметь. — Через весь лоб Кораблева легла резкая складка. Коронов, увидев это, заспешил: — И я... и я тоже говорю — это срамно. Так же срамно, как у гроба жены законной с сударушкой целоваться. Срамно. И знаю твою линию к Надюше — чистая линия, как этот ручей. Напоказ бы твою линию... И тоску твою знаю. А ты неси ее — правду такую на плечах своих. Неси! Лжу — ее легче нести: она, как пух, дунь — и разлетится. А правда тяжела, как чугун. Зато, когда к месту придешь — к судилищу народному, свалишь с плеч правду-чугун, пот со лба вытрешь и с вели-

кой радостью скажешь: «Вот, братцы, какую правду я всю жизнь на своих плечах нес». И возвеличат тебя. А она вернется к тебе и ноги твои поцелует за чистоту твою.

У Николая Кораблева задрожало сердце, на глазах навернулись слезы, и он тихо произнес:

— Спасибо тебе, мудрый старик.

7

Из маленькой уютной квартирки Николай Кораблев недавно перешел в новый, еще пахнущий сосной коттедж, построенный специально для директора Иваном Ивановичем. Коттедж стоял недалеко от шоссе, в бору, у подножья Ай-Тулака. Тут было все предусмотрено, как будто Иван Иванович знал и чувства и думы Николая Кораблева: пять комнат явно были построены не только для семьи Кораблева, но и для Нади, большой кабинет наверху, уже заполненный книгами, где-то разысканными Иваном Ивановичем, огромная застекленная веранда, предназначенная для Татьяны. Но главное, во всех комнатах, кабинете и особенно на веранде было столько света и солнца, что казалось, все это построено не под крышей.

Иван Иванович, придя в первый же день переезда, чего-то стесняясь, сказал:

— Это все для вас, Николай Степанович.

Николай Кораблев впервые обнял его, усадил на диван и душевно произнес:

— Спасибо, понимаете вы мою тоску.

К коттеджу подошли они поздно вечером. Николай Кораблев от усталости еще больше косолапил, а Коронов все так же быстро семенил ногами, будто бежал из бани. На пороге их встретила Надя. Глянув на Николая Кораблева, она взяла его за большую руку и, заглянув в глаза, сдерживая рыдания, проговорила:

— Зачем? Зачем это вы, Николай Степанович? Вы ведь не маленький.

— Прогулка, прогулка, Надюша, синие очи, душа твоя ангельская, — снова затрещал на разные лады Коронов.

В столовой их ждал Иван Иванович. Перед ним стояла бутылочка коньяку, на столе лежали колбаса, консервы, масло, селедка, огурцы, хлеб — все это было по-мужски свалено, как попало.

— Ну, я так и знал, — поднявшись со стула, встряхивая большой седеющей головой, проговорил Иван Иванович охрипшим от долгого молчания голосом. — Раз Евстигней Ильич отправился за вами, то уже непременно разыщет: он в уральских лесах, как у себя во дворе.

— Умойтесь, — Надя силой утянула к умывальнику Николая Кораблева. А пока тот умывался, она так прибрала на столе, что та же колбаса, та же селедка и масло приняли совсем другой вид — привлекательный и вкусный.

— Вишь ты, что есть девичьи руки. Поглядите-ка, Николай Степанович, — проговорил Коронов, показывая на стол, и хотел было раскланяться, но Николай Кораблев, вытирая лицо полотенцем, задержал его:

— Нет уж, спасителя за стол.

Николай Кораблев почти никогда не пил. Это не потому, что он «спасался», а просто не понимал, зачем это все делается: после первых двух рюмок он чувствовал, что язык начинает нелепо путаться, глаза слипаются, и ему становилось от этого неприятно. Знатоки винных паров советовали: «Ты выпей хоть раз по-настоящему, тогда постигнешь величие сего». А сейчас, глядя на бутылку с коньяком, он даже весь передернулся. Но, увидав, с каким вожделением смотрит на бутылочку Коронов, Николай Кораблев смирился и сел за стол.

Коронов после первой рюмки крякнул, хотел было по привычке сплюнуть, но сдержался, видя чистые полы, затем недоуменно посмотрел на бутылку с коньяком: он привык пить русскую горькую да еще с перцем, с горчицей, так, чтобы «рашпилем по нутру прошлась», а тут что-то мягкое, ароматное.

«Чем это меня угостили, — напитка такая... ква-

сок, что ли?» — подумал он, но после второй рюмки щечки у него разрумянились, после третьей он весь вспыхнул, кудри на голове еще больше завились, а сам он еще больше стал походить на березовый пенечек. Тут он взмахнул руками и прорвался потоком игривых слов.

— Компания, за честную компанию, Николай Степанович, и вы, Иван Иванович, я могу в морскую пучину кинуться. Да, компания, — частил он, то и дело поправляя под собой на стуле картуз, с которым никак не хотел расстаться. А после пятой рюмки он неожиданно скис и, все так же выкрикивая «честная компания», покинул коттедж, выйдя из него мелкими, ковыляющими шажками, поддерживаемый хохочущей Надей.

— За стол, Евстигней Ильич. Будь товарищем, Евстигней Ильич! — выкрикивал он то, чего совсем не говорили за столом, и, закрутив головой, вдруг обвис на плече Нади, как мешок с песком.

А Надя, ставя его на ноги, которые тут же подкашивались, хохотала.

— Деда, дедуня, дорогой. Да ты ноги-то потеряешь. Дедуня...

— Мой отец, инженер, недра Урала знал, как свои пять пальцев. Несмотря на сопротивление министров, он был избран членом Академии наук, — говорил в то же время за столом Иван Иванович, легонько постукивая вилкой по пустой рюмке. — Прожил он на земле восемьдесят два года... и до последнего часа это был свежий ум. Одному он меня учил: «Иван, ни перед кем и ни перед какой бедой не склоняй голову. Помни одно — по склоненной голове даже дурак колотит, а беда, так та просто замнет тебя. Всякая беда перед человеческим умом и творчеством — пустяк». И в самом деле, Николай Степанович, посмотрите на это, — показал Иван Иванович в окно на строительную площадку, всю залитую электрическим светом. — Мы с вами заложили здесь, в этой глуши, жизнь. И это не забудется. Вы знаете, памятники бывают всякого рода — из бронзы, гранита... но все равно, их разрушают ветры, дожди, морозы. А вот за такое, — он

снова показал в окно на строительную площадку, — народ нам поставит такие памятники, которые никогда не разрушатся. — Было понятно, что все это он говорит лишь для того, чтобы хоть чуточку восстановить равновесие Николая Кораблева, и тот, все это понимая, поддакивал ему:

— Да, да. Отец ваш прав. Человек зовет к жизни. И тот, кто нарушает жизнь, должен быть убит... а с ним вместе должна быть навсегда убита и война.

8

Фронт тянулся все так же с самого севера, через Брянск, Орел, Воронеж, Сталинград, Элисту, Моздок и Туапсе. И вот уже четвертый месяц шли упорные бои под Сталинградом.

— Уперлись! — Степан Яковлевич, потрясая газетой, прибежал в цех к Ивану Кузьмичу. — Уперлись! А? Гляди-ка, ни с места мы. Стоп. Точка.

— Уперлись — этого еще мало, — отвечал Иван Кузьмич. — А надо тех теперь попятить. Вот это будет задача.

— И попятим. А как же?

— Архангел Гавриил ты, утешитель.

— А ты Фома неверующий, вот кто; тебе вроде хочется, чтобы нас поколотили?

— Ну, ты! Хоть и друг, а такое не пори.

— И больше я к тебе никогда не приду. Не приду — и все. Раз отрезал — и точка, — и, потрясая газетой, как бы грозя Ивану Кузьмичу, Степан Яковлевич выбегал из цеха.

Но на следующий день он снова появлялся и снова, тыча пальцем в газету:

— Ого! Колотить начинают. Гляди, гляди, как поколачивают!

— Кто кого?

— Ты опять за свое, Фома неверующий?

— Я опять за свое, архангел Гавриил.

— А к чему? К чему это ты травишь?

— А к тому, чтобы злость не распылять. Сын Ва-

силий недавно письмо мне прислал, пишет, что Сталинград не отдадут. Слышь, тут немец и сложит свою дурную головушку, — так мне бы после этого и бегать, задрав хвост. А я свое — крепче злость разворачиваю. Наука, друг, теперь у нас с тобой такая — всех разбередить, а не утешать. В Берлин придем, Гитлеру башку отрубим, вот тогда я скажу: «Ну, прочь из меня злость, смеяться хочу».

— Ну-у... Вот что? А я думал, как бы тебе сказать... Ты затуманился, потому каждый день и шурую тебя. Эх, ты-ы. А ты политик, — Степан Яковлевич потрогал двумя пальцами кадык и еще сказал: — Однако за горло их схватили. И теперь, гляди, костей не соберут.

Сегодня, в пасмурный, буранный день, Степан Яковлевич снова зашел в цех к Ивану Ивановичу. Он был таким, каким бывают люди после состязания: тихий, уставший и смирный. Положив на движущийся конвейер рядом с мотором лист бумаги, исчерченный какими-то непонятными квадратиками, он сказал:

— Ультим, Иван Кузьмич.

Иван Кузьмич, вскинув очки на лоб, недоуменно посмотрел на него.

— Ты чего это? Что за ультим?

— Ультиматум предъявлен: сдавайтесь, не то ноги выдернем, — и, тыча пальцем в бумагу: — По радио я выслушал и все начертил. Видишь? Это, стало быть, наша твердыня, Сталинград. Где черно — немчушки. В кругу каком, видишь? Сказано — сдавайтесь, не то ноги выдернем.

Иван Кузьмич озорно почесал за ухом.

— Вот бы кто их натолкнул не сдаваться; тогда непременно ноги бы выдернули. А то бери в плен, вези их куда-то, корми, гнус такой.

— Хорошо бы натолкнул бы их кто, — и Степан Яковлевич так захохотал, что Иван Кузьмич даже замахал на него руками, говоря:

— Эх! Эх! Что это ты прорвался? Ты для Берлина побереги глотку свою. Между прочим, как: отпустили тебя в танковый-то корпус?

Степан Яковлевич потускнел:

— Наотрез. Николай Степанович наотрез отказал. Я туда, сюда. Меня на комиссию. Слышь, сердце, как лошадиная сума с трухой. Вот и весь сказ. Досадно, однако. Чем я хуже тебя?

— А вот, выходит, и хуже, — поддразнил Иван Кузьмич и тут же серьезно: — Впрочем, это хорошо, за нашими тут присмотришь. Оно, конечно, у Звенкина одна жена, да ведь у меня — куча. У Ахметдинова тоже куча, где-то в Златоусте. Ты адресок возьми — и шефом нашим будешь.

— Поменяться бы — ты шефом, а я туда.

— А сердце у тебя? Ну вот — видишь.

— А у тебя ноги. Другие ведь не вставят.

— Ну, ноги что? Я ведь не ногами драться-то буду.

9

Вдоль шоссе, в поселке «Красивый», были выстроены коттеджи для рабочих. Покрашенные в разные цвета — синие, голубые, белые, розовые, они издали походили на клумбы цветов. В одном из таких коттеджей поместились Иван Кузьмич и Степан Яковлевич.

— Под одной крышей, значит, мы с тобой, Иван Кузьмич, — прогудел Степан Яковлевич. — Теперь давай, значит, вызывать барнаульских.

Вскоре из Барнаула прибыла семья Ивана Кузьмича, а с ней вместе и Настя — жена Степана Яковлевича.

Настя приобрела новую привычку. Работая в Барнауле как общественница по пошивке красноармейского обмундирования, она теперь на каждом мужчине внимательно осматривала костюм, и если видела оторванные пуговицы, порванную петельку, обитые рукава, то ей всякий раз хотелось починить все это. Елена Ильинишна очень осунулась, постарела, в волосах пробились седины, но была все такая же крепкая, властная. В уголке, в изголовье своей кровати, она повесила календарь, на котором уже выцвел листочек

с числом «22 июня 1941 года». Иван Кузьмич посмотрел на листочек и на вещицы сына Сани, ничего не сказал, как не сказал и того, что передал ему тогда еще в Москве летчик Миша.

«Промолчу», — решил он.

Приезду семьи он очень обрадовался, особенно приезду внучат, которые за это время выросли, подтянулись, и младший как будто стал старше своего брата. Старший, Коля, все больше вертелся около матери Лели, а младший, Петя, как только приехал, так сразу попросился с дедушкой на завод и весь день провел в цеху, интересуясь конвейером. Вечером, придя домой, стал сам мастерить конвейер... и Иван Кузьмич сказал:

— Молодец парень растет... Утешение мое...

В первый же выходной Иван Кузьмич, посоветовавшись с Еленой Ильинишной, решил устроить званый ужин, пригласив на него Николая Кораблева, Степана Яковлевича с женой Настей, Звенкина с Зиной и Ахметдинова.

10

В условленный час все собрались. Не было только Николая Кораблева. Иван Кузьмич, приодетый, гладко причесанный, занимал всех в столовой, и разговор, как всегда, когда ждут главного гостя, не клеился. Иван Кузьмич то и дело посматривал через окно на дорожку, покрытую пухлым снежком, ожидая, что Николай Кораблев пойдет именно по этой дорожке, и раскаивался, что сам не отправился за ним.

«Ах ты, ах ты! — вздыхал он про себя. — И чего это я промахнулся? А вдруг у него дело срочное какое? Ах ты, ах ты!»

Степан Яковлевич рассказывал Звенкину и Ахметдинову какую-то длинную историю про татар, про их нашествие на Русь. Звенкин и Ахметдинов слушали, давно потеряв нить рассказа, и кстати и некстати кивали головами. Настя рассматривала на Звенкине новый костюм, не находя в нем изъяна, а Зина смотрела по стенам, на картинки и тихонько, в ладошку,

позевывала. Елена Ильинишна ушла на кухню, решив допечь тесто, которое она хотела было сохранить на завтра. Сноха Леля почему-то больше всех волновалась. Она то и дело выбегала из комнаты, будто бы желая посмотреть на спящих сыновей, но в сущности вертелась в коридоре перед зеркалом, складывая бантиком крашеные губки.

В дверь кто-то постучался. Иван Кузьмич, сказав «он», выбежал, открыл дверь и почему-то несколько минут не являлся в столовую, где в томительном ожидании сидели гости. Вошел он чуть погодя и положил на стол газету «Правда».

— Вот, принесли, — сказал он, и из всех присутствующих только Степан Яковлевич уловил, что с Иваном Кузьмичом за эти минуты что-то произошло.

Взяв газету, он мельком еще раз посмотрел на Ивана Кузьмича и спросил:

— Что?

Тот отвернулся.

— Да так, ноги что-то заныли.

— К непогоде, значит, барометр твой пошел, — и, развернув газету, Степан Яковлевич хлопнул по ней ладонью: — Ого! Слыхали мы с вами все это, но не видали. Вот они. Вот! Людоеды.

Газета была переполнена сталинградскими событиями: виды разрушенного города, четыре немецких генерала, жители Сталинграда возвращаются в свои жилища, а вот длинная вереница военнопленных. Про них-то и сказал Степан Яковлевич: «людоеды». И верно, они были похожи на людоедов: грязные, обтрепанные, со спрятанными в карманы руками, согнутые, глядящие в сторону. В этом же номере была опубликована и сводка об окончательной ликвидации немецких войск в районе Сталинграда. Сводку эту же несколько дней тому назад все слышали по радио и читали в местной газете, но снимков никто не видел. И теперь все с большим напряжением всматривались в немцев, как всматриваются люди в портреты злейших преступников.

— Зря ведут, — Степан Яковлевич вздохнул. — Теперь помещение им надо, кормить их надо.

С ним все молча согласились, только Настя горестно произнесла:

— Ох-хо-хо! Матери, поди-ка, у них есть, а у иных и жены, ребятишки.

— Вот бы их всех вместе на осину, — проговорил Иван Кузьмич и, надев очки, вынул из кармана письмо: — Василий прислал, мать. Иди. Читать будем, — позвал он из кухни Елену Ильинишну.

Леля пискнула, завертелась на стуле, потянулась было к письму, но Иван Кузьмич ладонью прикрыл конверт. Вошла Елена Ильинишна и, со страхом посматривая на письмо, присела рядом с Иваном Кузьмичом. Иван Кузьмич аккуратно вынул письмо из конверта, начал:

«Родные мои, здесь, в этих страшных боях, часто думаю о вас. Я забыл числа, потому что каждый новый день похож на старый: бои, дым, смерть».

Иван Кузьмич икнул, протер глаза, хотел было продолжать чтение, но подвинул письмо Степану Яковлевичу, сказал:

— Читай. У тебя глаза лучше.

Степан Яковлевич прокашлялся.

«Я в Сталинграде был еще осенью. Тогда стояли золотые дни. На берегу Волги огромными ярусами лежали арбузы и дыни».

— Детям полезны арбузы, — вмешалась Леля, намереваясь еще что-то сказать, но Иван Кузьмич на нее посмотрел так, что она прикусила язык.

«...А город был светлый, — продолжал Степан Яковлевич, все больше бася, — светлый и радостный. Центральная часть заасфальтирована, украшена замечательными домами, садиками, а на окраинах еще жил старый Царицын — деревянненькие хатки. Сейчас города нет. Есть развалины, сожженные дома... и пепел. Как-то мы с генерал-лейтенантом, командиром, летели на самолете «У-2» вдоль линии фронта».

Елена Ильинишна глянула на Ивана Кузьмича, блеснув глазами, как бы говоря:

«Вон с кем! Вася-то».

«...Маленький самолет медленно плыл над степью,

и мы видели, какие гигантские силы собираются на Сталинград: по всем дорогам, по всем балкам, по равнинам хоперских степей ползли немцы, закованные в броню... а Сталинград уже пылал. На Сталинград сыпались снаряды, бомбы: на каждый квадратный километр уже было выброшено шесть тысяч тонн металла, то есть триста шестьдесят тысяч пудов».

— Вот сколько металлу высыпали, — и Степан Яковлевич снова уткнулся в письмо. — «...Гигантские орды двигались на Сталинград, на эту волжскую твердыню. Они уже ворвались в город, подковой обняли центр, спустились к Волге и из своих нор кричали нам: «Рус! Скоро буль-буль!» Но мы знали: за Волгой нам жизни нет. За Волгой для нас только позор. Нет, что там позор? Это очень маленькое слово по сравнению с тем, что было у нас на душе»...

— Васенька... — еле слышно прошептала мать.

Иван Кузьмич положил свою руку на ее и крепко сжал.

«...И мы полезли в землю. Мы зарывались в развалины домов, в подвалы, и дрались до последнего вздоха. Если у человека была ранена правая рука, он дрался левой, если ему ранили и левую, он дрался зубами. Мы били немцев, а они лезли на нас, как голодные крысы. Папа! Ты помнишь, как однажды мы с тобой были в деревне и шли мимо заброшенной мельницы? Помнишь, из-под мельницы высыпало что-то такое серое, движущееся, как горячая зола. Ты рванул меня за рукав и, кинувшись на дерево, крикнул мне: «Лезь, лезь сюда!» А когда и я взобрался на дерево, ты сказал: «Крысы. Голодно им стало на пустой мельнице, вот они и побежали». И крысы двигались, с визгом двигались широкой полосой. На полянке, я помню, бродил теленок. Крысы кинулись на него и, пройдя, оставили общипанный скелет. Помнишь, папа?» — Степан Яковлевич остановился, посмотрел на Ивана Кузьмича.

— Было, помню, Вася, — сказал отец.

«...Так же вот, — хрипловатым голосом продолжал Степан Яковлевич. — Так же вот на нас лезли немцы. Десять тысяч пулеметов строчили с нашей сто-

роны, била артиллерия, десятки тысяч гранат летели на немцев. А они лезли, лезли, лезли. Я видел, как один пулеметчик чуть не сошел с ума. Это было на Мамаевом кургане.

Мамаев курган — лысая гора около Сталинграда. Мы ее укрепили — построили дзоты, обнесли водяными рвами, колючей проволокой, заминировали. В каждом дзоте сидели моряки — один, два. Больше не было. У каждого моряка был пулемет, гранаты, противотанковые ружья. Я перелетел на Мамаев курган (он был окружен немцами), чтобы посмотреть, что там делается, и зашел в дзот к одному моряку. Моряк, играя на балалайке, распевал частушки. Это было утром. И вот на него полезли немцы. Моряк изругался грубо, остервенело и начал косить их из пулемета. Он срезал первую цепь. Но за ней появилась вторая, третья, четвертая. Моряк косил немцев из пулемета, а они все лезли, лезли и лезли. Они лезли, падали. Падали в рвы, заполненные водой, повисали на колючей проволоке, рвались на минах, бежали в стороны, как очумелые, и, настигнутые пулями, тоже падали... Казалось, надо кончать... Надо приостановить. Но кто-то снова кидал новую цепь солдат. И эта цепь падала, а за ней, как из-под земли, вырастала новая, и еще новая, и еще новая. Вода во рвах уже стала красной, пыль, поднятая ногами солдат, тоже покраснела, покраснели и глаза у моряка, а немцы все лезли, и лезли, и лезли. И вдруг моряк закричал:

— Да что это? Что это, братишки? Что это? — и кинулся было на выход.

Я схватил его. Я со всей силой встряхнул его. Я прижал его к своей груди и крикнул ему:

— Это крысы, друг мой, это крысы!»...

Степан Яковлевич остановился и посмотрел на всех. Все сидели молча. У Ахметдинова на скулах прыгали желваки, кулак сжался. Звенкин застыл, как изваяние. Зина смотрела в сторону глазами, налитыми слезами, Настя смотрела только на письмо. Елена Ильинишна левой рукой прикрыла руку Ивана Кузьмича. Иван Кузьмич еле заметно дергал плечом и

смотрел куда-то далеко через стены комнаты; только Леля все так же складывала, раскладывала накрашенные губки, как бы ловя ниточку.

«...Я работал на укреплениях, — писал Василий. — Мне приходилось бывать почти всюду. Однажды я увидел, как стена шестиэтажного дома закачалась и рухнула на обломки камней и кирпича. Татарин Ахмет Юсупов сказал: «Вот — дом устал, камень устал, воздух устал, и мы устал, но мы будем драться»...

Ахметдинов скрипнул зубами, тихо произнес:

— Брат, значит, мой Ахмет Юсупов. Так он должен сказать, Ахмет Юсупов.

«...Казалось нам, что этому не будет конца... Ну день, ну два, ну месяц, ну два... а мы ведь уже бились так шестой месяц. Нас становилось все меньше и меньше. Люди умирали, людей разрывало снарядами, минами, гранатами... и каждый из нас стал драться за сотню. Даже девушка, машинистка Вера, напечатав то, что ей приказывали, бежала на передовую и кидала в немцев гранаты. И все дрались с нами вместе, все: люди, камни, развалины»...

«Люди, камни, развалины, — повторил Степан Яковлевич, продолжая чтение. — И однажды мы, переправившись под ураганным огнем через Волгу, снова вылетели на самолете. Маленький самолет низко шел над равнинами Хопра, над Доном, и мы видели, как со всех концов к Сталинграду стягиваются наши силы. Они двигались, руша немецкую оборону, уничтожая врага. Вы помните, наше командование восьмого января предъявило немцам ультиматум?»... — Степан Яковлевич посмотрел на Ивана Кузьмича, как бы говоря: «Помнишь, я к тебе приходил?» и продолжал: «...Но немецкое командование или не имело или потеряло разум, отклонило ультиматум. И тогда началось полное избиение, уничтожение тех, кто последовал глупой политике Гитлера. Нет, этого невозможно передать на бумаге. Это я не знаю, с чем сравнить. Земля дрогнула, да так и не переставала дрожать: заревели наши пушки, минометы, «катюши», заухали с самолетов бомбы — и от артиллерии, от взрывов бомб, минометного огня земля дрожала и, казалось,

стонала. Это обрушилась сила, пришедшая к нам с Урала»...

— Ага, — гаркнул Степан Яковлевич. — Вот она, уральская-то сила! Эге! Бей! Бей, колоти! Василий Иванович! Бей, колоти их, чертей полосатых! — прокричал он так, как будто Василий находился поблизости.

— А ты читай, читай... — оборвала его Елена Ильинишна.

«...С Урала, — гудел Степан Яковлевич, — из Сибири, с Волги, со всех концов нашей необъятной страны пришла к нам могучая сила, и сила эта неумолимо обрушилась на врага... Вот когда мы, родные мои, впервые заплакали»...

И вдруг у всех, кто слушал письмо, брызнули слезы. Одна только Леля сказала, в другое время, пожалуй, уместное и законное:

— А что он там про меня пишет?

11

В дверь снова кто-то постучал, раз, два, три. Потом еще и еще. Елена Ильинишна первая пришла в себя, кинулась к двери, открыла и, не узнав Николая Кораблева, строго окинув его взглядом, спросила:

— Кто будешь? — И тут же, узнав: — Батюшки! Николай Степанович! Проходите, проходите. Ждали. Рады. Письмо читали. Вася прислал. Кузьмич! Принимай самого дорогого гостя.

Для Ивана Кузьмича Николай Кораблев был действительно самый дорогой гость, но, выбегая из комнаты, он полушутя кинул жене:

— Гости все дорогие, Ильинишна. Что ты обижаешь моих гостей?

— Ну, на такое никто не обидится; гляди-ка, какой завод он тут сгрохал.

— Оно эдак, — и, подхватив под руку гостя, Иван Кузьмич повел его в столовую.

Тут уже все сидели по своим местам. Звенкин в новом сером костюме, причесанный, разглаженный,

такой, каким никогда его Николай Кораблев не видел, сидел рядом с Зиной в переднем углу. Неподалеку от него Степан Яковлевич в рубашке-украинке. Он, как всегда, пряча свое чувство, поздоровался суховато, а Настя, не отрывая глаз, начала рассматривать на директоре костюм, отчего Николаю Кораблеву стало даже неудобно. Зина поднялась и, косовато протянув руку, сказала:

— Вон вы какой!

Ахметдинов, стесняясь, так сжал руку Николая Кораблева, что тот чуточку даже присел и восхищенно сказал:

— Эх! Рука же у вас, сильная!

Зато Леля решила всех перещеголять: она пошла на Николая Кораблева, как курица, растопырив крылья, и так же, как курица, закудахтала:

— Ой! Ой! Вы, наверное, думали, что мы уже навеселе, а мы все вас ждали.

— Садись! Садись! Хозяин наш, садись! — весь сияя радостью, усаживал его Иван Кузьмич. — Садись. Э-э-э, живем. И еще как живем. А эту ты, поди-ка, помнишь, — показал он на Лелю. — Жена Василия.

Леля вся вспыхнула и стала походить на белокурую куколку. Опустив глаза и все так же кокетничая, она жеманно пропела:

— Извините уж нас, Николай Степанович, за такой стол.

Все на какую-то секунду смолкли, и всем показалось, что Леля сказала что-то весьма глупое, потому что на столе виднелась селедка, ловко разделанная, в масле с луком, огурцы, три банки консервов, жареная картошка, пирожки, приготовленные Еленой Ильинишной, а рядом со всем этим красовалось блюдо свеклы и, главное, стояло три литра водки. Да чего уж еще? А она — «извините нас за такой стол».

Николай Кораблев искренне сказал:

— Да что вы? Чудесный стол. А кроме всего, любви и заботы на нем сколько! Это, видимо, все Елена Ильинишна?

Елена Ильинишна расцвела, а Иван Кузьмич подхватил:

— Действительно. Толково, Николай Степанович, сказал. Ты уж позволь мне за столом-то тебя на «ты», закон у нас в семье такой: кто сел за стол, тот наш — семейный, а семейного как на «вы» звать? Ну вот, спасибо, — сказал он, видя, как Николай Кораблев кивнул головой. — Толково. Заботы и ласки на этом столе на тысячу человек хватит. Подметил правильно. Вот за это мы тебя, Николай Степанович, и любим — душу нашу видишь. Что есть душа?

— А ты наливай, — скомандовала Елена Ильинишна и пододвинула к нему бутылку.

— И налью, — разливая водку, продолжал Иван Кузьмич. — Налью. И о душе. Что есть душа? Не знаете? А я вот вам скажу. Один раз я слыхал это от самого главного человека—от Иосифа Виссарионовича Сталина. Вон от кого. Сидим мы в Кремле, во время перерыва... Совещание было. Сидим, и кто-то заговорил о душе. Глядим, он идет. Мы, конечно, встали. Он к нам: как, что, о чем спор? О душе, мол. Что это, мол, и в литературе и в учебниках слово это выкинули, вроде как душа не существует, а только псих какой-то? Он засмеялся и говорит:

«Есть она, душа-то. Как же? Конечно, не так мы понимаем, как бывало. Но душа есть. И если мы в человеке воспитаем хорошую душу, мы с вами тогда непобедимы».

Тут подвернулся военный человек, тоже большой, и так, улыбаясь, говорил: «Ну, для победы, кроме души, надо еще пушки». — За столом все примолкли, напряженно слушая Ивана Кузьмича, а он, видя это, еще возвышенней заговорил: — Ну, Иосиф Виссарионович повернулся к военному человеку, голову так на бок склонил, и ответ готов: «Это верно, без пушки не победишь, но если мы на пушку посадим человека с дрянненькой душонкой, пушка в нас стрелять будет». Видали? — и, быстро разлив водку, он поднял рюмку. — Так за него, за первого человека нашего государства.

Все встали, выпили. Потом выпили за Ивана

Кузьмича, за Николая Кораблева, за Елену Ильинишну, за Василия... и уже потеряли счет, за кого только не пили. Потом в квартиру, неся в корзинке водку, закуску, ввалился с двумя снохами, Варварой и Любой, Евстигней Коронов и еще с порога заиграл словами:

— Не зван? Знаю. Да чем обиду при себе держать, я говорю: забирай молодиц своих и чего попить, поесть и дуй к Ивану Кузьмичу. Не пригласил тебя? Там узнаешь, почему такое стряслось. Но Иван Кузьмич тебе все одно будет рад.

Иван Кузьмич действительно был рад Коронову. Кинувшись ему навстречу, подхватывая у него корзину, он завопил.

— Ух ты, друг мой! Рад! — и, усадив Коронова рядом с собой, снох по обе стороны Николая Кораблева, он, показывая на Коронова, крикнул: — Царь уральский явился!

Коронов для смелости, видимо, уже выпил. Тут, выпив первую рюмку, он сразу запел, как будто для этого только и пришел. Он запел, неожиданно для всех баритоном, уральскую песенку:

Брошу плакать и печалиться,
Перестану горе горевать.

Первая часть песенки была спета с грустью, с тоской, но вторая, к удивлению Николая Кораблева, у которого в голове уже шумело, была подхвачена всеми залихватски, с удалью — «оторви да брось»:

Моя молодость загубленная,
Да не воротится назад.

И опять затянул Коронов:

Вы сулили много золота,
Чтобы с милым жить было легко.

И все кинули:

На кой чорт мне ваше золото,
Когда милый, милый далеко.

— Вота, вота, как живем, уральцы!— кричал в общем пении на ухо Кораблеву Коронов. — «На кой

чорт мне ваше золото, когда милый-то далеко». Вот оно как: далеко — и золото прочь.

— Жарь, жарь! — поддавал жару Иван Кузьмич, не умеющий петь, видя, как широко разевает рот старик Коронов и как умело подхватывает песню Елена Ильинишна, вся раскрасневшаяся, помолодевшая.

Иван Кузьмич тоже раскраснелся, как раскраснелись и все, особенно женщины. Варвара, пылая здоровым румянцем, положив на стол обе с ямочками на запястье руки, сидела не шелохнувшись, как бы боясь своим движением спугнуть Николая Кораблева. Глаза у нее были темные, чуть прикрытые длинными ресницами, а грудь дышала так, словно Варвара шла в гору. Леля, так та просто вся кипела. Глаза у нее стали большие и бесстыжие: она неотрывно смотрела на Николая Кораблева, ловя его взгляд, и, когда ей это удавалось, улыбалась ему призывной женской улыбкой.

Иван Кузьмич, заметя такое со стороны снохи, сказал про себя: «Чучело».

А Коронов, хлопнув в ладоши, как бы сам пускаясь в пляс, крикнул своим снохам, показывая на Николая Кораблева:

— А ну-ка, растревожьте кровь молодецкую!

И Николай Кораблев, повторяя: «На кой чорт мне ваше золото, когда милый, милый далеко», очутился в кругу женщин и мужчин. Варвара просто таяла перед ним: она ни разу не топнула ногой, только ходила, плавно поводя руками, как бы убаюкивая его на своих ладонях. Леля прыгала на него, как саранча на зеленый куст. А он сам, еле сознавая все это, вместе со всеми, под частушки, прибаутки Коронова, под удары в ладоши Ивана Кузьмича, плясал — большой, грузный, косолапя, вскрикивая:

— Ух! Ух!

А наутро, проснувшись, сидя за самоваром, он долго вместе с Иваном Кузьмичом вспоминал все подробности вечера: и то, как плясал, не умея плясать, и то, как пел, не умея петь, и то, как целовался, и почему-то со Звенкиным... а потом свалился на диван, еле понимая, что творится в комнате, и уснул.

— Ну, гость, ну, гостенёк! — трогая седой клок волос на голове, извинялся он перед Еленой Ильинишной.

— Милый был, милый, — говорила та. — Чего извиняться-то?

Леля сидела за столом надутая, обиженная, видимо, тем, что он вчера уделял ей внимания столько же, сколько и всем остальным. Выпив стакан чаю, она вышла в детскую комнату. Иван Кузьмич, глянув ей вслед, перевел взгляд на Николая Кораблева и, трогая его руку, сказал:

— Молодец: не поменял свое большое на лазоревый цветок. Молодец — от души говорю.

Николай Кораблев вдруг заулыбался — всем лицом, карими глазами, точь-в-точь так же, как тогда, в Москве, на квартире у Ивана Кузьмича, накануне того страшного дня: Николай Кораблев увидел перед собой Татьяну, и в нем проснулось мужское, чистое и тоскующее. Не стесняясь этого чувства и даже гордясь им, он тихо проговорил:

— Вот приедет она, и ты, Иван Кузьмич, увидишь, какая она у меня хорошая. Сын у меня есть. Появится еще сын или дочь, буду тебя просить крестным отцом, а вас, Елена Ильинишна, крестной матерью.

Иван Кузьмич и Елена Ильинишна понимающе переглянулись.

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Николай Кораблев уже несколько дней находился в состоянии болезненного раздражения. Его раздражало буквально все. Он понимал — это происходит оттого, что он потерял сон: стоило ему только прилечь, как через минуту уже бодрствовал, садился за стол, и тут его снова клонило в сон. Проделав такое несколько раз, он, сдерживая слезы, выходил из квартиры, шел в цеха или к себе в кабинет. Главный врач завода предлагал ряд снотворных средств, но Николай Кораблев от всего этого решительно отказался, заявив:

— Я и без этих штучек заставлю себя спать.

И вот появилось то болезненное, беспредметное раздражение, которое, как комочек, возится где-то в груди, готовое в любую секунду бурно вылиться даже на самого близкого человека. А тут еще сегодня поздно ночью он получил от наркома телеграмму-приказ на полтора месяца сдать дела по заводу главному инженеру Альтману и немедленно выехать в Москву.

«Странно, — подумал он, вертя в руках телеграмму. — Сдать и выехать. В чем дело?»

По особому телефону он позвонил наркому, но того не оказалось на месте, а секретарь Лена ответила приветливо и простенько:

— Не знаю зачем, Николай Степанович. Не знаю. Только нарком сказал, если вы будете звонить, передать вам: «Езжайте как можно скорее».

— Ну что ж, поеду, — решил он, чувствуя, как

комочек раздражения начал таять в груди, а на его месте появилось что-то радостное и тоже беспредметное. — Поеду, — еще раз проговорил он про себя и посмотрел на карту, висящую на стене кабинета.

Вернее, он посмотрел не на карту, а на сизую булавочку, воткнутую на селе Ливня: отсюда, из села Ливны, пришла последняя весточка от Татьяны: «Живы, здоровы. Скоро увидимся». Прошло больше года, и никаких вестей. И сейчас Николай Кораблев особенно забеспокоился: возможно, его вызывают в Москву для того, чтобы предложить какую-то новую работу, где-то в новом месте, — а вдруг тут без него заявится Татьяна. Ну, ей, конечно, сообщат, где он, и она немедленно отправится к нему. Но ведь на это понадобится неделя, а может, и другая.

— Ну вот еще, о чем затосковал, — упрекнул он себя. — Лишь бы приехала. Но... приедет ли? Надо скорее отправляться. Там, в Москве, может быть, мне кое-что удастся разузнать о Татьяне. Сдать дела? — он улыбнулся и, забрав телеграмму, ключи от стола и несгораемого шкафа, вышел в приемную.

В приемной за столом сидела Надя. Она просматривала почту и на настойчивый взгляд директора, спрашивающий, нет ли особых писем, как всегда, будто она сама в чем-то была виновата, ответила:

— Нету и нету, Николай Степанович. Вот беда!

— Ну, ничего, Надюша. Сам поеду в Москву. Вот, — и он подал приказ. — Придется нам на месяц-полтора расстаться. Идите-ка домой, приготовьте мне белье и кое-что на дорогу. Скажите шоферу, что еду в шесть утра. Приказ сообщите Альтману и передайте вот эти ключи: так как я ему сдаю дела, — он было пошел на выход, но повернулся, добавил: — Разыщите, пожалуйста, Лукина и предупредите, что перед отъездом я хочу с ним поговорить.

Дав такое распоряжение, он через боковую, прикрытую тяжелой портьерой дверь вышел из приемной и сразу очутился на заводском дворе. Тут было необычайно тихо — ни людей, ни машин, ни подвод, а в небе уже билась, как гигантская птица, предутренняя рань. Казалось, птица взмахивала золотистым крылом, хле-

стала им по небу, сгоняя тьму, и снова куда-то пряталась.

«Все здесь не так, как у нас на Волге», — подумал он и вошел в цех коробки скоростей.

В цеху, как всегда на заре, рабочие чувствовали себя вяловато: они с час перед зарей «переваливаются», это отрицательно сказывается на выполнении программы, и поэтому, по предложению Лукина, в это время в цехах появлялись Николай Кораблев, Альтман и сам Лукин. Но сегодня он в цех вошел без Альтмана и Лукина. И вид у него был необычайный, какой бывает у человека после крепкого сна, — полунаивный и задиристо-игривый. Ну да, так и есть. Вот он подошел к Степану Яковлевичу Петрову и, легонько пырнув его большим пальцем в бок, сказал:

— У вас ли я, Степан Яковлевич?

Тот недоуменно посмотрел на него, а главное, на его большой палец и, невольно поддаваясь игривости, тоже сказал полусмеясь:

— А где же, Николай Степанович? Как раз у нас.

— Вспомнил, — Николай Кораблев вскинул глаза в потолок, — вспомнил, как мы с вами собирали этот цех. Стен не было, крыши тоже, только пол и фундамент, на улице метель свирепая, а мы оборудование тащим.

— Да ведь как?! Голыми руками. Гордимся этим: поработали! Только ведь то давно было.

— Давно? Год назад.

— Что это вы не о деле речь ведете, а о том, что было? — уже серьезно пробасил Степан Яковлевич и, расправив бородку (он ее снова отрастил по настоянию своей жены Насти), двумя пальцами потрогал огромный кадык. — И лицо у вас какое-то. Может, весточку от Татьяны Яковлевны получили?

— Нет. Нет. А еду к ней... Не к ней, а в Москву, и там, может быть...

— У-у-у, — перебил его Степан Яковлевич. — Пути счастливого желаю, да не один я, но и все мы: не каменные — видим горе ваше. Да и здоровьице свое маленько поправите. Доктор мне на-днях говорил, что у вас какой-то преждевременный износ. «Товар,

значит, плохой, раз преждевременный», — спорю я с ним. А он мне: «Возьми мокрые сапоги. Их просушить на огне можно, только постепенно, а повесь над костром — и потрескаются. Николай Степанович, слышь, — товар хорош, да от работы горит, как на костре». Поверил я... А вон и парторг наш идет.

На пороге цеха появился Лукин. Был он столь же худ, лядащ, невзрачен, а сейчас, при тускнеющем электрическом свете, он был еще сер, как малярик. Переступив порог, он окинул глазами рабочих и, увидев директора, быстрыми шагами направился к нему. Большие синие глаза у него горели. Николаю Кораблеву и Степану Яковлевичу показалось, что к ним приближается не человек, а только одни огромные, горящие глаза. И еще казалось, что человек с такими глазами сейчас начнет произносить страстные речи, но Лукин, подойдя, скупо сказал:

— Знаю, Николай Степанович. И рад.

Тот шепнул:

— Пойдемте по этому поводу попьянствуем...

— Вдвоем? Может, Альтмана и Ивана Ивановича прихватить?

— Нет. Вдвоем.

2

По утоптанной крутой тропе они перевалили через гору, заросшую могучими соснами, елями, диким вишенником, и спустились на берег озера Челкан. Сюда они иногда вырывались вчетвером — Николай Кораблев, Иван Иванович Казаринов, Альтман и Лукин. Обычно они это делали после обхода цехов на заре, а придя сюда, разжигали костры, купались, балагурили час-другой; это условно и называлось у них «попьянствовать». В гору они поднимались, громко смеясь над шутками, анекдотами Альтмана, на что тот был горазд, и намеренно останавливались, оберегая Ивана Ивановича, у которого пошаливало сердце.

Сегодня Николай Кораблев и Лукин поднялись в гору и спустились к озеру молча, каждый думая о

своем. Николай Кораблев думал о предстоящем отъезде, о том, по какому поводу вызывают его в Москву, справится ли без него с заводом Альтман, и под конец стал думать о Лукине. Лукина он любил за его деловитость, за скупость на слово, наконец, за то, что тот никогда не говорил в угоду, но Николай Кораблев знал, что у Лукина есть своеобразный недостаток — это чрезмерная уверенность в победе, ведущая к беспечности. Однажды он ему сказал: «Вера без дел мертва есть», но тот не обратил на это внимания. И вот теперь, уезжая в Москву, он решил поколебать такое в Лукине, то есть направить веру на дела, вытеснить беспечность тревогой. Сказать ему об этом прямо — взъершится. Значит, надо как-то издалека, как-то умело. А это обязательно надо: Николай Кораблев прекрасно знал Альтмана, очень ценил его как человека талантливого, энергичного, предприимчивого, смелого в области технологии, но обладавшего большим недостатком — Альтман не верил в силу коллектива, все больше надеялся на себя. Значит, надо обоих заставить вести дела на заводе.

Подойдя к берегу, минуя черные остатки костров, они остановились около скамейки, на которую всегда складывали белье, и оба посмотрели на озеро.

Озеро было не широкое, но длинное, заросшее по обеим сторонам густым камышом, гусятником и лилиями, а посредине возвышался каменистый остров. В камышах кричали утки, созывая потомство. На открытой воде то тут, то там плавали стаи самцов — чирки. Про них знаток охотничьих дел Альтман рассказывал: «Они, как только самки сядут в гнезда, начинают линять, — при этом он добавил, как всегда балагуря: — Селезни — народ злой. Они разоряют гнезда, бьют яйца, уничтожают утят, за это их птичий бог и наказывает: сдирает с них перо. Выдерет из крыльев, из хвоста, со спины, с живота, — и такой оголенный селезень забивается в самые глухие места и оттуда ни гу-гу». Теперь самцы уже оперились, но не настолько, чтобы летать, поэтому страшно пугливы: увидев человека, они стремительно удирают в камыши.

Вот и сейчас ближайшая стайка чирков кинулась

в камыши, убегая по воде, брызжа, как маленькие глиссера.

— Бесштанные кавалеры, — с улыбкой глядя на удирающих чирков, проговорил Николай Кораблев. — Ну и что же — раздеваемся?

— Принялись за дело, — ответил Лукин, и не успел Николай Кораблев снять ботинки, как Лукин, уже нагой, сидел на скамейке и тонкими, синеватыми пальцами перебирал в донельзя потертом портсигаре дешевенькие папиросы.

Николай Кораблев посмотрел на его тонкие, синие пальцы, на узкую, впалую грудь, на лопатки-мосолки, торчащие на спине, и озабоченно спросил:

— А вы, родной мой, не больны ли? Вон пальцы у вас и лицо — желтизна.

— Нет. А так — устал. Иногда засыпаю на ходу. Идешь-идешь и вдруг просыпаешься. Лошади так спят — на ходу.

— Вам бы по утрам натощак стакан сливок выпивать: кровь очищает.

— Что ж, давайте помечтаем о сливках, — и Лукин, взяв тоненькую папироску, показал ее Николаю Кораблеву: — Все вот такие стали. И вы не расцветаете. Посмотрите-ка на себя.

— Да во что я посмотрюсь?

— А в воду. У нас Дуня, домашняя работница, всегда в ведро с водой смотрится. Зеркало есть, а она в ведро.

— Выполняю приказ, — Николай Кораблев отложил в сторону ботинки, стянул носки и пошел к озеру. Сначала он зашагал быстро, потом приостановился и начал ковылять, как это делают ребята, попав босыми ногами на горячий песок. — Экий стал, — досадно проворчал он. — Бывало, босой по лесам, а то и по стерне так носился — не догонишь, — ковыляя, он подошел к озеру, опустился на корточки и посмотрел в воду.

Да-а, Лукин прав. Вон на висках появились сединки, под глазами морщины. Одна из морщин пролегла от глаза к подбородку, как стрела разрезая щеку. Такая же морщина появилась и около верхней губы. Молоды еще лоб и нос. Хотя нет, и глаза еще

не покрыты старческой дымкой. Ох, ты-ы! Скоро сорок — финиш, а там все пойдет под гору: десять — двадцать лет — и костям на покой. Как это мало. Ведь это ужасно мало?

— Стареем, — проговорил он, поднимаясь и отворачиваясь от воды.

Лукин положил папироску в портсигар, провел рукой по лицу, как бы сбрасывая тенета, и проговорил:

— Да. Это грядет независимо от нас.

Николай Кораблев, стягивая рубашку и путаясь в рукавах, сказал:

— А вы о сырой земле думаете?

— То есть? А-а! Да ведь этот вопрос на повестке дня не стоит, — пошутил Лукин и тут же упрямо добавил: — Не в нашем это духе — думать о смерти: мы оптимисты.

— О, нет! Жизнь — копейка, это философия бандита или человека, уставшего жить, не видящего просвета.

— Вы что же, считаете, я из тех?

— Простите за прямой ответ. Вас-то я не включаю в круг тех. Вам просто некогда думать об этом, да и лет-то вам тридцать пять. Вот стукнет сорок, тогда и вопрос о сырой земле встанет на повестке дня. Поганая штука — смерть, — Николай Кораблев разделся, пошлепал ладонями по мускулатуре ног и, глядя на озеро, сел на скамейку.

Он понимал, что своим неосторожным ответом както обидел Лукина. Чтобы сгладить это, он предложил:

— Хотите, я вам расскажу, как я однажды беседовал с Алексеем Максимовичем Горьким? Не я лично, а много нас — директоров заводов.

— Давайте, — суховато ответил Лукин, закуривая и глубоко затягиваясь.

— Это было в те дни, когда Алексей Максимович вернулся из Италии. Помните, как его встретила страна? И все потянулись к нему — рабочие, колхозники, писатели, артисты, художники, ученые... Все. Все. Ну и мы, конечно. Я на дачу приехал один из первых и, пока собирались остальные, прошелся по парку. Дача стояла на возвышенности: внизу

Москва-река, дальше луговинная долина, деревеньки, леса. Около дачи все любовными руками почищено, подстрижено. А вон рощица. Я направился туда и вдруг вижу — на полянке остатки костра, точно в диком лесу. Старичок сторож сказал мне: «Тут иной раз Алексей Максимович костер палит. Любит это дело — страсть».

— Да это вы о кострах, а когда про беседу?

— Нет, вы понимаете, всемирно известный писатель Алексей Максимович Горький по вечерам палит костры? Я представил себе: сидит на пенечке, смотрит на то, как извиваются сухие прутья в огне, и вспоминает далекое прошлое, приволье... и нищету. Понимаете, и нищету. А вот он уже в расцвете сил. Нижний. Самара. Москва. Мир литераторов. И его дерзновенный голос: «Бери шире». Лев Толстой и Короленко, Чехов и Ромэн Роллан, Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин. А сколько ученых, сколько людей искусства прошло перед ним? Всю Европу, весь мир видит он перед собой и все-таки уходит к костру. Вот он сидит у костра на пенечке, подбрасывает сучья в огонь и думает, думает, думает. О чем? Не-ет, не все разгадано на земле. Есть загадка из загадок: это — рождение человека, жизнь и смерть.

Лукин поднялся со скамейки, прошелся по траве, разводя руками, как это делают физкультурники, затем остановился и сказал:

— Жалко, умер он, Горький.

— Нет. Я вам еще не досказал, — встрепенувшись промолвил Николай Кораблев. — И сядьте, пожалуйста; когда вы так ходите, мне становится страшно: вот-вот рассыплются ваши кости.

— Телом слаб, но духом силен, — полушутя произнес Лукин и намеренно баском засмеялся, однако повинуясь, сел на скамейку.

— Вскоре съехались все директора. Нас ввели в зал-столовую. Вот появился и он, Алексей Максимович, — высокий, сухой, пальцы на руках длинные. Такие длинные, что кажется, ими он и загребает из жизни все хорошее. Загребает — и народу: «Нате! Это

вам». Познакомился он с нами, каждого прощупывая глазами, с каждым перекинулся парой фраз. Затем расселись за столом. И тут кто-то вскоре затронул вопрос о жизни и смерти. Алексей Максимович долго, внимательно вслушивался и заговорил сам, по-нижегородски окая:

«А я вот в одной семье видел ворона. Ну, ворон обыкновенный. Клюв громадный, усищи выросли. Сто двадцать лет ему — и сила: подойдет к бемскому стеклу, клюнет — и вдребезги! Вот, ворон, — несколько раз повторил он: — Ворон прожил сто двадцать лет — и сила, а иной человек до семидесяти не дотянул — и в землю глядит...» И тут я понял все — и костры, и то, как ему, Горькому, хочется жить. Ну, айда-давай, как говорят на Урале, — неожиданно закончил Николай Кораблев и, поднявшись, пошел к озеру.

Войдя в воду, он почувствовал, как ноги стали вязнуть в тине, мягкой, как каша, а Лукин с разбегу нырнул и вскоре вынырнул далеко от берега.

«А я вот так не умею», — с завистью подумал Николай Кораблев и крикнул: — Меня вода тоже не принимает! — и, бурля, как буйвол, пошел за Лукиным.

Пройдя несколько метров, он ощутил, что тина оборвалась и ноги коснулись торфяного дна — пружинистого, мягкого, шелковистого, будто ковер. С сожалением расставаясь с таким дном, он оттолкнулся и поплыл, грудью разрезая воду, а нагнав Лукина, перевернулся, лег на спину, не двигая ни руками, ни ногами.

На востоке, из-за далеких Уральских хребтов, выплывало солнце. Казалось, оно вступило в бой с какими-то мрачными силами: весь горизонт, вершины гор — все горело, переливалось разнообразными красками: зелеными, красными, серебристыми, пурпурными, оранжевыми, голубыми, черными, как вар. Краски быстро менялись, перемешивались, то падали на далекие вершины гор, то вдруг все скрывалось, и только огромные пучки солнца, прорезая облака, вонзались куда-то в неведомую небесную даль.

— Чорт-те что! Что там делается! — закричал Николай Кораблев. — А вы говорите!

— Что я говорю?

— А насчет смерти.

— А вы тоже открыли истину — Горькому хотелось жить. Кому не хочется? Вон «бесштанным кавалерам», и тем хочется жить: смотрите-ка, как улепетывают от вашего крика.

— Э-э! Милый! Вы из каких слоев?

— Мои слои трудно разобрать: я беспризорник, — ответил Лукин, уплывая все дальше и дальше.

— А-а-а, — протянул Николай Кораблев, не отставая от него. — И моложе меня на пять лет?

— На шесть.

— А вообще-то вы моложе меня на столетие.

— Что за математика?

— Вы не видели старого мира. Вам, таким, кажется: советская власть существует вечно.

— Вовсе и нет.

— Если бы «вовсе и нет», тогда не сравнили бы человека с чирком. Хотите, я вам расскажу еще одну историю?

— Погодите, я окунусь, — Лукин по-утиному кувыркнулся и ушел в воду.

В воде он пробыл с минуту, но Николаю Кораблеву показалось это очень долго, и он было уже забеспокоился, как Лукин вынырнул, отфыркнулся и сказал:

— О чем история?

— О моем деде.

— Давайте. Люблю дедов и о дедах.

— Только сначала — на островок. Давно мне туда хочется. Заберемся на скалы и, как два Робинзона, поковыряем вопрос о жизни.

— Не доплыву, пожалуй.

— Доплывете. Приспичит — и доплывете, — и Николай Кораблев поплыл саженками, равномерно, с каждой минутой чувствуя, как все его тело наливается омолаживающей силой.

В каких-нибудь ста метрах от острова он оглянулся и посмотрел на Лукина. Видимо, силенки оставляли того: руками он взмахивал вяло, будто нарочно окуная их в воду, а плыл то на спине, то боком.

— Давайте! Давайте: цель рядом! — прокричал Николай Кораблев и, дождавшись Лукина, чтобы ободрить, легонько толкнул его, произнося: — Смелости больше, товарищ парторг.

Лукин от толчка сразу ушел в воду и, вынырнув, отфыркиваясь, пугливо тараща глаза, пробормотал:

— Что это вы? Зачем? Я и так...

Николай Кораблев, глядя в его глаза, наполненные страхом, подумал:

«А не зря ли я его потащил за собой? Ведь он на воде, оказывается, ребенок», — но тут же ободряюще добавил: — Ничего. Вы легонький, как щепка: такого вода не примет.

3

Самое неожиданное встретило их около острова.

Подплывая к острову и уже представляя себе, как они взберутся на скалы, Николай Кораблев все время посматривал на Лукина, который плыл уже только на спине, еле забрасывая руки.

— Земля! Земля! — призывно покрикивал Николай Кораблев и вдруг ударился плечом о скалу — то был остров.

Остров! Да, остров. Дикий остров, с крутыми, уходящими в воду скалами. Скалы рыжие, сглаженные волнами, будто отшлифованные наждаком, а метра на два выше — овражки, прорезанные дождевыми потоками, дальше, впиваясь кореньями в расщелины, растут сосны, ровные и гладкие, как свечи. Там, наверху, вероятно, очень красиво. А вот тут? Ну, ерунда какая! Надо встать на дно, пройтись и отыскать ход на остров. Николай Кораблев положил ладони на отвесную, гладкую, как кость, скалу и опустил ноги... Опустил и задрожал: он не достал дна и в то же время ощутил внизу холодное течение.

«Значит, тут глубина», — решил он и, оглянувшись на подплывающего Лукина, встревоженно произнес:

— Не попадем мы с вами водяному на закуску?

— Змея! Змея! — почти истерически прокричал

Лукин и, кинувшись к Николаю Кораблеву, инстинктивно вцепился в него.

— Не хватайтесь! Оба утонем! Держитесь на расстоянии! — Николай Кораблев оттолкнулся от Лукина и тоже увидел змею.

Она плыла на них — огромная, серая, извиваясь, выставив узкую голову.

Лукин весь сжался, сказал:

— Давайте скорее на остров.

— Скорее? Зубами, что ли, цепляться? Видите, какие крутые берега? А змей в воде не бойтесь: не кусаются. Хотите, я подплыву к ней? Видите, удирает от нас. Это ерунда, — Николай Кораблев посмотрел вверх, на остров, намереваясь отыскать ход, и смолк: во-первых, он заметил, что их несет, а во-вторых, увидел в овражках на скале множество змей; они лежали, развалясь, греясь на солнце. «Значит? Значит, их там тьма... и нам туда нельзя, — подумал он. — А до берега? Да-а, далеко до берега», — и, не говоря об этом Лукину, он утрированно громко стал твердить одно и то же: — А змеи что? В воде они не кусаются. А змеи что? Ерунда. Плывите за мной. Сейчас найдем выход на остров. Обязательно. Ох, что это?! — неожиданно вскрикнул он: в эту секунду его подхватило сильное течение и кинуло к скользкой скале.

Не успел он сообразить, в чем дело, как они оба оказались в бурлящем, пенящемся котле: их начало швырять из стороны в сторону, то прижимая к скале, то отбрасывая.

«Куда мы попали? — в ужасе подумал Николай Кораблев, стараясь разыскать глазами в бурлящей пене Лукина. И, не видя того, весь содрогаясь, вспомнил рассказы Евстигнея Коронова о реках, которые «иногда прорываются со дна озер». Не попали ли они в такую реку? Хорошо, если она выкинет их на открытое место. Но ведь Евстигней Коронов рассказывал, что такие реки иногда «уходят под острова, в большущие пещеры и вырываются уже где-нибудь в другом озере». «Надо что-то делать!.. Что-то делать!..» — и, увидев мелькнувшего в пене Лукина, он прокричал:

— Отталкивайтесь! Вот так, ногами от скалы отталкивайтесь.

Он сам было вытянул ноги по направлению к скале, намереваясь оттолкнуться и вырваться из потока, но течением рвануло его и снова бросило в пенящийся круговорот, и он, соображая лишь одно, что надо спасаться и спасать Лукина, вытянул вперед руки, выставив ладони, как загнутые концы лыж.

4

Николай Кораблев очнулся недалеко от острова на подводной песчаной косе, куда его и Лукина вынесло течение. Он, еще не придя в себя, лежал на спине, покачивался, а Лукин уже стоял на разжиженном, как каша, песке, уходя по грудь в воду, и, придерживая Николая Кораблева обеими руками, твердил:

— Вставайте. Вставайте, Николай Степанович. Я стою. Коса тут, — и вдруг закричал: — Лодка! Лодка, Николай Степанович!

Николай Кораблев открыл глаза. Над ним висело легкое, голубое небо. Заслышав невнятный крик (уши у него были залиты водой), он перевернулся и, встав на песчаное, вязкое дно, глубоко вздохнул, затем встряхнулся — огромный, плечистый, рядом с маленьким посиневшим Лукиным.

— Где лодка? Где? — проговорил он. — Ага! Вон! Давайте звать.

— Э-эй! — в один голос закричали они. — Сюда! Сюда!

Лодка сначала шла на них, но вдруг круто повернулась и ринулась обратно.

— Эй! Э-эй! — еще громче закричали они. — Давай сюда-а-а!

А Лукин добавил:

— Стрелять будем!

Николай Кораблев, несмотря на страшное и нелепое положение, в каком находились они, все-таки расхохотался:

— Да чем вы стрелять будете? Вы уж это бросьте — угрозы, а давайте так — молить, — и, приложив руки ко рту, крикнул: — Э-эй! Человек! Спасай! Тонем!

Лодка приостановилась, и по воде донеслось:

— Хто будете-е-е?

— Свои. Свои. Заводские!

Но рыбак, приблизившись метров на сто, остановился и, разглядывая нагих людей, одиноких на подводной косе, сказал, удивленно покачивая головой:

— Лешие, не лешие? Однако жулики, должно быть. Пашпорта есть?

— Да какие же «пашпорта»? Нагие мы — сам видишь, — болезненно смеясь, проговорил Николай Кораблев, прижимая седой клок волос на голове: голова ныла, будто кто-то снова ударил по ней молотком.

Рыбак стоял на своем:

— И у голого человека пашпорт должен быть. Говорите, а то поверну, только и видели.

— Есть. Есть, — заторопился Лукин. — Наше белье вон там, на скамейке. Видал, может быть, там скамейку?

— Видал скамейку, — подтвердил рыбак. — Да ведь она там, а вы тут, — но прежнее сомнение у него, видимо, уже прошло, он еще ближе пододвинулся на лодке: — Может, вы из тех — четверка иногда тут по утрам появляется?

— Из тех. Из тех, — подтвердил Николай Кораблев, все еще не отнимая рук от головы.

— Ну-у, — неопределенно протянул рыбак и, чуть подумав, посмотрел в лодку, добавил: — Только двоих-то я не могу: рыба у меня. Утонем. А так: один садись, другой цепляйся.

— На все согласны, — сказал Николай Кораблев. — Садитесь в лодку, — обратился он к Лукину. — А я цепляться буду.

— Ну нет, вы в лодку, а я цепляться.

— Не спорьте, а то он удерет.

5

Когда Лукин взобрался в лодку, а Николай Кораблев уцепился рукой за борт, рыбак тронулся, положив у своих ног небольшой якорек, думая:

«Мутить начнут — по башке якорьком, и вся недолга. Однако обязан голому человеку помочь: может, и честные люди, а раз нечестные — получай якорьком по башке... а то веслом, — рассуждая так сам с собой, он вскоре доставил их на берег, а увидав белье на скамейке, окончательно убедился: — Нет, не из жиганов».

Николай Кораблев, выйдя на землю, начал прыгать на одной ноге, выливая воду из уха, а Лукин принялся растирать посиневшее тело.

Рыбак посоветовал:

— Травой. Травой надо, да которая посуше. Жгут свей — и растирай. Эй! Сейчас бы тяпнуть, — с сожалением добавил он.

— Кого тяпнуть? — спросил Николай Кораблев, свивая жгут из сухой травы.

— По стакашке. Кровь бы и взыграла.

— Ишь ты, как нежно: по стакашке. Стакашка — это чайный стакан?

— Он, и доверху, да еще сольки с перцем, — рыбак уже давно признал Николая Кораблева, но не показывал виду; отчаянно покачав головой, проговорил: — И как это вас потащило на тот остров? Змеевый. Мы, и то сроду там не бываем.

— Змеевый? — переспросил Лукин. — Одну видели. В воде.

— Одна — что? Их там миллиен. Да как лежат? Клубками, особо когда у них свадьбы. Подъезжал я, видел. И пес его знает, зачем змеи живут на земле? — рыбак смолк и чего-то долго копался в лодке, то со злом отбрасывая якорек, то перекладывая весла, затем взял огромную рыбину и, видимо, чтобы загладить свое недоверие, проявленное вначале, показывая рыбу Николаю Кораблеву, проговорил: — Рыбицу, может, вам?

— Да нет. Спасибо. Самим бы добраться, — ответил тот, уже одеваясь.

Когда рыбак отплыл, Николай Кораблев, одевшись, сел на скамейку и грустно произнес:

— Вот и покупались мы с вами.

— Да-а, — крепко и жадно затягиваясь папироской, протянул Лукин и, поднявшись со скамьи, добавил: — Пошли! Застынем, — и, не дожидаясь ответа, побежал, подпрыгивая, вихляя, как это делает заяц, вскочив с лежки после морозного дня.

В гору по утоптанной тропе они некоторое время шли молча, затем Лукин попросил:

— Рассказывайте про деда-то, может, забуду про островок: такой ужас меня охватил там — будто я упал в глубокий, темный колодец... До чего человек становится бессилен... Ну, рассказывайте.

— А-а! Про деда? Хорошо, — согласился Николай Кораблев, думая о своем: «Как в голове-то у меня ноет. Конечно, об этом никому не надо говорить, не то задержат тут и опять положат в больницу. До Москвы доберусь и, уж если у меня снова откроется, то лягу там», — передохнув, приостановившись, он заговорил: — Расскажу... Однажды дед мой с поля вернулся необычайно рано; не раздеваясь, лег на кровать, затем созвал нас всех и сказал моему отцу: «Степашка, поди-ка принеси мне полбутылочку. Устал что-то. Ведь восемьдесят два мне стукнуло». А когда отец принес водку, он добавил: «Налей. Стакан чайный, — и, выпив, снова протянул стакан отцу. — Еще налей. Мне половиночку, себе остатки, — чокнулся, выпил, несколько минут полежал молча и, глядя только на отца, произнес: — Вот. Отхожу, сынок». Мы было заплакали, в голос, особенно мать, дед на нас цыкнул: «Молчать! Не с вами речь. Нареветесь, когда в гроб положите, а сейчас дайте о деле, — и снова к отцу: — Отхожу, сынок. И ты норови умереть так, чтобы с ног — и в гроб. Дед мой с ног свалился не в гроб, а за печку. Шесть лет пролежал, гнить начал. Суровая статья крестьянская, сынок: не хочешь с ног в гроб, ну гнить на корню будешь. Так уж лучше, по-моему, чтобы душу другим не выматывать», — затем он рассказал про хозяйство: когда корова отелится, какие в поле загоны надо убирать первыми, где какая

земля, на ком женить меня, хотя мне было всего пять лет... и отошел. — Николай Кораблев смолк, а Лукин задумчиво произнес:

— Жестокий закон — с ног в гроб. Вы правы, я этого не знаю. А как ваш отец?

— Жив. На Волге, в колхозе. Ему тоже уже под семьдесят.

— И работает до сих пор?

— Руки трясутся: отмотал на печном деле.

— Чего же вы его к себе не пригласите? Или тоже суровый закон — с ног и в гроб?

— Приглашал. Приедет, бывало, в Москву, проживет месяц-другой и затоскует: «Домой». Я ему: «Чего тебе там делать? Тут тебе и постель, и стол, и уважение, и водка». Водку любит.

— Много пил?

— Однажды я его спросил: сколько, мол, ты, отец, за свою жизнь выпил? «Цистерны четыре», — ответил он.

— Эх ты! — удивленно произнес Лукин. — Это ведь целое озеро. А как же он там, в колхозе, если руки трясутся?

— Я ему помогаю, но ему еще и трудодни пишут. Раз спрашиваю: «За что тебе трудодни пишут, работать ведь не в силах?..» — «А я, слышь, так — будоражу народ: поднимусь чуть свет и в одну бригаду, в другую, за ребятишками приглядываю... ну, меня нарасхват. За это и пишут трудодни». Он прекрасный рассказчик. И жить ему хочется. Ох, как хочется ему жить! Но это не бескрылый селезень.

— Чего вы сегодня меня ковыряете? Пошли «попьянствовать», а вы?..

— Ковыряю потому, что жить хочется. Жить! Жить! Жить! Всем нам хочется жить — сознательно, честно, трудолюбиво. Жить больше, дольше и обильнее, чем тот ворон, о котором говорил Горький. Ковыряю вас так потому, что вы моя опора: я на вас покидаю завод, весь рабочий коллектив, который... который воюет за жизнь, — Николай Кораблев остановился на вершине горы и, глядя на далекие гребни Уральских

хребтов, окутанные утренней синевой, добавил: — Смотрите, какие богатства у нас! Нам их надо освоить. И мы их освоим, чтобы жить. Но, чорт возьми, как нам все трудно достается, в какие круговороты мы попадаем!

— А я уверен, наши потомки будут завидовать нам, — сказал Лукин и пошел через перевал.

Николай Кораблев подумал: «Вот когда ему надо сказать», и тихо произнес:

— Если победим.

Но это тихое прозвучало для Лукина как гром.

— А вы что же, сомневаетесь? — Лукин повернулся к Николаю Кораблеву и зло, в упор посмотрел в его карие глаза.

6

Через открытое окно в комнату вплывало утро, неся с собой пряно-горьковатые запахи гор и полей. Временами легкий ветер бросал на подоконник, на ковровую дорожку серебристую пыльцу с отцветающих сосен, где-то пронзительно вскрикивал голодный ястребенок, гукал паровоз-«кукушка» и скрипела расщепленная бурей береза.

Все это было обычное: и скрип березы под окном, и гуканье паровозика, и, тем более, отдаленный говор завода; однако Николай Кораблев при всяком резком звуке, особенно, когда вскрикивал голодный ястребенок, еле заметно вздрагивал.

— Странно, — проговорил он, — странно: все звуки стали какие-то тревожные.

Лукин сидел за столом и, как всегда, перебирал тонкими пальцами папиросы в портсигаре.

— Война, — сказал он, посматривая на директора, ожидая от него ответа, все еще недовольно хмурясь, готовясь дать самый резкий отпор.

— Да. Война, — согласился Кораблев и, встав из-за стола, направился было к карте, такой же, какая висела на стене в его кабинете. — Да, война, — еще раз подчеркнул он и смолк.

На пригорке, в молодом ельнике запела женщина:

Брошу плакать и печалиться,
Перестану горе горевать:
Моя молодость загубленная...

Оборвала и глухо зарыдала, видимо уткнувшись лицом в ладони.

Николай Кораблев неприязненно поморщился, ожидая, что вот сейчас появится и сама Варвара Коронова. Ну да, ведь это плачет она. И как ей не стыдно: ревет прямо под окном. Чорт знает, что может подумать Лукин.

— Вы ведь скоро вернетесь, Николай Степанович?

— Возможно, через месяц-полтора, — и Николай Кораблев глазами поблагодарил Лукина за то, что тот как бы не слышит плача Варвары, затем подошел к карте и торопливо заговорил, чтобы отвлечь внимание от того, что происходило за окном: — Видите, какой кусок они отторгнули у нас?

Линия фронта, отмеченная булавками с красными флажками, тянулась с севера, огибая Ленинград, спускалась к Ярцеву, Вязьме, шла на Брянск, Орел, Белгород, Харьков и у Таганрога падала в море.

— Да-а. Огромный кусок, — с тоской подтвердил Лукин.

— Если бы просто кусок. А то ведь тут заводы, фабрики Белоруссии, Киевщины, Днепропетровска, Николаева, Донбасса. Это миллиарды рублей и пятьдесят — шестьдесят миллионов жителей.

Лукин встал из-за стола и нервно прошелся:

— Николай Степанович! Ведь вам известно, я нетерпим: в этом отношении для меня все равно — кто: директор ли завода, нарком ли, или рядовой рабочий. Вы там, на горе, говорили одно, а теперь — чего крутите? Вы сомневаетесь? Смотрите, поссоримся и надолго, — маленький, невзрачный Лукин вдруг стал ершистый и наступательно сильный.

Николай Кораблев еле заметно улыбнулся, говоря про себя: «Люблю же я его» — и резко произнес:

— А вы верите?

— Да. Верю.

— Вера — штука хорошая, — в карих глазах Николая Кораблева блеснули искорки превосходства. — Хорошая штука — вера, — повторил он и вдруг со всей силой обрушился на Лукина: — А помните, как Филипп Македонский сокрушил Афины? Афины представляли собой культурнейший центр, в Афинах жил знаменитый философ и оратор Демосфен. Так вот этот самый знаменитый Демосфен выступал против полудикаря Филиппа и вселял веру в народ. Веру-то вселил, а не вооружил... и Филипп вскоре наголову разбил афинян, а разбив, напился пьяный и стал плясать среди трупов побежденных.

— Вы, что ж, ждете, что немцы будут плясать среди наших трупов?

— Я не жду... и не хочу... но они уже пляшут вот здесь — в Донбассе, на Украине, в Белоруссии да и по всей Европе. Бросьте трепаться и поймите: они пропляшут по всей нашей стране, если мы только и будем долдонить: «Победим, победим» и ничего не будем делать для победы. И еще поймите...

— Знаете что, — вскрикнул Лукин, — таким тоном не говорят даже с самыми близкими друзьями... а я не давал вам права так говорить со мной!

— Ох, — со стоном охнул Николай Кораблев, видя, как Лукин позеленел, и, быстро подсев к нему, обнял его за худенькие плечи, затряс, говоря мягко: — Простите. Простите меня, пожалуйста. Ведь я вас люблю. Ну и простите. И поймите, я на вас покидаю то, без чего победить нельзя, — завод. Да. Да. На вас, — ответил он на мерцающий взгляд Лукина. — Альтман остается моим заместителем. Он человек умный, даже талантливый, но маленечко самодур: он не верит в силу коллектива, у него много ячества. Вот я вас и прошу: ни под каким видом не давайте Альтману расшатывать коллектив. Расшатаете рабочий коллектив — этим самым нанесете страшный удар заводу, а без завода вся ваша вера в победу — брехня.

В комнату в легком розовом платье вошла Надя. Она знала, что это платье нравится Николаю Кораблеву, и намеренно надела его. Поставив на стол чай-

ник, стаканы, варенье и холодную закуску, она недовольно сказала:

— Шумите очень, Николай Степанович. Вредно вам это: вон жила на виске как надулась, — и, разливая чай, по-девичьи грустно добавила: — Вот теперь и останется ваш чайник сиротой, а с ним вместе и я.

Николай Кораблев потер лицо ладонями, особенно крепко виски, и только тут до него дошли последние слова Нади, и он, не то сердясь, не то обижаясь, сказал:

— Чего это ты, Надюша, как над гробом?

Та перепугалась:

— Что вы, что вы, Николай Степанович? Я просто хотела... Ну, сами знаете, как мне здесь одной-то...

Дверь медленно отворилась, и через порог переступила Варвара Коронова. Она вошла в комнату, не постучавшись, словно тут постоянно жила, и невидящими глазами посмотрела вокруг. Увидев Николая Кораблева, она качнулась к нему, всплеснула руками и, как бы пробуждаясь, воскликнула:

— Как же это... уезжаете!..

«Вот сейчас ее и надо оборвать», — подумал Николай Кораблев, но, сознавая, что поступить так не в силах, мягко произнес:

— Я ненадолго, Варвара. Садитесь, попейте с нами чайку, — и пододвинул ей стакан с чаем.

Варвара осторожно села на краешек стула. Была она столь же красива, как и всегда, но теперь нескрываемая тоска придала всему ее телу, лицу, глазам особую женскую притягательность.

«Как она похожа на Еву Микель Анджело: да, вот от таких заселяется земля», — подумал, мельком глянув на нее, Николай Кораблев.

«Бабочка пошла в открытую», — рассматривая ее всю, решил, уже остывший, Лукин.

А Варвара не знала, что делать, как вести себя. Она даже спохватилась, что напрасно села за стол, за которым сидят директор завода и парторг, но эта неловкость в ней тут же пропала, и ею снова овладела непреоборимая тоска: «Уезжает, уезжает», — твердила она про себя, понимая, что бессильна удержать его.

Да вряд ли она и хотела этого — удержать. У нее уже давно пропало то открытое, обнаглевшее. Теперь она просто хотела видеть его, слушать его, смотреть на него. И вот он уезжает. Возможно, что именно она, Варвара, единственная, своим сердцем почувствовала: Николай Кораблев уезжает не на месяц-полтора, а надолго, очень надолго или, как она в столовой сказала, «навовсе». И наступают последние минуты: скоро подадут машину, он сядет рядом с шофером, и машина унесет его в неведомые для Варвары края. А Варвара останется одна. Одна! Разве кто здесь поймет ее тоску, и разве кому можно будет сказать об этой тоске? Ведь это только он понимает ее, бережет ее... и уезжает. Не зная, что сказать, она торопливо проговорила:

— Вы моего брательника помните, Николай Степанович? Он зимой к вам приходил?

— Да, да. Помню.

— В Москве он теперь. Поклон ему передайте.

— Да где же я его там увижу?

— Чай, на базаре.

Николай Кораблев еле заметно улыбнулся, думая: «Сколько непосредственности в ней».

Лукин засмеялся:

— Ты, Варвара, полагаешь, что Москва, как и Чиркуль: вышел на базар — и всех увидел.

Варвара вспыхнула, умоляюще посмотрела на Николая Кораблева, и тот, чтобы сгладить ее смущение, сказал:

— Обязательно. Непременно передам поклон вашему брату. Разыщу и передам, — и, ругая себя: «Зачем я с ней так? Надо погрубее. Ведь я укрепляю в ней то, что есть, а оно мне не нужно... не нужно».

И вдруг все то же беспредметное раздражение, которое за последние дни мучило его, снова овладело им.

— Собираться надо, Надюша, — сказал он и, подняв с пола чемодан, поставил его на стул, затем посмотрел на белье.

Белье, приготовленное, отутюженное заботливыми руками Нади, лежало на подоконнике. Николай Кораблев хотел было взять одну из стопочек, но в эту

минуту к крыльцу коттеджа подкатила машина, и со всех сторон потянулись люди.

Первым в комнату вошел Альтман. Обеими руками поправляя прическу с затылка, как это делают женщины перед зеркалом, он, необычайно поблескивая глазами, выпалил:

— У нас на заводе, Николай Степанович, утверждают, что вы уезжаете «навовсе». Правда, нет ли?

Во всем поведении Альтмана: в его торопливости, в том, как он быстро поправлял прическу, как сел, закинув ногу на ногу, — во всем было что-то подчеркнуто ненатуральное.

«И чему это он так радуется? — подумал Николай Кораблев, продолжая складывать белье в чемодан. — Что я ему, шоколадку, что ль, подарил? Я ему оставляю завод — корабль в открытом море: может быть тишина, а может быть и буря. А он прыгает, как козлик», — и вслух, через силу сдерживая себя, как будто речь шла о пустяке:

— Вы ведь знаете решение наркома: я еду на полтора месяца. Зачем же всякие сплетни подхватываете? — и, чтобы приглушить в себе вскипевшее раздражение, он приложил к лицу чистое полотенце, от которого пахло утюгом.

Альтман, все так же поблескивая глазами, чему-то радуясь, как бы желая, чтобы Николай Кораблев уехал «навовсе», громко сказал:

— Народ утверждает.

— Народ? А сплетни кто, по-вашему, несет? Камни, что ль? Народ? Не трогайте его: он этого не говорит, — и Николай Кораблев страшно обрадовался, когда в дверях увидел Евстигнея Коронова и Ивана Ивановича Казаринова.

Иван Иванович был одет по-праздничному: в сером наглаженном костюме, в фетровой шляпе, при галстуке «черная бабочка», в руке грубо сделанная, но дорогая палка из самшита. Евстигней Коронов тоже был весь «прибран»: на нем синяя спецовка, волосы на голове расчесаны — от макушки во все стороны, но они все равно непослушно кудрявились, как на выкупанном ягненке.

Глянув на Ивана Ивановича, Николай Кораблев протянул:

— О-о-о! Вы просто джентльмен.

Иван Иванович, поздоровавшись, сел на стул и уронил голову на грудь:

— Чую, уезжаете вы надолго, и хочу, чтобы запомнили меня: в простом одеянии я вам приелся.

— Да что это вы все заладили: «чую, чую!» Вы инженер, а «чую», — сердито проворчал Николай Кораблев.

— Инженер без «чую» — все равно что топор: тот не чует, что́ рубит — дерево или голову.

Евстигней Коронов зашипел было на Варвару:

— Кши отсюда, — но, увидав, что та сидит будто неживая, смутился и, дернув ее за рукав, мягче добавил: — Шла бы. Эй, Варвара! Ребенок плачет, — и вдруг затрещал на все лады, вырывая чемодан из рук Николая Кораблева: — Посиди. Посиди, — трещал он. — Ты, хозяин, посиди, на своих деток погляди. А мы тебя соберем, советом помогем, бельишко уложим и доброту свою умножим! — кричал он, тиская в чемодан белье, хохоча, заражая всех.

А комната заполнялась все новыми и новыми людьми — шли инженеры, начальники цехов, мастера, среди них и Степан Яковлевич.

Степан Яковлевич хотел было отправиться к Николаю Кораблеву в рабочей блузе, но Настя настояла и обрядила муженька в новый коричневый костюм.

— Да ведь не в гости я, — слабо протестовал Степан Яковлевич.

— В гости что? В гости что? — по-хозяйски щебетала Настя, оправляя на муже воротничок. — В гости что: пришел, посидел и ушел. Опять встретитесь. А тут человек уезжает, да еще, слыхала я, навовсе, — слово Варвары, сказанное в столовой, оказывается, уже прокатилось по всему заводскому поселку.

— Навовсе? Не верю, — пробасил Степан Яковлевич и отправился на квартиру к Николаю Кораблеву.

Войдя в комнату, он протолкался и сел в сторонке, положив руки на колени, как бы снимаясь у фотографа. А улучив момент, разгладив бородку, загудел:

— Счастливой дороги, Николай Степанович. И главное, все мы вам желаем натолкнуться на какие ни какие вести о своей семье. Это вы не откладывайте. Справьтесь там в учреждениях каких ни каких, — он понимал, что говорит высокопарно, но остановиться не мог, считая, что в этих случаях надо говорить именно так, — а ежели встретите моего друга, Ивана Кузьмича Замятина, то прошу ему в точности передать: «Воюй, друг, колоти врага, и пусть твоя душа о семье своей заботы не имеет: Степан Яковлевич тут все заботы возложил на свои плечи, как и о семье Ахметдинова, как о жене Звенкина...»

Он говорил бы в наступившей тишине, очевидно, еще очень долго, но его перебил Евстигней Коронов. Взмахнув ручонками, он закричал:

— Хозяин! Встречай! Идет золотая молодежь — сорви-башка.

В дверях показался секретарь комсомола Ванечка с огромным букетом цветов, окруженный девушками. И он и девушки в яркой своей молодости сами светились, как цветы. Подойдя к Николаю Кораблеву, Ванечка, показывая глазами на цветы и на девушек, решительно и смело заговорил:

— Вот это... наши девчата, комсомолки, набрали в горах для вас, Николай Степанович... и вам на дорогу... пусть дорога ваша будет устлана... — он еще перед этим тщательно приготовил речь, но тут, при виде такого огромного скопления людей, сбился.

Николай Кораблев, заметя это, обнял его и произнес:

— Принимаем. Так, что ль, на свадьбах-то говорят, Евстигней Ильич? Принимаем, — еще раз полушутя проговорил он, и вдруг сам так взволновался, что побледнел, как побледнел и Ванечка.

В эту минуту вошел шофер и сообщил, что машина готова. Николай Кораблев кинулся было к чемодану и кулькам с продуктами, почему-то желая скорее со всем этим покончить, но тут решительно вмешался Евстигней Коронов и сказал, уже командуя:

— Прощаться по-русски. По-русски прощаться: посидеть малость и с каждым трижды поцеловаться. —

Девушки было засмеялись, но Коронов на них строго прикрикнул: — А вы без хи-хи!

И все присели. Потом по очереди стали подходить к Николаю Кораблеву. Первый подошел Степан Яковлевич и поцеловал его в щеку. Евстигней Коронов завопил:

— В губы! В губы! Такое мы не принимам — в щеку.

Тогда Степан Яковлевич раскинул большие, сильные руки и, обняв Николая Кораблева, трижды поцеловал в губы. Целуя Ивана Ивановича, Николай Кораблев почуял запах духов и подумал: «Все еще душится». С Альтманом он поцеловался тоже в губы, но быстро, не в силах подавить в себе неприязнь к нему. С Надей он поцеловался тоже быстро. Вернее, та сама его поцеловала. Она, никого не стесняясь, с разбегу повисла на его шее и, звонко поцеловав в губы, отбежала в сторонку. Заминка произошла с Варварой. Вся охваченная тем, что вот сейчас ей надо поцеловать не просто директора, а человека, который впервые разбудил в ней то большое, огромное, заполняющее всю ее жизнь, она, не в силах шагнуть к нему, протянула руки и вся подалась, почти падая. И он, боясь, что она упадет, сам шагнул к ней. Шагнул, подхватил подмышки, чувствуя под ладонями ее упругое тело и то, что это тело все в эту минуту отдалось ему. И он поцеловал ее. Он поцеловал ее, как и всех, легонько прижимая к себе и тут же отталкивая. Но она до боли сжала его руки выше локтей и еле слышно вскрикнула и этим вскриком потрясла Николая Кораблева... Наступило какое-то минутное замешательство. Выручил Евстигней Коронов. Он завертелся около Николая Кораблева, наскакивая на него, на большого, сам маленький и юркий, как стриж:

— Теперь со мной. Со мной, хозяин!

Перецеловавшись со всеми, Николай Кораблев задержался в объятиях Лукина, шепнув ему на ухо:

— На вас покидаю — и завод и рабочих. Берегите... И сливки пейте по утрам.

— Буду, — тихо произнес тот. — А вы там помните: круговороты неожиданные бывают.

— Буду, — не выпуская его из объятий, повторил Николай Кораблев. — Только и вы знайте, здесь тоже неожиданные течения бывают, — и, чуть оттолкнув Лукина, вышел на крыльцо, сопровождаемый всеми.

Он направился было к машине, но остановился, видя, как к крыльцу подошел рыбак, который сегодня спас их на озере. Он держал огромную закопченную рыбу и подмигивал Евстигнею Коронову. Тот вырвался из группы и, подбежав к рыбаку, помогая нести рыбину, обращаясь к Николаю Кораблеву, закричал:

— На вековечную память! Брательник мой... Из морской пучины выносят тебя Короновы. И упирайся на них, Николай Степанович, туз ты наш!

Николай Кораблев растерялся, уже не зная, куда себя деть, и, повернувшись к провожающим, умоляюще посмотрел на них.

— Кладите в машину, Евстигней Ильич, — приказал Иван Иванович.

— Эх, что вы со мной делаете! — вырвалось у Николая Кораблева, затем он кинулся в кабину, сел рядом с шофером и уткнулся лбом в стекло.

7

Такого, взволнованного, машина и унесла его на гору Ай-Тулак.

Скоро!

Скоро поворот у скалы, похожей на огромную морду льва. Там машина еще раз рванется вперед, перевалит по ту сторону Ай-Тулака и тогда? Да нет. Разве возможно вот так и уехать? Ведь может случиться, что он больше не увидит этих чудесных мест, этих гор, этого завода, в который вложена частица жизни и самого Николая Кораблева.

— Знаете что? Вы постойте тут с полчасика и догоняйте меня, — сказал он шоферу и выбрался из машины.

Пройдя метров пятнадцать — двадцать, Николай Кораблев остановился перед скалой, которая оттуда, со строительной площадки, походила на львиную

морду. Сейчас скала представляла собой что-то огромное, бесформенное и страшное своей тяжестью, нависшей над дорогой. Он свернул за скалу (дорога здесь делала поворот) и очутился над крутизной, усыпанной кварцем. Кварц всюду выпирал из земли. Белый, лобастый, поблескивающий на солнце, оплетенный мелким кустарником вишенника, густыми зелеными травами, он казался чем-то волшебным. Видимо, тут когда-то проходил ледник, и он так отшлифовал кварцы, что теперь, выглядывая из зелени, они напоминали собою стада лежащих белых баранов. Да и травы тут какие-то необычайные — в рост человека и такие сочные, что, кажется, они вот-вот начнут истекать зеленью. А над перепутанными травами, над кудрявыми кустиками вишенника вьются дикие пчелы и порхают бабочки в ладонь ребенка. А вон в стороне котлован — копь, похожая на ванну. Здесь люди доставали образчики редчайшего голубого минерала — миаскита. Теперь там вода, и в воде, тоже голубой, как бы наслаждаясь голубизной и ласковым солнцем, плавает уж-старик. Но вот пролетел беркут, белобородый, крупный — и уж, нырнув, скрылся где-то в своем каменном царстве...

Проследив за полетом беркута, Николай Кораблев посмотрел вниз и там, у подножья Ай-Тулака, увидел раскинувшийся город-завод. Отсюда, сверху, через дымку туманов казалось, что это где-то на дне моря: по дну моря мчатся крохотные машины, бегут паровозы, двигаются точечки-люди. А ведь совсем недавно там все было покрыто дремучими лесами, в которых водились пятнистые олени, лоси, белки, глухари и лисы. Теперь там другая жизнь — жизнь человека. Он когда-нибудь — этот человек — заберется и сюда, на склоны Ай-Тулака, построит тут дачи-дворцы и отсюда будет любоваться чарующими далями горных просторов.

Человек!

Это ведь он в жесточайшей борьбе с силами природы овладел морями, океанами. Это ведь он опутал землю стальными рельсами и стал летать быстрее и выше любой птицы. Это ведь он забрался в глубокие

шахты, на туманные вершины гор. Это он, человек, открыл электричество, радио...

И вдруг Николай Кораблев как-то отделился от всего: он не директор, у него нет ни семьи, ни роду — он один... один — человек на вершине Ай-Тулака, а перед ним земля — мир, населенный людьми... И неожиданно всплывает картина: люди, покрытые волосами, мало чем отличающиеся от обезьяны, схватили человека из соседнего племени, связали, положили перед костром и пляшут, высоко вскидывая ноги, поблескивая волосатыми телами... и вот уже их руки, губы, лица в крови: они рвут друг у друга куски мяса умерщвленного человека и пожирают, как голодные псы... Только от одного представления у Николая Кораблева появилась тошнота. Но ведь у тех такой тошноты не было: моральный облик того человека был в согласии с его физиологией. Прошли тысячелетия и, людей стало тошнить при одном представлении о человеческом мясе.

Но кто он — современный человек капиталистического общества?

Десять — двадцать лет весь мир работает, накапливает огромнейшие богатства, затем военная машина бросает все это на поле брани, уничтожает миллионы людей и все то, что было накоплено за эти годы: сотни лет человеческого труда летят на воздух, как пыль, как зола. А безумцы воспевают войну, фанатики утверждают, что война — двигатель прогресса. Спроси их: «Нравственно ли сожрать человека, разодрав его на куски?» Они ответят: «Нет, мы не дикари-людоеды». Но пожирать не одного, а тысячи, миллионы — это нравственно, от этого у них не появляется тошноты; наоборот, они поют в стихах и прозе, они восхваляют войну в горячих речах и ввергают в бездну весь мир, уничтожают города, села, хлебные поля.

И трубят:

— Таков закон истории!

И еще трубят:

— Борьба извечна. Извечно сильный пожирает слабого.

— Нет. Я опрокидываю все это, — произнес Николай Кораблев, как бы отвечая всему капиталистическому миру. — Я опрокидываю все это своим моральным обликом, моими устремлениями, обликом моего народа, тех, с кем я строил заводы, с кем живу, — он посмотрел вниз, на город-завод, и вдруг чувство родины овладело им, и он вспомнил, как однажды в Америке Валерия Чкалова спросил корреспондент крупной английской газеты: «Богаты ли вы?» — «О-о! — ответил тот. — Очень: у меня сто восемьдесят два миллиона». — «Чего: рублей, долларов или марок?» — ахнул корреспондент. — «Нет! Гораздо дороже долларов — людей!»

— Да еще каких людей! — воскликнул Николай Кораблев сейчас, снова как бы обращаясь ко всему миру. — Таких людей, которые на сотни лет ушли вперед от певцов войны. Но мы и не те, кто говорит: «Лучше стать рабом, чем воевать». Мы будем драться. Мы поднимем миллионы честных людей всего земного шара и будем драться, драться, драться! — он даже задохнулся, а передохнув, посмотрел вдаль, на уходящие гряды гор и уже весело сказал: — И я... Я еще вернусь к тебе, седой Урал!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Поезд мчался со скоростью курьерского; это радовало пассажиров и особенно Николая Кораблева. Он сидел в купе международного вагона и через открытое окно смотрел на своеобразные красоты уральской природы: поезд проходил то мимо какого-нибудь дикого озера, то попадал в долины, усыпанные причудливыми глыбами гранита, то взбирался в горы и тут петлял по отрогам. Глядя на все это, Николай Кораблев неотрывно думал о себе, о заводе, о людях, оставленных там, о Татьяне, о сыне Викторе и о Марии Петровне. И вдруг неожиданно пришла мысль: Татьяна

уже в Москве, остановилась на старой квартире и именно поэтому вызывает его нарком. Да. Да. Это очень может быть. Сколько часов осталось до Москвы? Сорок. Через сорок часов он увидит их. Ох, ты! А почему он не полетел? Ведь предлагали самолет. Вот дурень. Ну, ничего: все равно он их скоро увидит.

И все это было нарушено: в Предуралье, на станции Раевка, поезд простоял четыре часа.

Вначале всем так и казалось: ну, пройдут положенные восемь минут, и поезд отправится дальше. Но прошло восемь, потом десять, потом пятнадцать. Пассажиры начали волноваться, и кто-то уже побежал к начальнику поезда узнать, не стряслось ли что с паровозом, как начальник сам пошел по вагонам, говоря что-то весьма невразумительное:

— Что ж? Так уж. Пускай уж.

— Что «пускай уж, так уж»? — сердито переспрашивали пассажиры и с гневом: — Эти наши железнодорожники! Чего-нибудь да и придумают, лишь бы опоздать. Ну, что «так уж, пускай уж»? Что?

— А сказать не могу, — оправдывался тот.

Но пассажиры вскоре сами высыпали из вагонов: мимо станции, не уменьшая скорости, через каждые десять — пятнадцать минут проносились эшелоны с танками, пушками, самолетами, снарядами, а то и поезда, составленные из товарных вагонов. Двери в вагонах были открыты, в пролетах виднелись бойцы — пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики. Одни из них сидели, свеся ноги, другие стояли позади, и все что-то кричали, махали фуражками, пилотками.

Николай Кораблев вместе с пассажирами кричал ответное и тоже махал шляпой. Иногда он вспоминал начальника моторного цеха Ивана Кузьмича Замятина, который несколько месяцев тому назад со Звенкиным и Ахметдиновым добровольно поступил в Уральский танковый корпус.

«Вот так же, наверное, промчался и Иван Кузьмич со своими друзьями, — думал Николай Кораблев, глядя на бойцов. — Где-то теперь они? Возможно, уже вступили в дело. . .»

Прошел час, потом второй, третий, а мимо станции

все мчались и мчались эшелоны с вооружением, с бойцами. И пассажиры, вполне понимая, что это на врага катится огненный вал, пустили в ход выражение, перехваченное у начальника поезда:

— Что ж. Так уж. Пускай уж.

В конце четвертого часа на станции остановился эшелон с танками. Николай Кораблев не выдержал и подошел к платформе. Часовой крикнул:

— Эй! Эй! Куда?

— Я директор моторного завода, — ответил Николай Кораблев, — хочу посмотреть, наш тут мотор или не наш.

Часовой, молодой парень, чему-то радуясь, проговорил:

— Это другой коленкор. Гляди, товарищ директор, да быстрее, а то удерем: несемся, сломя голову.

2

В Москву поезд, выбитый из графика на станции Раевка, пришел с опозданием на восемнадцать часов. Было четыре утра. Николай Кораблев, тихо улыбаясь и повторяя: «Что уж. Так уж. Ничего уж», направился на привокзальную площадь. Чемодан, кульки, свертки и рыбину-балык ему помог донести сосед по купе, приехавший в Москву налегке, и они оба около часа простояли у вокзала, дожидаясь машины, глядя на площадь, где расхаживали только одни, вооруженные винтовками, милиционеры.

Часов в восемь утра пришла и машина. Расставаясь со своим попутчиком, Николай Кораблев сказал, показывая на рыбину:

— Может, возьмете это? А то вы с пустыми руками: не на курорт едете, а в Москву.

— Я же повар. Вызван на работу в гостиницу «Метрополь». Будем знакомы. Заходите, угощу первоклассным блюдом, — ответил попутчик.

Шофер сообщил свое:

— Лена просила передать, чтобы вы сегодня в одиннадцать зашли к наркому.

— Хорошо. А как вы тут живете?

— Да так уж. Ничего уж. Живем, — ответил шофер.

Николай Кораблев удивленно посмотрел на него, думая:

«Откуда появилась эта приставочка «уж»? Живут, видимо, неважно, но понимают, что лучше жить пока и нельзя, поэтому и приставочка «уж», — он снова посмотрел на шофера и спросил:

— Ну, а как нарком? Похудел, потолстел?

— Да как уж? Ничего уж. Обратно, одни глаза остались.

Москва поднималась, как брага: на улицах появились пешеходы, грузовики, ребятишки, школьники с портфелями, а когда машина выехала на центральную площадь, Москва уже горланила, как всегда.

«Домой! Скорее домой!» — мысленно прокричал Николай Кораблев, ясно представляя себе, как в квартире на Арбате Татьяна, Виктор и Мария Петровна, дожидаясь его, смотрят в окна. Он даже нашел оправдание, почему они не встретили его на вокзале: «Устали. Ну, конечно, устали. Шутка сказать, вырваться оттуда, — и он тревожно спохватился: — А как же это я балык-то хотел отдать тому — повару? Ведь они, наверное, голодны. Да не наверное, а наверняка. Устали, голодны, вот поэтому и не встретили меня».

На Арбате он выскочил из машины, схватил чемодан, рыбину-балык, кульки, свертки и кинулся во двор, к тому подъезду, где находилась его квартира.

«Что ж! Вот сейчас и встретимся, — от волнения у него забилась кровь в висках, и он приостановился, думая: — Посмотреть ли на окна? Ведь она видит меня... и глаза у нее такие большие. Вот я шагнул, и она кричит: «Виктор! Мама! Вон он. Вон. Идет!» Ох, ты! Как бы мне не упасть! Посмотрю, увижу ее и упаду. Нет. Нет. Этого не надо делать: перепугаю их», — и он, переборов желание посмотреть на окна, превозмогая дрожь в ногах, чуть покачиваясь, зашагал к подъезду.

У подъезда он опустил чемодан, правой рукой открыл знакомую дверь, тяжелую, скрипучую, и

столкнулся с женщиной, закутанной в старые, линялые шали.

— Куда, гражданин? — спросила та и, узнав его, всплеснула руками. — Батюшки! Николай Степанович. Вы? А я — вот я. Да вы проходите, чего на сквозняке стоять. Давай-ка я вам помогу, — а когда он вошел в подъезд, она снова заговорила: — Не узнаете? .. Вот как горе-то скрутило меня. Жена я Тараса Макаровича.

— Да ну! Мария Тарасовна?! — и Николай Кораблев сел на стул около маленького, поцарапанного столика, глядя на жену Тараса Макаровича — рабочего, мастера литейного дела, ожидая, что сейчас на лестнице послышатся шаги и вниз сбежит Татьяна. Но шагов не было слышно, и он, утешая себя, подумал: «Видимо, спят. Ну и правильно: устали. Поезд-то ведь опоздал на восемнадцать часов. Ждали-ждали — и уснули», — и он машинально спросил Марию Тарасовну:

— А где Тарас Макарович?

— Там же, Николай Степанович. Володю, сына, знали? Похоронную на него получила, а от отца ничего: ни писем и ничего. Вам ключики от квартиры? — она заторопилась и, открыв маленький шкафчик, достала оттуда на колечке два заржавленных ключика.

Николай Кораблев как-то притиснулся в стуле.

— Значит? Значит? — прошептал он, тупо рассматривая на ладони заржавленные ключики... и вдруг куда-то покатился — куда-то в бездумие, в пустоту: перед ним все разом потемнело и все заглохло.

Ему что-то говорила Мария Тарасовна, но он этого не слышал. Он слышал только свое сердце. Ох, как громко стучит оно! Ах, сердце, сердце! Сколько приходится выдерживать тебе... и не разорвешься... и не лопнешь.

Так прошла, может быть, минута, две. И вот обозначились лестница, застывший, опутанный паутиной лифт, поцарапанный столик и Мария Тарасовна...

— Да, да, да, — невпопад ответил он Марии Тарасовне и, приходя в себя, посмотрел на рыбу, кульки, свертки. Посмотрел и сказал: — Вы это возьмите. Возьмите, конечно, — и, схватив чемодан, он пошел по широкой лестнице вверх.

— Да что ты, батюшка, с ума спятил? Богатство такое, — кричала ему вслед Мария Тарасовна, но он и этого не слышал.

Поднявшись на шестой этаж, Николай Кораблев отпер квартиру. Вошел. Пахнуло нежилым, пылью. Поставив чемодан у вешалки, он осторожно прошел в первую комнату — столовую.

В столовой все было на месте — пианино, буфет резной, дубовый, трюмо, длинный стол, покрытый скатертью, стулья, а на пианино две мужские шляпы. Все было на месте, и все окутано сединой — пылью. Такая же седина-пыль лежала всюду: в спальне, в детской комнате, в кабинете. Пройдясь по всем комнатам, Николай Кораблев увидел, что он наследил, будто на песке.

«Как в пустыне», — мелькнуло у него, и только тут он заметил, что в квартире нет ни обуви, ни пальто, ни шапок.

— Что ж? — проговорил он. — Холодно было в Москве. Все это людям надо. Взяли? Ну и хорошо сделали, — и вдруг ему стало так тоскливо, словно вместо квартиры он попал в склеп.

Оглянувшись еще раз в запыленное трюмо, видя там какую-то серую тень, он испуганно, боком пошел на выход.

На лестнице его встретила Мария Тарасовна. Тяжело дыша, она поднималась по ступенькам, неся балык, кульки и свертки.

— Вот, батюшка, заставил ты меня подниматься с таким, а у меня и без того ноги как чурки. Возьмите-ка, — но на глазах у нее стояли слезы — слезы голодного человека.

— Извините меня, — забирая у нее рыбину, кульки и свертки, проговорил он, — давайте я вам все это донесу. Мне не надо: сегодня накормят. А завтра? Завтра я буду далеко отсюда.

3

Николай Кораблев больше всех районов Москвы любил почему-то именно Арбатский. То ли потому, что в этом районе он года четыре жил, то ли потому, что тут было все очень разительно. Что стоило одно название улочек, переулочков: Скатертный, Столовый, Чашников, Конюшенный, Хлебный или, например, Собачья Площадка! Идя по Конюшенному, он ярко представлял себе размешанную грязь и то, как конюхи выводят застоявшихся коней. Кони рвутся из рук. Но вот они уже в оглоблях, и тройка лихих с бубенцами понеслась по ухабистым улицам Москвы. А вот тут жили мастера — делали столы, вот тут — разукрашенные чашки, вот тут ткали скатерти, а вот тут ковали ножи... Батюшки! Поднялась вся древняя Русь — ремесленная, деловая, торговая. А вот княжеский дом. Как перед ним не остановиться? Нижним этажом он ушел в землю и из-под земли выглядывает узенькими, подслеповатыми окошечками, а верхний еще ничего себе: стены толстенные, в полтора метра, наверху балкон-крыльцо. Когда-то, наверное, говорили: «Вот так домину отгрохал князь!» А теперь домик этот прилепился к бочку многоэтажного гиганта, как щенок к лапе волкодава.

Николай Кораблев в свободное время любил побродить по улочкам, переулочкам Арбата. Обычно они вместе с Татьяной выходили из квартиры в поздний час ночи, когда Москва почти вся спала, и бродили, задерживая свое внимание на домиках, на древних воротах. А когда шли по Ружейному, Николай Кораблев начинал рассказывать, восстанавливая всю древнюю Русь — далекую, как детство.

И вот сейчас, колеся по улочкам, он видел, что Арбат все тот же: те же изгибы, те же малюсенькие дворянские домики, прилепившиеся к гигантам-домам... и, однако, все это было и не то: тротуары не светились чистотой, как светились они до войны, не видно клумб с пышными цветами, земля разрыта, и всюду — в сквериках, на площадках, в палисадниках — зеленеет картошка. Картошка! Картошка! Куда

ни повернешься — картошка. А дома иные облупились, иные разукрашены разными красками, как комедианты на сцене.

Да. Да. Арбат тот и не тот. Не тот он еще и потому, что рядом с Николаем Кораблевым нет Татьяны. А ведь каждая улочка, каждый поворот, каждый домик, дом, загородка палисадника — все, все напоминает ему Татьяну. Вот здесь они сидели на лавочке, и Татьяна над чем-то громко, заразительно смеялась. Смеялась так, что кто-то в нижнем этаже домика проснулся и, видимо, зараженный ее смехом, сказал:

— Эко! Раскалывается как!

А вот тут она однажды остановилась и, прислушиваясь к себе, тихо произнесла:

— Живой он, Коля. Я слышу его. Слушай-ка, — и положила руку к себе на левый бочок живота.

А вот здесь она... Да нет. Все, все — и камни, и тротуары, палисадники, тропы в сквериках, проделанные детскими ножонками, — все напоминает ее, Татьяну. Только ее нет. И где она? Он не знает. И жива ли она? Ну, об этом не следует и думать. Конечно, жива. И сын Виктор жив, и Мария Петровна жива. И все они думают о нем и тоскуют так же, как тоскует и он.

4

В приемной наркома его встретила Лена. Так все зовут ее уже лет пятнадцать: нарком зовет Леной, посетители — Леной и Николай Кораблев — Леной. До войны она была пышная, полногрудая, со взбитой прической, а сейчас — щеки впали, под глазами веером морщины.

— Лена, здравствуйте! Вы ли это?

— Я, я, Николай Степанович, — и Лена обеими ладонями провела по плоским бедрам. — Весь внутренний запас мы израсходовали.

— Да как же это вы? Сколько раз мы с вами по телефону разговаривали... хоть бы намекнули... ну, я как-нибудь прислал бы вам... сала или масла,

Лицо у Лены дрогнуло, и она с благодарностью посмотрела на Николая Кораблева:

— Не могу, Николай Степанович; подумаю об этом, и кажется мне — ворую я что-то с общего стола. А к наркому вы рано. Ведь он вас пригласил к одиннадцати, а сейчас только половина, — она посмотрела на дверь кабинета. — В другое время я бы вас туда пустила, а сейчас там учительница.

— Из подшефной школы, что ль?

— Нет. Английский язык изучает с десяти до одиннадцати.

— Английский? Это что ж? А когда отсюда уходит?

— Да все так же — в три, четыре утра.

— Ну-у! Похудел, наверное?..

— И не говорите, — Лена отмахнулась и, заслыша звоночек, быстро вошла в кабинет, не прикрыв за собой дверь.

— Ну, кончаем, — послышался голос наркома. — Кончаем: ко мне приехал друг с Урала, а полдвенадцатого я должен быть в Совнаркоме. Завтра нажмем.

Вскоре из кабинета вышла учительница, за ней Лена. Она сказала:

— Идите, Николай Степанович. Только имейте в виду: у него полдвенадцатого Совнарком.

Николай Кораблев вошел и увидел за столом, в глубоком кресле, Илью, своего друга по студенческим годам. Но это был совсем не тот. Тот был полный, красивый, быстрый на ногу, а у этого — личико маленькое, в плечах он узенький, только глаза большие, серые — глаза уставшего человека. Выпроставшись из кресла и идя навстречу Николаю Кораблеву, нарком с сожалением проговорил:

— Болею, Николай. Чорт-те что со мною, не то рак, не то я сам дурак: запустил, понимаешь, себя, — и с армянским акцентом, балагуря, добавил: — Шашлык бы надо кушать, нарзан бы, понимаешь, надо, вино... — и снова серьезно: — Но кой чорт шашлык и нарзан в такое время? Ну, зато, — он вдруг заговорил громко, как бы перекликаясь в горах, — зато

всыплем! Такой удар приготовили!.. Все равно в Берлине будем. Как ты думаешь?

— Я? Да ведь очень далеко.

— Сомневаешься?

— Ни капельки. Анализирую.

— Ты все такой же, Николай, — и пощупаешь и понюхаешь?

— Такой же, Илья.

— Это хорошо. Я вот на-днях... ну, устал, понимаешь... и одно дело, не пощупав, не понюхав, подписал... За это меня дня три тому назад в Совнаркоме так пощупали, так понюхали, аж в глазах зарябило.

— Там что ж, — глядя на золотую звездочку, приколотую к груди наркома, проговорил Николай Кораблев, — и Героев Социалистического Труда не щадят?

— Нет. Еще крепче. Понимаешь, еще крепче! — не то радуясь, не то хвалясь, вскрикнул нарком и смолк, видя, как глаза Николая Кораблева заполнились тоской. — Что? — заговорил он, мягко притрагиваясь обеими руками к его плечам. — Может, я что неладное сказал?

— Нет. Вспомнил, как ты плясал на первых именинах у моего сына.

— Ах, да, да. Помню. Танец Шамиля. О-о-о! Какой я был легкий! А теперь — вот. Нет, как только война кончится, я поеду в Кисловодск, а потом на родину — в Армению... заберусь в горы и всю немощь к чорту сброшу... и опять у тебя плясать буду танец Шамиля. Ух!

Глаза у наркома засветились, и он радостно посмотрел на Николая Кораблева, но тут же понял, что того все это не радует; наоборот, морщины на его лице стали глубже, а глаза заволоклись дымкой.

— Ты что? Что? — заговорил нарком и сел в кресло против, догадываясь обо всем. — Да, да, — чуть подождав, протянул он. — Никаких вестей, Николай. Не буду утешать пустыми словами. Поверь, я сделал все, зависящее от меня: не только писал, но и звонил генералам. Весь Орловский, Курский узел

обзвонил... и людям поручал. Да вот тебе доказательство, — он вынул из стола папку, на которой было написано: «Материал по розыску Татьяны Яковлевны Кораблевой», — вот смотри.

Папка была забита копиями телеграмм, ответными телеграммами, письмами... и в папке... в папке лежала фотографическая карточка Татьяны, а на обороте написано: «Илье. Нашему куму!» — и подпись: «Кума Татьяна».

— Да, да! — снова, как бы перекликаясь в горах, вскрикнул нарком. — Она ведь мне кума... и крестник мой с ней. И я, конечно, все силы приложил... Но нет, Николай, нет.

Николай Кораблев закачался, как от удара, и еле слышно произнес:

— Она ведь Половцева, а не Кораблева.

Нарком тоже поднялся и, опустив руки, понимая, что весь труд его потрачен зря:

— Боже ж ты мой! — проговорил он. — Что я наделал? — Затем нарком подошел к телефонным аппаратам, взял трубку, набрал номер и заговорил:

— Это я. Да. Да. Здравствуй, Вячеслава Михайловича бы мне. Уже там? Дело какое? О заводе? Нет. О человеке. Я ему дня четыре тому назад докладывал. Он дал согласие вызвать Кораблева. Николая Степановича. Ну вот, о нем речь. — Нарком несколько секунд молча смотрел на стол, сосредоточенно о чем-то думая, затем весь ожил. — Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Прибыл Николай Кораблев. Да, я думаю, пусть он съездит на фронт. Моторы там посмотрит, а кстати, может быть, что-нибудь узнает и о семье. Она где-то осталась там, за Орлом. Спасибо! — и, положив трубку, нарком прошелся по кабинету, потом круто повернулся к Николаю Кораблеву, сказал: — Езжай. Посмотри там наши моторы в бою. Я бы мог тебе на помощь создать комиссию, но, думаю, один обойдешься. А комиссия — это громоздко. Езжай.

— Позвольте, — перейдя на «вы», резко заговорил Николай Кораблев. — А завод? Как же это? Вы для чего меня сюда вызвали?

Нарком еле заметно улыбнулся и, раскрыв папку, что-то некоторое время искал там и, подав лист бумаги Николаю Кораблеву, сказал:

— Вот зачем!

Николай Кораблев всмотрелся в лист бумаги. Это была докладная записка главного врача завода, в которой тот писал — как всегда сердито — о том, что «Николая Степановича Кораблева надо немедленно отвлечь от заводских дел...» Дальше шли какие-то «заклинания» на латинском языке.

Николай Кораблев положил на стол лист бумаги и произнес:

— Ну, это мое личное дело — болезнь.

— Партия вас, — тоже перейдя на «вы», проговорил нарком, — воспитывала не для того, чтобы вы в течение года сгорели на работе. Езжайте. Только, — уже по-дружески кинул он вдогонку Николаю Кораблеву, — будь там осторожней: не на бал едешь. А впрочем, хочешь в санаторий?

— Ни за что. Я там с ума сойду!

Нарком быстро вышел из-за стола и, подойдя к Николаю Кораблеву, обняв его, сказал:

— Пойдем. Я скажу Лене, чтобы она написала тебе командировочное... и езжай к командарму Горбунову; это мой друг... Встряхнись, и снова на завод.

5

Все стало серое: серые шинели, гимнастерки, серые, выжженные поля, леса, деревеньки, серое, в лохмотьях облаков, небо. Казалось, так же серо должно быть и на сердце у Николая Кораблева. Но он вышел из теплушки-вагона бодрый и веселый.

— Я ближе к тебе, Таня, — прошептал он и осмотрелся.

Осмотрелся и чуть-чуть растерялся от необычайной обстановки: где-то в отдаленности ухали пушки, а над станцией вился самолет.

— «Горбыль»! «Горбыль» летит, — проговорил Сиволобов, боец, бывший председатель колхоза с Волги.

Ему было лет под пятьдесят, и ехал он из госпиталя в армию. Росточку он небольшого, кудрявенький и своим говором, походкой, хозяйственностью и еще чем-то неуловимым напоминал Евстигнея Коронова. Николай Кораблев познакомился с ним дня два тому назад, и может быть, потому, что Сиволобов как-то напоминал ему Евстигнея Коронова, полюбил его и уже не расставался с ним.

— «Горбыль», гляди! — прокричал Сиволобов.

Самолет в самом деле был горбат.

«Ага. Это и есть та рама», — догадался Николай Кораблев и вслух:

— Это ведь разведчик. Чего не стреляют?

— Да в его стрелять — все одно, что в воздух пулять: броня на ем — и пульки чик-чик.

— А из зенитки? Ведь у нас на задней платформе зенитка и два пулемета.

— А вот этого уж я и не знаю, — Сиволобов, когда чего не знал, всегда удивленно произносил: «А вот этого уж я и не знаю».

В эту минуту с платформы застрочили зенитные пулеметы. Самолет-разведчик развернулся и скрылся в туманной дали.

— Поехал докладать, — серьезно сказал Сиволобов. — Так и так, мол, эшелон с солдатами... Надо бы их пощипать. Теперь жди, гостинец нам пришлют.

После этого по всем бойцам пошло оживление, какое бывает на озере: тишь — и вдруг от дуновения ветра побежала рябь.

— Чуют, — сказал Сиволобов, показывая на бойцов. — Человек — он не пенек.

Большинство бойцов, с которыми перезнакомился Николай Кораблев, недавно выписались из госпиталей. Обожженные войной, они теперь ехали на фронт смело, даже с каким-то азартом, часто хвастаясь тем, в какие «переплеты» попадали на передовой, и обо всем говорили громко, как знатоки военного дела. Одних генералов они хвалили, других бранили и часто давали советы Николаю Кораблеву.

— Ты только не бойся ее, смерти. Гони ее прочь

из ума своего, и она тебя не тронет, — поучал Сиволобов.

— А вон тебя тронула: шесть месяцев в госпитале пролежал, — возразил Николай Кораблев.

Сиволобов, толстощекий, откормленный в госпитале, несколько секунд стоял молча, сбитый с толку словами Николая Кораблева, затем встряхнулся и, видимо что-то припомнив, задорно выпалил:

— Так и есть, о ней подумал. О ней! Ведь как было, давай разберемся, — заговорил он, будто находясь в колхозе и объясняя колхознику. — Давай мозгой шевельнем. Немчушка, значит, начал палить... палить из артиллерии. Ну, мы, значит... мы, значит, лежали. А он еще жарче. Ну, я, значит... я, значит... лежи да лежи. И даже покуривай. Нет, она заявилась, смертушка, и у меня, значит... у меня, значит, страх перед ней, красавицей. Страх! И тут я и сигани в сторонку, в кустарник, — в этом месте бойцы покрыли рассказ Сиволобова громким, одобряющим хохотом, как бы говоря: «Известно. И с нами так было». — Сиганул я в сторонку, — продолжал Сиволобов, — и, как заяц, шмыг под куст. Тут меня осколочек по ноге и погладил. Вот она какая, смертушка.

Потом он под общее одобрение рассказал о том, как его сковывал страх при первой атаке, при первом пушечном выстреле:

— Понимаешь, голова работает одно, а ноги работают другое. Голова говорит: «Стой! Трус, дезертир, сукин сын!» А ноги свое — давай лататы. И ты, — поучал Сиволобов, — этого не стыдись — первого страха. Враг ли бабахнет, свой ли — все одно первое время поджилки трясутся. И стыдиться этого нечего — первого страха: она ведь, пушка-то, не орехами кидается, а железюкой.

Молодой боец, едущий впервые на фронт и по каким-то причинам отставший от своего взвода, презрительно искривил губы и кинул:

— Надо во время боя думать о родине, а не о смерти.

Сиволобов прищурился, скосил на него глаза.

— Ну! — сказал он. — Угу, — добавил он.

А молодой боец своё:

— Вот мы выступим — покажем, — и, переминаясь с ноги на ногу, поправил на себе ремень, подтягивая живот, который и без этого был подтянут.

— Покажете... непременно на первый раз пятки, — произнес Сиволобов, затем неожиданно зло добавил: — Сопляк ты, вот что я тебе скажу! — и повернулся к Николаю Кораблеву: — В пятерочку я еду. Приезжай к нам в гости.

— Это куда — в пятерочку?

— В пятую дивизию. Командир у нас — Михеев, Петр Тихонович. Матерится — ух! Но душевно.

— В пятую дивизию? — молодой боец, только что насупившийся было на Сиволобова, оживленно заговорил: — Я тоже туда — в пятую. Я Петр Кашемиров. Здравствуй, — и протянул руку Сиволобову.

— Вот там тебе учебу дадут! — уже ласково сказал Сиволобов. — Героем-то, милый, легко быть за кашей, а на передовой — труда большого стоит!

6

Сиволобов поднялся с полотна железной дороги, покряхтывая, потягиваясь, сказал, обращаясь только к Николаю Кораблеву:

— Ну, однако, нам в путь-дорогу пора. Кончается жизнь привольная, наступает жизнь солдатская, — посмотрев на чемодан, он посоветовал: — Его надобно прочь, — и, достав из своего мешка рюкзак, предложил: — Ты добро свое вот сюда и за спину — так якши будет.

Николай Кораблев беспрекословно повиновался. Переложив белье в рюкзак, он спросил:

— А это куда... чемодан?

— Да кинь в канавку.

— Как же? Это же ценность!

— Э-э-э! Тут она цену потеряла, — и, показывая, как надо завязывать рюкзак, трогая белье, чистое, выглаженное, Сиволобов добавил: — В чистоте жил, вижу. Ну, здесь, однако, ко всему привыкнешь. — За-

вязав рюкзак, он к чему-то прислушался и уверенно произнес: — Летят. «Горбыль» доложил, и те рады стараться.

Где-то на стороне послышался гул моторов. Бойцы, главным образом новички, в том числе и Петя Кашемиров, кинулись от вагонов в поле. Николай Кораблев тоже было побежал. Но Сиволобов, догнав, дернул его за рукав и поволок в канаву, куда уже набилось порядочное количество бойцов — большинство тех, кто ехал из госпиталя.

Через какую-то минуту ударила зенитка, затем самолеты загудели будто над ухом.

«Ну вот, начинается», — мелькнуло у Николая Кораблева.

И в этот самый момент недалеко от железнодорожного полотна взорвалась одна, потом вторая бомба. Затем еще и еще. Взметывались черные, блестящие, будто пропитанные дегтем столбы земли. Вскоре все смолкло: и гул самолетов, и взрывы бомб, и удары зенитки. Засвистел ветерок... И только тут Николай Кораблев услышал душераздирающий крик. А когда следом за Сиволобовым выбрался из канавы, то увидел: недалеко от железнодорожного полотна лежали два бойца, уже мертвые, а чуть в стороне от них — тот молодой боец — Петя. К нему бегут трое, видимо санитары. А он кричит. Рот у него так широко открыт, что кажется, сейчас разорвется, а глаза, наполненные ужасом, молят: «Помогите! Помогите! Ведь я такой молодой еще! Ведь я еще и не жил!»

— Смертушка там скосила двоих, — проговорил Сиволобов и, закинув мешок на плечо, зло добавил: — А отчего? Оттого что фыр да фыр. Мы придем, мы покажем... тот же Петенька. Слышишь, как кричит? — и опять тихо: — Оно, конечно, по науке естественно: беги подальше в поле, а по жизни естественно — прячься около вагонов. Известно уже, немец летит долбать эшелон, значит — как раз в него и не попадет: ручишки-то у него дрожат, подыхать-то ему не хочется, а тут зенитка палит. Отпустил, значит, куда попало бомбы, и давай бог ноги. Пойдем-ка!

Но Николай Кораблев стоял, как завороженный, глядя только в глаза Пети.

«Какой ужас! — думал он. — Какой ужас в этих глазах!»

Сиволобов бесцеремонно дернул его за рукав:

— Ты вот что — прикрой душу заслонкой, а то с ума спятишь. Двоих мертвых увидел — и все в тебе затрепетало, а коль перед тобой сотня, тысяча, а то и десять тысяч — горы народу, убитого, разорванного? Нет, ты скажи себе: «Здесь война». Пойдем. На станцию.

Какая это станция? Трудно отгадать: все разрушено. Все: и вокзал и подсобные постройки. Так же развален и городок. Всюду сплошной щебень битого красного кирпича или груды золы. Только кое-где торчат закоптелые трубы печей. Вернее, не только трубы, но и все печи. Вон стоит печь — и целехонькая: основание, под, даже чело прикрыто жестяным заслоном, дальше тянется труба. Как страшно смотреть на такую печь! На нее смотреть так же страшно, как в трескучий мороз на нагого человека. Представьте себе: в трескучий мороз по улице бежит нагой человек и безумно кричит. Да! Да! И эта печь безумно кричит: ведь около нее кто-то жил. Вон около той печки, вероятно, жила семья, в которой росла дочка — юная, веселая, задорная. Решила выйти замуж; жених хороший, любимый, такой же молодой и радостный... И вдруг все рухнуло. А вон там, в семье, очевидно, был сын инженер, или агроном, или учитель... только что окончил высшее учебное заведение, приехал к отцу-матери, чтобы порадоваться вместе с ними и похвастаться перед односельчанами: «Вот кто я — инженер!..» И вдруг все рухнуло. Все! Остались красный щебень, пепелище, закоптелые печи и игривый ветер. Сгорел и скверик; деревья таращатся голыми рогульками, как окостеневшими змеями. Только на одном дубе пробились листья — широкие, рогатые и зеленые.

— Как называется городок? — спросил Николай Кораблев.

— Новосиль, — ответил Сиволобов. — Городок

был как игрушка, скажу тебе... А теперь — пепел.

— Новосиль, — шепчет Николай Кораблев. — Новосиль, — и неотрывно смотрит на развалины городка.

— Заслонку, говорю, на душу поставь, — уже грубо произносит Сиволобов. — Не то тут смотрины эти тебя с ума сведут. Потопали! Ты пункт свой знаешь?

— Да какой пункт? Мне в штаб армии надо.

При упоминании штаба армии Сиволобов присмирел, затем тряхнул головой:

— В верховье, значит? Не бывали мы там. Где не бывали — там не бывали. Однако командующего знаем: Анатолий Васильевич Горбунов. Генерал-лейтенант. Человек крепкой силы и в годах. Душой боевой. Встречались. Однажды! — и почему-то почесал затылок, смахивая пилотку на нос.

7

К станции подкатила маленькая, юркая сизая машина «виллис». Подпрыгивая, будто сбрасывая с себя пыль, она со всего разбегу остановилась. Дверка открылась, и из машины вышел крепко сколоченный, быстрый на ногу и глаз старший лейтенант. Осмотрев бойцов, он направился к Николаю Кораблеву и, поглядывая на его шляпу, скрыто улыбаясь, с украинским акцентом произнес:

— Я за вами. Вы ведь Николай Степанович Кораблев? — и, не дожидаясь ответа, добавил: — Товарищ генерал-лейтенант, командующий армией, требует вас к себе. Прошу.

Николай Кораблев поправил шляпу, потрогал рюкзак и, жалея, что сейчас придется расстаться с Сиволобовым, проговорил, обращаясь к лейтенанту:

— Это мой... друг. Можно его подвезти?

— Седайте, товарищ боец, — сказал лейтенант.

Сиволобов укоризненно посмотрел на Николая Кораблева, как бы говоря: «Эх ты, гражданский! Разве

нам можно к командующему?» — и, отдавая честь, ответил:

— Нет, уж спасибо, товарищ старший лейтенант. Мы от своих отставать не намерены, — и улыбнувшись Николаю Кораблеву, добавил, переходя на «вы»: — Душевный вы есть человек... Ну, заглядывайте к нам в гости... в пятерочку, — с этими словами он и скрылся в толпе бойцов.

Машина тронулась.

Они долго ехали молча, обгоняя обозы, бойцов. Поля всюду были порезаны окопами — зигзагообразными, а местами, особенно в овражках, виднелись какие-то норки, похожие на кувшинчики; это были индивидуальные окопчики. Но вот это что-то непонятно: лес повален и выжжен, будто на него обрушилась огненная лава.

Старший лейтенант повернулся, показывая на это место:

— «Катюша» поработала, — затем снова смолк и, только когда они выехали на шоссе, местами развороченное воронками, он заговорил: — Генерал у нас хороший!

— А вы кто?

— Адъютант.

Николай Кораблев намеренно задрал:

— Ну, где это слыхано, чтобы адъютант ругал своего генерала?

— Не-ет. Он у нас особенный, — все так же с украинским акцентом произнес адъютант. — А мою фамилию знаете? Я Галушко. Так и зовите — Галушко, — подчеркнул он, как будто лучше его фамилии на свете и нет.

Гул от разрыва снарядов все приближался и приближался. Вот он стал уже совсем густым.

— Где это стреляют? — спросил Николай Кораблев.

— Конюшню бьют.

— Что за конюшня?

— Тут река есть такая, Зуша. По ту сторону реки на бугорке колхозная конюшня. Засели в нее немцы, укрепились, и мы с год их оттуда выкури-

ваем — и никак, хоть лопни. Эта конюшня у нас вот тут, — и Галушко ладонью крепко хлопнул себе по шее.

— Значит, важное дело?

— А то!

Шофер у развилки дорог придержал машину, спросил:

— Товарищ адъютант! Куда? Направо, налево?

Галушко глянул, помедлил, сказал:

— А направо проскочим?

— Первый раз, что ль?

Тогда Галушко повернулся к Николаю Кораблеву, поясняя:

— Налево — это к штабу, но через болота. Буксовать, пожалуй, будем: вчера дождь прошел. Направо — в обход, — он протянул правую руку, затем согнул ее крючком. — Зато дорога ровная, но от немцев близко: пять-шесть километров. Речку переедем и влево — километров тридцать от штаба. Хотя и дальше, но выйдет ближе. Как вы на это смотрите?

— А мне-то что! Вы хозяева, — ответил Николай Кораблев.

Тогда давай направо, — скомандовал Галушко.

Машин грузовых и легковых по дороге стало попадаться все больше и больше. «Виллис» затерялся среди грузовиков, как заяц в стаде коров. Изворачиваясь, виляя, он обгонял пятитонки и вскоре выскочил к повороту, где стоял столбик со стрелой и надписью: «На переправу». Из будки вышел часовой. Он сначала хмуро посмотрел на «виллис», который нахально лез вперед, но, узнав Галушко, заулыбался, сказал:

— Опоздали, товарищ старший лейтенант: встречный поток пошел.

— А может, проскочим? Пусти. Срочное дело.

— Ехайте. Только уж если встречный пошел через мост, подождите на обочине.

— Есть «подождите», товарищ начальник, — полушутя кинул Галушко.

И «виллис» ринулся на переправу. Он несся по длинной дамбе, подпрыгивая и даже повизгивая, как

кутенок. Но, подскочив к мостику через реку, остановился: навстречу двинулся поток машин.

— Эх, опоздали на какую-то минуту! — горестно произнес Галушко. — Генерал ждет обедать, а мы вот тут топтаться будем, — и, глянув на часы, сказал: — Без пятнадцати пять. Да. Запоздаем к обеду. А генерал у меня такой: ровно в шесть — обед, ровно в десять ужин, ровно в двенадцать — спать, ровно в восемь — подъем, хоть небо провались. Мы так с ним живем, это, конечно, не в боевое время. А когда бой, — все насмарку.

Шофер перевел «виллис» на обочину дамбы, чтобы не мешать встречным, и задремал, опустив уставшие руки. Николай Кораблев и Галушко выбрались из машины. Галушко еще раз погоревал, что опаздывает к обеду, а Николай Кораблев прошелся, разминая ноги, и посмотрел на ту сторону реки. Там, на возвышенном берегу, хатками разбросалось село. Слева виднеется вся исковыренная пулями и осколками, будто в рябинках, церковь. Ниже, у подножия церкви, сидят два паренька и удят рыбу. Неподалеку от них саперы наводят мост второй линии.

Николай Кораблев смотрит на все это... и ничего не видит. Он медленно, как бы отсчитывая шаги, ходит по обочине дамбы и шепчет:

— Я все ближе и ближе к тебе, Танюша, — и чувствует, что на душе у него такая радость, словно он и в самом деле, как только переправится на ту сторону, так и увидит ее, Татьяну. — Но ведь это опять все тот же обман! — старается он разуверить себя, вполне понимая, что им овладевает навязчивая мысль. — Ведь это бред, — шепчет он и, однако, слышит свое сердце: оно бьется энергичными, жизнерадостными толчками, а все тело наливается силой, ожидающей и тоскующей...

И вот он уже рядом с Татьяной. Нет, не Николай Кораблев, а мужчина... даже мужик, несущий в себе всю мощь своих предков. Он подхватывает Татьяну на руки и уносит. Куда? Да прочь от этих хаток, этих улиц, этих садов и огородов. Он уносит ее в лес и кладет на сочную траву. Затем опускается перед ней

на колени. Золотистые волосы падают ей на лицо, а из-под них на него смотрят ее глаза — зовущие, тоскующие.

— Ах-ры-ы-ры-ы! — скрипуче, с ревом разорвалось что-то.

Николай Кораблев дрогнул и не сразу очнулся. Сначала он посмотрел на Галушко, потом — вправо, на луговинную долину, откуда донесся взрыв. Там, среди зелени трав, что-то дымилось, будто далекий, потухающий костер. Галушко тоже посмотрел туда, затем недоуменно пожал плечами и неуверенно произнес:

— Видимо, старые мины рвутся.

Но вот что-то взорвалось в другом месте. Потом еще и еще, все приближаясь к дамбе. Затем взорвалось в реке, выбрасывая огромный столб брызг. Саперы кинулись врассыпную, прячась в канавках, блиндажах.

— Бьют из миномета по переправе, — наконец определил Галушко и пояснил, показывая на темнеющий лес за луговинной долиной: — Тамотки засели немцы. Тут ведь рядом, километров пять, и передовая. Эх! — вскрикнул он, увидав, как мина разорвалась совсем недалеко от дамбы.

Николай Кораблев, бледнея, проговорил, показывая на канаву:

— Нам туда надо. Зачем зря умирать? — и, вспомнив бойца Петю, добавил: — Я видел, как один вот так зазря попал под удар.

Галушко широко улыбнулся:

— Да ведь она и там может застукать — мина. Вы уж лучше седайте в машину.

И снова взрывы, гул, взлеты земли, щебня, воды. На середине моста, как нарочно, остановился грузовик, задержав длинную шевелящуюся змею машин. Шоферы повыскакивали из кабин, кинулись к грузовику и на руках вытолкнули его на обочину дамбы... Поток машин снова рванулся вперед. Но вот одна из мин разорвалась в реке, рядом с мостом.

— Пристрелялся. Сейчас будет бить в глаз, — проговорил Галушко.

И, как бы в подтверждение его слов, мины начали рваться по прямой линии, все приближаясь и приближаясь к цели. Но поток машин уже оборвался. Прогрохотал последний грузовик, и на мосту засверкали новые, выстроганные настилы.

Галушко сел рядом с шофером.

«Да неужели они сейчас поедут прямо под удар?» — подумал Николай Кораблев и хотел было об этом сказать Галушко, но «виллис» подпрыгнул и стремительно ринулся на мост.

Гул. Грохот. В эту же секунду огромный поток воды окатил с ног до головы Николая Кораблева, и он, задыхаясь, мысленно прокричал: «Таня! Танюша! Пусть твоя любовь спасет меня!» Новый поток воды кинул его в угол, прижал, навалившись на него всей своей тяжестью. «Вот мы и в реке... вот мы и в реке, значит конец... конец», — мелькало у него, и он подпрыгнул, как бы выныривая со дна реки. Подпрыгнул, ударился головой о железную перекладину и снова упал на сиденье, уже захлебываясь. Напряжением всей силы воли опять поднялся, раскрыл глаза и увидел, как с переднего стекла стекает вода. Впереди показался черный бугорок, потом дорога, выстланная камнем... улица... хата... И вдруг захохотал Галушко:

— Вот оно как!.. На мизинец от смерти были, — и, глянув на Николая Кораблева, снова захохотал: — А шляпа-то! Шляпа! Ух! Совсем повисла!

Николай Кораблев снял шляпу, встряхнул ее и тоже нервно засмеялся. Оборвал смех и осмотрелся... До чего же знакомая улица, бугорок, хата! Да ведь он тут был... совсем недавно. Был, был! Вот здесь он встретил Татьяну, подхватил ее на руки и унес вон туда, в лес... И вдруг что-то с такой болью надломилось у него внутри, что он застонал и повалился на траву у плетня, сознавая только одно, что больше никогда, никогда не увидит Татьяну.

Галушко кинулся к нему, расстегнул ворот рубахи, потер виски и перепуганно проговорил:

— Ошарашило малость человека. Ничего, — истол-

ковывая все по-своему, сказал он весьма спокойному шоферу. — Отойдет. Это же не пуля и не осколок, а просто страх. Отойдет. Давай раздевайся и просушивайся: нельзя такими являться перед генералом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

— Вот туточки, — хотя и по-женски мягко, но как-то между прочим, произнес Галушко, помогая Николаю Кораблеву выбраться из машины, а когда тот выбрался, еще сказал: — Со всяким такое бывает.

Николай Кораблев ничего не ответил, чувствуя только одно, что на душе у него все та же тупая боль.

«Да что же со мной было там, на берегу? — думал он. — Ее не увижу? Но ведь я ближе к ней. Теперь я до нее могу пешком добраться... если бы не линия фронта. И как это я ее не увижу? Вот чепуха какая!» — он посмотрел на Галушко и заметил, что тот чем-то очень встревожен. Поняв, что Галушко встревожен из-за него, он мягко проговорил: — Простите меня, пожалуйста. Вы такой гостеприимный, заботливый, а я, видите, какую штуку отколол. Я, знаете ли, недавно из больницы. Вот, — сняв шляпу, он показал на седой клок волос. — Ударил меня кто-то... молотком.

— А-а-а... — почти безразлично протянул Галушко и, поправляя, дергая за полы пиджак на Николае Кораблеве, кивнул на хату. — Идите.

Хата стояла боком к улице и окнами во двор. Вместо ворот березовые жердочки. За сараем через открытую калитку видно сельцо, раскинувшееся на пригорке. Внизу пруд. На пруду домашние гуси и утки.

— Как местечко-то называется? — спросил Николай Кораблев, идя во двор.

— Грачевка, — почему-то уже совсем невнятно

ответил Галушко, и сам стал каким-то квелым: плечи у него опустились, в походке появилось что-то ленивое. — Знаете што-о? — нажал он на последнее слово. — Я туда не пойду, в хату. Вы уж беседой своей меня выручайте.

— Не понимаю.

— Не любит генерал, когда опаздываю. Сказано, во столько-то, — ну, хоть расшибись. Так что я смотаюсь, — и, просяще посмотрев Николаю Кораблеву в глаза, Галушко куда-то «смотался».

Войдя в хату, Николай Кораблев осмотрелся. Направо кухонька, отгороженная дощатой перегородкой, налево тоже что-то отгорожено, прямо — дверь. Куда итти? Но в эту секунду из кухоньки выглянула моложавая женщина и, подавая ему влажную руку, произнесла:

— Здравствуйте. Груша, — отрекомендовалась она, глядя на него горящими глазами. — Вы с Урала? И я оттуда — с Алтынташа, рядом с Миассом.

«Видимо, жена генерала. Ничего. Глаза хорошие, — подумал Николай Кораблев и смущенно добавил: — Мне бы сначала умыться. Как вы думаете?

— И то, — произнесла Груша так же, как и Галушко.

Умываясь над тазом, Николай Кораблев думал о том, как ему вести себя. Всего хуже, что он в технике военного дела ничего не понимает. Показать это сразу, не скажут ли: «Вот прикатил. Пионеры, и те знают, а этот как с луны свалился». Ну, а если влипну при разговоре? Тогда что? Нет, прямо скажу: ничего не понимаю в военных делах.

— Вот вам полотенце, — Груша повесила на гвоздик чистое полотенце и, постучав в дверь, доложила: — Нина Васильевна! Гость прибыли.

«Нина Васильевна еще какая-то. Неудобно: небритый, и пиджак помят, вроде корова изжевала». — Проводя рукой по небритой щеке, он открыл дверь во вторую комнату и, шагнув через порог, ударился головой о косяк.

Его встретил веселый смех, чем-то напоминающий смех Татьяны, и слова:

— Вот та́к же. Вот та́к же стукается и Анато́лий Васильевич. Всегда, и одним и тем же местом.

Это и была Нина Васильевна, жена командующего армией. Она небольшого роста, даже, пожалуй, маленькая, миниатюрная. А может, такой она показалась потому, что, сам по себе огромный, Николай Кораблев, войдя в комнату, как будто еще вырос и все перед ним стало маленьким. В голове у него ныло. Но он, перебарывая боль, тоже засмеялся и снова посмотрел на Нину Васильевну.

— Вот так же! .. Вот так и Анатолий Васильевич! — продолжая звонко-заразительно смеяться, вскрикивала та.

А когда Николай Кораблев, здороваясь с ней, наклонился, она необычайно просто потерла рукой ушибленное место на его голове и неожиданно оборвала смех. Лицо у нее стало серьезно-встревоженным. Усаживая гостя на стул, она спросила:

— Больно вам? Очень больно?

— Да так... — Николай Кораблев хотел было сказать о том, что он недавно выписался из больницы, но перерешил, думая: «Чего это я афиширую свою болезнь?» — и добавил: — Ничего. Пустяки. А смеетесь вы хорошо.

— От души, — и, подмигнув на перегородку из свежих сосновых досок, как перед старым знакомым, она заговорщически прошептала: — Ордена надевает. Хочет во всем блеске показать себя. Как же! Гость с Урала! — и еще более заговорщически: — Сейчас и другой явится. Вот увидите, тоже в орденах. Не генералы, а дети. Ну, честное слово, дети. Посидите тут немножко, а я сбегаю на кухню.

2

Когда Нина Васильевна вышла, Николай Кораблев поднялся со стула и стал рассматривать обстановку.

Комната небольшая, недавно побеленная. Правая сторона отделена дощатой перегородкой. Там, за перегородкой, кто-то чем-то позвякивает. Посредине

комнаты большой стол, на нем пять обеденных приборов, бутылка с водкой «Московская» и бутылочка с витамином «С». Прямо у окна столик с телефонными аппаратами в кожаных сумках. Аппараты лежат на боку. Рядом рация и полочка с книгами. Николай Кораблев подошел к полочке, посмотрел. «Полное собрание сочинений Мордовцева». На подоконнике, совсем непонятно зачем, разные учебники по алгебре и геометрии.

— Книжечки рассматриваете? — вдруг услышал он тоненький голосок и, предполагая, что обладатель этого голоса — тоже человек тоненький, маленький и невзрачный, повернулся.

Перед ним стоял командарм.

Это был человек высокого, даже могучего роста, сухой, подтянутый, грудь широкая, руки тоже сильные. Казалось, ему лет сорок, но веки уже старчески поломаны, на лице резкие морщины, они видны даже на губах, волосы на голове реденькие, причесанные «под польку». Грудь в орденах.

Они несколько секунд стояли молча, рассматривая друг друга, затем командарм шагнул, протянул руку, сказал:

— Здравствуйте! Анатолий Васильевич Горбунов. Наверное, слышали про такого гуся? Ну, еще бы! Герой сталинградского побоища, — полушутя, но со скрытой гордостью проговорил он. — А книжечки, что ж? Мордовцев? Читаем и его. Нечего здесь больше читать. Садитесь. А вы, значит, с Урала? Знаю. То есть не вас знаю, а танки ваши, моторчики. Хороши они, моторчики-то ваши на танках... и на самолетах... Нет, самолеты я не всегда люблю: они иногда впустую кидают бомбочки. Вот научитесь сначала в цель кидать бомбочки, а потом и прилетайте. А так что ж? Не-е-т. Не пойдет. Тут я молчать не буду! — закипел он, как бы выступая где-то на совещании генералов. — Нет! Эдак распустятся — и на своих сбросят... Не умеете бить врага, так у меня вместо вас есть ножички. Из Златоуста прислали. Ребята ворвутся ночью в немецкие окопы, блиндажи и ножичком под ребро. Без гула и шума, а здорово!

Николай Кораблев недоуменно посмотрел на Анатолия Васильевича, еще не понимая, тот юродствует или серьезно выступает против самолетов за какие-то там ножички.

«И как это может такой огромный человек говорить: «ножички», «бомбочки»! — подумал он. — Нет. Тут что-то не то. Испытывает меня, как, дескать, глуповатый парень или ничего себе?» — и, сознавая, что ему сейчас придется вступить в спор по военным делам, в которых плохо разбирается, он, путаясь в словах, как медведь в сетях, краснея, что с ним бывало очень редко, заговорил:

— Как бы вам... Это бы. Вы что же это? Может, нам моторы-то прекратить... выпуск?

— То есть как это? — тоненько вскрикнул Анатолий Васильевич. — А что же вы будете там делать?

— Ножички.

Анатолий Васильевич остановился, посмотрел на него в упор и протянул, тихо посвистывая:

— Тю-ю... Вон вы какой, ершистый, — и, чуть согнувшись, положив руку на живот, быстро заходил по комнате. — Знаете что, я не против самолета. Но самолет — существо бездушное: его куда поведешь, туда он и полетит. И бомбочки: куда их сбросишь, там они и ухнут.

— А у вас что ж, случай был, что ль?

— Эх! Еще бы случая дождаться. Этого нехватало!.. И ничего им не скажи. Мы соколы! У нас Чкалов был! Знаю. Герой. Люблю.

Николай Кораблев уже понимал, что командарм хитрит, говорит для «отвода глаз», и, однако, спросил:

— А часто впустую?

— Всяко бывает, но зазря я и одного человека не дам убить. Не дам! Когда боец идет в атаку и погибает на поле брани, я снимаю перед ним шапку и произношу: «Умер за родину смертью храбрых». А тут? — он снова пробежался туда-сюда и остановился перед Николаем Кораблевым. — У нас есть чудо-летчики. Как-нибудь я вам покажу майора Кукушкина. Весь обожжен: лицо, руки, тело. Страшно на него смотреть. Однажды чуть не сгорел в самолете.

Очаровательный человек, красавец! Этот впустую никогда не сбросит. Вот я и говорю генералу авиации, например, Байдуку: «Пускай твои летчики сначала научатся у Кукушкина бить врага, потом их и выпускай», — и Анатолий Васильевич легко, будто табурет, передвинул стол с одного места на другое и, уже успокаиваясь, сказал: — Спорим мы с Ниной Васильевной: ей нравится, когда стол вот так, а мне — вот так: мне ближе к телефону, а ей — на кухню. Конечно, она хозяйка за столом, но ведь я командующий армией. И зачем мне кружиться около стола, чтобы добраться до телефона?

«Сильный-то какой! — подумал Николай Кораблев, глядя на то, как тот поворачивает стол. — Только вот веки поломаны... и морщинки... а так выглядит молодцом. Морщинки, веки — это уже годы».

Анатолий Васильевич сел против, сказал:

— Нарушение обеденного часа сегодня из-за вас. Ах, да! Нарком звонил. Очень обеспокоен: долго вы ехали. А с костюмом-то что? Купались, что ль, прямо в костюмчике?

Николай Кораблев рассказал о том, как они ехали по дамбе, и о том, как стояли на обочине, а немцы били из минометов, и о том, как «искупались». Он рассказал обо всем, умолчав только о пережитом страхе. Анатолий Васильевич слушал, склонив голову, затем, как о чем-то очень простом, сказал:

— Бывает. У нас это тут часто бывает, — и позвал: — Галушко! — и, чуть подождав: — Скрылся. Опоздал и скрылся. Думает, дескать, генерал забудет. Галушко! — еще громче крикнул он.

Галушко стал на пороге.

— Ге! — вскрикнул Анатолий Васильевич. — Видите, глаза-то куда запустил. Как кот: сметанку слизал и не смотрит. Почему запоздал к обеду?

— Да ж сушились, товарищ командарм.

— Командарм, — и к Николаю Кораблеву: — Как провинится, так и называет меня не товарищ генерал, а командарм, — и опять к Галушко: — Сушились, значит? То намочится, то сушится. Вы знаете, Николай Степанович, какой он у меня? Однажды так намо-

чился, что я его еле-еле в себя привел. Смотрю, лежит мой Галушко и лыка не вяжет.

— Да ведь то же було... товарищ командарм... ведь то же було года полтора назад, ще под Москвой, — убежденно произнес Галушко.

— Полтора. А он хочет, чтобы каждый день то було.

И в том, как он журит своего адъютанта, и в том, как кидает на него взгляд, будто и сердитый, но в то же время теплый, — во всем было видно, как он любит своего Галушко. Пожурив, сказал:

— Где Макар Петрович? Чтобы немедленно был здесь; смотри, как опоздали с обедом.

Но генерал Макар Петрович, тоже в парадном костюме и при орденах, уже входил в комнату. Росточком он невелик, но очень крепкий и с животиком. Щеки румяные, одутловатые. Нос с горбинкой, глаза большие голубые, а губы ядреные, как у деревенской девки.

— Разрешите, товарищ командарм? — проговорил он, встряхиваясь, позвякивая орденами.

Нина Васильевна в эту секунду прошла из кухни в комнату за перегородкой и по пути подмигнула Николаю Кораблеву, как бы говоря: «Видите, и этот при орденах. Дети!»

— Ну что же? — со скрытым смешком ответил Макару Петровичу Анатолий Васильевич. — Разрешаю. Разрешаю. И познакомься, генерал. Гость приехал. С Урала.

Макар Петрович, шаркнув ногой, протянул руку Николаю Кораблеву.

— Начштаба армии Макар Петрович Ивочкин, — подчеркнул он так, как бы боясь, что его с кем-нибудь перепутают. — Очень рад вас видеть. Очень. Я сам почти с Урала... то есть из Омска.

— Тю-ю-ю! — воскликнул Анатолий Васильевич и залился пронзительным смехом. — Почти с Урала — из Омска. Эко хватанул! Садись, садись. Давай обедать. А то ведь знаю, тебе легко: как медведь, можешь прожить без пищи... вон сколько накопил, — и, поясняя, Николаю Кораблеву: — Остроумный он у нас,

генерал — утром скачет на лошади, чтобы жирок сбить, а после обеда обязательно на кровать завалится и часа два спит: жирок накапливает.

— Да ведь теперь не сплю, товарищ командарм, — совсем не обижаясь, произнес Макар Петрович и потянулся к бутылке с водкой. — Разрешите вам налить, Николай Степанович?

Николай Кораблев смешался, не зная, что ответить: сказать, что он не пьет, генералы могут подумать: «Ну вот, приехал святитель», — сказать: «Наливайте», а вдруг те начнут так хлестать, что я не выдержу. Так ничего и не сказав, он приблизил к себе наполненную водкой рюмку и посмотрел на Макара Петровича, думая: «Да-а. Этот может в себя много влить».

Макар Петрович налил и в свою рюмку, затем заткнул бутылку пробкой и поставил на старое место.

— А чего ж... хозяину? — вмешался Николай Кораблев.

— Да уж чего там... не пьет, бросил, — выходя из-за перегородки и садясь за стол, ответила Нина Васильевна. — У него есть свой напиток, — и подвинула к Анатолию Васильевичу бутылку с витамином «С».

— Не принимаю, — сказал Анатолий Васильевич. — Но как только немцев расколотим, так и напьюсь.

—— Тю-ю-ю! — так же, как и он, воскликнула Нина Васильевна.

— Да. Вдребезги расколотим, и я вдребезги напьюсь.

3

Обед был хороший, приготовлен по-домашнему. За столом хозяйкой оказалась действительно Нина Васильевна. Она зорко следила, кто что ест, как ест, у кого и что на тарелках, то и дело подкладывала, особенно Макару Петровичу и Николаю Кораблеву. Макар Петрович ел аппетитно: у него на зубах все хрустело, как на жерновах. Анатолий Васильевич ел

мало и больше пил витамин «С». Нина Васильевна, сдерживая досаду, сказала:

— А ты меньше кислого, Толя. Вредно это тебе.

— Витамин вредно? Впервые слышу. Ну, не буду, — и он с сожалением отодвинул бутылку с витамином.

А Нина Васильевна сделала замечание Макару Петровичу, который стал есть с ножа.

— Не журите вы меня, Нина Васильевна: институт благородных девиц не окончил.

— А вы не сердитесь. Встретитесь с союзниками — с американцами или с англичанами, — да вот так с ножа при них, и скажут: «Ну и генерал!»

— Ничего не скажут, — решительно отбросил Макар Петрович. — Это мы им скажем: «Мы дрались, а вы только рукава засучали».

— Последнюю пуговицу на солдатскую шинель пришивали, — добавил Анатолий Васильевич. — Мы же в Европу придем победителями, а победителей не судят.

— Судить смелости нехватит, а осуждать за углом будут, — не отступала Нина Васильевна.

И вдруг где-то совсем близко, будто над самой крышей, разразились три оглушительных взрыва. За столом все на миг примолкли. Анатолий Васильевич крикнул:

— Галушко! Что там?

— Немцы, товарищ генерал, бьют из дальнобойных, — доложил Галушко и скрылся.

Снова раздались три оглушительных взрыва. Часы остановились. Электрическая лампочка под потолком закачалась, как при землетрясении. Даже стол, и тот как-то сдвинулся с места. А Николаю Кораблеву показалось, что взрывы разразились где-то позади него, и он уже ярко представлял себе, что вот летит осколок огромнейшей величины, и осколок этот сию же секунду всадится ему в спину. По телу побежали холодные мурашки, ноги одеревенели, и он посмотрел на всех, ожидая, что все кинутся куданибудь в укрытие. Вошел Галушко и снова доложил:

— Они же, товарищ генерал. Перенесли огонь левее.

— Знаем ведь, — Анатолий Васильевич недовольно отмахнулся и, продолжая обед, добавил, как бы рассуждая сам с собой: — Чудаки. Видно, нацелились на переправу и промазали. Да разве за тридцать километров попадешь? А? Макар Петрович, пугают?

— Угу, — ответил тот, аппетитно похрустывая хлебную корочку.

Глядя на них, успокоился и Николай Кораблев, Он посмотрел на пятый, свободный, обеденный прибор и подумал: «Значит, кто-то еще должен быть. Может, Галушко? Но вряд ли генералы допустят его к своему столу: субординация», — и хотел было спросить, для кого предназначен пятый прибор, но в эту минуту Груша подала чай, а Анатолий Васильевич весь встрепенулся. Лицо у него стало хитроватое и озорное. Обращаясь к Макару Петровичу, он с тяжким вздохом произнес:

— Охо-хо-хо! Ну что ж, товарищ начштаба, перекинемся, что ль? — и, перегнувшись к Нине Васильевне, тем же тоном попросил: — Нинок, дай-ка карты-то.

Нина Васильевна, подавая карты, сказала, обращаясь к Николаю Кораблеву.

— Все равно всех обыграет.

— Не кори, — проговорил Анатолий Васильевич, метая карты, в том числе и Николаю Кораблеву. — В дурачка. Хорошая игра... Ну-с, с кого начнем? С гостя, что ль? Давайте допрежь с гостя, — и уже казалось, что за столом сидит не командующий армией, а мужик — таежный сибиряк; у него даже пальцы стали как-то длиннее, заграбастей, а глаза сузились и зашныряли по картам партнеров. — С гостенечка, значит, начнем, потому что у нас в доме первый почет и уважение, как водится, гостенечку, а потом Макару Петровичу влепим... потом уж, прости, Нинок, тебе. Так! Поехали. У меня шестерка козырей. Значит, ход мой.

Макар Петрович (его клонило ко сну) надулся,

решив не сдаваться. Николай Кораблев, посмотрев в свои карты и видя, что масть хорошая, сказал:

— Ого! Меня трудно с такой картой бить.

— Поглядим — увидим, — уверенно пригрозил Анатолий Васильевич.

Через какие-нибудь десять — пятнадцать минут непонятно как, но у Николая Кораблева в руках собралась почти вся колода карт. Он в них запутался. За столом все засмеялись и громче всех Анатолий Васильевич. Этот, заливаясь, выкрикивал:

— Подсыпай, подваливай ему, ребятки! Не скупись! Сыпь! Сыпь, ребятки!

Следующим остался в «дураках» Макар Петрович, за ним Нина Васильевна. Анатолий Васильевич, как мальчонка, хохотал, радуясь, все так же выкрикивая:

— И-и-их! Влепили! И-и-их, дали жару-бою! Жалко, нет генерала Пароходова, — он кивнул на пятый прибор и пояснил гостю: — Пароходов тут всегда сидит, а ныне уехал в тыл, — и снова игриво: — Ну, поехали по новому кругу!

И по новому кругу все оказалось так, как хотел Анатолий Васильевич. Николай Кораблев смотрел на всех и думал:

«Как-то не так я все предполагал. Я предполагал, что тут только воюют, а тут, вишь ты, в карты и все такое прочее. Мы вот там... в тылу... но, впрочем, откуда я знаю, а может, и там в карты лупятся?»

— Что вы так на меня смотрите? — спросил Анатолий Васильевич, собирая со стола карты и отодвигая их Нине Васильевне, и добавил: — Хватит.

Николай Кораблев от неожиданного вопроса замешкался, но, чтобы его не заподозрили в чем-то поганеньком, сказал:

-- Да вот и разговор и карты.

— А-а, карты! Ну, это мы пятый или шестой денек, на полчасика, чтобы Макара Петровича отвлечь от послеобеденного сна. Видите, профилактика! Но надо вам сказать, армия стоит в обороне восемнадцатый месяц, за это время сложился свой быт, — Анатолий Васильевич хитренько моргнул в сторону Макара Петровича. — Одни, например, после обеда спят, другие

принимают солнечные ванны, третьи влюбляются, четвертые... одним словом, есть часы, которые принадлежат каждому, и каждый в эти часы делает свое дело. Но большинство часов принадлежит армии. Учимся, готовимся к решительному сражению.

— Но ведь и воюете? — оживленно спросил Николай Кораблев, видя, как пальцы на руках у Анатолия Васильевича снова повяли и сам он стал обходительно-домашним.

— Да чего уж там?

— А пушки то и дело гремят?

— Какая это война! Только хвастун может сказать: «Воюем!» Он, такой хвастун, даже другое может бабахнуть: «Идет напряженная война, каждый день бои, а у командарма за столом играют в карты». Или: «Читают Мордовцева, занимаются математикой». Нет. Мы сейчас не воюем, а готовимся к решительному побоищу. Учимся, готовимся, иногда с таким напряжением, что в голове скрипит. Так-то вот. Ты что, Галушко?

— «Вечс», товарищ генерал, — сказал тот.

Анатолий Васильевич взял трубку телефона, неожиданно присмирев, говоря тихо и тоненько:

— Слушаю. Я. Я, Горбунов, — и пальцы на руках у него снова стали цепкие. — Так точно, товарищ генерал армии. Так точно, — и опять некоторое время слушал, но по лицу уже забегала хитренькая улыбка. — Да ведь возражать-то и я умею. Конечно, ваше право — мне приказать, и я приказ безоговорочно выполню: дисциплину мы знаем, уважаем. Прикажите. А так как же? Всего хорошего, товарищ генерал армии, — кончив разговаривать, он чуть-чуть согнулся, затем, крепко сцепив руки на животе, прошелся туда-сюда, круто поворачиваясь, и, хитренько улыбаясь, проговорил: — Командующий фронтом Рокоссовский. Настаивает, чтобы мы бросили канителиться с конюшней. Я ему возражаю: «Прикажи — брошу». Не приказывает.

— Я уже по дороге слышал про эту конюшню. Что это такое? Если не секрет? — спросил Николай Кораблев.

— Да какой уж секрет, если слышал по дороге. Но об этом вечерком, а сейчас мы с Макаром Петровичем по тылам проедемся.

— Может, и меня... меня возьмете с собой? — выйдя в заднюю комнату следом за Анатолием Васильевичем, Макаром Петровичем и Ниной Васильевной, с готовностью ехать попросился Николай Кораблев.

— Вы лучше в баньку сходите, — и видя, как Николай Кораблев надевает шляпу, Анатолий Васильевич громко рассмеялся. — Э-э-э! Да вы что, Пьер, что ль, Безухов — в шляпе? Галушко! Одень-ка Николая Степановича.

4

Нина Васильевна подала тазик и узелок.

— Вот и белье, и мочалка, и мыло, — и улыбнулась по-доброму, по-семейному, напомнив Татьяну.

— Зачем же? — пробормотал Николай Кораблев. — У меня все это есть, кроме мочалки.

— Свое поберегите. А это все новое, хотя и солдатское.

Николай Кораблев, шагая по улице, косолапя, думал:

«Какая она славная, простая и доверчивая! И как это она не понимает? Ведь с такой доверчивостью она может нарваться на пошлость. Или уж настолько уверена в своей чистоте, что и пошляк споткнется. Славная женщина! Какая-то в ней детская доверчивость... И спутница генерала», — так рассуждая, он шагал вдоль улицы, всматриваясь в хатки, в бойцов, то и дело куда-то идущих, прислушиваясь к необычайному воздуху: воздух то и дело содрогался от взрывов, гула моторов. Вот где-то забили в колокол — часто и тревожно.

— Что это? — спросил он бойца, который сопровождал его до бани.

— Э-э-э, — отмахнулся тот. — Немецкие самолеты летят — значит, прячься.

— А чего же вы?

— Да ведь он за день-то раз пятнадцать барабанит. Ну, всякий раз и прячься? Вот сюда, — добавил боец и подвел Николая Кораблева к новому срубу, врытому в землю, похожему на деревенскую хату.

То и была баня.

В предбаннике сидел боец. На шее, с правой стороны, у него глубокий розово-синий шрам; видимо, поэтому и голова склонена направо. Правая нога его на деревянном протезе. При появлении Николая Кораблева он вскочил, по-военному отдал честь, не выпрямляя головы, но, увидав, что гость в гражданском, панибратски заговорил:

— А я ждал Макара Петровича, генерала нашего любезного. Ух, парится, святых выноси!.. И жарку ему было приготовил. А вы как: с угарцем или с прохладцей любите?

— Не с угарцем и не с прохладцей, а так себе.

— Средненько? И это можем. Раздевайтесь, а я все ментом приготовлю, — и скрылся в бане.

Пока Николай Кораблев раздевался, боец в бане открыл окно, плеснул воду на раскаленные камни и сразу окутался иссиня-белым паром, выкрикивая:

— Всякие генералы бывают! Всякие. Иной скажет: «Ермолай, такую баньку, чтобы пятки жгло». Ну, и такую состряпаю. А он придет, сунется в такую и бегом оттуда, да в крик: «Что ты, Ермолай, угорел, что ль? На раскаленную сковородку меня кинул!» Ну, я понимаю, без обиды понимаю: значит, у генерала нервы или как еще говорят: «И хочется и колется». Меняю маршрут такому генералу. А вот Макар Петрович слово держит. «Сделай, слышь, чтобы все места как есть жгло». Сделаю. У-у! Он залезет на полок и давай веником хлестаться — «караул» кричи. Темно все кругом, света вольного не видать, а он дерет и дерет веником, да еще покрикивает: «Поддай! Поддай!» Ну, из бани-то его выволакиваем под руки: вроде лошадь после пробега, устает.

— А как Анатолий Васильевич?

— Благородно моется... Пожалуйста, среднень-

кая, — проговорил Ермолай. — Кто что любит, тому мы и должны тем угодить. Так, не так?

— Конечно. Зачем навязывать то, что человек не любит, — ответил Николай Кораблев, входя в баню.

Тело обдало сухим жаром, и Николай Кораблев как сел на лавочке, так и замер: не хотелось двигаться.

Ермолай сказал:

— А ты силен (тут, в бане, он всех называл на «ты»: голый чина не имеет). Гляжу, у тебя спина... ноги... руки те ж. Силен, верное мое слово. Может, ты из тех — «физбеги». Лезь на полок — в рай, а я тебе туда все подам. А чуешь, как уксусом-то марит. Это Макар Петрович меня научил, сказал: «Банька с уксусом — все одно, что пельмени с уксусом». Видал? Хитер мужик!

Забравшись на полок, Николай Кораблев спросил:

— А это кто, «физбеги»?

— А те, кто ногами хлеб зарабатывает. Припустится по кругу, и платят, — удивленно произнес Ермолай. — Дешево кусок хлеба достается. Ты был физбегом?

— Нет. Не был.

— А кто же?

— Да так себе.

— Так себе людей, милый, не бывает в стране нашей: каждый человек свою точку имеет, — подав воду в тазике и попробовав ее пальцем, он, чуть подождав, снова заговорил: — Любопытство. А может, ты из смершев? Говори. Я ведь все равно узнаю: ко мне сюда все идут, как в штаб особый — банный... И голый человек все скажет.

— А я даже не знаю, кто это — смерш? — намеренно произнес Николай Кораблев.

— Смерть шпионам, капут, значит. Ты вот что: раз на полок залез, тело хочешь погреть, тогда на голову водичкой плесни: не то кудри твои отсекутся. Вот так, водичкой холодненькой, — и опять ни с того, ни с сего: — Их тут на войне чорт-те что, шпионов-то. Однажды и ко мне один приперся. Вот нахал! Я ведь уж каждого разгадаю: человек передо мной голый. И этот разделся. Залез на полок. Гляжу, обращение

со мной не то: брезгует, когда я, например, пальцем воду щупаю. У меня Рокоссовский мылся и то: «Ермолай, поддай жарку. Ермолай, милый, потри спину». Ну, как есть по-людски — друг. А этот, чую, не тот. Ну и шепнул я Саше Плугову, а он смершу. Те пригляделись, и — цоп: шпион мировой.

— Ну, цоп! А дальше?

— Это мне неизвестно, — со вздохом и сожалением произнес Ермолай.

— А может, тот и не шпион был?

— Очень даже возможно. Только я так думаю: раз человек передо мной голый, значит, весь как на ладони.

— Да ведь он телом голый, а душа-то закрыта. Вот я тебе сейчас скажу: «Не дотрагивайся до меня: брезгую». Что же, шпион я, выходит?

Ермолай, ошарашенный, приостановился, а Николай Кораблев, подумав: «Хвастун», — снова спросил:

— Это кто же Саша-то?

— Саша? Полковник у нас тут один. Ну, мы все его Сашей зовем. Отчего, не знаю.

— А ты давно по банным делам?

— Скоро год — юбилей. Под Москвой я еще в армию-то попал... в пятую дивизию. Ну, меня мина и шарахнула: шею вот и ногу ту же. За это подчистую получил.

— Чего же домой не ушел?

— Домо-о-ой? Дом-ат мой ух как далеко! Впрочем, отселя рядом, да через Орел надо, а в Орле гады. Я ведь молодой, — чуть погодя, о чем-то подумав, снова заговорил Ермолай: — Мне ведь всего тридцать два. Это война меня согнула в бараний рог.

— Семья у тебя есть?

— А как же? — удивленно проговорил Ермолай. — Жена — раз, дочка — два. Нинка. Ух! Востроглазая, а язык — так и режет, так и режет. Окромя того отец — Ермолай Агапов. Умный. Не в него я пошел, каюсь: тот в мои-то годы полком бы уже командовал — факт непреклонный. Однако и я, как рядовой, давал фрицам жару-бою. Тяжело нам было под Москвой-то: лезли на нас немчушки, как мошкара. Больно хоте-

лось им на Красной площади побывать. Ну, мы их и оглаушили, аж пятки засверкали. Добежали вот сюда, под Орел, и ни с места: в землю зарылись — и ничем не достать. Учимся. Воевать учимся.

Николай Кораблев понял, что Ермолай повторяет, истолковав их по-своему, слова Анатолия Васильевича, а тот как бы в подтверждение этого тоненьким голоском, подражая Анатолию Васильевичу, продолжал:

— Герой не тот, кто выскочит на врага, грудь вперед и кричит: «Вот я какой! Ничего не боюсь! Бей меня!» Экий герой! Не-ет, ты врага сумей убить, а себя убивать не давай — вот тогда герой.

— А солдат у вас много ли?

— Пустынь — выпалил Ермолай, натирая мочалкой спину Николаю Кораблеву. — Прямо скажу: пустынь.

— Пустынь? А как же вы драться-то будете?

— А уж так, чеши затылок: многие в боях полегли, а новых нет. Тяжело Анатолию Васильевичу, что и говорить. Будь у него людишки — давно бы выпихнул немчуру из Орла. Да вот нет и нет. Лезервов нет, — знающе добавил Ермолай.

5

Из бани Николай Кораблев попал к «себе». Ему отвели хату. Стены хаты побелили, в углу поставили железную кровать, на кровать постелили тюфяк, простыню, одеяло. Тут же рядом покрытый газетами стол.

Николай Кораблев вошел, осмотрелся, глянул на часы — было уже восемь вечера. Он решил немного отдохнуть, а потом направиться к Анатолию Васильевичу.

«Как же это так «пустынь»? — вспомнил он разговор с Ермолаем. — «Пустынь». Надо спросить Анатолия Васильевича», — с этой мыслью, сбросив с себя пиджак, ботинки, он лег на постель и тут же, намотавшись в дороге, уснул непробудным сном.

Ночью с ним происходило что-то непонятное: он вдруг просыпался, ощущая, как под ним ходуном хо-

дит кровать, как сотрясаются стены избушки, а на улице вспыхивает что-то огненное и нахально лезет в подслеповатые окна. Он не мог понять, сон это или явь: уж слишком все вспыхивало в комнате и все становилось чересчур огромным.

— Николай Степанович! — загремел над ним голос Галушко. — Без десяти восемь. Командарм требует к себе.

Николай Кораблев вскочил с постели, протер глаза, посмотрел на улыбающегося Галушко:

— Ага! Утро уже. Да неужели я так с вечера и до утра? Вот тебе и на часок! Сейчас, — и он потянулся было к ботинкам, но Галушко, держа в руках сапоги, военный костюм, сказал:

— Нет уж, как приказано: переодеться.

Одевшись, Николай Кораблев поднялся, потянулся, хрустнув суставами и, по-ребячьи радуясь, произнес:

— Лихо поспал!

У Анатолия Васильевича за столом уже сидели Макар Петрович и Нина Васильевна. Она была в утреннем платье — легком, голубом. Как только Николай Кораблев вошел, она засмеялась, произнеся грудным голосом:

— Ну и спали вы! Я вчера заходила... Как измученный ребенок... и губы вот так оттопырил.

Николай Кораблев испуганно посмотрел на нее, думая:

«Да как же это она... приходила?»

А Анатолий Васильевич, глянув на него, сказал:

— Посвежел. А вы красивый! На вас, наверное, женщины вешаются? А-а?

— Родной мой, что это ты как? — упрекнула Нина Васильевна и погладила его по щеке.

Он поймал ее руку, легонько поцеловал, ответил:

— Прости: солдатские шуточки. Но ведь и в самом деле красивый мужик.

— Что же в этом плохого? — не отнимая руки, произнесла Нина Васильевна, открытыми глазами глядя в лицо Николая Кораблева.

— А я и говорю: хорошо. Ну, налей-ка ему чайку. Садись, садись, — обратился он к Николаю Кораб-

леву. — Садись, Николай Степанович. Да ты как девушка: застеснялся. Я уж думаю, мы с тобой на «ты» перейдем: мужик ты, видно, хороший, мы тоже хорошие... и чего уж там! Пей чай, — почти строго добавил он.— Мы попили. Ну, Макар Петрович, давай карту.

На втором столике они расстелили карту, что-то начали измерять, покачивая головами. Макар Петрович навалился на стол и подвинул его.

— Ты что: животом-то, как утюгом? — проворчал Анатолий Васильевич. — Ну как, на сколько сантиметров сбавил?

— На два.

— Вот это за неделю. Погоди, через три-четыре недельки мы его у тебя совсем вытряхнем. Это ведь пустое, жир-то. Ни к чему он, жир. В строй бы тебя, там бы моментально все сняли. А может, и правда, тебя в строю погонять? Давай погоняю. Я ведь, знаешь, когда-то унтер-офицером был... Ох, как гонял!

Николай Кораблев быстро допил чай и подошел к ним.

— Не помешаю? — робко произнес он.

— Ничуть. Ты, конечно, хочешь посмотреть, где эта самая знаменитая конюшня. Вот она, — Анатолий Васильевич ткнул карандашом в кружочек. — Вот река Зуша. А тут, на каменистом берегу, колхозная конюшня. Лошадок колхозники разводили, а теперь немцы превратили конюшню в крепость. Как же, Макар Петрович уверяет: это вроде Измаил, а он Суворов.

Макар Петрович запыхтел и вдруг, приложив руки к груди, выкинул их вперед, разжимая пальцы, как бы что-то сбрасывая с них.

— Я этого не говорю! — решительно сказал он.

— Не говоришь, но делами показываешь, — снова умышленно ковырнул его Анатолий Васильевич. — «Не говорю»? А всю армию второй год около конюшни держит. «Не говорю». Какой нашелся! Даже вспылил, — и, обращаясь к Николаю Кораблеву, спросил: — Ты что как побледнел? Нинок! Что это с ним?

Николай Кораблев в самом деле побледнел: он на

карте увидел крупно написанное: «Ливня» — и ему даже показалось, что он слышит ясный зовущий голос Татьяны... А вот закричал и Виктор...

В комнате все недоуменно и с тревогой посмотрели на него, а он сначала виновато замигал, затем, справившись с собой, рассказал им про свою семью и о том, что последнюю весточку получил от жены из села Ливня.

Макар Петрович по-заячьи фыркнул, Нина Васильевна легонько охнула. Анатолий Васильевич, как вперил свой взгляд в точку «Ливны», так и не отрывался от нее. Вскоре к нему подошла Нина Васильевна и, положив на его плечи обе руки — особенно белые на кителе, — сказала:

— А Саша? Сашу позвать. Ты прости меня, что я вмешиваюсь в твои дела... Человек второй год ищет семью. Ведь это мучительно, Толя!

Анатолий Васильевич встряхнулся. Руки жены соскользнули с его плеч, как две рыбки.

— Что ж, так вмешиваться в наши дела хорошо. Макар Петрович, ты ближе к аппарату, вызови начальника разведотдела.

Макар Петрович, взяв трубку и поговорив по телефону, сказал:

— Полковник Плугов пошел сюда.

Вскоре на пороге появился Плугов — высокий, по-девичьи красивый: лицо у него свежее, на щеках еще не утрачен юношеский румянец, глаза с густыми черными ресницами, уши маленькие, да и руки холеные, с длинными пальцами пианиста. Войдя в комнату, он окинул всех каким-то покровительственным взглядом и, проговорив обычное: «Разрешите, товарищ командарм», — двинулся вперед чуть-чуть развязной походкой. Сначала он поздоровался с Ниной Васильевной, низко склонив перед ней голову и поцеловав ей руку, затем с командармом, потом с начальником штаба и остановился перед Николаем Кораблевым, сверля его глазами... и вдруг засмеялся:

— А-а! Это вчерашний посетитель бани. Ермолай мне рассказывал и даже шепнул: «Наш весь». Здравствуйте, Николай Степанович!

— Саша! — Нина Васильевна кинулась к нему. — Саша! У нашего гостя семья осталась вот тут... в Ливне... нет, нет, в Ливене.

— В селе Ливня, — поправил ее Макар Петрович.

Саша Плугов посмотрел на карту, отыскал Ливню, вздохнул:

— Ох, далеко!

Сердце у Николая Кораблева сжалось.

— Хотя... — понимая просьбу Нины Васильевны, продолжал Саша. — Хотя наши ребята ходили дальше.

На сердце у Николая Кораблева отлегло.

— Но сейчас трудно: такие рогатки везде расставили немцы. Они что-то чуют.

Сердце у Николая Кораблева опять сжалось.

— Рогатки? — сердито заворчал Анатолий Васильевич. — А тебе бы через Ермолая в бане все узнавать? Ишь-ишь. Пошли людей. Как ее звать-то?

— Татьяна Яковлевна, — еле слышно ответил Николай Кораблев.

— Ну вот, Татьяна Яковлевна Кораблева. Осталась там с ребенком и матерью.

— Она носит свою девичью фамилию — Половцева, — энергично вмешался Николай Кораблев.

— Оперная фамилия. Половецкий стан. Эх, когда мы теперь увидим «Князя Игоря»!.. И еще я люблю «Кармен». Вот это опера, скажу я вам, Николай Степанович!

Николай Кораблев криво улыбнулся, боясь, что Анатолий Васильевич, увлекшись рассказами про оперы, забудет о том, о чем надо было говорить сейчас же.

«Видимо, все под старость делаются чуточку болтливы: вишь, что расхваливает, оперы «Князь Игорь» и «Кармен»! Еще бы Пушкина расхвалил или Шекспира! Да ведь хвалит-то как, словно это его собственное открытие, — в досаде думал он, хотя Анатолий Васильевич вовсе не так хвалил, а говорил, как простой зритель. — Как бы мне его направить на то?» — думал Николай Кораблев, делая вид, что внимательно слушает Анатолия Васильевича, и даже в знак согласия начал кивать головой, а в то же время посматривал на

Сашу, боясь, что тот поднимется и уйдет. Но тут еще вмешалась Нина Васильевна; она рассказала, что когда Анатолий Васильевич смотрит оперу «Кармен», то в тот момент, когда Кармен уводит в горы офицера Хозе, всегда легонько толкает в бок ее, Нину Васильевну, и убежденно произносит: «Вот видишь, обязательно она его уведет!» «Пропало! Все пропало! — уже с болью думал Николай Кораблев. — И зачем это я впутался с фамилией!»

Но в это время Анатолий Васильевич, обращаясь к Саше, сказал:

— Вот тебе все данные, товарищ полковник. Половцева, Татьяна Яковлевна. Пускай ребята узнают, как и что, а главное, узнают, как там живет противник и что он думает. Такая разведочка нам теперь особенно нужна, — подчеркнул Анатолий Васильевич.

— Погибнуть могут, — грустно сказал Саша.

— Погибнуть? А как же? На то и война. Погибнут — значит, умрут смертью храбрых. Да и не погибнут, а дело хорошее сделают, — Анатолий Васильевич некоторое время в упор смотрел на Сашу, потом сказал: — Понял? Или все еще не доходит?

— А-а-а, — о чем-то догадавшись, сказал тот. — Есть послать, товарищ командарм.

— Саша, чайку, — Нина Васильевна налила стакан чая и подвинула Саше.

Тот, потренькивая ложечкой в стакане, глядя на всех уже веселыми глазами, балагуря, проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Понимаешь ли, инфузория какая? Попался один мне, и, понимаешь ли, инфузория какая... Я, конечно, человек спокойный, выдержанный, воды не замучу... Ну, а тут допрашиваем час, допрашиваем два, три... В горле пересохло. Долбит одно и то же: подчинялся приказу, выполнял приказ.

— Они с наших людей кожу сдирают. А я слышал — ты с ними цацкаешься.

— Да ведь, говорят, гуманно надо.

— Кто это говорит?

— Полковник Троекратов. Чорт-те что, и фамилия-то какая-то математическая. Философ. Я ему говорю:

я хотя философию и не знаю, но обожаю всей душой.

— А вы, Саша, не ломайтесь. Почитали бы кое-что по философии.

— Желаю всей душой, но сейчас не могу, Нина Васильевна. И завидую Троекратову. Вон он, кстати, и шагает. Нет, вы посмотрите, как вышагивает, точно гусь с кормежки.

Николай Кораблев вместе со всеми посмотрел в окно. Из-под горы к калитке шел полковник. Шел он в самом деле медленно, основательно ставя ноги на землю, как бы одаряя ее этим. Вот он прошел через калитку, остановился, посмотрел на пройденный путь, затем круто повернулся и, вскинув голову, чуть склонив ее на левую сторону, тронулся вперед.

— Хорошо идет! — сказал Макар Петрович. — Цену себе знает. Вот тебе и инфузория! — почему-то не совсем добродушно кинул он Саше.

6

Троекратов вошел в комнату. Это был человек среднего роста, пожалуй такой же, как и Саша Плугов. Но у него огромный лоб. Из-под наката лба смотрят большие, не то карие, не то черные умные глаза. Лицо чистое и белое. Лет ему, вероятно, тридцать пять — сорок. Произнеся обычное: «Разрешите, товарищ командарм?» — он поздоровался с Ниной Васильевной, потом с Анатолием Васильевичем, затем с Макаром Петровичем и, сказав Саше: «С тобой мы уже виделись», — остановился перед Николаем Кораблевым.

— Земля наша слухом полнится, — заговорил он бархатным голосом. — И звать как вас, Николай Степанович, уже всем известно, и как вы в бане мылись, известно, и даже известно, как вас искупали фрицы на переправе... Ну что ж, осталось только протянуть вам руку и сказать о себе: «Николай Николаевич Троекратов, бывший работник философского фронта, ныне на альник политотдела армии».

— Эх, ты! Чорт-те что! — Саша даже ерзнул на

стуле. — Чорт-те что! Полжизни бы отдал, лишь бы быть таким, как наш Троекратов: не говорит, а поэму читает и покоряет с первого взгляда, как факир. Нет, факир ведь чудеса показывает: огонь там глотает, змей. А этот — гипнотизер, вот кто.

Троекратов повернулся к нему, сдержанно улыбаясь, сказал:

— За то, чтобы быть вежливым, Саша, не стоит платить половинкой жизни, надо просто понять, что около тебя люди, а не сатаны, как ты сегодня выразился.

Николай Кораблев только тут заметил, что на чистом лице Троекратова два шва, идущие от правого уха к верхней губе, а зубы изумительной белизны и все ровные, как на подбор.

— Сбил меня! — вскрикнул Саша. — Прямо из дальнобойной ахнул, — и, обращаясь к Анатолию Васильевичу, добавил: — Вот, а вы, товарищ командарм, говорите. Да ведь он мертвого убедит!

— Мертвого убеждать не пытался, а вот тебе, живому, никак не втолкую.

— В чем спор-то у вас? — вмешался Анатолий Васильевич.

— Гуманно, слышь, надо допрашивать.

— С разбором, — поправил Троекратов. — И всматриваться в будущее: на сотню мерзавцев может попасться один честный человек, и тот нам дорог.

— А-а-а, — протянул Анатолий Васильевич. —Врага надо уничтожать.

— Вот, — Саша даже захлопал в ладоши. — И Горький это же говорил: «Если враг не сдается, — его уничтожают». Слыхал?

— А я разве утверждаю, что врага надо щадить? — возразил все тем же бархатным голосом Троекратов. — Но нельзя и весь немецкий народ зачислять во враги, — казалось, он говорит спокойно, но по тому, как вздрагивают веки, было видно, что внутри у него все кипит. — Война — штука жестокая, — он сел за стол и, рассматривая свои узловатые белые пальцы, продолжал: — Она, война, создает не только героев, но и пробуждает в человеке зверя.

Со стула поднялся Анатолий Васильевич. До этого он сидел в уголке и перелистывал учебник геометрии. Тут он поднялся, и до того встревоженно злой, что у него над переносицей вздулась жила. Нина Васильевна с упреком кинула взгляд на Николая Николаевича и пошла было на Анатолия Васильевича, произнося: «Толя! Да что ты?» — но тот грубо отмахнулся от нее (за это он потом несколько раз извинялся перед ней). Отмахнулся и сурово произнес:

— Послушайте, полковник Троекратов. Мне кажется, вы находитесь в армии, а не на безответственном диспуте. Война есть война, дорогой мой.

— Нет, война не есть война, товарищ командарм, — бледнея, возразил Николай Николаевич. — Есть войны справедливые, а есть грабительские, каковых больше.

— Ага. Вы мне опять из политграмоты?

— Нет. Из Сталина.

Анатолий Васильевич смешался. И вдруг тоненько вскрикнул:

— Но ведь Сталин нас учит: воспитывайте в себе, в офицере, в бойце лютую ненависть к врагу!

— Без этого, товарищ командарм, мы победить не сможем. Но ненависть к врагу, да еще такому, как фашисты, — чувство благородное, и это благородное чувство нельзя подменять чувством зверя.

— У вас есть факты?

— Да.

— Ах, вы все о том же, — торопливо перебил его Анатолий Васильевич, видимо не желая что-то открывать перед Николаем Кораблевым. — То единичный случай. Единичный, — подчеркнул он, как бы говоря: «Хватит об этом».

— Единичные случаи могут стать массовыми, если их вначале не подрезать в корне, — очевидно, не поняв желания командарма, сказал Троекратов.

— А кто протестует... подрезать?

— Протестуют. Протестует, — чуть хриповатым от долгого молчания голосом проговорил Макар Петрович и кивнул на Плугова.

Нина Васильевна с удивлением в упор посмотрела

на Сашу Плугова и укоризненно, еще не веря, произнесла:

— Саша! Вы? Да неужели вы? Вы, Саша?!

Саша Плугов вспыхнул:

— Инфузория... видите, инфузория какая, — пробормотал он, видимо с силой сдерживая себя, и вдруг прорвался. Часто ударяя себя кулаком в грудь, он с гневом, с надрывом, обращаясь к Троекратову, прокричал: — Да вы... да ты! Ты знаешь, что творится там, по ту сторону. Ты не знаешь, а мне каждодневно докладывают: там голодом сморили тысячи наших лучших людей, там дизентерией заразили десятки тысяч людей. Там наши люди с ума сходят. А ты мне: гуманным будь, — и, нервно дрожа, обращаясь к Анатолию Васильевичу, он произнес: — Разрешите итти, товарищ командарм?

— Куда? Куда? — заливаясь звонким смехом, выкрикнул Анатолий Васильевич. — Ну и пропек! Ну и пропек тебя философ. Ай да пропек!

Когда Саша вышел, все некоторое время молчали, затем Анатолий Васильевич сказал, обращаясь к Троекратову:

— Как, с летчиками договорились?

— Так точно, товарищ командарм.

— Проработайте-ка совместно с ними эти случаи, когда на пустое место бомбы бросают. И проработайте так, чтобы до сердца дошло. Авиация! Первоклассная авиация. Сотни тысяч людей там, в тылу, у вас вот, на Урале, Николай Степанович, самолеты строят, а тут на самолеты иногда неопытных летчиков посадят — и лети. Черти полосатые! А генерал Байдук шипит, не хочет честь полка марать! И пожалеет! Не проработает да еще не посадит недельки на две этих молодчиков в назидание другим, хуже потом будет.

— Уже согласился, — сказал Николай Николаевич и повернулся к Нине Васильевне, которая спросила его.

— Как ваши зубы?

— Чужие, Нина Васильевна; на ночь приходится в стакан класть. Это пока один, а вот приедет Верочка, как при ней-то я буду? Неприятно, когда человек ложится спать и вдруг вынимает зубы.

— Ну, что вы? Она же у вас такая славная, поймет, — и, обращаясь к Николаю Кораблеву, Нина Васильевна пояснила: — Под Москвой Николай Николаевич был ранен; щеку разорвало и выбило зубы. Потом зубы вставили, а он к ним никак не привыкнет.

Николай Кораблев как бы не слышал всего этого, изумленно посмотрел на Анатолия Васильевича: тот, подсев к столику, достал учебники по геометрии и алгебре, положил перед собой тетрадь и весь сосредоточился.

«Неужели еще математикой занимается здесь?» — подумал он.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Анатолий Васильевич обладал изумительной памятью: раз прочитав книгу, он содержание ее запоминал навсегда, так же хорошо он помнил и людей, с которыми приходилось сталкиваться; или, например, стоило ему побывать в той или иной местности, и он уже в любое время мог представить ее себе, да не вообще, а с деталями: где и какие повороты на дороге, овраги, канавки, перелески.

— Этому татарин Ибрагимов меня научил, — иногда говаривал он.

Когда-то давно, лет сорок тому назад, в селе Явлейке жил татарин Ибрагимов. Отсюда он раскинул свою торговую сеть на весь Хвалынский уезд, что тянулся от Волги в глубь правобережья. Сначала он сам скупал тряпки, битые чугунки, лом-железо, а потом подобрал одного паренька, другого, третьего, и под конец у него работало восемнадцать ребят, таких же расторопных, сообразительных и предприимчивых, как и Толька Горбунов. Каждому пареньку он давал лошадь, запряженную в телегу или сани, судя по времени года, мешочек с деньгами — десять рублей звонкой монеты: копейки, гривны, пятаки — и рассылал

ребят во все концы уезда. Особых контролеров он не имел, но и обмануть его было трудно. Когда тот или иной паренек возвращался с «промысла», Ибрагимов сам открывал перед ним ворота и, впуская во двор телегу или сани, загруженные товаром, громко причмокивая, приветствовал:

— Ай! Кунак! Кунак! Дорогой гость будешь. Салма есть. Жеребенка есть, — и, взяв коня под уздцы, вел его к сараю.

Тут, разложив на деревянном прилавке связанные тряпки, донельзя поломанные утюги, ухваты, изуродованные топоры, битые чугунки и прочая, прочая, прочая, он немедленно из хозяина превращался в покупателя.

— Сколько за такую штукенцию, князь, просишь? — пренебрежительно произносил он, вертя в руках сверток тряпок или изуродованный топор, и, узнав цену, морщился, но хлопал рука в руку. — Дорого, но берем. А сколько за такую штукенцию, князь? — и, если за «штукенцию» князь «загибал», Ибрагимов начинал ворчать, тихо и предостерегающе, как волкодав на цепи при приближении врага, потом вдруг срывался на визг: — Ты не купец! Ты — бога нет, совесть нет. Пятак? Батюшки мои, матушки! Пятак — деньги. Ух, сколько деньги! Яман! Яман! — визжал он, откладывая дорогую «штукенцию» в сторонку.

И всякий паренек должен был в точности помнить, у кого куплен «дорогой товар», где живет тот человек, как его фамилия, какой он на вид. Забрав с собой «дорогую штукенцию», Ибрагимов отправлялся к продавцу, живи тот хотя бы за пятьдесят верст от Явлейки.

— Это была такая тренировка! — вспоминал Анатолий Васильевич.

— Но ведь у тебя хорошая память была, когда ты учился в школе, — поправляла его Нина Васильевна.

Да. Память у него была хорошая и раньше, когда он учился в школе, но ему учебу пришлось оборвать в пятом классе: отец во время половодья утонул в реке вместе с лошадью, осталась мать, больная туберкулезом. Нужда толкнула к татарину Ибрагимову.

У Ибрагимова Толя пробыл три года. За это время

он так натренировал память, что когда, по совету местного учителя Курбатова, начал готовиться в шестой класс Хвалынской мужской гимназии, то в течение четырех месяцев не просто подготовился, но и блестяще выдержал все экзаменационные испытания, поразив директора и преподавателей своей необычайностью.

— Видишь, тебя приняли в гимназию, куда плебеям доступа нет. Ты плебей из плебеев; беден, как засохшая крапива, но тебя приняли... за твое умственное богатство, которого они не видят, они считают тебя вундеркиндом, — сказал ему после экзаменов учитель Курбатов.

— Что это такое — вундеркинд?

— Чудо-ребенок. И они будут тебя показывать всем, как забавную диковинку.

— А я не пойду на показы. Я имею право учиться, как и все! — с юношеским пылом возразил Толя.

— Эх, милый, — с тоской произнес Курбатов, — обух соломинкой не перешибешь. Сначала превратись в силу, тогда бей, да не один. Ну, об том тебе еще рано. Советую: пока терпи, а потом припомни.

Так и было. Директор гимназии, некто Никифоров, кудрявый, лысеющий «хохотун», как звали его гимназисты, иногда приглашал местных тузов во главе с попечителем — купцом первой гильдии Калашниковым. Тузы, предварительно выпив в директорской, входили в зал, рассаживались, и тут Никифоров показывал им «фокусы-мокусы вундеркинда».

— Вот он. Вот чудо природы! — похохатывая, вскрикивал он, когда Толя появлялся в зале. — Сию минуту мы вам, господа отцы города, покажем изюминку. Слушайте, Горбунов, а вы, Иван Игнатьевич, — обращался он к преподавателю словесности, — прочтите из сборника любое стихотворение.

Преподаватель словесности выполнял просьбу директора, а Толя Горбунов, напрягая память, в точности декламировал стихотворение. Все ахали, охали, подчеркнуто хвалили «вундеркинда», а попечитель гимназии купец Калашников произносил свое постоянное:

— Далеко пойдет паренек. Завидно. К примеру, в цирке выступает или в балагане. Мешками деньги домой таскать будет.

С Калашниковым все соглашались, особенно местные тузы. Но однажды математик Кулаков раздельно, будто решая какую-то сложную задачу, сказал:

— Да-с. Пойдет. Если... если не свихнется. Были случаи, — продолжал он в наступившей тишине. — Выдающиеся способности по математике, в области искусства — музыки, например. В детские, конечно, годы. А потом? В семнадцать, восемнадцать лет — пустомеля: простых действий арифметики не знает, простую ноту не возьмет.

Директор весь сморщился, будто прорванный резиновый мяч.

— Ах! — вскрикнул он. — Вы опять за свое, Николай Ивано-о-вич, — презрительно подчеркнул он «Иванович» и в отчаянии ринулся: — Какое нам дело до того, что с ним будет в семнадцать лет? Не правда ли, господа? Не правда ли, господин попечитель?

И никто не видел, как от стыда и унижения сгорал Толя.

2

С математиком Кулаковым и сошелся Анатолий Горбунов. Вдвоем на квартире Кулакова они часто засиживались до позднего, решая ту или иную сложную теорему. Именно здесь Анатолий познал поэзию математики и решил после окончания гимназии поступить в Московский университет, на физико-математический факультет. Да. Да. Вот еще несколько месяцев учебы, затем сдаст экзамен на аттестат зрелости, потом два месяца каникул, и осенью он наденет костюм студента. От тряпичника — в университет! А потом? Потом он станет «выдающимся математиком». И тогда? Тогда — это уже затаенная мечта самого Анатолия Горбунова, — тогда он женится на Нюрочке, дочке Кулакова. Она тоже оканчивает гимназию. Какая она чудесная, эта Нюрочка: глаза у нее с обжи-

гающим блеском, голос мягкий, теплый, а походка неслышная!

И все эти мечты были нарушены неожиданно и жестоко. Осенью тысяча девятьсот четырнадцатого года, когда он намеревался отправиться в Москву, чтобы там поступить в университет, его призвали в армию как рядового и определили в запасную роту. И все рухнуло. Все. Осталось: «Раз-два. Левой. Левой. Коли. Беги. Прыгай». Нет. Нет. Как только закончится война, он уедет в Москву и поступит в университет. А война, говорят, вот-вот закончится. Ну, еще месяц, ну, два-три... Но прошел месяц, другой, третий, а на шестой Анатолия Горбунова отправили на фронт, и тут, как знающего математику, его перевели в артиллерию. В артиллерии он и заслужил звание унтер-офицера. А потом? Потом, в тысяча девятьсот семнадцатом году, по всей стране пронеслась народная буря — революции. Куда итти? С кем остаться? Против кого биться? Обратиться бы к старому учителю Курбатову, но того в тысяча девятьсот пятнадцатом году сослали куда-то на Север. За что? Анатолий Горбунов не знал. И вот в один весенний день к нему пришло письмо.

«Толя! Ты мне дороже сына, — писал учитель Курбатов. — Я вернулся домой и отсюда пишу. Ты теперь сильный. Но вспомни нужду, унижения, какие претерпел в гимназии, и становись в ряды большевиков, партии Владимира Ильича Ленина. Я его знаю: он народ не подведет».

Солдатский полковой комитет — и во главе Анатолий Горбунов. Затем бурные дни в Питере. Встреча с Лениным в Смольном. Ленин заговорил с ним, как со старым знакомым.

— Ага! Это вы, товарищ Горбунов, — и пожал ему руку. — Спасибо от всего пролетариата и от партии: разгромили вы хлюпиков Керенского... А теперь приехали сюда с товарищами-солдатами? Помогайте, — и, громко смеясь, спросил намеренно по-волжски: — Одолем или не одолем? — и тут же серьезно сказал: — Одолеем. Непременно буржуазию одолеем.

Затем в боях от Царицына до Черного моря как

командир полка прошел Анатолий Горбунов. Отсюда он вернулся на Волгу, в город Хвалынск, чтобы повидать ту, о которой мечтал. И он встретил ее — Нюрочку. Преждевременно постаревшая, брюзжащая на революцию, она только и сказала:

— Проклинаю... и вас вместе с ними.

А математик Кулаков, словно помешанный, зыркнул на него глазами и таинственно произнес:

— Слыхал и в точности знаю — большевики по всем крупным городам расставили виселицы. Сто фабрик перевели на выработку железных виселиц. Железных, чтобы не сгнили, заметьте.

Все-все, как по книге, читает Анатолий Васильевич. Вот снова Москва. Тысяча девятьсот двадцать четвертый год. Отгремели пушечные раскаты. Страна вступила в полосу мирного труда. Тут бы и уйти из армии, но вызвал Сталин, посоветовал:

— Математики у нас найдутся. Ученые военные нам позарез нужны. Поступайте в академию.

И военная академия окончена. Встретился с Ниной Васильевной — с лучшим товарищем в горестях, бедах и радостях. Но сбросить бы военный мундир. Конечно, теперь поздно поступать в университет. Какой уж университет, когда вот-вот хлопнет сорок пять лет! Осталось одно: забраться куда-нибудь под Москву или на юг, построить дачку, приобрести библиотеку, заняться чтением, а главное — математикой...

В тысяча девятьсот тридцать девятом году Анатолий Васильевич снова встретился со Сталиным и сказал:

— Иосиф Виссарионович, мне скоро пятьдесят...

— Что ж, юбилей справим.

— Спасибо. Но, может быть... Может быть, отстать от военного дела? Все-таки тянет любимое — математика.

Сталин некоторое время расхаживал по кабинету, раскуривая трубку, затем проговорил:

— Хорошо.

Анатолий Васильевич радостно подумал:

«Вот я и у себя: математик».

— Хорошо, — повторил Сталин. — Мы, конечно, во много раз стали сильней старой России... но... но ведь капиталисты еще не слабее нас? Вы уйдете из армии, займетесь математикой — любимым делом. Неплохо. Другой уйдет из армии, займется историей — любимым делом. Неплохо. Третий уйдет из армии, займется географией — любимым делом. Неплохо. Разве среди нас есть такие, для кого война — любимое дело? Мы люди мирного, творческого труда: перестраиваем общество на коммунистических началах. Хорошее дело. Но капиталисты ненавидят нас и готовят на нас войну. И навяжут нам ее, хотим мы этого или не хотим. Нет, не советую вам уходить из армии. Придет время, займетесь и математикой, а я буду приезжать к вам и выслушивать вас, — дружественно закончил Сталин.

И вот снова война — свирепая, страшная.

Любил ли он, Анатолий Васильевич, военное дело так же, как, например, любил математику? Нет. Военное дело для него являлось обязанностью, священным долгом перед народом, перед партией... а так — построить бы где-нибудь дачку, приобрести библиотеку и читать, читать. Читать и работать над математическими проблемами.

3

— Нет, мы обязательно заимеем дочку или сына, Нинок, — проговорил Анатолий Васильевич, поднимаясь с пруда в гору, ведя под руку Нину Васильевну, чувствуя себя при этом совсем молодым.

Нина Васильевна соглашается и еле слышно смеется.

— Ты знаешь, Нинок, недавно указ вышел: генералам в отставке отводится гектар земли под дачу Представляешь, гектар? Это такой обширный участок! Мы попросим где-нибудь на юге.

— В Сочи, Толя.

— Нет. Лучше в Гурзуфе. В Сочи комары.

— А в Гурзуфе?

— Говорят, там нет такого добра.

— Ну в Гурзуфе, — соглашается Нина Васильевна. — Как только закончится война, так и переедем в Гурзуф.

Все это, конечно, слышит Галушко. Он идет позади них и про себя решает:

«Мы с Грушей туда же переедем. Генерал не покинет нас. Ну как же? Войну вместе, а тут — прочь? Да и что они без меня сделают? Какую уж там дачу — шалаш не построят».

Анатолий Васильевич, как бы подслушав думы Галушко, поворачивается к нему:

— А ты, Галушко! Поедешь с нами? Конечно, и Грушу возьмем. Или без Груши? Может, другая приглянулась?

Галушко стесняется, опускает глаза и от волнения не говорит, а шепчет.

— Со всим хозяйством з вами, товарищ генерал, — и встрепенулся: — Товарищ командарм, к вам офицер от командующего фронтом.

Из машины выбрался офицер связи от Рокоссовского.

— Товарищ генерал-лейтенант. Важнейшее сообщение.

Всякий раз при появлении офицера от Рокоссовского у Анатолия Васильевича усиленно начинает биться сердце: офицер вез что-то особенное. Сейчас сердце забилось еще сильнее: сам Анатолий Васильевич ждал особенное. Вот почему он торопливо произнес:

— Нина, иди собирай обед.

Нина Васильевна и Галушко послушно скрылись в хате, а офицер и Анатолий Васильевич отошли в сторону. Офицер полушопотом сообщил:

— От Верховного Главнокомандующего маршала Сталина получено: «Между вторым и шестым июля немцы выступят». Все, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите итти?

Анатолий Васильевич ничего не ответил и пошел в хату, вдруг согнувшись, как будто на него свалилась тяжесть. Войдя в комнату, он, через силу улыбаясь, проговорил:

— Ага! За столом уже? Давайте! Давайте! Проголодался я. Кстати, какое сегодня число? Ага. Второе. Завтра третье, четвертое, потом пятое, десятое. Хорошо. Очень хорошо. Где же витамин, Груша? Что, мне самому за ним бежать? — тоненько и обиженно вскрикнул он.

Бутылочка с витамином стояла на столе, только не на обычном месте, около прибора Анатолия Васильевича, а чуть в сторонке. Макар Петрович подал ее Анатолию Васильевичу, и тот, не извинившись перед Грушей, начал капать жидкость в рюмку. Все удивленно, встревоженно посмотрели на него, особенно Нина Васильевна, но никто ничего не сказал. Так, в молчании, и прошел весь обед. А когда обед кончился, Нина Васильевна осторожно, словно боясь кого-то этим потревожить, пододвинула Анатолию Васильевичу карты. Тот машинально взял колоду, долго с треском мял ее, затем вдруг раздраженно проговорил:

— Опять Макара Петровича в дураках оставить? Ничего: он и без этого может остаться, — затем чуть помолчал, неопределенно крякнул: — Да-а. Так-то вот, Макар Петрович: сидишь у себя в кабинетике, плетешь-плетешь и забываешь, что на тебя тоже плетут... да еще Гудериана позовут, — и, стараясь сдержать раздражение, повернулся к Николаю Кораблеву, мягче сказал: — Гудериан у них есть, танками заправляет. Неглупый мужик. А Макар Петрович думает: наплетука я на Гудериана и на всех Шмидтов, да и буду посиживать сложа руки.

Макар Петрович за год совместной работы с Анатолием Васильевичем прекрасно узнал его характер и в интересах дела многое ему прощал. А сейчас он понимал, что командарм, получив какое-то важнейшее сообщение от Рокоссовского, весь сосредоточился на этом сообщении, но чтобы не показывать всего того, что творится на душе, он напал на него, на начальника штаба. Чтобы поддержать разговор в этом направлении, видимо очень нужном для командарма, Макар Петрович намеренно мрачно проговорил:

— Вместе плели!

— Вместе? Точно. Может, вместе и в дураки

попадем. Нет, не в дураки, а в преступники! Нам ведь с вами, Макар Петрович, армию доверили — десятки тысяч людей, огромнейшее вооружение, гигантское хозяйство, и наказ народа — защищайте отчизну, выгоните врага с родной земли, не то проклянем мы вас. А мы с вами всю армию можем кинуть в такую бездну... Откуда... откуда... — он не нашел слова и, отбросив колоду карт, вскочил со стула, прошелся туда, сюда, затем вскинул голову: — Отчизна? Вот эти люди и есть отчизна!

«Ага. Значит, дан приказ о наступлении, — решил Макар Петрович и, внутренне рассмеявшись, победоносно посмотрел на командарма: — А все-таки ты все выдал, Анатолий Васильевич», — про себя проговорил он.

Николай Кораблев не видел еще таким Анатолия Васильевича, но понимал, что раздражение это не от прихоти, не пустяковое, что с Анатолием Васильевичем творится что-то серьезное, большое. Поймав взгляд Нины Васильевны, он еле заметно пожал плечами. Та опустила глаза и, предполагая, что она и Николай Кораблев здесь лишние, сказала:

— Николай Степанович! Может, мы с вами погуляем? Так хорошо на пруду. Мы только что были там.

— Это еще что за бегство? Или окончательно хочешь взвинтить меня? — у Анатолия Васильевича даже затряслись пальцы на правой руке, и он, побарабанив ими по столу, зло и оскорбительно сказал: — Ну что, мало? Мало? Ты еще добавь!

Нина Васильевна вспыхнула: глаза ее стали принадлежать только ему, улыбка — только ему, открытые губы — только ему, и она, положив руки ему на плечи, тихо произнесла.

— Толя, родной мой, — и, спохватившись, что они в комнате не одни, заговорила о том, что ей только что пришло на ум: — Я всегда удивлялась твоей памяти, а вот когда сели за карты, я просто была поражена: как это ты каждую карту помнишь.

Анатолий Васильевич сразу отмяк. Обняв Нину Васильевну и глядя на Николая Кораблева, он проговорил:

— Ну вот, от жены получил похвалу, а они редко мужей хвалят, — легонько оттолкнув Нину Васильевну, добавил: — Эх, ты! Дипломат мой, — затем снова обратился к Николаю Кораблеву: — А вам, раз попали на фронт да забрались на квартиру к таким генералам, как мы, конечно, надо все знать... и не из уст банщика Ермолая. Он вам, поди-ка, плел-плел. Занозистый мужик, дотошный: все хочет знать, о всем расспрашивает, а потом разбалтывает. Ну и городишь ему, чтобы не обидеть, какую-нибудь околесину. А вам надо все знать в точности, — он чуть подумал: — Ведь мы через вас обязаны отчитаться перед народом. Приедете на Урал, скажите там, что здесь не бездельники.

— Я бы еще хотел посмотреть моторы... как они тут... в работе?

Анатолий Васильевич недоуменно пожал плечами:

— Чего же их смотреть? Они, как и все остальное, в невероятнейшем напряжении находятся во время боя, а мы восемнадцатый месяц улучшаем позиции да готовимся к бою. Танковые стычки были, но давно. Нет. Вот бой начнется, тогда и смотрите.

Николай Кораблев хотел было сказать: «А когда же начнется бой?», — но счел, что так спрашивать нельзя, и поэтому задал наводящий вопрос.

— Я ведь здесь больше месяца не пробуду.

Анатолий Васильевич скупо кинул:

— Успеете. А теперь пойдемте к Макару Петровичу.

4

Хата, в которую они вошли, мало чем отличалась от многих деревенских. Она была разделена на две комнаты — переднюю и заднюю. Передняя начисто побелена, по бокам вместо деревенских скамеек стояли венские стулья, посредине огромный стол, в углу кровать — простая, железная, порыжевшая от ржавчины. На кровати лежал, видимо, жесткий тюфяк, потому что одеяло прилипало к нему, как к каменной плите. Во втором углу телефонные аппараты, такие же, как и в комнате Анатолия Васильевича, и

мрачно-черный несгораемый шкаф, а на стене огромная карта.

В эту комнату заходили только некоторые. Даже адъютант Макара Петровича, прежде чем войти, должен был попросить разрешения. Уходя же отсюда, Макар Петрович строго приказывал часовым: «Никого не пускать», — как бы боясь, что кто-нибудь войдет, осмотрит плоский тюфяк и по этому определит, о чем думает Макар Петрович и какие тайны хранятся на его сердце.

Сейчас Макар Петрович, отдуваясь (командарм ходил быстро и начштаба еле поспевал за ним), достал из несгораемого шкафа толстенный портфель, расстегнул и, положив на него руки, открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но так и не сказал, очевидно придерживаясь правила, что молчание — золото.

В комнате наступила тишина. Было слышно, как, переминаясь у стола, поскрипывает сапогами Макар Петрович. Анатолий Васильевич о чем-то думал, глядя в окно, затем посмотрел в глаза Николаю Кораблеву — долго, проникающе:

— Знаю, Николай Степанович, для вас тайна есть тайна. А у нас буквально все тайна. Все. Понимаете? Если вы обладаете воображением, а я в этом не сомневаюсь, то можете себе представить, сколько вьется около нас шушеры, а среди нее немало и матерой сволочи. Мышку можно узнать по хвостику, а тайну — по одному, случайно оброненному слову.

— Я ничего не видел, я ничего не знаю: я гражданский человек, — быстро ответил Николай Кораблев, не опуская глаз.

— Вот именно: «Я ничего не знаю, я ничего не понимаю: я гражданский человек». И имейте в виду, раз вы были в этой комнате, к вам будут лезть с расспросами.

— Понимаю.

— После этого я вам полностью доверяю. Так ведь, Макар Петрович?

Тот пожевал толстоватыми губами и кивнул головой.

— Видите, какой у меня начальник штаба: лишнего слова не произнесет. Кивнул — и все. А что это: то ли он согласен, что вам можно доверять, то ли правда то, что я говорю о тайне, то ли то, что к вам будут приставать с расспросами?

— Все, — сказал Макар Петрович и снова пожевал губами.

— Видали? Ну, ладно. Пока собираются генералы и полковники, я вам кое-что поясню, Николай Степанович, — и Анатолий Васильевич подвел его к карте. — Видите, как тут все разрисовано? Говорят, Орловско-Курский узел. Это не совсем точно. Здесь дуга, вернее две дуги. Вот это Орловская дуга. Она лежит колечком к нам и тянется примерно с северо-запада на Мценск, с Мценска по реке Зуша на село Тяжи, затем уходит снова на запад, вплоть до Черни. А вот новая дуга — Курская. Эта дуга лежит колечком на запад и тянется примерно от Черни через Рыльск — Сумы на Белгород, — Анатолий Васильевич чуточку помолчал, дав возможность Николаю Кораблеву рассмотреть карту, и снова заговорил: — С военной точки зрения выгоды с той и другой стороны равноценны: они могут ударить с Рыльска на Курск.

— Ничего подобного, — произнес Макар Петрович так, как будто дело касалось его чести. — Со стороны Орла на Курск и со стороны Белгорода на Курск.

Анатолий Васильевич в упор посмотрел на него.

— Зря держим человека здесь: ему бы работать в генеральном штабе, — и продолжал, словно никакой реплики и не было. — С Рыльска на Курск... Прорвав тут линию нашей обороны, расчленив фронт, они ринутся...

— Не ринутся, — снова вступился Макар Петрович уже более сердито.

— Но ведь есть же данные, что они готовятся к удару со стороны Рыльска! — прикрикнув, проговорил Анатолий Васильевич.

— Демонстрация. Обман, — все так же упорствуя, возразил Макар Петрович и, подойдя к карте, стал тщательно вычерчивать стрелу от Орла на Курск; вычертив ее (аккуратно, с ровными загибами к острию),

он сказал: — Вот так ударят, — и тут же вычертил новую стрелу со стороны Белгорода на Курск, — и вот так.

Анатолий Васильевич, видимо, хотел сказать какое-то злое слово: глаза у него задрожали, а губы вытянулись, но сдержался, чуть подождал, затем, встряхнувшись, проговорил:

— Возможно, они ударят со стороны Орла и Белгорода на Курск. Я говорю с вами, Николай Степанович, на гражданском языке, чтобы было понятней. Возможно. Тогда при удачном прорыве вся наша группировка, стоящая западнее Курска, попадет в мешок. Разгромив эту группировку, они ринутся на Каширу, Рязань и таким же путем захлестнут Москву.

— От мысли захватить Москву еще не отказались? — спросил Николай Кораблев и спохватился, видя, как Анатолий Васильевич моргнул, как бы говоря: «И этот лезет с неумными вопросами», — но тот спокойно ответил:

— Увлекательная штука — взять Москву. Но... но мы тоже можем ударить по их орловской группировке с севера и юга, и тогда они окажутся в мешке.

— А силы есть? — снова не выдержав, спросил Николай Кораблев.

— Ну, а как же! Силы? Что это значит — силы? Это не значит только танки, пушки, самолеты, бойцы. Современная война — это не война времен Кутузова. Здесь, на огромнейшем протяжении... ну, километров на четыреста — пятьсот, — Анатолий Васильевич начал водить тупой стороной карандаша вдоль линии Орловско-Курской дуги. — Здесь у нас всюду от трех до семи линий обороны. Что это значит? Это значит, что на очень большую глубину все изрыто окопами, блиндажами, усеяно минами, опутано колючей проволокой, тысячи жилых пунктов, возвышенностей превращены в так называемую круговую оборону. Чтобы пройти где-либо здесь вражеской пехоте, ну, например, на линии нашей армии, надо сначала все это: окопы, блиндажи, минные поля, рвы, — все это надо сначала взорвать.

— А у них? — уже осмелев, спросил Николай Кораблев.

— У них? То же самое.

— Но ведь они... вы простите меня, Анатолий Васильевич... может, это все наивно... Но ведь они могут нащупать слабое место в нашей обороне и неожиданно хлынуть в это место.

— Слабых мест пока нет, — уверенно ответил Анатолий Васильевич, — а относительно неожиданности в начале данного наступления... — он улыбнулся и задал вопрос Николаю Кораблеву: — Ваш завод где находится.

— В городке Чиркуле.

— Сможете вы, например, в течение недели неожиданно перенести завод в другое место и выпускать там моторы?

— Ох, нет! Год понадобится.

— А тут хозяйство неизмеримо больше вашего. Страна нам прислала сюда столько, что если бы все это повернуть на мирное строительство, мы воздвигли бы два-три новых Орла. Как ты думаешь, генерал? — обратился он к Макару Петровичу.

— Пять, — сказал тот и повторил: — Пять.

— Ишь. Подсчитал. Не три или четыре, а пять. Так вот какое хозяйство, Николай Степанович... если не больше, — чуть подумав, сказал Анатолий Васильевич. — Ваш завод невозможно неожиданно перенести в другое место, а здесь в начале наступления подобная неожиданность немыслима: удары для прорыва накапливаются месяцами; месяцами стягиваются пушки, минометы, пулеметы, танки, самолеты, подвозятся снаряды, горючее, войска, продовольствие, строится встречная оборона. Неожиданно перекинуть все эти колоссальнейшие материальные и людские силы немыслимо... Иначе — авантюра.

— Да ведь в конце концов война и есть авантюра: военачальнику разрешено все — обман, подкупы, убийства, неожиданные выступления, — проговорил Николай Кораблев, все еще не отрывая взгляда от карты.

— О-о-о! Нет. Война — это наука, с такими же законами, как и математика: военачальник должен разбить противника до выступления. Он этого не сможет сделать, если будет руководствоваться только

обманом, подкупами. Обман, подкупы, убийства — это десятистепенное. У Гитлера на первом месте обман, подкупы, убийства, другими словами — авантюра.. И такая авантюра непременно приведет к краху.

— А чего же вы так волнуетесь?

— То есть? — недоуменно спросил Анатолий Васильевич.

— Раз вы уверены в крахе противника, почему же так волнуетесь?

Анатолий Васильевич отступил на шаг от Николая Кораблева и, тоненько улыбаясь, окинул его взглядом:

— Люблю я вас такого. Почему я волнуюсь? Нет, это не то — «волнуюсь». Я чрезвычайно напряжен, потому что мы собираемся выступать на сцену и нам надо все предвидеть, все учесть.

Николай Кораблев понял, что Анатолий Васильевич сейчас находится в таком состоянии, когда у него обо всем можно спросить, и он, без страха очутиться в наивном положении, стал быстро задавать вопросы, волнующие его самого:

— А вы в точности учли силы врага?

— Врага, который стоит перед нашей армией, — Анатолий Васильевич провел карандашом по карте против своей армии, — мы видим, как голенького, и знаем, какие у него силы, где расположены, чем вооружены, какова там оборона, кто командует — дурак или умный в военном отношении. Все это нам известно.

— И известно, где и когда немцы выступят? — спросил Николай Кораблев.

Анатолий Васильевич некоторое время о чем-то думал, затем развел руки:

— Хвастаться не буду: не знаю.

Николай Кораблев ждал, что командарм расскажет ему о самом главном: в каком месте и когда немцы выступят, — а тут — «не знаю». Он посмотрел в глаза Анатолию Васильевичу и, видя, что глаза у того по-умному задумчивые, а не с хитрецой, решил про себя: «Нет. Он серьезен», — и растерянно пробормотал:

— А тогда как же работать, воевать, если не знаешь? И никто не знает?

— Эко оторвал! .. Даже побледнел, — смеясь, проговорил Анатолий Васильевич. — Нет. Я уверен, Сталину известно все. Понимаете, все: и где немцы сосредоточили основные силы, стало быть намерены нанести удары, каковы их общие силы, и даже известно, в какой день и час они хотят выступить. Но ведь возможно и другое: Сталин даст нам приказ выступать. И это возможно. Почему вы все время спрашиваете, когда немцы выступят, а не мы?

— Я вообще спрашиваю: когда?

— Когда? Этим интересуемся мы все и вся наша страна, — Анатолий Васильевич, как-то холодея, повернулся к Макару Петровичу, видимо намереваясь закончить разговор о состоянии на фронте.

Николай Кораблев, боясь именно этого, торопливо проговорил:

— Простите за назойливость. Но план вам известен? План?

Анатолий Васильевич опять стал таким же — готовым к разъяснениям.

— План? — спросил он в свою очередь. — Генеральный план наступления? Вижу, вы с ног до головы гражданский человек и думаете, если вам как директору завода известен генеральный план наркомата, да не только, полагаю, наркомата, то и нам известен генеральный план наступления, — он покачал головой. — Не-ет. Мы к этому не прикасаемся, как к святая святых. Такой план безусловно есть. План этот гениален.

Николай Кораблев вздернул плечи:

— Почему вы говорите гениален, если он вам неизвестен?

Анатолий Васильевич задумался, затем сказал:

— Видите ли, я знаю товарища Сталина как великого полководца еще по гражданской войне. Я знаю его и по Сталинградскому побоищу. А теперь вижу его уже как гениального полководца вот здесь, под Орлом. В чем это сказывается? .. Можно разработать очень талантливый план наступления, но он может остаться произведением военного порядка для потомства, если не будет подкреплен материальными и

живыми силами. Материальные силы у нас ныне превосходны, мы ими блестяще оснащены.

— А я еще видел, что́ двигается сюда с Урала, из Сибири.

— Да только ли с Урала и из Сибири? Со всех концов страны двигаются к нам материальные силы. Их даете нам вы, под руководством товарища Сталина. Но для проведения в жизнь гениального плана нужны не только материальные силы — пушки, танки, самолеты и прочая, прочая, но и главным образом живые силы, то есть люди, умело и беззаветно выполняющие волю автора плана. Эти силы нам тоже даете вы. Но обучать, по указанию товарища Сталина, их приходится нам. К нам в армию идет человек сознательный, который любит жить, мирно и честно трудиться, а тут ему надо убивать... и умирать. Сейчас и живые силы у нас превосходны, — Анатолий Васильевич, радостно поблескивая глазами, чуть подождал и уверенно добавил: — Вот, судя по этим основным признакам, Николай Степанович, я и утверждаю: генеральный план наступления гениален, — он неожиданно смолк и, улыбаясь, стал внимательно смотреть в окно.

— Значит, вы... вы... — раздумчиво произнес Николай Кораблев.

— Что «вы»? А-а! Хотите сказать, что мы связаны по рукам и ногам генеральным планом?

— Не совсем так. Но мне казалось...

Анатолий Васильевич торопливо перебил его, поглядывая в окно:

— Понимаю, что вам «казалось». Раз, дескать, командарм, то ему предоставлена полная свобода действия. Такая свобода нам дана, как и мы ее даем комдиву, комдив — командиру полка. И так далее... Это во время исполнения задания. Задание намечено — решай его творчески. А до того, пока не подана команда, жди.

— Но ведь герои гражданской войны... — заикнулся было Николай Кораблев.

— Легендарные герои, — снова торопясь, перебил его Анатолий Васильевич. — Чапаев! Кочубей! Щорс!

Вы про них хотите сказать? Им, дескать, дан был простор? Дорогой мой, представьте себе: на фронте в две с лишком тысячи километров нам, командармам, дают «простор»: делай, что хочешь. Да я бы завтра же и выступил. Я — завтра, а сосед мой — через неделю, другой сосед вообще не выступил бы... Да так бы по всему фронту. У-ух, милый, каша бы какая была!.. Нет. У нас очень почетная роль — мы исполнители воли товарища Сталина, — и Анатолий Васильевич, все так же внимательно посматривая в окно, не выдержал, произнес: — Смотрите-ка, это наш генерал Тощев, командующий артиллерией. Вон кого-то на дороге раздолбал. Дай-ка ему простор, так он сегодня же всю мощь своей артиллерии обрушит на врага. А что толку? Нет, вы посмотрите только на него!

На дороге стоял генерал в зеленоватом, в талию, кителе, в синих брюках галифе, в сапогах с узкими носками и с голенищами в обтяжку. Все на нем было тщательно пригнано, почищено, отутюжено, как на учителе танцев. В правой руке у него хлыст для верховой езды. Стоя на дороге, генерал что-то чертил хлыстом на земле. Чертил долго, упорно, потом вдруг все затоптал и направился в хату Макара Петровича.

Анатолий Васильевич, смеясь, проговорил:

— Раздолбал. Своеобразный человек.

Через какую-то минуту Тощев, не постучавшись, вошел в комнату. Переложив хлыст из правой руки в левую, он, поприветствовав, подчеркнуто независимо произнес:

— Здравия желаю, — затем сел на стул, легонько ударяя хлыстом по начищенному голенищу, посматривая на всех из-под пенсне острыми глазками.

Следом за ним вошел Троекратов. Этот поздоровался со всеми за руку, подсел к Николаю Кораблеву и шепнул:

— Зашли бы к нам в политотдел. Посмотрите нашу работу, да и поговорить хочется. Ведь недавно раскритиковали в Москве третий том «Истории философии». Попало кое-кому. Признаться, я тоже считал немецкую философию передовой, а Гегеля —

учителем Маркса. А тут как раскритиковали! Слыхали, поди-ка?

— Не только слышал, но и читал...

— Правильно, пожалуй, по Гегелю ударили?

— Да не по Гегелю. Чего его «ударять»? — еще не остывший от разговора с командармом и досадующий на то, что этот разговор прервали вошедшие, громко произнес Николай Кораблев. — Ударили, мне кажется, по тем, кто возвеличил Гегеля.

Генералы стихли, прислушиваясь, и если бы не это, то Троекратов, вероятно, согласился бы с Николаем Кораблевым, но тут его «заело», и он со скрытым пренебрежением, но все тем же мягким, бархатным голосом произнес:

— Легче, конечно, Гегеля назвать мракобесом, чем разобраться в его учении.

Николай Кораблев понял, что сказанное адресуется к нему и это сказанное можно перевести так: «И чего, дескать, вы лезете не в свои дела: строите моторы, ну и стройте, а философия вам недоступна». Поняв так слова Троекратова, он прикусил нижнюю губу и резко сказал:

— А вы не объявляйте монополию на Гегеля.

— Ишь, ишь! — подхватил Анатолий Васильевич. — «Монополию». Действительно.

— А я и не объявляю, — уклонился Троекратов, в то же время думая: «А ему палец в рот не клади», — и вслух: — Я только полагаю, что нельзя сбрасывать со счетов немецкую философию, тем более Гегеля.

— А мы и не сбрасываем. Мы просто даем точную оценку, — еще резче проговорил Николай Кораблев, думая: «Ну, это тебе не военное дело, и тут ты меня голеньким не возьмешь».

— Я Гегеля не читал, — сказал Тощев и с силой ударил хлыстом по начищенному голенищу.

На слова Тощева никто не обратил внимания, только Троекратов украдкой косонул на него глазами и произнес:

— Нелегко разобраться в трудах гения.

— Да ведь, Николай Николаевич, понятие «гений» тоже изменилось. Наполеона считали и считают ге-

нием. Почему? Не потому ли, что он когда-то утопил в крови всю Европу? — в упор глядя на Троекратова, проговорил Николай Кораблев.

— У Наполеона есть чему поучиться, — вмешался Макар Петрович, постукивая костяшками пальцев по столу.

— В военном деле? А во имя чего?

— Во имя блага народа, Николай Степанович.

— Но ведь немецкие генералы тоже учатся у Наполеона военному делу. А во имя чего?

«Ох ты, как он поворачивает, — восхищенно подумал Анатолий Васильевич, любовно посматривая на Николая Кораблева, — оказывается, он не просто директор», — и вслух:

— А ну, давайте. Давайте, Николай Степанович. А то у нас тут полковник Троекратов действительно объявил монополию на Гегеля.

— Я понимаю, — смутясь от слов Анатолия Васильевича, продолжал Николай Кораблев, — я понимаю и целиком принимаю, что Маркс, Ленин, Сталин — гениальные люди, или тот же Дарвин, или наш Павлов, или супруги Кюри, открывшие радий. Но Гегель? Почему Гегель гениален? Я никак не пойму. Может быть, потому, что он считал прусскую феодальную монархию последним и высшим этапом развития человеческого общества?

— Но ведь он это утверждал под конец своей жизни, — почему-то краснея, проговорил Троекратов.

— Ага! — воскликнул Анатолий Васильевич. — Под конец? А конец. . .

— Всему делу венец, — определил Макар Петрович.

Тощев снова и еще сильнее ударил хлыстом по голенищу и высказал то, что он хотел сказать вначале:

— Я Гегеля не изучал, но с удовольствием его раздолбаю.

Анатолий Васильевич залился звонким смехом и, протянув руки к Тощеву, показывая на него, выкрикнул:

— Гегеля! Гегеля хочет из артиллерии раздолбать!

Нет, ты уж его не тронь, Гегеля... а вот тут немцев долбай до той поры, пока из них икра не полезет, как говорили у нас в гражданскую войну.

— А вы, Николай Степанович, не хотите также раздолбать Гегеля? — с задиринкой спросил Троекратов.

— Генерал сказал в шутку, — ответил Николай Кораблев.

— А вы?

— Я не артиллерист.

— Но хотите выкинуть Гегеля из истории?

— От этого ничего не изменится, если я поступлю так, — Николай Кораблев рассмеялся, ясно понимая, к чему клонит Троекратов, и добавил, видя, что все слушают его с большим вниманием. — Не отрицаю, что Гегель на каком-то этапе был учителем Маркса, не отрицаю, что на каком-то этапе было трудно понять «Капитал» Маркса без знания Гегеля.

— Ну вот. Ну вот, — подхватил Троекратов.

— Вы не радуйтесь заранее, — подчеркнул Николай Кораблев. — Ведь надо же понять, особенно вам, философам, что прошло столетие, за это столетие появились такие вершины, как Ленин и Сталин. Они научили нас разбираться в «Капитале» Маркса... а за это время мы еще увидели и другое: Гегель принес немало вреда народу, или тот же Кант. Ведь в Германии на Канта молятся. А вы тоже?

— Ну вот, ерунда какая.

— А тогда почему же — Гегель гений, Кант гений?

— Эх! Эх! — воскликнул Анатолий Васильевич. — Зажал! Взял за жабры!

Тогда Троекратов, бледнея, сказал:

— Мы с вами как-нибудь поговорим вдвоем.

— Зачем же вдвоем? Надо вот здесь. Большой философ должен быть и большим политиком. Если учение того или иного, как вы говорите, гения приносит вред рабочему движению, то учение этого «гения» надо жестоко критиковать, а не преклоняться перед ним.

— Вот, — подхватил генерал Тощев. — Вот я и го-

ворю: я этих гегельянцев и кантианцев, что собрались по ту сторону линии фронта, с удовольствием раздолбаю.

Все притихли, ожидая, что Анатолий Васильевич снова рассмеется, но тот сказал:

— А ведь генерал в большой степени прав: по ту сторону немало кантианцев и гегельянцев.

В комнату вошел еще генерал. Анатолий Васильевич сразу стал каким-то совсем другим — напряженно-серьезным. Вошедший генерал, пожалуй, был такого же роста, как и Макар Петрович, но очень худой и седой. Когда он на секунду задержался у порога, то Николаю Кораблеву показалось, что он в очках. Но очков не было: на бледном лице горели глубоко запавшие черные глаза. И тут же Николай Кораблев увидел, что генерал еще совсем молодой, и еще он заметил, что к этому генералу все относятся по-доброму, тепло. А генерал, ни с кем не здороваясь, прошелся и сел на кровать Макара Петровича. Тощев вскочил со стула и, подвигая его генералу, сказал:

— Товарищ член Военного совета, вам там, вероятно, неудобно сидеть.

— Удобно, — ответил тот глуховато-усталым голосом. — Сидеть везде удобно. Впрочем, есть места, где и неудобно, — в тюрьме, например, — он слегка засмеялся, затем обратился к Николаю Кораблеву и, все еще не остывший от шутки, сказал: — А вам-то я и не рекомендовался. Ну, генерал Тощев уже сообщил, — член Военного совета армии, а фамилия почти такая же, как и ваша, — Пароходов. Вы Кораблев, а я Пароходов — тоже корабль, — он повернулся к Анатолию Васильевичу и спросил: — Был у тебя офицер?

— Был. Был, — торопливо ответил тот.

— Хорошо. Очень хорошо, — намекая на что-то, проговорил Пароходов. — А теперь начнем? Начнем, Макар Петрович, — и снова обратился к Николаю Кораблеву: — Узнали его, Макара Петровича? Дивный мужик. Одно время был председателем райсовета в Москве, затем окончил военную академию, а теперь начальник штаба. Вон где! А-а! Макар Петрович!

— А он? А он — секретарем райкома в том же районе, — почему-то рассмеявшись, бася, выпалил Макар Петрович. — Бывало, по воскресеньям на рыбалку вместе ездили, — он смолк, как всегда резко сжал губы и, достав из портфеля огромную карту, при помощи Тощева повесил ее на стене.

Пока вывешивали карту, Николай Кораблев тихо спросил Троекратова, кивая на Пароходова:

— Молодой, а побелел, как дед. Что с ним?

— Трагедия страшная, — так же тихо ответил тот. — В Ефремове — тут неподалеку городок — немцы растерзали его семью: жену и двоих ребят; одному-то уже было лет шестнадцать. Вот с тех пор. Ну, давайте слушать.

5

Карта была испещрена особыми штрихами — синими, красными, зелеными, черными, — и еще туда и сюда рвались густые, жирные стрелы. Иные из них метили в лоб Орлу, другие — куда-то в сторону, в обход Орла и дальше, минуя Брянск. А тут, на реке Зуше, все было разрисовано кружками, квадратиками, пирамидками. Так же все было разрисовано и по ту сторону реки и особенно густо под Орлом и за Орлом. А вот и знаменитая «колхозная конюшня». Она перекрыта штрихами раза три-четыре.

«Вон почему эту карту так охраняет Макар Петрович: в ней вся тайна», — неотрывно глядя на карту, подумал Николай Кораблев.

— Ну вот, Николай Степанович, все и налицо, как говорят. Видите, сколько паутин наплел Макар Петрович. А теперь генерал Тощев нам расскажет про свое. Что у вас за ночь изменилось? Слушаем, — почти скомандовал Анатолий Васильевич.

Генерал Тощев вытянулся перед картой и начал докладывать:

— Сегодня ночью, товарищ командарм, все поставлено на свои места, то есть закончено последнее передвижение. Я подчеркиваю, товарищ командарм, всюду, — проговорил он и смолк, видя, что Анатолий

Васильевич смотрит не на карту, а куда-то в сторону и будто не слушает. — Всюду, — еще раз сказал он.

— Я слышу и вижу, — ответил Анатолий Васильевич. — Продолжайте... да ясней.

— Здесь вот, на участке в шесть километров, мы выставили около шести тысяч орудий — это вместе с минометами... и замаскировали.

Николай Кораблев притаил дыхание, высчитывая в уме: «Это же... это же на каждый метр...»

Тощев продолжал:

— Остальное, товарищ командарм, расположено вот здесь, в лесу. До сегодняшнего дня, по вашему приказанию, двигаются только ночью.

— Генерал Ивочкин! Где танки... пехота? — почему-то даже с визгом выкрикнул Анатолий Васильевич.

Макар Петрович подскочил к карте и, тыча в нее пальцем, быстро заговорил:

— Вот здесь... и вот здесь... Уральский добровольческий танковый вот тут, товарищ командарм.

— Я вас спрашиваю, где танки и пехота противника? А он мне: «Тут, тут!»... Знаете, где все наше, а где у врага? — он смолк и, как все, посмотрел на дверь.

В дверь кто-то ломился: слышались голоса часовых и еще чей-то — настойчивый, грубоватый. И вот на пороге появился Саша Плугов. Он, все так же по-юношески улыбаясь, как будто его чем-то одарили, проговорил:

— Извиняюсь за нарушение... но понимаешь ли, инфузория какая... — и вытянулся: — Товарищ командарм, разрешите доложить? — Вынув из полевой сумки листовку, написанную на немецком языке, он приложил к ней перевод и подал Анатолию Васильевичу.

Анатолий Васильевич прочитал листовку по-немецки, затем, подумав, стал читать перевод. И по мере того как он читал, лицо его зеленело, глаза суживались, пальцы на правой руке собирались в кулак. Прочитав, он тихо, сдержанно и с большой горечью сказал:

— Что это? Подогреть нас хотят или... в самом деле начинается? — и подал листовку генералу Пароходову.

Тот ее тоже прочитал, повертел в пальцах, затем протянул Анатолию Васильевичу. Сначала казалось, он все это проделывает вяло, неохотно, но вдруг его черные глаза загорелись такой ненавистью, что Николай Кораблев чуточку отшатнулся от него, а Пароходов сказал:

— Наконец-то. Мертвецам захотелось скорее в землю — на постоянное место. Где достали, полковник Плугов?

— По ту сторону, товарищ член Военного совета. Вот и погоны, — Саша вытащил из кармана немецкие офицерские погоны.

Пароходов, брезгливо оттолкнув их, спросил:

— Как?

— Ребята подбили. Товарищ командарм, — обратился он к Анатолию Васильевичу, — те ребята, которых мы послали в Ливню. Наскочили на мотоцикл. Сбили офицера и водителя. У офицера вот эта листовка.

«И Ливня, значит?» — мелькнуло у Николая Кораблева, но к нему подсел Саша и тихо сказал:

— Те ребята большое дело сделали. Вернулись. Но вы не тужите: глядишь, через недельку вы и сами в Ливню попадете, — и вскочил со стула, заметя, как на него смотрит Анатолий Васильевич.

— Рокоссовскому послано? — спросил тот.

— Нет еще, товарищ командарм.

— Немедленно послать.

— А зачем? — возразил Пароходов. — Ведь ему то известно, что известно нам с тобой, Анатолий Васильевич?

— Простите, — вмешался Николай Кораблев. — Я что-то ничего не понимаю. Если это не секрет?..

— Секрет-то, конечно, секрет, да еще какой, но... — Анатолий Васильевич взял было листовку и хотел передать Николаю Кораблеву, но, заглянув в окно, резко повернулся к двери и пошел на выход, пряча листовку в грудном кармане.

6

По улице, поднимая вихрь пыли, пронеслись три легковые машины. Впереди — длинная, обтекаемая, ослепительно таращась ярким радиатором, а за ней еще две. Первая шла плавно, будто по асфальту, только иногда накреняясь то на одну, то на другую сторону. А за нею две коротенькие, юркие. Они прыгали на ухабах, подскакивали и, казалось, выбивались из сил, чтобы не отстать от первой. Но вот первая машина, резко затормозив, остановилась около хаты, где жил Анатолий Васильевич, и тут же две другие, тоже круто затормозив, стали по бокам. Со двора выбежала Нина Васильевна, а из первой машины вышел военный человек в плаще. На ходу стянув перчатку, сняв с головы фуражку, он подошел к Нине Васильевне и поцеловал ее руку.

— Командующий фронтом, — преобразившись, напоминая чем-то простого бойца, произнес Анатолий Васильевич и стремительно выбежал из хаты, а за ним и все остальные, кроме Николая Кораблева.

Этот припал к окну и прошептал:

— Рокоссовский! Рокоссовский! Так вот он какой — Рокоссовский!

Рокоссовский шел впереди, высокий, затискав руки в карманы плаща, так поддерживая полы, раздуваемые ветром. По правую сторону, весь наготове, забегая вперед и что-то объясняя, шел Анатолий Васильевич, по левую — Макар Петрович, все такой же спокойный и уравновешенный, а за ними — Тощев, Плугов, Троекратов и кто-то из новых — генерал авиации. Среди них не было Пароходова. Этот, оказывается, не выходил на улицу, и как только вся группа генералов и полковников направилась к хате Макара Петровича, он вошел в комнату и сказал смущенному Николаю Кораблеву:

— Не стесняйтесь: там уже, наверное, Анатолий Васильевич сказал ему о вас.

И тут же комната заполнилась генералами и полковниками. Здесь Рокоссовский показался еще выше. Губы у него тонкие, подбородок узкий и длинный,

лицо усталое, а глаза большие, тяжелые, с поволокой. Быстро окинув всех каким-то отчужденным взглядом, он посмотрел на Николая Кораблева и шагнул к нему:

— Очень рад вас видеть. Анатолий Васильевич уже сказал мне. Спасибо вам всем, уральцам, и за вооружение и за людей. Вчера принимали добровольческий танковый корпус. Замечательные машины, и еще лучше люди. С такими можно добраться до Берлина.

Николай Кораблев стоял перед ним, не зная, что ответить, думая:

«Вот он какой — любимец страны», — затем хотел было это сказать, но смолчал, боясь, что Рокоссовский его слова примет за лесть, и спросил:

— Значит, танковый корпус уже здесь?

— Нет, нет, — как-то невнятно проговорил Рокоссовский, видимо отвечая на какую-то свою мысль, и, спохватившись, пожал выше локтя руку Николая Кораблева: — Простите меня. Я, кажется, что-то невпопад... Я немного занят сейчас. Даже очень серьезно, — и он еще раз посмотрел на всех, затем внимательней на Сашу Плугова и сказал: — Прошу садиться, товарищи.

Все сели. Сел и Рокоссовский, а рядом с ним генерал авиации — короткий, но такой широкий в плечах, что казалось, его где-то в талии выпилили на полметра. Он сел и свирепым взглядом посмотрел на Анатолия Васильевича.

— Знаете его? Герой Севера — Байдук, — обращаясь ко всем, произнес Рокоссовский.

— Знаем. Как не знать? — тоненько, пряча улыбку, ответил Анатолий Васильевич. — Его ученики несколько дней тому назад бомбочки на пустое место сбросили. Как не знать.

Байдук еще свирепей посмотрел на Анатолия Васильевича, как бы говоря: «Я и по тебе шарахну, если будешь такое молоть». А Рокоссовский, как будто не слыша слов Анатолия Васильевича, еще раз посмотрел на всех, затем из грудного кармана вынул два листочка бумаги и, обращаясь к Саше Плугову, спросил:

— У вас такие же? — и, не дожидаясь ответа Саши, экономя каждую минуту: — Вот что решено Гитлером. Прочтите, генерал Ивочкин. Анатолий Васильевич, дайте свою.

Анатолий Васильевич быстро подал те листки, которые совсем недавно передал ему Саша Плугов. Макар Петрович пожевал ядреными губами и начал, как рапорт:

— «Приказ от тысяча девятьсот сорок третьего года. . .»

— Без подробностей, а суть, — заметил Рокоссовский.

Макар Петрович пробежал глазами по листочку и чуть погодя:

— «Пятого июля в четыре утра германская армия переходит к генеральному наступлению на Восточном фронте. . . удар, который тут нанесут немецкие войска, должен иметь решающее значение и послужить поворотным пунктом в ходе войны. . . это последнее сражение за победу Германии».

Макар Петрович подождал и добавил:

— Подписал Гитлер.

В комнате наступила тишина.

— Вот в какое дело вы попали, — нарушая тишину, обращаясь к Николаю Кораблеву, проговорил Рокоссовский, затем протянул руку к листовке и, отобрав ее у Макара Петровича, пошел к выходу, сопровождаемый Анатолием Васильевичем.

В дверях Рокоссовский что-то шепнул командарму, и тот, чуть подумав, кивнул головой, сказал:

— Слушаюсь!

7

Макар Петрович в комнате остался один. Он долго сидел за столом, что-то обдумывая, затем произнес:

— Значит, начинается. . . посмотрим, чьи паутины крепче, — сложив руки на груди, он тут же, отбрасывая, разгибая пальцы, как бы что-то скидывая с них,

добавил: — Нет. Нас им теперь не сломить, — и вдруг все та же тревога, которая так часто заставляла его быть мрачным, крепко сжимать губы, — все та же тревога снова закралась в него.

Он поднялся из-за стола, прошелся, перебирая в голове все-все: и то, где какие части стоят, и то, как передвинут танковый корпус, и то, как расположены артиллерия, минные поля, танковые преграды, окопы, блиндажи, наблюдательные пункты, питательно-снабженческие пункты, госпитали, обозы, автопарки. Все-все перебирал Макар Петрович, напряженно отыскивая гнилую тесемку... Он уже как будто что-то и находил в этом колоссальнейшем хозяйстве, как неожиданно в дверь условно — три раза — постучал адъютант.

— А ну! Войдя! — раздраженно крикнул Макар Петрович.

Адъютант вошел, искоса кинул взгляд на толстый портфель и положил на стол письмо:

— Вам письмо, товарищ генерал.

— Хорошо. Ступай, — и по почерку Макар Петрович узнал, что письмо от жены.

Жене — Марии Терентьевне — было под сорок, но не годы старили ее. Ее старила небрежность к себе, к своему платью, а Макару Петровичу хотелось, чтобы его жена прилично, чистенько одевалась, чтобы не садилась за стол с длинными грязными ногтями, ему все время хотелось, чтобы она поправилась и походила на женщину — на жену генерала... и, однако, он чувствовал, что ему легче справиться с армией, чем со своей женой.

В апреле, получив двухнедельный отпуск, он отправился в Москву и тут увидел, что его жена еще больше опустилась, что ею теперь руководила уже не простая небрежность, а другое — страх перед немцами. Она об этом прямо не говорила, но стала намекать на то, что не лучше ли ей и дочке отправиться куда-нибудь в Сибирь, ну хотя бы на станцию Тайга, где живут ее родственники.

«И этих разыскала», — неприязненно подумал Макар Петрович.

А жена, увлекшись, не видя хмури мужа, смелее высказала то, о чем думала тут, без него:

— Немцы ведь опять могут хлынуть на Москву.

— Не хлынут, — сказал Макар Петрович.

— А вдруг? Тогда куда мы с Верочкой? И вещи наши!

Это так больно резануло Макара Петровича, что он не выдержал и горестно произнес:

— Значит, на вещи хочешь и меня и страну поменять? Ах, Маша! Маша! И как тебе не стыдно!.. И ходишь ты — нищенка какая-то. Ведь у тебя есть туфли, каракулевое пальто... и халат я тебе чудесный купил. А ты?

Глаза Марии Терентьевны от ужаса стали больше, и он в эту минуту радостно подумал: «Наконец-то пронял я ее», — но она зашептала:

— А воры? Воры, воры, Макарушка! Увидят на мне каракулевую шубу и ночью...

— О-о-о, боже мой! — только и воскликнул ошарашенный Макар Петрович.

Уезжая, он хотел было захватить с собой плюшевое одеяло: ему надоело солдатское синее. Мария Терентьевна безотчетно произнесла:

— Не бери, Макарушка. А вдруг тебя убьют... и одеяло... — она быстро спохватилась, увидав, как все его лицо передернулось, и хотела что-то еще сказать, видимо поняв, как нелепо и сильно ударила мужа, но тот, отбросив одеяло, опередив ее, произнес:

— На! Живи! — и уехал злой и мрачный.

И вот сейчас он долго смотрел на письмо, не открывая его.

Ему, Макару Петровичу, было всего сорок два года. Полюбил он свою Марию давно. Полюбил сразу, в один миг, встретившись с нею на молодежной вечеринке (хотя перед этим сам часто выступал на диспутах о любви и доказывал, что в один миг, сразу, влюбиться нельзя). Какая она была девушка! Воздушная! Ну, разве теперь можно так говорить: «воздушная»! Но тогда она ему именно и показалась воздушной: тоненькая, небольшого роста, юбочка синяя — в гармошку. Потом они танцевали вальс...

а затем все случилось само собой. Как-то, года через три после первой встречи, Мария увела его к своей матери, сказав дорогой: «Мы с тобой, Макарка, навечно».

Через два года Мария родила дочку, Верочку. Да, да. Так и назвали — Верочка, что означало: верим друг другу навечно. Навечно? Потом это слово стало смешно... всего через какие-нибудь пять-шесть лет. За эти пять-шесть лет Мария стала совсем другой... И эта другая Мария пришла как-то незаметно, как иногда незаметно где-нибудь в темном углу заводится плесень. Прежнюю Марию — интересующуюся общественными делами — как будто кто-то вытряхнул и вселил другую Марию, которая интересовалась уже только одним — вещами, тряпочками для себя, для Верочки. Она за эти пять-шесть лет натащила откуда-то чемоданы и иногда целые вечера проводила за тем, что рассматривала отрезы — шерстяные, батистовые, шелковые, — чулки, чулочки. У нее даже появилась страсть — таскаться по магазинам. Придет в магазин, встанет у прилавка и долго-долго рассматривает материалы... и вдруг скажет приказчику: «Отрежьте мне вот этого... и вот этого... и вот этого». Нарежет гору и тихонько скроется, а вечером, радостная, рассказывает Макару Петровичу:

— Понимаешь... будто я что-то купила. Нет, когда мы будем богаты, я столько-столько накуплю, — и разводила руками, как бы обнимая весь мир.

— Ты это зря, — сказал ей однажды Макар Петрович. — Что ж, нарезала, деньги не уплатила, да и платить тебе нечем... что ж, приказчик ждет, ждет, а вечером раскладывай? Он, наверное, сколько тебе чертей вдогонку посылает.

— Ну и что же? Он ведь меня не знает, — это Марией было сказано так просто и в то же время так грубо, что у Макара Петровича в ту минуту и оборвалось все то, что казалось «навечно».

С того дня он перенес всю свою любовь на дочку Верочку: она и смиряла его, заставляя жить в семье, привязывала.

Сейчас Макар Петрович горестно крякнул, потя-

нулся к письму, повертел его в руках, намереваясь бросить в корзину, но, вспомнив про дочку — студентку второго курса, подумал:

«А может, что и от Верочки?»

«Макарушка, — писала жена, — у Верочки опять расхудились туфли (она говорила неправду: у Верочки туфли были новые). Пришли ты, пожалуйста, с кем-нибудь. Да смотри, пришли с честным человеком, лучше со своим подчиненным. А то нонче, знаешь, какие люди — украдут».

«И откуда у нее такое пакостное мнение о людях?» — подумал Макар Петрович, продолжая читать:

«И еще хорошо бы прислать Верочке и мне на осеннее пальто. Ведь это можно достать через военторг. Тебе дадут, ты ведь начальник штаба... посмелей только — вот и дадут. Припугни».

— Ох, — и Макар Петрович, сложив руки на груди, сжал кулаки, затем отбросил руки, как бы что-то скидывая с пальцев. — Чорт-те что... универмаг, что ль, у меня?! Да ну ее к чорту, — и, не дочитав письмо, изорвал его в мелкие клочья, как люди рвут компрометирующую записку, и обрывки кинул в корзину.

Затем он прошелся по комнате — носом в один угол, носом в другой — и остановился, намереваясь было опять заняться хозяйством армии, как снова раздались три условных стука и за дверью послышался голос адъютанта:

— Мария Терентьевна, товарищ генерал.

Эта новая Мария Терентьевна совсем не походила на ту — старую Марию Терентьевну. Эта рыжая. Да. Да. Рыжая. На голове у неё такие рыжие волосы, что иногда при закате солнца, когда она идет по улице без пилотки, то кажется, на голове пылает небольшой костер. Рыжая. На носу у ней веснушки — даже черные, будто кто чернилами накапал. Да и нос — утиный. Некрасива она — эта Мария Терентьевна. Может, потому и дожила до двадцати семи лет, не испытав ласки.

Вот она вошла, эта Мария Терентьевна, молча кивнула, поставила портативную машинку и застыла,

готовая слушать и печатать. Так она в один и тот же час приходит каждый день.

«Дурная ведь, — искоса посмотрев на нее, подумал Макар Петрович. — Дурная... ужасно дурная... и нос и веснушки... и вон подбородок крюковатый... а руки, пальцы с узлами, как у ревматика. Дурная ведь», — и, однако, ему всякий раз хотелось погладить ее по рыжим волосам. Может быть, это хотелось сделать потому, что у нее такие чудесные глаза: большие, синие, всегда заполненные притягательной грустью, открытые глаза, как у ребенка. «Дурная ведь», — еще раз подумал Макар Петрович, но тут же чувствуя, что в нем все подбирается и он сам становится живей, моложе. Так ведь каждый раз. Как только войдет в комнату Мария Терентьевна, ему хочется разговаривать, даже шутить. Он расторопно подвигает ей стул, сам садится, соблюдая, конечно, определенную дистанцию, и, прежде чем приступить к печатанию, задает ей неизменный вопрос:

— Как вы провели это время, Мария Терентьевна?

— Да как, Макар Петрович? — она пожимает узенькими, детскими плечиками. — Как всегда... Я ведь не скучаю: работы много — это спасает.

«И чего она мне всегда одно и то же», — думал он и однажды решил пошутить:

— Ничего, Мария Терентьевна. Вот кончится война, поедете домой и выйдете там замуж... за какого-нибудь директора.

Ох, что же он сделал, Макар Петрович! Ее большие глаза затуманились, и она вдруг, уронив голову на руки, тихо сказала:

— Если бы я была красива... Но я некрасива, и это я знаю... а если бы... если бы... тогда вы, Макар Петрович, не смеялись бы так надо мной. Вы бы... — она вскинула голову и, в упор глядя на него, договорила: — Вы бы не посмели так надо мной... над моим сердцем, — и, вспыхнув, став еще огненней, выбежала из комнаты.

Макар Петрович, ничего не поняв (он туго разбирался в таких делах), надулся, словно пузырь, сел на стул и, как бы вникая в какую-то военную операцию,

начал продумывать, почему так поступила Мария Терентьевна.

«Чем я ее обидел? Замуж? Ей, конечно, надо замуж. Некрасива? Совершенно верно. Нос, как у утки, рыжая, веснущатая... Но глаза? Глаза — да... И душа хорошая... Да и стан тоже — что и говорить... Но позвольте, Макар Петрович, чего это вы так расхваливаете?.. Если бы, если бы была красивая, вы бы?.. А-а-а! Да не может того быть!.. А почему не может быть? Что я — урод?»

И чем больше думал Макар Петрович, тем все дальше и дальше отодвигалась от него та Мария Терентьевна, которая только и требовала с него отрезы, чулки, ботинки... А эта?.. Эта рыжая Мария Терентьевна уже снова сидела перед ним, опустив голову на руки... рыжую голову, как костер.

Все это пронеслось перед Макаром Петровичем, пока он усаживал Марию Терентьевну на стул, глядя в ее пробор на макушке. Усадив, он сам сел, соблюдая определенную дистанцию. И как-то не замечая этого, впервые называя ее Машенькой, сказал:

— Ну вот, Машенька, пятого и начинается страшное кровопролитие. Гитлер отдал приказ наступать всем фронтом, — он ей доверял все, как себе, давным-давно проверив ее преданность и честность, — падут на поле брани десятки тысяч человек — отцы семейств, женихи, невесты... и, может быть, может быть, мы с вами больше никогда и не встретимся, — он положил свою широкую руку на ее левую руку с длинными, узловатыми пальцами, тихо провел и добавил: — Не думайте обо мне плохо, Машенька.

Дверь скрипнула, и в комнате появился, точно вырос из-под земли, Анатолий Васильевич.

Мария Терентьевна вспыхнула так, что ее лицо стало красней её рыжих волос. Она вскочила, прикрыла лицо руками и шарахнулась в дверь. Макар Петрович как сидел, так и остался сидеть, все еще держа руку «на руке Машеньки», но в следующую секунду он замигал и, не глядя на Анатолия Васильевича, пробормотал:

— Да-с. Да-да-с. Тек-с.

Проводив глазами Марию Терентьевну, Анатолий Васильевич посмотрел на стол, на машинку, в которой был заложен чистый лист бумаги, на Макара Петровича, затем снова на дверь и тихо было засмеялся, затем серьезно добавил:

— Благословляю. Если оно — это настоящее, а не просто баловство. У тебя жена — дрянь. Знаю. Извини за откровенность. Дрянь у тебя жена.

Макар Петрович встал, круто повернулся и, подойдя к командарму, крепко пожал ему руку:

— Спасибо. Нет! Тут, видимо, что-то больше... я еще сам не знаю.

— Хорошо. Что хорошо, то хорошо, — и Анатолий Васильевич запел свой старинный полковой марш, что являлось признаком прекрасного настроения; затем, оборвав, сказал: — Рокоссовский мне шепнул: «Мы опередим выступление немцев: выступим сами без пятнадцати четыре. Смешаем карты». Надо нам быть готовыми, Макар Петрович. Условный знак будет в два ноль-ноль.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В этот день все распорядки, заведенные Анатолием Васильевичем, были нарушены. Обычно он ежедневно вставал в восемь утра, завтракал, затем до часу принимал работников штаба, дивизий, полков и даже батальонов, после этого шел на квартиру к Макару Петровичу, где происходило небольшое совещание с генералами, полковниками — руководящей верхушкой армии, затем ехал на передовую или по тылам. В шесть обедал. После обеда никогда не спал: часа два читал журналы, романы, за последнее время все больше исторические, а главное, занимался математикой. Несколько месяцев тому назад он выписал учебники по алгебре и тригонометрии. Внимательно изучив их, он нашел немало несуразиц и по этому

поводу готовил докладную записку наркому просвещения академику Потемкину, которого знал с тысяча девятьсот двадцатого года. Потом снова принимал работников штаба и подытоживал с Макаром Петровичем день. В десять, по крестьянской привычке, плотно ужинал и в двенадцать ложился спать.

— Такое из него пушкой не вышибешь, — говорили в штабе и неизбежно сами подчинялись такому же распорядку.

Но сегодня все было нарушено. Сегодня, как ни уговаривала его Нина Васильевна, он даже отказался от ужина. Наконец она сказала, что у них ведь гость, Николай Степанович Кораблев, и будет неудобно не покормить его.

— Все думаете только о себе, а обо мне никто не думает, — раздраженно выкрикнул он и тут же спохватился: — Прости. Прости, Нинок. Но, право, мне не до приличий. Устраивай всё сама. А мне палку и плащ.

Нина Васильевна подала палку, плащ, и глаза у нее в эту минуту загорелись такой лаской, что он качнулся к ней, а она тепло произнесла:

— Все понимаю. И постоянно, всюду, везде с тобой.

— Эх, помощница, — полушутя, но радостно ответил он и, крикнув: — Галушко! — вышел из хаты.

Галушко уже знал, если командарм потребовал палку и плащ, — значит, он отправится «измерять любимую тропу». Такие любимые «тропы» и были всюду, куда бы штаб армии ни переезжал. Здесь, в Грачевке, такой «тропой» была старая, заброшенная дорога. Она, перерезая поле, тянулась от деревушки и упиралась в березовую рощицу. Увидав, что генерал взял плащ и палку, Галушко немедленно дал знать охране, а сам выскочил за Анатолием Васильевичем...

На темном небе Млечный путь ярко горел, переливался и дрожал, будто кто его слегка встряхивал. Но самое небо было необычайно спокойно: ни штурмовиков, ни разведчиков. Спокойно было и на земле:

пахло зацветающей рожью, наперебой трещали кузнечики, да где-то в болоте кричал коростель — беспрестанно, точно выполняя какой-то подряд.

Анатолий Васильевич, выйдя на «тропу», прислушался к старательному и деятельному треску кузнечиков, к неугомонному скрипу коростеля и посмотрел в небо.

— Просторы-то какие, Галушко! Ученые доказали, что вся солнечная система каждый день стремительно несется чорт-те куда... полтора миллиона километров, — проговорил он больше, пожалуй, для себя.

— Это чего ж несется? — спросил Галушко.

— А вот солнце, планеты, луна, земля наша и мы, значит, с тобой каждый день полтора миллиона километров отмахиваем.

— Я, товарищ генерал, читал... Фламмариона. Такого у него нема.

— Устарел. Устарел твой Фламмарион. После него астрономы далеко ушли, — и Анатолий Васильевич снова посмотрел в небо. — Страшно, брат, становится, когда вот так представишь: полтора миллиона километров все несется чорт-те знает куда! Да какие же вокруг нас бесконечные просторы? И неужели в этих бесконечных просторах нет чего-нибудь наподобие нашей земли? А если есть, неужели и там воюют, убивают друг друга?

— Нет. Там коммунизм, товарищ генерал, — уверенно произнес Галушко.

— Ишь ты, — чуть опешив, сказал Анатолий Васильевич. — Оно верно, при коммунизме войны не будет. При коммунизме, брат ты мой, человеку будет омерзительно не только убить человека, но и оскорбить. При коммунизме, Галушко, хорошо будет: человеку предоставят полную возможность — делай, что хочешь.

— Та вон же пакостить буде, товарищ генерал. Один скаже: хочу воровать; другой скаже: воевать дюже желаю, третий...

— Нет. Того не будет. Человек очистится от всякой пакости, особенно от такой, как желание воро-

вать, грабить и воевать. Человек станет творить, создавать ценности, познавать и покорять силы природы — в этом отношении человеку и будет предоставлена полная возможность.

— А если я захочу, товарищ генерал, квартиру на три комнаты, а на неё десять конкурентов? — резонно произнес Галушко. — Як же тогда не скандалить?

Анатолий Васильевич улыбнулся: он знал Галушко с первых дней войны, когда тот из десятилетки пришел в армию. Здесь он женился на Груше, и теперь у него самое большое желание: подыскать квартирку, поступить в университет, получить звание инженера, а потом работать на заводе — вот все, о чем мечтает Галушко. Какие скромные желания! Это ведь совсем не то, к чему устремлён тот, кто стоит по ту сторону линии фронта: тому нужны «жизненные пространства», то есть земельные отруба, имения, рабы, фабрики, заводы... и он кидается на человека, рвет глотку во имя... во имя «жизненного пространства». А Галушко? «Квартирку бы подыскать, стать бы инженером». Батюшки мои! А разве у большинства советских людей не подобные желания? Разве миллионы, одетые в серые шинели, чем отличаются от Галушко? Ведь у всех одно: прогнать врага с родной земли, разгромить его и снова вернуться к мирному, благородному труду... и через труд и науку украсить свою страну — шагнуть в эпоху коммунизма. А если в этих людях проснется зверь, то есть частица того, чем целиком заполнен тот, кто стоит по ту сторону линии фронта? Вот чего опасается полковник Троекратов — философ.

«Этого не может быть. Не может быть, чтобы мы, победив, вернулись в страну с человеком-зверем. Разве можно развратить Галушко? Да ведь тогда от него сбежит Груша, как от каждого сбежит жена, сестра, брат, знакомый». — Думая так, Анатолий Васильевич совсем забыл о Галушко, но тот напомнил:

— Что ж, товарищ генерал, нет ответа на мой ребром поставленный вопрос?

— Есть. Есть, — заторопился Анатолий Васильевич. — Ты представляешь, сколько добра сожрет эта война? Вот все те пушки, танки, самолеты, винтовки, пули, снаряды, склады продуктов. У нас в армии много. А сколько армий на фронте в две с лишним тысячи километров? Это у нас. А у врага? У него не меньше. Все это, да еще в несколько раз больше полетит на воздух. Полетят на воздух города, села, фабрики, заводы, деревни, посевы... В прошлую империалистическую войну одна только Россия израсходовала, знаешь, сколько? Пятьдесят пять миллиардов рублей.

— У-ю-юй! — тихонечко взвыл Галушко. — Пятьдесят пять миллиардов! Це же гора.

— Гора не гора, а подвалы золота. Надо полагать, что в эту войну будет израсходовано гораздо больше... А не будь войны, все это пошло бы на благо человека... и через несколько лет ты имел бы квартиру не в две комнатки, а в четыре, шесть да еще и личную машину. При коммунизме во всем мире не будет войны, и тогда все, что создаст человек, пойдет на благо человека же. А ты, Галушко, хотел бы жить при коммунизме? — неожиданно спросил Анатолий Васильевич.

— А як же?

— А Груша?

— Та вона же со мной нерастанна.

— Да-а, — протянул Анатолий Васильевич. — Так вот, чтобы жить при коммунизме, надо убить фашиста, — и вдруг, сорвавшись с мягкого шага, он пошел так, что Галушко еле поспевал за ним.

2

В таких случаях, когда Анатолий Васильевич срывался с мягкого шага, Галушко немедленно смолкал и неслышно плыл позади, иногда только произнося: «Обратно». Подсказав «обратно», он тут же, пока разворачивался Анатолий Васильевич, легко перескакивал ему вслед и снова плыл, как тень. Галушко знал, что в это время командарм думает о большом,

и поэтому глушил в себе всякие посторонние думы, весь сосредоточившись на Анатолии Васильевиче, чутко прислушиваясь к каждому его слову, к побочному шороху, скрипу.

Так всегда вел себя Галушко.

Но сейчас... сейчас генерал сам напомнил о Груше, и сердце у Галушко больно сжалось. Сегодня, после обеда, Груша сказала ему, что несмотря на все предосторожности:

— Почала-а-а. Васенька, — и, уронив голову на стол, сдержанно, боясь, что услышат другие, зарыдала.

У Галушко даже навернулись слезы, и он подумал:

«Ох, ты-ы! Что теперь я скажу генералу? Опередил?»

Они оба невольно копировали Анатолия Васильевича и Нину Васильевну. Анатолий Васильевич и особенно Нина Васильевна не стеснялись их: без посторонних вместе садились за обед, и тут шел семейный разговор, во время которого обязательно поднимался вопрос о детях. Анатолий Васильевич, напевая свой старинный полковой марш, произносил:

— У нас с тобой, Нинок, ребенок появится после Берлина.

Нина Васильевна радостно кивала головой. Галушко посматривал на Грушу, и та радостно кивала головой. А когда Галушко вместе с командармом отправлялся на передовую, Груша вскидывала руки ему на плечи и так же, как Нина Васильевна, говорила:

— Родной мой, ты там побереги себя.

Он отвечал словами Анатолия Васильевича:

— Смерть не страшна. Страшна позорная смерть.

И вот Груша уронила голову на стол, и плечи ее вздрагивают от сдержанного рыдания. Она подняла голову и глазами, такими лучистыми, в слезах, посмотрела на него и сказала:

— Васенька! Только не... все, что угодно, только не... не на стол к хирургу...

«Что же я скажу генералу?» — тревожно думал сейчас Галушко, глядя вслед командарму.

Анатолий Васильевич резко приостановил шаг.

как бы о что-то споткнувшись, и Галушко невольно толкнул его в спину.

На командарма в эту минуту навалилась страшная мысль: а вдруг немцы прорвут фронт именно вот тут — на линии его армии — и его армия побежит, бросая окопы, доты, дзоты, вооружение... И перед ним пронеслись те дни, когда его полк стоял на границе, северней Белостока. Тогда полк от полного разгрома спасла кажущаяся мелочь. Анатолий Васильевич имел привычку всегда быть наготове: он даже никогда не носил ботинки, зимой и летом — сапоги, которые снимал только перед сном. Нина Васильевна в летние дни иногда говорила ему:

— Толя, ты хоть дома-то туфли надень, жара такая.

— Не привык быть распоясанным, — отвечал он.

— Да ведь все тихо.

— А вдруг? Знаешь, иногда какое бывает «вдруг»? Не опомнишься потом. Гитлер стянул на границу девяносто три дивизии. Маневры, слышь. Маневры? Нашел глупцов. Вон сосед мой так и думает: манёвры, — по свадьбам гуляет, по именинам. То кум, то посаженый отец. Нет, у меня все по-другому. Ах, женился? Ну и что ж? Погуляй вечерок, а утром чтобы все были на местах. Дочка родилась, сын? Ну и что ж? Хорошо. Погуляй вечерок, а утром чтобы все были на посту. Голова болит? Не пей много — болеть не будет. Ты военный — слуга народа. Вот пойдешь в отставку, ну, тогда и гуляй хоть неделю.

Нет. В тот страшный день — двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года — у Анатолия Васильевича, как всегда, наготове стояли часовые, дозорные, пушки, танки, пехота. Утром двадцать второго июня он врага встретил ураганным огнём и штыками. Но сосед, застигнутый врасплох, в первые же часы покинул позиции и бежал в чем был. После этого враг насел на Анатолия Васильевича: со всех сторон лезли танки, била артиллерия, неслись самолеты, а полк, организовав круговую оборону, стоял насмерть. На пятнадцатый день разведка донесла, что немцы, оставя заградительные отряды, основными си-

лами хлынули на Минск. Анатолий Васильевич, прощупав слабое звено в цепи врага, прорвался и лесами, через топи, болота двинулся на соединение с Красной Армией. Ох, как было тяжко: люди умирали в боях, от голода, тонули в болотах, но полк двигался, двигался, двигался. Два с лишним месяца вел своих бойцов Анатолий Васильевич. И лишь под Ярцевом, сохранив знамя и честь, полк влился в войска Рокоссовского. После этого Анатолий Васильевич получил дивизию.

Тогда полк не дрогнул. А вот теперь? Не полк, а вдруг дрогнет армия? Дрогнет и побежит.

— Какой стыд перед страной, перед потомками!.. Испепеляющий стыд, — прошептал Анатолий Васильевич и, как бы о что-то споткнувшись, остановился.

В эту минуту Галушко невольно и толкнул его в спину. Командарм повернулся к нему, сказал:

— Ты что, как слепая лошадь, лезешь на меня?

— Забылся, товарищ генерал, — извиняясь, ответил Галушко, отступая.

— Забылся? А ты не забывайся.

— Не то что забылся, товарищ командарм, а думы в голове, что рой, — Галушко решил было сказать генералу про то, что стряслось у него с Грушей, но тот опередил:

— Думы? Это хорошо. Всегда думай. Не думает только чурбак с глазами. Тому чего думать? За него другие думают. Вон сосед — Купцианов. Тоже фамилию подобрал — Купцианов. Итальянец не итальянец. Да-а. Да как думаешь, наши бойцы танков боятся?

— Разные есть, товарищ генерал.

— Что это «разные»?

— А так: иной трухнет, другой и не трухнет.

— А такие есть, которые трухнут?

— Не без того, товарищ генерал.

— Ты вот что. Сколько времени-то? Ага, уже третий час. Долго мы с тобой бродим! Поди-ка, разбуди Макара Петровича и скажи, пусть поднимет генерала Тощева, полковника Троекратова. Через полчаса поедем на передовую. Хватит, поспали.

— А Николай Степанович? Ах, как просится з нами!

— С нами? Это с кем «з нами»? С тобой и со мной?

— Так точно, товарищ генерал, з нами.

— Ну и его буди... Нет. Я сам схожу к Макару Петровичу, — перерешил он, предполагая, что у Макара Петровича может быть Машенька. — Поди. Готовь машину. Николая Степановича разбуди. «З нами» поедет.

3

Из комнаты Макара Петровича слышался хохот. Хохотали двое. Один смеялся хриповато, до кашля, другой — по-молодому, звонко.

Анатолий Васильевич отворил дверь, шагнул и за столом увидел Машеньку. Рыжая, да еще раскрасневшаяся от хохота, она прямо-таки вся пылала. А рядом с ней Макар Петрович. Этот хохотал, закинув голову, широко открыв рот, постукивая костяшками пальцев по столу.

При появлении Анатолия Васильевича оба притихли, но не совсем: смех еще клокотал в них, как клокочет иногда кипяток в самоваре.

— В чем дело? — стараясь нагнать на себя суровость, спросил Анатолий Васильевич...

— Да вот я... да вот я, — заговорил Макар Петрович, — рассказал ей случай.

— Какой?

Макар Петрович начал рассказывать что-то весьма путаное о какой-то гнилой тесемочке, то и дело прерывая свой рассказ громким хохотом. Машенька молчала, хитровато, по-детски поблескивая глазами, — очевидно, ожидая эффектного конца, а Анатолий Васильевич, еще ничего не понимая, понукал:

— Ну! Ну!

Макар Петрович продолжал рассказывать все так же путано. И Анатолий Васильевич, поняв, что дело не «в случае», а в том, что у них у обоих сейчас такое, что заставляет смеяться даже над пустяком, сам

засмеялся. Затем, не дождавшись конца рассказа, сказал:

— Все это ловко! Ну, честное слово! — Он внимательно посмотрел сначала на Машеньку, потом на Макара Петровича. — Только уж не настолько смешон случай, как ваш смех, — и заговорщически подмигнул Машеньке.

Та снова вспыхнула, как костер, и потупила глаза. А Анатолий Васильевич, чуть согнувшись, прошелся по комнате туда-сюда и, остановившись, выпалил.

— Ну что ж, с законным браком, что ль?

Машенька, не ожидавшая такого, сначала стушевалась, потом кинулась в дверь, вытянув руки, вся устремленная, как иногда устремляется цыпленок за бабочкой. Анатолий Васильевич посмотрел ей вслед, улыбаясь, сказал:

— Хорошая жена будет, Макар Петрович. Только смотри: не пакостное ли в тебе? Если так, воздержись: на распутство идешь. Чего молчишь?

Макар Петрович некоторое время сидел нахмуренный, глядя на костяшки своих пальцев, потом сказал:

— Не-ет. Жизнь зовет!

— Эх, возвышенно умеешь говорить! Чего же вы тут ночь за столом?

— Днем-то она убежала, как вот и сейчас, а перепечатать надо было.

— Вижу. Вижу. Перепечатать! Ну, перепечатали? — Анатолий Васильевич заглянул на лист бумаги, вправленный в машинку. — На слове «стратегия» остановились? Ну, вот что, стратег, поедем-ка на передний край.

От такого предложения Макар Петрович даже вскочил со стула, сложив руки на груди, сжав кулаки, выкинул их, разжимая пальцы, как бы что-то сбрасывая с них:

— Ведь сами знаете, товарищ командарм: мне, когда вас здесь нет, не положено покидать штаб.

— Ишь! На «вы» перешел. «Не положено». Устав еще напомни. Ничего: я разрешаю.

4

Выйдя от Макара Петровича и искренно радуясь за него, Анатолий Васильевич вспомнил про Пароходова и попросил того разбудить. Но на квартире, где жил Пароходов, ответили, что генерал, в то время когда Анатолий Васильевич бродил по своей излюбленной «тропе», выехал на передовую, обещав оттуда позвонить.

— И то ладно, — ободряюще весело произнёс Анатолий Васильевич, хотя в глубине души и обиделся на Пароходова за то, что тот уехал один. — Галушко! — вскрикнул он. — Чтобы не накликать беды, выезжать из деревни будем попарно. Сначала Тощев и Троекратов, а потом мы с Макаром Петровичем. Встретимся у поленниц. Знают, где, — и пошёл в хату, чтобы проститься с Ниной Васильевной.

Войдя за перегородку, он увидел, что Нина Васильевна, покрывшись розовым одеялом, спит. Она спала на спине, закинув правую руку под голову. Обнаженная рука при бледном свете маленькой электрической лампочки казалась мраморной. Анатолий Васильевич склонился над женой и тихо, почти не касаясь, поцеловал ее в плечо.

«Не буди, — сказал он сам себе. — Она так хорошо спит, — и тут же в нем вспыхнуло другое: — А как же я уеду и она не будет знать? Мало ли что может случиться там. Вот еще», — и он снова нагнулся, намереваясь крепче поцеловать ее в плечо и этим разбудить, но поцеловал так же, еле касаясь губами.

— О-ох, — глубоко вздохнув, охнула Нина Васильевна и, еще не открыв глаза, наощупь протянула к нему руки, затем посмотрела на него и торопливо произнесла: — Раздевайся. Иди. Родной мой! Зазяб, наверное. Ночи стали сырые.

— Это в сентябре сырые, Нинок, — тихо проговорил он, присаживаясь на краешек кровати.

— Ах, ты вон что, — догадываясь, что он собирается куда-то ехать, она села, став босыми ногами на коврик. — Толя, как мне тут будет тоскливо без тебя! Но ведь ты скоро вернешься?

— К вечеру.

— Долго.

— Надо, Нинок. Надо, — он о чем-то подумал и тише добавил: — Скоро свершится то, чего мы так долго ждали.

Нина Васильевна знала, что ему известен не только точный день, но и час, когда свершится то, чего так долго ждали. Но она понимала и другое: о некоторых вещах спрашивать его нельзя, и, снова охнув, обняла его за шею, приблизила к себе, шепнула:

— Какую тяжелую ношу придется тебе перенести на своих плечах.

— Все понесем.

— И я. И я, Толя.

— Ты-то уж обязательно, — в шутку, точно обращаясь с ребенком, произнес он и тут же серьезно добавил: — А впрочем, я не знаю, как бы я эту ношу нес без тебя...

Нина Васильевна, не снимая рук с его шеи, легонько повиснув на нем и целуя его в губы, сказала:

— Только прошу тебя, побереги себя там... ведь у нас непременно будет ребенок...

Анатолий Васильевич вышел во вторую комнату и тут невольно подслушал, как за перегородкой Галушко прощался с Грушей. Такое он слышал не первый раз и не остановился бы, если бы что-то новое не прозвучало в словах адъютанта.

— То не беда, — бубнил Галушко. — То хорошо. Но что генералу скажу: опередили? Скажет: «Кто позволил?»

— Не скажет, Васенька, — послышался голос Груши. — Он ведь хороший, генерал, у нас. Лучше его на земле нет.

«Ишь-ишь! — воскликнул про себя польщенный Анатолий Васильевич. — Накуролесили чего-то и — «лучше его на земле нет», — он было хотел позвать Галушко, но тот сам вышел из-за перегородки и, увидав Анатолия Васильевича, растерянно скис, бормоча:

— Слыхали, товарищ генерал? Слыхали?

Анатолий Васильевич тоненько улыбнулся и, сам еще не зная почему, сердито проворчал:

— Что «слыхали»? Ехать надо, а он «слыхали».

— Разговор наш.

— Нужен мне очень ваш разговор, — еще сердитей проворчал Анатолий Васильевич и пошел на выход.

5

Первой из деревушки вырвалась машина генерала Тощева. За ней — машина Троекратова... И обе они вскоре скрылись в сгущенной предутренней тьме. За ними выскочили машины Анатолия Васильевича и Макара Петровича.

Вряд ли кто из едущих подметил то, что подметил Николай Кораблёв. Заря разгоралась — красная, красивая, теплая и притягательная — на востоке, в стране Советов, и кучилась тьма, убегая все дальше и дальше на запад.

«Символ. Какой-то символ, — подумал Николай Кораблев, всматриваясь то в убегающую тьму, то на разгорающуюся зарю. — И я верю в этот символ: все самое нужное человечеству поднимается от нас и наступает на тьму — капиталистическую мерзость. В это верю я. Верит весь наш народ. И неужели мы не победим тьму?» — так думал Николай Кораблев, полагая, что так думают и все едущие в машинах.

Но те, кто ехал в машинах, вовсе не обратили внимания ни на тьму, ни на зарю: каждый из них думал о предстоящем сражении, проверяя готовность к этому сражению.

Труднее всех, конечно, было Троекратову.

Анатолий Васильевич, Макар Петрович, Тощев и любой генерал, любой полковник, любой командир любого вида войск уже имели опыт прошлых войн. Из опыта прошлых войн они черпали многое, перерабатывая все это, применяя к современной войне. А у Троекратова позади почти ничего не было, кроме опыта гражданской войны. Но тогда, в годы гражданской войны, люди шли в бой, гонимые свирепой нуждой, угнетением, желанием построить новую

жизнь — без капиталистов и помещиков. За эти десятилетия такая жизнь была построена, и человек полюбил жить... И вот этому человеку, который так страстно любит жить, надо теперь итти в бой и умирать.

До армии Троекратов ежедневно читал в высших учебных заведениях лекции по историческому материализму, а по ночам рылся в трудах Гегеля, Фейербаха, Гельвеция, Беркли, Бэкона, забирался к Канту, Спинозе, Спенсеру, уходил в древность — к Демокриту, Аристотелю. За последние годы, изучив немецкий и английский языки, он стал читать подлинники. Ему казалось, что он хорошо знал учение Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. По крайней мере его в Москве считали крупным философом и, когда надо было дать оценку той или иной рукописи, посылали ее именно ему, профессору Троекратову. А получив отзыв, говорили:

— Ну! Так сказал Троекратов. А он, знаете ли...

И не все видели, что Троекратов, как и всякий человек, увлекшийся только теорией, стал мыслить логическими категориями, постепенно превращается в кабинетного человека. В армии он столкнулся с живой действительностью и тут понял, насколько жизнь сложна и многостороння. Здесь, в армии, он увидел, что все эти люди, хотя и объединенные единым, общим, тем, от чего они не откажутся под угрозой казни, однако в отдельности разные. Не было в армии людей, сплошь похожих друг на друга, как это он раньше предполагал. Люди тут были разные: одни — слишком обидчивы, другие — толстокожи, третьи — мягкотелы, четвертые — слишком любили жизнь, чтобы без страха умереть, пятые — слишком героичны: выходили на врага с открытой грудью и бесславно погибали; тот-то командир слишком берёг своих бойцов и поэтому проигрывал бой, а тот-то не берег бойцов, кидал их бессмысленно в пекло войны. Такой-то слишком перегружен, а такой-то дурака валяет. Были «шелопутные» командиры, которые всё хотели взять на «ура», и именно таких враг разносил вдребезги. Вот за всем этим пришлось смотреть Николаю

Николаевичу, вот все это ему надо было выправлять, налаживать, подчинять единой воле, двигать по одному руслу, то есть ему приходилось иметь дело с душой человека. Он обязан был путем живого слова и через печать воздействовать на бойца и командира так, чтобы тот с полным сознанием, с полной энергией выполнял то, что ему было поручено. В этом направлении, зачастую идя наощупь или пользуясь огромным опытом партии, и вел работу Троекратов. Сначала он через работников своего аппарата, через партийные организации проводил в армии нужную, но отвлеченную пропаганду о социалистическом государстве, о капитализме, о наемниках капитала — фашистах. Все это было нужно. Но когда в армию пришел Анатолий Васильевич, он вызвал к себе Троекратова и, выслушав его, сказал:

— Вы, дорогой мой полковник, вот что сделайте: выбейте из бойцов страх перед немцами.

— Мне кажется, товарищ командарм, мы от этого и не отклоняемся.

— Теоретически. Это, конечно, хорошо — теоретически, а вы еще практически.

— Не понимаю и не представляю, как?

— А вот как. Я прикажу, чтобы трупы немцев подольше не убирали. Пускай бойцы смотрят на мертвых немцев. Посмотрят и убедятся: «Не так уж чорт страшен, как его малюют». Затем с пленными. Возьмут в плен, так пускай не тащат их сразу в штабы, а сначала проведут по ротам, покажут бойцам. Увидят пленных — и опять убедятся, что не так уж чорт страшен, как его малюют.

Как раз во время этой беседы командир пятой дивизии полковник Михеев позвонил Анатолию Васильевичу и сообщил, что ему удалось выловить группу диверсантов. Диверсанты эти, переброшенные на советскую сторону месяца полтора тому назад, делали набеги на склады с горючим, на штабы, а главное, на мирное население: ворвавшись в ту или иную деревеньку, они сгоняли всех жителей — женщин, стариков, детей — в две-три хаты, поджигали или просто выводили в поле и расстреливали.

— Четырех мерзавцев поймали, товарищ командарм, — говорил по телефону Михеев. — Одиннадцать словить не удалось: убиты во время перестрелки.

— Ну, давай, давай их, полковник, сюда! — тихонечко и тоненько приказал Анатолий Васильевич. — Только не прямо ко мне. Неподалеку от нас батальон стоит. Пускай их бойцам покажут. Пускай поглядят.

С Троекратовым Анатолий Васильевич беседовал около часа, все стаскивая того с теоретических высот на «грешную землю». Под конец беседы в комнату ворвался встревоженный Галушко, а за ним боец — пожилой украинец, ведя за руку растрепанного диверсанта. У бойца и у диверсанта на лицах кое-где виднелись ссадины, текла кровь.

— В чем дело? — поднявшись из-за стола, проговорил Анатолий Васильевич, глядя то на бойца, то на диверсанта.

Боец, отдышавшись, взволнованно прокричал:

— Товарищ командарм, та шо ж воны наробили! О батюшки, шо ж воны наробили! — и тут он рассказал, что ему и трем бойцам полковник Михеев поручил доставить диверсантов в штаб армии, но по пути заглянуть в батальон, «чтобы ребята наши покрасовались на гадов». — А воны... воны, — уже басил он. — Воны ж, как только увидели, и давай... и давай... и давай... Вы же побачьте. Побачьте, шо воны наробили, товарищ командарм.

Анатолий Васильевич, глядя прямо в глаза бойцу, спросил:

— На кулаки, значит, взяли?

— Так точно, товарищ командарм.

— А как же этот остался? — Анатолий Васильевич кивнул на диверсанта.

— Да я ж на него лег, — ответил боец и удивленно добавил: — Так они шо: из-под меня его выковыривают. Кричу: «Смерть моя, а не дам! Я должен доставить в штаб, как приказано».

И вдруг Анатолий Васильевич прорвался таким звонким хохотом, что боец тоже засмеялся, а Анатолий Васильевич, оборвав хохот, помрачнел и проговорил:

— Вот до чего мерзавцы довели своими зверствами наших людей. На кулаки взяли. Да-а... — протянул он и, чуть подумав, крикнул, кивая на диверсанта:

— Галушко, отведи его в штаб!

— Да я же его сам, товарищ командарм, с вашего позволения...

— Нет, не пачкай о такую пакость рук. Судить будем его. И наверняка присудим к расстрелу. — Анатолий Васильевич с омерзением посмотрел на диверсанта. — Дрянь какая, а сколько людей погубил — женщин, стариков, детей. Дрянь какая, — и к бойцу: — А где же твои товарищи?

— Да ж не идут сюда, товарищ командарм. Стыдно: не укараулили.

— Ну, иди, — сказал командарм.

Боец, выходя из хаты, повернулся, внимательно-запоминающе посмотрел на Анатолия Васильевича и сказал:

— Благодарим, товарищ командарм.

Следом за этим Галушко вывел диверсанта.

В комнате остались Анатолий Васильевич и Троекратов. Они некоторое время молчали. Наконец Троекратов произнес:

— Страшная штука. Но...

— Что но? — спросил Анатолий Васильевич.

— Но я... я не осуждаю.

— Еще бы осуждать. Бойцы с ненавистью относятся к диверсантам — за это их осуждать... Ишь-ишь! Может, нам вообще отстраниться и все передать вам?

— То есть как это? — тревожно посмотрев на командарма, спросил Троекратов.

— А так: мы устраняемся. Вы надеваете вериги — пророк двадцатого века — и пускаете в ход пламенное слово.

— Чепуха какая.

— Она от вас исходит. Поймите, что вы на фронте, а не в университете. Нам с вами вручена судьба страны, судьба всех этих людей... и чем злее будут они, тем меньше их погибнет, тем скорее разгромим врага.

Троекратов поднялся и, не глядя на Анатолия Васильевича, сказал:

— Я полагаю... я думаю, что наш боец должен быть благороден.

— Об этом мы поговорим там, в Берлине, благороден он у нас или неблагороден.

«Грубый. Солдат. Ему лишь бы победить, а там — и трава не расти, — выйдя от командарма, возмущенный его словами, подумал Троекратов, но тут же его ожгла другая мысль, и он приостановился, глядя на носки своих сапог. — Погоди-ка... Ведь это война, и наш человек должен убить того, кто по ту сторону. Убить! Бандиту это свершить легко: он уже ходил по «мокрой». Погоди! Погоди! Ты какую-то чушь городишь. При чем тут бандит? Наш человек, советский человек, творец социализма — это он должен убить врага. Убить без сожаления, без раскаяния, а со всей ненавистью, как убивают клопа... У нашего человека очень доброе сердце, пусть оно очерствеет».

В задней комнате сидели политработники. Тут были капитаны, лейтенанты, майоры и рядовые бойцы. Все они, эти политработники, чем-то отличались от остальных командиров и бойцов. На них не было того военного щегольства, как на артиллеристах или летчиках: простенькие шинели, простенькие гимнастерки, чистенькие воротнички.

— Здравствуйте, товарищи, — бархатным голосом проговорил Троекратов.

Все поднялись и столпились около него, точь-в-точь так же, как, бывало, студенты.

— Вот что, товарищи. Давайте-ка все сюда, — и Троекратов, показывая рукой на дверь, пошел во вторую комнату; войдя в комнату, он открытым взглядом посмотрел на всех и произнес: — У нас в армии, товарищи, много новичков. Те, кто побывал в боях, кого уже обожгла война, знают, как надо обращаться с врагом и что с ним делать. А новичков надо учить. Из них надо... выбить... Нет, не то слово... Надо, чтобы они стояли насмерть... и не боялись врага. Командарм сегодня отдаст распоряжение, чтобы немецкие трупы не убирали. Пусть валяются

три-четыре дня. Посмотрят на них бойцы и поймут, что не так уже чорт страшен, как его малюют. И пленных... Конечно, надо показывать их бойцам. Бить не надо... И еще. У нас тут кое-где есть рвы, заваленные трупами женщин, стариков, детей. Отрядить из каждой роты по два-три бойца, пусть сходят, посмотрят, а потом товарищам передадут, что делают с мирным населением... И сказать: «Допустишь фашиста на свою землю, и с твоей семьей они сделают то же самое...» При этом не снижать высокого идейного уровня. Ни грабежей, ни насилий. За это жестоко карать.

6

То было больше года тому назад, и вот сейчас, сидя в машине, Троекратов думал:

«Приготовлена ли душа бойца к этому решающему бою? Да. Приготовлена, — уверенно подчеркнул он, но тут же в него снова закралось сомнение: — А если нет? А если это — только наше убеждение?

Генерал Тощев о душе совсем не думал: он был уверен в своих артиллеристах. Он думал о другом: как расставлены пушки, хорошо ли они замаскированы?

«Ведь каждую пушку невозможно просмотреть самому, чорт возьми», — думал он, легонько постукивая хлыстом по туго натянутому голенищу.

Макар Петрович думал о своем:

«Тесемочка. Тесемочка. Порвется где-нибудь эта проклятая тесемочка. И зачем он меня потащил на передовую? Мне в штабе надо быть. Сидеть и просматривать все. Тесемочка. — И он вспомнил Машеньку. — Как она смеялась. Ух, заливалась. Славная? Очень славная. И жена будет славная, — он дрогнул, говоря сам себе: — Ты что же это, Макар Петрович? В самом деле жениться решил? А дочка как? Ну, Верочка меня поймет».

Анатолий Васильевич был серьезен, вовсе не такой, как там — дома за столом. У него даже пропали уменьшительные словечки: «пушечка», «самолетик»,

«бомбочка». Он был неприступно строг и скуп на слова. Николай Кораблев, сидя в машине позади него, намеревался было продолжить разговор «у карты», но, видя командарма сосредоточенным и серьезным, не решался начать, ожидая, что тот сам заговорит, но Анатолий Васильевич молчал, только иногда рывком бросал Галушко, который вёл машину:

— Левей. Через поляну. Лесом. Лесом давай. Не считай пни.

Перед выездом Галушко дружески сообщил Николаю Кораблеву, что до передовой километров тридцать пять и что поедут они теми местами, где происходили последние кровопролитные бои.

И вот они — поля, леса, перелески, овраги — свидетели боев. Все это выплывает из предутренней тьмы навстречу быстро несущейся машине. Вот полуразрушенный окопчик под липой на боковине дороги. Тут, очевидно, когда-то сидел немец и пулеметным огнем резал всякого, кто появлялся на дороге. Теперь окопчик обвалился и походит на черную пасть какого-то зверя. А вон другой, третий. А это вот танк. Башня сорвана и отброшена в сторону. Длинный ствол изогнулся и уперся в сосну, пригибая ее, как штыком. А вон еще и еще кучи обгорелого. Батюшки! Сколько их тут! Какое было здесь побоище! И что за сила изуродовала эти бронированные страшилища?

— Немецкие, — крикнул Анатолий Васильевич и к Галушко: — Тише. Пусть Николай Степанович посмотрит, — затем оживленно заговорил, показывая на танки: — Над этими артиллеристы поработали, а вон над теми, что в виде кучи дряни, — бойцы с бутылками. У нас есть такие, которые кричат: «Долой бутылки! Да здравствует «бог войны», то есть артиллерия!» А я говорю, пусть бог будет богом, а бутылка — бутылкой. Представьте себе, лезут танки. Артиллерия бьет, бьет, бьет. Но вот через огонь прорвался один, другой, третий танк. Полез на пушку, раздавил ее, как орех. Что делать? Другую пушку выкатывать? Не успеешь. Так боец поднимется из окопа и бутылкой... Однако на бутылке далеко не уедешь...

— А на ножичках? — невольно дерзко вырвалось у Николая Кораблева.

Анатолий Васильевич повернулся и посмотрел на него умными, укоряющими глазами, как бы говоря: «Неужели вы думаете, я такой простофиля: приехал новый человек, а я и давай перед ним все выкладывать».

— Простите, пожалуйста, — трогая его за плечо, проговорил Николай Кораблев.

— Не за что, — и Анатолий Васильевич снова стал неприступно серьезен.

Машина свернула влево... В сосновый бор. Верхушки на соснах снесены, иные деревья сбиты, иные примяты, иные ободраны, и все перепутано. Казалось, что по сосняку промчалась какая-то сказочная кавалерия и так же, как иногда кони приминают травы, так же и тут всё примяла, сбила, перепутала.

— «Бог войны» — генерал Тощев — поработал, — пояснил Анатолий Васильевич. — Знаете, сколько тут «искателей жизненного пространства» полегло? Две недели трупы убирали, — и он неожиданно толкнул Галушко в бок: — Быстрее! Чего, как с кулагой.

Галушко прибавил ход, а Николай Кораблёв недоуменно посмотрел в затылок Анатолия Васильевича, потом по сторонам и увидел новую партию подбитых, изуродованных танков — это были советские танки.

«Не хочет свои показывать», — поняв детскую хитрость командарма, проговорил про себя Николай Кораблев и вслух:

— А мне это очень надо, Анатолий Васильевич. Моторы посмотреть. Задание ведь имею.

— А чего их смотреть? Мертвые. Впрочем, пожалуйста, — он первый выбрался из машины, подошел к танку, лежащему на боку, и, погладив поржавевшую в тисках засохшей грязи гусеницу, произнес: — Ох, красавец ты наш.

Николай Кораблев через открытый задний люк полез внутрь танка. Чего-то долго копался там, а когда выбрался, сияющими глазами посмотрел на командарма и, как о хорошем знакомом, сообщил:

— Наш мотор. Выдержал испытание: хоть сейчас заводи. И самый памятный. Номер я разглядел.

— Вот и хорошо. А какая память? — без интереса спросил Анатолий Васильевич, идя к машине.

Сев в машину, Николай Кораблев рассказал:

— Однажды мы обещали товарищу Сталину перевыполнить программу и сорвались: металл нам не доставили, горючее. А когда все это достали, конец месяца на носу. Но, к рабочим: так и так, мол, обещание дали. Те взялись и за несколько дней не только программу выполнили, но и сверх дали четыреста три мотора. Выражаясь вашим языком, рабочие стояли насмерть: по семидесяти часов от станков не отходили. Валились с ног, но выполнили и перевыполнили. Так этот мотор, судя по номеру, из той партии.

Николай Кораблев смолк, а Анатолий Васильевич тихо проговорил:

— Старею, что ль? Когда мне такое говорят о народе, слезы меня прошибают. Верно, хороший народ у нас... и здесь и в тылу, — он вынул платок, вытер слезы и вдруг, став «домашним», звонко засмеялся.

На дорогу неожиданно выскочил крупный и жирный заяц. Чуть посидел и, как бы чем-то забавляясь, побежал вперед, вихляясь и крутясь.

— Он! Он! — закричал Галушко. — Товарищ генерал, он, оторвите мою голову!

— Экий! Экий! Спать бы ему пора. Видно, кто-то его спугнул. Он, он. Микитка! — радостно хохоча, подтвердил Анатолий Васильевич.

Заяц, прижав уши, припустился по дороге, затем сделал скачок и шарахнулся вправо.

Вправо столбик с надписью «Луна».

Выйдя из машин, Анатолий Васильевич, Макар Петрович, Галушко, а за ними и Николай Кораблев по еле заметной тропе направились в лес, пересекли порубку, усеянную поленницами, и уже стали спускаться в овражек, как почти из-под ног вырвался все тот же заяц. Отскочив метров на пятнадцать — двадцать, он присел у пня и забавно стал лапками чистить рыльце. Макар Петрович выхватил пистолет, нацелился.

— Эй! Эй! — крикнул Анатолий Васильевич. — Этого зайца артиллеристы вспоили, вскормили, а ты — бац. Тоже, охотничек нашелся.

Макар Петрович, смущенный, спрятал пистолет, сказал:

— А я хотел было разрядить.

— Разрядить? Они тебе, артиллеристы, разрядят, — и Анатолий Васильевич ещё быстрее пошел по тропе.

За оврагом их встретили Троекратов и Тощев. Тощев по всем правилам отрапортовал перед командармом. Тот выслушал и сказал:

— Ну, генерал, показывайте, что у вас тут.

Вскоре они очутились в кустарнике сочных, молодых лип. Липы цвели. На цветах гудели пчелы. Старательные, энергичные, они копошились в лепестках и вдруг, оторвавшись, отяжелевшие, отлетали, а на их место садились все новые и новые. И вот здесь, среди цветущих лип, укрывались пушки. Были тут всякие — с короткими, будто отрезанными стволами, с длинными, словно хоботы. Среди замаскированных пушек виднелись минометы, пулеметные гнезда. Тощев, приведя сюда «гостей», весь засиял и даже перестал щелкать хлыстом по туго натянутому голенищу, а Анатолий Васильевич шагал от пушки к пушке, осматривая их внимательно проверяющим взглядом. Иногда он хмурился, как бы найдя какой-то неполадок, что-то рассматривал, прикидывал, но, успокоившись, шагал дальше — высокий и плечистый. Пройдя ряды пушек, он неожиданно остановился на окрайке липняка, посмотрел на дорогу, потом на маленькую противотанковую пушку, стоящую в укрытии.

— А ведь это моя знакомая, — заговорил он, сначала не обращая внимания на трех артиллеристов, которые вытянулись перед ним. — Ух, узнаю, узнаю. Сколько она немцев поколотила! А танков — не счесть числа, — и, повернувшись к артиллеристам, сказал: — Вольно, вольно, ребята, — и тут же, как мужичок, поволжски окая: — Одолем или не одолем немчуру? А-а? Как думаете?

Артиллеристы, глядя на командарма, сдерживая улыбки, наперебой заговорили:

— Одолеем, товарищ командарм!

— Приказ скорее давайте!

— Долго стоим!

— Немцы уже перинами обзавелись!

— Вот и полетит из них пух, — подхватил Анатолий Васильевич и покосил глазами на Троекратова. — А полковник Троекратов у вас бывал?

— Бывал. Бывал, — ответили ему.

— О душе спрашивал? Как она у вас — душа-то?

— На месте, товарищ командарм, — уже смеясь, прокричали ему в ответ.

— Генерал у вас — бог войны, а вы ведь херувимы? Ну, вот ты — херувим: видишь, руки-то у тебя какие, как лапы у волкодава.

Среди артиллеристов поднялся несусветный хохот. Хохотали все, в том числе генерал Тощев, а один из артиллеристов, маленький, будто мальчик, согнувшись и держась руками за живот, выкрикивал:

— У его... у его, товарищ командарм, руки такие, как у Вакулы-кузнеца.

Обладатель сильных рук, сжав кулаки и тоже смеясь, обращаясь к Анатолию Васильевичу, пробасил:

— Херувимы, товарищ командарм: башку с фашиста долой — святое дело.

А Анатолий Васильевич серьезно проговорил:

— Немец, товарищи, хвастается каким-то новым видом оружия. Так что вы посматривайте и соображайте. Надежда на вас, — даже с какой-то угрозой произнес он. — Пушек у нас много, снарядов много, артиллеристы — вон какие молодцы, — и тут же, смеясь, спросил, посматривая на Макара Петровича: — Как у вас заяц-то живет?

— Микитка-то? У-у-у! Живет! Такого стрекача по утрам задает, только держись, — ответил все тот же маленький артиллерист.

— Вы бы хоть ленту ему на шею привязали, а то ведь подстрелит кто-нибудь. Найдутся такие охотнички. Ну, до свидания, товарищи, — и Анатолий Васильевич пошел было в сторону.

Артиллеристы застыли на месте, провожая командарма восхищенными взглядами, и кто-то из них произнес:

— Ух! За такого умереть не жалко.

Анатолий Васильевич быстро повернулся, шагнул к артиллеристам:

— Кто это умирать собирается? Ага. Ты! — обратился он к маленькому артиллеристу. — Не-ет! Ты это не надо — умирать... Ты лупи немцев.

— Так и думаю, товарищ командарм. Умереть — так уж с треском, — ответил тот.

Анатолий Васильевич наклонился к Николаю Кораблеву и, кивая на пушки, прошептал:

— Это вам не ножички.

7

Троекратов, испросив разрешение у командарма, остался у артиллеристов. Подойдя к машинам, Анатолий Васильевич сказал:

— На трех машинах туда — много. Генерал Тощев, вы свою машину отпустите, садитесь в мою, а Макар Петрович один в своей: ему думать надо, — а когда машина тронулась, он повернулся к Николаю Кораблеву, произнес: — Хороши у нас артиллеристы: насмерть будут стоять.

Минут через сорок — пятьдесят они, оставя машины, спустились в овраг и вскоре очутились на опушке леса.

Впереди открылась луговинная долина, разрезанная извилистой речушкой. Галушко, почему-то посмотрев во все стороны, легонько свистнул. Макар Петрович сразу ожил, как ожил и Тощев, к чему-то готовясь, а Анатолий Васильевич раздраженно крикнул, грозя Галушко суковатой палкой:

— Я вот тебе посвищу. Ишь, привычку какую взял: что мы тебе, разбойники или собаки? Ты еще попробуй кинуться на меня. Я тебе тогда кинусь.

— Слушаю-с, товарищ командарм, — ответил Галушко, еле заметно улыбаясь.

— И улыбочку эту брось! — еще раздраженней выкрикнул Анатолий Васильевич. — Ишь! Нянька какая, — и, обращаясь к Николаю Кораблеву, показал вдаль, за реку: — Видите, вон там, за рекой, бугорок? Вон! Вон! Это и есть знаменитая конюшня имени Макара Петровича Ивочкина. Видите? Галушко! Чего рот разинул? Дай Николаю Степановичу бинокль.

Николай Кораблев долго водил биноклем, отыскивая конюшню. Он водил биноклем и вправо и влево, смотрел на тот берег и видел только одно: огромная луговинная долина изрезана извилистой речушкой; вправо озерки, болота, заросшие высоким и густым камышом; на противоположном берегу в два-три ряда тянется колючая проволока, виднеются какие-то бугорки, похожие на могильники, окопы — длинные, извилистые. А где же конюшня?

«Фу, чорт! — обозлился сам на себя Николай Кораблев. — Не вижу. И их задерживаю», — и, виновато улыбаясь, протянул бинокль Галушко:

— Не вижу.

Галушко, почему-то укоризненно посмотрев на него, резко вырвал бинокль и шагнул к лесу, как бы зовя за собой всех, а Анатолий Васильевич произнес:

— Не видишь? Вот такая она и есть, конюшня. Невидимая. Ее уже давно нет, конюшни... пустырь остался, как и от многих сел, городов. Страшная война: рушит все. Поверьте мне, мы вот в такой пустырь превратим всю Германию... если они раньше не попросят мира.

Вдруг над ними пронеслось что-то яркое, фиолетовое. Это была трассирующая пуля, которую в полете видел Николай Кораблев впервые. Казалось, она несется не по прямой, а как-то ныряет — зигзагообразно и очень красиво.

— А-а-а. Собаки. Заметили. Сейчас начнут кидаться, — проговорил Анатолий Васильевич и вдруг, сбитый с ног Галушкой, упал на землю.

Тут же повалились Макар Петрович и генерал Тощев, прикрывая командарма своими телами, крича Николаю Кораблеву:

— Ложись! Ложись!

Николай Кораблев, ничего не понимая, повинуясь, лег на землю, видя только одно, как отбивается Анатолий Васильевич. Но вот что-то разорвалось. Затем дрогнула земля и вверх взлетел черный столб. Потом еще и еще. Анатолий Васильевич присмирел, перестал отбиваться. И снова разрыв, левей, над березовой рощицей. Рощица встряхнулась, будто от урагана, и во все стороны полетели сучья, листья.

«Неужели началось? — подумал Николай Кораблев. — Значит, обманули наших генералов: не пятого в четыре утра, а вот сейчас».

В этот миг снова раздался взрыв и самый оглушительный. Николай Кораблев зажмурился, ощущая, как на него посыпалась земля, а когда открыл глаза, то увидел совсем близко от себя огромную воронку. Воронка, дымясь, как бы дышала. Галушко вскочил, вскочил и Макар Петрович, Тощев и Анатолий Васильевич. Они кинулись в воронку, приказывая Николаю Кораблеву:

— Ползите... Ползите сюда!

Николай Кораблев пополз. Около воронки он хотел было привстать, но на него грубо закричал генерал Тощев:

— Не вставать! Ужом. Ужом ныряй.

Николай Кораблев нырнул, ощупывая руками горячую землю. Спустившись в воронку, он так же, как и все, присел и увидел в середине зло улыбающегося Анатолия Васильевича.

— Сукин сын, — проговорил тот. — Заметил. Значит, где-то тут неподалеку у них наблюдательный пункт. Эй, Макар Петрович! Соображай: по простым бойцам они не били бы из артиллерии.

А кругом все ухало, гудело, взрывалось: летела вверх черная, даже, казалось, какая-то промасленная земля, падали деревья, взвихривались листья, уносясь высоко в небо. Так прошло десять — пятнадцать минут. Николай Кораблев на все это смотрел без страха, а с каким-то жадным интересом. Вскоре обстрел оборвался. Только еще гудели взрывы в ушах, да со стоном падали надломленные деревья, а иные со скрипом

выправлялись, и сыпались откуда-то сверху — с неба — зеленые, сочные листья берез.

— Ну. Поползли. Ужом, как сказал генерал Тощев, — и Анатолий Васильевич первый пополз из воронки, за ним Галушко, потом Николай Кораблев, генералы.

Когда они отползли в гущу леса, Анатолий Васильевич поднялся первый и, грозя палкой Галушко, сердито проворчал:

— А все-таки эта палка по твоей спине походит. Я же тебе приказывал не кидаться на меня, — но в его глазах мелькнула искорка человеческого довольства: «Вот, дескать, как меня берегут и охраняют». — Нине Васильевне ни звука об этом. Ну, в пятую! — скомандовал он.

8

«Пятая? Ага! «В пятерочку», — вспомнил Николай Кораблев слова Сиволобова и страшно обрадовался. — Может, и его увижу. Славный мужик!»

Машины неслись по полевой дороге. В первой сидели Анатолий Васильевич, Николай Кораблев и генерал Тощев. Анатолий Васильевич о чем-то долго думал, затем, повернувшись к Тощеву, сказал:

— Генерал! Все у вас тут неплохо, однако артиллерию отсюда уберите, поставьте деревянные пушки, а правее, против болота, выставьте третий ряд. Пусть немцы ждут, что мы на «конюшню» в лоб полезем, а мы через болота. Войлок есть? А лучше плетни... такие широкие плетни наплетите... На топь его положишь — он как решетка: тонуть не будет, а бойцы по этим плетням на ту сторону, словно по шоссе. Понятно?

— Есть, — ответил генерал Тощев и завозился в машине, видимо обеспокоенный тем, когда же плести плетни, если до выступления остались считанные часы.

На пути попалась деревушка. К стенам хаток прилипли, кроясь в тени, танки.

— Танковый уральский, — сказал Тощев.

— Знаю, — Анатолий Васильевич легонько толкнул в плечо Галушко, и «виллис», резко сбавив ход, с воем подскочил к танку.

Первый из машины выбрался Анатолий Васильевич, за ним генерал Тощев. Николай Кораблев, выбираясь из машины, услышал, как у него тревожно и радостно забилось сердце:

«Танковый, уральский... значит, где-то тут Иван Кузьмич со своими друзьями. Вот увидеть бы... и о моторах бы расспросить».

Анатолий Васильевич быстро направился к танку, около которого на лужке сидели танкисты. Они все вскочили. Среди них оказался майор. Он мигнул танкисту, и тот кинулся убирать котелок и стаканы.

— А котелок куда? Куда? — проворчал Анатолий Васильевич и, забрав котелок из рук танкиста, понюхал: — А-а-а! Влага. Чего же ее убирать? Вы только много не надо, а казенную норму — сто грамм — это можно, — и к майору: — Ну, в деле были, майор?

Майор, еще совсем молодой, румянощекий, и с такими густыми бровями (сросшиеся на переносице, они казались одной линией), еще больше вытянулся и, отдавая честь, сказал:

— В маленьком, товарищ командарм.

— Новичок?

— Нет, товарищ командарм. Я под вашим командованием дрался за Сталинград.

— А-а-а! Значит, прошел огни и воды. Ну, как кормят?

— Да вот, — улыбаясь, майор показал на скатертку, разостланную на траве.

На скатерти блюдо, наполненное супом, белый хлеб, жареная картошка с мясом. Анатолий Васильевич нагнулся, взял ложку из рук бойца, хлебнул суп.

— Ох, хорош! — затем поддел картошку, прожевав, сказал: — Соли маловато. Больше соли ешьте и врагу на хвост сыпьте.

Танкисты засмеялись, и один из них крикнул:

— Сыпанем, товарищ командарм!

Николай Кораблев хотел было пойти и поискать

Ивана Кузьмича, но в эту минуту Анатолий Васильевич произнес:

— Давай-ка, майор, за мной. Вон туда — за реку, на поляну... Нервы у бойцов попробуем. А то Галушко уверяет: «Есть, которые танка боятся».

9

Танк, подминая молодые деревца, скрылся в березовом лесочке. Вскоре оттуда на полянку вышли Анатолий Васильевич, Макар Петрович и Галушко. Они шли по окрайке опушки, то и дело останавливаясь, с кем-то беседуя, глядя в землю. Николай Кораблев догнал генералов и только тут увидел длинную цепочку окопчиков, похожих на кувшинчики. В каждом таком кувшинчике сидел боец. Анатолий Васильевич, нагибаясь к кувшинчику, произносил, обращаясь к бойцу:

— В деле был? Ага, не был. Молодой еще. А танка боишься? Правильно. Штука страшная. А ты, боишься? — так, пройдясь по некоторым окопчикам, разговаривая, выспрашивая бойцов, он остановился около кувшинчика, в котором сидел знакомый Николая Кораблева боец Сиволобов. — Здравствуй, — произнес Анатолий Васильевич, поровнявшись с ним. — А ты вроде мне ровесник?

Сиволобов весь засиял, рот у него расплылся в улыбке до ушей. Поднявшись на ноги, на голову показываясь из кувшинчика, он выпалил:

— Служу родине, товарищ командарм!

— А танка боишься? Оно, конечно, штука эта... — продолжал было уже произнесенную несколько раз фразу Анатолий Васильевич, но Сиволобов неожиданно перебил его:

— Никак нет, товарищ командарм.

— Не боишься? — удивленно переспросил Анатолий Васильевич и ко всем: — А вот видите, не боится. А не хвастаешь?

— Никак нет, товарищ командарм, — отчеканил Сиволобов. — У меня вот, — он достал бутылку с жидкостью и, показывая ее Анатолию Васильевичу,

проговорил: — Товарищ Сталин сказал: «Не так страшен чорт, как его малюют».

— Ох! Да ты, голова садовая, молодец. А ну-ка, ребята, вылазь из своих нор. Вылазь и вот сюда на опушку. Сейчас мы этого испытаем. Как тебя звать-то?

— Сиволобов Петр Макарыч.

— Ну вот, у нас начальник штаба — Макар Петрович, а ты, выходит, наоборот — Петр Макарыч.

Бойцы шумно выбрались из окопчиков, сгрудились на окрайке леса, заинтересованно посматривая на Анатолия Васильевича, а тот, подозвав майора-танкиста, намеренно громко и даже ворчливо сказал:

— Вот тут один хвастается: «Для меня, слышь, танк — все равно, что котенок». Видали, майор, такого? А ну-ка, скажите своим молодцам, чтобы они его проутюжили, — и тише добавил: — Только, если что, пусть пожалеют: не замнут.

— Слыхал! Слыхал, товарищ командарм. И жалеть меня нечего. Пускай себя жалеют, — с этими словами, криво улыбаясь, Сиволобов нырнул в свой кувшинчик.

Через две-три минуты из березового перелеска выполз танк-громадина. Пройдясь по поляне, приминая нетронутые травы, он угрожающе повел сивым стволом, затем приостановился, как бы что-то рассматривая перед собой. И вдруг, сорвавшись, ураганно ринулся на окопчик Сиволобова. Прикрыв окопчик бронированным телом, он крутанулся раз, потом еще и еще, визжа гусеницами, поднимая вихрь пыли.

Николай Кораблев зажмурился и хотел было крикнуть Анатолию Васильевичу: «К чему это вы? Зачем так жестоко?» — но в эту секунду танк кинулся к лесу и из окопчика высунулась, вся в земле, голова Сиволобова, затем показалась рука с бутылкой. И вот бутылка полетела вслед танку. Не долетев с метр, она упала, разбилась, и вспыхнуло пламя.

— Видали? — уже совсем тоненьким голоском вскрикнул Анатолий Васильевич. — А ну-ка, иди сюда! Сиволобов, Петр Макарович!

Сиволобов, отряхиваясь от земли, направился к командарму, ликуя, чуть не крича: «Вот я какой!»

— Ага! — сказал командарм. — А почему не попал в танк?

— Свой ведь: жалко!

— Да-а! Молодец! — Анатолий Васильевич, сняв с руки часы, протянул их Сиволобову. — Вот тебе за храбрость и уменье, — и обратился ко всем, быстро расхаживая туда-сюда, сложив руки на животе. — Храбрость, дорогие друзья, не в том, что ты смело подставил грудь под пули. Нет. Храбрость в уменье бить врага. А уже если погибнуть надо, погибай так, чтобы позади тебя лежали десятки поганых гитлеровских трупов. Вот в чем храбрость. Петр Макарович, он молодец. Чего ты на меня так уставился? — вдруг, круто повернувшись, подступил он к Сиволобову.

Тот снова весь зарделся и, напрягаясь, чтобы от радости не засмеяться, заговорил:

— А я вас помню... под Сталинградом.

— Ишь-ишь, какой он! Ну! Ну!

— Сидим мы в окопе, а немцы полезли... да из минометов лупят. Впервые мне это, ну и схватил меня страх. Притулился я в окопе, ни живой ни мертвый. Слышу, однако, кто-то надо мной кричит: «А ну, голубчик, давай вон туда». Гляжу — вы... А я-то вроде немой и бездвижный. Вы меня за загривок, да как встряхнете, да как шуганете. Да еще. Я вскочил и вперед вас во все ноги. Прибежали мы с вами в деревню, а там пулеметная рота. Отсюда как взяли немцев, аж пятки у них засверкали. Спасибо вам.

— За что?

— Да за загривок-то мне. А то просидел бы от страха в окопе, немцы бы прибили, а то и еще что хуже — в плен бы забрали.

— Вишь ты, — удивленно и растерянно, и даже как-то стесняясь Николая Кораблева, произнес Анатолий Васильевич. — Я его за загривок встряхнул, а он благодарит, — и тут же сурово, обращаясь к бойцам: — А впрочем, я имел право его пристрелить как труса. Ну, пристрелил бы... и не встретились бы с ним. А теперь, видите, какой он герой — танка не боится, — и, чуть подождав: — Видали, как с танком надо драться? Вот так и деритесь. А ты, Петр

Макарович, учи их. Опыт свой передавай. Галушко! Запиши-ка его — к награде представим.

Николай Кораблев хотел было подойти и поздороваться с Сиволобовым, но в это время, взяв на себя команду, Галушко крикнул бойцам:

— Ну! По окопам! — бойцы кинулись в свои кувшинчики, а Галушко мягче, но требовательней добавил, глядя на Анатолия Васильевича: — И нам пора, товарищ командарм, а то опять ругаться будете.

Анатолий Васильевич еле заметно улыбнулся, понимая Галушко, и пошел к машине.

10

Предзакатное солнце в этот день горело особенно ярко.

— Солнышко-то какое! Солнышко, — уже весело проговорил Анатолий Васильевич и, чуть погодя, засмеялся. — А генерал Тощев скрылся: плетни плести пошел. Пусть поплетет. Успеет, — и снова о солнце: — Я, бывало, любил такие дни: сенокос начинается... и косить любил. Парень я был здоровый, румянощекий, сажень в плечах. Даже отец с матерью удивлялись: в кого я такой пошел? Они оба маленькие — я верзила. Мать объяснила: она родила меня в поле, только родила, хлынул дождь и вымочил нас обоих. Она и говорила: «Дождем крещен Толька у нас... вот и выпер». Галушко! Деревней быстро к штабу, а машину немедленно спрятать, — добавил он.

Деревенька небольшая, расположилась на возвышенности. Она вся залита солнцем до белизны. Деревья стоят тихо, опустив листья. И в самой деревне тихо — ни одного человека. Только на перекрестке два регулировщика — девушки. Машина пронеслась улицей, вздымая пыль, затем круто завернула и остановилась в тени около хаты.

В хате за столом сидел полковник. Голова у него круглая, нагладко выбритая, и сам он весь круглый. Лицо чистое, с отцветающим румянцем. Глаза живые, смеющиеся. На груди звездочка Героя Советского

Союза. На шум в дверях он недоуменно поднялся и, увидав генералов, ринулся навстречу, говоря:

— Здравия желаю, товарищ командарм. Простите, не встретил: не ждал.

— А вот это и хорошо: не ждал. Тут мы тебя сразу и накроем. Знакомьтесь, Николай Степанович. Это наш комдив Михеев, Петр Тихонович. Героя-то еще в начале войны получил. А вот теперь надвое: не то еще Героя получит, не то Нарым. Выбирай, Петр Тихонович. Что нравится, то и возьми.

— Победу над врагом, товарищ командарм, — ответил Михеев, улыбаясь.

— И супостатом, говорили раньше. Ну, рассказывай, как у тебя. Если обман есть у тебя в груди, врагу от смерти не уйти. Стихи, мною сочиненные, плохие, но верные. Показывай, как врага надуваешь. Где у тебя пехота?

— Вся по хатам, товарищ командарм. Человек по пятьдесят в каждой хате. Четыре деревни сегодня ночью заняли.

— Ну, и толкутся, видно, во дворах.

— Нет. Все в хатах. Выходят только... только... как бы сказать?

— А ты прямо, не девушки ведь мы...

— Выходят только до ветру и то поодиночке.

— «До ветру»? Хорошее слово-то какое. Так. Ну, а как на передовую переправишь? Ночью ведь придется. Вдруг до места не дойдут — спутаются? Такая каша может завариться.

— Каши не будет. К месту для каждого батальона проведена проволока, товарищ командарм. Командир роты идет, притрагиваясь к проволоке рукой, а вся рота в молчании за ним.

— Ух ты, молодец! Это надо всем передать. А к двум успеешь?

— В двенадцать ночи все будут на месте, товарищ командарм.

— Пока что, — повернувшись к Николаю Кораблеву, смеясь, произнес Анатолий Васильевич, — пока что, мне кажется, Нарымом и не пахнет. Так, что ль, Макар Петрович?

Макар Петрович буркнул:

— Угу.

— Без сигнала батальоны на исходное не подавай. Дам знать. Ну, а с девушками как? — неожиданно задал вопрос Анатолий Васильевич.

Михеев вспыхнул, стушевался, потом, открыто глядя Анатолию Васильевичу в глаза, сказал:

— У нас этого нет, не водится, товарищ командарм.

— У тебя дочки нет? Ага. Есть. Семь лет? Так вот представь себе, ей восемнадцать, ее комсомол мобилизовал на фронт. Пришла. Может, даже сама попросилась. И таких ведь много. За родину драться. Пришла к Михееву. Мужик нестарый, красивый, да еще Герой Советского Союза. Романтики-то сколько! Уважения-то сколько! А Михеев — не ты Михеев, а другой Михеев — зазвал ее к себе и обманул. Представь теперь: ты отец, едешь на фронт проведать дочку... а дочка обманута. Как тебе? А? Ну!

— Я бы убил такого... за дочку, — возмущенно и зло произнес Михеев, покраснев.

— Убил бы? Ну, вот видишь, за свою дочку убил бы... Жалейте их, девушек наших. Жалейте, как дочерей своих.

В комнату почти неслышно вошел Пароходов. Ночь он, видимо, совсем не спал: лицо у него помятое, глаза красные, на руках надулись жилы. Кивнув всем, он сказал:

— Здравия желаем, — и особенно тепло Михееву: — Здорово, Петр Тихонович, — затем сел на стул, добавил: — Рокоссовский приглашает к себе. Поедемте. Ну, а как вы живете, Николай Степанович? Слыхал, сегодня пороху понюхали?

Николай Кораблев хотел ответить, но в эту минуту поднялся Анатолий Васильевич и растерянно посмотрел сначала на него, потом на Пароходова, Тот, догадавшись, просто сказал:

— Николай Степанович, у нас в армии хозяин — командарм: кого хочет, того к себе и приглашает. А там, в штабе фронта, хозяин — Рокоссовский. На вас мы разрешения не имеем.

— Вот именно. Вот именно, — подхватил Анатолий Васильевич. — Поймите нас, Николай Степанович, и не обижайтесь.

Колючая обида скользнула было по сердцу Николая Кораблева, но он задавил ее:

— А я и не обижаюсь. Я с удовольствием побуду здесь, у полковника.

— Нет. Я спрошу и, если что, пришлю за вами Галушко.

— А ты, — обратился Пароходов к Михееву, — сохрани гостя. Отведи ему отдельную квартиру.

— Я его к себе возьму, товарищ член Военного совета, — ответил Михеев.

— Еще лучше, — и Пароходов вместе с Анатолием Васильевичем и Макаром Петровичем покинули хату.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Накануне пятого июля тысяча девятьсот сорок третьего года во всех армиях, расположенных на Орловско-Курской дуге, напряжение дошло до высшего предела. Большинство командиров, бойцов хотя и не знало о намеченном дне и часе выступления немцев, однако по поведению штабных генералов, по передвижению частей и еще по ряду, казалось неуловимых, признаков все чувствовали, понимали, что то, чего они так долго ждали, к чему так упорно готовились, вот-вот наступит.

Само собой разумеется, такое напряжение передалось и Николаю Кораблеву. Ему даже стало как-то неудобно: изучение моторов, по выражению Анатолия Васильевича, в «мертвом состоянии» в самом деле ничего не давало; надо было ждать боев, но и «болтаться» в качестве простого гостя Николай Кораблев не мог, и он стал искать себе дело. Но дела в армии для него не оказалось: каждый боец, каждый командир походили на те винтики в хорошей машине, которые ни убрать, ни заменить было невозможно.

«Может быть, мне начать читать лекции?» — подумал он и предложил свои услуги Михееву, но тот только и сказал:

— Где уж!

Николай Кораблев понял, что сейчас не до лекций, а Михеев, заметя растерянность на лице своего гостя, добавил:

— Вы уж давайте так: сопровождайте меня вроде дипломата.

Михеев старался не показывать, насколько в нем все напряжено. Казалось, он делал обычные дела. Рано утром четвертого июля, сидя за столом, умело поводя рукой, он сначала побрил голову, потом лицо и, пошлепав ладонями по тугим щекам, кинул:

— Умыться!

Умылся, плеснул на полотенце одеколона, протер бритые места, затем надел выцветшую до белизны гимнастерку, прикрепил золотую звездочку и кратко произнес:

— Дозу!

Егор Иванович, заменяющий повара, курьера, заведующего личным хозяйством комдива — одним словом, человек на все руки, — сам огромный, косолапый и расторопный, как медведь, налил полстакана водки и любезно подал Михееву. Тот выпил, крякнул, сказал:

— А вот теперь «чайкю»!

Попив чаю, Михеев, Николай Кораблев и адъютант Ваня сели в «газик», старенький, облезлый. Он дребезжал, скрипел, завывал, взбираясь в горку.

— Командарм обещал «эмку». Даст: он своему слову хозяин, — уверял Михеев.

Почти вся пехота дивизии была расположена в шести деревушках. Жителей деревушек дня за два перед этим отправили в тыл, а в каждую хату поместили человек по пятьдесят бойцов.

Когда «газик» врывался в ту или иную деревушку, Михеев почти на ходу выскакивал из него и, наголо обритый, в белесой гимнастерке, обычно держа головной убор в руке, носился из хаты в хату, как бильярдный шар. Вбегая в хату, он еще с порога кричал:

— У-у-у! Понабилось вас, дьяволов, тут!

— Поплясать бы, товарищ полковник, да негде, — отвечал кто-нибудь, и бойцы беспричинно начинали хохотать.

Хохотал и Михеев. Он хохотал громче всех, а когда смех обрывался, спрашивал:

— Выспались?

— Такого храпака задавали!

— Стены дрожали товарищ полковник!

— Крыша в небушко поднималась! — неслось со всех сторон.

Михеев, слушая это, становился вялым и медленно, через позевоту, произносил:

— А я вот не спал. Третью ночь. Поспал бы, как с бабой.

От хохота снова дрожали подслеповатые окна, и кто-то вопил:

— Не верю: долго бы не проспал!

— Я со своей, женой то есть... Чего регочете? — и Михеев махал руками, как бы отгоняя от себя дым.

Проехав так несколько деревушек, побывав в хатах, проверив настроение бойцов, Михеев, уже весь взвинченный, сел в «газик» и сказал Николаю Кораблеву:

— Вот они у меня какие! Видали, Николай Степанович? А-а?

Николай Кораблев, невольно подпадая под возбужденное настроение Михеева, искренно восхищаясь бойцами, ответил:

— Действительно, молодцы! Эти не сдадут.

— Ну, еще бы! Еще бы! — и, обратясь к своему адъютанту, человеку молчаливому, он проговорил: — Ванюха! — в ласковые минуты он его всегда называл Ванюхой. — Ванюха! А ты заметил, когда мы были в первой роте, на печке сидел боец грустный? Знаешь что? Пока мы будем у Коновалова, валяй-ка туда, узнай, отчего грустный. Может, жена плохое письмо прислала, может, еще что. Скажи: полковник пособит. Нет, нет! — спохватился он. — Не пособит, а поможет. Я, Николай Степанович, вятский, и иногда слова вятские произношу. Да-а! — еще более возбужденно заговорил он. — А теперь мы с вами к Коновалову. У меня ведь не вся дивизия в хатах: есть и в лесу, в блиндажах. Например, батальон Коновалова. Ух, и орлы! Физкультурники собрались. И каких только там наций нет: русские, татары, казахи, армяне, грузины; даже шорец один есть. Понимаете, шорец — чорт-те откуда — с Кузнецкого Алатау! Батальон Коновалова у меня такой: бой — пошли в бой, прорваться на лыжах в тыл врага — прорвутся, в разведку послать —

пожалуйста... И еще есть такие, с ножичками. Ну, эти просто виртуозы!

— Ах, это те, о которых говорил мне Анатолий Васильевич, — и Николай Кораблев тихо рассмеялся, вспомнив, как Анатолий Васильевич, кивнув на пушки, прошептал: «Это вам не ножички».

— Вот именно! — вскрикнул Михеев и раскатисто засмеялся. — Только мне командарм сказал: «Подбери и обучи человек сорок пластунов». А я их набрал восемьдесят два. Во! — опять по-вятски произнес он. — Так мы сначала к пластунам.

«Газик» заревел, загудел, виляя между толстых, огромных сосен, и вскоре выскочил на песчаную полянку.

— Здесь! — проговорил Михеев, выбираясь из «газика». — Ванюха! Валяй к тому бойцу.

«Газик» с адъютантом умчался обратно.

Николай Кораблев, шагая за Михеевым, вскоре по окопчику спустился в предблиндаж. Тут на стенах висели автоматы и какие-то особые брезентовые голицы: длинные, по локоть, и все на правую руку. Часовой отрапортовал Михееву, а Николай Кораблев спросил:

— Что за голицы?

— А, это? Это вот что, — Михеев надел голицу на правую руку и, нагнувшись, выкинул руку, вроде что-то ею толкая. — Представляете? Пластун пробрался к немецкому блиндажу. Окошечко есть? Есть. Труба есть? Есть. Ну, руку с гранатой в окошечко, пробил стекло, гранату бросил и сам набок. Не в окошечко, так в трубу — и опять сам катись набок. Вот это что! — а войдя в блиндаж, встав на пороге, он прокричал: — А ну, как живете, дьяволы?

Блиндаж походил на подземный барак, огромный, длинный, и весь забит полуголыми людьми. Люди лежали на полу, под скамейками, на нарах. Было душно, пахло пóтом и перегаром табака. При окрике комдива лежащие на полу подняли головы, а с нар кто-то кинул:

— Душно очень, товарищ полковник!

Михеев дрогнул, как конь перед пламенем. Он, видимо, ждал, что его здесь встретят так же, как и

там, в хатах. А тут? .. Потоптавшись у порога, он вдруг пронзительно крикнул:

— Батюшки! Душно ему! Цветы розы ему сюда.

— Я шучу, шучу, товарищ полковник, — спохватившись, проговорил человек с нар.

А Михеев уже долбил:

— Советскому бойцу скажут: «Ползи двадцать километров». И поползет! В кровь издерется, стиснет зубы и поползет. Вот он какой, советский боец! А ему душно, чорту косолапому...

Пластуны затаились. Лица у них стали суровые, а глаза устремились на нары. И во всех глазах было столько укора, обиды и гнева, что человек на нарах не выдержал, свесил босую ногу и жалобно сказал:

— Вовсе и не косолапый я, товарищ полковник.

Михеев шагнул, вцепился рукой в босую, свесившуюся ногу и искренно восхищенно проговорил:

— Ух, ты! Здоровый какой, братец, а стонешь! — и, заглянув на полати, ахнул. — Романов? Так это ты? Ба-а-тюшки! Никогда бы не поверил. Командир пластунского отряда!

— Вот и говорю, — почему-то окая, сказал Романов. — Если надо, и сто километров на пузе проползу. А так, потрепался.

— Ну и хватит. Хватит, товарищ лейтенант, — раздался голос из-под скамейки, затем оттуда показалось лицо, молодое, скуластое, с чуть-чуть раскосыми, золотистыми глазами.

— Сабит! Здравствуй, Сабит! — обрадованно произнес Михеев и пояснил Николаю Кораблеву: — Это наш Сабит из Казахстана. Как живешь, Сабит?

— Живу, товарищ полковник. Душа живет, рука — нет!

— Что так?

— Фрицку драть надо. Фрицку душить надо. Фрицку мало-много, — и Сабит защелкал языком, издавая звуки, похожие на пулеметную очередь.

Все одобрительно засмеялись, а Романов сказал:

— Третий день в такой норе сидим, товарищ полковник. Надо — значит, надо, понимаем. Но ведь мы вольные птицы...

— Ах, вон что! — протянул Михеев. — А ну, давай все на волю! Не черта вам тут делать.

— О-о-о-о! — одобряюще понеслось от пластунов, и через какую-то минуту мимо Михеева и Николая Кораблева замелькали крепкие, загорелые молодые тела.

Как только барак опустел, Михеев предложил:

— Пойдемте посмотрим на них там.

Пластуны, одетые в трусики, уже выстроились на песчаной полянке. Перед ними расхаживал Романов, грудастый, широкоплечий, весь сбитной; казалось, на его теле нет и капельки лишнего жира. Пройдясь перед пластунами, он скомандовал:

— Вольно! Купаться!

И что это такое? Среди сосен кто шел колесом, кто крутился через голову, кто-то вскочил на плечи к другому... И все это нагое, мелькая, ураганно куда-то неслось.

— Вот так карусель! Вот так дьяволы! — восхищенно вскрикивал Михеев, шагая за пластунами, с завистью посматривая на них, сам разомлевший от жары.

Когда они вышли на берег, то увидели: вода в реке кипела от бьющихся крепких, загорелых тел.

Николай Кораблев несколько минут смотрел на купающихся пластунов, затем глянул на Михеева, по бритой голове которого катились крупные капли пота.

— Может, и мы, Петр Тихонович? — предложил он и уже стал было раздеваться.

— Э-э-э! Нет! Мне с ними купаться нельзя. Шутить можно, а купаться — нет: все к чортовой матери полетит, вся дисциплина. Скажут: «Эге, он голый такой же!» Пойдемте вот туда, — и Михеев пошел по тропе, заросшей татарником, и вскоре остановился у заводи. — Гогочут-то как, — прислушиваясь к крикам пластунов, проговорил он и стал снимать с себя ремни.

Николай Кораблев разделся первый и кинулся в воду.

— А вы в пластуны годитесь! — крикнул ему Михеев. — Сильный. Жирок есть. Но его быстро сбили

бы, — и, раздевшись, с сожалением произнес: — А я вот квадрат какой-то... Перед войной был в Кисловодске, так приехал оттуда, как рюмочка, — он обеими руками провел по бокам. — А теперь вот опять... Эх, это все Егор Иванович, — непонятно закончил он и бултыхнулся в воду.

2

Искупавшись, они через лес направились к Коновалову, блиндаж которого находился на обочине полянки, ловко замаскированный зеленью. Войдя в блиндаж, Николай Кораблев при свете маленькой электрической лампочки увидел небольшие нары, стол. У стола капитан и боец. Перед ними ящик из фанеры. При появлении Михеева они встрепенулись, вытянулись, крича:

— Здравия желаю, товарищ полковник!

— А-а-а... — протянул Михеев. — Ты вот с чем-то тут возишься, а пластуны у тебя разбежались.

Капитан — молодой человек, с курчавыми волосами, с глазами, не утратившими задорного блеска, — улыбаясь, возразил:

— Не верю, товарищ полковник.

— Я распустил их. Что?

— И правильно: трудно им под землей сидеть. Подарки рассматриваем, — пояснил капитан и, выхватив из-под стола табурет, предложил: — Садитесь, товарищ полковник.

Михеев, показывая на капитана, обращаясь к Николаю Кораблеву, проговорил:

— Вот он, наш Коновалов, — и тут же, как бы забыв об этом, сунулся к ящику: — А ну, а ну! Что вам прислали?

В ящике были платочки, расшитые вкось и вкривь, видимо неопытными руками, мешочки для табаку, табак, махорка и рядом с табаком конфеты «Мишка». Надписи были почти все одинаковые: «Приезжайте домой с победой!», «Приезжайте скорее домой, соскучились мы по вас!», «Бейте проклятых фашистов и скорее приезжайте домой!»

— Девчата прислали, — заинтересованно роясь в вещах, отыскивая адрес, уверенно произнес Михеев. — Девчата! Ребята не положили бы табак рядом с конфетами: знают, что такое табак. Эх, адресок забыли! Да нет, вот, вот! — закричал он и быстро развязал мешочек, высыпая тыквенные семечки.

Вместе с семечками выпала и записочка. Михеев торжественно прочитал: «Дорогие товарищи! Я у бабушки выпросила тыквенных зерен и посылаю вам. Бейте проклятых фашистов! Нина Чудина, ученица четвертого класса девятой саратовской школы».

Несколько минут в блиндаже было тихо: в это время Михеев, Николай Кораблев, Коновалов и боец Еремин находились там, в Саратове, в девятой школе, около Нины Чудиной...

— Да, да... — крякнул, нарушая тишину, Михеев и сел на табуретку, поскрипывая ею. — Ну, а во второй что?

— Здесь что-то булькает, — тряся посылку и прислушиваясь, проговорил Коновалов.

— Ага! Булькает? Открывай, открывай! — поторопил Михеев.

Посылку быстро вскрыли. В ней оказалась копченая колбаса, аккуратно завернутая в тонкую белую бумагу, и три бутылки коньяку.

— Вот это шарышка! — весело закричал Михеев. — А кто, кто прислал? Ищи!

Коновалов разорвал конверт и, прочтя, сказал:

— Какое странное совпадение. Все это послал скульптор Меркуров, Сергей Дмитриевич. Я еще както позировал ему. Что пишет? «Товарищи! Не знаю, кому попадет мой коньячок, но выпейте и меня вспомните. Я сам люблю коньячок, но сейчас мне нельзя: сердце болит. Так выпейте вы».

— Выпить, значит, велел? — шутя прокричал Михеев. — Приказ надо выполнить. Ну, что есть в печи, на стол мечи.

Они пообедали у Коновалова, распили бутылку коньяку, от которого не смог отказаться и Николай Кораблев, затем побеседовали с бойцами и часов в восемь вечера ввалились к себе в хату.

Тут их встретил Егор Иванович. Он засуетился, забегал, накрывая стол, вытаскивая откуда-то тарелки с полуотбитыми краями, ложки, разрозненные ножи. Разложив все это на столе, он кинулся во вторую комнату и вскоре вышел оттуда, торжественно неся открытую кастрюлю, из которой валил запах русских кислых щей с мясом.

— Не хочу: я уже обедал, — виновато и даже растерянно проговорил Михеев, то есть он проговорил так же, как говорит муж жене, где-то задержавшись и что-то набедокурив.

— Вон оно чего, — ставя кастрюлю не на стол, а на табуретку, пробасил Егор Иванович и, подойдя к окну, сел на скамейку.

Сел, положил огромные руки на колени, уставился в окно и одеревенел.

Михеев стащил с себя сапоги, лег на кровать, сказал:

— Николай Степанович, ложитесь и вы. Отдохнем малость.

— Спасибо, — ответил тот и прилег на свою кровать.

Где-то ухали пушечные выстрелы. Над хаткой прогудел самолет. Кто-то на улице крикнул: «Васька, давай лошадь купай!»

Николай Кораблев посмотрел на Михеева. Тот спал, оттопырив верхнюю губу, издавая легкий посвист.

«Чудно́, — подумал Николай Кораблев, глядя то на Михеева, то на Егора Ивановича. — Что-то произошло. Не пойму», — и, повернувшись к Егору Ивановичу, прошептал:

— Чего затосковал?

Егор Иванович только повел глазами, как бы говоря: «Не понимаешь, ну и не лезь!»

Михеев от шопота дрогнул, повернулся на бок, тоже посмотрел на Егора Ивановича и кинул:

— Истукан! Ну, посмотрите на него, Николай Степанович, истукан ведь?

Егор Иванович даже не пошевельнулся.

— Выгоню! — раздраженно выкрикнул Михеев. —

К чортовой матери выгоню! Что ты надо мной командуешь, как жена?

Егор Иванович весь встряхнулся, снял руки с колен, провел обеими ладонями по лицу и медленно, нарастяжку произнес:

— Что ж! От Вязьмы через Москву сюда в боях с пятой прошел. Теперь что ж: патриот до глубины души валяй к козе под хвост? Прочь?

Михеев поднялся с постели, сначала с гневом посмотрел на него, потом махнул рукой и сказал со вздохом:

— Ну и гад же ты? Давай, давай обедать!

Егор Иванович моментально ожил: кинулся к столу, схватил кастрюлю, выбежал в заднюю комнату, разогрел там щи и через несколько минут, вернувшись, ставя кастрюлю на стол, басом провозгласил:

— Товарищ полковник, пожалуйте кушать! Это не щи, а разлюли-малина!

Михеев сидел за столом, хлебал щи, а Егор Иванович стоял в сторонке и с умилением смотрел на него.

Неся ложку ко рту, Михеев произнес:

— Не понимаешь? Мне ведь толстеть нельзя: сердце у меня больное.

— Лишкота всегда вредна, — не двигаясь с места, ответил Егор Иванович.

— Лишкота? И словечко же выкопал. А я вот заехал к командиру батальона, лучшему моему другу... Лучше, чем ты... И он с обидой говорит: «Никогда у меня не обедали». Должен я у него пообедать? Должен или не должен? Чего молчишь?

Егор Иванович улыбнулся:

— А вы бы потыкали ложечкой ай вилочкой — и вся недолга.

— Истукан! — зло проворчал Михеев, поднимаясь из-за стола, и, тяжело отдуваясь, пошел к кровати. — Вот теперь, как волк, ложись и спи. Ведь мне не повернуться! — закончил он, валясь на постель.

— Угомонился! — радостно прошептал Егор Иванович, слыша легкий храп полковника. — И вы бы соснули, Николай Степанович. А может, щец?

Николай Кораблев не успел закрыть глаза, как Михеев, встревоженный, вскочил и, видя, что гость тоже поднимается, сказал:

— Отдохните, отдохните, Николай Степанович! Я тут по хозяйству пройдусь. Начальника тыла мне надо повидать, — и вышел из хаты.

— Неугомонный! — с укором, но в то же время хвалясь своим полковником, произнес Егор Иванович, когда Михеев хлопнул дверью.

Вернулся Михеев около двух часов утра, похудевший и вымотанный. Войдя в избу, спросил:

— Первый не звонил?

— Первый? — удивленно протянул Егор Иванович, еще не совсем проснувшись. — Первый-то, чай, вы у нас.

— Вы у нас! — передразнил Михеев. — Я говорю про командарма. Не звонил?

— Нету. Не было.

Михеев подошел к телефонным аппаратам, взял было трубку и медленно, нерешительно снова положил ее на рычаг.

— Нет, не буду тревожить, — и пояснил Николаю Кораблеву: — Жду сигнала от командарма.

3

На столе Макара Петровича стояли миниатюрные часики. Их почти никто и никогда, в том числе и Макар Петрович, не замечал. Бой у них был какой-то робкий: они не били, а дзинькали — тихо, еле слышно, как может пискнуть мышь. И вот эти часики дзинькнули два раза. В другое время ни Анатолий Васильевич, ни Макар Петрович не заметили бы этого писка, а теперь бой часиков оглушил их, как гром.

— Два! Два часа уже! — прохрипел, откашливаясь, Макар Петрович и так зло посмотрел на Анатолия Васильевича, как будто тот был в чем-то виноват.

Анатолий Васильевич тоже дрогнул от слабого звука в часах, но, не отрываясь от карты, которую он внимательно рассматривал, сказал:

— Что тебя, вроде шилом кольнуло? Есть еще время: два часа пятьдесят минут, — и, взглянув в окно, добавил: — Ночь лунная. Хорошо! В темную ночь все перепутать могут, — и снова наклонился над картой, затем поднял голову, спросил: — Нашли наблюдателя, стратег?

— Какого?

— Какого? Там, где нас обстреляли...

Макар Петрович смущенно опустил голову и, беспредметно рассматривая уголок карты, тоненько-тоненько запел.

— Ты что, как Машенька, глазки в стол? Нашли, говорю, или нет? Может, мне самому заняться?

Сегодня утром, за завтраком, Анатолий Васильевич, вспомнив о том, как их немцы обстреляли на полянке, сказал Макару Петровичу:

— Наблюдатель немецкий где-то там недалеко сидит. Отыскать надо.

Макар Петрович был уверен, что он все хозяйство армии: где какие части, какие наблюдательные пункты, где минные поля, рвы, укрытия, — все это знает, как свои пять пальцев. И утверждение Анатолия Васильевича, что где-то на поляне таится немецкий наблюдатель, просто оскорбило Макара Петровича.

— Чушь, ерунда! — выпалил он.

— Экие доводы: чушь, ерунда! Доводы другие: вышли три генерала, и по ним стали бить из артиллерии. Вот доводы. Отыскать наблюдателя!

Это уже был приказ.

— Слушаюсь, товарищ командарм, — насупившись, проговорил Макар Петрович и отправился к себе в хату.

Тут он несколько минут ходил из угла в угол, все повторяя:

— Чушь, ерунда! Чушь, ерунда! Однако надо посылать. Пошлю-ка кого-нибудь, — затем приостановился и зло сказал: — Нет, надо самых хороших! Все равно ведь никого не найдут, а тот скажет: «Плохих послал!»

И Макар Петрович намеренно вызвал лучших пластунов из дивизии Михеева — Романова и Сабита.

А когда те явились, начштаба, еще не остывший от разговора с командармом, гневно вскрикнул:

— Зачем вас в дивизии держат? Все лезете на ту сторону, а здесь, у вас под носом, немцы наблюдательный пункт состряпали. Разыскать! Мне хоть ногтями всю землю исцарапайте, а разыскать!

Отдав такой приказ, Макар Петрович успокоился и даже заулыбался, представляя, как скоро доложит командарму: «Чушь, ерунда!»

И скандал!.. Часа через три Романов и Сабит через Михеева донесли начальнику штаба армии, что действительно откопали немецкого наблюдателя.

— Сюда, сюда его немедленно! — боясь, как бы все это не услышал командарм, озираясь по сторонам, прокричал в трубку Макар Петрович.

Вскоре привели и немца. Это был солдатик, маленького роста, полуслепой, худой до синевы, будто пропитанный синькой. Он все тер грязными руками глаза, словно в них попала пыль, и через переводчика, медленно подбирая слова, точно вспоминая их, рассказал о том, что он еще под Москвой был приговорен к расстрелу за попытку бежать на сторону красных частей, затем ему предложили выбор: виселица, или его посадят в ту самую нору, в которой он и пробыл больше года.

— Врет! Врет! Год не просидишь: с голоду сдохнешь! — возразил Макар Петрович.

Немец объяснил, что продуктами его снабжали разведчики, что иногда они выводили его из норы, переправляли на ту сторону и мыли в русской бане, а потом снова сажали в нору. Ход в нору-блиндаж проделан с берега реки. По подземному окопчику надо было итти метров сто пятьдесят, затем только попадешь на место. В блиндаже стояли кровать, столик, рация и светилось несколько искусно замаскированных щелей для наблюдения.

— А зачем хотел бежать к нам? — спросил Макар Петрович.

И немец ответил: он рабочий из Верхней Силезии, когда-то примыкал к партии Тельмана; за это его

всюду преследовали фашисты, грозя уничтожить, поэтому он и решил бежать к красным.

— Ну, а почему же потом не бежал, когда у нас тут был? Врет, стервец!

— Да, товарищ генерал, — вступился Сабит, — он же на цепи сидел, как собака!

— Ишь, ишь, — подражая Анатолию Васильевичу, прошипел Макар Петрович, — все разгадал! Только не умом, а сердцем: пожалел. Прикован! Дал бы нам знать, мы бы и отковали. А он дал знать, когда мы, генералы, на полянке появились.

Это перевели немцу. Тот вскинул руки, как подбитая птица крылья, и закричал, сообщая, что в тот час он был в блиндаже не один: у него сидели разведчики, и те передали о появлении на поляне трех генералов.

— Действительно, чорт-те что! — задумчиво произнес Макар Петрович и снова закипел: — Ну, а почему, когда один сидел, не дал нам знать?

Немец долго что-то вспоминал, как немой, шевеля губами, и вдруг выкрикнув: «Комрат, комрат! А-а-а... Комрат!», — уронил голову на стол и, весь сотрясаясь, зарыдал. Рыдая, он сообщил о том, что жену с маленькой дочкой и сыном уже отправили в лагерь и его самого предупредили, что если он попытается сбежать к русским, жену, дочку и сына повесят.

— Ну, вот тебе и заклепка, — поворачиваясь к Сабиту, сказал Макар Петрович. — А вы — прикован! Прикован! Есть другие цепи, невидимые, но гораздо крепче этих, железных, — пройдясь по комнате, он остановился перед немцем и, узнав, что того зовут Иозеф Раушнинг, заговорил: — Вот что, Иозеф, если честный, то оправдаться надо... Работай! Арбайтр! Понимаешь? Работай! Арбайтр! Честно. Коммунизм. Тельман, — говорил он телеграфным языком, предполагая, что так его немец скорее поймет.

И тот его как-то понял. Глаза у него засветились, на лице появилось нечто похожее на улыбку, и он, кивая головой, бормотал:

— Яволь, яволь, яволь, генераль! Яволь, комрат!

— Так вот что, ребята, — обратился Макар Петрович к разведчикам. — Помойте его, накормите, вина дайте... Да это тряпье с него сбросьте. Кто из вас немецкий язык знает?

Романов сказал:

— Понимаю я.

— А вы, Сабит?

— Нет, — печально ответил тот.

— Плохо. Ну, с рацией умеете управляться?

— Это я могу, — произнес Романов.

— Узнаете наши позывные, — и, повернувшись к переводчику, Макар Петрович добавил: — Втолкуй этому, что он должен вести себя так же, как и вел... Только передавать будет то, что нам нужно. Вы и Романов направитесь вместе с ним туда же... Держите связь только со мной. Возьмите еще двух бойцов.

А когда все из комнаты вышли, Макар Петрович вдруг со всего размаху несколько раз ударил себя ладонью по щеке, приговаривая:

— Разиня! Разиня! Разиня!

Так он наказывал себя не часто, но всегда, когда «зевал»...

Сейчас же, опустив голову, беспредметно рассматривая уголок карты, он ответил Анатолию Васильевичу:

— Вы были правы, товарищ командарм.

И, рассказав все, снова опустил голову, ожидая, что Анатолий Васильевич обрушится на него всеми своими колючими словами, но тот помрачнел, встал, прошелся туда-сюда, затем медленно проговорил:

— Авантюристы, сукины дети! — он остановился перед Макаром Петровичем, некоторое время рассматривал его, затем сказал: — А у тебя сердце хорошее. Только ты ему на войне не подчиняйся. Сердцу ход дадим, когда Гитлера повесим, — и спохватился: — Слушай-ка, а где у нас Николай Степанович? Не справлялся?

— Нет! — буркнул Макар Петрович, радостно переживая теплые слова, только что сказанные Анатолием Васильевичем.

— Ну, гостеприимные, ничего себе! И я забыл, и

ты забыл. Давай-ка свяжись с Михеевым, узнай, что там с Николаем Степановичем, — а пока Макар Петрович отыскивал по телефону Михеева, Анатолий Васильевич, по-детски хвастаясь, говорил: — А хорош Михеев-то у меня стал! Горжусь! Я его обязательно до генерала доведу. Вот увидишь!

Макар Петрович, связываясь по телефону с Михеевым, скосил глаза на Анатолия Васильевича.

— Ты что на меня косишься? Доведу. Непременно! Думаешь, генералами рождаются?

Макар Петрович, все так же косясь на него глазами, протянул ему трубку:

— Полковник Михеев.

Но часики на столе пискнули три раза. Анатолий Васильевич качнулся к ним и, сунув трубку на рычажок, вскрикнул:

— Да что же это? Опять спину подставляем? Почему нет сигнала? Почему, спрашиваю я вас? — наступая на Макара Петровича, сурово проговорил он.

Макар Петрович был взволнован не меньше его.

— Может, аппарат не работает? В такую минуту возьмут да и подведут, — проговорил он и взял трубку телефона «Вече».

Нет. Аппарат работает исправно. Тогда что ж? Что это такое? Ведь вот-вот, и заработает немецкая военная машина: вся эта огромнейшая лавина людей, танков, пулеметов, минометов, самоходных пушек хлынет на русскую землю...

Анатолий Васильевич позеленел и, впервые за всю свою жизнь неумело изматерясь, выбежал на улицу. Тут он долго бегал по дороге, сопровождаемый Галушко, глотал свежий воздух, а потом снова вбежал в хату, произнося:

— Ну, что? .. Ничего нет? ..

— Угу...

И они оба уставились на аппараты... Оба, как это иногда бывает у родителей, когда их сын или дочь, умирая, отдает последние вздохи. И телефон, как бы подчиняясь их взглядам, резко затрещал. Тогда они оба протянули руки к трубке, схватились за нее, но в следующую секунду Макар Петрович

уступил, а Анатолий Васильевич выпрямился, готовый принять приказ.

— Да. Первый, — проговорил он, весь увядая. — Ну, слышу. Слышу семнадцатого! Что? Проверяете, работает ли аппарат? Ну вас с вашим извинением, полковник Михеев! — и рывком кинул трубку на аппарат. — Чепуха! Полковник Михеев проверяет. Тоже волнуется: нет сигнала, а время бежит. Уже без пятнадцати четыре. Ничего не понимаю! — и Анатолий Васильевич, сложив руки на животе, забегал по комнате туда-сюда, круто поворачиваясь, склоняя голову то на одну, то на другую сторону.

И вдруг загудело небо. Оно загудело волнообразно. Одна, другая, третья... десятая волна гудения падала на тихую, предутреннюю землю.

Анатолий Васильевич толкнул окно, открыл, высунулся наполовину и, заглядывая в небо, не видя самолетов, определяя по гулу, произнес:

— Наши... — и еще более встревоженно: — Ничего не понимаю... Почему нет сигнала?

Макар Петрович развел руками, как бы говоря: «Я тоже ничего не понимаю».

И в эту минуту дверь, тихо ухнув, отворилась и тут же затворилась. Потом еще и еще.

— Началось! — сказал Макар Петрович бледнея. — Сброшены первые бомбы...

А дверь снова заходила: ух — откроется, ух — закроется.

— Прижми дверь! — крикнул Анатолий Васильевич часовому и снова высунулся в окно. — Не слышно взрывов? Только волна доходит до нас. Значит... значит, груз сбрасывают далеко от нас.

Макар Петрович хотел было что-то сказать и не успел: мощная волна подкатила к хатке, и стекла в раме задребезжали звеняще, плачуще.

— «Бог войны» заработал, — наконец произнес он.

— А мы?

— А мы вот так! — и Макар Петрович, сев на стул, сложил руки на груди, с упреком глядя на Анатолия Васильевича, как бы говоря: «Ты, стратег!»

4

С первых дней войны между тылом и фронтом возникла непресекаемая связь: все, что случалось на фронте, независимо от официальных сведений, по каким-то своим неуловимым телеграфам немедленно проникало в тыл, вплоть до Дальнего Востока: за девять-десять тысяч километров. Так же молниеносно все из тыла проникало на фронт.

О начавшихся кровопролитных боях на Орловско-Курской дуге тыл узнал вскоре же, и не вообще, а детально. Стало известно, что немцы могучей бронированной лавиной двинулись на Курск с двух сторон: со стороны Орла и со стороны Белгорода, что они впервые применили чудовищные танки «тигр», самоходные орудия «фердинанд» и начиненные минами танкетки. Потом стало известно, что бронированная немецкая лавина оказалась настолько сильна, что в первый же день прорвала на некоторых участках советскую оборону, на второй день этот прорыв расширился, на третий — уже, казалось, создалась угроза, что северные и южные части сомкнутся в Курске, и тогда Красная Армия, стоящая западней этого города, попадет в «мешок» и будет «перемолота», а немцы двинутся на Москву...

И, где бы весть о прорыве ни заставала человека: колхозницу ли, работающую в поле, шахтера ли под землей, машиниста ли у топки, рабочего ли у станка или ученого-академика за кафедрой, — все на миг приостанавливались и, обращая взоры в сторону кровопролитных боев, с тоской произносили:

— Доколе же? Ведь у нас здесь тоже от тяжести плечи трещат...

Иные в свободные минуты сидели над картами, иные ходили из угла в угол и все что-то шептали, шептали, шептали...

Вот так же в свободные минутки ходил и Степан Яковлевич Петров. Пошмыгав стареньками чувяками, он садился за стол, ужинал и, ничего не говоря своей жене Насте, ложился спать.

Но сегодня, накануне восьмого июля, он не сел за

ужин, как ни уговаривала его Настя, а просто отмахнулся от нее и сказал:

— В горло кусок не лезет. Ложись-ка ты!

И Настя легла в постель, не закрыв дверь в столовую, где остался Степан Яковлевич. Она часто просыпалась и подолгу смотрела на то, как тот шмыгает чувяками.

«Видно, опять какая-то неполадка в цеху, — думала она и, спохватившись, вся задрожала. — Батюшки! Глядите-ка! Да ведь он при любой неполадке, ну, часок пошлепает чувяками и ляжет. А тут уж третий час. Видно, с Иваном Кузьмичом что. На фронте ведь он. Ай убит?» — и, спустив с кровати сухие, в синих прожилках ноги, пугливо позвала:

— Степа!

Степан Яковлевич повернулся, стал в дверях и неожиданно крикнул:

— Не пойду на работу! Брошу! Говорю, брошу! На пенсию уйду!

— А ба-а-а! Да что это ты, родимый?

— В деревню уйду! — вдруг, с надрывом бася, оглушая Настю, загрохотал Степан Яковлевич. — И ты со мной пойдешь! Землю ковырять не разучились. А им что? Я станки голыми руками в свирепый ураган стаскивал. Мое это дело, мастера? А-а-а! Я под открытым небом в злые морозы коробки скоростей выпускал. Я не спал, недоедал, жил в студеном бараке. Что меня одухотворяло? — выкрикнул он непонятное для Насти слово. — Что? Победа! А они, сукины дети, что? — он, страшный, со сбитой набок бородкой, с глазами, побелевшими от гнева, потряс кулаком. — Мы им моторы дали! Мы им снаряды дали! Мы им танки дали, самолеты дали... Людей дали! Где Иван Кузьмич? Где Ахметдинов? Где Звенкин? И другие прочие, миллионы? Где? Там, на поле брани... Ганяралы! — намеренно коверкая слово, в злобе прокричал он. — Ганяралы! Немцы — это чухпух. А вот мы, га-ня-я-ра-алы-ы-ы, отступаем! — он передохнул, как бы выныривая из воды, и снова загрохотал: — А мы вот не отступаем! Мы — выдерживай! Насмерть стоим у станков! — и Степан Яковле-

вич, оборвав, снова зашлепал старенькими чувяками.

Нет, нет! Это он просто так, «с кондачка», назвал тех сукиными детьми и «ганяралами». Ах, ты-ы! И хочется ему плакать. Рыдать так же, как он иногда рыдал в детстве: с захлебом, с заиканием. Вот так кинуться на пол и кататься, пока не подойдет мать и своей родной, ласковой рукой не поднимет его и не скажет: «Степушка!.. Да что ты? Вот я, мама твоя, около тебя. Кто обидел тебя? Ну, вот я их сейчас!»

Ох, нет! Рыданием тут не поможешь. Это надо подавить в себе — плач. Степан Яковлевич смахнул слезы, набежавшие на щеки, и потянулся к ботинкам. Потом надел костюм, расчесал бородку и без кепи пошел к двери, говоря:

— Запри-ка за мной.

— Куда это ты, Степан Яковлевич? — в страхе спросила Настя. — Накричал и пошел...

— В цех! Ребята там тоже, наверное, с ума сходят. Пойду, — и, погладив по голове маленькую, особенно маленькую в ночной рубашке, Настю, он вышел из домика. — Э-хе-хе! — прогудел он, шагая по кирпичному тротуару, усаженному по обе стороны молодыми липами.

За липами тянулись домики-коттеджи, дальше виднелся рабочий поселок, и еще дальше, под горой Ай-Тулак, ворчал в ночной тишине завод. Богатырски вздыхая, иногда как-то похохатывая, он омывал темное небо вспышками электрического света.

— Вот ведь за короткий срок построили, — проговорил Степан Яковлевич, как бы с кем-то споря. — Завод построили. Город построили. Кто? Мы, люди советские. Ой, сколько нас! Русские, татары, мордва, украинцы, белоруссы, грузины, армяне... Да не перечтешь! И не те мы старые солдаты, старые рабочие, старые крестьяне, интеллигенты старые. Духом другим живем. И нас победить? Нет... Нельзя!

Войдя на площадь около завода, он остановился перед огромной картой, висящей на двух столбах. На этой карте Сережка, рыжий, вихрастый радист, во время боев ежедневно в двенадцать часов ночи пере-

ставлял красные флажки, указывающие передвижение линии фронта. Теперь флажки пиками врезались от Орла на Малоархангельск, на Поныри и Гнилец. С юга, от Белгорода, флажки пиками врезались на Богородицкое и Кочетовку.

Посмотрев на карту, Степан Яковлевич гмыкнул. Затем снова посмотрел и увидел, что стрелки с юга как-то выросли, но на севере от Орла застыли: они были такие же, как и вчера.

— Гм... — опять гмыкнул Степан Яковлевич. — Нельзя! Нет, нас нельзя победить! — пробасил он и, пройдя несколько метров, остановился перед портретом Иосифа Виссарионовича Сталина, висящим над входной будкой. — Нет! Нас сломать невозможно, Иосиф Виссарионович! Мы сила несокрушимая... Да еще и то: ты у нас есть. Верно ведь? — и, улыбнувшись Сталину, он прошел на завод и вскоре попал в цех коробки скоростей.

В цеху — огромном, с высоким потолком зале, все приглушенно гудело, скрежетало. При входе рядами стояли недавно привезенные сюда станки, за которыми обучались новички, в том числе и Варвара Коронова. Она повязала голову беленькой косынкой, вроде чепчика, рукава засучила, кисти ее рук измазаны рыжеватым маслом. Около станка, который, казалось, нахмурясь, работал сам по себе, она была свежа, словно анисовое яблоко. Меж станков расхаживал седенький человек, весь в морщинах и с орденом Ленина на груди. Это Моисей Моисеевич, старый мастер, ушедший было на пенсию, но недавно снова вернувшийся на завод, чтобы обучать новичков.

— Ты что, старичок, ночью тут? — со скрытым упреком прогудел Степан Яковлевич, однако с уважением пожал руку Моисею Моисеевичу.

— Да так! Не спится, молодой человек, — ответил тот, глядя в глаза Степану Яковлевичу, и, подмигнув, добавил: — Знаешь ведь сам. Чего же мелешь?

— Побеждаем, — пробасил Степан Яковлевич. — Побеждаем, ребята! — прокричал он на весь цех.

Все ученики и рабочие, до которых докатились

слова Степана Яковлевича, повернулись к нему, миг смотрели на него удивленно и сокрушенно.

Затем Варвара сказала:

— Где уж!..

Степан Яковлевич вскинул вверх палец и проговорил:

— Вы, ребята, то подумайте: какая сила прет на нас?! Броня со всей Европы! Гм!.. Наполеон прошел под Бородино, сто там с чем-то тысяч солдат с пушками привел! А пушки такие: на три версты пальнет — и духу больше нет. А тут миллионы прут на нас. Да с чем? С танками, с самолетами...

— А наши что? С хворостиной? — влетев в цех, чтобы сообщить Варваре о том, что от ее мужа с фронта получено письмо, зачастил Евстигней Коронов. — С хворостиной? А! Мы им туда, своим, что посылаем? Семечки, что ль? Нате-ка, мол, братцы, покидайте зернышки в немчуру! А? Ну? Выкладай, Степан Яковлевич!

Все затихли. Степан Яковлевич сжался, а Моисей Моисеевич снова посмотрел в его нахмуренные глаза и тихонько произнес:

— А говоришь, зачем я сюда ночью пришел... Эх...

Степан Яковлевич взмахнул огромными руками и крикнул:

— Выключай! На минуту дела выключай! От всей души скажу...

А когда все столпились около него, он, так же вскинув вверх палец, прогудел:

— Видали на карте-то? С юга еще подвигаются, а с севера — от Орла — замерло. Точка! Задержать такую силу на точке — великое дело, товарищи. Великое! Это ведь, представьте себе, океан хлынул на нашу страну, а мы его задержали. А раз задержали, — отбросим. Верю я... — Степан Яковлевич опустил руку, смущенно говоря: — Оратор-то я таковский... Вот Иван Кузьмич бы на вас — он бы до души достал.

А от рабочих полетело:

— Да и ты достал!

— И это действительно, расшибем!

— Эх, мне бы до них добраться!

— А ты работой добирайся!

— Спасибо, спасибо, Степан Яковлевич!

— А мне-то за что? — растроганно пробасил Степан Яковлевич. — Я, что ль, на точке приостановил?

Какую-то минуту рабочие молчали, и вдруг, не сговариваясь, все рассыпались по своим местам, и цех снова приглушенно заскрежетал.

Степан Яковлевич подошел к Варваре и, глянув на учеников-ребят, улыбнулся: они откуда-то понатаскали ящиков и, взобравшись на них, копошились около станков, такие чумазые, словно воробьи, живущие на металлургических заводах.

— Ну как, красавица? — проговорил Степан Яковлевич, не отрывая взгляда от ребят.

— Боюсь... — почти шопотом ответила та.

— Чего?

— Станка.

— Ну-у? — и Степан Яковлевич с упреком посмотрел на Моисея Моисеевича.

— А я ей говорю: станка не бойся. Стружки бойся: она уцепится и полруки отхватит. А станок — существо разумное, даже с высшим образованием. Ты только не глупи около него, а пойми его. Пойми и полюби, — подчеркнул Моисей Моисеевич.

— Полюби, полюби! — подхватил Евстигней Коронов, вкладывая в это слово совсем другой смысл.

Он знал все тайные замыслы Варвары. Когда она решила покинуть столовую и стать к станку, он спросил:

— Зачем?

И Варвара с полной откровенностью ответила:

— Приедет Николай Степанович, а я у станка. Ведь он по нескольку раз в цеху бывает, а в столовую и не заглядывает.

На такую откровенность Евстигней Коронов не нашел, что ответить, и только на следующий день сказал:

— Ну что ж? Не на пакостное дело идешь. Только ведь муж у тебя.

— А разве я его гнушаюсь? — так же откровенно проговорила Варвара.

— Письмо муженек прислал, — сказал он сейчас, предполагая, что Варвара охнет и немедленно потребует письмо, а она только спросила:

— Откуда?

— Из госпиталя. Ранен в ногу... Да ты ничего, не бледней, — видя, как побледнела Варвара, начал он успокаивать ее.

Варвара, скрывая лицо в сорванной с головы косынке, еле слышно произнесла:

— А я и не бледнею, — и, глядя из-под косынки одним горящим глазом на Степана Яковлевича, прошептала: — От Николая Степановича весточки нет? На фронте он, слыхала я.

5

Кровопролитный бой шел южнее армии Анатолия Васильевича.

Грохот артиллерии, скрежет танков, взрывы бомб, предсмертные крики людей — все это слилось в один гул, и гул этот все ближе и ближе подкатывался к Грачевке.

Уже было известно, что немцы на Курск двинули семнадцать танковых дивизий, до двадцати пехотных моторизованных дивизий, огромнейшее количество шестидесятитонных танков «тигр» и самоходные орудия «фердинанд». Вся эта бронированная лавина, поддерживаемая армадой самолетов, со стороны Орла обрушилась на войска Рокоссовского и со стороны Белгорода — на войска генерала Ватутина.

Все это было известно, но неизвестно было только одно: что делать армии Анатолия Васильевича? Ведь тогда еще, второго июля, Рокоссовский в дверях хаты Макара Петровича шепнул командарму:

— Дам сигнал. Мы их опередим!

Выступление немцев со стороны Орла он действительно опередил: без десяти четыре утра пятого июля, чего немцы не ожидали, Рокоссовский обрушил ураганный артиллерийский огонь, затем самолеты ссы-

пали на немецкую оборону тысячи бомб. Этим было внесено замешательство в армию противника, но остановить военную машину, в течение восемнадцати месяцев тщательно подготовленную, конечно, это не смогло, и она, военная машина, ринулась, только не в четыре утра, как было намечено, а в пять тридцать в одном направлении, в шесть тридцать — в другом и в семь тридцать — в третьем.

Танки «тигр» и самоходные пушки «фердинанд» явились тем новым видом оружия, о котором до выступления так угрожающе кричали на весь свет немцы. Оружие это было действительно мощным: «тигра» ни один снаряд в лоб не брал, а «фердинанды» «ускользали» от артиллеристов: дав залп, они быстро уходили на другое место. Обычно немцы перед прорывом выпускали более легкие танки, те расчищали путь, а за ними выползали бронированные чудовища — «тигры». Где-то в стороне стояли «фердинанды» и обстреливали советские позиции.

Вначале перед «тиграми» растерялись было и артиллеристы и танкисты. Но вскоре научились бить их так же, как и любой танк.

— Как? Как бьют? — узнав об этом, взволнованно спросил Анатолий Васильевич у Макара Петровича.

— До бойцов дошло что-то нелепое, товарищ командарм, — стал пояснять Макар Петрович, еще не понимая, что именно это и волнует Анатолия Васильевича. — Говорят, что «тигр» ничему и никому не поддается: грызет наши танки, как орехи.

— Ну, это чушь, чушь! — раздраженно вскликнул Анатолий Васильевич.

— За что купил, за то и продаю.

— Продаю, продаю! Ты не «продаю», а надо узнать, как бьют, и довести это до армии.

— Слушаюсь! — стих Макар Петрович и через минуту: — Слушаюсь!

Это окончательно взвинтило командарма.

— Что «слушаюсь», «слушаюсь»? Надо вызвать полковника Ломова. И пусть узнает.

— А как узнать?

— Что, я за каждого должен думать?

Вскоре прибыл полковник Ломов, командир добровольческого Уральского танкового корпуса. Это был типичный сибиряк-таежник: плотно сколоченный, с маленькими острыми глазками, на поворотах медлителен и тяжеловат, как и танк. Когда он вошел в комнату, Анатолий Васильевич не сразу задал ему приготовленный вопрос: он этого полковника еще не совсем хорошо знал. Расхаживая по комнате, положив руки на живот, склоняя голову то на одну, то на другую сторону, он, заглядывая на полковника, как иногда птица смотрит с забора на землю, начал издалека:

— Мы на-днях, полковник, без вашего разрешения танчонок из вашего корпуса взяли... бойцов испытать. Не обижаетесь?

Ломов простодушно-доверчиво улыбнулся:

— Что вы, товарищ командарм: не только танки, но и моя жизнь и жизнь моих танкистов в вашем распоряжении!

— Гм... Рискованно. Вздумается мне — я завтра вас в болото и загоню, — поджимая губы, тоненько проговорил Анатолий Васильевич.

— Если для дела, и в болото полезем, товарищ командарм, — все так же простодушно ответил Ломов.

Анатолий Васильевич, снова наклонив голову, посмотрел на него:

— В болото?

— И в болото, товарищ командарм.

— А если это бестолково?

Ломов вскинул угловатые плечи и даже как-то сердито сказал:

— С вашего разрешения, товарищ командарм, вы приказали, и я явился. Чем могу служить?

«Эх! Какой он! Сибирячок!» — проговорил про себя Анатолий Васильевич и вслух, уже строго:

— Нам стало известно, что «тигры» под ударами артиллеристов и танкистов падают, а у нас в армии говорят, что это какая-то такая неуязвимая скотина. Правда? Нет?

Ломов рассказал, что им, танкистам, кое-что известно о «тиграх», что и на «тигре» есть уязвимые

места, но было бы гораздо лучше съездить на место боя и посмотреть.

— Вот, вот, вот! — подхватил Анатолий Васильевич. — Съездить и посмотреть, а не ждать.

— С вашего разрешения, товарищ командарм, я поеду, — сказал Ломов.

— Ох нет, голубчик! Ты... вы пошлите-ка своего заместителя. Вот пошлите, пошлите! Макар Петрович, кто там тебе барабанит? Возьми трубку. Не помешаешь нам.

Макар Петрович взял трубку телефона и через какую-то минуту удивленно-страшными глазами посмотрел на командарма.

— Что? — вскрикнул Анатолий Васильевич.

Макар Петрович положил трубку, сообщил:

— Комдив Михеев звонил... Боец Сиволобушкин...

— Сиволобов. Ну! Бойцов не знаешь, товарищ начштаба.

— Так вот, этот самый Сиволобов взял в плен «тигра».

В комнате наступила тишина, и все недоуменно посмотрели друг на друга.

6

Часов в девять утра, когда солнце уже начало жарить землю так, что бойцам, сидящим в своих «кувшинчиках», захотелось искупаться, вдруг неподалеку от их поляны показался танк «тигр». Возможно, он сюда попал с южной стороны, где шли кровопролитные бои, а возможно, немцы выпустили его с целью нагнать панику на советских воинов.

Откуда и как попал сюда «тигр» — Сиволобову думать было некогда. Глянув на бронированную громадину, которая все давила и мяла под собой, он пощупал бутылки с горючим и сомнительно покачал головой, решая про себя, что бутылки не спасут его от чудовища, как не спасет и окопчик.

«Раздавит, как воробья», — со страхом подумал он, не зная, что предпринять.

А танк двигался к поляне, урчал, как бы на что-то сердясь, но, подойдя к небольшому болотцу, круто повернул и пошел в обход.

— А тя-тя-тя-тя! — воскликнул Сиволобов и посмотрел на своих товарищей, соседей по окопчику.

Все бойцы высунулись из «кувшинчиков», одни — глядя то на «тигра», то на Сиволобова, другие — собираясь бежать в лес. Сиволобов понимал, что многие бойцы смотрят на него как на спасителя: ведь он недавно один справился с танком, а вот теперь с этим? Сиволобов подмигнул бойцам и закричал:

— Ножки-то боится замочить! Ножки! А наши не боятся. Соображаете? Вишь, вишь, завыл как!

«Тигр» действительно, попав в мочежины, завыл, заерзал, закрутился, все глубже и глубже уходя в торфяную кашу.

— Коленька, — сказал Сиволобов своему соседу слева. — Топорик прихвати-ка с собой, а ты, Сергей, тоже давай с нами! — и, почему-то разувшись, взяв автомат и плащ-палатку, он первый выскочил из окопчика...

И вот они втроем, босые, вооруженные автоматами, топором, кроясь в травах, поползли в сторону леса. Добравшись до леса, они начали перебегать от дерева к дереву, затем снова упали, поползли на болото, в камыши.

Танк же крутился на месте, весь сотрясаясь, как бы намереваясь что-то сбросить с себя. Временами он приумолкал, будто осматриваясь, и снова начинал дергаться, крутиться...

Три человека перешли болотце, камыши, выбрались на берег, и тут Сиволобов шепнул:

— Я ему глаза палаткой закрою. Ты, Коленька, топором пулеметики погни, а ты, Сергей, стой над люком. Как немец высунется, бей по ему из автомата. Эх, и штуку отчеканим! — и, подав команду, первым кинулся на танк.

По всей армии молниеносно разнеслась весть, что рядовому бойцу Сиволобову посчастливилось: совместно с двумя бойцами он забрал в плен танк «тигр».

Потом, когда Сиволобова спрашивали, как это случилось, он говорил:

— Ну, как во сне! Ей же ей, будто во сне! Ну что ж? Кинулись мы с ребятами на него, на громадину. Я палаткой — хоп, прикрыл ему щель. Он ослеп и давай нас трясти. Страх! Батюшки мои! Как угорелый. Гляжу, а дружок мой, Коленька, пулемет топором погнул, другой погнул. Сергей прикладом по люку барабанит, орет: дескать, вылазь, не то там и сдохнешь. А «тигр» рванулся, выскочил из мочежины да сослепу прямо в болото залез. Тут и стоп-крышка? Не-ет, не сдается! Давай из пушки палить то в небо, то в землю. «Погоди, — думаю, — выпалишь все, что делать будешь?» Отхлопал... Смолк... Тут все наши ребята на него... Смеху сколько было!..

А сейчас, усадив пятерку танкистов-немцев на поляне, предварительно связав им руки и ноги, бойцы попрятались в «кувшинчики» и оттуда посматривали то на танк «тигр», то на танкистов, не придавая особого значения тому, что они совершили. Особого значения не придавал этому и сам Сиволобов. Он только временами тихо смеялся и, поворачиваясь к своим дружкам-соседям, показывая на немцев, говорил:

— Глазами-то как зыркают. А-а-а-х! Сожрали бы нас с потрохами. Ничего, вот кто-нибудь подойдет и отведет молодчиков в штаб, к нашему Петру Тихоновичу.

— Дядя Петя! — спросил Коленька, молодой боец, долго и пристально рассматривающий немцев. — Мне дедушка говорил, когда я на фронт пошел, будто у них, у немцев, рога?

— Поди пощупай. Может, и есть.

Тогда кто-то из бойцов крикнул:

— Это раньше. Псы-рыцари у них были. «Александр Невский» картину видели? Ну, вот там псы-рыцари с рогами действительно.

— А теперь псы остались, а рыцарей нет, — добавил Сиволобов и завозился в «кувшинчике», предупреждая: — Полковник едет. Слышите, как таратай его гудет?

И в самом деле на полянку выскочил ободранный, воющий «газик». Он остановился. Из него выкатился Михеев. Глянув на немцев, затем на танк, всплеснув руками, крикнул:

— Кто? Кто это сделал?

— Я, — не сразу, нарастяжку ответил, чего-то перепугавшись, Сиволобов и, чтобы не подводить своих дружков, еще раз сказал, уже поднявшись из «кувшинчика», отдавая честь: — Я, товарищ полковник!

— Ай-яй-яй! — вскрикнул Михеев и кинулся к «газику».

«Газик» фыркнул, как-то подпрыгнул, крутанулся и помчался обратно.

— Может, мы чего не так сделали, не по инструкции? — недоуменно спросил своих дружков Сиволобов. — Не бывало ведь еще такого, чтобы полковник вот так на таратае своем от нас укатил...

Но вскоре пришли тракторы. Они вытянули «тигра» на поляну. После этого со своими танкистами приехал полковник Ломов. Он, торопясь, сначала на грузовике куда-то отправил немцев, затем приказал своим танкистам на «тигре» двигаться следом за ним.

— Ну, вот и вся недолга, — сказал после этого Сиволобов. — Теперь, значит, вздремнуть можно. Люблю подремать под солнышком в норке своей, — и хотел было привалиться к стенке окопчика и подремать, как снова заслышал тарахтенье михеевского «газика». — Опять полковник! Ребята, слышите, таратай ревет?

«Газик» выскочил на поляну. Вышел адъютант Михеева, Ваня.

Осмотрев окопчики, он спросил:

— Кто тут будет Сиволобов?

— Я. Я сроду был, товарищ лейтенант, — ответил Сиволобов.

— К полковнику!

— С вещами? У меня тут разный шурум-бурум есть, — растерянно спросил Сиволобов.

— Присмотреть за хозяйством бойца Сиволобова! — важно приказал Ваня и, усадив Сиволобова в кузов, сам сел рядом с шофером.

«Газик» рявкнул, подпрыгнул и, круто заворачиваясь, куда-то помчался.

— Поехал, ребята! — открыв дверку, прокричал Сиволобов так, как будто уезжал на базар. — Гостинцев ждите-е-е! — донеслось до бойцов.

7

Все это напоминало какую-то своеобразную облаву на волка...

Перед дубовой рощей лежало широкое и длинное, километров на десять, поле, изрезанное мелкими овражками, местами болотистое и топкое. На окрайке рощи сгрудились представители танкистов, артиллеристов, летчиков, пехоты. Чуть впереди их, на открытом месте, стоял стол, за которым сидели Анатолий Васильевич, Пароходов, Макар Петрович, Тощев, Ломов, Михеев, Николай Кораблев и Сиволобов.

Сиволобов сидел ни живой ни мертвый. Он еще не совсем понимал, почему его сюда вызвали, а главное, зачем посадили за стол рядом с генералами. Он чувствовал, что тело у него как-то одеревенело: ноги, став на землю, так и стояли, руки, положенные на колени, так и лежали, — а во рту до того пересохло, что губы шелушатся. Впереди себя на поле, метров за пятьсот от стола, он видит полоненный танк «тигр», а рядом со столом «на-попа» стоят снаряды: коротенькие, длинные, толстые и с какими-то «нашлепками». Генералы о чем-то совещаются с Ломовым. Воспользовавшись этим, Сиволобов, показывая глазами на снаряды, тихо спросил Николая Кораблева:

— Чего это, скажи на милость, как друг? Снаряды? Вижу. А что? Вот этот с какой-то «нашлепкой»?

— С «нашлепкой», — стал тихо объяснять Николай Кораблев, — это подкалиберный снаряд. «Нашлепка» мягкая. Ударит этот снаряд в танк — «нашлепка» выковырнет на броне место, вроде рябины

на лице сделает, а «сердечко» идет дальше, пробивает броню.

— Ага, путь-дорогу расчищает. А этот?

— Термитный. Рядом с ним — осколочный.

— Ты гляди, чего человек придумал, махину такую! — Сиволобов показал глазами на танк «тигр». — Пахать бы на этой махине... Ух, сколько плугов, сеялок к ней можно бы прицепить! Нет, человек придумал махину эту, чтобы людей уничтожать. А тут и на нее — снаряды эти, чтобы ее уничтожить. Диву даешься! — он тяжело вздохнул, однако не шевеля ни рукой, ни ногой, затем хотел еще о чем-то спросить, но в это время заговорил Анатолий Васильевич:

— Прошу начинать, полковник.

Ломов быстро перебежал, сел впереди стола, перед рацией, и, весь собравшись, как бы намереваясь сделать прыжок, произнес:

— Я «Волга». Я «Волга»... Я «Волга». Я «Во-о-о-о-лга-а-а»!.. — вдруг заревел он. — Что вы там... мать... — и растерянно остановился, испуганно посмотрев на Анатолия Васильевича.

Тот еле заметно улыбнулся, сказал:

— Говорите, говорите на своем языке. Воздух выдержит: там барышень нет... И Троекратов не слышит. Командуйте, полковник!

Облегченно вздохнув, Ломов расправил квадратные плечи и начал командовать на «своем» языке.

Танк «тигр» заурчал и кинулся вперед. Он несся, то приседая, будто кто тяжелый взваливался на него, то подпрыгивал, поднимая вихрь пыли. Отбежав километров за восемь, он развернулся и остановился, уже лицом к дубовой роще.

Ломов снова подал команду:

— Я «Волга». Я «Волга»... Первый! Второй! Второй! Первый!

Через рацию послышалось:

— Первый слушает. Первый слушает.

— Второй слушает. Второй слушает.

— Даю команду. Даю команду. Да-аю-ю-ю команду-у!

— Слышим! Слышим! Слышим! — понеслось из рации.

— То-то, слушайте мою команду! — закричал Ломов. — «Разбойник», вперед!

Простым глазом еще нельзя было разобрать, двинулся ли «разбойник», то есть танк «тигр». Но через какую-то минуту все увидели и другое: как из дальнего леса, с правой и левой стороны, вырвались еще два танка, размером гораздо меньше «тигра». Взяв на конус, они ринулись наперерез «тигру».

— Уйдет, — сказал Макар Петрович.

— Расстояние небольшое, возможно и уйдет, товарищ генерал, — ответил Ломов и вдруг снова закричал в рацию. — Уходит! Уходит! Я вам уйду!

Он знал, что его все равно сейчас танкисты не слушают, но, однако, прокричал и смолк.

Все это произошло очень быстро. Люди еще не успели по-настоящему вглядеться в «состязание», как два советских танка «Т-34» перерезали путь «тигру» и стали, дымясь и отфыркиваясь. Стал и «тигр», взятый в «клещи» советскими танками.

Анатолий Васильевич сказал:

— А теперь, полковник, давайте его расстреляем.

«Тигра» поставили на возвышенность и открыли по нему огонь со всех сторон, из орудий разных калибров и с различных дистанций... И вскоре все толпились около «тигра», рассматривая «ранения». Удары в лоб оставили только вмятины, кроша броню. Но на боках и позади у «тигра» было что-то страшное.

Сиволобов, сжав кулак, просунул его в отверстие, пробитое снарядом. Разжав кулак внутри танка, пощупал броню, еле обхватывая ее большим и указательным пальцами, затем удивленно произнес:

— Вот это хватанул!

Таких пробоин на танке было несколько, но еще больше — мелких, через которые проходил только палец Сиволобова.

— Вот это и есть тот снаряд, с «нашлепкой», — объяснил ему Николай Кораблев. — Подкалиберный называется.

— Ай, сила какая! Ай, какая сила! — покачивая

головой, вскрикивал Сиволобов. — Ты гляди, как в кусок мыла гвоздем, броню-то прорезал. Ай, сила!

Анатолий Васильевич уже стоял на танке и, обращаясь к сгрудившимся представителям танкистов, летчиков, артиллеристов, пехотинцев, говорил звонко:

— Видали, какое оружие нам дала наша страна? Танки наши быстрее, изворотливее, проворнее и как бьют! Исполосовали «тигришку», в решето превратили. Бензин мы из него слили, а то горел бы, как сухой лапоть!

— Ого-го-го! — захохотали бойцы, артиллеристы, летчики, танкисты над последними словами Анатолия Васильевича, а тот, выждав, когда хохот смолкнет, снова сказал: — Так теперь ступайте к своим и скажите: «Не так страшен чорт, как его малюют», — и, загибая пальцы на руке: — Снаряды наши его берут? Ну не в лоб, так в бок. Наши танки быстрее, изворотливее, устойчивее... И кроме того, «тигра» человек, ежели смекнет, может и с топором в плен взять. Вот тут у нас есть один такой герой, Петр Макарович Сиволобов... С топором в руке полонил этого «тигра». Петр Макарович, а ну-ка ко мне. Скажи им.

Сиволобов был настолько смущен, что почти не слышал последних слов командарма. Он даже не заметил, как его подсадили, как он очутился на танке рядом с Анатолием Васильевичем.

— Говори, говори, Петр Макарович! — сказал тот.

Сиволобов, дрожа, начал:

— Ну, что же... Ну, ей-ей... Как во сне. Ну, вот, как во сне...

— Ты это, братец, брось, «как во сне», — прервал его Анатолий Васильевич. — Прямо говори: смекалка. Русская смекалка. «Во сне»! Ишь, чего придумал. Во сне-то так бы и проспал.

— Слушаюсь, товарищ командарм! Конечно, сознательный акт, — еле слышно ответил Сиволобов и, вскинув голову, снова начал: — Да-а-а, значит, как во сне...

— Заладил одно и то же, — оборвал его Макар Петрович.

А Анатолий Васильевич уже хохотал, то похлопы-

вая по плечу Сиволобова, то легонько обнимая его.

— Ничего! Ничего! — сквозь смех вскрикивал он, обращаясь ко всем. — Говорить не умеет, зато бить умеет. Говоруны найдутся, хоть море пруди. А вот таких, как Петр Макарович... Впрочем, у нас и таких много. Ничего! Спасибо тебе, Петр Макарович! Товарищу Сталину напишу о тебе, буду просить Героя, — и, легко спрыгнув с танка, подойдя к Николаю Кораблеву, проговорил, показывая на пробоины: — Это вам не ножички.

— Вы что меня ими ковыряете?

— Не верьте первому слову.

— Откровенно говоря, Анатолий Васильевич, я вам тогда и не поверил. Ну, то уже в прошлом. А теперь — вот эти два танка были вроде в бою?

— В маленьком. А что?

— Если я посмотрю моторы? Разрешите мне тут остаться.

— Оставайтесь. Посмотрите — и к нам, прошу вас. Время напряженное. Однако, уверяю вас, ничего вы не узнаете. Погодите немного, пойдем в бой — вот тогда и смотрите.

8

Макар Петрович перекочевывал со всем своим имуществом в хату Анатолия Васильевича. На кровать, которую для него Галушко поставил в столовой, он иногда склонялся, но спать не мог, как не могли спать и Анатолий Васильевич и весь его штаб: генералы, полковники, майоры, лейтенанты, бойцы. Все были невероятно напряжены, гораздо сильнее, чем накануне пятого июля: ждали приказа от Рокоссовского. А Рокоссовский молчал. Он так молчал, будто забыл о том, что в его распоряжении чуть северней боя, стоит наготове армия Анатолия Васильевича.

На стене в хате Анатолия Васильевича висела свежая карта. На карте появились капельки, нависающие с севера и юга над Курском. К вечеру пятого июля капельки стали растекаться в разные стороны,

шестого — они выросли уже в капли, а седьмого — угрожающе нависли над Курском. Макар Петрович эти капельки сначала чертил красным карандашом, затем синим, потом черным.

— «Клещи», — произнес он восьмого вечером. — Я ждал, что именно здесь они выступят, — не без скрытой гордости намекнул он на тот разговор, который когда-то происходил в присутствии Николая Кораблева в хате Макара Петровича.

Анатолий Васильевич искоса посмотрел на него, понимая, что начштаба оказался в споре прав, но его кольнуло то, что вот бывший председатель райсовета разгадал намерения немцев, а не он, Анатолий Васильевич, всю жизнь военный. И, чтобы пронять Макара Петровича, он, ссылаясь на приказ, запрещающий даже разговаривать о планах, сказал:

— Вам должно быть известно, что трепаться о планах не положено.

— Вместе трепались, товарищ командарм.

— Я не трепался. Я объяснял обстановку Николаю Степановичу.

— А я вносил поправки.

Анатолий Васильевич некоторое время молчал, давя в себе неприязнь к Макару Петровичу, затем произнес:

— Ты чего-то ко мне сегодня агрессивно настроен.

— Устал, товарищ командарм. Прости, пожалуйста, — Макар Петрович, снова перейдя на «ты», заговорил: — Смотри-ка, товарищ командарм, а и в самом деле, что́ тут творится! — и зеленым карандашом «подвел» капельки на карте. — Не так воюют. Я бы не дал себя зажать в «клещи», — чуть погодя добавил он.

— Ты бы. Не дал бы! Пойдем-ка лучше ночку посмотрим, товарищ начштаба, — предложил Анатолий Васильевич и первым пошел на выход, столкнувшись тут с Галушко. — Не мешай! — крикнул он ему. — Мы на минутку. Без тебя обойдется!

Позавчера через Нину Васильевну он узнал о том, что Галушко «опередил» их, и был им страшно недоволен.

— Идет война, а они, как кролики: рожать надо, — проворчал он и сейчас, выходя во двор.

Небо было чистое, глубокое. И по этому глубокому небу катилась полная луна, яркая, светлая, будто раскаленная сталь. Южнее небо полыхало заревом. Зарево дрожало, тряслось, то вдруг вспыхивая, то угасая. И по этому зареву Анатолий Васильевич определил, что бои идут совсем близко, в каких-нибудь двадцати — тридцати километрах, и не только южнее, но восточнее: зарево, как серп, огибало армию Анатолия Васильевича.

— Малоархангельск, видимо, взят: видишь, зарево восточнее нас? — проговорил он, обращаясь к Макару Петровичу.

— Грустно, — убийственно спокойно произнес тот.

И почему-то именно вот это, убийственно спокойно сказанное Макаром Петровичем, взвинтило Анатолия Васильевича.

«Рокоссовский занят боями, а я — переживаниями: хожу и вздыхаю. Надо произвести перегруппировку, приготовиться к встрече врага», — тревожно подумал он, шагая в хату и только тут сказал: — Слюни распустили мы с вами, Макар Петрович. Надо позвонить Рокоссовскому, а то потом скажет: «Я воевал, а вы?», — он взял трубку и вызвал Рокоссовского, говоря уже тоненьким голоском: — Это я, Константин Константинович. Узнаете? Рад, рад! Узнали? Двадцать — тридцать километров от нас. В тыл заходят. Что делать?

— Не нервничайте. Вы старый солдат, а нервничаете.

— Да я не нервничаю!

— По голосу слышу: нервничаете... Мне сейчас немного некогда, Анатолий Васильевич. Скоро приеду, чайку попью. Поклон Нине Васильевне. Поняли?

Анатолий Васильевич отнял трубку от уха, долго смотрел на нее, как бы ожидая, что оттуда снова послышится голос Рокоссовского, затем медленно, неохотно положил ее на аппарат и вдруг тихо произнес:

— Значит? Значит, выполняет план Сталина.

9

И опять в ожидании потянулись тревожные дни и ночи.

Сегодня уже было одиннадцатое июля, а южнее армии Анатолия Васильевича все еще шли ожесточенные бои. Война была совсем рядом, в десяти — двенадцати километрах от Грачевки: земля, хаты, воздух содрогались беспрерывно.

Анатолию Васильевичу и всем в штабе армии было известно, что немцы к исходу восьмого июля только на участке Малоархангельск — Поныри — Гнилец потеряли до сорока двух тысяч убитыми, до восьмисот танков и самоходных орудий «фердинанд». Рокоссовский умелыми контрударами свалил «гитлеровского зверя». Но как раз вот это-то и угрожало армии Анатолия Васильевича: смертельно раненный зверь может еще вскочить на ноги и кинуться в сторону, то есть на армию Анатолия Васильевича. В этом отношении самую большую тревогу стал проявлять Пароходов. Он за эти дни, разъезжая по дивизиям, полкам, по тылам, всех «взвинчивая», стал походить на солдата, которому сказали: «Вот сейчас ты пойдешь в бой. Будь готов!» Но удивительно спокоен был Макар Петрович.

Когда около него начинали нервничать, особенно Пароходов, он стучал костяшками пальцев по столу и произносил:

— После войны всем надо ехать в Кисловодск: сердца шалят.

Но сегодня расстроился и Макар Петрович.

Они — Анатолий Васильевич, Пароходов, Макар Петрович, Нина Васильевна и Николай Кораблев — сидели за столом и завтракали.

— Мы, как старые солдаты, — с легкой руки Рокоссовского Анатолий Васильевич в разговоре теперь всегда подчеркивал: «Мы, старые солдаты», — что очень не нравилось Нине Васильевне, особенно «старые». — Мы старые солдаты и должны иметь волю — не нервничать, — это он сказал по адресу Пароходова, но тот все равно то и дело вскакивал из-за стола и вскрикивал:

— Ох ты! Долго в напряжении стоит армия. Долго! Мы, как откупоренное вино: оно может перестояться и превратиться в уксус. Знаете об этом?

Анатолий Васильевич хотел было сказать: «Мы, старые солдаты», — но, глянув в окно, встревоженно произнес:

— Маршал! — и кинулся на выход.

Нина Васильевна поднялась из-за стола и, обращаясь к Николаю Кораблеву, сказала:

— Пойдемте сюда, — и увела его за перегородку.

Маршала Анатолий Васильевич, Макар Петрович и Пароходов до этого знали только по приказам да по портретам в газетах. По портретам в газетах он казался огромного роста, широкоплеч, а вот тут, войдя в хату, он оказался совсем небольшого роста, даже росточка. Губы у него толстоватые, а в уголках губ какие-то жесткие черточки, которые он, видимо, намеренно скрывал улыбкой. Лоб высокий, выпуклый.

Маршал привез с собой генерала Купцианова, командующего соседней армией, того самого Купцианова, которого почему-то недолюбливал Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич знал, что Купцианов в молодости носил русскую фамилию Купцов, а потом через печать изменил на Купцианов, что теперь он у себя в армии живет на широкую ногу: у него целый штат прислуги — девушки в беленьких фартучках, винный погребок, десятка полтора автомашин, что он возит с собой даже ванну. В этом как будто ничего особенного не было, но Анатолий Васильевич сам жил почти по-солдатски и осуждал всякую «роскошь».

Войдя в комнату, маршал отвесил общий поклон и, видя, что генералы гораздо выше его ростом, торопливо предложил всем сесть, в том числе Анатолию Васильевичу, который, не зная, что делать, топтался около стола.

— Садитесь, генерал, — и маршал потянул его за руку.

Но Анатолий Васильевич все еще не понимал того, что маршалу неудобно говорить с подчиненными, глядя на них снизу вверх, и только когда тот вторично потянул его за руку, сказав: «Садитесь же», — он сел.

Следом за маршалом вошел Купцианов, с иголочки одетый, подтянутый и даже напудренный. Прищелкнув каблуками, он тоже отвесил общий поклон, роняя голову на грудь и быстро вскидывая ее.

— Садитесь, генерал. В ногах правды нет, — кинул маршал и затем, обращаясь ко всем, сказал: — А кстати, знаете это откуда — «в ногах правды нет»?

Анатолий Васильевич знал, но не пожелал отвечать первым. Купцианов же, глубоко задумавшись, ответил:

— Очевидно, в этом скрыта какая-то народная мудрость.

— Мудрость-то есть, но вы ее не знаете, генерал. Дело в том, — поворачиваясь ко всем и поблескивая глазами, проговорил маршал, — дело в том, что когда-то допрашивали просто: били по пяткам, и подсудимый говорил абсолютно все, что надо было следователю. Отсюда — в ногах правды нет. Так, генерал Купцианов?

— Слушаюсь! — ответил тот, чуть приподнимаясь со стула.

Дверь снова отворилась, и на пороге показался Рокоссовский.

Лицо у него было усталое и, очевидно от бессонницы, желтое, но глаза все такие же, с поволокой. Непринужденно поздоровавшись с маршалом, он, соблюдая воинскую субординацию, чуточку постоял и, когда маршал кивнул ему, сел против Анатолия Васильевича, говоря:

— Ну как, старый солдат, воюем?

Анатолий Васильевич, как бы не слыша, не ответил, чувствуя только одно, что эти люди приехали к нему неспроста, что им надо что-то «выколотить», на что-то склонить его. И Анатолий Васильевич внимательно посмотрел на маршала. Тот, играя улыбкой, смотрел на Рокоссовского, а Рокоссовский снова заговорил:

— Скучаете, Анатолий Васильевич? А нам жарко. Но указания товарища Сталина выполнили. Великая это честь — быть исполнителем воли вождя.

— Честь-то честью, да ведь нужно уменье, чтобы

выполнить волю гения... Так что не прибедняйтесь, товарищ командующий фронтом, — тоненько заметил Анатолий Васильевич, все думая о том, зачем они приехали.

Наступила минутная тишина... И вдруг поднялся маршал. Он пробежался по комнате, затем остановился перед Анатолием Васильевичем и сказал:

— В ближайшие дни, а может быть часы, двинемся всем фронтом. Вам, товарищ генерал, такое задание: генерал Купцианов прорвет оборону, ваша армия двинется за ним. По пятам.

— Вот скорее бы, а то застоялись! — воскликнул Пароходов.

Анатолий Васильевич подумал:

«Хорошо. Значит, Купцианов прорывает, а мы в прорыв хлынем. Хоро...» — но он даже про себя не досказал это слово: какая-то, еще не совсем ясная тревога охватила его, и он, бледнея, посмотрел на маршала, а тот добавил:

— Две дивизии, пятая и седьмая, переходят в полное распоряжение генерала Купцианова.

Анатолий Васильевич побледнел еще больше и пошатнулся: ничего более оскорбительного за свою жизнь он не слышал. Ему, старому, боевому, заслуженному генералу, итти не просто по пятам генерала Купцианова, которого он считал выскочкой, но и хуже: его армию, закаленную в боях, воспитанную им, не только рассыпают, но и фактически вливают в армию Купцианова! Забыв о том, что в комнате маршал и командующий фронтом, Анатолий Васильевич вскочил со стула и заходил туда-сюда, склоняя голову то на одну, то на другую сторону. И резко остановился перед Макаром Петровичем, тоже бледным.

— Ну, — тоненько вскрикнул Анатолий Васильевич, — ты как? Стратег!

— Это утверждено мною, — сказал маршал.

— Слушаюсь! — снова пискнул Анатолий Васильевич и, круто повернувшись, сел, глядя в угол. — «Пусть что хотят, то и делают...» — с тоской подумал он.

— Две дивизии, пятая и седьмая, переходят в пол-

ное распоряжение генерала Купцианова, — жестко повторил маршал.

— Ну и что ж? — вскрикнул Анатолий Васильевич. — Пусть берет... если ... если ему не стыдно. Полтора года стоял на одном месте, армии не создал, только... — он хотел было сказать: «Ванну возил с собой», — но сдержался, чуть подождал и снова пискнул: — Пусть возьмет! А я? Я останусь с обозниками. Пусть и пушки возьмет и танки. Зачем мне они? А меня уж отпустите! — неожиданно ввернул он. — Да, да, отпустите, товарищ маршал! Мне пятьдесят четыре. Стар. Стар, стар, стар стал. Стар. Что уж и говорить!

— Не юродствуйте, генерал! — резко оборвал его маршал, уже не в силах прикрыть улыбкой жесткие черточки в уголках рта. — Не юродствуйте, а подчиняйтесь!

— Прикажите! Напишите приказ! А это что? Слова. И я имею право возражать, пока нет письменного приказа. Ведь дело-то идет не о батальоне, а о целой армии.

В комнате наступила напряженная тишина.

Слыша эту напряженную тишину и чувствуя, что сейчас может произойти что-то непоправимое, Нина Васильевна, шепнув Николаю Кораблеву: «Побудьте минуточку тут», — вышла из спаленки и проговорила, всем кланяясь:

— Здравствуйте, здравствуйте, генералы и маршалы!

Рокоссовский поцеловал руку Нине Васильевне и, улыбаясь, сказал:

— Генералов тут пять, а маршал один.

У маршала кулак разжался, на губах появилась улыбка, он шагнул к Нине Васильевне и, тоже целуя ей руку, проговорил:

— Один! Но скоро из присутствующих будет два.

И в комнате как-то посветлело. А Нина Васильевна, видя, что буря миновала, откланявшись, сказала:

— Простите, нарушила вашу беседу, — и вышла на кухню.

Всем стало жаль, что она покинула комнату. Снова наступила минутная тишина. Все сели на старые места.

Маршал некоторое время смотрел в лицо Анатолия Васильевича, стараясь заглянуть ему в глаза, но тот намеренно отводил их, боясь, что маршал увидит в них страшную обиду. Наконец маршал сказал строгим, но уже не таким, как перед этим, голосом:

— А ваше предложение, генерал?

— А вы не нуждаетесь в нем.

— Не задирайте.

— В самом деле, Анатолий Васильевич, каково ваше мнение? — мягко проговорил Рокоссовский. — Скажите, Анатолий Васильевич. Вы же хорошо знаете, мы к вам всегда прислушиваемся, маршал — особенно.

— Мое мнение? Мое мнение... — Анатолий Васильевич вскочил и закружился по комнате, затем остановился, показывая на Купцианова. — Я понимаю: ему надо помочь. Силенок не накопил за полтора года. Согласен, готов помочь.

— Ну вот... Ну вот, — подхватил маршал, предполагая, что Анатолий Васильевич сдал. — Ну вот. Так и надо рассуждать генералу.

Анатолий Васильевич вполне понял его и быстро заговорил:

— Да, да, советский генерал так и должен рассуждать... Помочь надо соседу, — он снова показал на Купцианова. — Помочь! Что ж, я готов, — и, подойдя к карте: — Помогу. Готов помочь. Только он со своей армией пойдет так: форсирует реку, прорвет линию обороны вот здесь, а мы со своей армией вот тут — через болота, чуть правее. Да. Да. По болотам. В случае, если соседушке будет туго, пускай крикнет — помогу. Сразу же помогу. Да. А так что же? — и вдруг у этого закаленного в боях генерала губы задрожали, как у несправедливо обиженного ребенка. — Да разве вы не понимаете, товарищ маршал, какую обиду наносите всей армии своим приказом? Полтора года готовились к самостоятельной операции... и перед боем разрушена вся честь армии... Силы отданы соседу... На затычку.

Маршал и Рокоссовский переглянулись. Купцианов сжался на стуле и стал каким-то маленьким. Маршал встал, пробежался по комнате, обходя стол, стулья,

Анатолия Васильевича, и, вернувшись на старое место, сказал:

— Будет так.

В комнате все уставились на него: никто не знал, как истолковать слова: «Будет так». А в это время еще вошла Нина Васильевна, неся чай, вино и закуску. Остановившись у стола, она, мягко улыбаясь, обращаясь к маршалу, проговорила:

— Я ведь не военная, совсем не военная... И вы, товарищ маршал, извините меня, если я нарушаю вашу беседу. Но я обязана покормить вас, — и, подойдя к маршалу, она взяла его под руку, повела к столу и усадила рядом с собой.

— Сдаюсь! Сдаюсь! — намеренно громко прокричал маршал, поднимая руки вверх, и тут же серьезно обратился к Анатолию Васильевичу: — Хорошая у вас спутница. Нет, честное слово... И не поймите меня плохо.

— А я и не могу плохо-то понять, — Анатолий Васильевич на миг весь засветился и добавил: — Вот и Николай Степанович мне такое же говорил. Гость у нас тут — директор моторного завода с Урала, — и снова помрачнел.

— А-а-а... А где же он? — маршал посмотрел вокруг. — Прячете хороших гостей?

— В пятой дивизии, — Анатолий Васильевич хотел было сказать, что Николай Кораблев гостил в пятой дивизии, а сейчас находится за перегородкой, но маршал перебил его:

— Вы бы... Вы смотрите... На фронте ведь пуля не жалеет и гения... Смотрите... Может, лучше его отправить на это время подальше в тыл? А-а? Отправьте-ка его из дивизии!

За столом все переглянулись, а Анатолий Васильевич, как на спасительницу, посмотрел на Нину Васильевну и сказал:

— Нинок, выручай!

— Экая беда! — воскликнула, смеясь, Нина Васильевна и обратилась к маршалу: — Вы ведь неожиданно вошли к нам... Куда же его девать, гостя? Ну, я и спрятала его в спальне, — и Нина Васильевна

вывела из-за перегородки смущенного Николая Кораблева.

Маршал пошел ему навстречу, поздоровался за руку, сказал:

— Урал, Урал! Красивый Урал! Он Петра Великого спас и нас выручает, — и тут же, словно забыв об этом, подбежал к карте, долго смотрел на нее, бубня какой-то марш, пристукивая в такт правой ногой так, как будто в комнате, кроме него, маршала, никого и не было. — Так, так, так, — в мотив марша бубнил он, рассматривая карту, думая: «Да... честь армии — великое дело. Обида? Законная обида... и не только генерала. Полтора года готовились... и на затычку. А есть ли в этом необходимость — на затычку? Сейчас дать армии самостоятельную операцию — значит удвоить и утроить ее силы. Передать из армии две дивизии Купцианову — значит фактически свести армию на-нет. Обида породит бессилие. Да и предложение генерала разумно — через болото», — и маршал, резко повернувшись ко всем, сказал:

— Будет так. Генерал Горбунов со своей армией идет правее по болотам. Армия Купцианова — левее, как и раньше было разработано. Ну! — он посмотрел на всех, особенно внимательно на Николая Кораблева, и тихо произнес: — Завтра утром обрушиваемся на врага, — и быстро пошел к двери, как бы говоря: «Все решено. Нам пора!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Они сидели на пенечках у опушки леса, оба раздутые плащ-палатками. Михеев безотчетно выковыривал палочкой корешки полынка, а Николай Кораблев смотрел вправо, за реку Зушу, где горела деревенька. Оттуда неслись ружейные выстрелы, иногда слышалось далекое «ура-а-а!» Вон загорелась новая хатка. Огонь жадно обнял ее всю и тут же перекинулся на

соседнюю... А вот это — что-то сказочное: летят трассирующие пули, будто фантастические фиолетовые птицы. В зареве же пожара высоко кружится одинокий журавль. Около него плещутся не то чайки, не то голуби.

Все это было необычайно красиво. Но вот со стороны немцев заработал миномет. Огненные шары начали рваться то тут, то там. Михеев перестал выковыривать корешки и встревоженно глянул в сторону пожара:

— Ох, ты! Как бы там наших ребятишек не поцарапал!

И с Николая Кораблева зачарованность моментально спала, в сознание вошло понятие: «Война!»

— А зачем это вы? — болезненно морщась, спросил он, показывая рукой на пожарище.

— Немцы не так умны, как хвастаются: тут ведь сидит их наблюдатель. Слышали, может, недавно мы откопали? Парень попался хороший. Он им под нашу диктовку донес, что все спокойно, только будет небольшое наступление вон на ту деревушку. Они поверили и издали приказ: «Общего наступления ждать не следует». Адъютант! — крикнул Михеев.

Из-за куста вышел Ваня.

— Скажите Коновалову, чтобы он не занимал деревню. На хрен она нам нужна!

— Есть, товарищ полковник! — и Ваня тихо, будто по воздуху, скрылся.

Плыла луна. Она то пряталась за облака, то снова появлялась, обливая все дрожащим светом, будто ртутью. Из белой ночи показался командир батальона. Придерживаясь рукой за проволоку, он шагает, как во сне. За ним гуськом — его бойцы. Они идут молча, видимо каждый думая о своем. Лунный свет падает на боковины вещевых мешков, на скатанные шинели, на автоматы. Особенно ярко светятся острые углы. И люди идут, идут, идут... В шаг, тихо, но четко...

Николай Кораблев смотрит на них и думает:

«Может быть, сегодня, и наверное сегодня, многих из них не будет в живых. А ведь у каждого, очевидно, есть жена, дети. Маленькая Нюрка или

маленький Саня скоро могут получить извещение-похоронную: «Ваш отец геройски пал за родину...» Дети! Они-то еще вырастут, их окружат заботой, лаской. А мать, жена? Разве какая посторонняя ласка может заменить ласку мужа?.. Ужасно! Ужасно! Ужасно! Ужасно! И это в то время, когда мы претворили в быт самую передовую человеческую мораль: «Человек превыше всего»! Но это надо, надо! Надо умирать за родину, за нашу самую передовую страну в мире!» — и ему страшно захотелось крикнуть этим людям: «Товарищи! Надо! Надо! Надо!» — но кричать было запрещено, и он молча смотрел на людей.

Когда поток бойцов оборвался, Михеев поднялся с пенечка и произнес:

— Николай Степанович, прошу поближе к передовой, — и шагнул в лес.

Сквозь ветви деревьев пробивался свет луны. В два-три ряда стояли пушки, минометы. Михеев, как бы кого-то хваля, сказал:

— Натащил!

— Кто натащил?

— Да я, — откровенно произнес Михеев. — Я и немецкие притащил. Отремонтировали — и сюда. Командарм этого не знает. Да ему что! Победи — и все!

Вскоре они нырнули в окопчик, прошли метров пятнадцать и очутились в маленьком блиндажике. Тут на столике бушевал самовар.

— Товарищ полковник, чайкю готов! — торжественно возвестил Егор Иванович и, поставя рядом с самоваром баклажку, так же торжественно добавил: — А если хотите, и общественный напиток есть.

— Вот его и давай — глаза протереть, — проговорил Михеев и, взяв баклажку, налил водки в стакан себе и Николаю Кораблеву.

— А я нет... нет, — отодвигая от себя стакан, произнес Николай Кораблев, просяще глядя на Михеева.

— Вы, что ж, вообще против? Я тоже до войны не пил. А вот тут так все натянуто, что выпьешь — и отойдет.

— Да нет, не против. Что ж, я не святоша. Но... не научился.

— Тогда учитесь, Николай Степанович, — и Михеев, смеясь, снова пододвинул ему стакан.

— Нет, я с такой дозы окочурюсь. Но чтобы вам не было скучно, вот, — и отпил глоток.

— Закусывать, эй! У меня закусывать! — взяв на себя команду, заговорил Егор Иванович. — Без закуски я этого не дам напитка.

Михеев украдкой, насмешливо посмотрел на него, но тут же принялся за жареного цыпленка, произнося:

— Подчиняемся, подчиняемся!

— То-то, у меня ешьте! Вам бы, гостенек, — обратился Егор Иванович к Николаю Кораблеву, — побольше этой влаги хватить: она пользительна.

Когда Михеев, выпив, поел и отвалился от стола, прислонясь спиной к стенке блиндажа, Егор Иванович, довольный, вымолвил:

— Ну вот, душа отошла! Она, душа, скулит, когда брюхо пустое, — и, шагнув на звонок к телефонному аппарату, послушав, сказал: — Командарм, товарищ полковник!

В блиндаж вошел Ваня, выкрикнул:

— Разрешите доложить, товарищ полковник? Коновалов вгорячах захватил деревеньку. Однако у него двое раненых, и малость поцарапан сам Коновалов. Его землицей засыпало. Насилу вытащили.

Михеев не слушал его. Держа около уха трубку, вызывал:

— Первый? Я вас слушаю, товарищ первый. Семнадцатый говорит, — произнес он вкрадчивым, мягким голосом. — Да. Семнадцатый. Уже тут. Вернее, рядом с НП. Через пятнадцать минут буду там. Все в порядке. Служу родине. Николай Степанович? Здесь. Вот он, — и протянул трубку Николаю Кораблеву.

Тот, услыхав Анатолия Васильевича, обрадованно заговорил:

— Да, да! Это я, Анато...

Но тут его прервал Михеев, сказав:

— Говорите: «Товарищ первый».

Николай Кораблев заикнулся, точно подавясь,

непривычный к такому обращению, но, пересилив себя, продолжал:

— Я слушаю, товарищ первый...

В трубке послышался смех, заливистый, молодой, и Анатолий Васильевич проговорил:

— Первый, второй, третий... семнадцатый... всех под номера поставил. А вы — проще. Чепуха это — номера-то. Вы там, Николай Степанович, осторожнее. Прошу вас! Помните: вчера и маршал об этом говорил.

— Да, конечно, буду остерегаться: умирать не хочется, — и Николай Кораблев протянул трубку Михееву: — Просит вас.

— Да, я, семнадцатый. Поберечь? Будем беречь, товарищ первый, — и, положив трубку, Михеев сказал: — Хозяин уже на наблюдательном пункте. Покинул, значит, Нину Васильевну в Грачевке, — он внимательно посмотрел на Николая Кораблева, затем добавил: — Что же с вами делать? Может, тут посидите?

Николай Кораблев встревоженно выкрикнул:

— Да что вы?! Вы там будете, а я в этой норе, как в сундуке. Нет, вы уж, пожалуйста, возьмите меня на этот... как его...

— Далек от военного дела: КП от НП не отличит, — знающе сказал Егор Иванович Михееву. — Может, и самоварчик туда, на НП?

— Эко! И самовар вместе с тобой еще туда! — и, улыбнувшись Николаю Кораблеву, Михеев решительно махнул рукой. — Ох! Крестить так уж крестить. Идемте!

2

Чуть рассвело. Еще не сошла синева тумана. На болотах и озерах горланили утки, громко, пронзительно, тревожно: матери звали своих ребятишек. А рядом с блиндажом — наблюдательным пунктом — по березе стремительно носился дятел: пробежит, остановится, стукнет раза два длинным носом и снова ринется вверх или вниз, ища себе завтрак.

«Природа живет независимо от нас», — подумал Николай Кораблев и осмотрелся.

Блиндаж — в рост человека, два продолговатых, в виде бойниц, окошечка, около одного — стереотруба, в углу полочка, на ней телефонный аппарат. Стены из сосновых, свежих, мажущихся смолой бревен. Сегодня здесь много военных: полковники, подполковники, майоры, еще незнакомые Николаю Кораблеву. Все возбуждены, особенно Михеев. Он ни с кем не разговаривает. Лицо у него осунулось, щеки впали, от чего нос стал больше. А может быть, это только так кажется на заре. Про Николая Кораблева он как будто забыл. В блиндаж вошел Коновалов. Михеев подозвал его и, о чем-то оживленно поговорив с ним, через бинокль стал рассматривать долину. Пользуясь этим, Николай Кораблев шепнул Коновалову:

— Я с вами в атаку.

Кивнув на Михеева, Коновалов тоже шепнул:

— А он как? Разрешит?

— А мы потихоньку.

Коновалов чуть подумал, затем озорно подмигнул:

— Ну что ж! Убить могут везде, даже тут: снарядом ахнет по этой хибарке и сразу закопает. Давайте! Как только артиллерия даст первый залп, мы волной в атаку. Выбегайте и присоединяйтесь. Мы пойдем справа от блиндажа, — и Коновалов кинулся на выход.

У Николая Кораблева забилось сердце. Чтобы успокоить себя, он через стереотрубу стал рассматривать ту сторону.

Они стояли правее знаменитой «колхозной конюшни». Видна деревенька, вытянувшаяся на высоком берегу. На конце улицы каменная, облупленная и, видимо, заброшенная церковь, за церковью дубовая роща. По донесениям разведки, эту церковь немцы превратили в крепость: подрылись под каменный фундамент и в подполе поставили три пулемета. По этой церкви из артиллерии можно было бить сколько угодно, разнести стены, но все равно до пулеметных гнезд не добраться. Поэтому Михеев отрядил группу красноармейцев во главе с Сабитом, дав задание

подобраться к церкви с тыла и гранатами забросать немецких пулеметчиков.

— Бедные ребятишки! — произнес он после того, как Сабит с бойцами отправился на тот берег. — Туго придется им: огонь врага надо выдержать, да ведь и мы будем бить из артиллерии.

И еще одна мысль тревожила Михеева. Сегодня ночью саперы разминировали проходы против болота. Немцы этого не заметили. А может, хитрят? Возможно, как только саперы направились обратно, враг снова заминировал проходы. Проверить все это сейчас невозможно. И странно: в стане врага никакого движения. Там все обычно: как всегда, взлетают предостерегающие ракеты, слышатся периодические пулеметные очереди...

— Лопоухие: спят! — проговорил, ни к кому не обращаясь, комдив, показывая биноклем на ту сторону. — Лопоухие! — и прибавил такое крепкое словцо, что в блиндаже все покатились с хохоту.

Николай Кораблев, никогда не употреблявший таких крепких словечек, но уже привыкающий к ним здесь, на фронте, чуть улыбнулся, продолжая через стереотрубу рассматривать позиции врага. Рассматривая позиции врага, он думал и о том, почему так спокойно на том берегу, и о том, как сейчас чувствует себя Сабит, где Сиволобов, но о чем бы он ни думал, мысли его все время возвращались к Татьяне, к сыну, к матери — Марии Петровне.

«Да, да! Я с ними скоро увижусь, — думал он. — Как они будут удивлены, когда я заявлюсь в таком костюме! Воевал, воевал! Скажу: воевал! — он так размечтался, что не почувствовал, как все около него заволновались, и только когда Михеев громко сказал: «Осталось две минуты!» — Николай Кораблев сорвался от стереотрубы и тоже заволновался, говоря про себя: «Две минуты! Через две минуты начнется... А что же те?» — и он простым глазом посмотрел на вражеский берег.

Там, на церковной колокольне, на крышах хат заиграли лучи солнца. Самого солнца не было видно: оно пряталось где-то здесь, за лесом, в котором рас-

положилась дивизия Михеева, — но лучи уже играли на верхушках деревьев, в долине, на тихих водах озер, на буграх, золотя лбины. И всюду была настороженная тишина, какая бывает в хоре перед запевом, когда руководитель взмахнул палочкой, но еще не дал знака начинать.

И вдруг откуда-то издалека прокатилась мощная волна гула. Птицы смолкли. На деревьях затрепетали листья мелко, мелко, норовя оторваться и куда-то улететь. Земля толчками зашаталась.

— Все начали. Мы на минуту приподздали, — проговорил Михеев.

Николай Кораблев не знал, что в этот момент по всей линии фронта, протяжением в триста — четыреста километров, десятки тысяч пушек обрушили на врага всесокрушающий огонь. Он этого не знал и недоуменно посмотрел на Михеева, намереваясь его спросить: «Кто все?», как тот, глянув на часы, в шутку произнес:

— Ну! С нами бог! — и не в шутку побледнел.

3

— Ар-ры-ы-ы!

Николай Кораблев дрогнул. Но тут же новая волна обрушилась на него. Он снова дрогнул, ощущая только одно: у него есть голова, а рук, ног, тела нет, нет и почвы под ногами; он сам весь где-то в воздухе.

«Что это? .. Что? ..» — с ужасом подумал он.

Пушки рычали сотнями глоток, сотрясая землю, деревья, воздух. Снаряды подступали к вражескому берегу, как иногда наступает полоса крупного дождя: сначала они ложились за болотом, все взрывая, вскидывая, затем полоса взрывов стала подниматься все выше и выше, вот она обрушилась уже на окопы, на блиндажи, покатилась по улице — на хатки, на церковь... Какая-то минута, и церковь, будто трава, смахнутая косцом, повалилась, рассыпаясь, поднимая облако пыли... А пушки обрушились на дубовую рощу, где стояла немецкая артиллерия, и начали ее

молотить... Минута, другая, третья... сороковая... час...

Все гудело, ревело, дрожало, стонало. Казалось, даже ногти стонут на пальцах... И при первом же залпе хлынула волна пехоты. Люди в серых гимнастерках, с вещевыми мешками, с саперными лопатками, с автоматами ринулись не по поляне, ведущей на тот берег, а в камыши через топи и болота. Вскоре они все скрылись в камышах... И вот они уже там, на подступах к врагу. Вперед вырвался какой-то боец в плащ-палатке и зигзагообразно побежал вперед, в гору; за ним — весь батальон.

— Коновалов! — прокричал Михеев. — Ух, молодец!

«А как же я?» — мелькнуло у Николая Кораблева, но его внимание тут же снова приковалось к тому берегу.

Люди группами высыпали из камышей, зарослей болот и неслись в гору. Издали казалось, что все это в шутку: на той стороне было тихо — ни выстрелов, ни пулеметной очереди. Но вот кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то скрылся под землей, очевидно в окопе, в блиндаже. Над окопами, над блиндажами появились вспышки, белые, серебристые от утреннего солнца. И только от церкви донеслась пулеметная очередь. Немцы били из пулеметов по поляне, ведущей к тому берегу, но на поляне никого не было. И в то же самое время снова заговорила артиллерия. Она обрушилась на то место, где была церковь, но пулеметы не смолкали. Из лесу высыпала вторая волна пехоты. И так же, как и первая, скрылась в камышах, в зарослях болот и озер. Артиллерия, измолотив остатки церкви, перекинула огонь куда-то вглубь. Михеев взволнованно скомандовал:

— Пошли! Пошли! А то ребята там одни... растеряются, — и, взяв тоненькую палочку, шагнул на выход.

Николай Кораблев пошел было за ним, но тот остановился, махнул палочкой, грозя:

— Нет, нет! Вы тут останьтесь! Я за вами пришлю лошадей.

— Я с вами хочу, — проговорил Николай Кораблев, виновато улыбаясь.

— Убьют! — ответил Михеев.

— А ведь вас тоже могут убить?

— Меня убьют — мне памятник поставят, — ответил Михеев, смеясь. — А вас убьют — мне по шее дадут. Нет уж!

Николай Кораблев на наблюдательном пункте остался один. Он смотрел в окошечко и видел, что люди, идущие на тот берег, не оглядываются: какая-то сила заставляет их смотреть только вперед. И кажется, ничего страшного в том нет, что они идут, бегут туда, на тот берег. А почему же ему, Николаю Кораблеву, торчать вот здесь одному? И еще: почему-то стало холодно; дуют сквозняки, которых он до этого не замечал.

В блиндаж вошел связист, недоуменно посмотрел на одинокого человека и, срезав телефонный аппарат, забрал стереотрубу, выбежал. Николай Кораблев снова посмотрел в окошечко. С бугорка спускались Михеев, адъютант Ваня, полковники, майоры, капитаны. Они тоже смотрят только вперед. Вон они сбежали в ложбинку, затем выскочили на полянку и все разом упали. Упали и поползли, кроясь в травах. Зачем это? Николаю Кораблеву опять показалось, что это какая-то игра. Но в эту же секунду что-то так ударило в угол блиндажа, что блиндаж весь зашатался, а с потолка через накаты посыпалась земля. Николай Кораблев выскочил на волю. Огромная береза около блиндажа, по которой на заре так старательно скакал дятел, будто подрезанная, свалилась.

«Снаряд! Немецкий! . .» — растерянно подумал Николай Кораблев, не зная, что делать: в блиндаж итти было боязно.

Он отошел в сторонку, сел на свежий пенечек и осмотрелся. Деревья были поранены; ветви свисли или отлетели. Сквозь раненые деревья он увидел, как поднялась третья волна пехоты и двинулась вперед, так же рассыпаясь, падая, вскакивая, перебегая... И Николай Кораблев, не отдавая отчета, быстро кинулся за бойцами, догоняя их.

Через какие-то десять — пятнадцать минут он очутился в камышах. Тут все было истоптано, перемешано. На пути попалась канавка, за канавкой огромная поляна, заросшая высокими, но уже переспелыми травами.

«Косить бы надо, косить!» — мелькнуло у него, и тут он услыхал позади себя:

— Эй, земляк! Николай Степанович!

Он повернулся: перед ним стоял Сиволобов и, смеясь, приседая, выкрикивал:

— Эко увозился! Эко! — и, уже советуя: — Ты, как бешеный-то, не несись, не то смерти в пасть попадешь. Ты норови, норови... А впрочем, гляди, чего я буду делать, то и ты будешь. Валяй-ка за мной! — и, легко отстранив его с тропы, пошел вперед, не оглядываясь, внимательно всматриваясь в сторону врага и даже потягивая носом, потом сказал: — Жди! Они, очумевши, молчали, а теперь жди: в себя пришли. Как бы нам не достаться им на закуску! Ого! Гляди: врага ведут!

Через поляну двигалась группа бойцов. Впереди высокий, с яйцеобразным лбом немец. На провалённых висках вздулись жилы. Ему, видимо, лет пятьдесят: лицо покрыто морщинами, кожа дряблая. Рядом с ним молодой, рыжий. Оба они, напрягаясь, тяжело дыша, тянут за веревку санки. На санках лежит раненый Сабит. Через загар на лице проступила бледность, и кажется он совсем ребенком. Шевеля запекшимися губами, Сабит еле слышно стонет, произнося: «Пить... Жить... Пить... Жить...» И еще что-то говорит на своем родном языке. По обе стороны санок четыре бойца-автоматчика. Один из них, узнав Николая Кораблева, возбужденно сообщил:

— Те самые, которые под церковью сидели. Мы одних поколотили, а этих взяли живьем. Хотели кончить, да вот товарища Сабита ранило... Ну, мы их впрягли. Давай! Давай! Эй, ком! — крикнул он на немцев, и те снова потащили санки, тяжело, как лошади, дыша, глядя только в одну точку глазами, заполненными животным страхом.

Сиволобов дернул за рукав Николая Кораблева, сказал:

— Что, знакомый твой в санках-то? Однако давай сюда! — и, кинувшись в сторону, упал.

Рядом с ним упал и Николай Кораблев.

Что-то свистнуло над головой. Что-то грохнуло. Сверху посыпались комья мокрой земли. Сиволобов снова дернул его за плечо, крикнув:

— Валяй за мной! — и пополз на то место, где расстались с бойцами-автоматчиками.

Они оба очутились в горячей воронке. Со дна воронки, журча, выступала вода. Николай Кораблев огляделся и вдруг весь сжался: около воронки лежало шесть трупов. Вид у них был такой, как будто люди прыгнули с какой-то большой высоты вниз ногами и вихревый ветер задрал их куртки, волосы, руки. А санок не было... Не было и Сабита...

— В центр угодил... Вишь ты, раненого-то совсем, значит, разбросало, — произнес Сиволобов. — Таперича нам чего-то надо делать... Началось! Пойдет сыпать!

Немцы снова открыли ураганный артиллерийский огонь. Они били по болотам, по полянам, по лесу. Взрывалась земля, летели столбы черной грязи, ухало, гремело.

— Бедная землица! — с сожалением прокричал Сиволобов. — Однако нам с тобой надо отсюда убегать: птички скоро полетят, — он выбрался из воронки, стряхивая с ног воду, как это делает заяц, когда попадает на сырую пашню.

Забрав у убитых автомат и патроны, он снова сполз в воронку, сказал:

— Нельзя это добро бросать. Вот тебе друг-автомат и сестрицы-патроны, — и пополз к болоту.

Николай Кораблев полз и мучительно думал, что с ним, почему он так безразлично отнесся к тому, что видел там, у воронки. Почему у него не заныло сердце, не застучало в висках, почему он в ужасе не закричал... Ведь если бы... если бы он увидел убитого человека на моторном заводе, как заныло бы у него сердце!..

«А вот тут... Да что же это такое со мной?..» — подумал он, и когда они очутились в новой воронке, почти наполовину заполненной водой, он, глядя в глаза Сиволобова, сказал:

— Что со мной?

— Сердцем черствеешь, — догадавшись, спокойно ответил тот. — Тут эдак очерствеет сердце: умом только жалеть будешь, а жалость умом — она холодная. А впрочем, ты сейчас об этом не скорби. Гляди вон, как он дает. Жмись к земле: она сроду нам помогала, может и тут поможет.

Вскоре гул артиллерии оборвался.

Сиволобов вскочил, крикнул:

— Бежим! Наступать ведь нам велено, а не сидеть в болоте...

4

И вдруг, как из-под земли, появились люди. До этого Николаю Кораблеву казалось, что на болоте их только двое: он и Сиволобов. А тут откуда-то то и дело выскакивали бойцы, грязные, в тине, потные. Иные наскоро перевязанные. Иных, по-детски жалобно стонущих, несли на носилках в обратную сторону. А здоровые, пользуясь передышкой, бежали вперед, зовя друзей:

— Ваня!

— Митя!

— Саша!

Бежал и Николай Кораблев, еле поспевая за Сиволобовым. Но вот Сиволобов снова упал и пополз в заросли. Николай Кораблев последовал его примеру и тоже пополз, уже видя, как поляна опустела... И странно: над поляной вились дикие пчелы.

— Сюда, сюда давай! — крикнул Сиволобов и опустился в воронку, залитую водой.

Рядом с воронкой тихое, гладкое, небольшое озерко. Солнце в нем отражается множеством красок: голубыми, розовыми, синими, темнозелеными. Перед озерком бугорок.

Николай Кораблев стесненно сказал:

— А почему бы нам туда не сесть, на бугорок? Вода ведь тут. . .

— Сейчас он опять палить начнет, а по какому-то случаю в одну и ту же воронку из тысячи один снаряд попадает. Понял? Так уж лучше в воде, чем на кусочки тебя. Ух! — неожиданно вскрикнул он. — Стервозины! Гляди! Гляди, сколько их!

Из камышей на обнаженную, вытоптанную полянку выскочили крысы. Были они всякие: седые, косматые, молодые, лоснящиеся, крупные и мелкие. Издавая писк, они неслись, переливаясь, как горячая зола. Сначала вся эта сизая масса неслась берегом озера, потом круто повернула и с еще более отчаянным писком кинулась к Сиволобову и Николаю Кораблеву.

— Стервозины! Пра, стервозины! — вскрикнул Сиволобов и пустил очередь из автомата.

Передние ряды крыс попадали, остальные резко повернули и скрылись в камышах.

— Чуют: раз запах пороха — значит, тут есть что пожрать. А жрут-то ведь чего? Нет чтобы там палец аль ногу. Нет, ты ей глаз подавай, ай вот губы. Выжрет глаза — за губы примется. Как нарочно, чтобы пакостней убитого человека обезобразить. А вот это гляди, гляди! — лицо Сиволобова посветлело.

Из камыша на озерко выплыли утята, золотистые, маленькие, как шарики. Тревожно оглянувшись, они начали шнырять, забавно ныряя, перепрыгивая через листья кубышек. Следом за утятами появилась мать. Она настороженно посмотрела во все стороны, предупредительно, но не так, что, дескать, прячьтесь, крякнула. Утята остановились, замерли каждый на своем месте и тут же снова принялись по-птичьи шалить.

— Эх, когда оно все это кончится? Не скоро еще: больно далеко до Берлина-то! — со вздохом произнес Сиволобов и тут же крикнул: — А ну, давай! Давай! Кой ты пес там?

И будто в ответ на его слова, снова ухнула немецкая артиллерия.

5

Измученные, мокрые с ног до головы, они только под вечер выбрались из болота: целый день всю третью волну бойцов немецкая артиллерия «прижимала к земле». Было несколько налетов авиации. Самолеты буквально висели над болотами... И только к вечеру все затихло.

— Пойдем... — почему-то горестно произнес Сиволобов и медленно поплелся к берегу, крутому, изрытому воронками, заваленному трупами, колючей разорванной проволокой.

Выбравшись на бугор, он повернулся к долине и с тоской произнес:

— Поглядим, кого смертушка пощадила. Да-а, застонали, поди-ка, сердца родных, жен особо! Сердце — оно за тысячу, а то и за пять тысяч километров чует беду непоправимую.

Николай Кораблев, глядя на бойцов, идущих с болота, ярко представил себе Сабита, его бледное, почти детское лицо... И сердце впервые за этот день больно сжалось.

— Сабит! Сабит! Бедный Сабит! — прошептал он. — «Жить... Пить... Жить... Пить...» — вспомнил он его слова. — Жить! — громко проговорил он. — И сколько еще погибнет вас, таких светлых, чистых, хороших, за то, чтобы уничтожить скверну на земле! Петр Макарович! Понимаешь ли ты, что творится-то?

— А как же? Не барашка я. И про скверну слыхал. Карл Маркс еще говорил про нее, про скверну на земле. Мы ее со своей земли соскребли, скверну. А фашисты ее опять на нашу землю потащили. Ну, мы им за это кишки выпустим, — с несусветной злобой закончил он и вскрикнул: — Айда, пошел! А то у меня сегодня день пустой, хоть вычеркивай: ни одного фрица.

Шагая за ним в горку, Николай Кораблев спросил:

— Петр Макарович, откуда ты узнал про скверну?

— Да ведь почитываем. А потом у меня сын — доктор. Ты не гляди, что я такой простенький. К нам вот в колхоз как-то иностранцы приехали. Из Фран-

ции — вот откуда! Мне среди них один особенно понравился: полненький такой, любопытный, в моих годах, по названию Шарль, по фамилии не помню. Ну, обсмотрели они все хозяйство, сели за стол. Едим, пьем, разговариваем. Я все больше с Шарлем. Все выпытываю у него, как и что. Рассказывает охотно и тоже любовно на меня посматривает. А потом и спросил: «Во имя чего вы, Петр Макарович, работаете и живете?» Ошарашил, понимаешь, Николай Степанович! — Сиволобов даже повернулся и ткнул пальцем в грудь Николая Кораблева. — Ошарашил!.. Во имя чего? Я, конечно, подумал и говорю на высокой ноте: «Работаю я, товарищ Шарль, во имя просветления мира. А живу? Живу для себя. А вы как изволите думать на это?» Ну, переводчик — ему, тот через переводчика — мне: «Живу я, слышь, и работаю во имя всевышнего». Я, знаешь-ка, от него аж вот так отклонился и думаю: «Э-э-э! Милый! У нас пионеры дальше тебя на сотню лет убежали. Экая ржа у тебя в голове!» — Сиволобов чуточку помолчал, затем снова повернулся к Николаю Кораблеву. — А знаешь, кто он по образованию-то оказался? Академик. А-ка-демик! Вон кто! Он академик, а я простой колхозник и перекрыл его. Потом меня сын, Иван, доктор-то, тряс, тряс, жал, жал, целовал, целовал и все приговаривал: «Ну и отец у меня! Ну и сбил же ты этого... всевышнего!» Что ты на это скажешь, Николай Степанович?

— В этом наша сила.

— Не во мне одном, а в нас. Один-то я что?.. Экий мудрец отыскался!

Они поднялись в горку.

Здесь все было сметено: хаты, блиндажи, окопы, проволочные заграждения, — а земля выворочена щебнем наверх. Ни кустика, ни травки. Только щебень, щебень, щебень...

— Вот поработали! — радостно вскрикнул Сиволобов. — Ну, тут, брат, ни в какой воронке не укроешься: сплошной огонь. А земля эта, матушка, теперь родить не будет: закопали ее под камень, — с грустью добавил он и быстро оглянулся.

На остатке проволочного заграждения, навалившись грудью, лежал немец и хрипел. Ноги у него, будто деревянные, воткнулись в землю, а руки то хватаются за колючую ржавую проволоку, то отпускают ее. С ладоней капает кровь.

— Эх, живуч! — Сиволобов покружился около немца, рассматривая его, затем сказал: — Лейтенант ихний. Самый лютой: эс-эс называется. По мордам солдат бил, чтобы исправно скверну на нашу землю тащили. Живуч, пес! Ему, видно, штык в грудь всадили, он и метнулся на проволоку. Слушай-ка, Николай Степанович, у тебя на счету есть хоть один, ай нет? Вижу, нет. Попробуй-ка на нем автомат свой.

Николай Кораблев вскинул автомат, посмотрел в овальную, пухлую спину фашиста, хотел было уже дать очередь, как вдруг где-то в его душе шевельнулось что-то такое, что приостановило его.

Сиволобов, отворачиваясь, со злобой сказал:

— Дескать, ненормально раненого человека добивать. Да какой он человек? Пес бешеный.

— Не дразни, Петр Макарович, — с такой же злобой выкрикнул Николай Кораблев. — Хотя мне действительно впервые это приходится делать.

Сиволобов засмеялся:

— А мы, думаешь, всю жизнь и занимались этим: убивали и убивали? Ремесло это наше — убивать? Ты-ы! Попался бы ты им, раненый аль не раненый, они все одно шкуру бы с тебя спустили да еще бы плясать заставили на угольках.

— Не пример для нас.

— Э-э-э. Ненависти этой самой мало в тебе.

— Не меньше, чем в тебе кипит.

— Кипит, так выплесни!

Николай Кораблев весь задрожал и снова крикнул:

— Не дразни, Петр Макарович... и не толкай меня на такое, что душа не принимает. А впрочем, — сурово произнес он. — Отойди-ка, а то и тебя могу задеть, — и вскинул автомат.

— Стой! Стой! — Сиволобов кинулся к нему. — Стой! Ну его к... Пускай в муках подыхает. Я бы их

всех вот так: штык в грудь и на колючую проволоку. Гитлера первого, да голого: пускай на колючках покатается. Пойдем. Ну его! — И чуть погодя добавил тепло и сердечно: — Понимаю: трудно в первый раз убивать. Ох, как трудно! Душа-то у нас хорошая, а тут... убивай. Приучаться надо... тебе особенно.

— Я и без этого приучен. А тут геройство какое? Раненого добил. Вот санитары пойдут и приберут его. — Николай Кораблев, не глядя на немца, шагнул вперед. — Да и ты, Петр Макарович, не от сердца советовал мне автомат разрядить. Не на том испытываешь меня.

— Ух ты! Ух ты! — непонятно почему-то вскрикнул Сиволобов, и Николай Кораблев остановился, повернулся к нему, недоуменно глядя на него, а тот вцепился ему в локоть и еще выкрикнул: — Ух ты! Души-то у нас одинаковы. Сердца-то. Пристрелил бы ты этого — душа моя повернулась бы к тебе спиной, и тогда никакими силами не повернул бы ты ее к себе лицом.

— Ну вот, а дразнил.

Они пересекли деревушку и вышли в поле.

Поле, ровное, как стол, тянулось километра на три и упиралось в сосновый лес. Где-то там, за лесом, монотонно, будто вбивая сваи, ухала артиллерия, откуда-то доносились пулеметные очереди, а здесь, на поле, было по-вечернему тихо. Всюду валялись немецкие трупы, точно разбросанные мешки с песком. Но вот это что-то невероятное: на дороге лежит нечто похожее на человека: голова, спина, ноги — все расплющено так, что одни только руки, и те шириной с полметра.

— Этого гада и земля не приняла, — проговорил Сиволобов. — Через парочку дней высохнет и в пыль пойдет. Вояка! — пнув ногой то, что можно было назвать трупом, он добавил: — Машины раздавили его, как лягушку.

— Да-а, — произнес Николай Кораблев, глядя на расплющенную массу. — А ведь мог жить...

— Мог бы.

— Если бы не было скверны на земле.

Рассуждая так, они подошли к лесу и хотели направиться влево, на гул пушек, как справа выскочила пара коней, запряженная в старорусский, рессорный тарантас. Кони промчались было мимо, но тут же круто развернулись.

— Николай Степанович! — закричал из тарантаса обрадованный Ваня. — Полковник спохватился: «Где Николай Степанович? В блиндаже до сих пор сидит? Ехай! Ехай за ним!» Садитесь!

Николай Кораблев, взяв под руку Сиволобова, сказал:

— Поедем, Петр Макарович.

— Нет уж! — Сиволобов откланялся. — Я туда, — он махнул рукой в сторону гула. — Своих найду... Да у меня везде свои, Николай Степанович, — и, чуть подождав, смущенно проговорил, переходя на «вы». — Вы уж меня извините за то... На пригорке-то я там погрубил. Да и то сказать: учил. Чему? Убивать. Противное это дело — убивать, Николай Степанович, а надо. Ох, как надо! Ну, прощайте пока! — и пошел на гул, медленно, вразвалку, чтобы не растерять последние силы.

Кони тронулись...

На землю спускались вечерние сумерки.

Со стороны немцев взвилась первая ракета. Она тускло вспыхнула в сероватом небе и тоскливо опустилась где-то за лесом, а с полей лениво потянулось ожиревшее воронье.

6

Это был целый поселок, похожий на древнерусский острог: стены двора выведены из покоробленных березовых бревен, по углам — наблюдательные вышки, ворота с преградой — дубовой двойной стеной, забитой камнем; внутри двора блиндажи, глубоко врытые в землю, крыши в десять — двенадцать накатов; и всюду банки из-под консервов, пустые бутылки из-под рома, растрепанные перины, подушки.

— Вот где укрывались, — сказал Ваня. — В дерев-

нях-то боялись жить. Сюда, сюда, к полковнику! — и свел Николая Кораблева в блиндаж.

Михеев в нижней рубашке сидел на кровати и, царапая пальцами грудь, кричал перед рацией:

— Говорит первый (оказывается, тут он первый, а для Анатолия Васильевича семнадцатый). Шестой, — кричал он, — немедленно ко мне!

— Первый, товарищ первый, — неслось из рации. — Говорит шестой. Заняли! Пункт заняли! Приказ выполнен.

— Хорошо. Но опоздал на полчаса. Палкой! Знаешь, у меня какая палка, — и потянулся к своей тоненькой палочке. — Свистну! Заняли? Шагай ко мне. Яичницу приготовлю, — увидав Николая Кораблева, он всплеснул руками и, прокричав в рацию: «Второй, второй! Созывай всех ко мне!» — кинулся к гостю, обнимая его, маленький, кругленький и пухленький. — Извиняюсь! Извиняюсь, Николай Степанович! Совсем из головы прочь! Совсем прочь! Ну, и хорошо: с нами теперь. Где это вы так вымазались?

Николай Кораблев не успел ответить, как сказал Ваня:

— Они же в болоте сидели, товарищ полковник.

Михеев, глядя в глаза Николаю Кораблеву, прошептал:

— Какая случайность спасла вас там? Ведь почти все полегли.

— Устал! — и Николай Кораблев опустился на стул.

— Ванюха, водки Николаю Степановичу, закуски! Я уже поел, — проговорил Михеев.

Что потом происходило в блиндаже Михеева, Николай Кораблев помнит, как сон. Кто-то приходил, уходил, кто-то шумел, кричал. Николай Кораблев, как лег на нары, так и уснул. Проснулся он поздно, часов в двенадцать утра, удивленный тем, что в блиндаже такая тишина. Проснулся и увидел, что на столе бушует самовар, а Егор Иванович сидит за столом и тоскующими глазами смотрит куда-то вдаль. Почувствовав на себе взгляд Николая Кораблева, Егор Иванович вскочил со стула и зачастил:

— Чайкю, чайкю, Николай Степанович! Хорошо это чайкю рвануть! Немцы — они кофейку. Выпьют вот столечко, — он сложил ладонь в горсть и удивился величине ее. — Не-ет, не такую, а вон с ребячью. Выпьет кофейку, в нутре-то у него и холодно. А наш солдат — котелок чайкю, ну в нутре костер пылает, — и, уже сидя за столом, видимо еще не остывший от воспоминаний, которые только что волновали его, проговорил: — Вот, к примеру, дочь у меня есть, Николай Степанович, Надя. Дочь моя, кровь моя, а разумом на сто верст дальше, — не поднимаясь с табуретки, он достал с полки книгу, стер с нее пыль, развернул и продолжал: — Я вот эту книгу вечор подобрал. Сунулся на ту, на другую страницу — слепой: ничего не вижу. А дочка моя шпарит по-немецки, только держись. Хочу ей в подарок послать, — закончил Егор Иванович, подавая книгу Николаю Кораблеву.

Тот развернул ее и ахнул:

— Да ведь это «Мейн кампф», написанная Гитлером!

— Ну-у? — протянул Егор Иванович. — А я думал, романея какая, — намеренно исковеркал он слово.

— И надпись на первой странице... Геббельс пишет новобрачной чете: «Мы знаем, где мы начали, но один бог знает, где мы кончим».

— На виселице, — неожиданно просто сказал Егор Иванович, удивленно всматриваясь в Николая Кораблева. — А ты проник. Ну и голова!

Николай Кораблев расхохотался:

— Нет! Он не в этом смысле пишет, а, дескать, начали мы в Европе, а где кончим: в Азии, в Японии, в Америке — бог знает. Ведь они собираются весь мир покорить.

— Мечом?

— А чем же?

— Мечом мир не покоришь, — решительно и убежденно произнес Егор Иванович, заглядывая в книгу. — Вы копайте тут, а я обед буду готовить. Наскочит полковник, а обед в сыром виде — и конфуз для меня, — он быстро сбегал в предблиндажник, принес

оттуда картофель, капусту, мясо, нож и начал все это по-мужски кромсать, не переставая разговаривать. — Вот дива какая! — говорил он, одним взмахом перерубая кость. — К нам ведь водют сюда пленных разных. Всматриваюсь я в них. Однажды попался такой, по-русски маракует. Остались мы с ним вдвоем, я его и спрашиваю: «Ты кто будешь?» Социалист, слышь. «А я коммунист, — говорю ему, — значит, я дальше тебя убежал. Но какой ты социалист? Выворачивайся!» Молчит. «Ладно,— говорю, — сам допрежь выворочусь перед тобой. Я вот, — говорю, — за дружбу народов: все трудовые люди на земле равны. Ты как на это смотришь?» Он и говорит: «Раньше и я так думал, а теперь переметнулся. Есть, слышь, раса». — «Какая такая раса?» — выпытываю я его. «Немцы, слышь, выше всех на земле». — «Хорошо, — говорю. — Пускай так. Гордитесь! А раз выше всех — значит, ума у вас больше, сознательности. И непонятно мне: зачем же вы младенцев убиваете, стариков, женщин?» Захорохорился он: «Где, дескать, такое есть?» А я ему: «А вон в деревне Залегошь. Овраг младенцами, стариками, женщинами вы завалили?» — «Да то, слышь, не люди, а юды», то есть евреи. Понимаете? Ну, я тут развернулся да как шарахну его по сопатке! Входит полковник, глядит на меня. «Ты к чему такое сделал?» Отвечаю по уставу: «Дискуссию закончил, товарищ полковник». А ведь, как потом оказалось, из рабочих он, по труду, выходит, брат, а по уму — враг несусветный.

Николай Кораблев почти не слушал Егора Ивановича. Он перелистывал страницы книги, прочитывая подчеркнутые места, с заметками на полях, сделанными синим карандашом: «Особо важное». И именно эти «особо важные» места и казались бредом: в них слышались и Шопенгауэр, и Ницше, и мракобесы всех мастей, причем все это Гитлер выдавал за новое, за свое.

— Чорт знает что! Ужас! Просто ужас! — бормотал Николай Кораблев, прочитывая «особо важные» места.

— Ну, что он там? — поторопил Егор Иванович.

— Вот что Гитлер пишет: «Человечество погибнет при существовании вечного мира».

— Вон чего! — удивленно протянул Егор Иванович. — А мне ее хоть бы сроду и не было — войны. Я хочу работать, а не воевать.

— А ведь воюешь? — испытующе проговорил Николай Кораблев.

Егор Иванович, чуть подумав, сказал:

— Да ведь это они нас разгневали. Дадим им по загривку — и к труду! И еще — скажи на милость: откуда они взялись, фашисты?

7

В Германии буржуазия при непосредственной помощи и поддержке оппортунистов всех мастей разгромила революционную часть рабочих в Берлине, Мюнхене и других городах страны. Разгромив революционных рабочих, империалисты увидели, что оппортунисты — люди говорливые, но без волчьей хватки. Нужны были звери. Но зверя с оскаленной пастью нельзя было сразу выпустить в народ. Пасть эту надо было чем-то прикрыть. Чем? Да все тем же, чем прикрывались враги рабочего класса, — «социализмом». И в Германии начали появляться то тут, то там организации под такими названиями: «Народный союз борьбы», «Свободный рабочий комитет борьбы за достижение доброго мира», «Союз народного наступления и обороны». Среди таких организаций возник кружок «Германская рабочая партия», основанный отъявленным антисемитом и мракобесом Антоном Дрекслером. Узнав об организации такого кружка, подполковник Эрнст Рем, начальник политического отдела тайной полиции Мюнхена, направил туда шпика Адольфа Гитлера, и тот донес своему начальнику, что кружок «благовиден и полезен». Вскоре в кружок «Германская рабочая партия» стали вербоваться авантюристы, проходимцы всех мастей: безработные офицеры, полицейские чиновники, уголовники, проститутки. Через два года в мюнхенской пивной состоялся съезд

«Германской рабочей партии», где она была переименована в «Национал-социалистскую германскую рабочую партию».

Крупнейшие империалисты Германии увидели именно здесь, в партии Гитлера, сильнейших зверей, и к Гитлеру посыпались деньги от Круппа, Тиссена, Стинеса и других магнатов капитала. Но в массы гитлеровцы шли, прикрывая свое звериное лицо «революционными» лозунгами. Придя к власти, они объявили первое мая праздником труда, на собраниях выступали с речами против империалистов, кричали о социализме, пуская в ход демагогию, а одновременно с этим беспощадно уничтожали все истинно революционное, и вскоре железная лапа вооруженного капитала легла на страну. Германия покрылась лагерями, тюрьмы наполнились честными людьми, прокатились свирепые еврейские погромы...

В тысяча девятьсот тридцатом году, обнаглев, Гитлер уже откровенно выступал на собраниях промышленников и говорил им:

— Вы, господа, стоите на той точке зрения, что германское народное хозяйство может быть восстановлено исключительно на основе частной собственности... Но эта идея должна быть морально обоснована. Надо доказать массам, что частная собственность заложена в самой природе вещей. Неправильно делать вывод, что мы, национал-социалисты, против капитала. Наоборот, если бы нас не было, в Германии не было бы буржуазии.

Были и наивные люди в партии Гитлера. Они, когда Гитлер пришел к власти, спрашивали его:

— А как же с теми пунктами программы, которые касаются аграрной реформы, уничтожения наемного труда и национализации банков...

Гитлер на это отвечал:

— Неужели вы настолько примитивны, что принимаете программу буквально и не видите, что это только декорация нашего спектакля? В этой программе, установленной для масс, я никогда ничего не изменю.

— Чудаки! — еще говорил он. — Разве вы не

понимаете, что чем ниже уровень культуры рабочего класса и всего народа, тем больше у нас шансов удержать власть... Культура, цивилизация, гуманность и тому подобное есть выражение помеси глупости, трусости и сомнения... Нужно уничтожить двадцать миллионов человек... Это будет одна из основных задач нашей политики.

Вот все это порассказал Николай Кораблев Егору Ивановичу, перелистывая книгу Гитлера, читая «особо важные» места.

Егор Иванович, поставив кастрюлю на примус, подсел к Николаю Кораблеву так же, как подсаживаются ребята к взрослому во время чтения книги, и тихо спросил:

— А как же... народ-то... выходит, на своих плечах вынес на весь мир такого палача? Не-ет, они должны за это нести большую кару!

— Кару-то понесут, но нам от этого не легче: они нас оторвали от мирного труда, не один миллион наших лучших людей погибнет в эту войну, будут разрушены и уже разрушены тысячи заводов, фабрик, сел, деревень, городов. Смерч пройдет по всем полям!

Егор Иванович грустно покачал головой и хотел было о чем-то спросить, как вдруг что-то с такой силой обрушилось на блиндаж, что он закачался, а примус вместе с кастрюлей поехал по столу. Егор Иванович кинулся к кастрюле, а Николай Кораблев как вцепился руками в край нар, так и застыл.

— Бьет, стервец! Только мимо! — чуть спустя, придя в себя, прокричал Егор Иванович и, поставив кастрюлю на пол, выбежал из блиндажа.

Через несколько минут он вернулся возбужденный и улыбающийся:

— Пронюхал, стервец, что мы с вами тут, и лупит. Да ведь мы обстреляны! Ты куда? — спросил он, видя, как Николай Кораблев направился к двери. — Пускать тебя не велено.

— До ветру.

— А-а-а! Там присутствие постороннего человека стеснительно.

Николай Кораблев вышел со двора и вскоре попал в березовую рощу. Здесь было тихо. Травы примяты, кустарники молодого орешника поломаны. На ветвях виднелись завязи. Подойдя к поломанному кусту, он, сорвав грань, очистил орех, раскусил его: внутри, окутанное мягкой белой кашицей, лежало крошечное ядрышко-сердечко.

«Вот так же безжалостно и грубо они уничтожают у себя в стране все светлое... еще в зародыше... Мерзавцы!» — он отбросил орех и быстро зашагал, куда повели его ноги.

Вскоре он очутился на лесной глухой дороге. Чуть в стороне, около березы, стояла гнедая лошадь. Увидав его, она жалобно заржала. Он шагнул к ней и в ужасе закрыл глаза: левая задняя нога у лошади была оторвана почти под самый корень... Из обезображенного места лилась, как из сита, кровь. Николай Кораблев отвернулся и пошел дальше, а лошадь все ржала, все звала его, жалобно, плаксиво, с каким-то смертельным упреком.

— Ужас какой! Какой ужас! — пробормотал он и, перебираясь через чащобу кустарника, вышел на поляну.

На поляне, прижимаясь к зелени опушки, стояли танки.

«Вот хорошо-то! Моторы посмотрю. Эти были в деле» — решил он, увидав летчика, спросил:

— Это чьи танки?

Летчик остановился, подозрительно посмотрел на него:

— А вы откуда?

— Я? Да я ведь... — Николай Кораблев смешался и подумал: «А что я ему скажу?»

Но летчик уже командовал:

— А ну, вперед, до командира! Много вас тут таких таскается. «Я? Да я ведь...» — передразнил он и, выхватив пистолет, указывая им на дорожку, еще раз крикнул: — А ну, давай, давай, давай!

Всего три дня тому назад к летчикам на аэродром заявился человек, назвав себя наркомом. Доверчивые летчики были рады ему: стали все показывать,

рассказывать... Но вскоре за «наркомом» приехали люди из смерша и схватили его, как заядлого шпиона.

Николай Кораблев об этом, конечно, ничего не знал и, удивленный грубостью летчика, вздохнув, подумал:

«Ох, попал я в какую-то историю!»

Вскоре они пересекли полянку, подошли к кустику, и тут Николай Кораблев увидел летчика-майора, окруженного танкистами. Все они сидели на траве и ели уху.

— Вот, товарищ майор, привел: подглядывал и, видимо, записывал номера танков! — выкрикнул летчик.

Майор, весь обожженный, как будто по нему прошлась черная оспа, спросил:

— Документы у него проверил?

— Никак нет.

— А чего же треплешься? Документы у вас есть? — обратился майор к Николаю Кораблеву.

Это были уже не документы, а комок бумаги: во время перехода через болото они намокли, а теперь высохли и слепились так, что майору пришлось их раздирать... Раздирал он их брезгливо, без осторожности, а когда закончил, посмотрел и сказал:

— Чорт те что, а не документы! А ну-ка, подведите его поближе, — и, показывая Николаю Кораблеву бумаги, сказал: — Что это?

— Я через болото проходил... — заикаясь, проговорил Николай Кораблев.

— Угу... Вон как! Через болото, значит, перешел? — и майор, кинув в сторону документы, крикнул: — Придется, как и с тем «наркомом», поступить — доставишь в смерш.

Летчик дулом пистолета ткнул в спину Николая Кораблева и скомандовал:

— А ну, поворачивайся! Давай вон туда, правее...

У Николая Кораблева вдруг пропал всякий страх. Вместо того чтобы итти по команде, он повернулся к майору и, опустив руки и посмотрев проникновенно тому в глаза, сказал:

— Слушайте-ка, товарищ. Я директор моторного завода с Урала, из Чиркуля, Кораблев.

С земли поднялся молодой танкист и, ни к кому не обращаясь, проговорил:

— Ведь у нас тут есть товарищи из Чиркуля, с завода. Вот и позвать...

— Да, да! Должны быть: Иван Кузьмич Замятин, Звенкин, Ахметдинов, — подхватил Николай Кораблев.

— О-о-о! Все знает, — произнес майор все с тем же недоверием. — А позовите-ка Ивана Кузьмича!

Молодой танкист сорвался с места и бегом кинулся в сторону.

«А вдруг его нет? Вдруг он куда-нибудь ушел? — холодея, подумал Николай Кораблев. — Батюшки мои! Сколько этого вдруг!» — он посмотрел на котелок с ухой, и ему страшно захотелось есть... и он запросто подсел к котелку, взял ложку и начал хлебать уху.

Все удивленно посмотрели на него, а майор сказал:

— Смел! Перед смертью захотелось пожрать. Эй, ты! — он намеревался еще что-то крикнуть, злое и оскорбительное, но, видя, как из лесу бегут молодой танкист и Иван Кузьмич Замятин, сказал: — Ага, идут! Сейчас мы тебя раскусим!

Иван Кузьмич Замятин в комбинезоне танкиста стал будто еще ниже ростом, но шире. Лицо у него явно посвежело: сказался чистый воздух. Но морщина над переносицей углубилась так, словно кто нажал долотом. Подойдя к майору, он спросил:

— Что, Мишенька, у тебя тут стряслось?

Тот встал и, с уважением обращаясь к нему, произнес:

— Да вот, дядя Ваня, птица залетела. Узнаете его?

Лицо Николая Кораблева за эти дни заросло бородой, щеки впали, гимнастерка была в грязи. И Иван Кузьмич на какую-то секунду даже усомнился: директор ли это?

— Смотрите хорошенько, дядя Ваня. Они под всякую марку подделываются. Слышали, позавчера один попался? Наркомом, наркомом! Разобрали его — шпион чистых кровей, — проговорил майор и сам внимательно стал всматриваться в Николая Кораблева.

— Это действительно, Мишенька: под всякую

марку подделываются. Скажите-ка, гражданин, где у вас жена, как звать ее?

Николай Кораблев, грустно улыбаясь, посмотрел на Ивана Кузьмича. Было смешно и смотреть на него и отвечать ему на то, что он прекрасно знал, и, однако, как на допросе, ответил:

— Татьяна Яковлевна Половцева. Она осталась по ту сторону, в селе Ливня.

— Угу... — сказал Иван Кузьмич и взглянул на майора.

— Да ведь это он мог пронюхать. Встретил жену Кораблева, пронюхал и вот, как цветочек, перед нами!

Но Иван Кузьмич, заметно добрея, приблизился, снял с директора пилотку, отыскал на голове седой клок волос и, мягко обняв, взволнованно произнес:

— Здравствуйте, здравствуйте, Николай Степанович! Вот где нам довелось встретиться! Надолго ли к нам? Как там наши? Степан Яковлевич как?

Николай Кораблев, удрученный всем тем, что с ним произошло, молчал, а майор растерянно отряхнулся, поправил ремень и, приветствуя, проговорил:

— Извинения просим, товарищ директор. Ординарец! — крикнул он. — Помыть товарища Кораблева и переодеть!

— Это уж мы... — вмешался Иван Кузьмич. — Только обмундирования у нас не найдется, Мишенька. А речка рядом, в двух шагах.

8

Иван Кузьмич всю дорогу, пока они шли к речке, рассказывал о первом боевом крещении, которое произошло только вчера вечером. Вчера в полдень весь танковый корпус бросили в прорыв левее болота, в котором сидел Николай Кораблев. На помощь корпусу должны были подойти самоходные пушки. Но те почему-то не подошли и корпусу пришлось одному вступить в бой с превосходящими немецкими танковыми силами. Среди немецких танков были и тяжелые «тигры».

— Охотились на «тигров», как лайки на медведя, — возбужденный воспоминанием о бое, говорил Иван Кузьмич. — Несется «тигр», громадина, а мы около него, со всех сторон. Глядишь, кто-нибудь трах его в бок — и оба загорелись. Потом пришли и самоходные пушки, но бой-то уже закончился... Наломали — ужас! И нашими и немецкими танками усеяли поле. Горы металла, Николай Степанович! Такую прорву жрет война!.. Однако мы выстояли, но пощипанные. Отвели нас теперь в резерв до особого распоряжения. Оно, особое распоряжение, может быть сегодня: слышите, как немцы из артиллерии лупят? Мирного населения много гибнет — ужас! Немецкое начальство приказало угонять всех. А солдатам гнать-то лень, ну, мерзавцы, выставят на полянке детей, женщин и из автоматов покосят. Тут вот недалеко одна поляна вся завалена женщинами, детьми, стариками.

«Угоняют и расстреливают, — мелькнуло у Николая Кораблева. — И их угонят и расстреляют...» — он уже по грудь вошел в воду, когда это страшное предположение обожгло его. Он остановился и, увидав свое отображение в воде, затосковал о Татьяне еще больше, до боли в сердце, до слез. «Да что же это? Почему на меня свалилось такое горе? Почему? Почему вот...» — он хотел было сказать: «Почему такое горе не свалилось на Ивана Кузьмича?» — но тут же вспомнил о сыне Ивана Кузьмича — Сане. Он еще там, на Урале, однажды по глазам Ивана Кузьмича понял, что с его младшим сыном случилось что-то страшное. А сегодня, увидав огромную надпись мелом на боку танка: «Саня», — он спросил:

— Это что?

Иван Кузьмич, пряча глаза, ответил:

— Сынок мой... младший. Помните его? Такой был... — сказав это, он быстро поправился: — Такой хороший! Стихи все, бывало, писал, а сейчас не знаю, пишет или не пишет. Писем, впрочем, долго нет.

«Значит... Значит, и на него свалилось горе. Да на кого оно не свалилось? На всю страну, на весь народ!» — Николай Кораблев окунулся с головой, затем выскочил из воды, отфыркиваясь и уже улыбаясь.

Его оживленную улыбку заметил Иван Кузьмич и, свободно вздохнув, сказал, почему-то обращаясь, как к пареньку:

— Ну, вот и посвежел. Ладно! Пойдемте-ка теперь перекусим. Ребята ждут.

9

«Да, да! Все будет хорошо! — шагая по тропе за Иваном Кузьмичом, успокаивающе думал Николай Кораблев. — Все будет хорошо! Мы, безусловно, победим, очистим нашу землю от скверны, восторжествует наша большая правда, ибо она вооружена теперь с головы до ног. Все будет хорошо... Но не будет тех, кто погибнет в этих страшных боях... Или как те, в овраге, на поляне. И неужели эта война — еще только предисловие к более страшной войне?»

У танка их ждали Ахметдинов, Звенкин, оба в военных комбинезонах, чем-то похожие друг на друга. Они вытянулись и враз крикнули:

— Здравия желаем, Николай Степанович!

Николай Кораблев сначала поздоровался со Звенкиным, сказав:

— А вы тут, товарищ Звенкин, как будто поправились.

— Харч хорош, Николай Степанович, — смело ответил тот, и в тоне голоса и в движении его появилось то самое превосходство, какое бывает у военных перед штатскими.

— И вы поправились, товарищ Ахметдинов, — и Николай Кораблев пожал сильную руку Ахметдинова.

— Мало-мало ем, Николай Степанович, мало-мало спим, — ответил, как всегда смущенный, Ахметдинов.

Они быстро сели за скатерть на полянке, уступив Николаю Кораблеву лучшее место. Уха у них была в общем котелке, но Николаю Кораблеву налили отдельно, в какую-то банку из-под консервов. Он усмехнулся и, вылив уху в котелок, сказал:

— Давайте все вместе. Старовер, что ли, я?

Вдруг совсем недалеко за речкой, в роще, что-то

разорвалось с таким грохотом, что все на секунду приостановились.

Ахметдинов сказал, держа ложку с ухой:

— Немец. Из дальнобойной.

Звенкин тоже сказал:

— Нащупывает.

Иван Кузьмич:

— Пускай щупает. Кушайте, кушайте, Николай Степанович! Тут, если на это обращать внимание, без еды останешься. Сейчас дальнобойная, а то могут и птички налететь.

Глядя на них, успокоился и Николай Кораблев.

— А вы, что ж, привыкли?

— К смерти не привыкнешь. А просто, чего же дрожать? — ответил Иван Кузьмич.

Из лесу вышел обожженный майор-летчик. В руках он нес что-то завернутое в полотенце. Остановившись, проговорил:

— Николай Степанович, разрешите присоединиться к вашей компании? — и, присев рядом, развернул полотенце, ставя на скатерку бутылку шампанского. — Это команда непьющая. Говорят, что они в директора. Ну, водку не пьете, а ведь шампанское можно? Я люблю шампанское не за то, что оно лучше водки, а за то, что про него и Лермонтов и Пушкин писали: «Пробки в потолок».

Пробка из бутылки в эту минуту взвилась. Майор, проследив за нею, сказал:

— Только у нас потолок очень высок: иная птичка так подымется, никакая зенитка ее не достанет. И разрешите отрекомендоваться: майор Кукушкин.

— Герой Советского Союза, — добавил Иван Кузьмич.

Николай Кораблев только теперь глянул на майора с величайшим изумлением: лицо летчика было безброво, покрыто шрамами ожогов, даже нос, и тот был весь стянут; сожжены и руки: пальцы — коротышки, как морковки... и вспомнил:

«Ах, это тот, о котором мне говорил Анатолий Васильевич», — и еще внимательней посмотрел на майора-летчика.

— Кукушкин! — подтвердил Иван Кузьмич. — Миша! Из Кимр! Милый ты мой! — вдруг взволнованно заговорил он, превращаясь из военного человека в отца.

Посмотрев на Мишу, он перевел взгляд на боковину танка, где было мелом написано: «Саня».

— Да-а, — глядя на надпись произнес и Кукушкин. — Да, да! Я тоже несколько раз писал на самолете: «Мщу за Саню и за Валю!» Валя-то с ним вместе погиб...

Погиб? Саня? А ведь Ахметдинов и Звенкин считали, что Саня жив. Значит, вон какое крепкое сердце у Ивана Кузьмича: молчало...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Ветер! Ветер!

Вот он разгулялся над Волгой-матушкой рекой. Белякамн-лапами своими тискает воду, задирает, а то вдруг сожмется и давай чеканить серебристыми, рябоватыми блестками.

Ах, ветер, ветер!

Какие запахи несешь ты из заволжских степей? Вот запах ландыша — это по ранней весне. А в лето? Батюшки мои, что только ветер не несет из заволжских степей: и пряный запах ржи, и запах созревающих яблок, груш и дынь, а то и полынка.

Вдыхай, человек! Дыши!

А тут и ветер-то какой-то военный. Дунет — и притащит гарь, едкую, пахнущую сосновой смолой. Дунет — и падай на землю: удушливый, сладковато-тошнотворный трупный запах сбивает тебя с ног.

С Иваном Кузьмичом, Звенкиным и Ахметдиновым Николай Кораблев пробеседовал всю ночь. Они долго говорили о заводе, вспоминая знакомых, особо Степана Яковлевича Петрова, потом говорили о своих семьях и наконец — о моторах.

— Хороши, хороши они у нас! — уверял Иван Кузьмич. — Ну, руки-то какие принимали? Наши. Вот эти! — и с гордостью добавил: — А все-таки тянет туда, Николай Степанович. Сны снятся, будто на конвейере я стою и моторы принимаю.

«Все в невероятном напряжении находятся только во время боя», — вспомнил Николай Кораблев слова Анатолия Васильевича и предложил: — А давайте-ка испытаем мотор. Выберемся куда-нибудь в поле и раза два-три выстрелим.

Иван Кузьмич сбегал к начальству и, вернувшись, сказал:

— Разрешение на такое имеем. Давайте! Двоих наших сподручных нет. Ну, и без них справимся!

Ахметдинов, как водитель, выкатил танк на полянку. Тут в него забрались Иван Кузьмич, Звенкин и Николай Кораблев. Пока танк выходил в поле, Николай Кораблев, умевший управлять автомобилем, а кроме этого на танковом заводе водивший танк, присмотрелся к Ахметдинову и сам сел «за руль». Сначала он танк опробовал на тихом ходу, потом — на среднем, и, кивнув Ивану Кузьмичу, перевел на самую большую скорость. Танк рванулся, понесся, то подпрыгивая, то приседая, то склоняясь направо или налево, легко перескакивая через мелкие овражки... И вдруг весь содрогнулся, потом еще, и еще, и еще... На одиннадцатом выстреле мотор как-то чуточку сдал, приглох, но это уловило только опытное ухо инженера Николая Кораблева.

После пятнадцатого выстрела танк вернулся на старую поляну. Тут все из него выбрались и, открыв задний люк, стали осматривать мотор. Танк уже «стих», а мотор все еще дрожал.

— Мы ему во время боя, мотору, такую взбучку даем, ой-ой! — проговорил Звенкин.

Да-а... «Взбучка» была сильная... И Николай Кораблев, осмотрев мотор и подметив весьма мелкие неполадки в нем, написал письмо Лукину, предлагая: «Все это надо проработать на совещании инженеров и устранить». Письмо он отослал в штаб армии Макару Петровичу с просьбой переслать его на завод и,

распрощавшись с Иваном Кузьмичом, Ахметдиновым, Звенкиным, вместе с Мишей Кукушкиным направился на аэродром.

Дорогой Миша рассказал, что с Иваном Кузьмичом еще до войны он познакомился через его сына Саню, что Саня, как радист на самолете, который вел в бой Миша, был убит пулей в голову вечером двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года. Во время второго вылета был убит и Валя — брат Миши. Сам Миша чуть было не сгорел под Сталинградом. Семья? У него только мать-старушка, живет в Кимрах.

Это был не аэродром в обычном понимании этого слова, а огромная поляна среди леса, года два тому назад засеваемая колхозниками, теперь заросшая высокими сорняками. Посредине поляны прожектор, в сторонке несколько палаток, а на боковинах леса, прячась в зелени, самолеты.

Проходя мимо них, Николай Кораблев не без интереса читал:

«Мстим за товарища Егорова!»

— Что это значит? — спросил он Мишу Кукушкина.

— Три дня тому назад наш товарищ вылетел по заданию. Хороший товарищ! Впрочем, чем хороший? Как и мы все: с неба звезд не хватал. Ну, его самолет подбили. Радиста-пулеметчика — наповал, а Егоров выпрыгнул на парашюте и попал в плен. Фашисты согнули две березы, привязали Егорова за ноги и отпустили. Позавчера мы захватили эту поляну и нашли Егорова разодранным вон на тех березах...

Николай Кораблев подумал:

«Мало расстрелять человека... Мало повесить... Надо его разодрать... Ужасно! Притупилось всякое чувство!» — и спросил Мишу:

— Ну, а вы, что ж, тоже их раздирать будете?

— Нет, — брезгливо поморщился тот. — Мы такой пакостью заниматься не умеем. Даже повесить, и то противно!

Летчики высыпали из палатки навстречу Мише. Все они были необычайно оживлены, и все наперебой

стали рассказывать о том, как какой-то немецкий летчик, им уже известный под кличкой «Чорт», пронесся над аэродромом, затем покружился и «ушел к себе».

— Восвояси! — кричал один летчик, молодой и задорный. — Я хотел было кинуться за ним, но уговор: твой трофей, товарищ майор.

— Жаль! .. Мой... Жаль! — произнес Миша, сжав кулаки, посматривая в небо. — Ну, друзья, был я у Ивана Кузьмича, про Сашу вспомнили, про Валюшку. Эх, были бы они живы! А это вот Николай Степанович Кораблев — директор моторного завода.

Летчики окружили Николая Кораблева, начали его расспрашивать про Урал, но в это время в небе загудело что-то чужое. Летчики смолкли, и тут же кто-то крикнул:

— Товарищ майор! «Чорт» несется.

И как бы в подтверждение этих слов над аэродромом дерзко пронесся небольшой черный самолет.

Миша дрогнул, весь сжался и кинулся в сторону...

...И вот загудел пропеллер, затем истребитель колыхнулся, побежал по поляне, приминая травы, потом накренился и взвился.

Летчики побежали в лес. Через какую-то минуту они пересекли березовую рощицу и очутились на опушке. Дальше тянулось огромное поле, над полем небесные просторы, а в них — два самолета.

Вначале Николаю Кораблеву показалось, что два истребителя — один черный, а другой сизоватый — просто убегают друг от друга: они мелькали — один на севере, другой на юге, — то скрываясь, то выныривая из облаков.

«Перепугались и удирают», — подумал он.

Но кто-то из летчиков крикнул:

— Нацеливаются! Этих теперь огнем не разнимешь...

И в самом деле, истребители вдруг стали расти: из точек они быстро превратились в пятна, пятна обозначились крыльями. Сквозь гул моторов послышались резкие, короткие очереди... И вот они уже вступили в единоборство, то ныряя друг под друга, то наскакивая, точно два беркута... В таком бою прошло,

может быть, пять или десять минут. Летчики с земли смотрели на единоборство с затаенным дыханием. Но вот кто-то не выдержал, крикнул:

— Ох! Ох! Что они делают?!

Самолеты ревели, кружились, а временами Николаю Кораблеву даже казалось, они сцепились, и теперь никакая сила их не разорвет.

— Ну, амба! Кто-то должен сдаваться! — прокричал все тот же летчик.

— «Чорт» не сдастся. Разве такие сдаются?

— Надо послать на подмогу, — понеслось от других летчиков.

— Только помешаем! — отсоветовал кто-то.

Два самолета кружились в воздухе. Они кружились по какой-то одной линии, как иногда кружится щенок, гоняясь за собственным хвостом. Но вот черный самолет рванулся, падая вниз, а сизый взвился, уходя в голубизну неба... И тут же они оба вернулись и с невероятной быстротой кинулись друг на друга.

Летчики ахнули, заволновались:

— В лоб пошли!

— В лоб!

— Ох! Миша! Миша! Гляди! Миша!

Два самолета неслись друг на друга по прямой. Все ближе и ближе... На земле все замерли: ведь это смерть — удар в лоб.

И вдруг черный не выдержал, ринулся вверх, но в эти секунды сизый дал очередь, и черный всей своей массой, как иногда падает подстреленная утка, пошел вниз. Самолет Миши проскочил еще какое-то расстояние и, кувырнувшись, тоже пошел вниз. Затем из черной массы что-то вывалилось. Это «что-то» вспыхнуло белым куполом, и человек, будто чаинка в стакане, закачался в воздухе.

— А, Миша! Миша!

— Неужели Миша?! — закричали люди на земле.

И в эту же секунду вспыхнул второй белый купол. Оба купола-парашюта ветром понесло в сторону. А самолеты рухнули на землю и занялись, как гигантские костры.

2

Мишу вскоре подобрали и положили в палатку, приставя к нему медсестру. Он был страшно возбужден и все время, будто в бреду, повторял одно и то же:

— «Чорта», «Чорта» сбил!..

«Чорта» взяли только поздно ночью. Его можно было бы издали просто расстрелять, но всем хотелось посмотреть ему в глаза глазами победителя. И только поздно ночью, когда он, забившись под коряги около березы, задремал, к нему неслышно подползли два человека из людей Саши Плугова. Услыхав о том, что «Чорт» сбит, Саша немедленно приехал на аэродром и привез с собой двух бойцов-лазутчиков.

Со связанными руками, без пилотки, в полуобгорелой одежде, «Чорт» плевался, ляская зубами, и походил на помешанного.

— Эге! — сказал Саша Плугов. — Матерый! Злой! Сорвите-ка с него погорелое-то.

Когда с «Чорта» сорвали обгорелую куртку, то оказалось, что вся грудь у него увешана ленточками.

Увидав перед собой полковника, он брезгливо сморщил губы.

— Устав надо соблюдать, офицер! Перед вами полковник! — на ломаном немецком языке крикнул Саша Плугов.

«Чорт» помедлил, затем сказал:

— Если вы считаете меня офицером, то прикажите развязать руки: я не уголовник.

Саша Плугов из этого ничего не понял, но, не подав виду, повернувшись к Николаю Кораблеву, пробормотал:

— Видите, инфузория какая... Вы как?

— Я знаю немецкий.

— Чего он?

— Если вы считаете, что он офицер, то развяжите руки: это оскорбляет.

— Угу... Значит, из пруссачков. Они такие. Передайте ему, что руки развяжут, если он немедленно выложит документы.

Бойцы быстро развязали немцу руки. Он их потер, и особенно тягуче в локтевых сгибах, и, пошатываясь, привалился к стене. Ему подали походный стульчик. А на столе стояли бутылка с ромом, фрукты, закуска и в огромной вазе черная икра. Немец достал из кармана сафьяновый бумажник и подал его Саше Плугову. Тот, просматривая документы, свистнул и протянул их Николаю Кораблеву. Затем подозрительно посмотрел на немца, налил в бокалы рому и произнес:

— За Бисмарка! Бисмарк... О-о-о!..

Немец насторожился, взял бокал, вскинул над собой и крикнул:

— Хайль Гитлер!

— Трепач! Ну, честное же слово, трепач!.. Инфузория какая! — не то рассердившись, не то обидевшись, проговорил Саша Плугов и, плеснув ром в угол, сказал:

— К кошке под хвост! Переведите ему, Николай Степанович!

Николай Степанович перевел и спросил немца, в самом ли деле он из фамилии Бисмарков. Тот ответил положительно. Тогда Николай Кораблев снова спросил, почему же он, потомок Бисмарка, идет против своего деда:

— Ведь Бисмарк советовал никогда не вступать в войну против России... Вы, очевидно, не уважаете своего деда?

Отпрыск Бисмарка на это ничего не ответил, но снова напыщенно вскрикнул:

— Хайль Гитлер!

Тогда Николай Кораблев более сурово произнес:

— Бросьте болтать! Если бы вы искренно верили в Гитлера, то не кричали бы такое. Вы боитесь его...

Потомок Бисмарка еще выпил и, сразу опьянев, подсев ближе к Николаю Кораблеву, проговорил:

— Вы, я вижу, невоенный... И так хорошо знаете мой родной язык. Скажите полковнику: пусть он позволит высказать то, что я думаю.

Николай Кораблев перевел.

— Хорошо. Мы оставим вас вдвоем, — Саша Плугов вместе с бойцами вышел из палатки.

После этого потомок Бисмарка наклонился еще ближе к Николаю Кораблеву, налил в бокалы рому и, подавая один ему, сказал:

— Я хочу с вами выпить. Все равно: мой счет подписан... И я хочу с вами выпить и передать вам то, что я думаю... Я... мы...

Николай Кораблев, видя, что «Чорт» мнется, в интересах дела чокнулся с ним и выпил.

— О-о-о! Вы, русские, умеете пить!

— И бить, — добавил Николай Кораблев.

— Да. Как ни стыдно, три раза вы нас били: под Москвой, под Сталинградом и вот здесь. Мы вас били там, на западе... И нам надо было остановиться на Днепре, с севера и на юг — он провел рукой волнистую линию, как бы показывая на карте Днепр. — Так Браухич хотел, и это было разумно. Он так хотел, наш великий Браухич. Мы так хотели.

— Кто вы?

— Мы, кто с Браухичем. Мы, в ком течет благородная кровь... Не те, кто около Гитлера. Что такое Гитлер? — Бисмарк помолчал, потом сказал: — Гитлер — шарманщик!

— А зачем же вы пошли за ним?

— Мы? Мы пошли потому, что вы двинулись на нас войной, нарушив договор.

— Вы или наивничаете или хитрите. Мы страна мирного труда. У нас так много работы, нам так много еще надо было сделать, чтоб превратить страну в могучее государство во всех отношениях... И вы нарушили наш мирный труд.

— Тут мы друг друга не убедим, — сказал немец и покачал пьянеющей головой. — Дипломатия — вещь темная. Но нам сказали, что вы первые нарушили договор, и мы пошли, мы, военные Германии. Но мы вместе с Браухичем говорили: «Надо остановиться на Днепре. Хватит! Давайте по Днепр и обороняться». Мы тогда были силой... А сейчас? Ох, я знаю, что будет сейчас: счет мой и наш счет подписаны, — он оттолкнулся и зло выкрикнул: — Ну нет! Не подписан! Это вы... вы хотите, чтобы мы подписали счет. Не-ет! Мы уберем шарманщика... Три дня тому

назад кто-то стрелял в шарманщика. Кто? Это наш стрелял. Мой брат, друг, родной — вот кто стрелял! Его надо убрать, шарманщика, и тогда Браухич поведет нас! Браухич! .. О-о-о! .. Браухич! .. Он знает, что такое война и что такое немец, настоящий немец. Мы оставим ваш Орел. Орел — решка, — по-русски проговорил он и засмеялся. — Не орел у нас, а решка, но это тут... А на Днепре? Мы соберем силы на Днепре. Товарищи! — передразнил он кого-то. — Мы всех товарищей вот так, — и провел рукой по горлу, затем стеклянным взглядом посмотрел на Николая Кораблева. — Товарищи! Ты тоже есть товарищ? — спросил он по-русски.

Николаю Кораблеву захотелось ударить потомка Бисмарка, ударить наотмашь, со всей силой.

«Сволочь! Он на мою вежливость отвечает нахальством», — мелькнуло у него, и он сдержался, не ударил, но резко произнес:

— Нахальство в военных делах — неважное оружие. В этом отношении вы рядом с Гитлером.

Когда вошел Саша Плугов, Николай Кораблев почти в точности передал разговор с немцем, выдавая за новость и разногласие в «стане» Гитлера.

Саша Плугов, посмотрев на немца, сказал:

— Да нам об этом давно известно. Однако мы его направим в Москву, к фельдмаршалу Паулюсу. Переведите ему!

Немец, услыхав, что его направляют к фельдмаршалу Паулюсу, побледнел и, вцепившись рукой в стол, спросил:

— Когда? Сейчас? За палаткой? ..

— Ничего не понимаю! — удивленно проговорил Николай Кораблев. — Почему сейчас и за палаткой? Паулюс в Москве.

— Паулюс в Москве? Паулюс давно там, — немец показал рукой вверх. — Паулюс — герой: когда он был окружен в Сталинграде, то пустил себе пулю в лоб. Таким должен быть каждый немец!

Николай Кораблев и Саша Плугов переглянулись.

— Ну и ну! — промолвил Николай Кораблев.

— Это они умеют — врать, — добавил Саша Плу-

гов и к Бисмарку: — Вы его скоро увидите, Паулюса.

— Да-а? За палаткой? Но я хочу... я хочу перед смертью видеть того, кто заставил меня быть здесь.

Саша Плугов засмеялся:

— Инфузория какая! Предоставим ему сие, тем паче Миша тоже хочет видеть «Чорта», — и он вышел, а следом за ним вывели немца.

В палатке пахло отцветающей богородской травой, ромашкой и иодоформом. На дальней кровати лежал Миша.

Когда Саша Плугов, за ним немец и Николай Кораблев с бойцами вошли в палатку, Миша чуть приподнялся и, ежась от боли в раненой руке, с большим любопытством посмотрел на «Чорта». Возбужденный, бледный, Миша в эту минуту походил на юношу. Увидав Мишу, «Чорт» налился остервенением.

— Этот? .. — сказал он, ткнув пальцем по направлению к Мише. — Меня? .. Не верю!

3

Немцы бегут из Орла...

Освобождены Мценск, Болохов. Войска генералов Болдина, Баграмяна, Белова, Горбатова, Колпакчи, Романенко, Пухова всей своей несокрушимой силой обрушились на врага, прорвали долговременные укрепления и ринулись вглубь. Орел почти окружен. И бойцы... Какие это бойцы! Посмотришь на них — и брызнут слезы: они все уже обожжены войною, черны от грязи. Иные идут в бой с перевязанными лбами, иные — прихрамывая. И когда к такому «пристает» та или иная медсестра, требуя, чтобы немедленно отправился в госпиталь, раненый отвечает:

— Сестрица, родная, погоди! В Орле лягу!

— Орел! ..

— Орел! ..

— За Орел! .. — слышится всюду.

— За Орел! .. — вскрикнул Михеев, сидя за картой в хатке на конце железнодорожной станции.

Он за эти дни тоже почернел, а глаза у него набухли, будто налиты свинцом, и язык у него тяжелый: говорит он коротко, увесистыми фразами, вроде того: «Ну и что ж? Знай бей! Твоя доля такая — умри или убей!»

Погиб Пароходов. Он вместе с Анатолием Васильевичем с колокольни наблюдал за боем. Немецкий снаряд ударил в купол. Пароходов вдруг привалился к плечу командарма и произнес:

— Я... кажется... убит...

Убит Ваня, адъютант Михеева. Он прикрыл собой комдива. Разве Ваню когда-нибудь забудешь? И сегодня утром Михеев написал родителям Вани. В письме было только одно: «Плачу... Очень плачу!.. Никогда я не плакал, даже в детстве, а сейчас плачу...», — и он долго сидел над письмом и ревел, не рыдал, а ревел.

А вот сегодня вечером в шею ранило и его, Михеева.

Доктор сказал:

— На сантиметр от смерти. Рана очень опасная.

— Чем?

— Вот здесь, — показал доктор на свою шею, — есть сонная артерия. У вас пуля прошла в сантиметре от нее. Ранение этой артерии смертельно.

— Но ведь она не затронута?

— Неудобный толчок — и вы можете отправиться к праотцам, полковник, — пригрозил доктор. — Я настаиваю немедленно лечь в госпиталь!

И Михеев, как и все раненые бойцы, сказал, виновато и умоляюще улыбаясь:

— В Орле, доктор... Да разве вы не понимаете, что такое для нас Орел?..

Доктор подумал, затем, засучив рукава халата, показал перевязку выше локтя:

— Я ведь тоже ранен... Но, правда, ляжем в Орле, — и заторопился. — К вам командарм...

В комнату вошли Анатолий Васильевич и Макар Петрович. Они тоже почернели, особенно Анатолий Васильевич. Глаза у него покраснели: видимо, немало он поплакал над своим другом Пароходовым.

Михеев хотел подняться, но ноги подкосились, и он снова опустился, произнося:

— Виноват, виноват! Ноги не слушаются...

— Сиди, сиди! Что у тебя на шее? — спросил Анатолий Васильевич.

— Да так, царапнуло...

— Гляди, пуля может так царапнуть, что вырвет у меня любимого генерала... то есть полковника пока. Но будешь генералом. Обязательно! — Анатолий Васильевич сел за стол и смолк, грустно глядя куда-то в сторону, видимо думая о смерти Пароходова. — Да, да! — заговорил он, как бы отвечая самому себе, и встрепенулся. — Дай-ка карту-то! Ага! На север двигаешься. А мы тебе, — он в шутку продекламировал: — А мы тебе приказываем: на юг! .. На Орел! .. Все поверни на Орел! Мы поехали, а то нас могут перехватить в твоей ловушке, — и только тут обратился к Николаю Кораблеву, журя его. — А вам, голубчик, пора бы уж домой. Нагляделись. Хватит! Езжайте-ка к Нине Васильевне. Она там, в Грачевке, одна, — и, посмотрев тому в глаза, понял, что Николаю Кораблеву надо быть здесь. — Сочувствую, Николай Степанович: до цели недалеко. Ну что ж... Только берегите себя! Слышали: с Пароходовым-то? ..

Когда они вышли, Михеев несколько минут сидел молча, как бы дремал, затем грудью навалился на стол и, сжав кулак, опустил руку на карту:

— Мы вот так, Николай Степанович. Локоть — это дивизия соединена с армией, кулак — так мы пробились в стан врага и тут расширились. Теперь, значит, кулак повернуть с севера на юг — на Орел. Вот так, — и он повел руку на юг. — Что ж, это нам большая честь! Вы тут отдохните, — добавил он, — а я поехал. Нет, нет! Сегодня я вас не покину. Утром, на рассвете, я пришлю за вами. Адъютант! — позвал он.

Из соседней комнаты вышел новый адъютант. В этом еще не было того, что появляется у адъютантов, когда они сживаются в бою со своим начальником и говорят уже только так: «Мой полковник» или «Мой генерал».

4

Когда Михеев покинул комнату, Николаю Кораблеву одному стало тоскливо, и он вышел на улицу. Тут его встретил пьяненький Егор Иванович и сообщил, что скоро чаек приготовит, а быть здесь, на улице, он не советует.

— Немец палить скоро по нас начнет. Узнает, где мы, и давай палить.

— Да ведь мы с вами уже привыкли, — ответил Николай Кораблев. — А как чаек будет готов, мигните мне.

На улице его обдало теплом августовской ночи. Оно текло волнами, перемежаясь с холодком. Слышался запах увядающих трав.

«Что бы сказал Иван Иванович? Ведь он так любит запахи трав!» — подумал Николай Кораблев, садясь на ступеньку крыльца, и тут же ярко представил себе Урал и весь коллектив завода.

— Нет, нет! Я еще вернусь к тебе! — прошептал он, и вдруг сердце у него болезненно сжалось.

«А вдруг не вернусь? Ну вот, чепуха какая! Найду их и вернусь. Я, конечно, не уеду отсюда, пока не найду их. Еще день, два, три... может, десять... Но сегодня Михееву дан приказ — в Орел. А ведь за Орлом...» — и он посмотрел в сторону Орла.

Там небо дрожало багрянцем. По небу ползали то густые, черные тени, то оно все вдруг вспыхивало, будто в гигантский костер плескали бензин. Тени ползали, перемешивались, как бы играя, и было все это необычайно и страшно. Казалось, небо отражало то, что творилось на земле. Это небо властно схватило Николая Кораблева, и он, бессильный сопротивляться, чувствуя себя песчинкой, шептал только одно:

— Дико! Дико! До ужаса, до безумия дико! И как это все нам не нужно.

Так просидел он долго рядом с молчаливым часовым, который тоже смотрел на небо и тоже, очевидно, но как-то по-своему, думал о том же, о чем думал и Николай Кораблев. Несколько раз выходил Егор Ива-

нович, приглашая на чаек, но Николай Кораблев как бы не слышал его.

И Егор Иванович (он уже знал о том, что произошло с семьей Кораблева), понимая, что творится с ним, оставил его в покое. Но на рассвете снова выбежал из хаты и громко крикнул:

— Николай Степанович! Не видите? Партизаны из своих трущоб выходят.

И весь поселок ожил. Бойцы кинулись ближе к опушке леса и тут увидели потрясающую картину.

Из лесов выходили партизаны...

Вначале все ожидали, что увидят мужчин и женщин, вооруженных винтовками, автоматами, вилами, топорами и косами, а тут тянулась длинная вереница мужчин, женщин, ребятишек, с козами, коровами, узлами... Они выплывали из лесу, как поток черной нефти. А когда голова потока приблизилась к поселку, то вся посерела: одежонка, особенно на ребятишках, женщинах, пестрая, рваная, в заплатах, а на партизанах разноцветная: немецкая военная, польская, русская. Иные партизаны, вскинув винтовки на плечо, шли рядом с коровой или козой, другие несли узелки... И все это двигалось медленно, осторожно... И вдруг, поровнявшись с бойцами, вся «голова» взорвалась криками, и бойцы, в том числе и Николай Кораблев, оказались среди этой пестрой толпы; им жали руки мужчины и женщины, ребятишки забирались им на плечи... Плакали женщины, приговаривая:

— Совсем... совсем мы на своей земле...

— Родные наши!.. Пришли вы — и мы дышать стали!..

Наконец Николаю Кораблеву удалось выбиться из толпы. Он отбежал в сторонку и отсюда стал смотреть на партизан. Они шли, по очереди обнимая, целуя бойцов, заливая слезами уже потертые гимнастерки. Николай Кораблев смотрел на этот поток изможденных людей и не замечал, как у него у самого лились слезы.

«А нет ли ее здесь, Татьяны?» — вдруг пронзила его мысль, и он стал искать ее. Он всматривался в

каждую женщину и не видел тех глаз, которые он узнал бы среди тысячи. А люди все шли, шли, шли... Вон в толпе показалась лошадка, а рядом с ней семенит жеребенок. Он путается ножками, встряхивая еще совсем молоденькой гривкой, и все тянется под брюхо матери. На лошади сидит паренек в рваных штанишках и героем посматривает на своих друзей, таких же пареньков, шагающих за лошадью. Старик-партизан, поровнявшись с Николаем Кораблевым, многозначительно подмигнул, показывая на ребятишек:

— Мужики наши: по очереди едут... Коня любят. А тут еще новый позавчера явился. Так они все около него. Вот какие они у нас!

И люди шли, шли, шли... Они шли из лесов, освобожденные советскими частями, шли на свои родные места, еще не зная, что по пути почти все деревеньки, села выжжены, стерты с лица земли...

5

Николай Кораблев вернулся в хату вместе с Егором Ивановичем, когда уже рассвело. Не раздеваясь, лег на дубовую скамейку и с тоской подумал:

«А Михеев опять за мной не пришлет... Неужели снова тут целый день торчать?» — и он затосковал, не зная, куда себя деть. Затем поднялся и хотел было покинуть хату, чтобы направиться следом за партизанами: «Пойду расспрошу их. Может, видали Татьяну... Может быть... Ведь надо же искать ее! Осталось мне тут несколько дней», — и обратился к Егору Ивановичу:

— А где они скрывались, партизаны?

— Да недалеко отсюда Брянщина начинается. Леса. Вот там, в лесах. Наши ворота к ним прорубили, они и хлынули в эти ворота.

— А как вы думаете, село Ливня далеко от нас?

— Ливня? Не знаю. Впрочем, стой-ка, тут ко мне дружок заявился. С ним мы сегодня малость и клюнули. За Орлом где-то его деревенька, — он куда-то

сбегал и вскоре привел в хату Ермолая, крича с порога: — Из ее он, из самой этой Ливни!

— Ермолай! — обрадованно произнес Николай Кораблев. — Как это вы сюда-то? А баня?

Ермолай с сожалением ответил:

— Саша Плугов в измену ударился: «Слышь, треплешься ты много в бане, во все дела нос суешь, потом разбалтываешь. Трепач!» Так вот и огорошил! — закончил Ермолай.

— Ты откуда будешь? За Орлом ведь где-то родня-то твоя? Об этом речь, а ты пошел биографию писать, — оборвал его Егор Иванович.

— Из Ливни, — ответил Ермолай.

Николай Кораблев подскочил с лавки:

— Нет, правда, из Ливни? А далеко она от Орла?

— Нет. Вот как Орел-то возьмем, я и поковыляю прямо в Ливню. Я ведь под чистую отпущен.

— Так мы с вами... с вами вместе пойдем... в Ливню... Обязательно!

— Непременно! — сказал Ермолай, весь почему-то покраснев; он чуточку подождал, а потом, как это часто бывает в мужском обществе, откровенно сказал: — Сразу за свое возьмусь. Стосковался за два года-то.

Произнес он это откровенно, краснея, и потому Николаю Кораблеву показалось не грубо. Да он и сам чувствовал в себе ту же тоску. И еще Егор Иванович, хорошо смеясь, добавил:

— Мне вот уж пятьдесят, а природа зовет, ничего ты с ней не поделаешь. Конечно, как вернусь, так и скажу... Жена-то малость помоложе меня, на восемь годков. Скажу: «Давай закладывай: Расею надо пополнять».

6

В комнату сначала вошел, как бы расчищая дорогу, адъютант, а за ним и Троекратов.

«Вот некстати-то!» — раздраженно подумал Николай Кораблев, отходя и садясь в темном углу.

Троекратов тоже сел. За время боев с него слетел

всякий лоск и блеск. До этого он обычно ежедневно менял беленький воротничок гимнастерки, сейчас воротничок из беленького превратился в серенький, а сама гимнастерка была помята: видимо, он где-то спал не раздеваясь. И лицо помято, даже в каких-то синих прожилках.

Сев на лавку, он вяло спросил:

— Где полковник?

— На работе наш полковник, в бою, — с некоторой развязностью ответил Егор Иванович. — Где же ему еще быть?

— Да-а, — протянул Троекратов и только тут разглядел Николая Кораблева. — Ах! Давненько мы с вами не виделись! Ну, вы тут как? — и, не дожидаясь ответа, продолжал: — А мы очень устали. Да ничего! Все идет хорошо: историческую победу выиграли. Враг бежит. Нет, это здорово! Здорово! Знаете, что я думаю? Это конец войны. То есть это, может быть, не сегодня, не завтра, но это конец, — и тут же заспешил. — Да, мне надо ехать к партизанам. Велено забрать и вас, Николай Степанович.

Николай Кораблев впился глазами в Ермолая, не отвечая на приглашение, боясь, что тот один отправится в Ливню.

Что-то поняв, Троекратов сказал:

— Сдружились, вижу, вы здесь. Но ведь мы вас обратно доставим.

— Что ж? Поеду... к партизанам, — машинально проговорил Николай Кораблев.

Вскоре они мчались на «эмке» через леса, поля, обходя открытые дороги, все дальше и дальше удаляясь от гула, методического, постоянного и назойливого стука.

Партизаны их ждали в селе около церкви, на площади.

Взобравшись на грузовик и став рядом с Троекратовым и генералом, которого он видел впервые, Николай Кораблев посмотрел на партизан. Их было много: тысяч пять-шесть. И все они были разные: одни бородатые, другие начисто бритые, молодые, в шляпах, в кепи, в пилотках летчиков. Каждый из них держал в

руках или винтовку, или автомат, или ручной пулемет. Их было так много, что они заполнили собой не только площадь, но и улицы. А дальше, к изгородям, были привязаны лошади, запряженные в телеги, старинные тарантасы, и еще дальше стояли часовые, увешанные гранатами.

— Вот сколько их! — радостно проговорил Троекратов, внутренно чем-то гордясь, утаивая от Николая Кораблева, какую особую, порученную ему из Москвы работу ему самому пришлось провести среди партизан.

Сначала в лесах появились мелкие, разрозненные группки партизан. Их надо было свести воедино, поставить под одно командование, наметить цели и задачи, научить воевать, обороняться и... не пропускать в свои ряды предателей.

Сколько мучительных, бессонных ночей провел Троекратов! Ведь дело-то было, как это ни странно, абсолютно новое, не встречавшееся в истории войн. Верно, в каждой войне были партизанские движения. Партизаны при Кутузове или в годы гражданской войны сыграли огромную роль, но по сравнению с тем, какую роль должны были сыграть партизаны в эту войну, все то старое стало мелочью.

Среди мирного населения враг применял так называемые «сатанинские» методы.

Чтобы разбить, уничтожить единство колхозного крестьянства, враг «рассыпал» колхозы, роздал в частное пользование коровенок, лошадей — стареньких, полухромых, полуживых, то есть тех, которые не нужны были «великой Германии», и этим достиг каких-то успехов: частная собственность, в каком бы виде она ни была, разъедает мозг и душу человека.

Одновременно с этим враг насажал своих старост, обычно из пропойц, полубандитов, захватывал «власть».

Затем для борьбы с партизанами враг стал создавать полицейские отряды, и опять-таки путем применения «сатанинского» метода. Обычно в деревню или село приезжал немец-каратель, по его приказу староста выставлял на улицу всех здоровых мужчин — жителей деревни или села, — и немец-каратель, идя по

рядам, выбирая того или иного в полицаи, тыкал пальцем в грудь и говорил:

— Вот ты... Вот ты...

А после этого заставлял подписывать «договор», суть которого заключалась в следующем: подписавшийся обязан «честно служить» в полиции, при попытке к бегству он будет расстрелян, как будет расстреляна и его семья. Тут же бралась на учет и семья.

Из полицаев враг потом начал создавать провокационные партизанские группы, которые делали налеты на деревни, грабили население, пытаясь этим самым восстановить жителей против партизан. Группы полицаев вливались в карательные отряды и шли на разгром партизанских гнезд. Полицаи охраняли железные дороги, склады.

«Как разрушить эти «сатанинские» методы? — вот над чем думал Троекратов. — Да разрушить так, чтобы «противоядие» не было заранее вскрыто врагом...»

Руководитель партизанского движения нашелся. Он был прислан из Москвы: небольшого роста, уже пожилой, участник партизанских боев в Сибири во время гражданской войны, по фамилии Громадин. Он, этот Громадин, вскоре был переброшен к партизанам, а спустя месяц прибыл в армию Анатолия Васильевича и рассказал о «сатанинских» методах врага.

Что делать? Как все это разрушить?

На совещании, где присутствовали только Анатолий Васильевич, Громадин, Пароходов и Троекратов, долго ломали головы, ища «противоядие» «сатанинским» методам... И ничего не нашли.

— Бить! Расстреливать их надо, полицаев! — раздраженно предложил Анатолий Васильевич, хотя в душе еще совсем не верил, что в этом «противоядие»

— Милай, Анатолий Васильевич! — забасил Громадин, вытягивая все свое маленькое тельце. — Ну старост мы еще можем пощелкать... Да что толку? Пощелкаем, а они других выставят. И выходит: шей да пори.

Троекратов начал «копаться».

— Как это могут? Как это могут наши люди,

советские люди, уйти в полицаи? — горестно восклицал он.

Тогда Пароходов, со свойственной ему прямотой, сказал:

— Как это могут? Как это могут? Давайте займемся такой «мировой скорбью». Будем сидеть и горевать, а нас враг будет лупить. Там идет растление... духовное растление, и нам это надо разрушить...

— Я об этом и говорю, — впервые на таком заседании произнес Троекратов. — Вы, товарищ член Военного совета, утверждаете: «Там идет растление». А я говорю: «Как это может быть?» — и, подумав, столь же резко добавил: — Надо прощупать полицаев и честных свести к партизанам.

— А как, милок? — пробасил Громадин.

— Мне кажется так, — отчеканивая каждое слово, ответил Троекратов, — я над этим долго думал. Надо в отряды полиции заслать своих людей. Поступит такой человек в полицию и начнет работу: приглядится к тому, к другому, к третьему и глаз на глаз задаст вопрос: «Ну, как живешь?» Если у того душа не запачкана, ответит: «Да что, туды-суды».

— Верно, — оглушая всех своим басом, подхватил Громадин. — Значит, свой такой человек, веди его к партизанам.

— А семья? Семью-то ведь его после этого немедленно расстреляют? — задал вопрос Пароходов.

— А мы сначала его семью к себе уведем, а потом его, — снова загремел Громадин.

— Вот это и будет великое противоядие, — подчеркнул Троекратов. — Только я боюсь одного: вместе с честными в партизанские отряды проникнут и предатели!

— Ах! — обрушился на него Анатолий Васильевич. — У нас так боятся всего десятистепенного. На тысячу прорвется один — и мы уже будем готовы не пускать к себе девятьсот девяносто девять. А относительно старост-подлецов — пощелкайте, а на их место ставьте своих людей.

Вот это «противоядие» и было пущено в ход.

Месяца через три-четыре карательные отряды

немцев, в которые были влиты полицаи, стали исчезать. Потом враг находил убитых немцев, а полицаи вроде испарились. И летели на воздух склады горючего, рушились железнодорожные мосты, валились под откосы вагоны со снарядами.

— Вот сколько их у нас! — проговорил Троекратов и сейчас, стоя на грузовике, обращаясь к Николаю Кораблеву и показывая на партизан: — Вот сколько, Николай Степанович! Это еще только незначительная доля. А там, в лесах, у нас их десятки тысяч. Это наш второй фронт.

Троекратов снял фуражку, и среди огромнейшей толпы партизан постепенно стал стихать гул, а когда наступила тишина, Троекратов, открывая митинг, показывая на генерала, сказал:

— Генерал Громадин сейчас будет говорить.

Услыхав имя, ставшее популярным, партизаны, будто от гигантского толчка, колыхнулись к грузовику. Громадин поднял руку, намереваясь что-то сказать, как партизаны грохнули:

— Ура-а-а-а!..

И это «ура», возникшее не по команде, а вырвавшееся из самой глубины души людей, побывавших в руках смерти, потрясло не только Николая Кораблева, Троекратова и всех, кто был на грузовике, но и Громадина: он как поднял руку вверх, так и держал ее, а по его бледному лицу ручьем лились слезы.

— Ура-а-а-а-а!.. — неслось с площади в улицы и оттуда обратно с еще большей силой. — Ура-а-а-а-а!..

И все оборвалось, когда Громадин, обеими ладонями прикрыв лицо, отвернулся, а Троекратов дрожащим от волнения голосом произнес:

— Ну и встреча!.. Я предоставляю слово Якову Ивановичу Резанову, партизану, перешедшему линию фронта.

Яня Резанов, как звали его в отряде, вышел вперед, оправляя на себе куртку полицая, и баском кинул:

— Вот... Ну, это радостные слезы. А то еще есть кровавые. Они там, по ту сторону фронта. Сами знаете, где такие слезы. Знаете? А, поди-ка, думаете: «Домой бы, к бабам...» Конечно, всякому хочется домой.

Среди партизан пронесся одобряющий гул, а Яня Резанов еще сказал:

— Колотить надо гадов!.. И эту истину я вам и передаю от нас, ваших братьев...

Потом говорил кто-то еще.

Под конец слово предоставили Николаю Кораблеву. Троекратов шептал ему на ухо:

— Скажите, как у вас там, на Урале: что делается, как, и все прочее, — и тут же, повернувшись к партизанам, крикнул: — Сейчас мы слово дадим нашему гостю — директору моторного завода с Урала Николаю Степановичу Кораблеву. Прошу, Николай Степанович!

Николай Кораблев, сняв пилотку, одной рукой уперся в кузов грузовика и еще раз посмотрел на море голов. Партизаны стояли молча, глядя на него, на гостя с Урала, а он, Николай Кораблев, подумал: «Что же мне им сказать?» — и начал:

— Что ж, мы на Урале заготовили всего: снарядов, пушек, танков, самолетов — столько, что вам хватит бить немцев на несколько лет, — а когда стих одобряющий гул, он опять сказал. — Я не военный. И не буду говорить о фашистах: вы знаете их лучше меня, вы испытали их на своей спине. Я хочу сказать только вот что. Знаете, у великого нашего писателя Льва Николаевича Толстого есть роман «Война и мир»? В этом романе есть одно такое место. Когда французы были уже разбиты, к русским солдатам подъехал на коне Кутузов. Поздоровавшись с солдатами, он оглянулся и увидел в сторонке пленных, оборванных, со слезящимися глазами. Пожалел их старик и сказал солдатам: «А вы их не особенно того... Чего уж, — и тут же еще раз глянул на пленных и зло добавил: — А впрочем, черт их возьми, кто их звал на нашу землю?» — Николай Кораблев передохнул, сделал паузу и добавил: — Я вот думаю, немцы скоро запищат, а когда они запищат, мы им словами великого полководца Кутузова скажем: «А кто вас звал на нашу землю... мать вашу?» — и Николай Кораблев ахнул: «Батюшки! Да что это я? При народе!» — и он содрогнулся.

Но партизаны взорвались гулом голосов, оглушая трибуну, и вдруг поднялась невообразимая стрельба: партизаны били из винтовок, автоматов, ручных пулеметов; часовые, расставленные на постах, бросали гранаты. Лошади сорвались с привязей и, задирая хвосты, поскакали во все стороны... А партизаны били, били, били... В ушах трещало! Били до тех пор, пока не кончились патроны, гранаты... Тогда на площади наступила тишина, только было слышно, как партизаны щелкали затворами да тяжело дышали.

— Черти! — пробасил Яня Резанов в тишине. — У нас каждый патрон на счету... А тут? Впрочем, теперь патронов им считать не надо: вон чего директор сказал. Ну, ну, попалили!

А партизаны уже начали строиться. Они быстро стали колоннами. Из передней колонны вышел командир, седой старик, обмотанный пулеметными лентами, и, обращаясь к Громадину, крикнул:

— Решили мы, товарищ генерал, домашние дела по боку! Хотя и тоскливо: развалилось ведь хозяйство... Наш отряд вливается полностью в распоряжение командующего армией.

За ним последовали остальные.

Троекратов шепнул Николаю Кораблеву:

— Вот как дошла ваша речь! Конечно, они бы все равно пошли воевать... Ну, через денек-другой. Но это лучше.

7

Вскоре командиры отрядов собрались в хате за столом, уставленным яствами и питьем. Среди них, рядом с Николаем Кораблевым, сидел и Яня Резанов.

Посоветовавшись с Троекратовым, Николай Кораблев, улучив минуту, рассказал Яне Резанову о своей семье и спросил:

— Не видели ли вы ее? Я знаю только одно: она остановилась в селе Ливня.

— Жена, значит, сын и мать? — спросил с большим участием Яня Резанов.

— Да, да! Жена, мать и сын...

— Так, — сказал Яня еще более участливо. — В Ливне жили?

— В Ливне.

— Так... — Яня было заикнулся, но тут же, посмотрев на Громадина, вспомнил, что Татьяне дано особое, секретное задание и что про нее вообще говорить категорически запрещено, и он просто сказал: — Думаю, живая она и встретитесь вы с ней.

— А не видели ли вы ее?

— Нет, нет, — торопливо ответил Яня Резанов, прямо глядя в лицо Николая Кораблева, и глаза его говорили: «Не верь мне: видел я ее и знаю, где она...» — Жива, жива! — добавил он. — А об остальном, хоть убей, не знаю.

— Но жива? — вцепившись в огромную руку Яни Резанова, спросил Николай Кораблев.

Яня подумал и решительно сказал:

— Жива, как вот и я.

— А где она? Ну, почему вы меня мучаете?

— Не спрашивайте! Одно могу, поклон ей передать. Нет, нет! Письменный — нет: через линию ведь буду переправляться. На словах скажу: «Жив, здоров ваш муженек, Татьяна Яковлевна, того и вам желает».

А после этого, как ни уговаривал, как ни молил Николай Кораблев, Яня больше ничего ему о Татьяне не сказал: он не имел права говорить о том, что Татьяна, посланная Громадиным, в это время работала на территории Германии, под Берлином.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Михеев в течение ночи мастерски повернул свою дивизию с севера на юг и неожиданно для врага появился под стенами Орла.

Это вызвало ликование: бойцы и командиры за какой-то час передышки искупались, побрились,

надели все чистое, светлое, подтянули ремни, — другими словами, приготовились, словно к парадному празднику.

— Орел! Орел! — говорили все, мечтательно улыбаясь, на какое-то время став простыми советскими людьми, без чинов и званий.

Вдруг пропало «товарищ полковник», «товарищ командир», «товарищ боец»; все друг друга стали звать по имени и отчеству и, даже встретившись с Михеевым, по-граждански раскланявшись, говорили:

— Здравствуйте, Петр Тихонович! В Орел, значит, направляемся?

И комдив приветливо отвечал, будто директор завода рабочему или председатель колхоза колхознику:

— В Орел, в Орел, дорогой мой!

И наступление началось ровно в четыре утра.

На рассвете, когда еще ползали летние сине-прозрачные туманы, любовно окутывая травы, мелкие кустарники, на наблюдательный пункт тронулись Михеев, его адъютант, затем Николай Кораблев, начальник связи и другие.

Михеев не был столь суров, как обычно. Он даже как-то светился и по дороге шептал Николаю Кораблеву:

— Орел! Вы понимаете? Мы первые входим в Орел! Ведь это история! Анатолий Васильевич вчера мне сказал: «Возьмешь Орел, у меня сундук с орденами — весь твоей дивизии». Это шутка, но ордена нам, конечно, дадут. Но разве дело в орденах? Дело в том, что не сегодня, так завтра выбьем врага из Орла, а потом доколачивать будем! То уже легче.

Войдя в блиндаж наблюдательного пункта, он сразу стал прежним, суровым, требовательно-военным, и вдруг появились субординация и звания, и тут же послышалось: «товарищ полковник», «товарищ майор», «товарищ боец».

«Как резко меняются люди и их отношения друг к другу!» — подумал Николай Кораблев и хотел было об этом сказать Михееву, но тот уже через стереотрубу рассматривал позицию.

Впереди расстилалось поле, заросшее полынью, лебедой и конским лопоухим щавелем, разрезанное продольными оврагами с крутыми, как бы обтесанными берегами. А дальше, за оврагами, с одной стороны — болота, топкие, с карликовыми березками, те самые болота, в которых, по сказкам, водятся только «антютики»; с другой — извилистая, ничем не примечательная, но, с военной точки зрения, весьма дрянненькая речушка: она тоже с крутыми берегами да еще примыкает к глухому сосновому бору, через который не только танк, но и человек еле-еле проберется. Единственный путь — прямо. А «прямо» — там, впереди, возвышенность, отмеченная на военных картах как «высота сто восемьдесят два». Эта возвышенность в обыденной жизни примечательна разве только тем, что макушка у нее лысая и на эту макушку в весенние разливы слетались токовать тетерева.

И вот эта высота, ничем не примечательная в обыденной жизни, в этот день получила особое название — «Проклятая», которое и осталось за ней на долгие времена. О ней говорили потом на Эльбе, куда вскоре пришла дивизия, и после войны, когда бойцы разошлись по домам. Дома, в кругу знакомых и родных, они рассказывали про «Проклятую высоту сто восемьдесят два».

Михеев из донесений разведчиков знал, что все подходы к высоте заминированы, что немцы туда доставили несколько «крабов» — куполообразных стальных укрытий для пулеметов, зарыли в землю танки, превратив их в неподвижные огневые точки, и стянули значительные силы, главным образом отряды «СС», то есть отъявленных головорезов. Но из опыта последних боев Михеев знал и другое! Немцы держатся за любую высоту первые два-три часа, а потом срываются и бегут, бросая укрепления, вооружение, раненых, штабные дела и перины.

— Дьявол их сожри! Сколько у них перин! — комдив оторвался от стереотрубы и засмеялся. — Мне даже кажется: это из немцев пух летит. И вот здесь полетит. Лестницами бойцы снабжены? — спросил он, обращаясь к вошедшему полковнику Гусеву.

— Да, так точно! — ответил тот со скрытым смешком. — Так точно, — повторил он и добавил: — Так точно, товарищ генерал!

Михеев неприязненно глянул на него:

— Выдумывай! Хлебнул?

У Гусева большие, белесо-выцветшие глаза. Когда он «выпивал изрядную чару», глаза наливались слезами, и по этому все определяли, что «полковник хлебнул». Сейчас они были именно такие, слезящиеся.

— Только что слышал по радио: «Генерал-майор Петр Тихонович Михеев», — не отвечая на «хлебнул», сказал Гусев. — И приветствую!

— Не во-время приветствуешь: некогда! — сердито проворчал Михеев, хотя в душе был очень рад. — «Генерал! Я генерал! Эх, Петр Михеев — генерал! Как обрадуются мои старики, жена!» — чуточку помечтав, он посмотрел на часы и снова заговорил: — Через четыре минуты выступаем. При первом залпе артиллерии, Николай Степанович, поднимается первая волна пехоты и идет на штурм — в лоб. Иного пути у нас нет.

— Но я должен тебе доложить, Петр Тихонович, — все с тем же скрытым смешком и панибратской развязностью, которую так не любил Михеев, проговорил Гусев, — должен доложить, что снаряды не подвезены.

Ах, как не надо было бы Гусеву говорить с Михеевым таким тоном и называть его Петром Тихоновичем. Как бы не надо. Тогда, возможно, все было бы по-другому: возможно, Михеев задержал бы приказ наступать. Задержал бы на три-четыре часа, пока не подвезли бы снаряды. Но этот панибратский тон, и «Петр Тихонович», и еще то, что в слезящихся глазах Гусева мелькнула нехорошая искорка, которая как бы говорила: «Вот тебе и генерал», — все это кольнуло комдива, и он вскрикнул:

— Отменить приказ командарма? Ни за что!

— Его отменят немцы, — тем же развязным тоном подчеркнул Гусев.

— А-а-а! Знаешь ли что? Надоел ты мне, как размочаленный лапоть на ноге, — с остервенением кинул Михеев.

Он тут же спохватился, понимая, что этого говорить не следовало бы, особенно теперь, перед боем, но в нем все кипело, и он с еще большим бешенством прокричал:

— Все еще никак не можешь забыть, что ты не комиссар, а мой подчиненный?! Почему донесли в последнюю минуту?

Есть люди, которые, однажды случайно получив высокий пост, потом становятся больными своеобразной «хворью высокого поста». Гусев когда-то был директором завода в Москве. За короткий срок он развалил коллектив: начались склоки, скандалы... И его сняли. Но он уже заболел «хворью высокого поста». К случаю или не к случаю упоминал:

— Вот когда я был директором завода...

В первые месяцы войны, не разобравшись в его душевных качествах, Гусева назначили комиссаром пятой дивизии. Он этому даже обрадовался. «Комиссар! При Чапаеве был комиссар Фурманов. Так вот я вроде Фурманова. Почетно!» — решил он и начал «комиссарить»: нелепо вмешивался в дела Михеева, путал их, срывал... Вскоре указом верховной власти институт комиссаров был превращен в институт замполитов. Это явилось ударом по самолюбию Гусева: он в душе никак не мог смириться с тем, что он не комиссар, а только заместитель командира дивизии по политчасти. У него появилась строптивость, старческая трескотня, болтовня. В дивизии он со всеми рассорился, как рассорился и с Троекратовым. Тот однажды сказал о нем:

— Старческий маразм у него.

И такой заместитель по политработе, вполне естественно, надоедал Михееву, казался тем разбитым лаптем на ноге, который хочется скорее сбросить.

— Где командир артиллерии? — проговорил Михеев, обращаясь к своему молодому адъютанту.

Гусев, стоя в углу блиндажа, кинул:

— Сам поехал за снарядами.

— Тогда? Тогда... тогда надо итти на позор... и... и, — Михеев еще не успел сказать: «отменить приказ командарма», как сто сорок пушек враз

грохнули, и тут же хлынула на врага первая волна пехоты, как ей и было приказано.

Михеев ахнул, уже понимая, что теперь наступление приостановить невозможно, как невозможно приостановить выпущенный снаряд.

«Теряться не надо... Не надо теряться...» — мелькнуло у комдива, и он припал к щели. «Раз... Два... Три!.. — считал он про себя артиллерийские залпы. — Четыре... Пять... Пять, пять...» — считал он, ожидая шестого залпа.

Но шестого залпа не было. Наступила тишина. И тишина эта поразила Михеева. Он недоуменно посмотрел на всех, как бы спрашивая: «Что это такое? Смерть?» И снова посмотрел в щель.

Пехота, в том числе и батальон Коновалова, уже перебежала поляну, заросшую полынью, спустилась в овраги, стрелами идущие к высоте. Затем бойцы выскочили из оврагов и рассыпались по полю. Следом за этим в овраги влилась вторая волна пехоты... И вдруг на овраги обрушилась немецкая артиллерия. Казалось, будто кто-то сильнейший чем-то огненным бил по обрывистым берегам: взвихривалась пыль, взметывалась земля. А пехота, рассыпавшаяся на открытом поле, залегла, прижатая перекрестным пулеметным огнем.

Все это видел Николай Кораблев. Видел он и другое: как иногда на поле кто-то вскакивал, кидался вперед и тут же падал. Но не как живой: живой падает быстро, со всего разбегу, — а этот, будто о чем-то подумав, пошатываясь, склонялся к земле. Все это Николай Кораблев видел, но еще не понимал, что наступает катастрофа. Это сознавал и понимал Михеев. Он видел, что враг под перекрестным огнем положил на поле передовые отряды дивизии, отрезал отступление — бьет по оврагам — и, главное, он теперь без всякого усилия будет добивать тех, кто перед ним залег.

«Да неужели крах?» — с ужасом подумал Михеев и, смертельно побледнев, стал маленьким-маленьким, будто ученик, не знающий урока, предупрежденный преподавателем, что за неуспеваемость будет исключен из школы.

— Да неужели крах? .. — прошептал он и кинулся на выход.

Путь ему преградил Гусев.

— Нельзя! Нельзя, товарищ генерал!

Михеев оттолкнул его и выскочил из блиндажа. За ним кинулись все остальные.

Николай Кораблев, чтобы не быть обузой, остался в блиндаже. Отсюда он видел, как Михеев и вся его группа скрылись в овраге, видимо намереваясь пробраться к передовым отрядам, залегшим на поле. Так полагал Николай Кораблев, потому что им в это время руководило только одно чувство — спасти тех, кто лежал под ураганным огнем. Но Михеев и вся его группа вскоре выскочили из оврага гораздо правее поля и под сплошным огнем артиллерии и минометов побежали, то падая и скрываясь в воронках, то снова выскакивая.

«Через какой огонь пробились! — подумал Николай Кораблев, и вдруг ему одному в блиндаже стало жутко. — Да что же я тут остался? .. Не вооружен... Ничего не умею...» И в эту самую минуту его что-то стукнуло, какая-то сила бросила в угол блиндажа, и он безвольно сунулся лицом в сырой песок...

...Впоследствии Анатолий Васильевич в своем оперативном докладе писал:

«Беспрерывно в течение дня велись бои за «Проклятую высоту сто восемьдесят два». Здесь как бы сосредоточены были все усилия за последний удар Орловской дуги: немцы то и дело подбрасывали новые силы, пускали в ход танки, самоходные пушки. Наши танки вместе с дивизией генерала Михеева рванулись было на высоту, но пехоту сковал шквальный огонь противника. Безуспешны оказались и наши последующие атаки. Немцы все время подбрасывали свежие моторизованные части. Их авиация совершала частые и ожесточенные налеты. За один день мы совершили восемь атак и отбили четырнадцать. У «Проклятой высоты сто восемьдесят два» образовалось целое кладбище как наших, так и немецких танков, не говоря уже о трупах».

2

Николай Кораблев очнулся только к вечеру.

Стояла удивительная тишина, такая же, какая бывает в раннюю весну, когда с гор бегут потоки, а ты сидишь где-нибудь на повети сарая, прячась от дуновения ветерка, слыша только одно: как булькают ручьи, как пыхтит разрумяненная солнцем земля.

Такая тишина стояла и сейчас.

Открыв глаза, Николай Кораблев непонимающим взглядом посмотрел во все стороны и первое, что увидел, — это вырванный бок блиндажа, откуда дул прохладный ветер, а сам он, Николай Кораблев, полулежит, вытянув ноги. И ему приятно: он еще совсем-совсем маленький, лежит на повети в горячий весенний день, кругом журчат ручьи.

В такой теплой задумчивости, в состоянии приятного детства, Николай Кораблев пролежал бы, очевидно, долго, если бы... если бы не крысы.

Посмотрев на свои ноги, он увидел, как серая, лохматая и очень старая крыса острыми зубами рвала его брюки около кармана. Она рвала их клочьями и так старательно, как будто в этом и был весь смысл ее жизни.

«Что ей надо там? — подумал он. — И почему я ее не прогоню? Крикнуть... шевельнуться...» Но он не мог ни крикнуть, ни шевельнуться, а только в ужасе смотрел, как деловито и быстро крыса рвет брюки, пробираясь к карману. И тут он вспомнил, что Егор Иванович еще утром сунул ему в карман что-то завернутое в бумагу, сказав: «Возьми, милай! А то долго там проканителитесь, ну и перекуси». «Ага! — догадался он. — Она и пробирается туда... Там, вероятно, бутерброд».

В эту минуту выбежали еще две крысы, жирные, лоснящиеся. Они бесцеремонно оттолкнули первую и деятельно принялись трепать штанину. Старая отошла, порылась в уголке блиндажа и, взъерошившись, кинулась на молодых. Тогда они все три, сплетаясь в клубок, мелькая хвостами, попискивая, покатились сначала по земле, потом по ногам Николая Кораблева.

На писк откуда-то выскочили новые. Они остановились, глядя на дерущихся, затем мелкими шажками стали наступать на них, шевеля усиками, вытягивая отвратительные мордочки... И вдруг одна из них, вырвавшись из группы, моментально очутилась на груди Николая Кораблева.

Он вскрикнул. Нет, не вскрикнул, а так закричал, что у него что-то лопнуло в горле и, весь сотрясаясь, вскочил на ноги.

Крысы моментально рассыпались.

Обильный пот хлынул с него... Рубашка, даже гимнастерка подмышками и на груди стали мокрыми. Чуть пошатываясь, он привалился к стене. Так он и стоял несколько минут, еще ничего не понимая, только думая, не сон ли это. Затем поднял голову, посмотрел вдаль.

Вдали, за оврагами, в вечерних сумерках виднелись танки. Они громоздились и на поле, где впервые прилегли передовые отряды, и вправо, на пригорке, куда ушел со своим штабом Михеев.

«Значит? Значит, страшный был бой... — подумал Николай Кораблев и только тут полностью пришел в себя. — А я здесь один... И эти крысы... Нет, нет! Отсюда надо бежать. Куда? Где они? Наверное, уже там, впереди...» — он опустился на четвереньки и выбрался из блиндажа через пробоину, потому что ход в блиндаж был завален. Выбравшись, он свободней вздохнул, но, вспомнив про крыс, с отвращением передернулся и тем же путем, каким уходил от блиндажа Михеев, направился в овраг.

В овраге с изуродованными краями было тихо. Вначале Николаю Кораблеву попадались только глубокие воронки, но как только он отошел метров сто — сто пятьдесят, так сразу на него дунуло тошнотворным, трупным запахом. Он зажал нос и заспешил, чтобы выбраться из оврага на поле, намереваясь пересечь его, обойти изуродованные танки и таким путем добраться до Михеева. Но, пройдя еще несколько метров, ища берега, по которому можно было бы выбраться в поле, он вдруг попятился: всюду лежали трупы. Они лежали, то распластавшись, то свернувшись

клубком, словно что-то пряча у себя на животе; иные лежали просто и вольно, как бы намеренно прилегли отдохнуть. А вон совсем разорванные... где рука, где нога...

Николай Кораблев поднялся на берег и еще раз посмотрел на тех, кто навсегда остался тут, на дне оврага. И не слышал он в эту минуту трупного, тошнотворного запаха. Он стоял на берегу, сняв с головы пилотку и шептал:

— Вот где вы, друзья мои, полегли... безыменные герои! Придет день, мы будем торжествовать победу... А вы? Нет, мы вспомним про вас, друзья мои!

И он вспомнил, как в конце прошлой войны, когда Германия была покорена, заболтали о мире такие деятели, как Ллойд-Джордж, Клемансо, Вильсон и прочие. Болтая о мире, они готовили новую войну. «Принесем ли мы миру мир? Осилим ли мы тех, для кого война «мать родная»? — и в эту секунду Николай Кораблев услышал, как около него запели пчелы: одна, другая, третья. «Так поздно — и пчелы!» — подумал он и тут же почувствовал, как что-то ущипнуло его за край ладони. Он посмотрел на ладонь. Из нее брызнула кровь. Догадавшись, что это кто-то в него стреляет, он упал на землю. Полежав несколько минут, перевязав платком руку, он, боясь наскочить на мину, пополз туда, откуда хлынула на врага дивизия Михеева.

«Может, кого-нибудь там встречу...» — подумал он и, спустившись в овраг, встал, шагая осторожно, все так же боясь нарваться на мину.

Выбравшись из оврага, Николай Кораблев увидел справа изуродованный, почти снесенный лес и несколько пушек. И он смело зашагал к пушкам в полной уверенности, что обязательно кого-нибудь около них встретит. Но когда подошел, растерянно остановился: он узнал ту батарею, у которой перед боем они были вместе с Анатолием Васильевичем, и вспомнил, как командарм беседовал с артиллеристами. Да вон у дороги и их пушечка. Она, раздавленная какой-то силой, распласталась... И около... около нее три человека. Вон тот маленький артиллерист, который так

заразительно смеялся, хватаясь за живот. А этот — с крупными руками, как «у Вакулы-кузнеца». А вон тот — молчаливый. Где же их заяц «Микитка»?

Николай Кораблев повернулся и посмотрел вдоль опушки.

Да. И там все изуродовано, примято, убито... Новое — только широкие следы от танков, а вон и танк «тигр». Он стоит позади батареи мертвый. Впереди же батареи метрах в ста — двухстах «кувшинчики», а около них и дальше поле усеяно танками.

— Ого! — тихо позвал Николай Кораблев. — Ого! — громче произнес он и крикнул: — Ого-о-о-о!

Никто не отозвался.

«Значит, наши все там, на высоте», — решил он и в сумерках пошел вперед, на «танковое кладбище».

Тут были всякие: маленькие и крупные, с яркими красными звездами на боках и мрачно-черные, тупорылые «тигры». Вон из-под одного виднеются ноги. Придавленные в коленях, они приподнялись, да так и остались торчать в воздухе. А это вот уже не танк, а груда сгоревшей стали и железа. Как все это горит! А с этого какая-то страшная сила снесла башню, завернула ствол пушки, изогнув его в дугу... И вдруг Николай Кораблев отступил на несколько шагов: из-под накренившегося танка показалась маленькая саперная лопаточка.

3

В то время, когда немецкая артиллерия обрушила ураганный огонь на поля, овраги и леса, Михеев со всем своим штабом уже переправился на левый фланг дивизии и сидел перед рацией, вызывая командарма.

— Туго, туго, товарищ первый! — прокричал он, заслышав голос Анатолия Васильевича.

О том, что Михееву будет «туго», Анатолий Васильевич знал еще вчера, когда отдавал приказ повернуть дивизию на Орел. Но в данный момент командарм ничем помочь ему не мог: за этот месяц боев его армия «вымоталась», «поредела», а так

называемые «неприкосновенные резервы» ему положено было пустить в дело только после взятия Орла.

— Держись!.. Насмерть!.. И чтобы ни одного немецкого танка на нашей стороне!.. — приказал он.

Михеев опустил отяжелевшие руки. Ему стало все убийственно ясно: командарм не поможет; две трети дивизии, отрезанные огнем артиллерии и минометов, залегли перед высотой — это было равносильно пленению; ночью немцы разбомбили мост через реку, и машинам со снарядами пришлось скрыться в лесу и там поджидать, когда саперы восстановят мост. Михеев знал, что у артиллеристов есть свой неприкосновенный запас снарядов, который они всегда берегут для удара «в лоб врага». И Михеев, взвесив все, сказал про себя: «Не теряться при трудностях!» — затем вскочил с походного стульчика и крикнул, обращаясь к своему штабу:

— Принять круговую оборону!

Тогда артиллерия пришла в движение, располагаясь на танкопроходимых местах, а впереди ее засела пехота.

Взвод Сиволобова, от которого осталось всего четырнадцать человек, расположился неподалеку от опушки леса, перед батареей. Пехотинцы быстро окопались, то есть каждый построил себе «кувшинчик» и скрылся в нем. Скрылся и Сиволобов. Уютно устроившись в окопчике, он вскоре выглянул оттуда и осмотрелся. Справа от них — шоссейная дорога Мценск — Орел, прямо — поле, гладкое и ровное, как ток, левее — овраги, извилистая речушка с крутыми берегами... И Сиволобов опытным глазом определил, что танки пойдут не по дороге и не через овраги, а именно вот по этому ровному полю.

— Ну, ну! Живем! — сказал он своему соседу, молодому бойцу Сереже. — Живем, говорю, Серега! Только не турись!

— Это чего, дядя Петя, «не турись»? — спросил тот.

— Так у нас на Волге говорят. Не торопись, значит, не беснуйся. Бей в переносицу врага, как медведя. Заторопишься, руки затрясутся, мазать будешь. А про-

мазал, тебя — хлоп! — и Сиволобов смолк, видя, как в полукилометре от них появился танк «тигр».

— Знакомец наш, Серега! — пошутил Сиволобов. — Братка тому, которого мы с тобой полонили. Вишь, форсит, дескать, мне все нипочем и все трын-трава!

Танк и в самом деле развернулся, затем стал в полуоборот, как бы красуясь собой, потом осторожно, будто человек, боясь промочить ноги, двинулся вперед и вдруг, сорвавшись, понесся прямо на опушку...

Слышали ли бойцы выстрелы? Вряд ли. Они только увидели, как танк со всего разбегу споткнулся и начал кружиться, точно жук с переломанной ногой.

— Молодцы артиллеристы: лапку «тигру» подбили! — пояснил Сиволобов Сереже. — И гляди, гляди! — тут же вскрикнул он.

Откуда-то из укрытия вышел второй танк. Подскочив к первому, он остановился, видимо намереваясь взять того на буксир.

— Дура! Дурак! — удивленно покачивая головой, прокричал Сиволобов. — Наши-то ребята ведь уж прицелились. А этот нюхаться подошел. Они ему... — Сиволобов не успел договорить, как позади грохнул пушечный выстрел, потом второй, третий...

И танк вспыхнул, словно костер, облитый нефтью. В ту же минуту немецкая артиллерия обрушилась на овраги, затем огонь упал на опушку, где стояла советская батарея.

— Кройся, Серега! — вскрикнул Сиволобов и, прикрыв голову саперной лопаточкой, скрылся в окопчике.

Над ними все гудело, ревело, охало, смертельно вздыхало. Так пять, десять, двадцать минут. Казалось, не будет конца. Сиволобову вдруг захотелось пить. Он припал к влажной стенке окопчика и начал сосать, губами ощущая, как дрожит земля, будто кто ее бьет кувалдой. И снова все смолкло. Сиволобов высунулся, посмотрел на батарею. Там лес был почти снесен, некоторые пушки разбиты, разбросаны.

«Значит, покрошил ребят!» — подумал он и удивленно улыбнулся: от артиллеристов выскочил с ленточкой на шее заяц. Сначала он сиганул было в сторону немцев, затем сделал крутой поворот и маханул

к лесу. Это был «Микитка». Следя за бегством «Микитки», Сиволобов увидел и другое: справа, из лесочка, три артиллериста выкатили маленькую пушечку и вместе с ней скрылись в канаве у дороги.

— Ага! Это та, язвительная, — проговорил Сиволобов, ни к кому не обращаясь. — «Подкалиберный снаряд», — вспомнил он слова Николая Кораблева. — Язвительная! Стукнет, дырочку в палец сделает, а танку смерть неминучая!

Артиллеристы — истребители танков — выставили ствол пушки и нацелились. Сиволобов посмотрел в ту сторону, куда они нацелились, и увидел, как оттуда, с немецкой стороны, обходя догорающий танк, выскочили три «тигра». На них лепились десантники. Это напомнило Сиволобову тарантула. Однажды он видел, как через тропу переправлялся тарантул, весь облепленный тарантулятами. Сиволобов тронул тарантула соломинкой, и с него осыпались тарантулята, оголяя его, тощего, длинного.

— И этих мы сейчас ссыпем! — проговорил он, держа наготове автомат, и с этой минуты стал только сам собой. Взрыв снарядов, полет пуль, движение танков — все оценивал так: «На меня!» — или: «Мимо!» Когда снаряды разрывались вдалеке, он произносил: «Мимо!» Но вот снаряды начали рваться рядом, и он сказал: «На меня!» — и бил, как бы защищая только себя, только свой «кувшинчик». Даже когда пушечка выстрелила, издав тоненький, заунывный звук, а передний танк как-то ерзанул, ткнулся рылом в землю, Сиволобову показалось, что этот танк подбил именно он. С подбитого танка соскочили немцы. Два другие, тоже развивая бешеную скорость, помчались вперед. Побежали и немцы. Они, очевидно, не предполагали, что перед батареей залегла советская пехота, и бежали во весь рост, не укрываясь... Сиволобову казалось, что все они бегут на него и падают только от его пуль, хотя в это время по врагу били четырнадцать пехотинцев. Со стороны же батареи снова грохнули выстрелы, резкие, гулкие. Один из снарядов попал в «лоб» «тигру» — вспыхнул фиолетово-оранжевый свет, и искры брызнули во все стороны. Танк от удара по-

шатнулся, но тут же с силой рванулся вперед. И новый снаряд — в бок, как таран... Все полетело со стальной брони. Но третий танк пробился. Вот он рядом, совсем рядом... Сиволобов метнул в него бутылку с горючим. Пламя вспыхнуло и смахнулось, угасая в воздухе. Под гусеницами «тигра» хрустнула маленькая пушечка, и стальное чудовище поползло дальше, подминая под себя пушки, артиллеристов. Раздался еще выстрел, и, очевидно, последний. «Тигр» запрокинулся и упал набок, как падает бык от удара топора.

— Ага, не прошел! — вскрикнул Сиволобов и снова сосредоточил все свое внимание только на десантниках.

Немцы-десантники, ссыпавшись с танков, окапывались на поле, очень близко от опушки: слышались их лающие вскрики.

— Ну, эти меня не возьмут! Этим я не дамся! — решил Сиволобов, прицелясь, выстрелил и увидел, как немец привскочил, вскинул руки и сунулся лицом в землю. — Этих я вот эдак! — добавил Сиволобов, прицеливаясь во второго немца, и... не успел спустить курок. Впереди поле почернело: по нему, как стадо буйволов, неслись два или три десятка стальных чудовищ. Сиволобов дрогнул, сжался, глубже уходя в окопчик.

«Нет, эту силу мне не переломить...» — с ужасом подумал он. И мелькнули перед ним Волга, степи заволжские, раздольные и звонкие, и колхоз на реке Иргизе... Арбузы и дыни... Родные и знакомые... И вот уже плачут жена и дети... Все, все, что пережил Сиволобов за свои годы, — все пронеслось перед ним, и он, закрыв лицо руками, еще глубже ушел в окопчик... Но вскоре, заслышав знакомый гул позади себя, приподнялся: на место разрушенной артиллерии стали советские самоходные пушки, которые враз ударили по вражеским танкам.

Остальное Сиволобов помнит, как в забытьи. Слышались выстрелы, какой-то гром и грохот... И вдруг над ним почернело, затем широченная визжащая гусеница жамкнула край «кувшинчика», чуть не коснувшись головы Сиволобова.

«Мимо!» — хотел было крикнуть Сиволобов, но «тигр» насел на «кувшинчик», завертелся — и земля сдавила Сиволобова такими сильными, смертельными тисками, что он, задыхаясь, мысленно крича о помощи, потерял сознание.

4

Сиволобов очнулся только под вечер, когда бои стихли. Очнувшись, он протер глаза и посмотрел вверх: над ним громоздилась стальная куча, и с нее что-то капало. По опыту Сиволобов знал, что подбитый танк всегда, будто человек в бане, потеет. И сейчас с танка катился своеобразный «пот».

— О-о-о! Живем! Обошла меня смертушка... Ну, и молодчина — красавица беззубая!.. — усмехнувшись, прошептал Сиволобов и начал шарить около себя. — А где же она, лопаточка?..

И не то, что земля сжимала его в смертельных тисках, и не то, что над ним висела стальная громадина, а то, что нет лопаточки, привело его в ужас.

— Без ее, — проговорил он, как будто объяснялся перед толпой, — без ее я дермо... А-а, — чуть спустя догадался он. — Чучело ты гороховое! Да ведь ее землей засыпало! — и он стал отгребать землю, переваливая ее то в одну, то в другую сторону: вскоре пальцы онемели и по всему телу пошел холод. — Или ты и в самом деле решила меня задушить, земля? — со стоном произнес он и, передохнув, снова принялся искать лопаточку, беседуя с землей, иногда лаская ее так же, как когда-то, в молодости, ласкал свою жену.

...Увидав лопаточку, Николай Кораблев отступил на два-три шага и в ту же секунду услышал раздольную волжскую песню. Кто-то пел там, под танком, пел с такой тоской, будто последний раз.

«А-а-а в степи глухо-о-о-ой за-а-мерзал ямщик...» — пел человек, выбрасывая землю.

Николай Кораблев опустился на колени, придержал за конец лопаточку и крикнул:

— Кто?..

— Я! Мертвец! — чуть погодя послышался ответ. — Земля меня давит. Земля! Кто бы другой, обида была бы не та. А тут — земля. Я ее тридцать лет пахал, удобрял, а она меня давит! Ты кто будешь? По голосу — русский! А раз русский, беги ищи другую лопаточку и выковыривай меня из могилки!

Николай Кораблев кинулся искать лопаточку. На пути попадались воронки и что-то липкое. Скользя по этому липкому, он метался, как человек, видя повешенного, когда надо перерезать веревку, а ножа нет. Наконец он натолкнулся на что-то звонкое. Это был тесак. И он тесаком начал копать землю. Тогда человек из-под танка, прерывая песню, сказал:

— Чем выковыриваешь?

— Тесак какой-то...

— А-а-а! Давай обмен произведем. Только смотри, не убеги: с лопаточкой я и один выберусь. Сто лет рыть буду, а выберусь... А с тесаком что! Впрочем, я и с тесаком выберусь! — пригрозил он. — На! — крикнул он, выбрасывая лопаточку и одновременно забирая тесак.

Николай Кораблев опустился на колени и принялся рыть землю. Он рыл ее быстро, со всей силой, слыша, как из-под танка несутся заунывные слова:

«А-а-а в степи глухой-о-о-ой за-а-мерзал ямщик...»

Уже совсем стемнело, когда маленькая дырка превратилась в лазейку. Человек из-под танка, протянув руки Николаю Кораблеву, сказал:

— А теперь, милай, тяни меня, как теленка из утробы матери. Ну, поддай! Ну, поддай! — прикрикивал он. — Ну еще! Еще! Эх!..

Николаю Кораблеву, пока он тянул человека из-под танка, показалось, что тот какой-то вялый, будто без костей. Но вот человек очутился на земле и весь ожил, затем моментально повернулся к танку и полез обратно.

— Ты чего это? — удивленно спросил Николай Кораблев. — Я тебя второй раз тянуть не буду: сил нет.

— А сапог? Сапог там остался...

— Да ну его. Новые найдем. Уходи-ка оттуда, а то

танк навалится и придавит тебя, как мышонка. Вот тебе и сапог!

Человек вынырнул из-под танка, сел, пряча под себя босую ногу, и, протянув руки Николаю Кораблеву, сказал:

— Ну, приблизься! Дай поцелую спасителя своего. Ни имени, ни роду твоего не знаю, а клянусь душой всей своей: должник твой на веки вечные! И вот тебе клятва моя... — он крепко в губы три раза поцеловал Николая Кораблева, затем обнял слабыми руками и снова сказал: — Где мы теперь есть? Где наши, где те? И нет ли у тебя чего пожевать? Хлеб — сила, а без хлеба человек — пузырь.

— Наши там, — Николай Кораблев махнул рукой в сторону высоты.

— Э-эх! — с завистью сказал человек. — Значит, мы с тобой отставшие? Не годится! А насчет пожевать?

Николай Кораблев вспомнил, что у него в кармане бутерброд. Достал, развернул. Послышался запах ветчины... И вдруг ему самому захотелось есть, да так — до тошноты.

— Вот, — сказал он, подавая бутерброд, думая: «Неужели он возьмет все и съест? А я?»

Но тот осторожно развернул бутерброд, разломил его и, подавая одну половину Николаю Кораблеву, сказал:

— Этим даже червяка не заморишь. И, однако, пища. Ты знаешь, чего? Посиди тут, а я пошарю: у мертвых всегда есть чего забрать, — и пополз во тьму.

Николай Кораблев посмотрел в ту сторону, куда тот пополз, и удивленно подумал:

«Какой живучий! Наш брат на его бы месте охал, ахал, а этот выбрался из-под танка и пополз доставать «жратву».

Человек вскоре вернулся, сел против Николая Кораблева и сказал:

— Где тесак-то? Ух, мертвяков там навалено! Атака тут была, да и не одна, — и, взяв тесак, стал им что-то ковырять; он ковырял долго, затем произнес: — Консервы. Коробка большущая. Хлеб у мертвых

или что открытое брать нельзя: яд трупный может погубить. А консервы можно. Яд! Оно и в живом человеке его много. Ну вот, открыл. Теперь приступай к трапезе... Так ты говоришь, наши высоту-то смахнули? .. Эх! Эх! Ну, еще ешь да айда пошел. А то они в Орел одни войдут, а мы с тобой — хвостовой обоз. Только вот как быть с сапогом?

В эту минуту со стороны высоты «сто восемьдесят два» взвилась ракета, потом вторая. Вспыхнув в вышине, опоясав круг, они медленно опустились на землю.

— Э-э-э! — проговорил Сиволобов, отсаживаясь от Николая Кораблева. — Ты на какую надобность меня спасал? — и направил тесак ему в грудь. — Шпиен ты или кто? А? Ну, говори! А то вот пропырну насквозь душонку твою. Ракетки-то немецкие на высоте, а ты меня туда... А ну, говори! ..

— Да погоди! Что ты, с ума спятил? — уже чувствуя прикосновение острого кончика тесака, проговорил Николай Кораблев. — Я ведь тоже был оглушен... Там оглушен... в блиндаже... И поднялся недавно... Иду и думаю: «Наши там, на высоте». Ну, отними тесак, а то вот дам по морде коробкой! ..

— А-а-а! Ну, тогда другой скандал, — промолвил Сиволобов, отнимая тесак от груди. — Тогда мы с тобой пара-гагара... И давай улепетывать отсюда к своим, не то немцы могут ночную атаку сыграть и, как тараканов, нас тут придавят. Айда пошел! Только вот сапог...

— Сними с кого-нибудь, — посоветовал Николай Кораблев, шагая за ним.

— Нет! С мертвого, нет! Ничего: у меня ноги привычны, — и, стянув второй сапог, он сначала хотел было его бросить, затем сказал: — Пригодится. Зачем добро кидать? А там новые попрошу. А этот сдам. Ты как шел-то сюда?

— Через овраг.

— Вот им и давай назад.

— Но ведь там трупы...

— Мертвых бояться нечего. Живых бойся! — и Сиволобов первым нырнул в овраг.

5

Михеев в этот день был измотан, как конь после длительного бега: у него даже голова болталась, будто перебитая шея его еще не зажила от раны. Утром, в начале наступления, когда передовые отряды полегли на поле, а у артиллерии не оказалось снарядов, ему показалось, что все проиграно и слава, завоеванная пятой дивизией, теперь покроется позором.

Так казалось ему, полковнику Михееву, вначале: Сейчас, уже в ночь, он, вернувшись из боя, хлопнул себя руками по коленям и крикнул:

— Водки!

Залпом выпив стакан водки, поданной Егором Ивановичем, он, погладив грудь, еще сказал:

— Мало-мало честь спасли. Но... едет командарм... Будет баня. И неужели он не примет во внимание, что мы отбили четырнадцать атак? Прибрать стакан! И дай мне кофе, — взяв в пригоршню кофе, он пожевал, пососал и сплюнул. — Ну вот, водкой не пахнет, а сила прибавилась. Во мне! А в дивизии — пустота. Боже мой! — простонал он. — Две тысячи!.. Две тысячи положили мы... Но они-то шесть, шесть...

— Идут, товарищ полковник! — сказал адъютант и вытянулся, хотя ему хотелось брякнуться на землю и спать, спать, как спят юноши.

В блиндаж вошли Анатолий Васильевич и Макар Петрович, оставив своих адъютантов на воле. Михеев встал, но закачался и, присев, сказал:

— Разрешите сидеть, товарищ командарм?

— Чего уж «разрешите», когда сел! — тоненько проговорил Анатолий Васильевич. — Сел... Вообще сел и по уши в грязь! — строже добавил он. — Ну, что же думаешь делать, удалой генерал?

— Наступать не могу, — с болью ответил Михеев. — Нет людей...

— Ага! Тебе людей? Нет, братец, изволь наступать. Две тысячи уложил и — «наступать не могу»? Нет, наступай! Приказываю! Что стряслось? Расскажи-ка нам...

Михеев испуганно улыбнулся.

— Не улыбайся, а рассказывай! — прикрикнул на него Анатолий Васильевич.

— Не подвезли снаряды.

— Не подвезли снаряды. Та-а-к... А потом?

— Потом подвезли, товарищ командарм. Через два часа. Но четырнадцать атак, товарищ командарм! Четырнадцать... и три танковых. Семнадцать! Как из-под земли вылезли. Ведь шесть тысяч перемололи!

— Не шесть. Это тебе привирают. Пять. Знаю. Так, так, так, — Анатолий Васильевич хотел было встать и по привычке пройтись туда-сюда, но в блиндаже этого было сделать невозможно; повернувшись к начштаба, он сказал: — Слышали, Макар Петрович? Снарядики не подвезли. Это ж, судить будем? Кого? А вот этого удалого генерала. Пока он еще не нарядился в генерала, полковник — легче.

У Михеева все одеревенело.

Макар Петрович тихо засмеялся, сказав:

— Испытание огнем.

А Анатолий Васильевич из нагрудного кармана вынул листочек и подал его Михееву:

— Вот тебе телеграмма. Читай!

Михеев взял телеграмму, уставился в нее невидящими глазами. Долго и сосредоточенно читал и только спустя некоторое время разобрал:

«Герою Советского Союза генерал-майору Михееву Петру Тихоновичу. Поздравляю со званием генерала, желаю успеха. И. Сталин».

Анатолий Васильевич снова хотел было встать и по привычке пройтись туда-сюда, затем вдруг звонко рассмеялся, через стол пожимая руку Михеева:

— Поздравляем, товарищ генерал! Поздравляем! А это — тебе банька: будь осмотрительней следующий раз и все перед выступлением проверяй, на ах в бой не ходи, потому что тебе в дивизию не чурки посылают, а людей. У этих людей семьи есть, родные есть, и сами они жить хотят. А ты их — под огонь... Вишь, сам-то как побледнел, когда сказали: «Судить будем». Честь свою боишься затоптать, жить хочешь? А те, кто пал там, на поле брани, жить не хотят, что ль, чести, что ль, у них нет, мечты нет? Чурки? — снова

рассердившись, вскрикнул Анатолий Васильевич. — Ну, растолкуйте ему, товарищ начштаба!

Макар Петрович устало вздохнул и заговорил, поводя пальцем по столу, не глядя на Михеева:

— Ваша ошибка, если это можно назвать ошибкой, товарищ Михеев, заключается не в том, что вовремя не подвезли снаряды. Хотя это тоже ошибка. Ваша ошибка заключается в том, что вы не поняли всего того значения, какое имеет эта высота для немцев. Вы бились здесь не просто за высоту, а за Орел.

— Так, так, так! — подтвердил Анатолий Васильевич.

— Ваша ошибка заключается в том, — продолжал Макар Петрович, все еще не глядя на Михеева, — что вы уже генерал, а думаете, как сержант: вы доверились разведке, которая вам донесла, что на возвышенности имеется то-то и то-то, такие-то и такие-то силы. Вы этому поверили и успокоились. А надо было подумать шире: перед вами не просто возвышенность, а город Орел.

— Да ведь я... — заикнулся было Михеев.

Макар Петрович глянул на него:

— Не перебивайте: мы тоже ведь устали. Слушайте! Вместо того чтобы понять все значение этого наступления, вы сломя голову кинулись в бой. Экое геройство! Семнадцать контратак! А вы думали, две-три? Оказалось, враг бросил на вас резервы из-под Орла. Вот почему семнадцать контратак. Вы же до сих пор думаете: подвези во-время снаряды — и дело в шляпе.

— Ну, так судите за это! — горестно произнес Михеев, хотя сам уже понимал, что он со своей дивизией выдержал не просто бой, а последний и решительный бой за Орел, и, понимая это, он в душе уже решил, что судить его не будут, поэтому так обиженно и произнес: — Ну, так судите за это!

— Ишь какой! — воскликнул Анатолий Васильевич. — Готов на всех парах в тюрьму.

— Мы не судить приехали, а учить, — продолжал Макар Петрович. — Объективно операция, по мнению товарища командарма, прошла блестяще.

— Точно, совершенно верно! — тоненько заметил Анатолий Васильевич. — Объективно — блестяще: хотел этого или не хотел Михеев, но он измотал врага и обескровил его.

— Это объективно, — нажал Макар Петрович. — Не растерялся, сумел перегруппироваться и мастерски сбил врага.

— Мой ученик! Мой! Мой! — с явной гордостью сказал Анатолий Васильевич.

— Но субъективно вы бы могли сделать гораздо больше. Вы могли бы быть на высоте. А сейчас? Начинай все сначала...

Как раз в это время, узнав друг друга дорогой, подошли к блиндажу Николай Кораблев и Сиволобов. Тут их задержал часовой.

Услыхав голос Николая Кораблева, Егор Иванович от блиндажа крикнул:

— Пропусти, эй, паренек! Наш это, доподлинный.

— Их двое, — ответил часовой из тьмы.

— И два наши, доподлинные. Пропусти! — подтвердил Егор Иванович и пошел навстречу Николаю Кораблеву; подойдя, он пожал ему руку и с присвистом, как бы восхищаясь всем этим, сказал: — Ну и ну! Ну и была война! Я еще такой не видел. Мы с генералом своим до усталости дошли.

— Он где? — еле ворочая языком, спросил Николай Кораблев.

— Там, в блиндаже. Идет великое совещание. Даже меня выставили. Айдате-ка ко мне во дворец, — и Егор Иванович повел Николая Кораблева куда-то во тьму.

Когда они, Николай Кораблев и Сиволобов, сошли в маленький блиндажик Егора Ивановича, то последний так обрадовался, что просто не знал, что делать с гостями. Раздувая самовар, он говорил, удивленно крутя большой головой:

— Не гнушаемся мы вот друг другом — за это и спасибо советской власти! К Егору Ивановичу гость такой зашел, не гнушается. А кто с тобой-то, Николай Степанович?

— Дружок мой, Петр Макарович Сиволобов.

— Ну-у? Который Сиволобов? — Егор Иванович взял ночник-коптилку, поднес его к лицу Сиволобова и еще более удивленно произнес: — Это ты «тигра» полонил? Ну, герой, брат! Ах, батюшки! Рад-то я как! — и снова принялся раздувать самовар, спрашивая: — С рукой-то что у вас, Николай Степанович?

— Обожгло чем-то, — ответил Николай Кораблев, устало развязывая грязный платок.

Сиволобов посмотрел ранку, сказал:

— Ничего. Здесь она, смертушка, насытилась и по пустякам человека не трогает. Это ей — ранка такая — тьфу!

Егор Иванович, ставя на стол вскипевший самовар и к чему-то прислушиваясь, тревожно произнес:

— Совещание великое идет. Как бы нам с генералом баньку не дали...

— Товарищ командарм, что делать? Мы слушаем вас, — закончив «внушение», обратился Макар Петрович к Анатолию Васильевичу. — Мы вас слушаем, товарищ командарм!

Анатолий Васильевич все-таки не удержался и прошелся туда-сюда, затем остановился перед столом.

— Людей в дивизии мало? Да, мало! А там что? «Крабы». Артиллерией их разнести трудно и даже невозможно. Значит... Сабит погиб? Да, да, погиб! Очень жаль, как сына жаль. Галушко! — крикнул он.

И Галушко тут же предстал перед генералами.

— Романова сюда! Быстро, на крыльях! — а как только Галушко скрылся, Анатолий Васильевич продолжал: — Что такое «краб»? Только прямое попадание бомбы может повредить ему. Но человек может повредить гораздо больше. К «крабу» есть подходы. Романов с ребятами подберется с тыла и — гранатками. Гранатками и ножичками... Обезвредят! А по пути заглянут и в другие окопы, блиндажи. Это будет неожиданность. Другая неожиданность: у меня есть пять гвардейских минометов-«катюш». И третья неожиданность — надо их всех ослепить. У нас и такое средство есть. Я сегодня проезжал мимо одного аэродрома и видел это средство. Да, кстати, где Николай Сте-

панович? Рассказывали мне, он был на аэродроме и смотрел воздушный бой.

— Батюшки! — всплеснув руками, вскрикнул Михеев. — А я о нем совсем забыл!

Тогда Анатолий Васильевич в упор посмотрел на него и произнес, раздельно отчеканивая каждое слово:

— За него-то ты будешь отвечать передо мной...

...Николай Кораблев, Сиволобов и Егор Иванович сидели за самоваром и богато чаевничали. Первые кружки горячего чая они выпили молча и жадно, как утомленные путники в жару пьют воду из ручья.

— Только-только в горло попало! — проговорил Сиволобов, подставляя под кран самовара пустую кружку.

Выпили по второй, потом по третьей.

— Зело хорошо! — полушутя проговорил Сиволобов на седьмой кружке.

И в тот момент, когда самовар «дал течь», а Егор Иванович снял его со стола, намереваясь снова «зарядить», — в это самое время откуда-то со стороны в маленькое окошечко блиндажа ударил такой свет, что огонек коптилки совсем поблек, а Егор Иванович так и застыл, держа самовар за ручки, намереваясь вытряхнуть из него золу. Сиволобов выскочил наружу и оттуда крикнул:

— Идите-ка! Идите посмотрите, светопреставление какое!

Весь противоположный берег долины, вся высота были залиты таким ярким светом, что все блестело, сияло так, как будто солнце все свои лучи сосредоточило именно только там... Отраженный свет падал и на этот берег, особенно сильно на верхушки берез и сосен.

— Светопреставление... — растерянно повторил Сиволобов, видя, как гигантские струи света вырываются из мелкого кустарника и, рассеиваясь, падают на вражеский берег. — Прожектора... — пояснил он Николаю Кораблеву. — Батюшки! Сколько их! Сотни! — и смолк, даже пригнулся: на высоте начали рваться снаряды, но не артиллерийские, а какие-то особенные. Они неслись откуда-то почти молча и рвались, вспыхивая

кострами... А вслед за этим на высоте забегали люди, быстрые и, казалось, легкие, как тени.

— «Катенька» отработала, — шопотом передал Сиволобов и, увидев, как из лесу двинулась пехота, кинулся за ней, вскрикивая: — Айда пошел! Айда пошел! — но, наколов ногу, недоуменно произнес: — Без сапог-то? Куда же мне?

Егор Иванович сбегал в блиндаж, принес сапоги и, подавая их Сиволобову, проговорил:

— Возьми. Генералу было приготовил, да найдем.

— Благодарим, Егор Иванович! — и Сиволобов в новых сапогах ринулся за пехотой, а за ним и Николай Кораблев.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

На рассвете второго августа тысяча девятьсот сорок третьего года с высотой «сто восемьдесят два» все было покончено: поврежденные пушки, танки, пулеметы, минометы, склады с боеприпасами и продовольствием — все досталось пятой дивизии.

В это утро, на рассвете, вместе с Сиволобовым на высоту попал и Николай Кораблев. Он и особенно Сиволобов ожидали, что им придется вступить в жестокую рукопашную схватку. Но на возвышенность они поднялись последними, потому что оба были измучены и тянулись в хвосте. Здесь они увидели, что вся площадка, занимаемая врагом, завалена трупами. Трупы лежали всюду: около блиндажей, окопчиков, «крабов». Было странно то, что почти ни один немец не был убит пулей: каждый из них лежал или с распоротым животом или с перерезанным горлом.

— Не ухватили мы, не ухватили! — горестно жаловался Сиволобов. — Ай-ай! — тоненько вскрикнул он. — Иных ножичками почиркали, а этих вот «катюша» погладила. Вишь, этому черепушку снесло. Остальных — ножичками... Ай да пластуны!..

Николай Кораблев вспомнил, что пластунов он видел в батальоне Коновалова. Гибкие и стройные, вооруженные маленькими, присланными в подарок от Златоуста ножами, пластуны ползали, как ужи, перебегали поляны, как серны, взбирались на горы легко и просто, а ходили бесшумно, как тени.

— Так это наработали пластуны? — спросил Николай Кораблев, глядя на трупы.

И все сметено: деревья, до этого зеленые, красивые, теперь торчали обугленными стволами; земля выжжена, будто на нее пала огненная лава... И всюду трупы, трупы, трупы, подбитые, изуродованные танки, пушки, пулеметы. А надо всем этим — убитым, исковерканным, сожженным — солнце.

2

— В Орел! Давай в Орел: туда рукой подать, — бормотал Сиволобов, шагая через трупы, как через разбросанные бревна. — Жили-то как!.. Жили!.. И перины тебе и зеркала тебе. Ух, ты! А у этого и ванночка была.

Ближе к центру, там, где, очевидно, находился штаб, валялись распоротые перины, битые зеркала, столы и стулья всех видов и опрокинутая ванна.

— Айда пошел! Айда пошел! — заторопил Сиволобов Николая Кораблева и, взобравшись на горку, добавил: — Наперекосок давай! А то наши-то во-он где: вышли на дорогу. Давай наперекосок — и догоним!

Где-то что-то методически стукало, как будто кто-то заколачивал огромным молотком сваи. Стуки эти неслись из отдаленности. Николай Кораблев прислушался и определил, что советские части уже бьют врага за Орлом.

«Если верить Анатолию Васильевичу, то здесь свершилось величие! — радостно подумал он. — Значит, мы победили, и нам не будет стыдно перед человечеством. Да и перед самими собой, чорт возьми!»

Вскоре они, идя «наперекосок», переправились

через запасные немецкие окопы с обвалившимися стенками, обошли перепутанную колючую проволоку, вышли на шоссе Орел — Мценск и... тут неожиданно опередили свою дивизию.

По шоссе шли танки с вмятинами и царапинами; на иных не совсем ловко работали гусеницы. Эти напоминали человека, который натер ноги: идет, идет — и остановится.

За танками двигались пластуны. Они, присвистывая, пели песни, плясали, откалывая такие коленца, что Сиволобов воскликнул:

— Вот это да-а! Мы, пехотинцы, так не умеем. Наши-то вон бредут...

За пластунами шли пехотинцы. Их было не так-то много: может, три-четыре тысячи, и те почти наполовину с перевязанными лбами, прихрамывающие. Казалось, всем им хочется одного — лечь и заснуть прямо вот тут, на шоссе. Но спать было не время, и вот кто-то в голове дивизии затянул песню.

— Не надо! Отставить! — крикнувший вышел из рядов.

Это был Коновалов. Увидав Николая Кораблева, он вяло козырнул, но в глазах блеснули искорки. Николай Кораблев не встречался с ним с того самого часа, когда они разговаривали в блиндаже у Михеева. И тут, припомнив, как Коновалов во время наступления вырвался вперед своего батальона и ринулся на врага, Николай Кораблев произнес:

— А я вас тогда видел...

Коновалов не сдержал радости и, невольно расплываясь в улыбке, проговорил:

— Я так и думал: видите вы меня. Ну, а вы как: вкусили?

— Да, я потом пошел... с последними. И попал, знаете, в такое. Перепугался — ужас! Подумал: «И чего меня потащило? Бежать надо обратно». И тут же мне стало стыдно: убегу, а ваши ребята про меня скажут: «Потрепался, что пойдет в атаку, и удрал».

— Ну, и как же, вперед-то?

— Сказал себе: «Нет, меня не убьют» — и пошел. А потом вот друга встретил, Петра Макаровича.

Коновалов чуть подумал:

— Такое и с нами бывает. Дрянное это чувство — страх. Заберется мыслишка: «Убьют!» — и падаешь на землю, дрожишь весь, как сукин кот.

— А как же вы там вперед: зигзагами?

— «Нет, меня не убьют!» — такие мысли, что и у вас.

— Ну вот! .. Вишь, ты! .. И со мной подобное же... — как-то растерянно произнес Николай Кораблев.

Пока они, стоя на шоссе, разговаривали, мимо них прошла пехота, а за пехотой тянулась коляска, запряженная парой лошадей. В коляске сидел Михеев, привалясь в уголок, задрав кверху обнаженную голову. На козлах — кучер, а рядом с Михеевым — его молодой адъютант. Он заботливо придерживал комдива.

«Не убит ли?» — тревожно подумал Николай Кораблев и крикнул:

— Что с генералом?

— Спит, — тихо ответил адъютант. — Не шумите...

Но Михеев уже проснулся. Увидав себя в коляске и то, что коляска плетется в хвосте дивизии, он проворчал:

— На кой чорт затащили меня в эту кошелку? Где машина?

Адъютант моментально очутился на дороге и, виновато моргая, пролепетал:

— Вы же уснули, товарищ генерал... Ну и жалко... Ведь уж сколько ночей без сна! ..

Михеев недовольно крякнул, слез с коляски, размялся, проговорил:

— Ванюха такое не состряпал бы! Раз сказано: «Вперед» — значит, вперед, хотя бы и мертвого!

Он теперь всегда упрекал своего нового, еще неопытного адъютанта тем, что «Ванюха бы так не состряпал!» И адъютант, обижаясь на упреки, выработал ответ:

— Неизвестно, как бы поступил: мертвый ведь!

— Ты опять за свою песенку? Сказано: машину мне! — вскрикнул Михеев и неожиданно ласково

потрепал за плечо адъютанта. — Не сердись. Это я так. А ты молодец! Люблю тебя. В Орле получишь орден. Обязательно! У Анатолия Васильевича буду просить, — и, увидав Николая Кораблева, стесняясь, проговорил: — Ну вот, Николай Степанович, за семейным раздором вы нас застали.

В эту минуту подошла машина, в которой сидел Егор Иванович со своими кастрюлями, самоваром. Михеев, как бы оправдывая свое раздражение, проворчал:

— Ну вот, видите, Николай Степанович, какой номерок откололи? Меня в коляску, а самовар и хурдыбурды в машину. А ну, вылетай оттуда!

— Слушаюсь, слушаюсь! — и, намеренно по-стариковски покряхтывая, боясь, что генерал выбросит все кухонное хозяйство в канаву, Егор Иванович быстро выбрался из машины.

— Садитесь со мной, Николай Степанович, — предложил Михеев. — Скоро в Орле будем.

Николай Кораблев с сожалением посмотрел на Сиволобова, расставаться с которым ему не хотелось, особенно теперь, когда близок Орел, а там, за Орлом, и село Ливня. Заметив такое, Михеев сказал:

— Садись и ты, эй, вояка!

Машина, свернув с дороги, помчалась полем, обгоняя пехоту. Михеев, внимательно посмотрев на пехотинцев и видя, как они поредели, ни к кому не обращаясь, тихо проговорил:

— Вот к чему ведет непродуманность командира. Проклятая высота, — и, чуть подождав, добавил: — Гусев убит.

Николай Кораблев хотел было спросить: «Как же это?», но Михеев продолжал:

— Страшное с нами было. В центр прорвался немецкий танк. Мы сбежали в блиндаж. Танк — на блиндаж и давай давить. Все с потолка посыпалось. Гусев выскочил, — противотанковой гранатой танк повредил и осколком — сам убит. Жалко! Хороший человек был! — и снова, чуть подождав, борясь с одолевающим сном: — Да-а, батарея одна героически дралась. Шестнадцать пехотинцев и двадцать четыре

артиллериста сдержали напор танков. Пять «тигров» подбили, сожгли... Из сорока человек в живых осталось шесть. Командарм, согласовав с Рокоссовским, на самолете выслал донесение товарищу Сталину. Просим всех наградить... Героями Советского Союза.

— И я там был, товарищ генерал, Петр Тихонович, — тихонько промолвил Сиволобов.

— Вот я и говорю: вояка! — и Михеев вплоть до Орла больше ничего не сказал: склонившись на плечо к шоферу, он крепко уснул.

3

Вот и древний русский город Орел, вернее, его окраина: избушки, кривенькие, чумазые улочки, разбитая дорога. Из центра еще доносятся взрывы, а тут тихо, безлюдно, даже ветер, и тот какой-то ленивый. А вон горят две хатки. Николай Кораблев встрепенулся, готовый выбраться из машины, предполагая, что сейчас Михеев прикажет бойцам тушить хатки. Но Михеев, Сиволобов и адъютант — все смотрели на пожар так же, как на него смотрят в кино.

— Да как же, Петр Тихонович, избы-то горят ведь! Тушить бы надо! — недоуменно вырвалось у Николая Кораблева.

Тот, проснувшись, медленно повернулся, грубовато сказал:

— Мы не пожарная команда, — и, тут же поняв, что обидел Николая Кораблева, мягче добавил: — Если все нам тушить, когда же воевать, Николай Степанович?

Улочки расширились, а та, по которой ехали, превратилась в настоящую широкую улицу. На заборах огромные плакаты на немецком и русском языках. Мелькают жирные слова *«РАССТРЕЛ», «ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ»* — таков язык врага. А вот и центр — небольшая площадь. Здания всюду разрушены. Развалины выглядят страшно, как оскалы черепов. Только в углу площади, среди развалин, один дом целехонек. Около него толпятся какие-то люди. Михеев приказал

шоферу ехать к дому. В эту минуту где-то в стороне раздалась пулеметная очередь.

— Выковыривают, — прислушиваясь к выстрелам, проговорил Сиволобов. — Фрицев из подвалов выковыривают.

Около непотревоженного дома среди бойцов Саша Плугов в полной парадной форме: грудь увешана орденами, новые, в обтяжку сапоги начищены. Когда Михеев выбрался из машины и направился к дому, Саша Плугов заговорил с ним так, будто только что виделся:

— Видишь ли, инфузория какая... В Орле мы. Занимай комендантский пост, генерал! Занимай скорее, не то с севера идет дивизия армии Купцианова. Займут — и мы потеряли честь армии. Если бы ты не подъехал, я бы объявил себя комендантом. Между прочим, здесь немецкий комендант стоял. Удрал, не успел взорвать. Прошу, — и, шагнув к парадному, добавил, крепко пожимая руку Николаю Кораблеву: — Здравствуйте, Николай Степанович, воин благородный: без меча и без штыка.

В парадном на лестнице ковер-дорожка. Такой же ковер-дорожка в прихожей. Во второй комнате, видимо приемной, на полу огромный разноцветный персидский ковер. Два дивана, двери прямо и вправо.

— Вот тут он принимал, сукин сын, а вон там спал, а здесь, — Саша Плугов показал на комнату вправо, — допрашивал. Ох, как допрашивал! Прошу глянуть.

Комната, в которую они вошли, небольшая, видимо когда-то была столовой: стены выкрашены коричневой масляной краской, вылеплены утки, гусь и заяц. Сейчас все забрызгано кровью. Кровь даже на подоконниках. Она засохла и отдирается, как тонкая перепрелая кожа. В углу «дыба» и железная кровать.

— Вот что по нраву пришлось — древняя дыба, — с остервенением проговорил Саша Плугов и, повернувшись к Михееву, крикнул: — А ты представь-ка себе, каких чудесных людей он тут мучил! Представь... представь, ты попал бы к нему! Ну, представь,

ты попал к крокодилу, и крокодил допрашивал тебя! У-ух! .. Нет, хотя Анатолий Васильевич и против, но я завел бы для них такое. Я вытащил бы все древние способы пытки... — и Саша, переламывая себя, улыбаясь, снова не то шутя, не то серьезно проговорил, обращаясь к Николаю Кораблеву: — Видишь ли, инфузория какая... Мы люди коммунистической морали, ну, стало быть, и допрашивать должны как следует: не бить, не мучить жертву, а допрашивать. Допрашивай вот его, такого крокодила. Да ему слова, что ласковый ветерок. Год его так допрашивай, он только поправляться, как на курорте, будет.

Следующая комната — кабинет. Он роскошно обставлен, хотя и не в стиле: стол из красного дерева, стулья карельской березы, диван черного дуба. За кабинетом — спальня. Широкая кровать, шкаф. В шкафу вина и бокалы, рюмки всех видов. И еще странное: на окне груда бюстгальтеров. Все они разные и поношенные.

— Трофеи, — проговорил Саша Плугов. — Затаскивал сюда женщину или девушку, насиловал и забирал вот это — трофею. Чорт те что! — и повернулся к Михееву: — Нагляделся, генерал? Зла в тебе стало больше? Ну, тогда садись за стол и пиши приказ как комендант города Орла, — затем тише добавил: — Ребятам своим скажи... Как найдут в городе фашиста — а они тут остались, самые заядлые, — так не жалей гадов! .. За поругание наших женщин и девушек! .. — и быстрым шагом вышел из комнаты.

Михеев сел за стол, достал бумагу, ручку и начал писать: «Я, генерал Михеев, комендант города Орла, приказываю...»

В комнату, неся «кухонную ценность», вошел Егор Иванович. Осмотревшись, сказал:

— Вот это блиндаж! — а глянув в окно, закричал, не обращая внимания на Михеева: — Николай Степанович, дружок-то ваш, Ермолай! ..

На улице перед домом стоял Ермолай. Повернувшись на деревянной ноге, как-то весь скосившись, он посмотрел в окно дома, а увидев Егора Ивановича, помахал ему рукой и куда-то направился.

1

— Ёрмолай, — позвал Николай Кораблев, выбежав из дому вместе с Сиволобовым. — Куда это вы?

Тот остановился и, как бы очнувшись, сказал:

— Да ведь домой. Тут теперь рукой подать: по дороге тридцать, а лесами — и того меньше. Сказывали мне, немцы далеко улягали.

— А я? А меня?

— Что ж, дойдешь — пойдем. Я с генералом-то еще вечером распростился: не терпится. А как же? Домой! Слово-то какое хорошее: «Домой!»

Николай Кораблев также почувствовал это слово — «домой!» Он раскинул руки, обнял Сиволобова, затем поцеловал и сказал:

— Что ж, друг мой, расстаемся! Наверное, где-нибудь увидимся. Я в Ливню. Разыщу своих и тоже домой, на Урал.

Сиволобов задумался. Почесал затылок, посмотрел в окно комендантского дома и вдруг решительно заявил:

— И я с вами! Хотя и не к себе, но домой. Наша дивизия, видно, тут дня три-четыре пробудет: отдохнет, пополнят ее, и потом уж в поход. К тому и вернусь. Только за разрешением к генералу сбегаю, — он важно поправил на себе автомат, прибрался и зашагал в дом. Вскоре он выскочил оттуда раскрасневшийся и, по-женски всплескивая руками, приседая, начал выкрикивать:

— Батюшки! Герой... Союза... Маминьки! Я Герой, Петр Макарович Сиволобов! Генерал сказал, — и, став серьезным, подходя ближе к Николаю Кораблеву, глядя куда-то в сторону задумчивыми и умными глазами, добавил: — Что же, это, выходит, и звездочку мне дадут?

— Дадут! И орден Ленина! — ответил Николай Кораблев и в свою очередь спросил: — А за что тебе награда? За вчерашний бой с танками?

— Да. Быстрота какая! Сорок человек... Большинство посмертно наградили. Что ж, спасибо ему!

— Кому?

— Сталину: и мой труд отметил. Вишь, мимо него ничего не проходит. Ну... айдате! Дано мне отпуску два дня. Шагай вперед, Ермолай Ермолаевич, а мы за тобой, как гуси!

Тот шагнул, поскрипывая железным наконечником деревянной ноги. За ним тронулись Сиволобов и Николай Кораблев.

— Певунья какая она у меня! — глядя на свою деревянную ногу, полушутя сказал Ермолай и пристукнул ею.

— Русский человек и в гробу смеяться будет: ногу оторвало — деревянную пристроил и смеется, — проговорил, ни к кому не обращаясь, Сиволобов и тут же шутя, но изумительно просто и совсем непохабно: — А как же ты с бабой-то будешь? Ногу на полку?

— Э-э-э-э! С Грушей-то? Сама отстегнет. Вот погодите, она нас такими блинами угостит! А красавица какая! Говорит, как жаворонок поет. Ну, давайте переводите дух свой на третью скорость. Я думаю, за три часа мы отмахнем.

Город уже был заполнен бойцами: пехотинцами, танкистами, летчиками. Люди разгуливали, как по базару, с любопытством и страхом рассматривая почти уничтоженные здания, а иные стояли, наблюдая за тем, что происходило в развалинах уго́льного дома на площади.

Несколько красноармейцев, укрываясь за глыбами, стреляли по этим развалинам. Пули шлепались, отлетали, рикошеча. И вот оттуда, из уго́льного дома, показалось дуло пулемета. Тогда все бойцы, находившиеся на площади, что-то закричали, убегая и прячась, а Сиволобов сказал:

— Не сладить с ними ребятам! Они это умеют — засесть и отбиваться: смерть им помогает.

— То есть как это? — спросил Николай Кораблев, вместе со всеми прячась за развалины.

— Подыхать-то не хочется, ну и дерется один за сотню. Смерть, стало быть, помогает.

Красноармейцы бились с засевшими немцами минут десять — пятнадцать. Сиволобов уже безнадежно

махнул рукой, говоря: «Пустая трата боеприпасов», — как в эту минуту откуда-то со стороны вырвались пластуны.

Их было шесть человек. Легкие и быстрые, они, как тени, мелькнули вдоль развалин. Выстрелы со стороны красноармейцев смолкли, а со стороны немцев, наоборот, еще сильнее застрочил пулемет. Один из пластунов качнулся и, взмахнув руками, упал на грудь.

— Скосили! — проговорил Сиволобов. — Бедняга.

Но те пять уже скрылись в развалинах уго́льного дома... Вскоре пулемет смолк, затем на улицу вывалился, как мешок, набитый песком, один немец, потом второй, потом третий... И тут же показались пластуны.

— До-омой! — вдруг со стоном, с тоской, будто кто-то его держал и не пускал, прокричал Ермолай и пошел прочь, ни на кого не обращая внимания. — Домой, домой! — вскричал он.

5

Когда они вышли за город, на дорогу, ведущую к Брянску, Ермолай отряхнулся и сказал:

— Отслужил! — и потер рукой два ордена на груди, светля их. — Увидят это и скажут: «Ермолай Ермолаевич Агапов постоял за советскую землю!»

Посмотрев на дорогу, по которой тянулись пехотинцы, обозы вперемежку с пушками и танками, он вскинул ладонь вверх, как топор, затем, показывая левее, на лес, сказал:

— Такая наша путя, — и сошел с дороги.

Они тронулись полем на зеленую опушку леса. Поле почти сплошь изрыто воронками, но трупов не видно, как будто поле бомбили нарочно. Иногда воронки попадались огромной величины, обычно две рядом, тогда Сиволобов изумленно произносил:

— Экие бомбочки — по тонне каждая! Вишь, как разворотили матушку-землю! Я вот когда гляжу на такие воронки, кажется мне: это матушка-земля на нас смотрит и говорит: «Дикие вы еще какие: луп-

цуетесь!» А я в душе отвечаю ей: «Нет, матушка, мы-то не дикие, да дикие напали на нас». Разве я лет пять тому назад думал, что вот тут очутюсь в солдатских сапогах да с автоматом? Ведь какой был? Крови боялся! Петуха или курицу заколоть — ни-ни! Жена колола. А тут, как звезданешь фашиста, да все норовишь по башке, чтобы черепок ему пробить. Вишь, чему нас научили дикие-то! И что чудно́: греха на душе не чую!

Ермолай шел молча, вдавливаясь своей деревянной ногой в землю, оставляя следы-дырки, похожие на гнезда стрижей в крутом глинистом берегу. За Ермолаем шагал Сиволобов, за Сиволобовым, думая о своем, шагал Николай Кораблев. Проводя рукой по заросшей щеке, он думал:

«Как же это я вот такой, небритый, грязный, явлюсь перед Татьяной?» Но его тут же охватило радостное чувство, такое же, как и там, перед переправой. Сейчас оно было еще томительней. «Ну что ж, — радостно думал он, — явлюсь перед ней вот таким: грязным, оборванным, в солдатском. Ну, и что ж? Ведь Ермолай не стесняется этого. Говорит: «Прямо в баню. Сразу в баню с бабой пойду». И что он еще сказал? А-а... Соскучился, слышь! Ну, и я... Он еще говорил, там есть река, пруд. Мы уедем подальше, на реку. Батюшки! Да неужели это скоро? .. Ох, ты! ..» — Николай Кораблев даже задохнулся.

— Ты что, Николай Степанович, бледность какая в твоем лице? — обратился к нему Сиволобов и, увидав особенный блеск в его глазах, проговорил: — А-а-а, понимаю! Знаешь, чего? — чуть погодя, снова начал он. — Я вроде посаженого отца у вас буду. Как же? Два с лишним года ты с женой не виделся, это ведь вроде заново женился. Посаженый отец должен быть? А потом, когда война кончится, ты приезжай ко мне и вроде посаженого отца будешь. Согласен? Вижу, согласен.

Дойдя до леса и первым вступив в него, Ермолай сказал:

— Отсюда до Ливни — плевое дело: километров пятнадцать.

Сиволобов, увидав, что у того в глазах такой же особенный блеск, как у Николая Кораблева, спросил:

— В баню, значит?

— Ага! .. — растянуто и наивно произнес Ермолай. — В баню. Прямо на полок. Попарюсь, кваску отопью и еще попарюсь. Груше скажу: «Парь в обе руки. Хлещи, не жалей сил!»

— Ну, и что же? — скрывая смех, кинул Сиволобов. — Только эго и будет — попарь?

— Экий ты! Ай маленький, не знаешь, что еще будет?

«Как у них все это просто!» — думал Николай Кораблев, слушая то Ермолая, то Сиволобова.

Сиволобов, проходя по дну оврага, заросшего цепкой крапивой, хмелем, рассказал, что у него на Волге в колхозе остались жена и пятеро ребят.

— У нас с Шуренкой долго производство не налаживалось, — говорил он полушутя. — Появился один — доктор теперь, — а потом нет и нет ребятишек. Лет десять прожил — нет. Пятнадцать живем — нет. А потом как пошло: год-полтора, глядишь, в зыбке новый запищал. Так пятерочка у меня.

— Как же это ты наладил производство-то? — удивленно спросил Ермолай.

— А как-то само собой пошло. Пошло и пошло. Таких ухачей натаскала, что ахнешь! Особенно самый младший — Васека, — и, спохватившись, добавил: — Недавно открытку мне прислала. Не письмо, а открытку. Пишет то да се, мыла недостача, соли маловато, керосину нет, а под конец и ахнула: «Петенька, приезжай скорее, двоих я тебе рожу!»

6

Потом они шли молча, остерегаясь нарваться на случайный патруль. Но лес был пуст. Казалось, отсюда было изгнано все: и звери и птица, — только муравьи деятельно, хлопотливо воздвигали свои высокие кучи-пирамиды. Ермолай все так же скрипел своей деревянной ногой, крутясь по оврагам, по заброшенным тро-

пам, то и дело останавливаясь, прислушиваясь, сворачивая куда-то в сторону... Под конец Николаю Кораблеву даже показалось, что Ермолай сбился с пути, и он шопотом сообщил об этом Сиволобову. Тот покачал головой и уверенно ответил:

— Не сомневайся! К жене ведь своей идет: глаза завяжи, пусти — все одно отыщет.

— Ну и очень даже хорошо! — облегченно и радостно проговорил Николай Кораблев, уже представляя себе село Ливню.

Он представлял себе это село по-особому, как это иногда бывает во сне. Небольшие улочки, усыпанные домиками, за селом разливы воды, а на водах столько красок: голубых, розовых, синих! Краски эти то и дело меняются, перемешиваются... И всюду Татьяна! Куда бы он ни посмотрел, всюду Татьяна!..

— Ну, вота-а-а! Вота-а-а! — вдруг остановившись, закричал Ермолай. — Дома-а-а-а! Это поле наша-а-а! — он показал рукой на лесную поляну, заросшую полынью, и тут же притих, недоуменно произнеся. — А чего это они ее забросили? Тут земля — хлеб сплошной. Гляди-ка, Петр Макарыч, — обратился он к Сиволобову. — Не пахана года два? А-а?

Они склонились, раздвинув высокую, жирную полынь, поковыряли землю, поднялись и почти в один голос сказали:

— Действительно: два года не пахалась.

— Ну да! — оправдывающе произнес Ермолай. — Мужиков-то на селе нет, колхоз-то немцы, видно, разогнали. Ну, ничего. Наладим! — вдохновенно добавил он. — Наладим! Колхоз наладим, землю запашем, ребятишек произведем! — и, облегченно засмеявшись, шагнул вперед.

И опять они шли молча. Ермолай шагал быстро, вдавливая окованным кончиком деревянной ноги влажную землю на глухой тропе. Если бы ему приставить крылья, он, наверное, вспорхнул бы и полетел. Да и сейчас он машет руками, как крыльями, помогая себе.

Впереди завиднелся просвет.

Ермолай, не в силах выговорить, повернулся и, кивая вперед головой, весь улыбаясь, как бы кричал:

«Дошли! .. Сейчас. .. Во-он оно, село-то наше!»

Лес оборвался. Под уклон тянется поле. Внизу огромный пруд. Зеленые, густые и кудрявые ветлы склонились над водой! А за прудом? ..

Ермолай снова повернулся к Николаю Кораблеву и Сиволобову. Недоуменно и даже с какой-то злобой посмотрел на них, затем шагнул и, подпрыгивая на здоровой ноге, побежал вниз, туда, за пруд.

Села не было. На месте хат виднелись полуобгорелые остатки, торчали закоптелые и уже развалившиеся трубы печей. Светились на солнце, как плешины, груды золы, прибитые дождем. Улица и особенно дворы заросли густой крапивой, полынью и лопоухим репейником. Дорога затянулась илом. .. И на ней ни единого следа. На базарной площади почерневшая виселица. Неподалеку от нее рассыпавшийся скелет.

«Не Груша ли?» — мелькнуло у Ермолая.

«Не Татьяна ли?» — мелькнуло у Николая Кораблева.

И они оба кинулись к скелету, затем, нагнувшись, долго рассматривали его. Николай Кораблев выпрямился, сказал:

— Нет! Это мужчина... — и посмотрел на Ермолая.

Тот, нагнувшись, выкинув назад деревянную ногу, как пушку, и глядя снизу вверх, спросил:

— А кто?

— Разве сейчас узнаешь, кто?

— А как ты узнал, что это мужик?

— По бедренной кости. Видишь, это вот кость называется тазобедренной. У женщин она шире.

— Вишь ты, наука! — по-детски наивно произнес Ермолай. — А может, это мой отец? — он выпрямился, посмотрел вдоль улицы и недоуменно, как больной, очнувшись после потери сознания, сказал: — Эх, ты! Где я жил-то? Прошли, что ль, мы ее, хату, или не дошли? Разыщу-ка! — и пошел, оглядываясь на обе стороны.

Сиволобов сказал ему вслед:

— Ермолай, ты показнись здесь малость и айда к

нам: мы во-он там, на горе, у лесочка, ждать тебя будем.

Сиволобов и Николай Кораблев пересекли овражек, поднялись в горку и сели на опушке соснового бора. Они сели на старые пни, совсем не зная того, что скелет на дороге — это останки Ермолая Агапова и что вот сюда, к Ермолаю Агапову, когда-то приходила за советами Татьяна.

Сев, Николай Кораблев опустил голову на руки и, еле слышно простонав, застыл. Сиволобов снова посмотрел на мертвое село. Там носился ветер, колыхая крапиву, полынь, лопоухий репейник, навязчиво сдирая корку с прибитой золы. Да еще ковылял из стороны в сторону Ермолай, отыскивая свою хату. Иногда он запевал, но песня походила на волчий вой.

— Обезумел Ермолай: как над могилой воет! Может, сходить, оторвать его от могилки?.. Да и ты вот... Ах, ты! Как же теперь, Николай Степанович?..

— Да ведь он сказал: «Она жива», — глухо и еле слышно проговорил Николай Кораблев.

— Кто сказал? — обрадовавшись тому, что Николай Кораблев заговорил, оживленно спросил Сиволобов.

— Яня Резанов, Яков Иванович, партизан. Ведь он мне совсем недавно говорил... А может, и село-то только что сожжено?

— Ну, что ты? Год, а то и больше: крапивой все заросло.

— Яня Резанов!.. Яня Резанов!.. — пробормотал Николай Кораблев.

Где-то далеко ухнула артиллерия. Сиволобов, прислушавшись, сказал:

— Наши застукали. Двинулись на Брянск. Эх! Гляди-ка! — вскрикнул он и дернул за рукав Николая Кораблева.

На них, отрезая их от Орла, цепью шли немцы, держа наизготовку автоматы.

— Партизан шарят... — шепнул Сиволобов, еще не зная, что предпринять.

А перед Николаем Кораблевым ярко, как будто это происходило сейчас, встало: озеро на Урале, Змеевый остров и то подводное течение, которое захватило их обоих с Лукиным и бросило в свирепый круговорот... и он потянулся к автомату, шепча:

— Отбиваться надо.

Урал. Фронт. Москва. Лигниц
1943—1946 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Редактор А. Семенов
Художник И. Николаевцев
Худож. редактор И. Царевич
Техн. редактор Р. Сквирская
Корректор И. Якимович

А 00915. Подписано к печати 29/II-52 г. Формат 84Х108/32. Бум. л. 9,16. Печ. л. 30,03. Уч.-изд. л. 28,13. Авт. л. 27,70. Тираж 75 000. Заказ № 62.
Цена 10 р.

(Номинал по прейскуранту 1952 г.)

Типография № 3 Ленгорполиграфиздата

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 10, Изд-во «Советский писатель».

10 р.